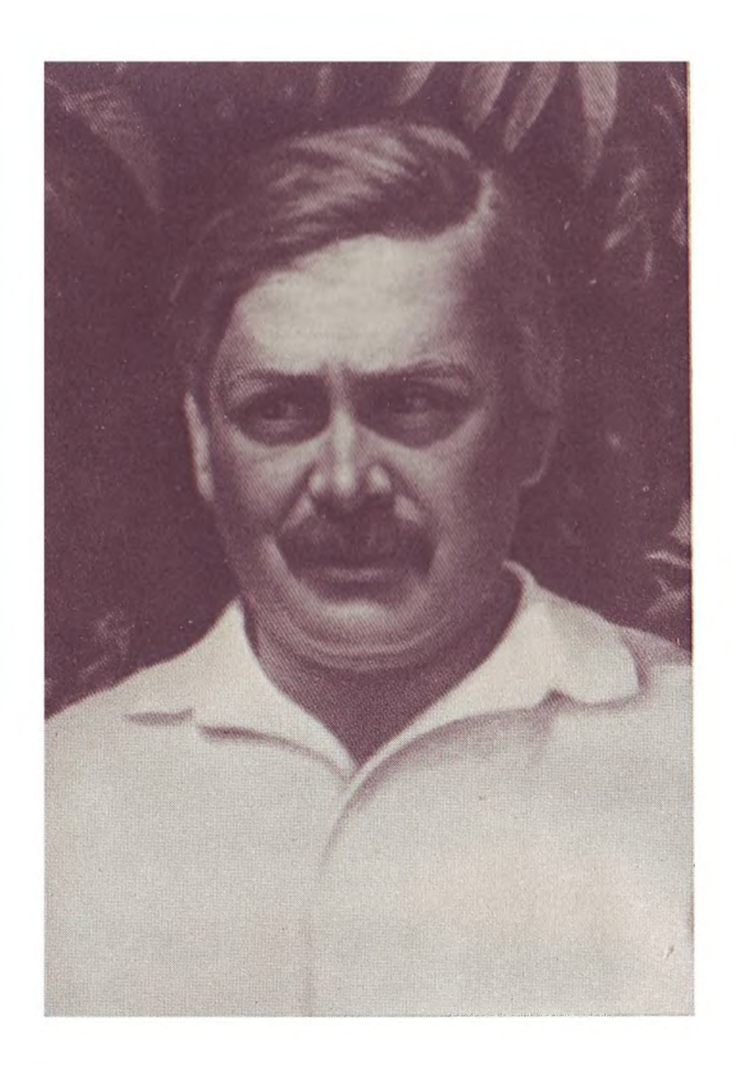
М·А·Алданов



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

М. А. Алданов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 1

Москва
Издательство «Правда»
1991

84 Р1
45А

Составление и общая редакция
А. А. Чернышева

Иллюстрации художника
Б Н. Фёдюшкина

А $\frac{4702010201-2466}{080(02)-91}$ 2466-91

5-253-00376-2

ГУМАНИСТ, НЕ ВЕРИВШИЙ В ПРОГРЕСС

В написанном перед началом второй мировой войны М. А. Алдановым романе с выразительным названием «Начало конца» есть такая сцена: два персонажа, гуляя по Версальскому парку, ведут нескончаемый разговор о связи времен. Их диалог остроумен и горек, кажется, в воздухе разлито предчувствие катастрофы, и тем острее люди, особенно немолодые, ощущают свое бессилие перед событиями, становятся склонными к иронии. У Алданова диалог прежде всего игра мысли, он лишь в малой степени служит продвижению действия. Писатель сталкивает своих персонажей с масштабными историческими событиями, им приходится сопоставлять прошлое и настоящее, они вспоминают старые афоризмы. Говорят о завершившем первую мировую войну Версальском мирном договоре, о том, что когда-то в Версале братья Монгольфье впервые подняли в воздух наполненный горячим дымом шар.

« — Себастьян Мерсье, памфлетист XVIII века, написал книжку «2440 год». Автор, видите ли, просыпается в 2440 году в Версале и ничего не узнает: груда развалин, и на них плачет седой нищий: ничего не осталось от лучшего в мире дворца, созданного гением и гордостью одного человека.

— А нищий-то отчего плачет? Ему-то что?

— Ваш вопрос не лишен основательности, но, разумеется, этот нищий — сам Людовик XIV, тоже как-то воскресший в 2440 году.

— Какой ужас!

— Самое замечательное в этой плохой книжке то, что она была написана за несколько лет до Великой революции. Помните, один из идиотов Конвента предлагал повесить на Версальском дворце надпись: «Maison à louer» [1], а другой требовал, чтобы место дворца тиранов было распахано плугом. Плугом! Тогда еще не было аэропланов.

— С вами погуляешь, тотчас становится весело. Сколько времени, однако, вы нам еще даете? Если до 2440 года, то я, пожалуй, согласна.

— Нет, нет, афоризм «после нас хоть потоп» устарел. Мы с вами еще покатаемся по волнам потопа».

Этот отрывок очень характерен для своеобразного стиля Алданова. За скептическую усмешку и изящество отточенного слога

[1] Дом сдается (*франц.*).

его называли русским Анатолем Франсом. Даже те, кто не относился к его поклонникам, отдавали ему должное. «Алданов очень умен, остер и образован. У него тонкий, гибкий ум, склонный к парадоксам и рассудочному скептицизму»,— отмечал в 1925 году критик Марк Слоним (тогда появились только первые его книги)[1]. Через четверть века, в 1950 году для поэта Георгия Иванова являлось аксиомой: «Имя Алданова, бесспорно, самое прославленное из имен русских писателей» [2].

И. А. Бунин, став в 1933 году Нобелевским лауреатом, обрел право выдвигать на Нобелевскую премию собратьев по перу. Он из года в год выдвигал Алданова. Книги Алданова переведены на 24 языка, о нем спорят, ему посвящают монографии и диссертации. В Париже в 1976 году вышла объемистая библиография его произведений.

И только на родине писателя, в нашей стране его имя было до последних лет насильственно изъято из обращения. Первой ласточкой стала публикация в 1988 году романа «Девятое термидора» в журнале «Сельская молодежь». Публикация была осуществлена, к сожалению, с купюрами, но значительно, что ей предпослал вступительную заметку такой крупный авторитет, как академик Д. С. Лихачев. Вскоре последовали двухтомник, содержавший тетралогию «Мыслитель», в «Дружбе народов» и «Юности» были напечатаны романы «Ключ», «Истоки», рассказ «Астролог», в разных журналах и газетах появилось несколько очерков Алданова. Однако все это лишь небольшая часть наследия писателя. Он был необычайно плодовит, полное собрание его сочинений составило бы около сорока томов.

Алданов в совершенстве владел французским языком, большая часть его пути в литературе прошла во Франции. Он мог бы, как, скажем, Лев Тарасов, взявший псевдоним Анри Труайя, писать художественную прозу на французском, иметь более широкий круг читателей. Вместо этого он предпочел более трудную участь писателя русскоязычного, Россия осталась главной темой его творчества. Его Россия не ностальгическая, как у большинства эмигрантов, а историческая — страна великих писателей и государственных мужей, страна проспектов, дворцов и университетов.

Подобно Набокову, Алданов выпустил свою первую книгу на родине перед революцией. Но характерно, что первая книга юного Набокова сборник стихов, а Алданов начал с литературоведческого исследования, научного трактата. Алданову суждено было стать писателем-ученым, он один из образованнейших людей в русской литературе. Его перу принадлежали монографии по химии. Его книга «Ульмская ночь» — редкий образец философского произведения, написанного не-философом. Необыкновенно широка по кругу тем, блещет эрудицией его публицистика. Но главное дело его жизни — серия из шестнадцати романов и повестей, охватывающих почти двести лет русской истории в контексте мировой, от Петра III до Сталина. Это своего рода человеческая комедия истории, уникальный по масштабности исторический цикл. Кроме того, Алданов писал рассказы, пьесы, киносценарии.

---

[1] М. Слоним. Романы Алданова. «Воля России», Прага, 1925, № 6, с. 160.

[2] Г. Иванов. Алданов. «Истоки». «Возрождение», Париж, 1950, № 10, с. 179—182.

В русских библиотеках Западной Европы и Америки его книги пользовались исключительным спросом, обгоняли по популярности и Бунина и Набокова, писатель, как никто из его современников, знал тайны занимательности. Когда он умер в 1957 году, А. М. Ремизов записал в дневнике: «В русской литературе имя Алданова займет почетное место. Исторический роман: Загоскин, Лажечников, Полевой, Мордовцев, Данилевский, Салиас, Соловьев, Алданов. Книги Алданова будут читать» [1].

В последнее время, однако, интерес к его творчеству на Западе начал падать. Появилось несколько критических «разносов» его произведений. М. Слоним в очерке, предпосланном библиографии, утверждал, что самое ценное в наследии писателя — очерки, публицистика, а герои романов бледны, не развиваются в действии.

Но если и принять этот упрек, за Алдановым остаются высокое мастерство сюжетосложения, философская и нравственная насыщенность его прозы, изящный неповторимый слог. В недавно опубликованном третьем томе воспоминаний Романа Гуля читаем: «Некоторые критики считают, что Алданов был своеобразным и выдающимся писателем и человеком, и живи он в свободной России, его книги расходились бы миллионными тиражами» [2].

Как сложились жизнь и судьба Алданова?

1

Он не сражался на дуэли, как Пушкин или Лермонтов, не писал романа в каземате Петропавловской крепости, как Чернышевский, не было в его жизни резких нравственных кризисов, как у Толстого. Женат он был один раз, в браке счастлив, в общем, жизнь его может показаться скучноватой. Но она прошла в бурную эпоху, и эпоха наложила отпечаток на его судьбу.

Марк Александрович Алданов прожил семьдесят лет и три месяца. Он родился в Киеве 7 ноября 1886 года, умер в Ницце 25 февраля 1957 года. Алданов — анаграмма настоящей фамилии писателя, псевдоним. Его отец, Александр Маркович Ландау, сахаропромышленник, владел несколькими заводами. Семья была не только богатой, но интеллигентной. Будущий писатель получил отменное образование. Восемнадцати лет, закончив классическую гимназию, он свободно говорил по-немецки, по-французски и по-английски, получил золотую медаль за знание латыни и древнегреческого. В Киевском университете одновременно закончил два факультета, правовой и физико-математический (по отделению химии). В год окончания университета, в 1910 году дебютировал в печати. Его статья «Законы распределения вещества между двумя растворителями» была отпечатана в виде отдельной брошюры «Университетскими известиями». Вскоре Алданов уехал в Париж продолжать образование. Когда вспыхнула первая мировая война, вернулся в Петроград, участвовал в разработке способов защиты гражданского населения от химического оружия. Но им уже владели совсем иные жизненные планы. В Париже Алданов вдруг страстно заинтересовался сравнением русской и французской

[1] «Новый мир», 1989, № 4, с. 256.
[2] Р. Гуль. Я унес Россию, т. 3, Нью-Йорк, 1989, с. 161.

культур, начал работу над трактатом «Толстой и Роллан», сопоставлением нравственных систем двух выдающихся гуманистов.

Впрочем, любовь к химии тоже не угасла в нем. Во многих его романах герои — химики. В 1930-е годы, будучи очень известным прозаиком, он испытал период отвращения к литературной работе, задумал было, бросив писательское ремесло, вновь стать химиком. Этот план осуществлен не был, но на протяжении десятилетий Алданов время от времени выпускал научные труды. В 1937 году была издана его монография «Актинохимия» (он называл ее лучшим своим произведением), в 1951 — «К возможности новых концепций в химии». Двумя годами позднее в книге философских диалогов «Ульмская ночь» Алданов защищал такой взгляд: если писатель порой переключается на научно-исследовательскую деятельность, это обогащает его интуицию и наблюдательность, развивает аналитическое начало.

Музыковед Л. Л. Сабанеев, близко знавший Алданова в последние годы его жизни, рассуждал в воспоминаниях о том, что психике Алданова была свойственна особенность, редко встречавшаяся в русских писателях, именно «известная научность мыслей и даже чувств» [1].

В книге Алданова «Толстой и Роллан» (1915) научный подход к миру и человеку охарактеризован как заслуга Толстого-художника. Эта книга привлекла внимание Софьи Андреевны Толстой, на нее написал положительную рецензию Ю. Айхенвальд, отметивший, что молодой автор обнаруживает зрелого и уверенного в себе критика, знатока истории культуры. Тем временем Алданов работал над вторым томом исследования «Толстой и Роллан». Законченная рукопись потерялась в годы революции.

Октябрьскую революцию Алданов, подобно многим российским интеллигентам, не принял. В 1918 году вышла в свет его публицистическая работа «Армагеддон». Два собеседника, ученый и писатель, обсуждают в ней общественные проблемы. Язвительные сопоставления политических ситуаций прошлого и настоящего, параллели между революционерами и царями были восприняты как крамола. Книгу изъяли. В марте 1919 года Алданов эмигрировал.

«Эмигрируют не души, а тела»,— позднее скажет Александр Зиновьев, тоже писатель и ученый. Душой Алданов навсегда остался в России. Но начались его скитания по чужой земле.

Из Одессы через Стамбул и Марсель он приехал в Париж. Попробовал свои силы в издательском деле — неудачно. Ежемесячный журнал «Грядущая Россия», который он возглавил, не собрал подписчиков, принес одни убытки и закрылся на втором номере. В 1922—1924 годах Алданов в Берлине. Здесь он женился на своей двоюродной сестре Татьяне Марковне Зайцевой — она переводила его произведения на французский язык, детей у них не было. Затем снова Париж вплоть до начала второй мировой войны. Алданов сотрудничал в газетах «Последние новости» и «Дни», печатался в журналах «Современные записки», «Числа», «Иллюстрированная Россия», «Русские записки».

Публицист Андрей Седых рассказывает: «В молодости он был внешне элегантен, от него веяло каким-то подлинным благородством и аристократизмом. В Париже в начале 30-х годов М. А. Ал-

---

[1] Л. Сабанеев. Об Алданове (К двухлетию со дня кончины). «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1959, 1 марта.

данов был такой: выше среднего роста, правильные, приятные черты лица, черные волосы с пробором набок, «европейские», коротко подстриженные щеточкой усы. Внимательные, немного грустные глаза прямо, как-то даже упорно глядели на собеседника... С годами внешнее изящество стало исчезать. Волосы побелели и как-то спутались, появилась полнота, одышка, мелкие недомогания. Но внутренний, духовный аристократизм Алданова остался, ум работал строго, с беспощадной логикой и при всей мягкости и деликатности его характера — бескомпромиссно» [1].

В 1932 году, перед приходом Гитлера к власти, Алданов написал о нем ядовитый очерк, и берлинское издательство отказалось его публиковать. Когда гитлеровцы оккупировали Францию, Алданов, убежденный антифашист, уехал за океан. Отъезд был, как водится, связан с приключениями, лишениями. В Нью-Йорке взамен закрывшегося в Париже крупного русскоязычного журнала «Современные записки» создается «Новый журнал», и Алданов принимает деятельное участие в его организации. На первые книжки наскрести необходимые деньги удается с превеликим трудом, но в конце концов журнал укореняется, вскоре он будет праздновать свой полувековой юбилей.

«Современные записки» и «Новый журнал» — самые важные для нашей литературы страницы истории русской зарубежной периодической печати XX столетия. В этих журналах соседствовали под одной крышей крупные писатели и критики разных убеждений. В «Современных записках» среди постоянных авторов И. Бунин и Д. Мережковский, А. Куприн, печатали свои стихи В. Ходасевич и М. Цветаева, здесь были опубликованы почти все русскоязычные романы В. Набокова и роман «Николай Переслегин» — единственное художественное произведение философа Ф. Степуна. В «Новом журнале» в 40—50-е годы выступали Бунин, Набоков, Г. Газданов, Георгий Иванов, М. Осоргин, Н. Берберова. На его страницах увидели свет многие запрещенные в СССР произведения, в том числе «Багровый остров» М. Булгакова, «Колымские рассказы» В. Шаламова. Имена зарубежных русских критиков пока советскому читателю известны мало, но они внесли крупный вклад в истолкование современного искусства, и деятельность таких мастеров критического жанра, как Г. Адамович, В. Вейдле, М. Слоним, тоже связана с этими журналами.

«Современные записки» «открыли» Алданова-прозаика. Здесь была напечатана его первая повесть в 1921 году, и с той поры почти в каждом номере печатался отрывок из крупного его произведения или статья, реже рецензия. В годы второй мировой войны и в послевоенный период Алданов так же регулярно сотрудничал в «Новом журнале». После его смерти на первой странице каждого номера стало указываться его имя как одного из основателей.

Между тем в качестве штатного сотрудника редакции «Нового журнала» он проработал недолго: предпочитал писать, обходиться без «второго ремесла». Его приглашали стать директором нью-йоркского Издательства имени Чехова, он отказался.

«Второе ремесло» — название статьи Алданова в «Современных записках» о чрезвычайно трудных материальных условиях эмигрантской литературы: читателей ничтожно мало, гонорары

---

[1] А. Седых. М. А. Алданов. «Новый журнал», Нью-Йорк, 1961, № 64, с. 221.

мизерны, прозаикам и поэтам порой приходится зарабатывать на хлеб, крутя баранку автомобиля. Сам он всю жизнь бедствовал, но концы с концами все-таки сводил, обходясь газетными и литературными заработками. Это было редчайшим исключением из правил. Нуждаясь, он постоянно ухитрялся заниматься филантропией. Как сообщает Л. Сабанеев, Алданов вступил в масонскую ложу, убежденный, что ее цель «делать добро из-за добра», он видел в современном масонстве организацию, призванную «уменьшать скорбь и нужду в нашем бренном мире» [1].

Бунин называл его последним джентльменом русской эмиграции, был его ближайшим другом. Их переписка продолжалась более трех десятилетий. Письма Алданова к Бунину частично опубликовала в 1965 году в «Новом журнале» профессор Эдинбургского университета Милица Грин [2]. Вот несколько характерных из них отрывков об эмигрантском житье-бытье. 7 января 1928 года Алданов сообщает: «Работаю над «Ключом» и над проклятыми статьями». 2 декабря того же года жалуется: «Работа моя продвигается плохо. Не могу Вам сказать, как мне надоело писать книги. Ах, отчего я беден,— нет, нет справедливости: очень нас всех судьба обидела,— нельзя так жить, не имея запаса на два месяца жизни». 17 января 1930 года делится с В. Н. Муромцевой-Буниной, что хотел бы написать о Гете: «Но для этого надо поехать в Веймар, все жду денег... Проклятые издатели, проклятая жизнь».

Тема постоянного безденежья врывается и в художественную прозу Алданова: в его романе «Начало конца» (1938) один из главных персонажей, писатель, мечтает: «Надо было родиться лет триста тому назад. Я был бы любовником Нинон де Ланкло, знал бы рыцарей в латах, видел бы пап, носивших бороду. Вместо жуликов-издателей меня кормил бы Людовик XIV...» В 30-е годы в Париже распространенным способом филантропии стал бридж. Состоятельные русские собирались для игры в карты, большая часть выигрыша отчислялась в пользу того или иного остро нуждавшегося литератора. Супруги Алдановы не раз организовывали подобные вечера. Играли в пользу Бунина (до получения им Нобелевской премии), в пользу постоянно бедствовавшего Ходасевича. Т. М. Алданова даже стала печататься в журнальчике «Ревю де бридж».

Некоторые писатели-эмигранты возвращались в СССР. Для Алданова этот путь был закрыт. В 1928 году он опубликовал очерк о Сталине, в котором говорилось, что Сталин никакой не «вдохновенный оратор» и не «блестящий писатель», его руки густо залиты кровью. Человек трезвого, ироничного ума, Алданов рано пришел к выводу, что на оставленной им родине творится нечто неладное. Каждый день он читал до десятка газет и не переставал удивляться. Какой разумный человек примет всерьез сообщение, что четырнадцать советских служащих из Белоруссии подмешивали толченое стекло в муку для Красной Армии? Прочитав «Поднятую целину» Шолохова, он писал В. Н. Муромцевой-Буниной: «Только слепой не увидит, что это совершенная макулатура... Добавьте к этому невозможно гнусное подхалимст-

---

[1] Л. Сабанеев. Об Алданове (К двухлетию со дня кончины).

[2] М. Э. Грин. Письма М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным. «Новый журнал», 1965, №№ 80, 81.

во, лесть Сталину на каждом шагу... Почти то же самое теперь происходит в Германии». Оставалось эмигрантское существование: «Жизнь кипит: похороны и юбилеи, юбилеи и похороны».

Треть своей жизни Алданов провел в библиотеках. Бисерным почерком заполнял блокноты выписками из груд прочитанных книг. Было у него еще хобби, не требовавшее особых затрат, но чрезвычайно любопытное: подобно тому, как некоторые собирают марки или календари, Алданов коллекционировал встречи со знаменитыми современниками. Интервьюер однажды попросил его припомнить, с кем из западных писателей ему довелось общаться. В длинном алдановском списке были Томас Манн, Андре Моруа, Андре Жид, Эрнст Хемингуэй, Герберт Уэллс, Джон Голсуорси, Морис Метерлинк, Жан Жироду... Алданов хорошо знал почти всех известных деятелей культуры русской эмиграции, был дружен с С. В. Рахманиновым и посвятил ему одну из своих повестей. Экстраполированность, вообще говоря, русским писателям была свойственна нечасто. Азартный поиск Алдановым новых знакомств с «представителями первого ранга человечества» сродни тому, как самозабвенно искал редкие экземпляры бабочек для своей коллекции Набоков. В публицистике и художественной прозе Алданова портреты выдающихся людей занимают важное место, он сравнивает их между собой и с простыми смертными, как бы пытаясь отгадать, в чем тайна их признания и славы. Можно предположить, что встречи с крупными современными писателями стали для Алданова частью материала, который он использовал, рисуя образ Бальзака в «Повести о смерти», образ Достоевского в романе «Истоки»...

Но однажды ему, автору очерка о Несторе Махно, предложили познакомиться с «батькой» анархистов лично. Он вдруг воспротивился: «Видите ли, при знакомстве надо подать руку. А мне, все-таки, этого не хотелось бы делать» [1].

Безупречно учтивый, уравновешенный, корректный, никогда не повышавший голоса в споре,— таким предстает Алданов в воспоминаниях современников. Вспоминают его терпимость, снисходительность к людям, умение внимательно слушать собеседника и мало говорить. В. Набоков в книге «Другие берега» пишет о «проницательном уме и милой сдержанности» Алданова [2], Г. Струве в монографии «Русская литература в изгнании» отмечает его «высокую культуру» [3], Л. Сабанеев вспоминает «моральный облик изумительной чистоты и благородства» [4]. Почти все подчеркивают его склонность к иронии, но ирония Алданова была не злой, умерялась в нем гуманизмом.

Иронию, однако, многие не прощали. Порой бывшие соотечественники ставили писателю в вину, что его ирония направлена не только против революции, но и против дореволюционных порядков, против монархии, против западного образа жизни. Алданову принадлежала, например, такая язвительная формула: «Поистине должна быть какая-то внутренняя сила в капиталистиче-

---

[1] А. Седых. М. А. Алданов, с. 230.

[2] «Дружба народов», 1988, № 6, с. 128.

[3] Г. Струве. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956, с. 116.

[4] Л. Сабанеев. М. А. Алданов (К 75-летию со дня рождения). «Новое русское слово», 1961, 1 октября.

ском строе, если его еще не погубила граничащая с чудесным глупость нынешних его руководителей». В 20—30-е годы в среде парижской эмиграции считалось хорошим тоном принадлежать к какой-нибудь русской политической партии, вроде как к клубу; партии постоянно враждовали между собой. Алданов выбрал для себя одну из самых незаметных, партию народных социалистов. Когда в разговоре публицист М. Вишняк отозвался о ней непочтительно, Алданов, улыбаясь, прервал его такой репликой: «Мы — что? Мы партия маленькая. А вот вас, эсеров, в Париже — двенадцать человек».

Литературные вкусы Алданова тоже ставили его особняком в эмигрантской среде. Он принадлежал к поколению, которое выдвинуло младших символистов, акмеистов, футуристов, однако опыт их творческих исканий оказался ему совершенно чужд. Хотя к XIX столетию Алданов может быть приписан лишь формально, по рождению, тем не менее по литературным пристрастиям он оставался человеком эпохи Тургенева и Толстого. Георгий Адамович сообщает в воспоминаниях:

«Он произносил эти два слова «Лев Николаевич» почти так же, как люди верующие говорят: «Господь Бог».

Когда-то в присутствии Бунина,— продолжает мемуарист,— он сказал,— по-моему, очень верно,— что великая русская литература началась лицейскими стихами Пушкина и кончилась на «Хаджи-Мурате».

Бунин полушутливо-полуворчливо возразил:

— Ну, Марк Александрович, зачем же такие крайности? Были и после Толстого недурные писатели!

Но задет он не был, очевидно, сразу согласившись, что теперь вопрос только в том, как бы не слишком стремительно с былых высот скатиться» [1].

Бунина и Алданова связывала не только дружба, но и сходство взглядов на литературу. Толстой был для обоих кумиром, оба недолюбливали Достоевского, были нечувствительны к поискам новизны в слове, характерным для Ремизова и Андрея Белого.

Последние десять лет своей жизни Алданов снова провел в Европе. В 1947 году он вновь вернулся во Францию, на этот раз поселился в Ницце. Выбрал Ниццу, потому что цены там были дешевле, чем в Париже. Поблизости жил поэт Георгий Иванов, который оставил о Ницце такие строки:

Голубизна чужого моря,
Блаженный вздох земли чужой
Для нас скорей эмблема горя,
Чем символ прелести земной [2].

У моря Алданов в последние годы своей жизни почти не бывал. Он перенес хирургическую операцию, страдал сильной одышкой. У него была переполненная книгами маленькая трехкомнатная квартира на третьем этаже, в доме, к счастью, был лифт. Он по-прежнему много работал. Очень страдал из-за того, что в связи с закрытием Издательства имени Чехова русскоязычным писате-

---

[1] Г. Адамович. Мои встречи с Алдановым. «Новый журнал», 1960, № 60, с. 107—115.

[2] Г. Иванов. Из литературного наследия. М., 1989, с. 110.

лям стало трудно печататься. В ноябре 1956 года в газетах и журналах западных стран появились юбилейные статьи: Алданова поздравляли с 70-летием. Репортер спросил его: как он собирается проводить знаменательный день? Ответом было: «Пойдем с женой в кинематограф»[1].

Алданов словно чувствовал, что жить ему осталось недолго: называл юбилей репетицией панихиды, любопытствовал, что напишут о нем в некрологах. Он умер через три месяца, умер ночью, почти мгновенно, без страданий. «Смерти он, кажется, не боялся,— рассказывает Г. Адамович,— и был убежден,— впрочем, это тоже мне только «кажется», что после нее нет ничего, базаровский лопух на могиле»[2]. После его смерти было опубликовано несколько произведений. В романе «Самоубийство», где в ряду персонажей выведен В. И. Ленин, звучала новая для скептика Алданова тема: оправдание бытия в одухотворенной, связывающей людей на долгие годы любви, любовь сильнее смерти.

Татьяна Марковна Алданова пережила своего мужа почти на двенадцать лет и скончалась в Париже 24 ноября 1968 года.

2

От опротивевшей ему современной жизни можно было уйти в прошлое, в исторический роман.

«Повесть о смерти».

«Под чуждым небосводом, под зашитой чуждых крыл» многие, как Бунин, продолжали писать о старой, ушедшей в прошлое России. Более молодые, как Набоков, покинувший родину в ранней юности, не могли пойти по этому пути, но и Запад оставался им чужд, они порой сознательно обходили приметы места и времени, конструируя утопическую Антитерру: на этой вымышленной планете происходит действие романа Набокова «Ада». Алданов избрал для себя исторический роман.

Великая русская проза XIX века начиналась с исторического романа, первое произведение Пушкина в прозе — «Арап Петра Великого». Исторический жанр необыкновенно соответствовал личности Алданова — ученого, аналитика, книжного человека.

История, кажется, единственная наука, создавшая ветвь литературы, не существует романа, к примеру, геологического или медицинского. Не оттого ли, что, уходя в прошлое, события обретают новую значительность и историки, постоянно обогащаясь опытом, вновь и вновь заново передумывают их взаимосвязи? По Алданову: нет суда истории, есть суд историков, и он меняется каждое десятилетие.

Когда в 1925 году появилось отдельное издание романа Алданова «Чертов мост», рецензию на него в журнале «Современные записки» поместил один из крупнейших русских историков — А. А. Кизеветтер. Отрывки из этого романа ранее печатались в том же журнале, но не нужно думать, что по этой причине он

---

[1] «Новое русское слово», 1956, 9 октября.
[2] Г. Адамович. Мои встречи с Алдановым.

был, так сказать, обречен на похвалу в рецензии. Не раз случалось, что произведения, опубликованные журналом, получали на его же страницах весьма сдержанную оценку критиков. Кизеветтер, высоко оценив книгу, подчеркнул ее главную, с его точки зрения, особенность: «Здесь под каждой исторической картиной и под каждым историческим силуэтом вы смело можете пометить: «с подлинным верно» [1]. В устах историка-профессионала это звучало наивысшей похвалой.

Г. Адамович рассказывает об удивительном своем разговоре с Алдановым. Как-то раз он случайно спросил писателя, откуда в его повести «Могила воина» взялась такая деталь: у императрицы Марии-Луизы попугай с голоса Наполеона заучил фразу «Marie, je t'aime» («Мари, я тебя люблю»). «Марк Александрович,— продолжает Г. Адамович,— назвал источник и, помолчав, не без досады добавил: — Знаете, это до сих пор мучает меня. Там сказано, что какую-то наполеоновскую фразу попугай повторял. Но не сказано какую. Я ее придумал сам» [2]. Как же была велика историческая добросовестность Алданова, если он сомневался в своем праве даже на такую пустяковую вольность!

И вместе с тем писатель меньше всего был коллекционером раритетов, ослепленным блеском открывшегося ему в читальных залах исторического материала. В его книгах своеобразная философия истории. В человеческой природе на протяжении столетий, по его убеждению, ничего не меняется. Пусть в наши дни летают на самолетах, а не ездят в ландо, пусть вместо лука и стрел придумали бомбы и ракеты — люди остались прежними, так же борются, любят, страдают, умирают, в людях больше хорошего, чем плохого. Алданов писал о разных эпохах, от середины XVI века до середины XX. Но чем менее схожи обстановка действия, костюмы, внешность персонажей, тем больше бросается в глаза общность человеческих характеров и судеб.

Первый русский историк Н. М. Карамзин уже знал, что современник, читая о далеком прошлом, будет непременно соизмерять его с актуальной реальностью: история «...мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости...» [3].

Для русских эмигрантских читателей 20—30-х годов исторический роман был не просто возможностью забыть о горьком своем бегстве на чужбину, перенесясь мечтой в мир героического, в мир царей и великих полководцев. Судьбой им было уготовано стать свидетелями и жертвами грандиозного исторического перелома, их жизнь раскололась надвое. В историческом романе они искали ответа на собственные «проклятые» вопросы: была ли русская революция неизбежной, существуют ли закономерности исторического процесса?

Алданов, как и его читатели, обращаясь к истории, думал прежде всего о революциях. Его дебют в художественной прозе —

---

[1] «Современные записки», Париж, 1926, № 28, с. 477.

[2] «Новое русское слово», 1958, 27 апреля.

[3] Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. 1, М., 1988, с. IX.

тетралогия «Мыслитель», посвященная эпохе Великой французской революции и Наполеона, затем он создал трилогию о России эпохи Октября — «Ключ», «Бегство», «Пещера». О революциях спорят, революционеры действуют и во всех поздних его произведениях. В романе «Истоки» он, несомненно, собственные мысли вложил в уста одному из персонажей: «Революция это самое последнее средство, которое можно пускать в ход лишь тогда, когда больше решительно ничего не остается делать, когда слепая или преступная власть сама толкает людей на этот страшный риск, на эти потоки крови... Там, где еще есть хоть какая-нибудь, хоть слабая возможность вести культурную работу, культурную борьбу за осуществление своих идей, там призыв к революции есть либо величайшее легкомыслие, либо сознательное преступление».

Он обратился к исторической прозе в первые послеоктябрьские годы, когда и в молодой Советской республике повышенная значительность бытия настойчиво звала к жизни историческое искусство. На петроградских площадях с участием десятков тысяч исполнителей ставили массовые спектакли-игрища, где уже названия декларативны: «Мистерия освобожденного труда», «К мировой Коммуне». В них проводилась мысль, что революция — закономерный и неизбежный результат исторического процесса, что по пути революции вскоре непременно пойдут все другие страны. Стенька Разин, Фома Кампанелла, Оливер Кромвель, все они воспринимались как предшественники нашей революционной современности.

В Берлине и в Париже, в «прекрасном далеке» Алданов начал разрабатывать совсем иную концепцию. В его первой повести «Святая Елена, маленький остров» есть такой эпизод. Ссыльный Наполеон решил диктовать историю своих походов. «Но скоро понял,— продолжает писатель,— что другие ее напишут лучше и выгоднее для него: сам он слишком ярко видел роль случая во всех предпринятых им делах — в несбывшихся надеждах и в нежданных удачах».

Тема случая в истории с той поры стала главной темой Алданова, лейтмотивом его произведений. Случаен был успех контрреволюционного переворота во Франции («Девятое термидора»), случайно удалось убить Александра II народовольцам («Истоки»), случай привел к началу первой мировой войны («Самоубийство»). Коли сама жизнь на нашей планете случайное осложнение слепых, никуда не ведущих, бессмысленных космических процессов, разумно ли искать поступательное движение в истории общества? Историю государственной власти он называл случайной сменой одних видов саранчи другими.

Он издевался над глупостью королей, над зверством революций, над верой, над собственным своим неверием. Но в написанной за несколько лет до смерти книге «Ульмская ночь. Философия случая» сформулировал свои положительные идеалы. Название этой книги, историко-философского трактата, связано с эпизодом из жизни великого Декарта.

...Устав от пышных торжеств по поводу коронации Фердинанда II во Франкфурте в августе 1619 года, где «пышно себя вели на театре Вселенной первые актеры этого мира», Декарт, сообщает его биограф А. Байе, отправился в глухой Ульм, чтобы в одиночестве «собрать мысли». Ночью 10 ноября он видел сон: Бог указывает ему дорогу, по которой надо идти. Наутро Декарт

записал в дневнике: «И начал я понимать основы открытия изумительного».

Что он имел в виду? Свою аналитическую геометрию? А может быть, основы созданного им позднее современного рационализма, исходящего из философской суверенности разума: «Я мыслю, следовательно, я существую»? Загадочность этой дневниковой записи вызывает вечные споры.

Нет ли в названии книги Алданова «Ульмская ночь» заявки также на «основы открытия изумительного»? Автор исходил из Декарта, но из его философии делал прикладные выводы, касающиеся истории и морали. Главная мысль книги — исторических законов не существует, история — царство слепого случая.

Книга построена в форме диалога двух собеседников, Л. и А. Это первые буквы настоящей фамилии Алданова и его псевдонима, она, таким образом, продолжающийся разговор автора с самим собой. Обсуждая ряд крупнейших событий XVIII—XX веков, переворот 9 термидора во Франции и войну 1812 года, Октябрьскую революцию и вторую мировую войну, писатель утверждает: их возникновение, их итог случайны. Скажем, пишет он, если бы Сталин принял в 1939 году сторону демократических государств, Германия побоялась бы, вероятно, развязать вторую мировую войну, немецкие войска не дошли бы до Волги и Кавказа, не разорили бы половину Европейской России. Еще одно «если бы»: если бы Рузвельт не послушал совета Эйнштейна и не дал денег на разработку атомной бомбы, а Гитлер, напротив, послушал Гейзенберга и дал — кто знает, чем кончилась бы война?

Подобные же рассуждения Алданов включает в качестве публицистических отступлений в художественную ткань своих романов, особенно поздних. В «Истоках» одна из выразительных глав посвящена решениям Берлинского конгресса 1878 года. Участники, «высокие договаривающиеся стороны», надеялись заложить основы прочного мира в Европе, на деле же принятые ими решения оказались своего рода миной замедленного действия, которая в конце концов взорвалась в 1914 году. Англии, например, пишет Алданов, Турция «добровольно» уступила Кипр в обмен на обещание впредь защищать ее от нападений России. После этой вынужденной уступки турки затаили глухую ненависть к англичанам, и, по словам турецких государственных людей, выступление Турции в первой мировой войне на стороне Германии стало, помимо прочего, отплатой за Кипр. «Бескровная победа» Биконсфильда на Берлинском конгрессе обернулась в результате гибелью тысяч англичан в Мраморном море, в Месопотамии, в Палестине. «Если бы Биконсфильду предложили в 1878 году приобрести, разумеется, «навсегда» (на Конгрессе все было навсегда) Кипр с потерей в десять раз меньшего числа людей, он, без сомнения, отклонил бы это предложение или был бы свергнут парламентом».

Писатель в категорических выражениях подводит итог: «Этот трагикомический конгресс точно имел целью опровержение философско-исторических теорий, от экономического материализма до историко-религиозного учения Толстого. Все было торжеством случая,— косвенно же торжеством идеи грабежа, вредного самому грабителю».

В «Ульмской ночи» Алданов пишет с заглавных букв: «Его Величество Случай». С его точки зрения, причинность в историческом процессе существует, но вместо единой цепи причин и следствий следует искать бесконечное множество независимых одна

от другой цепей. В каждой отдельно взятой последующее звено зависит от предыдущего, но в скрещении цепей необходимость и предопределенность отсутствуют — вот почему совершенно бесполезное занятие делать исторические прогнозы: они никогда и никому не удавались. Выдающаяся личность оказывает свое влияние на исторический процесс, лишь поскольку использует, по терминологии писателя, счастливый случай против несчастного случая. Он убежден: Октябрьская революция победила только потому, что главой лагеря революционеров был Ленин. «Личная цепь причинности очень сильного волевого человека столкнулась с гигантской совокупностью цепей причинности русской революции».

Вместе с тем победа революции, спорил с советскими историками Алданов, отнюдь не была исторически предопределенной. В его романе «Самоубийство» воспроизведен известный по мемуарной литературе эпизод, когда Ленин осенью 1917 года скрывался на квартире Фофановой: ее не было дома, и Ленин неосторожно откликнулся на стук в дверь. Алданов заканчивает этот эпизод следующим диалогом:

« — Да как же вы смеетесь, Ильич! Ведь из-за этой случайности могла сорваться вся революция!

— Не могла, никак не могла, Маргарита Васильевна,— говорил он, продолжая хохотать заразительным смехом.— Нет случайностей, есть только законы истории...»

С точки же зрения Алданова, любая подобная случайность могла привести к тому, что весь ход мировой истории XX столетия оказался бы иным.

Он возвращается в «Ульмской ночи» к древнегреческому понятию двойственной судьбы: есть судьба неотвратимая, «мойра», и есть «тюхе», судьба наибольшей вероятности, с которой можно бороться. Бросая вызов «тюхе», человек, по Алданову, обретает свободу, жизнь его наполняется смыслом. Но главное заключается в том, во имя каких целей ведется эта борьба.

Приняв, что единого пути к счастью, единого пути к освобождению для людей не существует, Алданов подходит к идее «выборной аксиоматики», одной из важнейших в его философии истории: человек, общество выбирают, что именно принять для себя за аксиомы, за приоритеты, в какую сторону направить главные усилия. В качестве цели может быть выбрано даже воскрешение покойников, как в «Философии общего дела» Н. Федорова, или — более распространенный и более опасный вариант! — установление власти над миром.

В основе выборных аксиом-приоритетов, утверждается в «Ульмской ночи», должны лежать нравственные критерии. Снова автор обращается к Декарту, приводит цитату из его письма принцессе Елизавете Богемской: «Самая лучшая хитрость — это не пользоваться хитростью. Общие законы общества ставят себе целью, чтобы люди помогали друг другу или, по крайней мере, не делали друг другу зла. Эти законы, как мне кажется, настолько прочно установлены, что тот, кто им следует без притворства и ухищрений, живет гораздо счастливее и спокойнее, чем люди, идущие другими путями. Правда, эти последние иногда достигают успехов, вследствие невежества других людей и по прихоти случая. Но гораздо чаще им это не удается, и, стремясь утвердиться, они себя губят». Алданов считает эти слова квинтэссенцией государственной мудрости Декарта, опережавшей на три столетия свое время. Между А. и Л. происходит следующий обмен репликами:

«А.— Гитлер, кстати, «достиг успехов» именно вследствие невежества других людей и по прихоти случая. Он же, «стремясь утвердиться», себя и погубил.

Л.— К несчастью, так бывает не всегда. Не всегда себя губят и самые жестокие из тиранов. Порою их даже хоронят с великой торжественностью, причем приходят горячие сочувственные телеграммы от людей, от которых никак их ждать не приходилось.

А.— «Je ne sais rien de gai comme un enterrement» [1],— сказал Верлен. Но Декарт и не утверждал, что диктаторы губят себя всегда. Он высказался осторожнее: «гораздо чаще». В перспективе же столетия — а вдруг и много раньше? — он, будем надеяться, окажется тут прав во всем, без исключений».

«Ульмская ночь» увидела свет в год смерти Сталина. Трудно сейчас сказать, были ли написаны приведенные выше строки по горячим следам этого события или, что более вероятно, до него. Воспринимались же они, несомненно, в контексте начавшихся исторических перемен, Алданов писал об «искорке», о том, что невозможно угасить в человеке стремление к свободе и правде. Пусть «искорка» порой кажется совсем слабой, скоро, предсказывал писатель, начнется возрождение нравственных ценностей.

Высшая духовная ценность и путеводная звезда для него — свобода. «Свобода выше всего, эту ценность нельзя принести в жертву ничему другому, никакое народное волеизъявление ее отменить не вправе: есть вещи, которых «народ» у «человека» отнять не может». Целый раздел книги посвящен обоснованию проекта создания всемирного «треста мозгов» — по Алданову, лучшие умы человечества должны выработать единую систему нравственных ориентиров, и принятая во всемирном масштабе она предотвратит войны. Разумеется, шансы на успех этого проекта крайне невелики, но почему не попытать счастья?

Еще один раздел, «Диалог о русских идеях», содержит оценку развития русской культуры в XIX столетии. В книге Н. А. Бердяева «Русская идея» (1946) утверждалось, что русскому характеру присущи прежде всего безграничность, устремленность в бесконечность, русский народ — это народ откровений и вдохновений, который не знает меры и легко впадает в крайности. Алданов же доказывает: «бескрайности» в русском характере нет, напротив, русской культуре в высших ее проявлениях свойственна внутренняя гармония, она сосредоточена на идеях добра и красоты. Этими идеями руководствовались самые замечательные русские мыслители, они воплощены в лучших произведениях Пушкина, Толстого, Чайковского, Левитана. Глава «Диалог о русских идеях» в «Ульмской ночи» Алданова — объяснение в любви давно оставленной им России.

3

Писательская известность пришла к Алданову с первым же его произведением. В 1921 году Франция отмечала столетие со дня смерти Наполеона, и повесть «Святая Елена, маленький остров» обратила на себя внимание в ряду юбилейных книг, была переведена на французский язык. Наполеон Алданова совсем не похож на Наполеона Толстого: это печальный, больной человек, мир утомился от его дел, и сам он утомился. Вместе с тем язвительный автор меньше всего хотел бы, чтобы читатель жалел На-

[1] «Не знаю ничего более веселого, чем похороны» (*франц.*).

полеона или восхищался им. Наполеон по ходу действия мошенничает, играя с девочкой в карты на деньги, один из приближенных всерьез предлагает ему бежать с острова в корзине с бельем.

Алданов пришел в литературу в эпоху великих исторических катаклизмов, и мир его произведений катастрофичен, даже названия многих из них напоминают о беде: «Начало конца», «Бред», «Повесть о смерти»... «Святая Елена, маленький остров» тоже могла быть названа повестью о смерти — заканчивается смертью Наполеона. Вместе с тем у читателя не рождается ощущение трагического: романист смотрел на жизнь глазами историка, постоянно помня, что гибель великой империи или смерть выдающегося человека лишь частный случай, окончание одного акта пьесы под названием «история», но не действия в целом — оно продолжается, покуда существует человеческий род. Через десятилетия или века события вновь удивительным образом напоминают давно прошедшие, но узор каждый раз повторяется не вполне, складывается отчасти по-новому, как в калейдоскопе, и остается увлеченно следить за переливами меняющегося узора. «Умный человек сам должен был почувствовать, что Наполеон не может бежать в корзине с бельем»,— роняет Алданов, и в памяти читателя 20-х годов возникала недавняя неловкая ситуация, когда из революционного Петрограда бежал, переодевшись в женское платье, один из тех, кто «глядел в Наполеоны»,— Керенский.

Наполеон Алданова личность крупная и одаренная. Масштабны его размышления о судьбах мира, об уроках истории. Но в повести появляется образ представителя русского императора на острове Святой Елены графа Александра Антоновича де Бальмена — и этот герой, не вошедший в историю, тоже мыслит широко. Шотландец по крови, русский по воспитанию, де Бальмен не сделал блестящей карьеры потому, что сам не хотел ее делать, был от природы любопытен, но не честолюбив. Чрезвычайно важная авторская мысль, она пройдет красной нитью через все творчество Алданова: принципиальной разницы между знаменитостями, «великими людьми» (эти слова писатель порою берет в кавычки) и простыми смертными нет, лишь случай окружает людей ореолом и придает им величие в глазах окружающих. Наполеон — эталон великого человека. Но что если бы на заре его славы эскадру, отправлявшуюся в египетский поход, разбили в Средиземном море англичане? «Великие люди блестят лишь на расстоянии, и князь много теряет в глазах своего лакея. Это происходит оттого, что великих людей нет»,— говорил Кант.

Разумеется, это преувеличение, максима, но преувеличения становятся афоризмами, острее формулируют мысль. Реалистическая горькая повесть о последних днях Наполеона, ссыльного, униженного, завершается многозначительным анекдотом: малаец Тоби, один из слуг, не хочет верить, что умерший «раджа» — великий завоеватель, он-то знал наверняка, что великим завоевателем можно назвать только Сири-Три-Бувана, знаменитого джангди царства Мекенкабау.

Мирская слава, по Алданову, скоротечна во времени, ограничена в пространстве. Подводящему итоги прожитого Наполеону писатель вкладывает в уста вечный вопрос: «Если Господь Бог специально занимался моей жизнью, то что же ему угодно было сказать?» Вопрос, разумеется, остается без ответа. В кабинете у тела покойного императора аббат читает Библию, пророка Екклесиаста: «Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нече-

стивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы...»

Суета сует. Алданов воспроизводит отдаленную столетием эпоху, чтобы утвердить: зависимость человека от суетных страстей не есть черта только современности, во все времена и при любых обстоятельствах человеческая природа неизменна. Человек выбирает себе жизненную цель, стремится к ней, вот-вот готов ее достичь ценой неимоверных усилий, но вдруг она отодвигается на огромное расстояние или обнаруживает свою несостоятельность. Человек стремится к славе, власти, злату, льется кровь — но все это не ехидная ли шутка химеры, беса? Вечная стихия человеческого существования — ирония судьбы. В конце повести «Святая Елена, маленький остров» помянута одна из химер Собора Парижской Богоматери, рогатый и горбоносый, с высунутым языком дьявол-мыслитель, смеющийся над людьми, живое отрицание мудрости веков: все человеческие деяния обречены на забвение, бессмысленны,— как бы говорит дьявол-мыслитель. «Мыслитель» — назовет Алданов свою тетралогию, где «Святая Елена, маленький остров» станет заключительной частью. Тот же образ химеры откроет тетралогию: пролог отнесен к XII веку, когда безвестный ваятель создал каменное чудо-чудовище.

Работа над романами «Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор» продолжалась более шести лет. В 3-м и 4-м номерах журнала «Современные записки» за 1921 год была напечатана повесть «Святая Елена, маленький остров», а уже в 7-м номере появились первые главы романа «Девятое термидора». 13 ноября 1924 года Алданов сообщал Бунину, что приступил к работе над романом «Чертов мост»: «Больше читаю, чем пишу». В августе 1925 года он поехал в Швейцарию восстановить в памяти Чертов мост, которого «не видел ровно двадцать лет», а 27 сентября того же года написал, что роман закончен. Об окончании «Заговора», а вместе с ним и всей тетралогии Алданов известил Бунина 16 июня 1927 года: «Теперь я свободный художник».

Первоначально «Мыслитель» задумывался как трилогия, однако в конечном счете цикл стал состоять из четырех произведений: трех романов и повести, действие которых охватывает 1793—1821 годы.

Произведения эти писались не в хронологической последовательности. Закончив повесть о последних днях Наполеона, Алданов обратился к началу его карьеры. Постичь наполеоновскую эпоху нельзя было вне темы Великой французской революции, и Алданов создает «Девятое термидора», а затем два романа, преимущественно связанные с событиями русской истории конца XVIII и начала XIX века. В центре романа «Чертов мост» смерть Екатерины II и переход Суворова через Альпы, в романе «Заговор» воссоздана история убийства Павла I. Сюжет «Заговора» схож с сюжетом пьесы Д. С. Мережковского «Павел I», но у Алданова никакой фантасмагории, проводится мысль, что Павел стал безумен только к концу своего царствования, даны крупные образы Палена и других заговорщиков. Люди русской истории, подчеркивал писатель, в умственном и моральном отношении были более значительны, чем широко известные на Западе люди истории французской.

Воссоздав крупные события истории России и Франции наполеоновской эпохи, писатель сознательно исключил из поля зрения величайшее из них, Отечественную войну 1812 года. Читателю

подсказывалась возможность вставить великое историческое полотно Толстого в его, Алданова, серию. Конечно же, в таком ходе мыслей была гордыня, но плох солдат, не мечтающий стать генералом. Алданов, очевидно, подражал Толстому и в заданной односторонности философии истории, только провозглашал всевластие случая вместо исторического фатализма.

Тетралогия «Мыслитель» — это прежде всего громадная галерея исторических портретов, Екатерина II, Павел I и Александр I, Безбородко и Воронцов, Робеспьер, Баррас и Фуше, Питт, Нельсон и Гамильтон... Каждый из них по-своему воплощает эпоху, но кроме того провоцирует читательскую мысль, ставя вечные нравственные вопросы. В «Девятом термидора» Робеспьер во имя «бесконечно высокой, бесконечно прекрасной цели» без жалости отправляет сотни людей под нож палача, но часами может говорить о добродетели, приходит в отчаяние от мысли об умершем голубе. Давид, знаменитый художник, обещал перед переворотом, что выпьет с Робеспьером цикуту, но обманул, остался жить и создал еще десятки шедевров искусства. Вчера еще всесильный вельможа Безбородко («Чертов мост») мучительно боится, что с восшествием на престол нового царя он впадет в немилость, потеряет власть и привилегии. Он стар и дряхл, но ему и на ум не приходит отправиться на покой... По тексту рассыпаны замечания о том, что мотивы поступков, нравственные проблемы не меняются на протяжении веков.

Апофеозом каждого романа является изображение крупного исторического события. В «Девятом термидора» это погребение Робеспьера в братской могиле — его еще недавно именовали неподкупным, но теперь называют не иначе как тираном, в «Чертовом мосте» переход Суворова и его чудо-богатырей через Альпы, в «Заговоре» убийство императора Павла в Михайловском замке. Автор рисует эти события с такой яркостью, что читатель забывает об отдельных героях, сам как бы сталкивается с Историей лицом к лицу. История неумолимо, как шаги Командора, врывается в обычное течение событий, человек вдруг ощущает свое бессилие, исторические события Алданов уподобляет извержению Везувия.

Романы объединяют три вымышленных персонажа. Как в лермонтовском «Герое нашего времени» главный герой Печорин оттенен пошлым Грушницким и мудрым скептиком Вернером, так в историческом повествовании Алданова около центрального героя Юлия Штааля пошляк Иванчук и философствующий бессребреник старик Пьер Ламор (la mort по-французски значит «смерть»). Иванчука, разумеется, ждет, как говорили в старину, исполнение желаний: он разбогатеет, станет важной персоной. Ламор, остроумец, когда-то знавший Вольтера, устраняется от участия в событиях, предпочитая их комментировать. Штаалю уготовано промежуточное положение: он свидетель и участник исторических событий, но личность ординарная.

Под пером другого писателя история Штааля могла бы превратиться в приключенческий роман. Герой вступает в повествование как юный кандидат в фавориты престарелой Екатерины II, затем становится тайным агентом сразу двух разведок, принося им, впрочем, мало пользы, наконец, последнее о нем упоминание — он в чине полковника в 1821 году связан с Союзом благоденствия и другими тайными обществами, но «говорят о нем раз-

но». Алданов, однако, избегал ярких красок, и «непроявленность» героя входила в его замысел.

В персонаже-авантюристе нет прочного морального стержня, он может сыграть любую роль, и в нем отражается эпоха. По ходу действия Штааль примеряет разные маски, изображая то влюбленного, то баловня судьбы, то решительного, любящего свое отечество молодого человека. Честолюбие и жажда богатства толкают его к действиям, но всякий раз он терпит неудачу. Даже активное его участие в мартовском перевороте 1801 года вознаграждено комедийно-убого: ему поручают сторожить заезжую французскую красавицу. Алданов не сатирик, он не бичует героя, но утверждает: участие в крупных событиях это еще не признак крупной личности.

Вечная трудность исторических писателей — проблема достоверности источников. Как часто очевидцы и даже газетные отчеты о событиях вступают между собой в противоречие! «Путает как очевидец» — эта фраза стала крылатой. Одни источники свидетельствуют, что Робеспьер был застрелен, другие что он покончил с собой. Историк может привести две версии, писатель почти всегда вынужден обходиться одной, но тут же становится объектом упреков ученых. Алданов любил фразу французского профессора Олара: «Нет ничего более почетного для историка, чем сказать: я не знаю». В романе «Девятое термидора» использован такой сюжетный ход: его Штааль присутствует на историческом заседании Конвента, но он мучительно хочет спать и в решающий момент засыпает. Добившись сопричастности читателя событию, автор уходит в то же время от ответа на вопрос: как умер Робеспьер? Много позднее, в «Повести о смерти», изображая смерть Бальзака, Алданов столкнется с той же проблемой, но найдет иное творческое решение. В художественную ткань повествования ворвется публицистика. Алданов перескажет читателю версию художника Жигу («с множеством отвратительных подробностей»), опубликованную через полвека после события Октавом Мирбо, расскажет о спорах вокруг этой версии французских «бальзакистов», а потом закончит повествование о великом писателе на высокой ноте: приведет трогательный, не вызывающий сомнений по части достоверности рассказ Гюго о посещении им умирающего Бальзака.

Крупный мастер исторического очерка, Алданов перенес в исторический роман искусство расцвечивать повествование выразительным документом. Он воссоздавал неповторимый аромат наполеоновской эпохи то с помощью цитаты из Талейрана, то приводя девиз рода Баррасов или рецепт «утиральника Венеры» из старинного руководства по косметике. Возникала опасность превращения романа в коллекцию подобных антикварных находок, но писателя выручало чувство меры. Старомодными выражениями, цитатами он пользовался умеренно и умело. Цитаты не слишком длинны, старомодные выражения не слишком часто появляются в тексте. Очень характерна авторская правка, предпринятая при переиздании романа «Девятое термидора». В первых двух изданиях он писал, как в старину, «Ермитаж», но готовя третье издание, оставил устаревшую форму только при первом употреблении слова, а затем перешел к современной: «Эрмитаж». В послесловии к роману «Пещера» Алданов рассказал еще, что похоронную процессию Робеспьера в «Девятом термидора» описал фразами одинаковой длины, а приближение кавалерийского отряда Бонапарта

в «Чертовом мосте» фразами с равномерно нарастающим числом слов, но читатели не заметили этого приема.

Однако один прием активизировать читательское внимание, найденный Алдановым в первой его повести, был замечен сразу. Некоторые имена наполеоновской эпохи, в более позднее время прославленные, в пору действия еще не были широко известны — на этом основана своеобразная игра с читателем. Вот Наполеон, упомянув имя одного немецкого писателя, для француза оно звучит Вольфган Гет, надеется сохранить его для потомства — читатель задумывается, нуждался ли Гете в такой чести. Вот де Бальмен вспоминает: Чаадаев говорил, что в Лицее два мальчика пишут прекрасные стихи. «Того, что поталантливее, зовут, кажется, Илличевский. А другого... забыл... Diable!.. Забыл...» Читатель молниеносно схватывает, что под менее талантливым имелся в виду Пушкин.

Популярности серии «Мыслитель» способствовали и щедро рассыпанные в тексте, яркие, как самоцветные камни, афоризмы. Они западали в память, становились пословицами. «На свете не существует любимых народом правительств», «Если б с сотворения мира соблюдались все подписанные договоры, данные обещания и все торжественные присяги, то подумайте, какая участь постигла бы прогресс и цивилизацию?»

«Ум резкий, сильный и насмешливый»,— писал об Алданове в статье «Мыслитель» парижский журнал «Звено» [1]. Писатель М. Осоргин декларировал в «Современных записках»: «После «Заговора» не приходится больше обсуждать, подлинный ли художник М. Алданов. Вслед за читателем — и критике придется безоговорочно признать М. Алданова одним из первоклассных художников новой русской литературы» [2].

* * *

16 июня 1927 года Алданов сообщил Бунину, что окончил «Заговор», а вместе с ним всю тетралогию, а уже из письма от 27 июля того же года явствует: он полностью в работе над романом «Ключ». Замысел романа из современной истории относится к 1923 году, тогда же были написаны первые отрывки. Но вплотную писатель взялся за работу только через четыре года, окончив серию «Мыслитель». Писал быстро. В 1928 году фрагменты из не завершенного еще романа начали печататься в журнале «Современные записки», отдельное издание увидело свет в Берлине в 1930 году. Эмигрантские издатели, хотя платили авторам мало, отличались завидной оперативностью.

Заканчивая «Ключ» в сентябре 1929 года, Алданов называет его первым томом, приняв решение писать продолжение. Второй том, роман «Бегство», начинает писать сразу же, но параллельно создает еще повесть, крупный очерк и пьесу. Повесть «Десятая симфония», где один из персонажей Бетховен, и очерк «Азеф» имеют внутреннюю связь: писатель размышляет о величии человеческого духа и о том, как низко может человек пасть. Эти два произведения вышли в виде одной книги в 1931 году в Париже. Пьеса из эпохи первой мировой войны «Линия Брунгильды», написанная в 1930 году, была поставлена в 1937 году парижским Русским театром.

---

[1] «Звено», Париж, 1927, № 5, с. 260.
[2] «Современные записки», 1927, № 33, с. 525.

Роман «Бегство» публиковался в журнале «Современные записки» в 1930—1931 годах, в 1932 году выходит отдельное издание, и в предисловии автор сообщает: «К людям «Ключа» — «Бегства» я, быть может, еще вернусь». Он уже пишет третий том трилогии, роман «Пещера».

В отличие от «Ключа» и «Бегства» «Пещеру» Алданов писал медленно, на протяжении почти четырех лет, постоянно терзаясь неудовлетворенностью. Отвлекала газетная поденщина, работа над множеством очерков. В 1932 году вышел сборник очерков «Земли, люди», в 1934-м — «Юность Павла Строганова и другие характеристики», в 1936-м — «Новые портреты». В Германии после прихода к власти Гитлера русским эмигрантам стало почти невозможно печататься, а Германия была центром русскоязычного книгоиздательского дела. Закончив «Пещеру», Алданов собирался уйти из литературы. 14 февраля 1935 года он писал Бунину: «Похвалы Ваши (искренне ими тронут, со всеми поправками на Ваше расположение) пришли, так сказать, вовремя: кончена моя деятельность романиста, и Бог с ней». «Пещера» вышла в двух томах в разных издательствах, том первый в 1934, второй в 1936 году.

Трилогия потребовала двенадцати лет напряженного труда Алданова и стала одним из главных его произведений. Но Алданов не получил, закончив ее, хора похвал. Слишком властно требовала отклика текущая современность, приближалась вторая мировая война, тема трилогии, русская революция, на некоторое время для западного читателя оказалась отодвинутой в тень. Когда был издан «Ключ», его почти сразу же перевели на пять языков, «Пещеру» перевели только на польский и только первый том. Было и другое обстоятельство: из трех романов «Ключ», несомненно, наибольшая удача Алданова, «Пещера» — наименьшая. Продолжения удачно начатых произведений литературы, кино, театра чаще всего оказываются сравнительно слабыми.

И все же значение трилогии Алданова трудно переоценить. Это единственное в своем роде широкое полотно, взгляд с Запада на русскую революцию, на ее предысторию («Ключ»), на вынужденное *бегство* многих, на тщетность попыток найти *пещеру* — убежище, спрятаться от чужбины-кручины.

В отличие от серии «Мыслитель» писатель почти полностью отказался от изображения исторических персонажей. События недавнего прошлого еще не остыли, не отошли далеко в историю, и Алданов меньше всего хотел, чтобы споры вокруг его книг шли о том, достоверно ли он изобразил, скажем, Короленко или Горького. Каждый из читателей имел собственное к ним отношение и вряд ли изменил бы его под воздействием художественной литературы. Поэтому Алданов бегло вывел только одно историческое лицо на страницах романа «Ключ», Шаляпина, который споров не вызывал, а о других знаменитых современниках лишь вложил суждения в уста вымышленных персонажей.

Один и тот же круг вымышленных персонажей объединяет трилогию. Раскрывая свой замысел, Алданов писал в предисловии к «Бегству»: «На фоне перешедших в историю событий только проявляются характеры людей». Очень знаменательно, что характеры, выбранные писателем, почти все ординарны, малозначительны. На страницах романа «Ключ» проходит вереница мельтешащихся, обремененных суетными заботами интеллигентов: неутомимый репортер дон Педро напряженно ищет знаменитостей для

газетного интервью, адвокат Семен Исидорович Кременецкий готовится к торжественному юбилею, молодые люди собираются поставить любительский спектакль и увлеченно обсуждают роли.

В «Пещере» важен такой диалог:

« — Разве вы пишете книги?

— Одну написал. Она называется «Ключ».

— «Ключ». Это книга по химии?

— Нет, это философская книга. Книга счетов».

Книгой счетов называет свой «Ключ» сам автор.

Большинством читателей конца 1920-х годов «Ключ» воспринимался как современный роман, события, в нем воспроизведенные, были частью их собственного недавнего жизненного опыта. Но Алданов видел в современности движущуюся историю и считал себя вправе предъявлять нравственный счет тем, кто привел Россию к катастрофе.

Поначалу читателю трудно схватить, что действие происходит в разгар первой мировой войны, уютный гореупорный мирок прочно отгородился от драм большого мира. Лишь самые умные, как Федосьев и Браун, мрачно повторяют: Российская империя катится в бездну. Но и они только разговаривают...

Выразителен один из заключительных эпизодов романа: объяснение в любви на заснеженной петроградской улице. Лирическую эту сцену прерывает описание очереди: несчастные голодные люди с ночи стоят за хлебом. Кажется, в воздухе разлито предчувствие грядущих потрясений. «Есть редкое обаяние у великих обреченных цивилизаций,— говорит Браун.— А наша одна из величайших, одна из самых необыкновенных...»

Браун и Федосьев, по воле автора, подобно Пьеру Ламору, не участвуют в действии, они только комментируют события, не споря между собой, лишь дополняют один другого. Они резонеры-двойники, хотя их социальное положение весьма различно: Браун — химик, левый интеллигент, подозреваемый в убийстве, Федосьев — глава тайной политической полиции.

Устами Брауна Алданов предлагает романтическую концепцию двоемирия: в мире А все кажется разумным, логически объяснимым, все дает основания для оптимизма и катится до поры до времени по накатанной колее. Но в этот уютный мир вдруг непредсказуемо врывается скрытый мир В, сущность вещей, исполненная жестокости и злобы. Эта концепция призвана объяснить надвигающуюся Февральскую революцию.

Поскольку все персонажи романа «Ключ», кроме Брауна и Федосьева, заурядны, заставить читателя следить за их судьбами легче всего было с помощью острого сюжетного хода, увлекательной интриги. К моменту появления романа «Ключ» у Алданова была репутация серьезного исторического писателя. Новая его книга неожиданно начиналась как детектив. Сможет ли писатель обновить жанр, к которому большинство критиков относилось пренебрежительно?

...Труп банкира Фишера. Версия об убийстве. Расследование. Николай Петрович Яценко — честный, преданный своему делу следователь. Подозреваемые. Различные версии о мотивах преступления и личности преступника. То против одного, то против другого персонажа выдвигаются, казалось бы, неопровержимые улики...

Но каждый раз система доказательств рушится, логика здравого смысла обнаруживает свою несостоятельность. Тем временем

стержневой вопрос «кто преступник?» отодвигается на второй план, оказывается неважным: на страницы книги врывается Февральская революция. Американский литературовед Николас Ли, автор многочисленных работ об Алданове, в книге, посвященной его романам, убедительно доказывает, что над избранной писателем сюжетной схемой витает тень Достоевского[1].

Слово «ключ», вынесенное в заголовок, многозначно. Летит с моста в реку *ключ* от квартиры, который мог бы стать уликой для следствия. Автор, без сомнения, хотел подобрать *ключ* к событиям Февральской революции, дать им свою трактовку. В самом широком смысле «ключ» — это универсальный *ключ* к пониманию судеб человечества, истории, который пытаются найти в философических беседах Федосьев и Браун.

Алданов достигает необыкновенного лаконизма и пластичности в заключительных сценах романа. Февральская революция, «невеселый праздник на развалинах погибающего государства», представлена сценой, когда ликующая толпа несет на руках освобожденных из тюрьмы узников. На переднем плане проплывающая над головами демонстрантов фигура Загряцкого, тайного агента охранки по кличке Брюнетка: его ошибочно приняли за жертву старого режима! Вновь звучит алдановская тема иронии судьбы. А на заднем плане этой выразительной сцены горящее здание суда, символ грядущих беззаконий. «Может быть, и всему конец... Ведь это Россия горит!» — думает Яценко.

«С убежденною силой истинного художника Алданов показал нам, разумеется, не *всю* правду (это невозможно), а ту правду, которую он увидел в людях и жизни»,— так подытожил свои впечатления от романа М. Цетлин в статье, напечатанной в журнале «Современные записки»[2].

Роман «Бегство», служащий продолжением «Ключа», создавался в полемике с незадолго перед тем вышедшим в СССР романом А. Н. Толстого «Восемнадцатый год». В Берлине в начале 20-х годов оба писателя были дружны, Алданов и в дальнейшем вспоминал Толстого с ноткой сердечности. Время действия романа Алданова также 1918 год. Но герои-интеллигенты А. Толстого ценят превыше всего родину и начинают принимать революцию, герои-интеллигенты Алданова участвуют в контрреволюционном заговоре и бегут за границу.

В «Бегстве» есть ряд сильно написанных сцен, в которых чувствуется рука мастера. Образ начинающегося произвола возникает в сценах расправы над ни в чем не повинным Николаем Яценко. Выразителен жестокий финал романа: потопление баржи с заключенными. В ряду персонажей появляется сатирический образ женщины-комиссара Ксении Каровой. Алданов полемизирует с советскими писателями, романтизировавшими подобный тип.

Отношение автора к другим персонажам становится более сочувственным. Почти каждому из них революция принесла тяжкие испытания, нельзя не сострадать человеческой боли. Разумеется, Алданов-эмигрант симпатизирует и неудавшемуся заговору. Вместе с тем в изображении Фомина, Нещеретова, Горенского он сохраняет ироническую нотку. Они рассуждают о кровной любви

---

[1] C. Nicolas. Lee. The Novels of M. A. Aldanov. The Hague — Paris, 1969.

[2] «Современные записки», 1930, № 41, с. 526.

к России, но главным образом озабочены устройством своих денежных дел. Майор Клервилль покороблен новыми революционными порядками: как можно сажать прислугу за один стол с господами! Даже «мудрецы» из «Ключа» Браун и Федосьев в «Бегстве» снижены, стали мельче.

Проницательный критик Владимир Вейдле, анализируя роман, высказал следующее любопытное соображение. Героев русской классической литературы XIX века вопреки школьным учебникам нельзя назвать типами, они слишком яркие индивидуальности. Фердыщенко и Раскольников, любой солдат или помещик у Л. Н. Толстого прежде всего личность, а изображению характерного для времени и среды, типического, он отдает только излишки своего «я». Тургенев заявлял, что ставил себе целью воплотить тип лишнего человека, но для его Базарова рамки «типа» определенно слишком узкие.

Приемы изображения человека у Алданова те же, что у писателей-классиков, но его предмет иной: он подобно Олдосу Хаксли, Роже Мартену дю Гару исходит из убеждения, что в людях больше сходств, чем различий, что они в главном повторяются. Персонажи «Бегства», писал Вейдле, как вместе запечатленные на фотографическом снимке члены одной семьи [1].

Вейдле, думается, был не вполне прав, не у всех русских классиков XIX столетия преобладало стремление подчеркнуть в героях неповторимое. В романе Герцена «Кто виноват?», например, читаем, что к помещику Негрову «...изредка наезжал какой-нибудь сосед — Негров под другой фамилией». У писателей — по преимуществу художников герои перерастали свою эпоху, у писателей — по преимуществу публицистов они ей точно соответствовали. Алданов, как и Герцен, относился к последним. Повторяемость — свидетельство заурядности. Не была ли задумана Алдановым повторяемость-заурядность персонажей как ключ к пониманию их поражения и вынужденного бегства? О том, что подобное предположение не лишено оснований, свидетельствует важная мысль, сформулированная Алдановым в рецензии на книгу П. Муратова «Эгерия»: «Искусство исторического романа сводится (в первом сближении) к «освещению внутренностей» действующих лиц и к надлежащему пространственному их размещению,— к такому размещению, при котором они объясняли бы эпоху и эпоха объясняла бы их» [2].

На третью часть трилогии, «Пещеру», написал рецензию Владимир Набоков. Отметив правильность строения романа и изысканную музыкальность авторской мысли, он главное место уделил персонажам. Как бы развивая взгляд Вейдле, Набоков замечал: «На всех них заметна печать легкой карикатурности. Я употребляю это неловкое слово в совершенно положительном смысле: усмешка создателя образует душу создания» [3]. Набоков был далек по творческой манере от Алданова, но важнейшую особенность его прозы сформулировал очень точно.

В «Пещере» нет острой сюжетной интриги, роман состоит из отдельных слабо связанных между собой сцен, рисующих житье-бытье русских эмигрантов на Западе. В сравнении с первыми двумя частями трилогии в «Пещере» заботы, проблемы персона-

---

[1] «Современные записки», 1932, № 48, с. 472—475.
[2] Там же, 1923, № 15, с. 406.
[3] Там же, 1936, № 61, с. 470.

жей становятся еще более будничными. Писатель рассматривает, вписывается ли каждый из них в новую для него действительность: кто-то разбогател, другой, по контрасту, превратился из магната в одного из «бедных родственничков Европы». Неудачников большинство, они тоскуют, раздражаются, жалуются: «Пока деньги оставались, с ней еще разговаривали как с равной — и то не совсем, а почти как с равной. Но если растают последние гроши, что тогда?» Два персонажа, в начале трилогии самых крупных, добровольно уходят — Федосьев в католические монахи, Браун вообще из жизни. Никакой апологии эмиграции, горькое чувство тщеты и хрупкости бытия.

Брауну приписано авторство вставной новеллы из эпохи Тридцатилетней войны. Эта новелла «Деверу», возможно, восходит к неосуществленному замыслу Алданова написать роман о XVII веке. В ней происходят бурные драматические события, контрастирующие с эмигрантским безвременьем: убивают Валленштейна, отрекается Галилей. Горькие диалоги о природе побеждающего зла, об опасности любой новой идеи, завладевающей умами, перекликаются с современностью, в ряду персонажей появляется мудрый Декарт, и в уста ему писатель вкладывает такую максиму: «Та правда, которая при первом своем появлении выражает намеренье осчастливить мир, внушает мне смертельный, непреодолимый ужас. Палачей всегда приводили за собой пророки. Ибо все они были и лжепророками — для значительной части людей».

Алданов не осуществил своего плана уйти из литературы, окончив «Пещеру». Новый грандиозный замысел стал его волновать. Он решил, что тетралогия «Мыслитель», повесть «Десятая симфония» и трилогия «Ключ», «Бегство», «Пещера» должны вместе стать частью единой большой серии романов и повестей, охватывающих двести лет истории. Каждая книга в этой серии будет самостоятельна, хотя их свяжут общие действующие лица (или предки и потомки), а кроме того некоторые предметы, переходящие от поколения к поколению. Воплощению этого замысла он посвятил почти всю свою жизнь: к восьми ранее написанным произведениям в последующие двадцать лет добавились еще восемь.

Из них три он написал еще до начала второй мировой войны. Открывает серию самая ранняя по времени действия философская повесть «Пуншевая водка», по подзаголовку «сказка о всех пяти счастьях»: в ней описан 1762 год, воцарение Екатерины II. Споры на вечные нравственные темы ведут Ломоносов, Алексей Орлов, Миних, последний декларирует: «Власть, желающая держаться прочно, должна внушать людям либо любовное уважение, либо сильнейший страх». Еще одна философская повесть «Могила воина», «сказка о мудрости», рисует Байрона и Александра I. Не вошла в серию, но примыкает к ней повесть «Бельведерский торс» — одно из немногих произведений Алданова, где тема России отсутствует. Эту повесть о неудавшемся покушении безумца на жизнь римского папы Пия IV в XVI веке очень высоко ставил писатель Гайто Газданов: ему нравилось, что «фигура официального героя повести обманчиво-центральна» и по мере действия отходит на второй план. «Но зато мы читаем о конце жизни Микеланджело, об искусстве и — как всегда у Алданова — об ужасной тленности существующего» [1].

---

[1] «Русские записки», Париж, 1938, № 10, с. 194—195.

В канун второй мировой войны Алданов пишет современный роман «Начало конца». Название означало: *начало конца* передышки между двумя мировыми войнами, а кроме того: *начало конца* стареющих героев. Все они добились многого в жизни, но теперь уже со стороны смотрят на пройденный путь, обнаруживая, что все, во что верили, к чему стремились,— или не сбылось, отвергнуто историей, или сбылось, но приняло такие уродливые, извращенные формы, что лучше бы не сбылось вообще. Горечь замысла контрастирует с острой уголовной интригой. Первый том романа вышел в 1938 году, второй на русском языке публиковался лишь в отрывках в периодической печати, но имеется полное издание на английском языке.

В Соединенных Штатах в годы войны Алданов создает свой самый крупный по объему и, по мнению многих, лучший роман «Истоки». Отдельное издание его увидело свет в 1950 году. Требовательный к себе Алданов писал Бунину 26 февраля 1950 года: «Все же наименее плохая, по-моему, из всех моих книг». «Истоки» — широкое полотно русской жизни, взятой, как выражался критик, на одном из интереснейших этапов ее развития: время действия — 1870-е годы.

Эпоха воссоздана с помощью множества характерных реалий. Сеанс показа чуда тогдашней техники — телефона. Знаменитый врач выступает против антисептики при хирургических операциях, он убежден, что это нововведение ненужное, пустое. Дамочка расспрашивает телеграфиста, почему, когда по проводам летят телеграммы, их не видно? На страницах романа спорят об Островском и Тургеневе, появляется Достоевский.

Эмансипантки, сбор средств на нужды революции. Об Александре II говорят в таких презрительных выражениях, в каких никогда не говорили о его предшественнике Николае I — несмотря на то, что при Александре II отменено крепостное право, произведены крупные реформы. Бытовые детали эпохи выразительны. Например, в университете выглядеть богатым не полагается, и профессора, имеющие бобровые шубы, приходят на лекции в енотовых. Автор рассчитывает на сумму знаний современного читателя, не повторяет общеизвестного, но активизирует память. На одной из первых страниц книги упоминается имя задержанной властями никому из персонажей не известной Софьи Перовской. Читатель же с детства это имя знает и уже готовится к тому, что в развитии действия Перовской будет отведена важная роль.

Описания заговоров и покушений, элемент уголовщины придают роману остроту и занимательность. Эрудиция научного исследования сочетается с остротой приключенческого сюжета. Действующие лица — персонажи исторические и вымышленные, причем первые постепенно теснят вторых. По определению Пушкина, «в наше время под словом *роман* разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании». Алданов с его даром публициста умеет увлекательно развить эпоху и в повествовании документальном. Еще один важный компонент романа — политико-философские диалоги. В русском романе никогда еще политика не становилась объектом такого систематического рассмотрения сквозь призму философских идей. В «Истоках» нет резонеров — комментаторов событий. Политические деятели, представители разных лагерей горячо спорят о путях исторического развития России, о нравственности в политике и о том, допустимо ли прибегать к военной силе, о природе власти и разобщении

царской власти и интеллигенции. Каждый из них обрисован не только черной или только розовой краской. Постепенно выявляется главная авторская мысль: в 1870-е годы перед страной открывалась последняя возможность мирного, более или менее безболезненного развития, и оно могло стать сказочным благодаря ее размерам, мощи, богатству, в особенности же благодаря одаренности русского народа. То, что этого не произошло, «даже не русская трагедия, а мировая».

Истоки грозной Октябрьской революции, шире — истоки свойственной всему XX столетию жестокой нетерпимости, по Алданову, в 1870-х годах, когда общество разделилось на два непримиримых лагеря, и каждый, совершенно убежденный в своей монополии на истину, стал делать ставку на насилие. Контрапунктом романа является необыкновенно ярко написанная сцена убийства Александра II народовольцами, эта сцена одна из лучших в русской исторической прозе.

Можно спорить с писателем, были ли именно 1870-е годы главной исторической вехой на пути к революции, или истоки ее надо искать раньше, в пору декабристских тайных обществ или в эпоху Радищева. Георгий Иванов в парижском журнале «Возрождение» предъявил Алданову еще один упрек: воздав должное «увлекательной и блестящей» книге «Истоки», он возражал против того, что в ней с симпатией изображены революционеры, и брал под защиту царей. Но по Алданову, любая политическая деятельность подобна цирку, тройному сальто-мортале, и принципиальной разницы между деятелями двух противостоящих лагерей не может быть. Коли отрицается поступательное движение истории, логично отрицать любую политическую позицию.

Контрасты остаются прежде всего литературным приемом: контрасты характеров, контрасты сцен. С политико-философскими спорами контрастируют эпизоды частной жизни персонажей. За изображением ночного Эмса, когда Александр идет на свидание, предстает «очарователем», как его называли, следует описание свидания совсем другого рода — случайной, казалось бы, встречи Желябова и Перовской.

Простые смертные в «Истоках», как в любой книге Алданова, не менее духовно богаты, чем исторические деятели. Трезво смотрящий на вещи, лишенный иллюзий ученый Муравьев, симпатичный жизнерадостный циник Черняков — они не проходят путь нравственного или религиозного искательства, они люди логики, опираются на факты, ищут опоры только в самих себе.

Другие ситуации и образы навеяны Толстым. Вряд ли есть в русской исторической прозе другой роман, столь очевидно содержащий толстовские реминисценции. История болезни и смерти Юрия Павловича Дюммлера — несомненно, вариация на тему болезни и смерти Ивана Ильича. Нравственный итог исканий левого художника и журналиста Мамонтова — счастье только в личной жизни — заставляет вспомнить толстовского Левина. Вместе с тем зарубежная критика отметила и существенное отличие ученика от учителя. Философия случая Алданова противоположна историческому фатализму Толстого, Алданов предпочитает другую иерархию нравственных ценностей. Редактор «Нового журнала» М. М. Карпович писал в рецензии на «Истоки»:

«Отрицая историю, Толстой уходил от нее к двум вечным полюсам: «высокому бесконечному небу», которое раненый князь Андрей видел над собой на поле Аустерлицкого сражения, и уко-

рененной в земле родовой человеческой жизни (знаменитые «пеленки» в эпилоге «Войны и мира»). Кажется, ни то, ни другое Алданова не утешает. Во-первых, он не может уйти от истории, так как в отличие от Толстого обладает высокоразвитым историческим чувством. Во-вторых, в нем нет и следа толстовского руссоизма, нет никакого бунта против культуры. Напротив, человеческая культура и есть то, что он по-настоящему ценит и любит,— ценит и любит тем больше, чем яснее представляется ему ее хрупкость. Он гуманист, не верящий в прогресс. И это придает его мироощущению трагический характер» [1].

Параллельно с работой над «Истоками» Алданов обратился к новому для себя жанру — короткому рассказу. В 1942 году в различных американских русскоязычных изданиях появляются сразу пять его рассказов: «Фельдмаршал», «Грета и Танк», «Микрофон», «Тьма», «На «Роза Люксембург». Это остросюжетные отклики на злобу дня, в них действуют тайные агенты, воссоздаются военные приключения. В рассказе «Микрофон» сюжет связан с обеспечением безопасности Черчилля во время его радиовыступлений, в рассказе «Тьма» изображено убийство немецкого генерала французскими патриотами.

По горячим следам событий конца второй мировой войны Алданов создал рассказ «Астролог» (1947). Еще не стали известными детали двойного самоубийства Гитлера и Евы Браун в берлинском бункере, в частности самая колоритная: перед роковой развязкой вдруг находившиеся в бункере техники, прислуга завели патефон, и под звуки шлягера «О, бескрайняя весна...» пары закружились в безумном танце. Этот танец как смеховое расставание с самой страшной страницей в истории немецкого народа, его нельзя было придумать, он превосходил любое воображение.

Не зная подробностей ужасной картины конца Гитлера, Алданов сознательно ушел от их описания, не стал фантазировать. События изобразил глазами персонажа, который болен и пришел в себя, когда уже горели завернутые в белое трупы, а в город вступали советские воинские части.

Небольшой по объему рассказ по-алдановски емок. Писатель показал страх населения перед нацистами, конформизм властей, общий ужас перед надвигающимся концом «тысячелетнего рейха». Общей картине развала сопутствовало увлечение оккультизмом, и не без ироничного умысла автор избрал героем астролога — пожилого усталого жулика. Напрашивается параллель: Профессор — Фюрер. Первый одурачивает лишь тех, кто хочет быть одурачен, второй пролил море крови. Внимание читателя удается привлечь с первых же строк интригующим письмом астролога о гороскопах.

* * *

«Как кончил одну вещь, тотчас начинай другую» — этому правилу, сформулированному в романе «Живи как хочешь» (1952), Алданов был верен до последних дней. «Живи как хочешь» — последний роман, увидевший свет отдельным изданием при жизни писателя. Хотя еще три романа появились посмертно, «Живи как хочешь» своеобразно итожит серию. Время действия примерно то же, что и время написания книги, первые послевоенные годы, действуют многие уже знакомые читателю герои, возникают прежние темы.

[1] «Новый журнал», 1950, № 24, с. 287.

...Как в доброй старой пьесе, волей автора в одной из последних сцен романа все персонажи вдруг оказываются вместе на большом океанском лайнере, направляющемся в Америку, и это дает возможность развязать запутанные сюжетные узлы. Среди действующих лиц Виктор Яценко и дон Педро из «Ключа» и «Бегства», Николай Дюммлер из «Истоков», только теперь это пожилые люди, Дюммлеру за восемьдесят. Во вставной пьесе «Рыцари свободы» действие происходит в дни смерти Наполеона, и это возвращает к дебюту Алданова в художественной прозе, повести «Святая Елена, маленький остров».

В годы, когда создавался роман «Живи как хочешь», на Западе шли горячие споры между приверженцами массовой и элитарной культуры. Писатель своим произведением вмешивался в полемику, пытался обе крайности совместить. Воплощая каноны массовой литературы, ввел в роман элементы детектива и мелодрамы, две криминальных интриги, одну с наркотиками и кражей бриллиантов, другую политическую, с международным шпионажем, создал образы закоренелого злодея, страдающей жертвы, благородного бескорыстного шантажиста... Действие закончил традиционным хэппи-эндом. Но помимо этого верхнего слоя произведения, в нем есть по-алдановски серьезная сердцевина: диалоги о нравственности, о литературе, афоризмы. Характеры действующих лиц не слишком индивидуализированы, писатель за редкими исключениями не ищет «диалектику души», но дает точные зарисовки быта, великолепно изображает связь времен. Многое из того, о чем идет речь в романе, не утратило с годами интереса. Не любопытно ли, например, узнать, как реагировал Клемансо на то, что парламентарии спят на заседаниях? В романе, написанном в последние годы сталинщины, когда в СССР ни о чем, кроме официального «марксизма-ленинизма» и помышлять не позволялось, Алданов вдруг устами одного из персонажей предсказывает: в стране предстоит расцвет метапсихических наук и оккультизма! Мы привыкли смеяться над несбывшимися историческими прогнозами, но в данном случае редкое исключение, прогноз сбылся, парадокс состоит в том, что его автор — горячий приверженец непредсказуемости событий!

«Живи как хочешь», название романа о русских эмигрантах в США и во Франции, можно истолковать двояко. Герои в отличие от своих современников в сталинской державе могут жить как хотят, думать как хотят. Но в момент трудностей, особенно финансовых, не приходится рассчитывать на чью-либо помощь: живи как хочешь!

Для себя самого Алданов вкладывал в название и третий смысл: *пиши* как хочешь. Его герой писатель Виктор Яценко провозглашает: «Роман, самый свободный из всех видов искусства, должен был бы включать в себя все политические, философские, метафизические рассуждения, мог бы менять форму, переходить из одного периода времени в другой». Яценко драматург, и Алданов включает в роман «Живи как хочешь» две его пьесы, одну историческую, другую на современном материале. Герои этих пьес имеют прототипов среди персонажей романа. Возникает сложная система зеркал, и читателю предлагается не только рассматривать переиначенные их отражения в пьесах, но и задумываться над важной особенностью писательского труда: воображение и воплощение жизненных реалий неразделимы.

Вставная новелла в «Пещере», вставная статья «Участь Сое-

диненных Штатов» в «Истоках», вставные пьесы в «Живи как хочешь». Алданов стремился раздвинуть рамки жанра романа, искал возможности нового синтеза искусств. Он знал, что эти искания оценят по достоинству очень немногие читатели. Размышлял в частном письме: «Мысли романа пополняются и разъясняются пьесами (и легендой), и все это вместе, боюсь, скучновато. Уж наверняка будет встречено враждебно критикой, а может быть, и насмешливо» [1].

Тем не менее под «экзамен у критиков» писатель не подстраивался. «Живи как хочешь» стал для него принципиально важным, можно сказать, итоговым романом. Он почти не оставил статей о литературе, но литература здесь стала главным действующим лицом: о ней спорят Яценко и Дюммлер, оригинальная композиция как бы воплощает важные их раздумья. В старинной форме выражена очень современная мысль: «Писать надо так, точно посылаешь телеграмм, и не простой, а срочный, по тройному тарифу за слово».

Поиск синтеза искусств неизбежно вел писателя к теме кино, изображение кинематографической среды заняло большое место в «Живи как хочешь». С этой средой Алданов был связан долгие годы. В 1924 году он был историческим консультантом фильма о Наполеоне, позднее написал два сценария по своим произведениям, кроме того, задумывал совместно с Буниным написать еще один. И все же работа для кино не принесла ему удовлетворения, он убедился на собственном опыте: «политические, философские, метафизические рассуждения», которые он так ценил в романе, экрану даются плохо. Горько жалуется на Голливуд Виктор Яценко: «В жизни люди не только разговаривают, не только целуются и не только стреляют из револьвера. У них есть мысли, есть психология...» Характеристика нравов Голливуда в романе Алданова исполнена сарказма: здесь слишком много внимания придают деньгам, коммерческой стороне искусства, зрительскому успеху.

А сам Алданов никогда не искал легкого успеха, рассматривал литературу прежде всего как воплощение нравственности, и рефреном многих диалогов в «Живи как хочешь» звучало: «Вечна только *добрая* литература...»

До сих пор ни в СССР, ни за пределами нашей страны собраний сочинений Алданова не выходило. Это — первое. На родину возвращается большой писатель, и его книги будут оказывать воздействие на литературный процесс. Они очень соответствуют духу нашего времени: возродившемуся общественному интересу к истории, отказу от идеологических предрассудков. Они будят мысль, учат добру. В них образец прозрачно ясной высокой русской прозы.

Вслушаемся же еще раз в его голос. Внутренний монолог писателя — персонажа романа «Начало конца» — это исповедь самого Алданова, его творческое кредо:

«Делать в жизни свое дело, делать его возможно лучше, если в нем есть, если в него можно вложить хоть какой-нибудь, хоть маленький, разумный смысл. Пусть писатель пишет, вкладывая всю душу в свой труд... Не уверять, что трудишься для самого себя,— ведь и он мечтал об огромной аудитории и откровенно

[1] «Новый журнал», 1961, № 64, с. 222.

советовал тем, кто не ждет миллиона читателей, не писать ни единой строчки... Не задевать предрассудков, по крайней мере грубо, не сражаться ни с ветряными мельницами, ни даже со странствующими рыцарями, если только не в этом заключается твоя профессия, профессия политического дон Кихота, такая, по существу, профессия, как труд сапожника или ветеринара... Не потакать улице и не бороться с ней: об улице думать возможно меньше, без оглядки на нее, без надежды ее исправить. Но в меру отпущенных тебе сил способствовать осуществлению в мире простейших, бесспорнейших правил добра. На склоне дней знаменитый врач говорил, что верит только в пять или шесть испытанных лекарств, вроде хинина. Бесспорные принципы добра также немногочисленны... Для себя же, для немногих свободных людей, можно пойти и дальше. «Холодное наблюдение» имеет свою ценность. В мысли, как в жизни, всего выше можно подняться при пониженном душевном жаре. Рядовые удачники жизни «горят», но у Наполеона сердце билось со скоростью 60 ударов в минуту.

— И как кровь возвращается по венам в сердце, отдав по пути свои питательные вещества, так всего дороже *возвращающиеся* в сердце, больше ничего не питающие истины. Эти истины беречь про себя и в то время, когда больше не ждешь ничего, кроме пристойных некрологов. Жить спокойно, зная, что мир лежит во зле. Радоваться редкому добру, принимая вечное зло как общее правило мира...»

Андрей Чернышев

Мыслитель



Девятое Термидора

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Меня не раз спрашивали, существовало ли в действительности лицо, изображенное в моей тетралогии под именем Пьера Ламора. Разумеется, Ламор образ вымышленный. Это следует хотя бы из связи, существующей между ним и ваятелем «Пролога». Надо ли говорить, что в «Прологе» нет истории. О великих художниках, создавших «Notre Dame de Paris», мы почти ничего не знаем. Нельзя также сказать с достоверностью, каковы были в ту пору химеры,— реставраторы поработали и над ними. Впрочем, идея «Мыслителя» схвачена и в изумительном дьяволе «Le Jugement dernier»[1]*, который относится к 1210—1215 гг. Самый мотив созерцающего дьявола характерен для французских мастеров средневековья.*

В настоящее издание «Девятого Термидора», как и в последние иностранные переводы романа, я внес некоторые изменения.

Автор

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Роман «Девятое Термидора» составляет первую часть исторической трилогии, охватывающей период 1793—1821 годов. Отрывки из этого романа появились в 1921—22 гг. в «Современных Записках». Еще раньше на страницах того же журнала нашла гостеприимство заключительная (небольшая по размеру) часть «Мыслителя»: «Святая Елена, маленький остров». Второй, центральный том трилогии выйдет в свет, вероятно, в 1924-5 гг. Боюсь, что без него читателям нелегко будет судить о целом: так, немало глав, эпизодов и действующих лиц «Девятого Термидора»

[1] Страшный суд (*франц.*).

должны показаться ненужными и напрасно введенными автором: они тесно связаны со вторым томом. Самая картина революционной эпохи лишь намечена в настоящей книге.

В основу исторической и бытовой части «Мыслителя» легли материалы библиотек (главным образом парижской Национальной библиотеки) и музеев (Carnavalet, Hôtel des Invalides, Malmaison и Conciergerie), а также различные частные сообщения, устные и письменные[1]*. Для своего толкования исторических событий и характеров исторических лиц я имею, разумеется, «оправдательные документы». Но никакие документы и ничье толкование обязательной силой не обладают.*

Именно на таинственной драме, которой посвящена настоящая книга, особенно ясно видишь пределы понятия так называемой исторической достоверности. Девятое Термидора, бесспорно, одно из величайших событий мировой истории. Казалось бы, в нем-то должна быть точнейшим образом выяснена и установлена каждая ничтожная подробность. В действительности целый ряд эпизодов этой трагедии — и в первую очередь ее наиболее драматическая сцена — навсегда покрыты непроницаемой тайной. В самом деле, что произошло в ночь на 10-е Термидора в здании Парижской Ратуши, где Робеспьер был найден лежащим на полу с раздробленной выстрелом челюстью? Этого не знает и никогда не узнает никто. В психологическом отношении мне, романисту, было бы бесконечно важно выяснить, выстрелил ли Робеспьер в себя сам или был кем-то застрелен. Целый ряд историков во главе с Тьером дают первую версию. Но Луи Блан, Мишле, Эрнест Амель, де Лескор, Дюрюи отрицают ее и высказываются за вторую. Свидетельства «очевидцев» спутаны, газетные отчеты противоречивы. Консьерж Думы Бошар и жандарм Меда, предполагаемый у б и й ц а, *несут очевидную ложь, совершенный вздор. Протокол врачей Верже и Маррига, делавших перевязку Робеспьеру, никак не согласуется ни с первой, ни со второй версией. А трагический документ из коллекции Жюбиналь де Сент-Альбена,— призыв Коммуны к восстанию, составленный в Ратуше в ночь на 10-е Термидора, подписанный, очевидно, в самый момент падения Ратуши, первы-*

[1] Разными сведениями об эпохе 1793—1821 гг. и об ее отдельных деятелях любезно поделились со мной лица, обладающие этими сведениями либо по своим научным занятиям (из них считаю обязанным назвать Фредерика Массона), либо по обстоятельствам своей политической или служебной деятельности, либо по своим семейным архивам и преданиям.— *Автор.*

ми двумя буквами фамилии Робеспьера и залитый чьей-то кровью (по-видимому, кровью самого диктатора), этот зловещий документ[1] *при некоторой фантазии, может быть приведен в согласие и с той и с другой версией. Олар так и говорит, что невозможно выяснить, какая из двух версий соответствует истине, и скромно добавляет: «Il n'est rien de plus honorable pour un historien que de dire: je ne sais pas»*[2]. *Чего стоят по сравнению с этим поразительным фактом случайные неточности, художественный произвол того или другого исторического романиста!..*

Общее заглавие трилогии дает химера «Le Penseur» (иначе «Le Diable Penseur»)[3], *находящаяся на вершине собора Парижской Богоматери.*

Автор

---

[1] Жорж Дюрюи совершенно правильно называет эту страницу, начинающуюся словами «Courage, patriotes» («Мужество, патриоты), написанную прыгающей, точно в конвульсии, рукой — «самым трагическим документом из всех существующих в мире».— *Автор.*

[2] Нет ничего более почетного для историка, чем сказать: я не знаю *(франц.).*

[3] «Мыслитель», или «Дьявол-Мыслитель» *(франц.).*

ПРОЛОГ

Молодому русскому, Андрею Кучкову, очень понравилась столица короля Филиппа-Августа. Париж был как будто поменьше и победнее, чем родной город Кучкова, Киев, особенно до разорения киевской земли князем суздальским Андреем Боголюбским. Но в обеих столицах было что-то общее: или небо, светлое, изменчивое и многоцветное; или веселый нрав жителей; или окрестные зеленые холмы,— холмы Монмартрского аббатства и Печерского монастыря. Жить в Париже было много спокойнее, чем в Киеве. Не грозили французской столице ни половцы, ни печенеги, ни черные клобуки, ни исконные враги киевлян — суздальские и владимирские полчища. Правда, при нынешнем великом князе Святославе Всеволодовиче киевская земля несколько отдохнула от войн и набегов, но еще свежи были в памяти киевлян и тяжелая дань, наложенная на город Ярославом Изяславичем, дань, которую платили все: игумены, и попы, и чернецы, и черницы, и латина, и иудеи, и гости. Памятен был им и разгром Киева Андреем Боголюбским, когда были на всех людях стон и туга, скорбь неутешная и слезы непрестанные. Да и теперь каждый год могли нагрянуть и хан Гзак, и хан Кончак, окаянный безбожный и треклятый, и Ростиславичи Смоленские, а то и сам Всеволод Суздальский Большое Гнездо. В Париже об иноземных нашествиях давно забыли. Город рос, процветал и славился наукой: прогремели на весь мир, вплоть до русской земли, великие парижские ученые: Адам с Малого моста, Петр Пожиратель, Петр Певец и особенно славный Абеляр. Молодой Андрей Кучков душой был рад тому, что послал его князь Святослав Всеволодович в Парижский университет изучать латинскую мудрость: trivium, quadrivium, physica, leges, decretum и sacra pagina [1].

[1] Тривиум (цикл из трех наук: грамматики, диалектики и риторики), квадривиум (цикл из четырех наук: арифметики, музыки, геометрии и астрономии), естествознание, юриспруденция, законоведение и Св. Писание *(лат.)*.

В Париже у Андрея Кучкова был дальний родственник, дед которого уехал из Киева в свите Анны Ярославовны, дочери великого князя, вышедшей замуж за французского короля Генриха. Но родственник этот, славный воин и крестоносец, уже по-русски совсем не говорил. Принял он Андрея Кучкова радушно и в первые же дни показал ему столицу Франции. Показал palatium insigne — дворец Филиппа-Августа, раскинувшийся на самом берегу реки, на восточном углу парижского острова [1]. Андрею Кучкову понравились и укрепления дворца, и собственные королевские покои, густо выстланные мягкой соломой, на которой почивал любивший роскошь Филипп-Август, и пышная, расписная, с позолоченными сводами баня, где два раза в год — на Рождество и на Пасху — купалась французская королева. Понравились ему и подвальные помещения дворца, носившие название Conciergerie [2].

Показал Андрею родственник также окраины города: болота правого берега реки Сены,— там король собирался строить новый дворец Лувр,— и виноградники левого берега,— среди них на горе святой Женевьевы раскинулся славный Парижский университет. А затем воин повел Кучкова смотреть главное чудо столицы: Собор Божьей Матери, начатый постройкой не так давно архиепископом Морисом де Сюлли и уже почти готовый.

По дороге они остановились поглядеть на зрелище, не привычное для молодого киевлянина. На севере острова, на высоком, в человеческий рост, квадратном костре из хвороста и соломы жгли трех колдунов, одну ведьму, двух мусульман, двух иудеев и одного *кагота*. Андрею Кучкову это было хоть и страшно, но очень интересно: в Киеве никогда никого не жгли и даже вешали редко, а наказывали больше потоком, разграблением или простой денежной пеней. Воин объяснил молодому человеку, что наследство сожженных поступит в королевскую казну, и похвалил мудрую финансовую политику короля Филиппа-Августа, отец которого, покойный Людовик VII, отличался чрезмерной кротостью, всем иноверцам был рад, колдунов жечь не любил, а потому и оставил казну совершенно пустою. Андрей Кучков не согласился, однако, со взглядом своего родственника: князь Ярослав завещал киевской земле наставления другого рода.

Когда дувший с реки Сены ветерок развеял запах горе-

---

[1] Нынешний Palais de Justice (Дворец правосудия).— *Автор.*
[2] Буквально: жилище привратника (*франц.*).

лого мяса и серы, а палач, le tourmenteur juré du Roy [1], стал рассыпать лопатой пепел в разные стороны, они пошли дальше. Андрей Кучков очень хотел увидеть Собор Божьей Матери, но и боялся немного, как бы этот собор не оказался лучше церкви Святой Софии, которую великий князь Ярослав воздвиг в Киеве на удивление миру. Оказалось, однако, что храмы совершенно друг на друга не похожи. Оба были на редкость хороши, только киевский светел и приветлив, а парижский угрюм и страшен: день и ночь. Андрей Кучков долго любовался великолепным Собором Божьей Матери. Затем вместе с воином и со знакомым воина, пожилым благодушным монахом, они пошли закусить в соседний кабачок.

В кабачке перед очагом сидел странный человек лет шестидесяти, в черном коротком костюме, со шпагой, но без кинжала, в высоких сапогах, но без длинных рыцарских носков, с усами, но без бороды,— рыцарь не рыцарь, но и не простой горожанин и не духовное лицо. Он потягивал вино и задумчиво смотрел на раскаленный вертел, на котором жарился лебедь. Лицо у него было странное, усталое, темно-желтое, а глаза серые, холодные и недобрые. Монах знал этого человека и шепнул спутникам, что по ремеслу он мастер-ваятель, происхождения же темного: едва ли не convers [2], а впрочем, может быть, и не convers, но, во всяком случае, мастер весьма искусный и очень ученый человек. С ним любили, встретившись в кабачке, поговорить о серьезных предметах знаменитейшие доктора и реалистского и номиналистского толка.

Монах познакомил своих спутников с ваятелем, и они вместе уселись у очага. Воин сообщил, что молодой иностранец прибыл из далекой страны, откуда была родом покойная королева Анна. Ваятель слышал и читал об этой стране и об ее славной столице, которая в арабских рукописях именовалась Куяба и которую латинский путешественник назвал: Chyve, aemula sceptri Constantinopolitani, clarissimum decus Graeciae [3]. Андрей Кучков был очень польщен похвалой своему городу и, как мог, восторженно описал Киев, его красоту и богатство, тридцать церквей и семьсот часовен, митрополию святой Софии, и храм Богородицы Десятинной, и златоверхий Михайловский монастырь, и верхний город с воротами Золотыми, Лядскими и Жидов-

---

[1] Присяжный королевский мучитель *(франц.)*.

[2] Иудей, принявший христианскую веру.— *Автор.*

[3] Киев, соперник царственного Константинополя, красы и гордости Греции *(лат.)*.

скими, и великий двор Ярославль, и торговый квартал Подолье, и зеленый Кловский холм за Крещатицким ручьем, и пышные сады над самой прекрасной в мире рекой. Ваятель и монах слушали с любопытством, хоть и не совсем понимали странное латинское произношение рассказчика с ударениями на «о». Воин между тем заказывал ужин, ибо время было позднее: четыре часа дня; парижане обедали утром часов в десять. Ужин был очень простой: три супа (в честь святой Троицы) — из риса, из бураков и из миндального молока; шафранный пирог с яйцами, другой пирог с грибами, два блюда рыбы, морской и пресной, баранина под соусом из горчицы, жареный лебедь, два разных салата, шартрское пирожное пяти сортов и легкий десерт — issue de table[1]. Андрей Кучков нашел, что в Париже едят немного, но зато хорошо. Руками ели только рыбу, мясо и сладкое, а к супам были поданы ложки, бывшие в ту пору новинкой. Хозяин принес несколько бутылок: предложил гостям и местное парижское вино, и греческое, и сладкий напиток Святой Земли.

После первого же блюда монах, обращаясь к скульптору, начал для приличия ученый разговор, коснулся principia essendi и principia cognoscendi[2], процитировал Иоганна Стота Эригену, святого Ансельма и Бернарда Шартрского. Андрей Кучков слушал с благоговением, воин — с испугом, а ваятель — с усмешкой.

— Mundus nec invalida senectute decrepitus, nec supremo obitu dissolvendus, exemplari suo aeterno aeternatur[3],— закончил убежденно монах.

Ваятель не ударил в грязь лицом и на цитаты ответил цитатами. Он в учении номиналистов видел меньше заблуждений, чем в доктрине реалистов, и ставил Росцеллина Компьенского выше тех авторов, на которых ссылался монах. Но, впрочем, Росцеллина также ценил не слишком высоко и утверждал, что от споров великих учителей у него болит голова и рождаются странные сны. Говорит загадочно Соломон Премудрый: Multas curas sequuntur somnia, et in multis sermonibus invenietur stultitia[4].

Воин, которому надоели латинские цитаты, перевел разговор на темы военно-политические. С востока пришло не-

---

[1] Завершение трапезы (*франц.*).

[2] Первопричина бытия и первопричина познания (*лат.*).

[3] Мир, бессильный от старческого одряхления и близкий к гибели, увековечивает свой вечный образец (*лат.*).

[4] «...Как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов (*лат.*).— Екклесиаст, V, 2.

давно сенсационное известие: в Дамаске скоропостижно скончался великий мусульманский герой, знаменитый полководец, султан Юзуф бен-Айуб Салах-Эддин, в Европе именовавшийся Саладином.

— Десница Господня поразила этого неверного! — сказал, разливая вино по кружках, монах.— Не будь его, нам, а не мусульманам, принадлежала бы теперь Святая Земля. Над нашим правым делом восторжествовала его грубая сила.

Ваятель с усмешкой осушил кружку. Но воин, сам принимавший участие в третьем крестовом походе, ударил рукой по столу и воскликнул, что хоть Саладин и неверный, и будет жариться в аду, но другого такого молодца не сыскать в целом мире.

— Нет у нас равного ему по доблести и по военному искусству,— горячо заметил он и, с беспристрастием старого солдата, принялся рассказывать чудеса о подвигах Саладина, который объединил под своей властью Сирию, Аравию, Месопотамию, Египет и хотел завоевать Константинополь, Италию, Францию, весь мир.

— Хотел завоевать весь мир,— повторил скульптор.— Quid est quod tuit? ipsum quod futurum est...[1] Александр и Цезарь тоже хотели...

— И завоевали! — воскликнул воин.

— Почти. Не совсем,— поправил ваятель.

Монах вздохнул и рассказал, что Саладин на одре смерти велел эмирам пронести по улицам Дамаска кусок черного сукна и при этом кричать в назидание мусульманам: «Вот все, что уносит с собой в землю повелитель мира Саладин!»

Воин, человек пожилой, задумался. А молодой Кучков, утомленный молчанием, рассказал о том, как в их краях один могущественный князь, Андрей Боголюбский, человек скверный и жестокий, но весьма искусный в ратном деле, тоже хотел подчинить себе мир и действительно объединил русские земли: разорил и унизил Киев, подчинил себе смоленских, черниговских, волынских, полоцких, новгородских, рязанских, муромских князей.

— А как кончил этот скифский Цезарь? — спросил с любопытством ваятель.

— Его убили,— с радостью ответил Андрей.— Прогневил он Бога своей крутостью, и невтерпеж стало людям сносить его власть. Двадцать человек ворвалось к нему темной ночью. Князь бросился было к мечу, да ключник Ам-

---

[1] Сколько таких было? И сколько таких еще будет... *(лат.)*

бал с вечера утащил княжеский меч из опочивальни, и убил Андрея Боголюбского мой родич Яким Кучков.

Ваятель негромко рассмеялся.

— Есть на Востоке поговорка,— сказал он.— Пошла овца добывать рога, вернулась без рогов и без ушей. Multas suras sequuntur somnia... Quid est quod fuit? ipsum quod futurum est. Воображение Творца велико, но не бесконечно. Бесконечна в мире только человеческая глупость. Et aludavi magis mortuos, quam viventes et feliciorem utroque judicavi, qui necdum natus est, nec vidit mala quae sub sole fiunt [1].

Он вынул из кармана небольшую склянку и стал отсчитывать капли в стакан с водой. Затем размешал и выпил.

— Верно, ты это пьешь отраву, мрачный ученик Соломона Премудрого? — пошутил монах, с любопытством глядя на склянку.

— Нет, это капли жизни *джулах*. Я вычитал их состав в книге «Крабадин» мудрого врача Сабура-бен-Сахема.

— В наши годы полезно лечиться,— сказал одобрительно монах.— Я сам лечусь, как умею: conjurationibus, potionibus, verbis, herbis et lapidibus [2]. Говорят, будто восточные врачи знают такие капли, от которых сбываются человеческие желания.

— А ты чего же хочешь?

— Я? — переспросил монах и ненадолго задумался.— Хочу дожить до того дня, когда будет сломлена сила неверных, и вернется к нам навеки Святая Земля, и во всем мире восторжествует наша великая церковь. Хочу сравняться благочестием с благочестивейшими. Хочу, вслед за мудрыми учителями, опровергнуть в ученой книге печальные заблуждения номиналистов.

— А я хочу,— сказал воин,— жить долго, пока руки способны держать меч. Хочу превзойти храбростью Конрада Монферра. Хочу на турнире выбить копьем из седла Ричарда Львиное Сердце. Хочу, чтобы вслед за славной жизнью послал мне Господь честную смерть в бою с сарацинами за святое, правое дело.

— А я хочу,— воскликнул Андрей Кучков, выпивший много греческого вина,— я хочу сначала постигнуть вашу латинскую мудрость: trivium, quadrivium, physica, leges, decretum и sacra pagina. Хочу затмить ученостью знаменитейших ваших учителей. Хочу также на турнире победить тебя,

---

[1] И ублажал мертвых... более живых... а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем (*лат.*).— Екклесиаст, IV, 2, 3.

[2] Заговоры, микстуры, заклинания, травы и камешки (*лат.*).

воин, после того, как ты выбьешь из седла Ричарда Львиное Сердце. А затем хочу сложить свою славу к ногам светлокудрой девы, что живет над рекой Борисфеном в тереме купца Коснячка.

— Вот это так,— сказал воин, засмеявшись, и налил юноше и себе по полной кружке греческого вина.— Ну а ты, мастер?

— Я ничего не хочу,— ответил медленно ваятель.— В молодости я имел много желаний, гораздо больше, чем ты, юноша. Год тому назад у меня оставалось только одно: закончить статую, творение всей моей жизни. На прошлой неделе я в последний раз прикоснулся к ней резцом. Теперь я ничего больше не хочу.

— Где же эта статуя? — спросили в один голос монах, воин и Андрей Кучков.

Ваятель открыл окно и показал рукой на вершину Собора Божьей Матери.

— Там! — произнес он проникновенно.

— Вот ты повел бы нас посмотреть ее,— заметил монах из вежливости: ему не слишком хотелось после плотного ужина подниматься по крутой лестнице церкви. Спутники монаха немедленно присоединились к просьбе. Ваятель кивнул головой. Воин подозвал хозяина и стал расплачиваться.

— Слава тебе, великий мастер,— сказал монах,— что данный тебе от Бога талант ты употребляешь на столь благочестивое дело. Зато будет вечно жить в потомстве твое имя. Ибо вечен Собор Божьей Матери.

— Своего имени я не вырезал на статуе,— произнес медленно ваятель.— Его забудут на следующий день после моей смерти.

— Отчего же? — заметил укоризненно монах.— Дивясь твоему произведению, люди будут спрашивать: почему неизвестно нам имя благочестивого мастера?

— Нет,— сказал ваятель с живостью.— Кто увидит мою статую, тот этого не спросит.

Воин спрятал сдачу. Они вышли из кабачка и перешли через площадь, направляясь к собору. У двери, ведущей на лестницу башен, сидела на тумбе дряхлая нищая старуха. Шамкая беззубым ртом, она бормотала дребезжащим голосом какую-то песенку. Лицо и платье древней старухи были одинакового серого цвета, цвета камней церкви. Ваятель остановился возле нее. Старуха бормотала:

Pur kei nus laissum damagier?
Metum nus fors de lor dangier,
Nus sumes homes cum il sunt;
Tex membres avum cum il ont,

Et altresi grans cors avum,
Et altretant sofrir poum,
Ne nus faut fors cuer sulement,
Alium nus par serement...[1]

Ваятель с усмешкой глядел на старуху. Вдруг в его глазах проскользнул ужас. Он быстро вошел в боковую дверь церкви. По узкой винтовой лестнице, со ступеньками, расширяющимися к одному краю, держась рукой за тонкий железный прут перил, они стали подниматься к башням. Ваятель шел впереди, ступая тяжело и уверенно. Винтовой ход то светлел при приближении к бойнице, то снова темнел и становился страшен. На светлой площадке они перевели дух.

— Высоко же ты работаешь, мастер,— сказал монах, вытирая лоб рукавом рясы.

— Зато близко к небесам,— ответил ваятель.

Голос его звучал в каменной трубе глухо. Они медленно двинулись дальше, прошли темный круг без окна и вышли на галерею. Их ослепило солнце. Андрей Кучков вскрикнул от восторга. Под ним был парижский остров. За рекой виднелась зелень виноградников и золото хлебных полей.

Ваятель подошел к перилам галереи. На них что-то было покрыто холстом.

— Покажи, покажи свое творение! — сказал, тяжело дыша, монах.

Кусок серого холста упал.

На перилах сидело каменное чудовище.

Монах, рыцарь и Кучков долго смотрели на него, не говоря ни слова.

— Уж очень он страшный,— сказал наконец Андрей.

— Да это что ж такое: зверь рогатый и горбоносый? —

---

[1] Песня нищей заимствована из «Le Roman de Rou» нормандского поэта 12-го столетия Робера Васа; ее транскрипция на современный французский язык находится в последней главе «Девятого Термидора».— *Автор.*

Доколе есмы сущими в розни?
Пора презрети ужасны козни.
Вышняя воля нам подала
Те же руци, нози и тела.
Пребываем с иными в равной красе,
Такожде страждем ныне, как все,
Донележе сердцу не дано
Бысть с иными сердцами, будто одно...

Перевод со старофранцузского Е. Витковского.

спросил с недоумением рыцарь, не сводя глаз со статуи.

— Мыслитель,— ответил медленно ваятель.— Дьявол-мыслитель...

— Помилуй! — воскликнул монах.— Да что ж дьяволу делать в таком месте? Побойся Бога!

Ваятель не слышал, по-видимому, слов своих спутников.

— Нет, брат, это ты напрасно изваял,— сказал с укором монах,— это насмешка и грех.

— Не насмешка,— ответил глухо ваятель.— Я не стал бы смеяться над самим собою...

— Какой страшный! — повторил Кучков.— Губа, как у лютого зверя. А глаза-то!.. И язык высунул от удовольствия... Чему он радуется?

Молодой русский посмотрел в ту сторону, куда был устремлен бездушный взор дьявола. На противоположном конце острова суетились люди: там разбирали остатки костра.

— Грех, грех, брат,— повторил укоризненно монах.— Добрый католик не создал бы такой статуи. Напрасно умудрил тебя Господь, послав тебе талант и науку.

Ваятель не отвечал ни слова.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В начале 1793 года был послан генерал-лейтенантом Зоричем из его Шкловского имения в Петербург с важной миссией один очень молодой человек по имени Штааль.

Граф Семен Гаврилович Зорич, отставной фаворит Екатерины, был серб по происхождению. Настоящая фамилия его была Неранчичев. Усыновленный своим дядей, Максимом Федоровичем Зоричем, переселившимся из Сербии в Россию, он в рядах русской армии храбро сражался в Семилетнюю и в Турецкую войны. Под Рябой Могилой его взяли в плен турки, увезли в Константинополь и там заключили в Иеди-Куле, или Семибашенный замок. Много испытаний выпало на долю Зорича в его бурной молодости,— в Сербии, в походах, в каторжном турецком плену. Выпущенный на свободу и награжденный, один из первых, Георгиевским крестом, он как-то случайно попался на глаза Потемкину, который обратил внимание на необычайную красоту молодого серба. В то время князь Григорий Александрович уже не занимал должности фаворита императрицы. Его заместителем на этом посту был Завадовский. Потемкин очень не любил своих преемников, пытавшихся, по его примеру, заниматься государственными делами. При виде Зорича у князя — внезапно, как всегда,— явилась понравившаяся ему мысль: выдвинуть на первый в Российской империи пост кандидатуру молодого сербского офицера. Немедленно было сделано все необходимое, посланы соответствующие инструкции графине Брюс,— и очень скоро Семен Гаврилович Зорич стал официальным фаворитом императрицы Екатерины, в промежутке времени между бывшим театральным суфлером Завадовским и отставным польским тенором Корсаком. На него посыпались отличия. В день коронации Зорич был награжден чином генерал-

майора и произведен в корнеты кавалергардского корпуса; затем получил украшенную бриллиантами звезду, эксельбанты, саблю, плюмаж, запонки и пряжку; потом мальтийский орден святого Иоанна, огромный дом вблизи Зимнего Дворца, триста тысяч наличными деньгами, великолепное Шкловское имение, которое прежде принадлежало князьям Чарторыйским, и Велижское староство Витебской провинции Полоцкой губернии. Кроме того, он был назначен президентом Вольно-экономического общества. Не оставили без внимания заслуг Семена Гавриловича и иностранные монахи: польский король наградил его Белым Орлом, а шведский — орденом Меча.

Милость Зорича продолжалась, однако, не более года. Заметив охлаждение императрицы, он пришел в ужас и отчаяние, приписал все интригам Потемкина, вызвал было князя на дуэль, но в конце концов смирился, оставил опостылевшее Сарское Село и Петербург и отбыл на постоянное жительство в свое Шкловское имение. Первое время — впрочем, весьма недолго — он был чрезвычайно расстроен крушением своей государственной карьеры. Пост, который он занимал, очень ему нравился. Кроме того, он находил, что при отставке его обидели. Правда, полученные им алмазная табакерка квадратиком и особенно пояс в фунт золота, усыпанным бриллиантами и смарагдами, были хороши. Но пожалованное Семену Гавриловичу графское достоинство его не удовлетворяло. Он знал, что родовая русская знать иронически относится к смешному немецкому титулу графа, совершенно не известному в старину на Руси, и в свое время очень посмеивалась над Борисом Шереметевым, который, происходя от Андрея Кобылы, не уступая в знатности старейшим родам, тем не менее согласился испортить свое древнее имя этой петровской кличкой, еще вдобавок всякий раз подлежавшей утверждению германского императора.

Денег и имущества Зорич получил также гораздо меньше, чем Орловы или Потемкин. Но это обстоятельство не так огорчало Семена Гавриловича. Он не был корыстолюбив и совершенно не знал цены деньгам. Безмерно щедрый и расточительный, он при всем своем богатстве почти всегда нуждался и имел множество долгов.

Граф Зорич, умом вообще довольно плохо постигавший разницу между добром и злом, был по природе своей чрезвычайно добрый человек. Он очень любил Россию — той особенной любовью, какой ее любят некоторые из русских инородцев. Преуспев на поприще государственной службы

и добившись высоких степеней, граф чувствовал потребность засвидетельствовать свою благодарность новой родине. А так как Зорич любил молодежь и, кроме того, сильно скучал в Шклове, то в одно радостное летнее утро он принял решение — не останавливаясь ни перед какими затратами, основать в своем поместье образцовое учебное заведение для детей бедных дворян и служилых людей. Такое училище (из него впоследствии вышел московский кадетский корпус) действительно было им открыто в 1778 году, 24 ноября, в день именин государыни. Обставил его Зорич с роскошью необычайной. Имелись при училище и манеж, и большой зоологический *музеум*, и библиотека, купленная у Самойлова за баснословно высокую цену — восемь тысяч рублей, и даже картинная галерея с произведениями Рубенса, Теньера, Веронеза. Главным своим помощником по управлению училищем Зорич пригласил француза де Сальморона; преподаватели тоже были больше иностранцы. Училище скоро приобрело немалую славу. В ту пору, когда у Зорича были деньги, он ничего не жалел для своих питомцев. Если же Семен Гаврилович проигрывался в карты, то воспитанники сидели без сластей и карманных денег, а воспитатели без жалованья. Но ни те, ни другие на графа не сердились. Этот беспутный человек был так красив собой и так обезоруживающе добр, что ему вообще прощались все грехи. Впрочем, обстоятельства его карьеры по тем временам чрезмерного осуждения и не вызывали.

Особенно пышно отпраздновал Семен Гаврилович школьный выпуск 1792 года. К тому времени было почти отстроено и раскинулось овальным полукругом, в шестьдесят сажен длины, на правом, возвышенном берегу Днепра новое трехэтажное каменное здание училища. Нота Ноткин, министр финансов Зорича, раздобыл для графа большую сумму денег, и воспитанникам была сшита новая, парадная обмундировка. На огромном школьном дворе, где по средам и субботам производилась военная экзерсиция, выстроились все четыре эскадрона училища: кирасиры в палевых колетах, гусары в светло-голубых мундирах, гренадеры в темно-синих и егеря в светло-зеленых куртках. Красиво развевались знамена с рисованными по атласу значками шкловского графства; а в момент появления на фронте Зорича был даже троекратно произведен залп из четырех двухфунтовых единорогов. Многочисленные гости, съехавшиеся на праздник со всей округи, были в восхищении. Больше всех сиял сам Семен Гаврилович Зорич.

В числе воспитанников выпуска 1792 года был один, которого граф особенно любил и на которого возлагал большие надежды. Звали этого молодого человека Штааль. Происхождения он был не русского, темного, как сам Зорич, и, подобно Зоричу, отличался редкой красотой.

Граф Семен Гаврилович очень желал устроить своему любимому питомцу самое блестящее будущее. Как-то раз ему пришел в голову странный проект. Раздумывая над вопросом о наиболее счастливой участи, могущей выпасть на долю Штааля, он, естественно, сделал вывод, который подсказывался всем опытом его собственной жизни: самая счастливая и блестящая судьба ждала бы молодого человека в том случае, если б ему удалось стать фаворитом императрицы Екатерины.

Мыслей у графа Семена Зорича было не так много, и он ими поэтому особенно дорожил: его долг, его обязанность с той поры представились ему совершенно ясными: они заключались в том, чтобы оказать Штаалю услугу, которую когда-то Потемкин оказал ему самому. К тому же он, Зорич, мог бы в случае успеха сделаться хозяином Российской империи — в качестве наставника и руководителя фаворита государыни — и уж тогда наверное получил бы княжеский титул.

Зорич, благодаря своим петербургским и сарскосельским связям, был в курсе всех придворных дел и интриг. По старому знакомству почт-директор Пестель доставлял ему даже копии наиболее занимательных писем, перлюстрировавшихся в черном кабинете. Эти копии, на листах сероватой золотообрезной бумаги с водяным знаком, изображавшим льва, рыцаря и девиз pro patria [1], были очень полезны Зоричу. Общая картина придворных отношений оказывалась довольно благоприятной: некоторые влиятельные лица, которые были в дурных отношениях с Зубовым, охотно поддержали бы всякую кандидатуру, идущую на смену надменному мальчишке. Семен Гаврилович послал с верной оказией несколько запросов сведущим людям в Петербург. Ответы получились тоже благоприятные.

II

Нелегко разобрать путаницу в голове и в душе молодого человека восемнадцати лет, особенно если этот молодой человек неглуп, горд, самолюбив и не находит удовлетворе-

---

[1] За родину (*лат.*).

ния гордости и самолюбию в той обстановке, которая обыкновенно окружает молодых людей, выходящих из детского возраста. Свобода близка, но ее еще нет — и близость свободы лишь пьянит и туманит душу. Выбор будущего еще не сделан, а сделать его надо — и не когда-нибудь, а сейчас, и не на срок, а навсегда.

В эти счастливые и мучительные годы ясно лишь очень немногое. Вполне ясно то, что жизнь текущего дня не есть настоящая жизнь: она т а к, она временна, она скоро пройдет. Настоящая, новая, совсем не такая, как теперь, не будничная, а необыкновенная и прекрасная или хотя несчастная, но трагическая жизнь — вся впереди. Неизвестно только, придет ли она сама собой или нужно что-то делать для ее приближения; и если нужно, то что же именно?.. Эта вера в какую-то новую, другую, жизнь, заполняющая всю душу очень молодых людей и со всем их мирящая, держится, понемногу уменьшаясь, довольно долго. У большинства она исчезает к концу третьего десятка. Но есть счастливые люди, доживающие с такой верой до старости и сходящие с ней в могилу.

Подавленный величием роли, которая, несомненно, должна выпасть на его долю в жизни, и вместе с тем смущенный крайней неуверенностью насчет того, какова, собственно, будет эта роль, молодой Юлий Штааль кончал курс в училище графа Зорича.

Его свобода была не за горами. И с ней, конечно, должны были открыться бесконечные возможности необыкновенной жизни: он, Штааль, не мог быть таким, как все, ибо быть таким, как все,— пошло и ужасно. В военном училище, однако, очень трудно жить по-своему, да еще необыкновенной жизнью. Кое-кто из товарищей Штааля проявлял свою личность в кутежах. Но это была проторенная дорожка. Вдобавок и начальство не баловало за кутежи, и денег для них у Штааля не было. А главное — уж очень эти шкловские кутежи были не похожи на то, что рассказывалось во французских книгах о похождениях герцога Лозена или герцога Ларошфуко. И местные дамы, которые иногда, по воскресеньям, в величайшем секрете от воспитателей, привлекались к участию в кутежах, тоже мало походили на Нинон де Ланкло и на Диану де Пуатье.

Временно, в ожидании лучшего, Юлий Штааль избрал для себя *стиль* кабинетной науки и проводил почти все свободное время в школьной библиотеке, в которой имелось много русских, французских и немецких томов всевоз-

можного содержания. Ко времени выпуска своего из училища он прочел большую часть этих книг, вследствие чего туман в его голове сделался почти беспросветным.

Мосье Дюкро, учитель-француз, очень благосклонно относившийся к Штаалю, разъяснил ему секрет подлинного знания. Истина, вся истина, таким огромным трудом приобретенная, политая кровью благороднейших людей мира, горевшая на костре с Джордано Бруно, подвергавшаяся пытке с Галилеем, стала наконец достоянием мыслящего человечества, несмотря на происки тиранов, глупцов и монахов. Мосье Дюкро благоговейно снял с полки библиотеки огромную толстую книгу в красном сафьянном переплете с золотым тиснением и обрезом. У книги этой, в которой содежалась истина, было очень длинное заглавие. Она называлась: «Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de gens de lettres. Mis en ordre et publié par M. Diderot, de l'Académie Royale des sciences et des Belles-Lettres de Prusse; et quant à la Partie Mathématique, par M. D'Alembert, de l'Académie Royale de sciences de Paris, de celle de Prusse, et de la Société Royale de Londres» [1]. Издана была книга в Париже, в 1751 году, у Бриассона, Давида-старшего, Ле Бретона и Дюрана, «avec approbation et privilège du Roy» [2],— мосье Дюкро многозначительно улыбнулся, читая последние слова. На первой странице красовалась виньетка, изображавшая какого-то ангела, обвеянного клубами дыма и шагающего босыми ногами по глобусам, картам, книгам, оружию и чему-то еще. Имелся и эпиграф из Горация: «Tantum series juncturaque pollet, tantum de medio sumptis accedit honoris» [3]. Штаалю было очень совестно, что, плохо зная по-латыни, он не разобрал смысла этого эпиграфа.

Мосье Дюкро объяснил своему ученику, что в «Энциклопедии», считая с дополнениями, есть почти три десятка таких толстых книг. Зато стоит изучить их как следует,— и тогда раз навсегда освобождаешься от всех предрассуд-

---

[1] «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел, подготовленная обществом литераторов. Составлена и издана г. Дидро, членом Королевской академии наук и Академии изящной словесности Пруссии; раздел математический написан г. Даламбером, членом Парижской Королевской академии наук и таковой же Прусской, а также Лондонского Королевского общества» *(франц.)*.

[2] С разрешения и по праву, полученному от короля *(франц.)*.

[3] «Великую силу и важность // Можно и скромным словам придать расстановкой и связью» *(лат.*, перевод *М. Гаспарова)*.

ков, порожденных вековым невежеством и черным фанатизмом.

Штааль с благоговением прочел длинное предисловие Даламбера. Он много не понимал, но мосье Дюкро помогал ему разъяснениями, а один отрывок прочел даже сам вслух, с чувством и чрезвычайно выразительно: «Car tout a des révolutions réglées, et l'obscurité se terminera par un nouveau siècle de lumière. Nous serons plus frappés du grand jour, après avoir été quelque temps dans les ténèbres. Elles seront comme une espèce d'anarchie très funeste par elle-même, mais quelque-fois utile par les suites» [1]. По интонациям мосье Дюкро Штааль понял, что в этом отрывке заключается сокровенный смысл «Энциклопедии». Он попробовал читать и дальше предисловия: прочел длинную статью о букве А, затем об Aa, s. f., rivière de France, Ab, s. m., onzième mois de l'année civile des Hébreux [2] — и несколько остыл,— не почувствовал освобождающего влияния великой книги: ни с буквой А, ни с Аа, s. f., ни с Ab., s. m. у него не связывалось предрассудков, порожденных невежеством и фанатизмом. Штааль со вздохом отложил в сторону томы «Энциклопедии», придя к выводу, что трудно научиться мудрости из словаря, хотя бы самого замечательного, и принялся читать книги без руководства и без разбора. Прочел «Système de la Nature», заглянул в «Dictionnaire Philosophique», одолел «L'homme machine». Одновременно прочел также и «Naturgesetzmässige Untersuchung des Nichts» [3] некоего Георга фон Лангенгейма, и ряд изданий московской типографической компании, и «Древнюю Российскую Вивлиофику», и «Скифскую историю из разных иностранных историков, паче же из Российских верных историй и повестей», и «Нощи» Юнга, и даже старые номера «Покоящегося трудолюбца». Попадались ему в библиотеке и книги другого содержания. Проглотил он одним духом только что получивший мировое распространение роман Бернардена де Сен-Пье-

---

[1] «Ибо все имеет свои регулярные перевороты, и мрак рассеется при наступлении нового просвещенного века. Проведя некоторое время в ночной темноте, мы потом будем более поражены ярким светом дня. Эти революции будут вроде анархии, чрезвычайно гибельной самой по себе, но иногда полезной по своим следствиям» (сб.: Родоначальники позитивизма. Вып. 1. Перевод *И. А. Шапиро*. СПб., 1910).

[2] «Аа, ж. р.,— река во Франции; Аб [или Ав], м. р.,— одиннадцатый месяц еврейского гражданского календаря» *(франц.)*.

[3] «Система природы», «Философский словарь», «Механический человек», «Сообразные с природой исследования небытия» *(франц., нем.)*.

ра,— был немного влюблен в Виргинию, чуть-чуть ревновал ее к Павлу и едва поверил ушам, когда услышал от мосье Дюкро, что автор этой книги — известный авантюрист, если не мошенник. А затем ему попало в руки «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета» с гравюрами: «А ля белль пуль» [1], «Раскрытые прелести», «Расцветающая приятность» и «Прелестная простота». Прочел Штааль и «Исповедь» Руссо, но в ней он многого не понял, а из того, что он понял, кое-что показалось ему противным, и он не мог постигнуть, каким образом этот порочный человек почитался миром в качестве мудреца и учителя добродетели. Путаница в голове молодого человека становилась все гуще. Но он не терял надежды найти несколько позднее такую *собственную* философскую точку зрения, которая примирит Новикова с Вольтером и «Naturgesetzmässige Untersuchung» с «Système de la Nature».

Самое сильное впечатление произвело на него одно сочинение неизвестного автора, только что присланное в библиотеку училища книжной лавкой Зотова и называвшееся «Путешествие из Петербурга в Москву». Штааль с волнением читал вслух отрывок, который начинался словами: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствии человека происходят от человека...»

Эта книга дала направление его мыслям. Еще до ее выхода в свет в училище стало известно, что во Франции происходят великие события. Первые слухи о французской революции были встречены в Шклове восторженно и воспитанниками, и учителями, и даже самим Семеном Гавриловичем Зоричем, которому тоже почему-то очень понравилось, что французские депутаты о чем-то присягали в Jeu de Paume [2], и как-то там при этом, кажется, играла музыка, и вообще все, как всегда в Версале, было очень весело и благородно. Однако вскоре спустя было получено известие о взятии Бастилии; в правительственной газете появилась об этом событии громовая статья, авторство которой приписывали самой императрице. Революционный пыл Зорича утих; он даже запретил давать воспитанникам иностранные газеты. Но они тем не менее узнавали кое-что о происходившем во Франции от учителей. Мосье Дюкро становился все мрачнее и сосредоточеннее: был сух с Зоричем, холодно кланялся начальству, раз даже вовсе не поклонил-

[1] «У красотки» (*франц.*— à la belle poule).
[2] Зал для игры в мяч (*франц.*).

ся местному полицеймейстеру и все грозил, что скоро уедет *совсем* во Францию. От него Штааль узнал имена и краткие характеристики главных революционных героев; по примеру мосье Дюкро он последовательно увлекался Лафайетом, Бальи, Мирабо. Однажды, в минуту откровенности, заговорив с Штаалем наедине об императрице Екатерине, мосье Дюкро потряс кулаками в воздухе и произнес несколько слов, которые восемнадцатилетний Штааль не совсем понял, хотя хорошо владел французским языком. Он попросил объяснений, но мосье Дюкро поспешно замолчал, оглянулся на дверь и перевел разговор на другой предмет. Штааль понял только, что мосье Дюкро не любил императрицу. Это очень его огорчило, ибо сам он, как все его сверстники, боготворил заочно Екатерину II и едва ли не был влюблен в ее портрет, висевший в кабинете графа Семена Гавриловича. Позднее, тоже в минуту откровенности, мосье Дюкро сказал, что его положение в России становится очень тяжелым, ибо между Францией и Европой может ежеминутно вспыхнуть война, как этого домогаются проклятые кобленцские эмигранты. Он объяснил Штаалю, что во Франции образовалась большая партия бриссотинцев, или, как их еще называют, жирондистов, которая хочет объявить войну всем тиранам. Во главе этой партии стоит Верньо, величайший оратор в мире после смерти Мирабо и совершенно изумительный человек. При этом глаза у мосье Дюкро заблистали и голос его задрожал. Штааль сразу почувствовал горячую любовь к бриссотинцам и особенно к Верньо; но вместе с тем был несколько смущен. Неужели великая просвещенная Екатерина, друг и покровительница Вольтера и Дидро, тоже принадлежит к числу тиранов? И если между Францией и Россией вспыхнет война, то как же тогда быть,— что делать ему, Штаалю, и кому желать победы? Воевать с тиранами против страны философов, революции и мосье Дюкро было очевидно невозможно. Но, как русский патриот и верноподданный великой Екатерины, Штааль, естественно, считал себя обязанным — в первый же день по объявлении войны выпросить у Зорича разрешение записаться в волонтеры. К тому же можно было думать (приняв во внимание преклонный возраст и дряхлость Румянцева), что в случае объявления войны сам Суворов станет во главе русской армии; а Штааль боготворил Суворова.

Мосье Дюкро привел в исполнение свою угрозу и в 1792 году, таинственно покинув училище, уехал к себе на мятежную родину. После его отъезда Штаалю стало осо-

бенно тоскливо. Училище ему надоело смертельно. В свои восемнадцать лет он еще ничего не сделал замечательного и очень боялся опоздать. Правда, Зорич обещал послать его немедленно после выпуска на службу в Петербург и при этом неопределенно говорил, что ему, Штаалю, с его умом и молодостью, стыдно было бы не сделать блестящей карьеры. Штааль очень хотел сделать блестящую карьеру и всей душой жаждал окончания курса.

Как-то раз, перед самым выпуском, он вечером зашел в библиотеку и по привычке, почти машинально, взял с полки первое, что попалось под руку. Это была крошечная книжка, написанная Байе: «La vie de M. Des-Cartes contenant l'histoire de sa philosophie et de ses autres ouvrages. Et aussi ce qui luy est arrivé de plus remarquable pendant le cours de sa vie. A Paris, chez la veuve Cramoysi, 1693, avec privilège du Roy» [1]. Штааль почти ничего не знал о Декарте, кроме похвал, расточенных ему в предисловии Даламбера к «Энциклопедии». Знал, впрочем, что Декарт — великий философ, который сказал «cogito ergo sum» [2],— и что фраза эта знаменита своим глубокомыслием на весь мир (Штааль не совсем понимал — почему). Он с зевком принялся читать — и прочел книжку одним духом: такой волшебной и вместе близкой и бесконечно важной для него самого показалась ему биография философа Декарта.

Наука, тоска, свет, кутежи, игра, войны, путешествия, приключения, розенкрейцеры,— и затем снова наука, гениальные открытия, глубокие вдохновенные мысли... Так вот что такое жизнь, вот что такое мудрость!

Штааль взволнованно отыскал в библиотеке сочинения самого Декарта. Он открыл «Discours de la Méthode» [3] и через минуту был во власти чар этой единственной в мире книги. А на месте рассказа, где старый мудрец описывает свой выход из школы и погружение в «великую книгу мира», слезы волнения и счастья брызнули из глаз восемнадцатилетнего Штааля.

«C'est pourquoi sitost que l'aage me permit de sortir de la sujetion de mes Précepteurs, je quittay entièrement l'estude des lettres. Et me resolvant de ne chercher plus d'autre science, que celle qui se pourrait trouver en moy mesme, ou bien dans

---

[1] «Жизнь г. Декарта, содержащая историю его философии и его другие труды. А также все, что произошло примечательного в течение его жизни. [Напечатано] в Париже, у вдовы Крамуази, 1693. по праву, полученному от короля» *(франц.)*.

[2] «Я мыслю, следовательно, я существую» *(лат.)*.

[3] «Рассуждение о методе» *(франц.)*.

le grand livre du monde, j'employay le reste de ma jeunesse à voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à recueillir diverses expériences, à m'esprouver moy mesme dans les rencontres que la fortune me proposoit, et partout à fair telle réflexion sur les choses qui se présentoient que j'en puisse tirer quelque profit... Et j'avois toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vray d'avec le faux, pour voir clair en mes actions, et marcher avec assurance dans cette vie» [1].

Эти слова открыли Штаалю значение его собственной жизни, указав ему новый путь. Он твердо решил последовать по стопам Декарта: нужно сначала увидеть мир и людей, испытать *все*, пройти через *все*,— а потом *смысл* придет сам собою...

В начале января 1793 года, блестяще окончив училище, молодой человек отправился в Петербург, щедро снабженный Зоричем деньгами и рекомендательными письмами. Граф Семен Гаврилович не дал Штаалю точных указаний относительно предстоявшей ему карьеры. Он говорил неопределенно о блеске петербургского двора, о величии матушки императрицы, об ее славе и красоте — и все попрежнему подчеркивал, что ждет от своего юного питомца сказочных успехов, на которые дают несомненные права его ум, способности и разные другие достоинства.

III

Полвека прошло с той поры, как Фридрих II, желая насолить саксонскому двору, который рассчитывал выдать свою принцессу Марию-Анну за наследника русского престола Петра-Карла-Ульриха Гольштейнского, внезапно ставшего великим князем Петром Федоровичем, принялся спешно подыскивать для великого князя другую невесту. Были у прусского короля для этой цели на примете три

---

[1] «Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из подчинения моим наставникам, я совсем оставил книжные занятия и решился искать только ту науку, которую мог обрести в самом себе или же в великой книге мира, и употребил остаток моей юности на то, чтобы путешествовать, увидеть дворы и армии, встречаться с людьми разных нравов и положений и собрать разнообразный опыт, испытать себя во встречах, которые пошлет судьба, и повсюду поразмыслить над встречающимися предметами так, чтобы извлечь какую-нибудь пользу из таких занятий... Я же всегда имел величайшее желание выучиться различать истинное от ложного, чтобы отчетливее разбираться в своих действиях и уверенно двигаться в этой жизни» (Р. Декарт. Рассуждение о методе. Перевод *Г. Г. Слюсарева*. М.—Л., 1953).

немецкие принцессы: две гессен-дармштадтские и одна цербстская. Последняя наиболее подходила по возрасту, но уж очень заурядной представлялась эта побочная цербст-дорнбургская линия одной из восьми ветвей ангальтского дома, нищая и захудалая даже среди нищих и захудалых немецких князьков. О самой пятнадцатилетней невесте Фридрих ничего не знал. Говорили только, что мать ее, Иоганна-Елизавета, вела очень легкомысленный образ жизни и что вряд ли маленькая Фике действительно дочь цербстского князя Христиана-Августа, занимавшего должность губернатора в Штетине.

После непродолжительных колебаний выбор русского двора остановился именно на принцессе Фике. Императрица Елизавета, дочь Петра Великого, в память своей умершей сестры Анны, вышедшей замуж за герцога Гольштейнского, избрала для племянника невестой цербстскую принцессу, бывшую в родстве с гольштейнским домом. Но еще задолго до окончательного решения, зимой 1742 года, в крошечный Цербст нежданно-негаданно пришла следующая грамота:

«Светлейшая княгиня, дружелюбно-любезная племянница,

Вашей любви писание от 27 минувшего декабря и содержанные в оном доброжелательные поздравления мне не инако, как приятны быть могут. Понеже ваша любовь портрет моей в Бозе усопшей государыни сестры герцогини Гольштейнской, которой портрет бывший здесь в прежние времена королевской Пруссии министр барон Мардефельд писал, у себя имеете; того ради мне особливая угодность показана будет, ежели Ваша любовь мне оной, яко иного хорошего такого портрета здесь не находится, уступить и ко мне прислать изволите; я сию угодность во всяких случаях взаимствовать сходна буду.

Вашей любви дружелюбно охотная

Елисавет».

Фике, будущая императрица Екатерина II, живо помнила, как собрались в гостиной их квартиры вся семья и ближайшие друзья дома: баронесса фон Принцен, пастор Дове, der dumme[1] Вагнер и другие; как переводчик, долго ломая голову над каждой фразой, взволнованно-радостно переводил письмо русской царицы; как все жадно ловили его слова, переспрашивая по десяти раз и требуя ежеми-

[1] Глупый (*нем.*).

нутно пояснений смысла, которых он, очевидно, дать не мог. Сама четырнадцатилетняя Фике не совсем понимала причину общего радостного возбуждения, хотя и видела, что письмо имеет какое-то очень важное отношение именно к ней. Когда же все фразы письма были разобраны и наскоро прокомментированы (их потом комментировали ежедневно в течение долгих месяцев), пылкая Иоганна-Елизавета бросилась дочери на шею и, закатив глаза, взволнованно зашептала:

— Фикхен! Молись Богу!

Фикхен была этим очень довольна: мать вообще не баловала ее ласками и нещадно колотила за каждую провинность.

Портрет Анны Петровны был, разумеется, немедленно отправлен царице. Вскоре после того онкель Август повез в Петербург и портрет самой Фике, очень скверно написанный живописцем Антуаном Пэном. А еще несколько позже пришло от их друга Брюммера, воспитателя великого князя, другое письмо — уже на немецком языке,— приглашавшее от имени царицы Иоганну-Елизавету с дочерью прибыть немедленно в Россию.

«Ваша Светлость,— писал многозначительно Брюммер,— слишком просвещенны, чтобы не понять истинного смысла того нетерпения, с которым Ее Императорское Величество желает скорее увидеть здесь Вас, равно как и принцессу Вашу дочь, о которой молва сообщила нам так много хорошего. Бывают случаи, когда глас народа есть именно глас Божий.

В то же время, наша несравненная монархиня мне указала предварить Вашу Светлость, чтобы принц супруг Ваш не приезжал вместе с Вами; Ее Императорское Величество имеет весьма уважительные причины желать этого. Полагаю, Вашей Светлости достаточно одного слова, чтобы воля нашей божественной государыни была исполнена.

Чтобы Ваша Светлость не были ничем затруднены, чтобы Вы могли сделать несколько платьев для себя и для принцессы Вашей дочери и могли, не теряя времени, предпринять путешествие, имею честь приложить к настоящему письму вексель, по которому Вы получите деньги немедленно по предъявлении... Осмеливаюсь ручаться Вашей Светлости, что по благополучном прибытии сюда Вы не будете уже нуждаться ни в чем. Ваша Светлость найдет здесь покровительницу, которая позаботится обо всем, что Вам необходимо, чтобы достойным образом появиться в обще-

стве. Приняты такие меры, что Ваша Светлость останетесь вполне довольны».

В тот же день было получено в Цербсте и письмо от Фридриха II. Прусский король, сообщая с своей стороны радостное известие, настойчиво советовал ехать и держать поездку в строгом секрете (чтобы, Боже упаси, не узнали раньше времени саксонцы и граф Чернышев).

Но торопить Иоганну-Елизавету не требовалось. Через несколько дней вся цербстская семья примчалась в Берлин. Фридрих был очень ласков, потрепал Фикхен по щеке, радостно представляя себе, как будут расстроены этим браком саксонцы и Бестужев-Рюмин,— и благословил принцесс в долгий путь.

Затем Фике навсегда простилась с отцом, от которого получила при этом случае пространное письменное напутствие. На языке, считавшемся в ту пору немецким, ангальт-цербстский принц рекомендовал дочери: «Nicht in familiarité oder badinage zu entriren, sondern allezeit einigen égard sich moeglichst conservieren... In keine Regierungssachen zu entriren um den Senat nicht aigriren...» [1] Советовал также беречь деньги, проверять счета прислуги и ни в коем случае не играть в карты. Читая отцовское наставление, Фикхен плакала горькими слезами. Затем она выехала с матерью в Россию, останавливаясь для ночевок на постоялых дворах.

По дороге Иоганна-Елизавета занимала Фике рассказами о России. Но она сама почти ничего не знала об этой стране, кроме разных анекдотов о великом Петере. Император Петр I любил немцев, и немцы тоже его любили. По Германии ходили всякие рассказы о московском царе, который был на две головы выше среднего человеческого роста, работал и пил вдвое больше, чем обыкновенные люди, и в один присест съедал целого гуся. При этом воображение немцев поражал не столько аппетит русского монарха — по аппетиту многие из них ему никак не уступили бы,— сколько то обстоятельство, что один человек, хотя бы и кайзер, позволял себе потреблять сразу такое количество дорогого гэнзебратена. Несколько шокировали немцев привычки московского царя. Он бражничал с моряками, легко перепивал их и на голландско-немецком языке горько жаловался на судьбу, которая поставила его царем над этакой темной страной. «Народ хитрый, умный,— угрюмо говорил он,—

[1] «Не впадать в фамилиарность или шутливость, но всегда по мере возможности сохранять обходительность . Не вникать ни в какие дела правления, чтобы не раздражать Сенат...» *(нем., франц.)*

русский мужик по уму трех жидов стоит. Да учиться, подлецы, не хотят!..» Рассказывали также с некоторым ужасом, что в Виттенберге, когда Петру показали палату, где Мартин Лютер бросил в дьявола чернильницей, царь внимательно осмотрел оставшееся на стене от этого чудесного случая пятно, а затем сердито написал в книжке, предназначенной для почетных гостей: «Чернила новые и совершенно сие неправда».

Иногда между рассказами о странном московском царе Иоганна-Елизавета наставительно говорила дочери о том, какое счастье выпадет ей на долю, если удастся обворожить великого князя и благополучно довести дело до конца. Фике внимательно ее слушала и всей душой была рада стать царицей, Kaiserin. Правда, ей не очень улыбалось выйти замуж за шестнадцатилетнего мальчишку; но, когда она дала понять это матери, та назвала ее глупенькой девочкой и намекнула, что у монархинь есть, правда, великие, священные обязанности, но есть и такие права, которых не имеют обыкновенные замужние дамы.

Настоящее свое счастье Фике стала понимать только тогда, когда их скромный экипаж подошел к русской границе. Под Ригой принцесс встретили камергер Семен Кириллович Нарышкин, князь Долгоруков, генерал-аншеф Салтыков, кирасиры полка великого князя, преображенцы, измайловцы, представители дворянства и магистрата. Там же их ждали первые подарки царицы — великолепные собольи шубы, крытые парчой. Иоганна-Елизавета вскрикнула: «Wunderschoen! Aber wunderschoen!» [1] и объявила во всеуслышанье, что хотя ее удивить очень трудно, ибо ей в Гамбурге у мамы приходилось видеть самые дорогие меха, но ничего подобного этим шубам она все-таки никогда не видела.

В Риге принцессы пересели из своего возка в императорские сани, длинные, с кузовом, обшитые изнутри соболями, выложенные шелковыми матрасами, запряженные десятью лошадьми, по две в ряд. На передке саней сел камергер Нарышкин. Это был такой важный и осанистый человек, и одет он был так богато, и кричал он на прислугу таким страшным голосом, что Фике при первой встрече уже было собралась поцеловать ему руку, как ей полагалось делать с почетными гостями в Цербсте и Штетине. Но мать толкнула ее в бок — и она вспомнила, что Нарышкин станет, быть может, ее подданным.

[1] «Чудесно, просто чудесно!» *(нем.)*

Свита принцесс разместилась во множестве других саней, эскадрон кирасир великого князя выстроился вокруг поезда, и поезд понесся в Петербург. Эта поездка осталась в воспоминании Фике как длинный чудесный сон. Все было здесь не похоже на ее родину: необычайный простор земли; роскошь высокопоставленных людей; странные, неправильные, азиатские черты лица попадавшихся прохожих; непривычная развалистая походка пешеходов; а главное — необычайный размах, ширь во всем, раздолье, о котором у них никто не имел понятия. Она все больше и лучше понимала, какое неслыханное, небывалое счастье сваливается ей на голову, и странные, честолюбивые мысли впервые пришли пятнадцатилетней девочке...

Успела она также в дороге обратить внимание на всех сопровождавших ее мужчин — от высших лиц свиты до простых кирасир,— причем быстро отметила и выделила красивых. Видавший вид камергер Нарышкин искоса поглядывал на девочку, на ее неправильные черты, на голубые глаза, оттененные черными ресницами, на пухлый рот и выдающийся подбородок, и думал про себя, что из маленькой немки будет толк.

Неслыханные почести ждали принцесс ангальт-цербстских в Петербурге, а затем в Москве, где тогда временно находился двор. Императрица и великий князь приняли их «auf tendreste» [1]. В день их приезда, вечером, в отведенные им апартаменты Головинского дворца торжественно явился старый друг Брюммер, воспитатель великого князя. Иоганна-Елизавета и Фике сразу заметили, что der alte Kerl [2] строго выдерживает новый тон. Россию он называл «нашим славным отечеством», а императрицу Елизавету «нашей великой государыней». Приняв во внимание, что подданным императрицы и русским человеком Брюммер сделался два года тому назад, Фике порешила, что она еще скорее станет русской женщиной и великой княгиней. Брюммер много рассказывал о великолепии петербургского двора, ни в чем не уступающего версальскому; о размерах русских дворцов; а также о мудрости, доброте и добродетели императрицы Елизаветы, которая навсегда отменила в России смертную казнь, в чем поклялась на образе святого чудотворца Николая. Больше, однако, поразило немецких принцесс то, что у Елизаветы в гардеробе имеется пятнадцать тысяч платьев, пять тысяч пар башмаков и два сундука шелковых

[1] Самым любезным образом *(нем.)*.
[2] Старик *(нем.)*.

чулок. Как ни много удивительных вещей видели в последнее время принцессы в Петербурге и Москве, эти цифры совершенно поразили их воображение: сами они привезли из Германии по три платья и по одной дюжине белья. Нагнал на них робость и общий тон речи Брюммера. Впрочем, несколько позже, когда они робко вынули привезенные ими ему подарки: пять фунтов настоящей, непортящейся штетинской колбасы, две бутылки настоящего старого иоганнисбергера, шелковый кошелек и кисет для табаку, Брюммер расчувствовался, вспомнил Цербст, Штетин, Киль, госпожу Брандорф, старый Рейн, прослезился и перестал называть Россию нашим славным отечеством. Они тут же втроем распили бутылку настоящего старого иоганнисбергера, закусили настоящей, непортящейся штетинской колбасой, после чего у Брюммера развязался язык и характер его сообщений стал несколько иной. Оказалось, что хотя в гардеробе Елизаветы есть пятнадцать тысяч платьев, но денег в русской казне нет, и, кроме как на содержание двора, да еще на армию, ничего ни на что расходовать нельзя. И хотя смертная казнь в России навсегда отменена,— согласно обычаю, по которому всякое новое русское правительство первым делом навсегда отменяет смертную казнь,— но языки и уши режут людям, часто большими партиями, что ни день. И хотя сама императрица образец монархини, но все-таки нехорошо, что она частенько напивается водкой до бесчувствия, как кильский извозчик. И хотя она дочь великого Петера, но мать ее была по профессии такое, что и сказать при барышне невозможно; а дядя, граф Федор Скавронский, еще совсем недавно был ямщиком, ein Kutscher! И хотя императрица ангел, но поведение ее... Правда, знатные дамы могут иногда позволять себе вольности — тут Брюммер подозрительно поглядел на Иоганну-Елизавету,— однако нужно знать, с кем можно их себе позволять и с кем нельзя. Против благородных риттеров он, Брюммер, не говорит ни слова, но путаться императрице, einer Kaiserin! с конюхом ist wirklich unerhoert! [1] Что касается нашего Карла-Ульриха, то это был шелковый мальчик в Киле, где он, Брюммер, держал его в руках и всего еще два года тому назад основательно порол за шалости; а с тех пор, как Карл-Ульрих стал в России великим князем Петром Федоровичем, к нему подступиться нельзя: совершенно испортился и, чего доброго, плохо кончит. А вообще, хотя Россия, конечно, великая страна, имею-

[1] Воистину неслыханно! *(нем.)*

щая громадное будущее, но понять в ней и в этих московитах решительно ничего нельзя. И если говорить правду — сму хорошо известна дискреціон[1] обеих принцесс,— то Цербст, не говоря уже о Киле, много лучше России. Вот только жалованья в Цербсте и в Киле, к сожалению, платят мало и никакой серьезной карьеры там сделать нельзя; а то и уезжать оттуда было бы совершенно не нужно.

IV

Все это было очень, очень давно. Пятнадцатилетняя девочка превратилась в старуху: Фикхен стала императрицей Екатериной Великой. Позади были кровавые вехи длинного пути, удачи, неудачи, страшные дни «Петербургского действа» и пугачевщина, очень было перепугавшая царицу.

Царствование ее было удачным. Как добросовестная немка, Екатерина старательно работала для страны, которая дала ей такую хорошую и выгодную должность. Счастье России она естественно видела в возможно большем расширении пределов русского государства. От природы она была умна и хитра. Нелегко доставшийся престол научил ее многому. Она прекрасно разбиралась в интригах европейской дипломатии. Хитрость и гибкость были основой того, что в Европе, смотря по обстоятельствам, называлось политикой Северной Семирамиды или преступлениями московской Мессалины.

Но, несмотря на огромный промежуток времени, отделявший старую государыню от немецкого периода ее жизни, несмотря на то, что в течение тридцати с лишним лет она была самодержавной царицей России, цербстское прошлое в значительной мере определяло мысли и чувства Екатерины. Какие успехи ни выпадали на ее долю, как ни привыкла она ко всеобщей, безмерной лести, императрица все еще не могла совершенно оправиться, в глубине души, от того небывалого, случайного и сказочного счастья, которое выпало ей на долю. Екатерина прекрасно знала, что ни по каким законам не имеет ни малейших прав на императорский престол России. Тот, кто мог себя считать законным русским монархом, несчастный Иоанн Антонович, с двухлетнего возраста заключенный в тюрьму, был убит при попытке к побегу, а поручика Мировича, устроившего эту попытку, казнили с соизволения Екатерины. Следующий за Иоанном Антоновичем император Петр Федорович был низвергнут Екатериной и задушен в Ропшинском замке. После же смерти обоих императоров, Иоанна и Петра, за-

[1] Скромность (*франц* discrétion).

конным наследником был сын Екатерины, великий князь Павел Петрович. Он был устранен ею, вопреки смыслу и духу закона. Русский престол она, цербстская немка, занимала только благодаря захвату, осуществленному тридцать лет тому назад кучкой шальных гвардейских офицеров. Иногда Екатерина во сне с ужасом видела, как ее внезапно лишают трона и душат, либо заключают в монастырь, либо отправляют на родину, туда в Цербст.

Она хорошо понимала, что может держаться на престоле, лишь всячески угождая дворянству и офицерам,— с тем, чтобы предотвратить или хоть уменьшить опасность нового дворцового заговора. Это Екатерина и делала. Вся ее внутренняя политика сводилась к тому, чтобы жизнь офицеров при ее дворе и в гвардейских частях была возможно более выгодной и приятной.

Екатерина по природе своей не была ни зла, ни жестока. Напротив, она была даже скорее добра и охотно благодетельствовала людям, если ей это ничего не стоило или стоило не очень дорого. Честолюбие ее, вполне женское, то есть совершенно отличное от мужского, сильно уменьшалось с годами. Екатерина не была и чрезмерно властолюбива: всю жизнь неизменно находилась под влиянием сменяющих друг друга фаворитов, которым с радостью уступала свою власть, вмешиваясь в их распоряжения страной только тогда, когда уж очень ясно они показывали свою неопытность, неспособность или глупость: она была умнее и опытнее в делах, чем все ее любовники, за исключением князя Потемкина.

В натуре Екатерины не было ничего чрезмерного, кроме странной смеси самой грубой и все усиливающейся с годами чувственности с чисто немецкой, практической сентиментальностью. В свои шестьдесят пять лет она как девочка влюблялась в двадцатилетних офицеров и искренне верила тому, что они также в нее влюблены. На седьмом десятке лет она плакала горькими слезами, когда ей казалось, будто Платон Зубов был с ней сдержаннее, чем обыкновенно.

V

Согласно инструкции, данной ему Зоричем, Штааль немедленно по приезде в Петербург явился к графу Александру Андреевичу Безбородко, одному из первых сановников столицы.

Безбородко был осведомлен о планах Зорича и очень им сочувствовал. Александру Андреевичу в последнее вре-

мя не везло с фаворитами. Сильно невзлюбил его за что-то Мамонов, который из-за графа устроил было бурную сцену императрице — или, как мягко говорили в Эрмитаже, *«двору»*: Мамонов, подобно Потемкину, мало церемонился с Екатериной. Александр Андреевич, как умел, отбивался от нападок могущественного фаворита: пробовал даже в противовес Мамонову выставить своего племянника, красавца Милорадовича; но из этого дела ничего не вышло: Милорадович оказался слишком неловок. Правда, судьба ненадолго помогла графу: Мамонов неожиданно влюбился в княжну Щербатову и потерял свою должность при императрице. Но заместитель его, Платон Александрович Зубов, тоже не жаловал Безбородко и чинил ему всяческие неприятности. С фаворитами графу было бороться не под силу; главную свою надежду он возлагал на смену Зубова и на успех какой-либо благоприятной новой кандидатуры. Поэтому Александр Андреевич с особой симпатией отнесся к проекту Зорича.

Безбородко, еще не старый по возрасту человек, преждевременно одряхлел от развратной жизни. Хитрый и изворотливый по природе, он, по мнению строгих придворных, уже начинал сдавать, а, по мнению очень строгих, даже несколько выжил из ума, в чем их особенно убеждала развившаяся у министра неудержимая болтливость — обстоятельство, отнюдь не благоприятное для политической карьеры. Александр Андреевич еще занимал много очень важных должностей, но знатоки склонны были считать его песенку спетой, и около графа начинала образовываться та зловещая пустота, которая означает приближение конца всякой большой карьеры. Сам он, однако, не замечал этой пустоты или не желал ее замечать.

Совершенно ошеломленный Петербургом, Штааль вошел в большой, роскошно отделанный дом, где жил Безбородко, и вручил дежурному офицеру рекомендательные письма. Ждать министра ему пришлось в гостиной. Еще никогда Штаалю не приходилось видеть такой массы золота, как в этой комнате. Особенно его поразила стоявшая у стены огромная сверкающая горка, вышиной в шесть аршин, сплошь уставленная золотыми сосудами. Против горки висел в золотой раме портрет воина с чуприной, огромными усами самого рыцарски-запорожского вида и полуотрубленным подбородком. Воин этот чрезвычайно ласково и бойко улыбался оставшейся частью подбородка. Длинная, цветистая надпись на золотой доске под портретом свидетельствовала о том, что рыцаря звали Демьян Ксен-

жицкий, герба Ostoja, воеводства Остржетовского, и что он положил начало роду и прозвищу Безбородок. Через несколько минут в комнату, в сопровождении упитанного равнодушного мопса, вошел тучный, грузный человек, с отвисшим подбородком и полуоткрытым ртом, в синем ватном домашнем сюртуке, мягких туфлях с огромнейшими бриллиантовыми пряжками и в белых шелковых чулках, которые мешками висели на толстых ляжках ног. Внешность министра немного успокоила Штааля. Особенно же его почему-то успокоило то обстоятельство, что говорил граф порусски с малороссийским акцентом.

В руках у министра было рекомендательное письмо Зорича. Содержание письма сильно озадачило Безбородко: Семен Гаврилович красноречиво, но смущенно писал, что юноша, которому он покровительствует, неопытен, бурь мира сего не изведал и еще не искушен в светской жизни; поэтому неудобно было сразу начисто объяснить ему интересующее их всех дело. Пусть он сначала освоится с Петербургом, подышит воздухом двора, побывает на приеме у матушки царицы,— а там «Бог не оставит его милостью, а Ваше Сиятельство — помощью в диффикультетах [1]».

Безбородко с недоумением, как на диковинку, смотрел на молодого человека, которому нельзя было объяснить напрямик, в чем дело.

«Ще молода детына»,— подумал он, оглядев гостя с ног до головы, и взял горсточку табаку из золотой с бриллиантами табакерки.

Внешность юноши ему, однако, понравилась. Граф подтянул привычным движением руки мешки шелковых чулок и внимательно расспросил Штааля о видах на службу Но ничего путного он не узнал: проклиная свою застенчивость, Штааль сбивчиво и неловко объяснил, что пока еще не выработал никаких предположений.

Александр Андреевич вздохнул и решил предоставить дело воле Божьей. Затем он прочел молодому человеку небольшое житейское наставление общего характера. Как все вышедшие из низов и достигшие высоких степеней люди, он любил говорить о себе. Говорил он хорошо, гладко и книжно, с весьма внушительными интонациями, которым, однако, сильно вредил его малороссийский говор. Да и с внушительных интонаций он порою неожиданным образом срывался.

— Служба наша, сударь,— сказал он,— приятна и видна, но не скоро полезна бывает. Представлять у двора приличную функции фигуру довольно надобно иждивения; где

[1] Трудности (*франц.* difficultés).

что шаг ступить, то и платить нужно. Про себя скажу: живу хорошо, стол держу на двадцать четыре куверта, а особливо для офицеров на ордонанс, да на секретарей. В Москве, государь мой, уготовляю себе на старость дом преогромный, для отдохновения от бремени трудов. Расходу множество,— добавил он, вздыхая и внезапно утратив важность интонаций, но сейчас же заговорил еще внушительнее прежнего.— В протчем не жалуюсь. Ее императорское величество ценит мое усердие и не оставляет поверенностью и предилекцией [1]. Для собственного вашего знания, сударь, скажу, дабы не причли сего в самозванство, что отзывами своими неоднократно всем знатным и приближенным изразить изволила свое отменное ко мне благоволение и уважение к трудам моим. И такое милостивое в рассуждении меня обращение есть величайшим для меня одобрением и утешением.

Здесь он вздохнул опять, понюхал табаку и посмотрел на Штааля, очевидно ожидая ответа. Но, не дождавшись, продолжал:

— Вот и теперь в Яссах, после искусных негоций, подписал я с турками мир превыгодный. Опять же злодеи мои меня марали, будто корыстовался я за подряды провиантские... Дело известное, отлучному человеку нельзя без забот, чтобы сплетни ему не повредили... Хороша была корысть-то в Яссах: отправили меня небогатою рукою. Ну, правда, подарки получались от Порты: бриллиантовый перстень, да табакерка, да часы — тысяч в тридцать станут, не более,— да лошадь, да палатка шитая (но весьма ветхая,— грустно вставил он, опять потеряв внушительность тона), да ковер салоникский, да кофею тридцать семь пудов, да еще бальзаму индийского и менского, табаку, мыла, губки, трубки, амбры и шалей двадцать четыре куска... Много ли радости? Чай, Зубов Платон за это время не такие подарки получил... Как на этот счет изволите думать, сударь? — значительно спросил он, в упор глядя на Штааля своими маленькими хитрыми глазками.

Штааль никак об этом не думал. Безбородко разочарованно опять осмотрел его с головы до ног, подтянул чулки и, помолчав с минуту, заговорил по-французски, правильно строя гладкие фразы, но выговаривая их с тем же малороссийским акцентом, который он сохранял во всех языках.

«Уж если ты, хлопец, и по-французски не говоришь, так езжай себе, Грыцю, назад, в Шклов, гонять собак»,— подумал он.

[1] Расположение (*франц.* prédilection).

Но Штааль говорил по-французски прекрасно, и, услышав его выговор, Безбородко с удовольствием причмокнул полуоткрытым ртом. Граф сказал этому человеку, что устроит ему приглашение в Эрмитаж на *средний прием* в ближайший четверг, а пока советовал поосмотреться немного в Петербурге, поразвлечься, да что ж — беды в ваши лета нет — и покутить.

— Жить, государь мой, милости прошу у меня,— сказал он снова по-русски не допускающим возражений тоном.— Дом большой... А мы с Семен Гавриловичем старые приятели... Ох, порастрясли его гроши проклятые Зеновичи... Ну, да ничего, богат. Шкловское имение — золотое дно... Так, значит, мы и порешили. А чтоб скучно вам не было, я вам дам, сударь, компаньона: добрый хлопец и все вам покажет.

Безбородко велел позвать одного из состоящих при его особе секретарей, необыкновенно щегольски, по последней моде, одетого молодого человека, и поручил ему Штааля, шепнув предварительно на ухо щеголю несколько слов, от чего тот весело улыбнулся. Штааль откланялся и направился было к выходу. Но Александр Андреевич воротил его от дверей.

— А что, сударь, Лизаньку Сандунову-Уранову видели? — неожиданно спросил он конфиденциальным тоном.

Штааль не знал, кто такая Лизанька Сандунова-Уранова. Безбородко посмотрел на него с большим сожалением, вздохнул и перевел глаза на секретаря, точно призывая его в свидетели.

Секретарь заговорил тоненьким голоском, с какими-то особенно мягкими, влезающими в душу, интонациями и, к удивлению Штааля, довольно фамильярно:

— Да что Сандунова, ваше сиятельство? Право же, слава одна. Я думаю, ей до *Ленушки* далеко, ваше сиятельство...

Министр с удовольствием понюхал табаку и покачал головой:

— Нет, брат, ты не говори,— сказал он задумчиво.— Ленушка, конечно, отменных телесных качеств женщина... Это ты прав. А все же у Лизаньки Сандуновой груди такие, что и самой Давии не уступит... Ты обратил ли внимание на ее груди?

— Как не обратить, ваше сиятельство. Да и про груди, ma foi [1], одна слава...

[1] Право *(франц.)*

— Нет, нет, и не говори, брат. Что ты смыслишь в грудях-то?.. Молодо, зелено...

Безбородко постоял в задумчивости минуту, открыв совершенно рот и приятно улыбаясь; затем, точно что-то вспомнив, повел заплывшей жиром шеей и внушительным тоном, книжной цветистой фразой отпустил молодых людей.

Секретарь Безбородко оказался очень любезным, бывалым и обходительным молодым человеком. Звали его Иванчук (свою фамилию он произнес Штаалю скороговоркой); говорил он вообще быстро, четко и гладко. Только французские фразы, пересыпавшие его речь, выходили у него совсем нехорошо. Выяснилось, что секретарь пользуется особым расположением и доверием графа Безбородко; министр, в знак милости и в исключение из своего общего правила, говорил ему даже «ты». Сам Иванчук называл графа в третьем лице «наш Сашенька» — и это несколько удивило Штааля. Но из дальнейшего разговора оказалось, что молодой секретарь называет уменьшительными именами почти всех высших сановников столицы. Штааль был очень поражен такой короткой дружбой Иванчука с людьми, занимавшими первые посты в империи; сомнение взяло его только тогда, когда секретарь назвал Павликом наследника престола. Иванчук очень быстро сообщил Штаалю множество самых разнообразных сведений о себе и о других. Рассказал, что наш Сашенька находится теперь в упадке. В большом фаворе он, правда, никогда не был и любовником государыни состоял в свое время не больше недели (Штааль раскрыл рот от изумления, Иванчук посмотрел на него, сказал радостно: «как же, как же» — и продолжал свой рассказ). Oui, il n'y a à dire [1], политическая карьера Сашеньки приходит, кажется, к концу И это очень жаль, ибо Сашенька премилый человек, сыплет деньгами направо и налево и хоть жалуется на расходы, но на самом деле il est riche comme un diable,— богат как черт,— одной мебели, с картинами и мрамором у него миллиона на четыре, как же, как же! Певице Давии он платил ежемесячно восемь тысяч рублей, а на прощанье подарил ей сразу пятьсот тысяч; теперь купает в золоте танцовщицу Ленушку. И жаль, очень жаль, ma parole du gentilhomme [2], что Сашенька не поладил с Платоном, ибо Платон теперь всемогущ, мы все против него ничего не значим. А Павлика, вероятно, государыня вовсе устранит от престола, и это будет прекрасно; она

[1] Да, ничего не скажешь *(франц.)*.
[2] Слово дворянина *(франц)*

знает, что мы все будем этому очень рады. Общество же теперь в столице премилое: самые приятные балы у Лили Строгановой на Дворцовой набережной,— je vais y vous introduire [1]. Да еще Саша Белосельский устраивает чудесные небольшие вечеринки и стишки свои читает там премило. Он, кстати, женится на Козицкой и берет большое приданое. Одним словом,— как же, как же,— я вас со всеми перезнакомлю, увидите, все премилые ребята.

Иванчук действительно ввел Штааля в кружок веселящейся петербургской *молодежи*, состоявший большей частью из богатых, знатных и чиновных людей в возрасте от семнадцати до семидесяти лет. Доступ в этот кружок приобретался, по-видимому, очень легко. Правда, членов кружка, которых Иванчук за глаза называл ласково-уменьшительными именами, в разговоре с ними он почтительно титуловал «Ваше Сиятельство» или «Ваше Превосходительство», а сиятельства и превосходительства, как по всему было видно, едва ли знали его по фамилии. Но ездили с ним по ресторанам и ночным увеселительным местам очень охотно. В тот год была в большой моде петергофская дорога; несмотря на холодную зиму, группы веселящейся молодежи чуть не каждую ночь отправлялись кутить на загородные дачи. Самое приятное времяпровождение было на дачах обершенка Нарышкина, носивших странные названия «Ба-ба» и «Га-га»; там Штааль узнал много совершенно новых вещей, о которых ему не случалось читать даже во французских книжках. Было также большое празднество на Александровой даче под Павловском, где веселое общество любовалось достопримечательностями замысловатого сада. Особенно удивили Штааля «Храм Флоры и Помоны», «Пещера нимфы Эгерии» и всего больше «Храм Розы без шипов». На плафоне этого храма фрески изображали блаженствующую Россию. Блаженствующая Россия грациозно опиралась на щит с изображением Екатерины; по бокам красовались трубящая Слава и два ангела с крестом. В середине храма на алтаре стояла урна, заключавшая в себе Розу без шипов. Что означала Роза без шипов, оставалось несколько неясным, но, как по всему можно было догадаться, автор мудреной аллегории имел в виду опять-таки императрицу Екатерину. В храмах и в Пещере нимфы Эгерии время тоже проводилось довольно весело. Штаалю было немного совестно так жить, но он для успокоения напоминал самому себе заветы великого Де-

[1] Я вас туда введу *(франц.)*.

карта: познать *все*, погрузиться в великую книгу мира. Великая книга мира на этой петербургской главе понравилась молодому человеку. Льстило Штаалю и то, что компаньонами его по ночным развлечениям были люди с очень громкими, большей частью титулованными именами. Под утро члены кружка обыкновенно отправлялись на маскарад к ресторатору Лиону, у которого собиралось чрезвычайно смешанное общество. Там они как-то, часов в пять утра, встретили Александра Андреевича Безбородко в обществе уличных женщин. Министр был очень навеселе; тем не менее узнал молодых людей, радостно погрозил Штаалю пальцем и сказал ему, подтягивая чулки, так же гладко и красноречиво, как всегда, более или менее подходившее к случаю цветистое слово.

VI

В честь приехавшего в Петербург московского главнокомандующего Прозоровского граф Безбородко решил устроить обед, пригласив в качестве второго гостя Федора Васильевича Ростопчина.

С этим обедом Александр Андреевич связывал довольно сложную политическую комбинацию. Знаменитый своей жестокостью, старый князь Прозоровский был послан Екатериной в Москву на усмирение масонов и мартинистов. Его назначение было встречено крайне неодобрительно умнейшими сановниками империи. Сам Потемкин, получив незадолго до своей кончины известие о посылке Прозоровского, с гневом писал императрице: «Ваше Императорское Величество выдвинули из вашего арсенала самую старинную пушку, которая будет непременно стрелять в вашу цель, потому что своей собственной не имеет; берегитесь только, чтобы она не запятнала кровию имя Вашего Величества в потомстве».

Не сочувствовал в глубине души деятельности князя Прозоровского и Безбородко. Его самого государыня посылала недавно в Москву с секретной миссией по делам о мартинистах,— и он там занял очень осторожную, выжидательную позицию. Однако Александр Андреевич давно усвоил себе привычку не критиковать вслух распоряжений верховной власти. Кроме того, Прозоровский свою миссию выполнил в Москве вполне успешно: масонство и мартинизм были искоренены, а Николай Иванович Новиков взят под стражу, привезен в Петербург и заключен, после допроса у Шешковского, в Шлиссельбургскую кре-

пость. Граф Александр Андреевич имел обыкновение считаться с успехом. Он находил поэтому нужным несколько подогреть свои отношения с Прозоровским и с теми придворными кругами, которые выдвинули кандидатуру князя. Но было еще и нечто другое.

Безбородко знал, что московскому главнокомандующему была дана императрицей секретная инструкция выяснить, путем розыска, находился ли в тайных сношениях с мартинистами великий князь Павел Петрович, которого в обществе считали масоном. Розыск, однако, не дал положительных результатов, хотя Прозоровский и доносил, что преступники всячески улавливали в свою секту «известную по их бумагам особу».

Вопрос о Павле Петровиче чрезвычайно тревожил Безбородко. Все хорошо знали, что наследник престола ненавидит свою мать и ждет не дождется ее смерти для того, чтобы расправиться по-своему с любовниками и любимцами императрицы. Александр Андреевич едва ли мог считаться любимцем, особенно в последнее время, но он сделал огромную карьеру при Екатерине, а потому имел основания серьезно тревожиться за свою судьбу в случае воцарения великого князя. Между тем государыне шел шестьдесят четвертый год... А в возможность устранения Павла Петровича от престола Александр Андреевич верил плохо.

Федор Васильевич Ростопчин, будущий московский главнокомандующий 1812 года, был любимцем наследника и имел все шансы сделаться в его царствование самым влиятельным человеком в империи. По этим соображениям Безбородко считал чрезвычайно полезным поддерживать с Ростопчиным добрые отношения. Он знал вдобавок, что Федор Васильевич уж никак не масон, не мартинист, не революционер и не жакобен, а человек вполне благонамеренный, хоть своенравный и сварливый. Интимный обед в доме Александра Андреевича должен был сблизить Ростопчина с Прозоровским, что, вероятно, несколько успокоило бы Екатерину насчет сношений Павла с мартинистами; а через Федора Васильевича граф надеялся — пошли Господь долгие дни ее величеству — поднять свои шансы при гатчинском дворе наследника престола.

Кроме двух почетных гостей на обеде были только свои: доверенные секретари, в том числе Иванчук, а заодно и Штааль, которого хозяин тоже считал нужным *менажировать*, ибо любил страховать и перестраховывать себя на случай всяких событий.

Обед — очень простой — удался на славу. Безбородко

даже в Москве считался знаменитым хлебосолом, и приемы в его огромном московском доме соперничали в славе с обедами Алексея Орлова, князя Голицына и графа Остермана.

Александр Андреевич сам наливал водку в золотые рюмки. За обеденным столом в графе Безбородко политический деятель, министр и придворный уступали первое место хлебосольному барину, представлявшему даже не русское, а малороссийское гостеприимство, уж совершенно граничившее с чудесным. В деле угощения гостей Александр Андреевич не делал никакой разницы между Иванчуком и князем Прозоровским, с одинаковой любовью рекомендуя обоим разные простые и замысловатые закуски.

— У нас в Глухове поп говорил: «из легких вин прэдпочытаю коньяк; оно и вкусно, и не хмэльно»,— сказал Безбородко. Он этой прибауткой к водке неизменно открывал всякий обед.

Князь Прозоровский, сухой старик, точно находившийся в быстром процессе закостенения, слегка покривил лицо, что у него означало улыбку. Ростопчин снисходительно улыбнулся, подставляя под пахучую струю золотую рюмку, и хотел было сказать какое-либо, подходившее к случаю, народное великорусское словцо, но ничего не мог вспомнить.

Федор Васильевич Ростопчин, несмотря на свой молодой возраст, занимал в петербургском высшем свете особое и очень почетное положение. Человек большого ума, хорошо образованный, злой, остроумный, разъедаемый честолюбием, одновременно большим и мелким, по-актерски даровитый и по-актерски тщеславный, он не мог найти применения своим силам при дворе императрицы Екатерины: там имели успех люди либо красивее, либо покладистее, либо старше и заслуженнее, чем он. Кроме того, Ростопчин по характеру в любых политических условиях должен был бы принадлежать к оппозиции. Он не любил и не уважал Екатерину, и все дела ее царствования представлялись ему низкими или бессмысленными — даже тогда, когда они не были ни бессмысленны, ни низки. Но хотя по умственным своим силам, по своему безмерному честолюбию, по тому положению, которое он сумел себе создать в обществе, Федор Васильевич мог стать серьезным противником для власти,— эта роль не приходила ему в голову; оппозиция его была очень осторожной; людей же посмелее, чем он сам, он называл безумцами и всячески их высмеивал (как впоследствии высмеивал декабристов, хотя

ненавидел и презирал Александра I). Ростопчин примкнул к партии Павла Петровича или, вернее, составлял эту партию. Он отлично знал, что наследник престола — человек душевно поврежденный; но связал с ним свою политическую карьеру в пику императрице и назло челяди Эрмитажа. Федор Васильевич всю свою жизнь прожил кому-то в пику и кому-то назло. Он и Москву поджег (или способствовал ее пожару) назло — отчасти назло Наполеону, а еще больше назло Кутузову. Когда Ростопчина впоследствии осыпáли бранью за сожжение Москвы, он приписывал это дело всецело себе (без большой, впрочем, внутренней уверенности) и называл его величайшим подвигом, достойным героев Рима. Когда же «cet acte barbare mais magnifique»[1] стал вызывать восхищение у французов посленаполеоновского периода, Ростопчин печатно доказывал, что и не думал поджигать Москву. Вся жизнь его — бесплодная, одинокая и несчастная — была сплошное противоречие. Он был нежный семьянин, но отказался от родного сына и, несмотря на свое богатство (полученное им от Павла, который *вознаградил его за бескорыстие*), позволил заключить молодого человека в долговую тюрьму. Он всей душой ненавидел Францию и французов, но прожил долгие годы в Париже, думал или старался думать по-французски и ни за что не написал бы письмá на другом языке, кроме тщательно отделанного и отточенного французского. Он был англоман, но с англичанами скучал чрезвычайно, а в Англии не мог прожить более нескольких недель. Русский народ он презирал совершенно и весь был полон сословных дворянских предрассудков; но любил говорить на простонародном русском наречии и даже создал свое простонародное русское наречие, которого простой русский народ не понимал. Уверял, что равнодушен к жизни и нисколько не боится смерти, но постоянно разъезжал по водам, тщательно оберегая здоровье (болезнь ему была послана самая непоэтическая — геморрой,— и это очень его угнетало). Одаренный несомненным литературным талантом, тонкий наблюдатель событий и злой ценитель людей, он почти ничего не оставил после себя, но тщательно отделывал разные французские афоризмы, относившиеся главным образом к его собственной личности, годами выдерживал их у себя в ящике письменного стола и вставлял в разговор, когда была возможность, выдавая их за экспромты. Он всячески демонстрировал свою ненависть к Наполеону

---

[1] «Этот варварский, но великолепный поступок» *(франц.)*.

и уверял других и себя, будто французский император также его ненавидит: *личная вражда с Наполеоном* поднимала его престиж,— он прекрасно это чувствовал. Престижем он дорожил чрезвычайно. На самом деле, несмотря на свои выдающиеся дарования, Федор Васильевич Ростопчин и на политическом, и на военном, и на придворном поприще был до конца своих дней — неудачник.

На обеде у графа Безбородко Ростопчин не имел достойных собеседников, не старался вставлять в разговор экспромты и скучал. Приехал он на обед по соображениям высшей политики (Павел еще не царствовал), но именно поэтому был недоволен собой и делал усилия, чтобы не наговорить неприятных и неосторожных вещей. С Прозоровским шутить не приходилось.

За борщом со сметаной (борщ лучше этого, по словам Александра Андреевича, умела готовить только в Глухове его мать Безбородчиха) хозяин считал неуместными какие бы то ни было разговоры, кроме непосредственно относящихся к еде. Борщ был сам по себе слишком серьезным делом для того, чтобы с чем-либо его совмещать; только когда на ломящийся от золота стол было подано жаркое (впрочем, также совершенно необыкновенное), Александр Андреевич нашел возможным приступить к политической беседе. Он начал издалека, с французской революции — и ругнул ее как следует, но без горячности. Тон по отношению к этому событию был принят у петербургских сановников благодушно-иронический: вся, мол, так называемая революция — пустяки, просто не было хозяйской руки, а послать сотню-другую наших казачков, живо бы выбили дурь из французишек. Граф Безбородко обстоятельно развил эту мысль и кое-что еще добавил от себя применительно к данному случаю: какая, право, жалость, что не нашлось во Франции — а ведь большая страна! — человека, подобного нашему князю Александру Александровичу: всю бы революцию точно рукой сняло.

Польщенный Прозоровский снова изобразил на лице что-то отдаленно напоминавшее улыбку.

Затем Безбородко распространился об отклике событий так называемой французской революции у нас в России — и опять начал издалека: так как говорить надо было о Новикове, то он заговорил о Радищеве.

— Известна, мыслю, и вам, государь мой, Федор Васильевич,— сказал он, обращаясь преимущественно к Ростопчину, ибо князю Прозоровскому все это было, наверное, хорошо известно, а с молодежью разговаривать не

стоило,— известна, мыслю, и вам выданная недавно книга под заглавием «Путешествие из Петербурга в Москву». Ее величество оную читать изволила и, нашед ее наполненною самыми вредными умствованиями и дерзостными изражениями, производящими разврат, указала... Так, сударь,— обратился он вдруг к Штаалю,— есть у меня не полагается, барашка еще кусочек извольте взять... указала исследовать о сочинителе сей книги. Сочинителем книги есть Радищев, советник таможенный. Слыл человеком изрядным и бескорыстным, но, заразившись, как видно, Францией, стал проповедовать равенство и бунт против помещиков, да еще пренеприличную впутал в книгу оду, где озлился на царей и Кромвеля аглицкого хвалил, что «научил он в род и роды, как могут мстить себя народы». Шельма этакий,— добавил с удовольствием Безбородко,— а еще владимирский кавалер... Шалун обер-полицеймейстер Никита Рылеев цензировал сию книгу и, не читав ее, возьми да благослови. Со свободою типографий да с глупостью полиции не усмотришь, как нашалят,— сказал граф и решил передохнуть от речи, жаркого и борща, в ожидании того, что скажут гости.

— Да, ведь они неисправимы,— заметил, пожимая плечами, Ростопчин.

Князь Прозоровский издал неопределенный звук.

— Сей Радищев есть сущий жакобен! — горячо воскликнул Иванчук, ловя взгляд князя (в присутствии такого важного гостя и на такую важную тему секретарь считал нужным говорить высоким слогом).

Штааль слушал растерянно: имя Радищева было ему незнакомо, но разговор, очевидно, шел о той самой книге, которая так понравилась ему в *детскую* пору.

Александр Андреевич подлил гостям вина и продолжал:

— Сочинитель развратной книги, оный Радищев, взят под стражу и Сенатом, по силе воинского устава 20-го артикула, к смертной казни присужден. Ее величество, матушка императрица, по ангельской своей доброте (Безбородко вздохнул и поднял глаза к небу, но, увидев на потолке столовой изображение разрезанной жирной утки, снова стал накладывать жаркого гостям и себе)... по ангельской своей доброте приговор сей не конфирмовала, но смягчила, хоть молвить изволила — и совершенная правда,— что оный Радищев есть хуже Пугачева. Ан теперь вон какое вышло в Москве зловредное дело и новое колобродство. Новикова, Николая Иванова, знать изволи-

ли? — обратился он снова к Ростопчину, касаясь наконец того предмета, для которого был устроен обед.

Князь Прозоровский поднял от тарелки свои мутностеклянные глаза.

— О деле слышал, но знаком не был,— поспешно ответил Федор Васильевич.

Безбородко перевел взор на Прозоровского, точно приглашая его занести куда следует это свидетельское показание.

— И слава Господу Богу, государь мой, Федор Васильевич,— продолжал он удовлетворенно,— что не знали сего ханжи,— опасного ли, не знаю, но скучного весьма,— кой ныне князем в ничтожество приведен...

— В подмосковной своей деревне Авдотьино,— сказал Прозоровский, мутно глядя на Ростопчина,— государственный преступник Новиков, по моему приказу, воинскою силой, эскадроном полицейских гусар под начальством Жевахова князя арестован. Ныне же волею ее величества на пятнадцать лет посажен в Шлюссельбургскую крепость. Опасности более нет...

Безбородко поперхнулся рейнским вином. Он вспомнил, как Кирилл Григорьевич Разумовский, известный своим остроумием и независимостью мысли, издевался над экспедицией князя Жевахова: «Чем расхвастался старый дурень Прозоровский: старика больного арестовал, точно Силистрию взял!»

Иванчук очень бойко и громко заявил, что, к счастью, с мартинистами и масонами покончено раз навсегда. Его сиятельство имеет в этом деле огромную заслугу перед отечеством. Не нужно забывать также старание, проявленное помощником князя, Степан Иванычем Шешковским, которого мы все знаем, любим и уважаем.

Безбородко сначала с неудовольствием поглядел на Иванчука,— такому молодому человеку, по его мнению, не следовало вмешиваться в разговор сановников,— но успокоился, увидев благосклонный взгляд, который бросил на секретаря князь Прозоровский. «Шустрый, шельма,— подумал он,— далеко пойдет — наш брат, глуховский. Не то что тот мальчуган из школяров Семена Гавриловича».

Ростопчин с кривой усмешкой посмотрел на Иванчука. Он начинал раздражаться.

— Похвально,— сказал хрипло Прозоровский.— У Шешковского Степана ругателей много. Называют кровопийцей... Неправда!.. Почтенный человек... Царский слуга!

— *Кнутобойничает* малость, говорят, ваше сиятельст-

во,— заметил с усмешкой Ростопчин.— В его деле, конечно, без кнута трудно. Mais il paraît que le brave homme exagère [1].

— Не кнутобойничает,— прохрипел Прозоровский.— Ложь! Ругателей много, верных слуг престолу мало!

Безбородко с тревогой посмотрел на гостей и поспешно заговорил опять. Его гладкая мягкая речь немедленно внесла успокоение. Он с большой похвалой отозвался о свойствах князя Прозоровского, затем отдал должное уму Федора Васильевича, которого ждет такая блестящая карьера: «Всех нас затмите, сударь, как утро затмевает вечер» (Александр Андреевич почувствовал, что этот образ у него не вышел, но продолжал еще более плавно). Ругнул опять французскую революцию, ругнул и мартинистов, поспешил отметить, что великий князь, как всем известно, вполне одобряет политику государыни императрицы, очень похвалил также отменные качества великого князя. И выразил, наконец, полное душевное удовлетворение по поводу того, что они втроем, у него в доме, так хорошо обо всем поговорили и что князь Александр Александрович и Федор Васильевич сразу вполне оценили друг друга. В заключение речи он налил гостям по полному кубку какого-то удивительного вина и заставил их выпить.

Ростопчин хмуро слушал. Он понимал, что нужно Александру Андреевичу и для чего устроен обед. Федор Васильевич сам считал необходимым несколько реабилитировать себя в кругах близких к императрице. Но ему было досадно, что он вынужден поддерживать общение с ничтожными людьми,— особенно с этим выжившим из ума старым тираном. Зато Ростопчин предвкушал удовольствие от сатирического письма, в котором, на своем прекрасном французском языке, он опишет графу С. Р. Воронцову отвращение, внушенное ему личностью Прозоровского. «Только и есть из русских два европейца: Воронцов и я»,— подумал он.

— Достойно удивления,— сказал Иванчук,— что русские жакобены — люди нашего круга, les gens de notre rond, такие же дворяне, как мы все: Радищев, Новиков, Ладыженский, Трубецкой, Тургенев. Très bons noms, ma foi [2].

Ростопчин, с отвращением выслушавший французскую фразу Иванчука, подумал, что из этого замечания, отточив и приправив его как следует, можно будет при случае сде-

[1] Но, кажется, этот почтенный человек чересчур усердствует (*франц.*).

[2] Лучшие фамилии, клянусь честью (*франц.*)

лать недурной афоризм,— надо запомнить. Безбородко тоже воспользовался словами молодого секретаря и навел разговор на тему, которая должна была всем понравиться: он попросил Федора Васильевича объяснить ему свою родословную.

— Мы происходим,— сказал небрежно Ростопчин,— от Федора Давидовича Ростопчи, знатного татарского вельможи, кажется, ханского, то есть царского, происхождения, который выселился из Крыма в Россию при...

Александр Андреевич слушал, изобразив на лице восхищение, и замечал про себя, что самого умного человека можно поддеть на какую-либо глупость: «Ведь все ты врешь, сударь,— думал он.— Вряд ли существовал в Крыму Федор Давидович Ростопча, а если существовал, то не важная был, проклятый нехристь, персона: верно, такой же, если не хуже, разбойник, как мой Демьян Ксенжницкий, герба Ostoja, Остржетовского воеводства».

VII

Средний Ермитаж уже начался, когда позолоченная восьмистекольчатая карета графа Безбородко остановилась против Брюсовского дома, у правого малого подъезда дворца. Ловко соскочивший первым Иванчук помог вылезти министру; за ними в плохо освещенный подъезд вошел, замирая, Штааль. Александр Андреевич, отдавая свою шубу, прочел накинувшимся на него лакеям подробное наставление о том, как надо с ней обращаться, да еще особо приказал своему гайдуку-хохлу *примоститься* к шубе, внимательно за ней следить и не отходить от нее ни на шаг. Граф говорил таким тоном, будто он попал не во дворец, а в разбойничий притон. Безбородко весь сиял бриллиантами своей Андреевской звезды, погона для ленты, пуговиц мундира и пряжек башмаков; тем не менее общий вид его был ненамного изящнее, чем обыкновенно. Александр Андреевич, чувствовавший себя во дворце точно дома, сначала куда-то отлучился, а потом уверенно пошел, переваливаясь, по лестнице наверх. Молодые люди последовали за ним. Иванчук вполголоса называл Штаалю покои дворца. Но Штааль в первые минуты ничего не замечал. У него разбежались глаза от дворцового великолепия. Все внимание его было устремлено на то, чтобы не свалиться на необычайно скользком, натертом до пределов возможного, паркете и как-нибудь не *войти* в одно из предательских, огромных, во всю стену, зеркал, которые толь-

ко в последнюю минуту неожиданно отражали его собственную фигуру, казавшуюся ему в отраженном виде очень маленькой и затерянной. Молодого человека привел в себя внезапно пахнувший на него теплый оранжерейный запах цветов. Они входили в зимний сад Эрмитажа. Гостей было еще немного: Безбородко любил приезжать рано. Граф остановился у чахлого деревца, послушал с открытым ртом пение канарейки и затем пригласил Иванчука в свидетели того, что у них в Глухове соловьи поют гораздо лучше. Иванчук постарался этого не расслышать и, воспользовавшись минутой, когда Безбородко стал радостно здороваться с каким-то свитским генералом, увлек Штааля за собой. Он показал ему обе гостиные Эрмитажа, столовую, чудесный маленький театр с надписью на сцене: ridendo castigat mores [1] — и, наконец, длинную картинную галерею, где сразу оглушил юного провинциала именем Рафаэля. Штааль мало смыслил в картинах, но знал, что Рафаэль в живописи — все равно как Суворов в военном деле: лучше не бывает. Он принялся восхищаться рафаэлевскими фресками. На этом занятии его застал хватившийся их Безбородко. Александр Андреевич, как ни странно, был большой знаток живописи и галерею Эрмитажа знал превосходно. Штааль поспешил выразить свой восторг перед фресками; Безбородко снисходительно объяснил ему, что это не подлинный Рафаэль, а копия с ватиканского Рафаэля, правда, очень хорошая, сделанная по особому заказу Райфенштейном. «И славные гроши сорвал шельма немец»,— с удовольствием добавил он. Обескураженный этим эпизодом, Штааль отошел от фресок, сел, по возможности непринужденно, около двух одинакового вида старичков в придворных мундирах и стал слушать их мирную беседу.

Галерея, зимний сад и гостиные Эрмитажа постепенно наполнялись. Нервно теребя пуговицу своего камергерского мундира, в зал вошел Федор Васильевич Ростопчин. Его появление произвело в публике небольшую сенсацию: как человек враждебного гатчинского мира, тесно связавший свою политическую карьеру с судьбой Павла Петровича, он в Эрмитаже появлялся не часто и не пользовался большими симпатиями при дворе императрицы. Ростопчин, видимо, наслаждался тем, что на мгновение стал предметом общего внимания. Холодно-учтиво здороваясь с гостями, он остановился перед «L'enfant prodigue» [2] и, от-

---

[1] Смехом исправляют нравы *(лат.)*.
[2] «Блудный сын» *(франц.)*.

ступивши на два шага от стены, посмотрел на полотно под согнутую кисть руки. Все движения его казались неестественными Штаалю. Картиной Сальватора Розы Ростопчин любовался недолго: заметив одиноко стоящего у окна седого старика, он поспешно направился к нему и поздоровался с ним совсем не так, как с другими.

На этого красивого старого человека Штааль еще раньше обратил внимание. И в лице его, и в темной простой одежде было что-то, выделявшее его из толпы других гостей. Иванчук, знавший вся и всех, назвал ему этого гостя, с особенным удовольствием выговорив его фамилию. Фамилия точно была звучная: старик носил одно из самых знаменитых имен французской знати; это был недавно прибывший в Петербург эмигрант.

Он поздоровался с Ростопчиным с той особой изысканной учтивостью, которая создала в мире штампованное слово «politesse française» [1] и которая в действительности свойственна только старым, хорошо образованным и много жившим французам. Эмигрант раза два в жизни видел Ростопчина; но приветливая улыбка, немедленно появившаяся на его тонком усталом лице, выразила необычайное удовольствие по поводу встречи с Федором Васильевичем. Ростопчин оживленно заговорил, намереваясь сервировать этому выходцу старого Версаля свои отточенные французские *экспромты*, которых в Петербурге никто не мог оценить по достоинству.

— Что, или скучаете, сударь? — спросил Штааля появившийся за его креслом Безбородко.— Государыня нынче опоздала, верно, много изволила покушать: сегодня было к обеду, сказывают, вареное мясо с огурцами. Очень матушка любит это блюдо, за что ее хвалю, хоть наш борщ будет повкуснее.

Он поздоровался с двумя одинаковыми придворными старичками, пошутил с ними, представил им Штааля, на которого они не обратили ни малейшего внимания, и затем, увидев у окна Ростопчина с французским эмигрантом, взял слегка упиравшегося молодого человека под руку и направился с ним к окну.

— Вот познакомлю вас, сударь,— сказал он по дороге,— преумный старик! Таких людей у нас днем с огнем не сыскать.

Как раз когда они подходили, Ростопчин нашел случай вставить в разговор один из своих экспромтов:

[1] «Французская учтивость» *(франц.)*.

— J'ai de l'éloignement pour les sots et pour les faquins, pour les femmes intrigantes qui jouent la vertu; un dégoût pour l'affectation, de la pitié pour les hommes teints et les femmes fardées, de l'aversion pour les rats, les liqueurs, la métaphysique et la rhubarbe, de l'effroi pour la justice et les bêtes enragées... [1]

На губах старого эмигранта, который, наклонив голову, слушал Ростопчина, появилась легкая одобрительная усмешка, показывавшая, что он вполне оценил остроумие и тонкость услышанной мысли. Но в глазах его промелькнуло и сейчас исчезло выражение усталости, не скрывшееся, однако, от Федора Васильевича. Ростопчин почувствовал, что никакими изящными экспромтами, никакими отточенными афоризмами нельзя удивить этого старика, бывшего собеседником Вольтера. Лицо графа Безбородко расплылось в приятнейшую улыбку; он даже зажмурил глаза, точно услышал звуки бандуры. Почмокав губами, он представил старому эмигранту Штааля — и опять на лице старика появилось такое выражение, будто никакое знакомство в мире не могло доставить ему больше удовольствия. Он поклонился незнакомому юноше совершенно так же, как в свое время кланялся Людовику XV, и просто, уверенно произнес любезную фразу комплимента. Очарованному Штаалю невольно показалось, что, как птице естественно петь, так этому версальскому старику естественно говорить изысканные тонкие фразы.

Безбородко познакомил молодого человека и с некоторыми другими гостями. Представил его шталмейстеру Льву Александровичу Нарышкину, брату обершенка, владельца дач «Ба-ба» и «Га-га», известному шутнику и любимцу Екатерины. Представил и Гавриле Романовичу Державину, сидевшему молча в углу и мечтавшему о том, чтоб была к ужину стерлядь. Штааль попытался было сказать знаменитому сочинителю тонкий комплимент вроде того, который он сам только что услышал от француза. Но и комплимент вышел сбивчивый, и Державин хмуро посмотрел на юношу: любил быть при дворе сановником, а не поэтом. Штааль пошел бродить по галерее, необычайно интересуясь картинами. Иванчук точно назло не под-

---

[1] Я избегаю дураков и наглецов, легкомысленных женщин, играющих в добродетель, у меня вызывают брезгливость и жалость крашеные мужчины и разрумяненные женщины, я испытываю отвращение к крысам, к ликерам, к метафизике и ревеню и ощущаю страх перед правосудием и перед разъяренными животными... *(франц.)*

ходил к нему: он перебегал от одной группы к другой и везде, оживленно жестикулируя, вступал в беседу.

Вдруг все гости встали, и гул говора сразу замолк. «Вот и матушка»,— равнодушно пояснил Штаалю поймавший его снова Безбородко и стал грузно пробираться к появившейся в дверях, в сопровождении молодого красивого офицера, невысокой старухе. Штааль смотрел во все глаза на вошедшую и не мог поверить, что перед ним великая Екатерина. Появлению императрицы, по его предположениям, должны были предшествовать драбанты, герольды, пажи. Ничего этого он не видел. А главное, сама Екатерина оказалась совершенно не такой, какой он себе ее представлял. Ничего похожего в ней не было ни на Фелицу, ни на ту прекрасную величественную даму, портрет которой висел в кабинете графа Зорича. Была толстая, румяная, усиленно-прямо державшаяся старуха довольно благообразного, но очень обыкновенного вида, немного похожая на экономку-немку, служившую, недалеко от Шклова, в доме помещика Киселевского. На императрице было парчовое платье так называемого молдаванского фасона, украшенное андреевской, георгиевской и владимирской лентами. Она ласково улыбалась мужчинам и быстро окидывала взором молодых женщин, беспокойно оглядываясь на вошедшего с ней молодого офицера. Это был граф Платон Зубов. Со скучающим видом, зевая, он рассматривал общество, небрежно кивая в ответ на почтительные поклоны наиболее важных гостей. Впереди Льва Нарышкина к руке императрицы подходил Ростопчин. Екатерина улыбнулась ему несколько холоднее, чем другим, и ничего не сказала, когда он по-придворному целовал ей руку, не подняв последней ни на вершок, а низко, на уровень талии, опустив свою голову к руке императрицы. Штааль мог еще увидеть, как Ростопчин с достоинством поклонился Зубову, который не удостоил его даже самым легким кивком в ответ; при этом желчное геморроидальное лицо Федора Васильевича дернулось, точно от острого припадка зубной боли. Он круто повернулся, злобно покосился на окружающих и отошел. С Нарышкиным императрица поздоровалась гораздо ласковее. Он долго, сочно и несколько раз поцеловал руку Екатерины, а затем, фамильярно повернув ладонь кверху и заметив: «Уж мне, старику, матушка, позволь!» — поцеловал в то место, где бьется пульс. Императрица, смеясь, выдернула руку.

— Будет уше тебе, старый грешник,— ласково сказала она.

Штааля поразил ее голос, совершенно мужской баритон, и резкий немецкий акцент, и то, что в верхней челюсти у нее не хватало широкого переднего зуба, отчего улыбка придавала ей неприятный, очень старческий вид. Как раз в ту минуту, когда он делал это наблюдение, Безбородко представил его императрице. Государыня окинула молодого человека с ног до головы довольно продолжительным взглядом и, ласково улыбнувшись, протянула ему руку. Он очень неловко, совсем не по-придворному, совершил обряд поцелуя, после чего Екатерина — к большому его смущению — потрепала его по щеке.

— Совсем ешо мальшик,— сказала она, ни к кому особенно не обращаясь.— Ошень вам рада. Надеюсь, што вам моя хишина нравиться будет.

Зубов хмуро посмотрел на Штааля, на Безбородко, на императрицу. Штааль поспешил отретироваться. К большому его удивлению, к нему стали подходить и представляться придворные. Подошли в числе других два одинаковых старичка, которые четверть часа тому назад не обратили на него никакого внимания, и тепло пожали ему руку. А один из них даже позвал его на обед.

— Милости прошу к нам запросто хлеба-соли откушать, очень будем рады,— с чувством несколько раз сказал он.

Нарышкин настойчиво убеждал императрицу прочесть какое-либо из ее новых произведений в стихах. Екатерина, скромно улыбаясь, отказывалась.

— Матушка, благодетельница, родимая, золотая, ваше величество,— скороговоркой говорил Нарышкин,— ну, прочти, ну, что тебе стоит, ну, оживи душу, Бога ради!

Окружавшие гости единогласно присоединились к просьбе шталмейстера.

— Ну, хоть монолог Навилии прочти,— убеждал Лев Александрович.— Батюшки, отцы родные, что за монолог! Какой монолог! И зачем ты Шакеспеару подражаешь? Что против тебя Шакеспеар! Ну, прочти, ну, вот это место:

> Вселившийся давно в утробу яд мою,
> Кой производишь толь в ней лютость всю твою!.

Ну, как дальше? Прочти, родная! Видишь, мы все ждем.

Гости точно ждали, застыв от восхищения. А Гавриил Романович Державин даже зажмурил от восторга глаза, услышав два прочтенных Нарышкиным стиха императрицы.

Екатерина, отказавшись читать свои стихи, любезно заговорила с французским эмигрантом.

— Il paraît que les choses ne vont pas bien chez vous...— сочувственно кивая головой, сказала она.— Quelle infortune, Monsieur! Vous nous direz vos impressions?[1]

— Infandum regina jubes renovare dolorem[2],— произнес с усмешкой старик.

Екатерина одобрительно улыбнулась, хотя не поняла ни слова из цитаты и даже не разобрала, на каком она языке (эмигрант произносил по-французски: энфандом режина).

— Comme c'est vrai!..— сказала она.— Que vos impressions doivent être intéressantes! Nous vous écoutons, Monsieur[3].

Эмигрант начал было говорить, но императрица немедленно его перебила; на лице мгновенно замолчавшего старика проскользнуло изумление: он не привык к тому, чтобы его прерывали в разговоре. Екатерина высказала ряд общих соображений о французской революции. По ее мнению, движение это не представляло серьезной опасности. Тем не менее иностранные державы должны принять некоторые меры предосторожности — особенно в деле воспитания подрастающих поколений: молодежи надо давать самое строгое моральное и религиозное воспитание. Надо служить ей примером. Надо, чтобы молодые люди видели перед собой честную добродетельную жизнь. И она с сожалением принуждена констатировать, что, например, в России иностранные гувернантки далеко не стоят на должной высоте; в большинстве это женщины безнравственные, подающие юношам и особенно девушкам самый дурной пример.

По лицу Ростопчина скользнула злая усмешка. Александр Андреевич Безбородко, одобрительно зачмокав губами, громко сказал: «А что я говорил!.. Святая истина! Совершенно справедливо!» — и хотел было сам произнести — в развитие мыслей императрицы и в связи с французской революцией — небольшое слово о развратном поведении иностранных гувернанток. Но граф Зубов бесцеремонно его перебил и капризным голосом сказал императрице:

---

[1] Кажется, у вас не все благополучно . Какое несчастье, сударь! Вы нам расскажете о своих впечатлениях? *(франц)*

[2] Не береди печалей словами, царица *(лат.)*.

[3] Как это верно! . Как должны быть интересны ваши впечатления! Мы вас слушаем, сударь *(франц.)*.

— Оп-пять сегодня нет спектакля... Я жел-лаю играть в рокамболь.

Екатерина беспокойно обернулась и, ласково кивнув эмигранту, направилась к карточному столу. Зубов, зевая, последовал за ней. Все почтительно перед ним расступались. Началась игра. В разных углах галереи загудел оживленный разговор.

Старый эмигрант опять отошел к окну и оттуда обводил залу далеким безучастным взглядом. Его искушенный глаз потомка десяти придворных поколений механически подмечал все: плохое освещение дворца, дурные гобелены на стенах, неловкость прислуги... В маленьком домике Петра было, по его мнению, больше великодержавности, чем в этой подделке под что-то, не очень заслуживавшее подражания. Блеск и роскошь Эрмитажа, так поразившие Штааля, казались почти бедными старику: он вырос при дворе Людовика XV, знал Версаль с его сорокамиллионным бюджетом и с четырьмя тысячами человек штата. Праздники молодых лет тоскливо вспоминались эмигранту. Он думал о том, что остался на старости без пристанища, без близких людей, без денег, думал, что ехать ему некуда, а жить негде, нечем и незачем; что в этой странной молодой стране эти чужие люди, которые во многом не уступят завсегдатаям залы Oeil de Boeuf [1], так же равнодушны к бедствиям Франции, как к тяжелой участи ее изгнанников; что люди эти считают себя его благодетелями, да, пожалуй, и правы, ибо человек, потерявший родину,— тот же нищий. Думал, что Эрмитаж, вероятно, рано или поздно постигнет участь Версаля и что урок Версаля ничему не научил Эрмитаж. Думал, что и сам он совершенно напрасно когда-то ездил с Лафайетом в Америку бороться за чью-то свободу: ведь и он, и Лафайет, и другие свободолюбивые аристократы получили от народа такое же выражение благодарности, как завзятые, закоренелые реакционеры... Думал, что за Екатерину России придется платить, как теперь они платят за гаремы Людовика XV.

И вдруг ужасное виденье сентябрьской резни роялистов, раздетый изуродованный труп милой принцессы Ламбаль, который позорили на его глазах, с необыкновенной ясностью встали в памяти старого эмигранта. Лицо его искривилось и побледнело...

Было десять часов вечера. Ужин кончился. Кончилась и партия рокамболя. Императрица встала из-за стола, шут-

[1] Бычий глаз *(франц.)*.

ливо расплачиваясь и поздравляя князя Зубова с выигрышем. Как раз в эту минуту Безбородко неожиданно взял Штааля под руку и быстро провел его перед государыней, сказав ему тихо и сердито: «Держитесь, государь мой, ровнее!» Екатерина опять, ласково улыбаясь, подарила молодого человека продолжительным взором. В ту же минуту Штааль почувствовал на себе злой, холодный взгляд красивых глаз графа Платона Зубова.

Ее величество, сделав три небольших поклона,— налево, направо и перед собой,— уходила с Зубовым во внутренние апартаменты. Гости, вставая, шептались.

В позолоченной карете графа Безбородко Иванчук, против обыкновения, сосредоточенно молчал. Зато Александр Андреевич был настроен чрезвычайно весело. Он шутил, смеялся, острил. Не доезжая до своего дома, граф вдруг обнял Штааля, защекотав лицо молодого человека соболями своей шубы, и спросил, обращаясь на «ты», не нужно ли ему денег.

VIII

День Екатерины, как всегда, начался рано. Ровно в семь часов утра ее разбудила Марья Саввишна Перекусихина. Одновременно из стоявшей в спальне корзинки медленно, с достоинством, выкарабкалась левретка, по имени Герцогиня Андерсон, подошла к постели императрицы, потянулась, низко опустив голову, и, положив передние лапки на край постели, умильно посмотрела на хозяйку. Как все немки, Екатерина обожала животных. Она порывисто подняла к себе собачку, с наслаждением ее поцеловала,— заговорила с ней на том непонятном, сладком наречии, на каком женщины говорят с животными, и наконец положила ее к себе под теплое одеяло, выпустив из-под него только острую мордочку зачавкавшей от удовольствия Герцогини. Марья Саввишна гадливо отвернулась и демонстративно толкнула левретку через одеяло в бок, подавая царице тарелку с гладко отшлифованным куском льда. Екатерина вытерла им свое лицо, мазнула льдом по носу Герцогиню Андерсон и покатилась со смеху. Приятно вспомнила о красивом молодом человеке на среднем приеме; затем спросила Перекусихину, что князь, как почивает и ничего ли с ним не случилось дурного. Оказалось, что с Зубовым ничего не случилось.

— Ништо ему: дрыхнет, матушка, устал, видно, вечор,— бойко ответила Перекусихина.

Императрица радостно улыбнулась. Они с Перекусихи-

ной очень любили друг друга и никогда ни за что одна на другую не обижались.

Спустив осторожно на ковер левретку, Екатерина отправилась умываться. В промежутке между разными притираниями она говорила с горничной, Катериной Ивановной, и убеждала ее быть возможно аккуратнее в домашнем быту, ибо муж, конечно, будет взыскивать с нее строже, чем она, императрица. Екатерина на людях органически не могла молчать.

— Ты будешь уше увидеть, Катерина Ивановна,— сказала она и тотчас поправилась,— ты уше увидишь: муш тебя непременно будет бить с кнутом. Это я вас распустила. Я слишком добрая...

— Уж такия добрыя... Век за ваше величество Бога молим,— лениво отвечала для приличия горничная, очень довольная тем, что разговаривает о своих делах с императрицей.

Надевши белый гродетуровый капот и белый флеровый чепец, наклоненный, как всегда, налево, Екатерина выпила огромную чашку необыкновенно крепкого кофе, накормила из своей чашки сливками и сахаром Герцогиню Андерсон, затем перешла в кабинет и села за письменный стол. Секретаря Храповицкого еще не было. Не являлся пока с докладом о спокойствии в городе и обер-полицмейстер. Императрица посмотрела на часы и вздохнула. Ей очень хотелось послать за Зубовым,— без него всегда было неуютно и неспокойно. Но граф, конечно, еще спал, а будить его было жалко.

Императрица надела очки и при виде лежавших на столе мастерски очиненных перьев и больших листов прекрасной гладкой бумаги почувствовала хорошо ей знакомое, неопределенное беспокойство. Екатерина была такая же графоманка, как и ее мать (только Иоганна-Елизавета писала лучше). Императрица сочиняла басни, сказки, провербы, стихи, комедии, романы, философские, педагогические и политические статьи. Писала она на разных языках, но всеми языками владела довольно плохо: по-немецки несколько разучилась, французский знала не слишком хорошо, а научиться русскому языку ей не было суждено. В это утро она не знала, на чем остановить выбор. Немецкий роман ее из восточной жизни «Обидаг» был давно закончен. Последнюю бытовую комедию из русской жизни спешно переводил с немецкого языка Храповицкий (тайком от всех придворных и особенно от сочинителей, ибо предполагалось, что императрица пишет по-русски). Можно было заняться

письмами. Екатерина принялась писать Гримму; но этот вечный корреспондент порядком ей надоел... Вольтер давно умер. С ним в свое время было приятно переписываться. Правда, вначале императрица несколько боялась короля писателей,— стиль ее первых писем к нему выправлял Андрей Шувалов, в совершенстве владевший французским языком. Но потом страх прошел: любезнее Вольтера не существовало человека на свете. Совершенно презирая людей, Вольтер, когда не было надобности в противном, говорил им в глаза только самые приятные вещи. Он хладнокровно осыпал императрицу лестью, грубость которой граничила порою с чудесным. Вольтер был убежден в том, что лесть никогда не бывает, да и не может быть, слишком грубой, а в обращении с женщинами — всего менее. Он сравнивал императрицу с Божьей матерью, млел от восторга перед ее ученостью, которой она далеко превосходила, по его словам, всех философов мира, и выражал в письмах скорбь по поводу того, что не умеет писать по-французски так хорошо, как она. И хотя почти в каждом из подобных писем он находил случай попросить императрицу о каком-либо одолжении, чаще всего денежного характера, Екатерина, при всем своем уме и жизненном опыте, по-настоящему наслаждалась его бесстыдными похвалами. Вольтер, в свою очередь, приходил в самое веселое настроение духа, читая письма царицы и находя в них кроме денежных приложений совершенно невозможные *парижские* фразы (Екатерина любила писать игриво, бойким, развязным слогом). Такими фразами он немедленно делился с приятелями, вспоминая при случае, по поводу императрицы, разные ее affaires de famille [1]. Вольтер, в частности, разумел под этим названием убийство Петра III (о котором, во время его царствования, он писал столь же головокружительно лестно). Таким образом, оба корреспондента — императрица и Вольтер — были почти всегда вполне довольны друг другом.

Письмо Гримму не выходило. Екатерина отложила его в сторону и взяла другой лист бумаги. Ей захотелось написать любовное стихотворение, непременно по-русски, с посвящением Зубову. Довольно быстро она набросала несколько строк, но остановилась на четвертом стихе: забыла, какого рода ландыш, а нужно было употребить эпитет.

«Сребряный ландыш? Сребряная ландышь? — спрашивала она себя.— Может быть, выкинуть совсем «сребряный»?.. Нет, никак нельзя. Нужно будет узнавать у Гаврила Романовича. Пусть он потом посмотрит стихи».

[1] Семейные дела (*франц.*).

При этом она с досадой вспомнила, что на тещу Гавриила Романовича Державина, за ее поборы с просителей опять поступили жалобы. Одна из них как раз лежала в пачке бумаг, оставшихся со вчерашнего дня.

«Все, все крадут! Alle sind Diebe!» [1] — сердито подумала императрица.

Крали действительно многие. Это воровство чиновников иногда приводило императрицу в чрезвычайное раздражение· она поднимала крик, грозила всем тюрьмой и каторгой, заливалась слезами, не слушая трагических утешений фаворита,— а через полчаса, успокоившись, посылала куда следует за толстыми пачками новеньких ассигнаций, чтобы утешить графа Зубова, который, бедный мальчик, так переволновался из-за нее и из-за общей нечестности чиновников.

В той же пачке оказались счета Гваренги. Императрица внимательно их просмотрела и опять с гневом подумала, что уж очень бесстыдно стал Гваренги воровать. Надо бы прогнать его. Так и в прошлом году заказал зачем-то в Италии мавзолею принцу Ангальт-Бернбургскому. В России сделали бы такую же мавзолею много дешевле.

Отогнав от себя на время эти мысли, Екатерина спрятала недоконченное стихотворение и принялась за бумаги, оставленные вчера Зубовым. Это были доклады и проекты, посланные на заключение графа Платона Александровича и возвращенные им с его резолюциями.

«Бедный, сколько он работает»,—подумала государыня, любовно поглядывая на заметки фаворита, и утвердила, не читая, все его заключения, написав на каждом: «Быть по сему».

Среди писем было одно от ее сына, Бобринского, но оно не заключало в себе ничего интересного. Екатерина быстро и невнимательно его пробежала. Затем небольшим серебряным ключом открыла потайной ящик, где лежали самые интимные бумаги, и аккуратно положила куда следует письмо Бобринского. Когда она раздвинула аккуратно распределенные по фаворитам, перевязанные шелковыми шнурочками, пакеты интимных писем, ей вдруг под руку попался лежащий особняком измятый лист серой нечистой бумаги с большими, кривыми, прыгающими буквами, написанными неумелой, пьяной рукой. Она вздрогнула, выронила бумагу и схватилась рукой за сердце, которое у нее давно пошаливало. Императрица посидела так с полминуты; лицо ее по-

---

[1] Все воры *(нем.)*

бледнело, изменилось; резко обозначился двойной подбородок, и вся она сразу как будто состарилась лет на десять. Затем потянулась к листу правой рукой, не отнимая левой от сердца. Екатерина прочитывала это письмо всякий раз, когда оно нечаянно попадалось ей под руку, хотя тридцать лет знала в нем каждое слово, очертания каждой буквы. Это было присланное из Ропши в шесть часов вечера, шестого июля 1762 года, письмо, которым Алексей Орлов извещал любовницу своего брата (и свою) об убийстве Петра III:

«Матушка милосердная Государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу. Но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете... Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором. Не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневали тебя и погубили души навек».

Морщины на лице государыни сложились болезненно резко. Она долго неподвижно сидела в кресле, тяжело дыша и не сводя глаз с письма, выпавшего из ее руки. Все подробности петербургского действа встали в ее воображении. Но еще страшнее этих подробностей было то, что могло каждую минуту ее постигнуть. Кто знает, может быть, и против нее составлен заговор? И ее могут задушить так же просто, как задушили мужа... Те же самые люди... И безнаказанно!. Павел еще, пожалуй, наградит убийц, как она осыпала наградами Орловых..

Перед ней встала в памяти так хорошо знакомая ей, страшная фигура Алексея Орлова... Этот человек, который когда-то, угадав страстное невысказанное желание императрицы, задушил ее мужа, впоследствии нередко, многозначительно на нее поглядывая, загадочно говорил, что у него остались кое-какие связи в гвардейских частях. И, вспоминая мощную бесстыдную фигуру своего любовника, вспоминая, как он задушил Петра (подробности этого убийства знала только она одна), вспоминая, как он заманил и предал соблазненную им, доверившуюся ему княжну Тараканову, вспоминая полускрытую угрозу письма «разыскивать нечего», Екатерина холодела от ужаса. Кто убережет

ее? Потемкин умер... Прежде, за ним, было покойно. Он-то сумел бы защитить ее от Орлова и от всяких заговорщиков. А Платон — какая от него защита?.. Да еще надежен ли он сам? Не изменяет ли с другими женщинами?.. Кто бы только они, подлые?

Императрица позвала камердинера Захара Зотова, который, как вся прислуга, был с ней в самых лучших отношениях,— Екатерина умела находить общие интересы с Захаром Зотовым и с Вольтером. Камердинеру было строго приказано зорко примечать за князем,— особенно, куда ездит после ужина, когда ужинает не во дворце. Зотов обещал тщательно следить, но клялся всеми святыми, что князь верен и никуда после ужина не ездит.

Екатерина кивнула головой. Зотову она доверяла, и его мнение очень ее успокоило.

— Сама знаю, что князь мне верен,— сказала она.— Ну, уж зови...

Прием происходил в спальне. Императрица уселась перед выгибным столиком и позвонила в колокольчик. Обер-полицеймейстеру было сухо приказано усилить надзор в городе, ибо времена беспокойные. «Небось слышал, что во Франции творится?» Затем были разом допущены секретарь Храповицкий и любимец Екатерины (тоже бывший когда-то, очень недолго, ее любовником) обер-шталмейстер Нарышкин, который, когда хотел, присутствовал на докладах. Храповицкий вручил царице новую ее провербу и русскую бытовую комедию, которые он ночью *переписал*. Екатерина небрежно его поблагодарила, пошутила насчет его полноты и посоветовала ему принимать холодные ванны, а против мозолей употреблять красный воск, тот самый, что ей рекомендовал граф Дмитриев-Мамонов. Нарышкина спросила, не помирился ли его брат с княгиней Дашковой,— их старинная ссора была вечным предметом ее шуток,— и добавила сама, что примирятся они в тот день, когда ученые найдут квадратуру циркуля. Затем, пошутивши ровно столько, сколько нужно, императрица заговорила по-французски, показывая этим, что пора заняться делами. Храповицкий на том твердом, отчетливом, чуть неестественном французском языке, которым говорят русские люди, хорошо этим языком владеющие, ясно и толково доложил важнейшие дела. Екатерина, очень быстро все сообразив своим гибким искушенным умом, дала точные, ясные и толковые инструкции для ответа. Затем, помолчав, спросила Храповицкого с принужденной улыбкой, зачем, собственно, приехал из Москвы князь

Прозоровский. Храповицкий дипломатически уклонился от ответа, не желая при свидетеле дурно отзываться о могущественном вельможе. Он отлично знал, что Прозоровский приехал просить для себя и для своих сотрудников, Архарова, Шешковского и Пестеля, награды за истребление мартинистов. Храповицкий прекрасно понимал также, что Екатерина это отлично знает сама — и непременно наградит князя, хотя делает вид, будто он ей неприятен.

— Еще дела какие? — помолчав, сказала Екатерина.

Она спросила о том, послано ли письмо Чернышеву в Рим, чтоб и не думал заказывать мозаики. И нет ли известий о приезде графа д'Артуа? И отделывается ли для него дом Василия Ивановича Левашева?

— Все французишки к тебе бегут, матушка,— сказал опять по-русски Нарышкин.— Верно, в Петербурге и в Сарском слаще жить, чем у немца. Гнала бы ты их в шею. Намедни заходил в кофейню Анри,— француз на французе сидит.

— В самом деле, ваше величество,— подтвердил Храповицкий,— число французских эмигрантов, желающих поступить на русскую службу, растет весьма быстро. Не угодно ли взглянуть на эту папку? Здесь реестер имен и прошения.

— Плюнь на них, матушка,— упрямо по-русски говорил Нарышкин.— Довольно с нас Ришелье, да Ланжерона, да Вербуа, да Эстергази.

— Не ведаю, чем они мешают господину обер-шталмейстеру,— сердито сказал Храповицкий.— А гостеприимство в обычае народа русского. Ласково принимать чужеземцев велят нам и нравы Древней Руси, и заветы великого Петра.

— Народ чахлый, тощий: какое тут гостеприимство, ни поесть с ними, ни выпить,— пояснил несколько сконфуженный Нарышкин.— И все ноют: L'exil! Chère patrie! [1] И все у нас не так... Ну и пусть едут в свою шерпатри, к жакобенам... А впрочем, твоя воля, матушка. Мне что! По мне пусть хоть совсем у нас остаются.

Екатерина задумалась. Ей льстило, что на ее службе состоят представители знатнейших французских родов. Льстила и мысль — оказать у себя гостеприимство правнуку Людовика XIV. Но она прекрасно понимала, что эмигранты хотят впутать ее в трудные и нисколько ни ей, ни России не нужные предприятия. Было бы гораздо лучше,

---

[1] Изгнание! Дорогая родина! *(франц)*

если б помощь Франции оказывали лишь прусский и австрийский дворы. Тогда и в Польше у нее освободились бы руки. Вместе с тем, достоинство России, которым она чрезвычайно дорожила и которое умела оберегать, требовало, чтобы эмигрантам была оказана помощь.

— Нет, надо что-либо сделать для эмигрантов,— сказала она задумчиво.— Это вопрос чести. Но в Петербурге им всем без дела сидеть, правда, незачем. Я посылала Ришелье к принцу Конде: предлагаю ему и всей его армии поселиться в России на восточном берегу Азовского моря. Пусть колонизируют нашу пустыню... И денег мы им на это отпустим...

— Так к тебе французишки и пойдут пустыню пахать, матушка,— сказал со смехом Нарышкин.

Вдруг дверь спальной неожиданно растворилась. Без доклада, без стука в комнату вошел граф Платон Зубов. Он был бледен и расстроен. Фаворит держал в руке распечатанный пакет.

Императрица с восклицанием радости бросилась навстречу вошедшему.

Нарышкин и Храповицкий встали и почтительно поклонились.

— Ваше величество,— сказал по-французски Зубов, зачем-то понижая голос,— из Европы получены очень дурные вести. 10 января, в 10 часов утра, в Париже казнен король Людовик XVI...

Звонкий смех Екатерины осекся.

В комнате внезапно наступила мертвая тишина. Храповицкий перекрестился. Нарышкин побледнел и грузно опустился на стул.

Вдруг истерический крик вырвался из груди императрицы. Зубов бросился к ней и поддержал ее за талию: ему показалось, будто она лишается чувств. Но это не был обморок. У Екатерины начался припадок истерики.

— Зовите врача! — вскрикнул князь.

В спальне произошла суматоха. Через минуту горничные раздевали царицу и укладывали ее в постель. Марья Саввишна принесла тарелку со льдом. Прибежала, виляя хвостом, Герцогиня Андерсон, очень довольная суматохой. Появился лейб-медик Роджерсон с флаконом солей. Императрица с перекосившимся лицом истерически кричала что-то на разных языках. Кричала, что нужно истребить поголовно всех французов; что она пошлет на Париж Суворова mit Kosaken[1]; что все народы Европы должны

[1] С казаками (*нем.*).

принять православие, которое одно может их уберечь от заразы, посеянной проклятым Вольтером; что против ее жизни составлен гнусный заговор; что ее хотят задушить, но она все видит, знает всех заговорщиков и еще им себя покажет. Грозила казнями философам, мартинистам, Радищеву; вспоминала Потемкина и Григория Орлова; приказывала усилить стражу во дворце и пододвинуть поближе лучшие гвардейские части.

Граф Зубов находился при императрице безотлучно. Все приемы и праздники были отменены. Совершенно секретно князь вызвал к себе обер-полицеймейстера и долго внимательно расспрашивал его о настроении умов в столице.

IX

В придворных и правительственных кругах Петербурга известие о казни французского короля произвело сильное впечатление, главным образом потому, что оно так потрясло государыню. Екатерина заперлась в своих апартаментах и большую часть дня проводила в постели. Допускались к ней лишь самые близкие люди. На вопрос о том, как ее величество изволит себя чувствовать, императрица отвечала: *«изрядно»* или *«отменно»* (она любила такие слова и даже говорила иногда *«лих»*, чем в свое время крайне раздражала князя Потемкина, который немедленно, не стесняясь присутствием посторонних, повторял чисто русские выражения государыни, удивительно передавая ее немецкий акцент). Но вид у государыни был дурной, лицо желтое, глаза заплаканные. Рассказывали по секрету, что в один из этих дней, спускаясь вниз в *мыльню*, она внезапно лишилась чувств, упала и скатилась по лестнице. С близкими людьми Екатерина говорила почти исключительно о казни короля и с тупым упорством, которое свойственно самым умным женщинам, когда они говорят о политике, все повторяла одно и то же: «Il faut absolument exterminer jusqu'au nom des Français» [1]. Очень поразила ее появившаяся в какой-то иностранной газете таблица, отмечавшая странную роль 21-го числа в жизни Людовика XVI: 21 апреля 1770 г. состоялась его свадьба в Вене; 21 июня того же года было свадебное торжество в Париже; 21 января 1782 г. праздновали рождение дофина; 21 июня 1791 г. король бежал в Варенн; 21 сентября 1792 г. была уничтожена мо-

---

[1] «Нужно совершенно уничтожить самое имя французов» *(франц.)*.

нархия во Франции и 21 января 1793 г. последовала кончина несчастного короля. Екатерина стала соображать, не было ли роковой даты в ее собственной жизни, но ничего такого не нашла. Только Храповицкий обратил внимание государыни на одно *куриозное* стечение обстоятельств: казнь Емельки Пугачева состоялась также 10(21) января — как раз в тот самый день, что и злодейское умерщвление французского монарха. Это куриозное стечение обстоятельств очень не понравилось императрице.

Зубов во время нездоровья Екатерины совсем перебрался к ней и почти не спускался в *малый этаж*, где находились его собственные апартаменты. Любимцы князя с умилением говорили о той нежной преданности, которую обнаружил Платон Александрович в эти тяжелые дни. По их сияющим лицам всем стало ясно, что положение князя крепче крепкого. Да и в самом деле, приняв в расчет состояние здоровья и настроение духа императрицы, трудно было ожидать появления нового фаворита. Холодок около Александра Андреевича Безбородко несколько усилился. Граф ходил чрезвычайно озабоченный и своим видом сам как будто свидетельствовал о понесенном им поражении.

В действительности мысли Александра Андреевича начинали принимать новый оборот. После известия о болезни государыни граф, немного подумав, зазвал к себе на обед лейб-медика Роджерсона. К этому обеду, происходившему в маленькой столовой, где были поставлены только два прибора, Александр Андреевич велел принести бутылку старого каштелянского меда, от которого, по украинской традиции, в свое время развязывался язык у самого Мазепы, — хотя прославленный гетман выпить был мастер, а болтать зря не любил. Надежды графа, связанные с предательскими свойствами этого чудесного напитка, оправдались. После первого стакана меда угрюмый Роджерсон повеселел, а после второго — расстегнул жилет и стал называть Александра Андреевича «dear, dear friend» [1]. Тогда Безбородко налил ему третий стакан и вскользь незаметно навел разговор на тему о легкой болезни ее величества. Роджерсон, похлопав графа по коленке, объявил, что здоровье государыни оставляет желать лучшего. Природой послан, конечно, ее величеству превосходный организм. Но все же годы, заботы и (Роджерсон замялся, несмотря на два стакана меда)... и труды сильно подорвали ее крепкую натуру. Правда, эта тема с давних пор объявлена совершенно запретной, но он,

[1] «Дорогой, дорогой друг» *(англ.)*.

Роджерсон, может сказать графу, как шотландский джентльмен русскому джентльмену, как лейбмедик императрицы министру Совета,— что с ее величеством может каждую минуту случиться несчастье.

Безбородко сильно призадумался после разговора с Роджерсоном. Ему представилась маленькая фигурка Павла Петровича, его вздернутый нос и бегающие, беспокойные глазки. Вспомнилось и то, что великий князь в свое время объяснил герцогу Тосканскому, как он намерен поступить, по восшествии на престол, с фаворитами своей матери: «Велю их высечь, уничтожу и выгоню». Александру Андреевичу стало нехорошо; он подумал, что впутывается с Штаалем в очень опасную игру. Шансов выиграть ее против проклятого Зубова было теперь немного; а будущему императору эта новая история могла очень не понравиться. Граф все больше приходил к мысли, что едва ли не настало время понемногу переставить свою карьеру на карту Павла Петровича. Риск был совершенно несоизмерим: при Екатерине Александр Андреевич мог в худшем случае потерять должность; при Павле же легко было угодить в Сибирь. Между тем граф располагал верным способом заслужить милость наследника престола даже без посредства Федора Васильевича Ростопчина.

Как первый секретарь императрицы, Безбородко — один из очень немногих сановников — знал, где хранится в ее бумагах пакет, перевитый черной лентой, с надписью: «Вскрыть после моей смерти в Сенате». Александр Андреевич имел основания думать, что в пакете этом находится завещание Екатерины, содержащее в себе акт об устранении Павла от престола и о передаче последнего Александру. Безбородко не переоценивал значения этой бумаги: он думал, что устранить наследника путем секретного завещания далеко не так просто: царей вообще лишают престола иначе. И Александру Андреевичу приходило в голову, что не худо бы в день *великого несчастья,* вместо передачи пакета, перевитого черной лентой, в Сенат, вручить этот пакет самому Павлу Петровичу. Таким образом можно было бы заслужить не только прощение старых грехов, но и большую царскую милость. Обдумывая это дело. Александр Андреевич пришел к мысли, что надо пока занять очень осторожную, выжидательную позицию и отнюдь не раздражать Павла. Не мешало даже уехать в продолжительный отпуск — в Москву или за границу. Во всяком случае, было ясно, что теперь, в пору траура, с отменой праздников и приемов, у больной, нервной государыни

Штааль имел очень мало шансов на решительный успех; а потому мозолить людям глаза в Петербурге ему было незачем,— обо всей этой истории уже ходило много разговоров в столице. С другой стороны, на случай перемены настроения, не мешало на запас иметь против Зубова эту комбинацию; да и ссориться с Зоричем Александру Андреевичу тоже не хотелось. Житейский опыт подсказал графу самый лучший выход из положения. Нужно было милостиво и ласково отослать Штааля с какой-либо временной миссией за границу, а Зоричу написать, что по нездоровью государыни их дело откладывается на некоторое время.

Разных миссий в чужие края у Александра Андреевича было всегда достаточно. В царствование императрицы Екатерины иностранная коллегия то и дело посылала за границу небогатых молодых дворян — больше для того, чтобы дать им возможность посмотреть европейские столицы и приучиться к серьезным делам. Чаще всего отправлялись курьеры в Лондон, особенно после того, как русский посланник Воронцов установил с Питтом прекрасные отношения вместо прежних очень дурных. В Лондон Безбородко надумал послать и Штааля; хотел при случае напомнить о себе своему старинному сослуживцу Воронцову, с которым, как и с Ростопчиным, теперь следовало поддерживать особенно хорошие отношения. Генерал-поручик граф Семен Романович Воронцов, еще со времен государственного переворота 1762 года, когда он с оружием в руках отстаивал права Петра III, и в продолжение всего царствования Екатерины, считался в оппозиции двору. Он имел, таким образом, большие шансы на милость Павла Петровича.

Штааль с восторгом принял предложение отправиться за границу. Правда, жизнь в Петербурге очень ему нравилась; но его ещё больше прельщали возможность посмотреть чужие края и особенно секретная дипломатическая миссия, о которой министр сказал ему несколько слов с видом чрезвычайно важным и таинственным. Молодой человек чувствовал искреннюю благодарность к судьбе: он явно шел по пути, указанному великим Декартом. Однако без разрешения Семена Гавриловича Штааль не считал возможным уехать за границу. Но это Александр Андреевич взял на себя. Зоричу были немедленно посланы два письма: одно, умоляющее, от самого Штааля, другое, политическое, от графа Безбородко. Очень скоро из Шклова пришел благоприятный ответ. Семен Гаврилович, очень много выигравший в ту пору в карты, соглашался с доводами министра,

поздравлял своего воспитанника с началом карьеры, благословлял его в дорогу и на скорое возвращение в Петербург да вдобавок посылал в подарок немалую сумму денег, хотя молодой человек ехал на казенный счет. Бесконечно обрадованный Штааль, оставшись наедине с Безбородко, закрывши наглухо все двери, попросил графа ознакомить его с доверяемой ему секретной миссией и вручить соответствующую на этот счет *инструкцию* (это слово он выговорил с особенной любовью). Александр Андреевич, не моргнув глазом, тут же придумал секретную миссию. Он поручил Штаалю *совершенно конфиденциально* выяснить настроения французских эмигрантов в Лондоне.

За несколько дней до отъезда Штааля к нему неожиданно явился весьма щеголеватый господин, не то грек, не то итальянец, по фамилии Альтести, первый секретарь графа Зубова. В самых любезных, милостивых выражениях он объявил молодому человеку, что его сиятельство вполне одобряет выбор дипломата, сделанный для столь важной и ответственной миссии графом Безбородко. С своей стороны, граф *рекомендует* Штаалю не торопиться с возвращением в Петербург; советует очень тщательно изучить настроения французской эмиграции и прислать о них подробнейший письменный доклад. Зубов разрешал даже молодому дипломату непосредственно обращаться с докладами к нему, минуя все инстанции. С своей стороны, он давал Штаалю письма к Питту и к лорду Гренвиллю. «Вам известно, милостивый государь,— добавил небрежно Альтести,— что Питт ни в чем не может отказать графу».

Штааль был немного смущен и важностью тех знаменитых людей, к которым ему давались письма, и неожиданным расположением Зубова: на вечере в Эрмитаже ему показалось, будто он не понравился графу. Молодой человек рассказал Александру Андреевичу о визите Альтести. Безбородко усмехнулся и тут же с усмешкой продиктовал Штаалю ответное письмо Зубову: в нем Штааль самым почтительным образом благодарил графа за доверие, обязывался в точности выполнить инструкцию, со всем требуемым службой рвением, в *возможно непродолжительный срок*, и обещал немедленно по возвращении в Петербург *повергнуть к стопам ее величества* политический доклад, указанный мудрыми предначертаниями его сиятельства. Александр Андреевич даже зачавкал губами от удовольствия, сочинив этот ехидный ответ. Он сам запечатал письмо и сказал, что отошлет его графу после отъезда Штааля.

Молодой дипломат был с утра до ночи наверху бла-

женства. Еще никогда он не имел в своем распоряжении таких огромных денег, как теперь, и, преисполненный радостью жизни, ни в чем не отказывал ни другим, ни себе. Иванчук перехватил у него до будущего четверга порядочную сумму; а раза два весь кружок веселящейся *молодежи* кутил целую ночь на его счет. Зато Штааль приобрел популярность, был на «ты» с двумя камергерами и имел опытных друзей, которые охотно давали ему самые полезные советы. Дипломат Насков, изъездивший всю Европу, после второй бутылки шампанского записал даже для Штааля весь маршрут его поездки — с указанием в каждом городе лучших гостиниц, театров, ресторанов и веселых домов. В Париже Штааль должен был остановиться в Hôtel des Trois Mylords, завтракать в Café Foy, обедать в La Grotte Flamande, любоваться мадемуазель Рокур в «Mérope», Ларивом в «Hercule sur le Mont-Etna», а даму должен был искать, разумеется, в Пале-Рояле. Насков сильно расчувствовался и со слезами в голосе пропел: «Chacun y prend son régal, ce n'est qu'au Palais-Royal, ce n'est qu'au Palais-Royal...» [1] Только когда все уже было записано, он неожиданно вспомнил, что Парижа Штааль никак не увидит, ибо короля больше нет, во Франции правят жакобены и попасть туда совершенно невозможно. Дипломат залился слезами и проклял французскую революцию.

Штааль, впрочем, отнюдь не думал, что ему не придется побывать в Париже. Он просто не мог себе этого представить. Правда, французская граница была закрыта, поездки в революционную страну строжайше запрещены императрицей, дипломатические сношения с Францией прерваны, а с французов, оставшихся в России, даже взята торжественная подписка, в которой они свидетельствовали свое отвращение к революции и верность престолу Бурбонов. Тем не менее Штааль был в душе уверен, что попадет в Париж, переживающий такое интересное историческое время, и попадет не как-нибудь, а с шумом. Свою роль во Франции он представлял себе различно. Иногда он был жакобеном, произносящим громовую речь в Конвенте (но это, вероятно, слишком бы огорчило императрицу и Зорича, а потому было неудобно). Случалось, напротив, укрощал революцию мирным способом и становился благодетелем всего мира. Иногда он, наконец, вместе с Суворовым (или даже вместо него), грозным контрреволюционным вождем вторгался в Париж

---

[1] «Здесь каждый получает наслаждение только в Пале-Рояле, только в Пале-Рояле...» *(франц.)*

во главе доблестной русской армии, спасал королеву и судил цареубийц. Но во всяком случае в Париже он должен был себя показать. Никакая слава не установлена окончательно до ее признания Парижем.

Штааль целые дни делал необходимые покупки. Сшил себе много платья, по самой новой моде, привезенной недавно из-за границы известным щеголем, князем Борисом Голицыным; обзавелся и великолепными галстуками, закрывавшими шею до подбородка,— это тоже было последнее слово моды. Ехать он решил с удобствами. Купил прекрасную дорожную карету с модными круглыми стеклами и, разумеется, серебряный *погребец*. Дипломат Насков наметил ему список напитков, которые надлежало иметь в погребце. Большинства этих напитков Штааль не знал, но ему нравились их звучные названия. Купил он также в Английском магазине шкатулку с потайным замком для *секретных бумаг*, пару пистолетов с *золотой насечкой*, великолепную саблю с *дамасским клинком*, дорогой *толедский* кинжал и много других нужных в дороге вещей... Вещи он любил страстно — какой-то обезьяньей любовью.

Рано утром к подъезду ночного ресторана Лиона подкатила собственная коляска Штааля. Кончился поздний ужин. Молодой дипломат очень *лихо* расцеловал на прощанье цыганку Настю, которая была ему очень противна (тогда цыгане как раз начинали входить в моду), подарил ей на счастье пятьдесят рублей, слегка, впрочем, пожалев об этих деньгах, и горячо простился с друзьями. Вооруженный с головы до ног, запахнув дорогую доху, Штааль сел в собственную коляску; еще раз нащупал под дохой сумку с деньгами и пистолеты; удостоверился в целости шкатулки с секретным замком и закричал ямщику: «С Богом! Трогай!» — совершенно так, как это делал, по слухам, отправляясь в поход, фельдмаршал Румянцев-Задунайский.

X

«Езда на остров любви, перевод с французского в Гамбурге через студента Василья Тредьяковского, с прибавлением стихов переводчика на разные случаи. Издание второе. Санкт-Петербург».

Штааль захлопнул книгу. Теперь, при въезде в Кенигсберг, читать было, во всяком случае, поздно. Сочинение это, случайно захваченное с «Жилблазом» и «Путеводителем к счастию», регулярно вынималось из ручного чемодана на каждой станции; но дальше заглавия молодой путешест-

венник не пошел. Читать ему не хотелось. Его предупреждали, что в дороге без общества должно быть скучно,— и он старался скучать. Но точно назло в течение всей поездки ему было чрезвычайно весело — от свободы, от секретной миссии, от погребца, от девятнадцатилетней крови. Он и дневника не вел в дороге, но зато, собираясь вести дневник, старался думать литературно и мысленно вырабатывал себе слог.

«Жаль, что не было в пути никаких случаев и происшествий... Ведь напали внезапно на Декарта разбойники... Славно он, у Байе, обнажил шпагу и укротил злодеев... Кажется, и Юлию Цезарю случилось на море что-то такое... В желтеньком учебнике истории это было на левой странице снизу. Скверный желтенький учебник... И слава Богу, что больше никогда не будет экзаменов. Впрочем, той детской ажитации и радости от хороших баллов, право, жаль... Какой, однако, вздор лезет порою в голову... А ведь это уже город Кенигсберг, Европа... Ну, худая Европа, а все-таки Европа... И правда, чистенькие домы... А это что же: улица вымощена диким камнем справа и слева — прохожие идут не посредине, а только с боков... Ах, это и есть немецкие *тротуары*, о которых говорил Насков... Да, по всему видно, Европа... Теперь происшествий ждать нечего... Экая досада! Даже дорогой нигде не прошибались, и со смотрителями ничего ни разу не выходило... Насков говорил, что смотрителей надо непременно бить по морде. Как же я мог их бить по морде, если они сразу давали лошадей! И вообще — с какой стати бить людей по морде?.. А все-таки против Невского эти узенькие улицы никуда... Сейчас, верно, подъедем к гостинице... Разумеется, надо будет нумер занять самый лучший... Дипломату ее величества нельзя останавливаться в нумере средней руки: это роняет престиж отечества... Потом баня, потом обед. Спросят пашпорт и подорожную. Bitte sehr[1]: русский дипломат Штааль, такой пашпорт показать не стыдно... А могу ли я еще говорить немецким языком? Едва ли, однако, все позабыл... В гостинице, вероятно, останавливаются тутошние рыцари... Ведь в Пруссии еще сохранились риттеры. Если придется пожить дня два, познакомлюсь, какие-такие немецкие риттеры... Да, вот, кажется и приехали... Ну, да, приехали... Изрядная гостиница...»

Гостиница оказалась почти такой, какой ее воображал

[1] Извольте *(нем.)*.

Штааль. И крыльцо, выстланное железной окалиной, и передняя с чучелами зверей, и большой номер необычной для русских постоялых дворов чистоты, и длинная низкая столовая с огромным камином, где *весело трещал* огонь,— все было совершенно как следует. Рыцарей, правда, в столовой, не оказалось: обедала только за большим столом компания немецких купцов. Штааль, немного недовольный тем, что у него никто не спросил подорожной, подошел к длинной стойке столовой. У стойки нарезывала разные belegte и illustrirte Brötchen [1] очень хорошенькая, совсем молоденькая блондинка, которая приветливо улыбнулась молодому человеку. Хотя Штаалю было довольно противно сочетание твердых разрыхленных яиц с кильками, сыром и салатом, он попросил барышню дать ему иллюстрированный хлебец и с удовольствием убедился в том, что сравнительно легко составляет более или менее сложные немецкие фразы. Затем молодой человек занял место за отдельным круглым столиком, накрытым белоснежной скатертью грубоватого полотна, перед прибором с разными игривыми рисуночками и поучительными изречениями. Барышня проводила его глазами и последовала за ним к столику.

— Was wünscht der gnädige Herr? [2] — спросила она ласково.

Штааль немедленно потребовал бутылку замороженного шампанского. Заказ этот произвел потрясающее действие. Барышня широко раскрыла глаза и робко разъяснила, что французского *Зекта* они не держат, но если gnädiger Herr'у угодно подождать, то можно послать за Зектом в лавку на Frazösische Strasse. У них же в погребе есть в большом выборе самое лучшее, старое рейнское вино. Штааль согласился подождать, и скоро действительно в столовую принесли бутылку, завернутую в чистую белую бумажку и перевязанную розовой ленточкой. Через несколько минут вся гостиница знала, что приехавший из Петербурга в собственной удивительной коляске русский, без всякого радостного или торжественного повода, заказал к Abendbrot'у [3] бутылку Зекта. К концу вечера это знал весь квартал, и с почтительным недоумением повторялось: «Diese Russen!» [4]

Хорошенькая барышня была дочь хозяина-вдовца. Ее звали Гертрудой. Она сама не подавала и не готовила

---

[1] Бутерброды *(нем.)*.
[2] Что угодно милостивому господину? *(нем.)*
[3] Ужин *(нем.)*.
[4] «Эти русские»! *(нем.)*

блюд, а только принимала от гостей заказы, немедленно вписывала их в какую-то, лежавшую на стойке толстую переплетенную книгу и, по-видимому, имела общее наблюдение за хозяйством: две молодые, краснощекие служанки часто дружелюбно с ней шептались. Одна из них, подав Штаалю заказанный им *окровавленный ростбиф*, внезапно, без видимой причины, прыснула со смеху, закрыла голову передником и убежала к фройлейн Гертруде. Обе залились у стойки сумасшедшим хохотом. К ним тотчас направилась прислуживавшая купцам вторая служанка, которая закрылась передником и стала хохотать еще по дороге. Купцы, в свою очередь, развеселились, а затем потребовали разъяснения причины веселья; узнав же эту причину, оглянулись на Штааля, захохотали, сказали разом «Grossartig!» [1] и сгоряча потребовали шесть новых кружек пива. Фройлейн Гертруда, очевидно опасаясь, как бы не обиделся русский гость, опять подошла к Штаалю и застенчиво объяснила ему, что общее веселье вызвал один замечательный виц, который сказала эта глупая Маргарита. «Der gnädige Herr soll das nicht übel nehmen» [2]. Но Штааль и не думал обижаться, в доказательство чего счел нужным предложить фройлейн Гертруде бокал или, точнее, кружку тепловатого шампанского. Это предложение было принято с почтительным восторгом, в равной мере относившимся к цене вина и к щедрости гостя. Начался разговор. Через несколько минут Штаалю было известно, что фройлейн Гертруде семнадцать лет и что она училась два года в местной Töchterschule [3]. А фройлейн Гертруда узнала, что gnädiger Herr русский дипломат, имеющий секретную миссию в Лондон, и что ему двадцать четыре года. Последнее сообщение встретило, впрочем, с ее стороны некоторое недоверие. К концу обеда они были друзьями. Подошел к столику Штааля и отец фройлейн Гертруды, тоже выпил с почтительным восторгом кружку тепловатого Зекта и очень мило поговорил с русским гостем: похвалил Россию за ее громадную величину и выразил удивление перед мудростью императрицы Екатерины, которую маленькой девочкой видела в Цербсте двоюродная тетка его покойной жены.

Было сказано несколько слов и о войне с Францией. По всему было видно, что в этом деле хозяина волнует главным образом вопрос о наборе рекрутов. Революцией же он интересовался чрезвычайно мало и даже к самому

---

[1] «Великолепно!» *(нем.)*

[2] «Милостивый господин не должен на это обижаться» *(нем.)*.

[3] Женская школа *(нем.)*.

факту ее относился как будто несколько недоверчиво. Затем Штааль спросил хозяина, не знает ли он, когда уходит из ближайшего порта первый корабль в Англию. Хозяин немедленно справился по какому-то листку, для верности опросил еще купцов и сообщил, что первый корабль отойдет при благоприятной погоде через четыре дня. Таким образом, весь следующий день можно было смело оставаться в Кенигсберге. Молодой человек, поглядывая на фройлейн Гертруду, принял не без удовольствия это известие, как ни неудобно было заставлять ждать Питта, Гренвилля и Воронцова. День был закончен небольшой совместной прогулкой с фройлейн Гертрудой и посещением кофейной, где к венскому кофею подавались удивительные Apfelkuchen mit Schlagsahne [1]. За четвертым кухеном фройлейн Гертруда уже не могла без слез думать о предстоящем отъезде русского дипломата, и если что могло ее утешить, то разве только его обещание подарить ей перед отъездом флакон настоящих французских духов. А Штааль соображал, удобно ли будет дипломату с секретной миссией тайно увезти с собою из Кенигсберга хорошенькую дочку хозяина гостиницы. Их петербургский кружок, наверное, отнесся бы к этому вполне сочувственно. Но представлялись, с другой стороны, некоторые служебные и иные неудобства. Кроме того, можно было предположить, что в Лондоне, а тем более в Париже, тоже найдутся хорошенькие дочки у хозяев гостиниц. Штааль не знал, ни как поступил бы на его месте Насков, ни как поступил бы Декарт.

Он решился обдумать все это толком потом, *наедине с самим собой*. Нахмуренный поднялся он в десять часов вечера в свою комнату и принялся ходить по ней взад и вперед. В спальной было довольно холодно: окна открывались в гостинице надолго, независимо от времени года. Штааль, расхаживая от письменного стола к двери, все чаще поглядывал на огромную мягкую постель, покрытую толстым пуховым одеялом в стеганом шелковом чехле. Хотел было, чтоб сосредоточиться, записать свои мысли в дневник. Но как назло с любовью купленная в Английском магазине для ремарок дорогая тетрадь в сафьянном переплете запропастилась куда-то на самое дно чемодана. Штааль постановил сосредоточиться уже в постели, разделся, лег, накрылся стеганым одеялом — и даже не погасил свечи: мысли его смешались в ту же минуту. Он заснул сном девятнадцатилетнего юноши, на новом месте, после долгой дороги и не-

---

[1] Яблочные пирожки со взбитыми сливками (*нем.*).

скольких бокалов шампанского. Ему снились странные сны, в которых Питт, Насков, Декарт и особенно фройлейн Гертруда принимали сложное и деятельное участие.

На следующий день, оказавшийся солнечным и теплым, фройлейн Гертруда, как было заранее условлено, немедленно после завтрака освободилась от своих обязанностей по хозяйству. Она обещала Штаалю показать ему главные достопримечательности Кенигсберга. Однако, на поверку, этих достопримечательностей было немного: дворец на высоком холме, с цейхгаузом, *московской* залой и библиотекой, где книги были для безопасности прикованы к полкам на длинных цепочках, а на стене висел писанный с натуры портрет жены Лютера Катерины-Деворы; кафедральная церковь, с шишаком маркграфа Бранденбургского и с изображением беременной его супруги, и диковинный сад, с *менажерией*, купца Сатургуса, где водяной насос производил отчаянный колокольный звон. Когда все это было осмотрено, фройлейн Гертруда предложила почитать вместе вслух одну хорошую книжку в прелестном уединенном уголке Королевского сада. Штааль охотно согласился, и они отправились в сад, купив по дороге полдюжины пирожков. В Королевском саду было очень мало народа. Они уселись на скамейке; фройлейн Гертруда пригласила Штааля полюбоваться уголком и признать, что уголок этот — herrlich und entzückend [1]. Столичному дипломату не подобало чрезмерно восторгаться провинциальной природой; Штааль тем не менее снисходительно похвалил местоположение. Затем фройлейн Гертруда раскрыла шелковую сумочку с ее инициалами и с золотой надписью: «Скромность и целомудрие — лучшие украшения немецкой девицы». Пояснив Штаалю, что сумочка эта, подаренная ей отцом в день окончания Töchterschule, стоила три с половиной талера, она вынула из сумочки книжку в веселеньком голубеньком переплете. Книжка называлась «Die Leiden des jungen Werther» [2]; автор, по словам фройлейн Гертруды, был очень известный, но еще молодой и чрезвычайно красивый собою поэт Гёте: его лично знает одна ее подруга, переселившаяся из Кенигсберга в Веймар,— по-видимому, влюблена в него страшно и пишет, что он herrlich и entzückend. Фройлейн Гертруда рассказала несколько сбивчиво начало романа и принялась проникновенно читать со средины. Штааль первые десять минут слушал внимательно. Но он не имел врожденного ли-

---

[1] Великолепный и восхитительный *(нем.)*.
[2] «Страдания молодого Вертера» *(нем.)*.

тературного слуха, нужного для того, чтобы оценить по достоинству гётевскую прозу. К тому же немецкий поэтический язык был ему не совсем понятен; несколько раздражало его, что общий смысл каждой сложной фразы он узнавал лишь в самом ее конце — с появлением сказуемого,— да и то не всегда. Штааль решил, что слишком нетерпелив для немецких литературных произведений, и перестал вдумываться в рассказ, но зато с удовольствием слушал звук голоса фройлейн Гертруды, казавшийся ему чрезвычайно приятным. Очень понравилось ему также выражение ее лица, которое делалось все печальнее по мере того, как становились тяжелее душевные переживания героя. Изредка она останавливалась и с грустной улыбкой съедала кухен. Когда дело дошло до прощального письма Вертера, начинавшегося словами: «Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben» [1],— голос фройлейн Гертруды задрожал и на ее глазах появилась легкая влага. Штааль хотел было утешить фройлейн Гертруду,— оглянулся по сторонам, но признал более удобным отложить утешение до самоубийства героя, которое, по его мнению, теперь должно было последовать в самом близком будущем. Он стал нетерпеливо ждать, стараясь определить по толщине отогнутой правой части книги, сколько еще могло оставаться непрочтенных страниц. Ждать ему пришлось довольно долго: Вертер писал второе прощальное письмо. Но его содержание совершенно ускользнуло от Штааля, ибо внимание молодого человека внезапно сосредоточилось на ножке фройлейн Гертруды. Он с удивлением констатировал, что ножка у его приятельницы очень маленькая; между тем в их петербургском кружке считалось общепризнанным, что у всех немок громадные ноги. Штааль задумался над этим вопросом, как вдруг в голосе фройлейн Гертруды послышались сдержанные рыданья. Вертер требовал в третьем прощальном письме, чтобы бант, подаренный ему Лоттой, был положен с ним в гроб. «Sei ruhig! — читала прерывистым голосом фройлейн Гертруда.— Ich bitte dich, sei ruhig! Sie sind geladen.— Es schlägt zwölfe! So sei's denn! — Lotte! Lotte, leb' wohl! Leb wohl!..» [2]

Молодой человек растроганно обнял фройлейн Гертруду и нежно ее поцеловал. Напуганная самоубийством Вертера, она не оказала никакого сопротивления; напротив, Штаалю даже показалось, при всей его неопытности, что

---

[1] «Лотта, все решено, я должен умереть» *(нем.)*.

[2] «Будь спокойна! Молю тебя, будь спокойна! — Они заряжены.— Бьет полночь. Да будет так! — Лотта, прощай! Прощай, Лотта!..» Гёте. Страдания юного Вертера. Перевод с нем. *Н. Касаткиной*.

его смелый поступок не слишком поразил фройлейн Гертруду. Поцелуй, вероятно, затянулся бы долго, если б не произошло нечто неожиданное. С легким криком «Lieber Gott! Herr Professor!» [1] — фройлейн Гертруда внезапно вырвалась из рук Штааля и спаслась бегством, предварительно подобрав свалившуюся с ее колен сумочку с золотой надписью: «Скромность и целомудрие — лучшие украшения немецкой девицы».

XI

Штааль свирепо оглянулся. Перед ним стоял, кротко улыбаясь, очень маленький, очень дряхлый, беленький, напудренный старичок в чистеньком, но довольно бедном, застегнутом на две пуговицы, теплом кафтане, к которому было странным образом пристегнуто какое-то странное оружие, не то шпага, не то кортик. Из-под маленькой треугольной шляпы виднелся перевязанный сзади черной ленточкой парик. Правое плечо у старичка было сильно приподнято и как будто вывихнуто. Сам он был так дряхл и слаб, что, казалось, его мог опрокинуть первый порыв ветра.

— Что вам угодно, сударь? — сердито спросил Штааль.

Старичок улыбнулся еще более кротко и сел на скамейку.

— Как это хорошо! — сказал он старческим, приятным, не совсем внятным голоском.— Славное дитя! Как это хорошо! Право, я очень рад тому, что милая девушка нашла себе жениха... Я знаю фройлейн Гедвигу с ее рождения, ибо, отправляясь гулять по средам и воскресеньям к Steindammer Thor [2], неизменно захожу в гостиницу ее отца. Это прелестная девушка. Я сердечно поздравляю вас, молодой человек. Увидите, вы будете с ней очень счастливы...

«Что за чучело!» — подумал Штааль.

— Да вы кто такой и что вам, собственно, от меня угодно?

Старичок посмотрел на него удивленно.

— Вы меня не знаете? — спросил он несколько менее ласково.— Вы иностранец? В этом городе меня знают все. Я — здешний профессор Кант. Мое имя вам также неизвестно? — грустно спросил он и затем рассмеялся не то саркастически, не то добродушно.— Скажу вам правду: я не очень честолюбив, но меня иногда огорчает, что я не пользуюсь известностью в широкой публике. Право, людям

---

[1] «Боже, господин профессор!» *(нем.)*

[2] Штейндамские ворота *(нем.)*.

не мешало бы знать, что думает в Кенигсберге, на Prinzessinstrasse старый Иммануэль Кант... Впрочем, это неважно. Так вы — иностранец? Здесь есть немало поляков и евреев. Вы не поляк? Несчастные поляки... Может быть, вы — еврей? Евреи Фридлендер и Маркус Герц — мои добрые друзья. Вы их не знаете? Ах, да, вы иностранец... Вы, вероятно, намерены поступить в наш университет? Прекрасная мысль, молодой человек. Я люблю молодых людей, а ваше лицо мне особенно нравится. Если хотите, я сам буду с вами заниматься, privatim или даже privatissime[1], бесплатно или лучше за небольшую плату,— в зависимости от ваших средств. Я могу преподавать вам все предметы, которые я читал в университете: математику, астрономию, философию, физику, логику, мораль, натуральное богословие, юриспруденцию, антропологию, физическую географию, фортификацию и пиротехнику. Кроме этого, я, к сожалению, знаю немного. И некоторые главы мне придется даже предварительно восстановить в памяти. Я кое-что забыл, потому что я очень стар...

Он опять просиял улыбкой, и его чисто детская улыбка невольно остановила внимание Штааля. Он вгляделся в старика и увидел, что лоб у него какой-то необыкновенный. Из глубоких впадин, покрытых седыми бровями, лили мягкий свет голубые глаза.

— Вас, может быть, смущает,— продолжал старик,— что студентам по общему правилу не разрешается жениться. Это ничего. Я выхлопочу вам разрешение. А после окончания университета вы легко найдете место учителя. Вы можете быть впоследствии профессором у себя на родине. Это хорошо оплачивается. Я в начале своей карьеры получал всего шестьдесят два талера в год; а в этом году мне вышло семьсот двадцать пять талеров шестьдесят два гроша и девять пфеннигов. И за сочинения свои я тоже получаю недурной гонорар: за мою «Критику чистого Разума» я получил по четыре талера с печатного листа. Вы скажете, что я эксплуатирую своего издателя? Это неверно, ибо моя книга может выдержать несколько изданий и, наверное, принесет доход. Но я действительно очень хорошо устраиваю свои дела... Вероятно, я проживу еще лет двадцать, и тогда я оставлю после себя не менее тридцати тысяч талеров сбережений. А главное, за всю свою жизнь я никому ни разу не был должен ни гроша. Когда ко мне стучат в дверь, я отворяю совершенно спокойно, зная, что за дверью нет кре-

---

[1] Частным образом... абсолютно частным (*лат.*).

дитора. Да,— повторил он очень довольным тоном.— Jawohl, mein junger Freund, mit ruhigem und freudigem Herzen kann ich immer «Herein» rufen, wenn jemand an meine Tür klopft, denn ich bin gewiss, dass kein Gläubiger draussen steht...[1]

— Почему же вы думаете, что проживете еще двадцать лет? — сердито спросил Штааль, раздраженный до последней степени сделанным ему предложением сначала поступить в университет, а потом стать учителем.

Старичок остановил на нем долгий взгляд, точно хотел понять, за что обиделся его собеседник. Но самый вопрос показался ему вполне естественным.

— Оттого, что я очень крепкий человек,— с гордостью ответил он.— У меня от рождения слабое сердце и дурная печень. Но я победил силой воли эти недостатки тела. Я запретил себе думать о своих страданиях — и теперь не обращаю на них никакого внимания. Точно так же я очень легко излечиваюсь волей от насморка. А главное, я веду правильный образ жизни и все делаю как следует, по определенной научной системе. Вы как дышите, когда гуляете? Ртом? Ну, вот видите, а я дышу носом. А когда вы работаете за письменным столом, где вы держите носовой платок? Верно, у себя в кармане? Правда? А я — на стуле в соседней комнате. Таким образом, всякий раз, когда я нюхаю табак, я должен поневоле сделать несколько шагов. Следовательно, я не засиживаюсь долго на одном месте и произвожу время от времени полезный моцион.— Он с торжеством посмотрел на молодого человека.— Я все делаю обдуманно. Человек должен размышлять о каждом своем действии.

— Вы женаты? — спросил Штааль.

— Я? — с изумлением воскликнул старик.— О нет! Вообразите, меня еще совсем недавно хотел женить местный пастор Беккер. Он даже написал для меня диалог о женитьбе: «Рафаэль и Тобиас, или Размышление о брачной жизни христианина». Старик расхохотался...— Мы имели продолжительную беседу, и я его разбил по всем пунктам,— продолжал он, кашляя от смеха.— Разумеется, я вернул ему расходы по выпуску этой брошюры, ибо он напечатал ее только для того, чтобы убедить меня жениться... Нет, нет, я вообще нахожу, что настоящий мужчина не должен вступать в брак. Но так как большинство людей все-

[1] Да, мой юный друг, спокойно и дружелюбно могу я всегда крикнуть: «Войдите»,— когда кто-то постучит ко мне в дверь, потому что я уверен, что снаружи нет кредитора (*нем.*).

таки, к сожалению, имеет это дурное обыкновение, то я с радостью приветствую те случаи брака, которые согласны с требованиями рассудка. За женой непременно надо брать приданое. Не очень большое, но обеспечивающее независимость мужа. Ибо для размышления необходима материальная независимость. И вы можете быть уверены, что за Еленой получите порядочное приданое, не менее пяти тысяч талеров. Гостиница ее отца дает отличный доход. На эти деньги вы можете жить совершенно независимо. Если у вас окажется способность к отвлеченной мысли, это будет превосходно. Вы могли бы, например, под моим руководством разрабатывать онтологическую проблему. Это очень интересная проблема... В противном случае вы можете стать честным купцом, как мой друг Грин, или книгопродавцем, как мой друг Николовиус, или директором банка, как мой друг Руссман...

— У вас много друзей,— заметил Штааль, чтобы что-нибудь сказать. Его ироническое настроение ослабело. Что-то в этом старике с огромным лбом и с глазами, светящимися из-под седых бровей, производило на него странное действие.

— Да, у меня много друзей,— повторил торжественно старик.— Некоторые, правда, умерли... Но я их никогда не вспоминаю. Я запретил себе о них думать... Не нужно никогда вспоминать о мертвых,— сказал он вдруг странным, изменившимся голосом, в котором Штаалю послышался ужас.

— У меня есть друзья,— заговорил он опять,— потому, что я предписал себе любить людей... К несчастью, в наше злое, ужасное время есть не стоющие любви, вредные, опасные люди, которых постигнет вечное, тяжкое проклятье потомства...

— Робеспьер? Дантон? — спросил Штааль.

— Дантон? — переспросил с удивлением Кант (он выговаривал Dàngtong с ударением на первом слоге).— Нет, какое же отношение имеет сюда Дантон? Люди, о которых я говорил, это консисториальные советники, бреславльский пастор Герман Даниель Гермес и бывший учитель гимназии Готтфрид Фридрих Хилльнер... Впрочем, Бог с ними! Разумный, мыслящий человек не имеет врагов... Вы сказали — Робеспьер, Дантон... Я думаю, они неплохие люди. Они заблуждаются, только и всего: почему-то вообразили себя революционерами. Разве они революционеры? Они такие же политики, такие же министры, как те, что были до них, при покойном короле Людовике. Немно-

го лучше или, скорее, немного хуже. И делают они почти то же самое, и хотят почти того же, и душа у них почти такая же. Немного хуже или, скорее, немного лучше... Какие они революционеры?

— Кто же настоящие революционеры? — спросил озадаченный Штааль.

— Я,— сказал старик серьезно и равнодушно, как самую обыкновенную и само собой разумеющуюся вещь.

Штааль вытаращил глаза.

— Это очень распространенное заблуждение, будто во Франции происходит революция,— продолжал старик.— Признаюсь вам, я сам так думал некоторое время и был увлечен французскими событиями. Но теперь мне совершенно ясен обман, и я потерял к ним интерес. Во Франции одна группа людей пришла на смену другой группе и отняла у нее власть. Конечно, можно называть такую смену революцией, но ведь это все-таки несерьезно. Разумеется, я и теперь желал бы, чтоб во Франции создалось правовое государство, более или менее соответствующее идеям Монтескье. Но, согласитесь, это все не то... Почему эти люди не начнут революции с самих себя? И почему они считают себя последователями Ру́ссо?.. Ру́ссо,— сказал он с уважением,— имел в виду совершенно другое. Руссо был большой, но, к сожалению, недостаточно философский ум. Он был чересчур несчастен для того, чтобы правильно размышлять. Он ненавидел людей... Но все-таки с Руссо я мог бы договориться. Мы бы поспорили и, наверное, к чему-нибудь пришли. Между тем я не уверен, что мне удалось бы переубедить Дантона или, скажем, Питта... Дантон и Питт — ведь это одно и то же.

— Я на днях увижу Питта,— счел нужным вставить Штааль, желая указать старику его настоящее место.— Если вам что нужно... У меня есть к нему секретное поручение от моего правительства.

Старик посмотрел на него разочарованно.

— Так вы дипломат? — сказал он.— Как жаль!.. Право, бросьте вы это дело, молодой человек. Поверьте, гораздо лучше быть учителем или купцом. С тех пор как существует мир, еще не было ни одного умного дипломата. Я хочу сказать, что еще ни один дипломат не высказал ни одной такой мысли, по которой его можно было бы отличить от другого дипломата: они все вот уже три тысячи лет — совершенно одинаковые. Удивительнее всего то, что люди терпят их до сих пор, как терпят и вечное дело дипломатов — войну. Я теперь обдумываю одну маленькую ра-

боту: о вечном мире. Но если вы меня спросите, уверен ли я в том, что после выхода в свет моей работы дипломаты перестанут устраивать войны, право, я не решусь ответить утвердительно... Только в моем учении — подлинная революция, революция духа. И потому самые вредные, самые опасные люди это не Дантон и не Робеспьер, а те, которые мешают мне высказывать мои мысли. Разве можно запрещать произведения Канта?..

Он вынул из кармана какие-то листы печатной бумаги и показал их Штаалю, не выпуская из рук.

— Это моя последняя работа,— сказал он значительно.— «Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft aufgenommen» [1]. Я прочту вам главу об основном зле человеческой природы. Слушайте!

Он откашлялся, растянул немного белый шарф, которым была обвязана его сморщенная, тонкая старческая шея, и стал читать, с выразительными и исполненными очевидного удовольствия интонациями, сопровождая чтение непрерывными жестами пальцев левой руки на высоте головы:

— Dass die Welt im Argen liegt, ist eine Klage, die so alt ist als die Geschichte... [2]

Но Канту помешал читать какой-то быстро подходивший к скамейке пожилой человек с красным носом.

— Ну вот! — воскликнул он грубоватым сиплым голосом.— Ну можно ли? В пять часов господина профессора еще нет дома! Я должен был бежать на поиски господина профессора... Со стороны господина профессора это очень неосторожно — гулять так долго. И господину профессору никак не следовало садиться на скамейку... И господину профессору давно пора домой...

Кант задумчиво смотрел на него.

— Это мой слуга Лампе,— пояснил он Штаалю.— Лампе прав. Я прочту вам когда-нибудь в другой раз мою работу: «Vom radicalen Bösen in der menschlichen Natur» [3]. Скоро сумерки... В сумерки надо размышлять. Я работаю по утрам, отдыхаю с друзьями днем, размышляю в сумерки, читаю по вечерам. А в десять я ложусь спать. Я прежде хорошо спал... Но теперь мне часто снятся дурные сны...

---

[1] «Религия в пределах чистого разума» *(нем.)*.

[2] То, что мир лежит во зле,— это жалоба, которая так же стара, как история *(нем.)*.

[3] «Об изначальном зле в человеческой природе» *(нем.)*.

Голос его опять изменился и опять в нем послышался ужас.

— Мне снится кровь, убийства... Не знаю, что это значит,— медленно, с расстановкой сказал он.— Не знаю... Кровь, убийства... Почему это снится *мне?*.. Я не могу терять спокойствие... Не знаю... Ну, прощайте, молодой человек. Вы мне очень понравились. Я рад за милую Гедвигу... И пожалуйста, бросьте дипломатическую карьеру... Прощайте, молодой человек.

Он медленно пошел по дороге маленькими ровными шажками, высоко поднимая ноги и дыша по своей системе — носом.

Штааль долго смотрел ему вслед. Этот дряхлый старик, занимавшийся вопросом об основном зле человеческой природы, был, конечно, очень смешон. Тем не менее молодому человеку казалось, будто есть в нем и что-то непонятное, и совершенно недоступное, и даже страшное... Но что же именно?.. Штааль тяжело вздохнул и пошел разыскивать фройлейн Гертруду.

Невдалеке за Кантом следовал слегка выпивший Лампе. Он угрюмо думал, что здоровье господина профессора начинает явно опускаться. Прежде господин профессор не стал бы терять время, положенное для прогулки, на пустые разговоры с каким-то мальчишкой. Этот мальчишка еще, кажется, потешался над старостью господина профессора. Дурачок! Лампе вспоминал, как в их кабинет на Prinzessinstrasse робко входили почтенные, седые ученые, приезжавшие со всех сторон Германии для того, чтобы увидеть господина профессора; вспоминал и то молитвенное выражение, с каким эти заслуженные люди иногда смотрели на голову господина профессора... Но в последнее время на лицах этих людей, когда они выходили из кабинета, он как будто читал огорчение, скрываемую скорбь — или ему так казалось?.. Да, конечно, профессор Кант стар. Но это все-таки профессор Кант... И если б существовала на свете справедливость, ему поистине надлежало бы иметь чин Geheimrat'a [1].

XII

Хотя Штааль приобрел в Петербурге некоторую привычку к высокопоставленным людям, он не без робости ждал, подъезжая на кебе к русской миссии в Лондоне, свидания с генерал-поручиком, графом Римской империи

[1] Тайный советник *(нем.)*.

Семеном Романовичем Воронцовым. По тому тону, в котором говорили о Воронцове и Безбородко, и Ростопчин, и даже Иванчук, Штааль чувствовал, что русский посланник в Англии — человек не совсем обыкновенный. Этот исполненный уважения тон, столь редко принимаемый в отношении отсутствующих людей, было трудно объяснить высоким общественным положением графа Воронцова. Семен Романович не был богат; огромное состояние его отца было в значительной части конфисковано при вступлении на престол Екатерины. Воронцов принадлежал к старой русской знати,— его род восходил к XI веку, к сказочному князю Шимону Африкановичу,— но их семья не пользовалась расположением императрицы. Не сделал Семен Романович и блестящей служебной карьеры.

Воронцову было восемнадцать лет в дни петербургского переворота 1762 года. Он решительно принял тогда сторону Петра III, хотя сам точно не знал почему. Здесь имела значение и милость, которой пользовалась у императора его семья. Имело значение и соперничество знаменитых полков: Семен Романович был преображенец, тогда как Екатерину возводили на престол семеновцы и измайловцы. А главной причиной было отвращение, которое ему внушала личность императрицы Екатерины. От этого чувства Семен Романович не мог никогда отделаться и впоследствии. Род Воронцовых был так близок к престолу, что дела царской семьи они чувствовали почти как собственные свои дела. Семен Романович инстинктивно усвоил то самое отношение к императрице, которое со времен Николая I было принято в династии Романовых: Екатерина, при всех своих государственных заслугах, рассматривалась как фамильный скандал, и говорить о ней считалось неудобным.

Поведение Воронцова в дни переворота 1762 года не было забыто. Арестованный с оружием в руках, но вскоре выпущенный на свободу, Семен Романович не пожелал остаться в гвардейском полку. Дальнейшая его служба протекала большей частью в действующей армии. Однако, несмотря на храбрость и боевые заслуги графа (его высоко ценил сам Румянцев), хода ему не давали, особенно после того, как он отклонил предложение, сделанное ему Потемкиным, вернуться в Преображенский полк, находившийся под командой фаворита. Семен Романович вышел наконец в отставку и уехал за границу. Впоследствии Безбородко уговорил его занять важный и самостоятельный пост по дипломатическому ведомству. В должности русского чрезвычайного посланника в Англии Воронцов продол-

жал держать себя довольно независимо в отношении государыни и фаворитов: часто резко отвечал на письма Екатерины, а Зубову не позволял вмешиваться в дела миссии. Его давно сместили бы, если б императрица не знала, что британское правительство относится к Воронцову с исключительным уважением и что посланником у англичан непременно надо иметь умного и неподкупного человека.

Граф Семен Романович, высокий, красивый, преждевременно поседевший человек с усталым, болезненным, очень тонким лицом, чрезвычайно ласково принял гостя, без следов гордости и барства, которых побаивался Штааль: Воронцов был такой настоящий аристократ и так это было само собой очевидно и для него самого, и для всех окружающих, что ему не приходило в голову выставлять или подчеркивать свое барство, как это часто делали Ростопчин, Зубов и много других лиц, не *настоящих* или не совсем *настоящих*, встречавшихся Штаалю в Петербурге.

Молодой человек сказал с первых слов, что имеет секретную миссию; он говорил по-французски — отчасти для важности, отчасти потому, что, как его предупредили, посланник несколько отвык за границей от русской речи.

Воронцов приветливо улыбнулся.

— Знаю, знаю секретные миссии графа Александра Андреевича,— сказал он добродушно.— Приезжал сюда тоже молодой Комаровский,— говорит, привез важные депеши. Я вскрыл пакет — смотрю: кроме старых газет, ничего. Граф просто послал молодого человека покататься по Европе — и прекрасно сделал... Впрочем, разумеется, не всегда так бывает,— добавил Воронцов серьезно, заметив огорчение на лице Штааля.— Познакомьте же меня с вашей миссией...

Он внимательно выслушал объяснение молодого человека. Узнав, что Штааль привез *стафету* не только от Безбородко, но и от Зубова, Семен Романович несколько нахмурился, не зная, что подумать: непонятно было, каким образом одно лицо могло иметь доверительные поручения одновременно от двух ненавидевших друг друга политических деятелей, и это плохо рекомендовало Штааля в глазах посланника. Еще непонятней было, почему совсем молодому человеку поручена задача, явно предполагавшая очень основательное знакомство со всей европейской политикой.

«Впрочем, теперь нравы другие,— подумал Воронцов.— Nous avons changé tout cela [1]. Мог же — в Англии! — Питт стать премьером в двадцать четыре года...»

[1] Мы все это изменили *(франц.)*

— О вашей миссии,— сказал он,— разговор должен быть долгий. Вы приехали в интересный момент. Идеи новой тактики начинают прокладывать себе дорогу в рядах французской эмиграции... Этот епископ Отенский очень, очень умный человек. Но о делах мы поговорим немного позже,— теперь пойдемте, я вас напою русским чаем, а вы нам расскажете разные новости. Нам — это моему советнику Лизакевичу — прекраснейший, благороднейший человек — и мне; больше не будет никого. Живем мы, как видите, небогато. Помню поговорку: не строй каменного дома в приданной деревне...

Воронцов провел Штааля из кабинета в гостиную. Молодой человек был рад отсрочке серьезного разговора. Слова «новая тактика», очевидно относившиеся к чему-то всем известному, его несколько смутили: он не слыхал ни о новой, ни о старой тактике французских эмигрантов. Совершенно незнакомо ему было также имя епископа Отенского. Штааль боялся показаться посланнику недостаточно подготовленным для своей миссии: девятнадцать лет губили его карьеру.

Воронцов познакомил гостя с Лизакевичем, очень мрачным, элегантным старичком. Кроме него в гостиной был еще мальчик в костюме английского школьника.

— Мой сын,— сказал Семен Романович, и по тому, как он это сказал и как смотрел на сына, можно было понять, что вся жизнь графа сосредоточена на мальчике.— Вы, может быть, пьете не чай, а half and half [1],— спросил он Штааля, улыбаясь.— Ах, вы еще не знаете, что такое half and half? И слава Богу: не мне вам объяснять. Я сам пью только свою минеральную воду,— превосходная вода... Ну, теперь расскажите нам петербургские новости.

Штааль не ударил в грязь лицом. Поделился некоторыми подробностями, касающимися свадьбы великого князя Александра; рассказал о новых чудачествах наследника престола; сообщил, что Валерьян Зубов надеется пройти в генерал-поручики, что Щербатов женится на Пушкиной, а Строганова выходит за Демидова. Все это он рассказывал в том слегка насмешливом, но неуверенном тоне, в каком обыкновенно говорят умные мальчики, только что перешедшие или переходящие на положение взрослых. И рассказывал он обо всех этих знатных людях, опуская их титулы, точно речь шла о знакомых ему с детства приятелях. Штааль скоро заметил, что его новости мало интересуют

[1] Здесь: портер и эль в равных дозах (*англ.*).

Воронцова, хотя посланник слушал внимательно и учтиво. Тогда молодой человек решил поднять тему разговора и упомянул о деле Новикова, очень, впрочем, неопределенно: он больше не знал, что следует думать о таких людях, как Новиков и Радищев.

Лицо Воронцова сразу потемнело. С удивившей Штааля резкостью выражений он отозвался о поведении правительства и князя Прозоровского в этом *гнусном деле*. Строго посматривая на юношу, но обращаясь преимущественно к Лизакевичу, Воронцов заявил категорически, что Николай Иванович Новиков благороднейший, прекраснейший человек. Вся его вина заключается, по-видимому, в том, что он желал вывести из невежества наш темный, дикий народ, желая предупредить в России возможность событий, много худших, нежели французская революция, тоже достаточно ужасная и отвратительная.

— On a trop vite oublié la пугачевщина à Saint-Pétersbourg [1],— волнуясь, закончил Семен Романович.

Штаалю стало неловко. Он только теперь понял, что вполне сочувствует взглядам Воронцова, и боялся, как бы его молчание не было ложно истолковано.

— Je crois...[2] — начал он, но Воронцов на этот раз его перебил, несмотря на всю свою вежливость.

— А Радищев, которого *они* сослали в Сибирь! — нервно заговорил он, обращаясь к Лизакевичу.— Друг моего брата, прекрасный, благороднейший, просвещенный человек, гордость и слава России... В то время как все эти Зубовы... Нет, положительно, *они* сошли с ума в Петербурге... Так доводят страну до революции... Крым хотели заселить английскими каторжниками.

Воронцов схватился рукой за грудь и замолчал. Потом налил себе минеральной воды и стал пить медленными глотками.

Лизакевич робко на него поглядел и перевел разговор на другой предмет. Смущенный Штааль внезапно почувствовал большой интерес к своему маленькому соседу, сыну посланника, и стал вполголоса, покровительственно его расспрашивать об английской школе. Вскоре затем Лизакевич, желая дать Воронцову возможность немного отдохнуть от взволновавшего его разговора, предложил показать Штаалю некоторые достопримечательности посольства и архива. Молодой человек ухватился за это предложение и долго

[1] В Санкт-Петербурге слишком быстро забыли пугачевщину *(франц.)*.

[2] Я думаю... *(франц.)*

слушал совершенно не интересовавшие его пояснения к каким-то важным историческим бумагам.

— А что, скажите, пожалуйста,— задал он не совсем кстати хитрый дипломатический вопрос,— правда ли, будто новая тактика имеет успех во французской эмиграции?

— Да как вам сказать? — ответил несколько удивленный Лизакевич.— Уж очень умный человек этот епископ Отенский.

«Попугай какой-то»,— недовольно подумал ничего не выведавший Штааль.

Они вернулись в гостиную. Воронцов сидел на диване, нежно гладя сына рукой по волосам, и что-то рассказывал ему, тихо, задумчиво улыбаясь:

— Le second-major du régiment, Петр Петрович Воейков, le plus respectable des hommes, et le plus attaché à son légitime Souverain, galopa le long du régiment en répétant: «Ребята! Не позабывайте вашу присягу к законному вашему государю императору Петру Федоровичу, умрем или останемся ему верны!» ...Il nous tendit la main et pleura de joie, en voyant dans mon capitaine et moi les mêmes sentiments d'honneur dont il était animé. Après cela il cria: ступай! et nous marchâmes vers l'église de Казанская... Cathérine était là... [1]

По тону речи и по радостному выражению лица Воронцова нетрудно было догадаться, что это воспоминание об его поведении в 1762 году было ему чрезвычайно приятно. Он ласково улыбнулся Штаалю и предложил гостю место около себя на диване. Мальчик сейчас же пересел по левую сторону отца. Лизакевич простился и ушел домой.

— Ну, теперь поговорим о вашей миссии,— сказал Семен Романович и подробно познакомил Штааля с состоянием французской эмиграции.

Оказалось, что ее материальное положение становится все более скверным. Нужда усиливается; англичане помогают очень мало. Живут эмигранты главным образом продажей вещей, которые удалось вывезти из Франции. Магазин Pope and C° на Old Burlington Street занимается почти исключительно скупкой эмигрантских драгоценностей. Заработок находят очень немногие счастливцы — и какой заработок! Маркиза де Рео, графиня де Сессеваль торгуют

---

[1] Секунд-майор полка... самый достойный и самый верный своему государю человек, промчался вдоль строя, повторяя... Он протянул нам руку и заплакал от радости, увидев в моем капитане и во мне то же самое чувство чести, которое воодушевляло и его. Потом он крикнул... и мы зашагали к церкви... Екатерина была там... *(франц.)*

в лавке, граф де Комон стал переплетчиком, мосье де Пайон — учитель танцев, граф де Буажелен преподает детям игру на клавесине, маркиза де Шабан-Лапалис открыла пансион, мадам де Гонто торгует какими-то коробочками... При этом из всех коммерческих предприятий, затеваемых эмигрантами, почти никогда ничего не выходит. Недавно пошла у них мода на сельское хозяйство: так, дочь маршала Ноайля купила где-то клочок земли, завела коров, доит их сама, работает целый день,— но у эмигрантов и коровы дохнут без причины... Одним словом, материальное положение ужасное: через год, если якобинцы не падут, в эмиграции начнется голод и, вероятно, полное разложение: «il y a — hélas! — des grandes dames qui sont devenues marchandes de baisers» [1],— добавил вполголоса граф. Очень скверно и моральное состояние эмигрантов. Хорошо только одно: все эти бывшие атеисты и вольтерьянцы теперь не выходят из церквей; говорят, во Франции тоже очень усилились религиозные настроения. В остальном — эмигрантское дело плохо. В последнее время много шума и еще больше злобы вызывают новые идеи, связываемые с именем бывшего епископа Отенского. Политический центр нового движения находится в Juniper Hall.

— Сущность новых идей вам, вероятно, известна? — заметил вежливо Воронцов (Штааль неопределенно мотнул головой).— Она заключается в признании так называемых завоеваний революции, les conquêtes de la Révolution. Сторонники старых взглядов — огромное большинство эмигрантов — ненавидят всю Революцию от начала до конца и к деятелям ее первого периода относятся, пожалуй, более враждебно, чем к якобинцам. Якобинцев они даже уважают в душе за твердую власть, за гильотину, за то, что те показали, как надо править французским народом. Кроме того, они убеждены, что якобинский режим неизбежно должен привести к восстановлению старого строя. Калонн, как вы знаете, давно утверждает: «Sans jacobins point de salut» [2]. Само собой разумеется, что сторонники этих взглядов хотят восстановить монархию Бурбонов в прежнем виде, с самыми незначительными изменениями в законодательстве старого строя. Напротив, последователи нового направления, ненавидя нынешних властителей Франции, тем не менее очень многое в Революции принимают и считают вполне разумными идеи первого ее периода, принци-

[1] «Есть, увы, знатные дамы, которые начали торговать поцелуями» *(франц.)*.

[2] «Без якобинцев не обойтись» *(франц.)*.

пы 1789 года и «Декларацию прав человека». В династию Бурбонов они верят плохо, а в возможность восстановления старого строя, хотя бы в исправленном виде, не верят совершенно. Мнения сильно расходятся также по вопросу о способах борьбы с якобинской властью. Сторонники старой тактики возлагают все надежды на интервенцию европейских держав и на вандейскую контрреволюционную армию Кателино, Стоффле и Ларошжаклена, причем первых двух вождей они не очень жалуют: Стоффле — сын мельника, а Кателино — человек еще более низкого происхождения. Истинным героем эмигрировавшей аристократии является третий контрреволюционный вождь, граф де Ларошжаклен, который, вероятно, и будет главнокомандующим. Как бы то ни было, громадное большинство эмигрантов намерено сплотиться под знаменами Вандеи. Епископ же Отенский не верит в успех Вандейского восстания, а *потому* и не желает ему успеха.

— На что же рассчитывает епископ Отенский? — спросил осторожно Штааль.

— Да у него не разберешь,— ответил, усмехаясь, Воронцов.— Это субъект не слишком откровенный: «язык,— говорит он,— дан человеку для того, чтобы скрывать мысли». По-видимому, епископ находит, что его час еще не пришел. На известный вопрос: «Que faire?», заданный госпожой Сталь, он ответил: «Attendre et dormir, si l'on peut...» [1] В сущности, его новая тактика заключается в отсутствии всякой тактики: ждать терпеливо, возможно меньше себя компрометируя,— вот и все... Кажется, он рассчитывает, что якобинцы сами перережут друг друга. Но может быть, я и ошибаюсь: кто знает, что думает в действительности епископ Отенский?.. Должен вам сказать, я изложил лишь в самых общих чертах эмигрантские идеи и течения. И среди сторонников новой тактики, и среди сторонников старой существует немало подразделений: взгляды Лалли-Тлендаля, идеи Малле дю Пана,— вообще у многих эмигрантов есть единственный верный секрет спасения Франции. Идейный разброд полный, поистине странное зрелище: все они переругались, перессорились, все друг друга в чем-то обвиняют, ненавидят друг друга едва ли не больше, чем якобинцев, и, разумеется, все выражают истинную волю Франции. А еще большой вопрос, есть ли у Франции в настоящее время истинная воля? — Я как-то сказал все это епископу Отенскому,— он засмеялся и назвал меня

[1] «Что делать?» — «Ждать и спать, если можете...» *(франц.)*

умным человеком... Теперь вдобавок, после поражения герцога Брауншвейгского, появилось еще новое эмигрантское течение. Оно призывает к возвращению во Францию и к совместной работе с якобинцами. Но об этих господах и говорить не стоит,— сказал с презрением Воронцов.— Я не люблю ни эмигрантов, ни якобинцев; но кающиеся эмигранты, как и кающиеся якобинцы (скоро появятся и такие), внушают мне совершенное отвращение... Вполне допускаю, что эти господа и подкуплены,— якобинцы тратят большие деньги на развращение эмиграции.

— Какой же ваш собственный взгляд на положение вещей во Франции? — спросил Штааль, мысленно составляя план блестящего доклада императрице.

— У меня нет определенного мнения,— ответил нехотя Воронцов.— Скорее всего, прав епископ Отенский: надо ждать, ничего другого не остается. Только мне, русскому, легко так рассуждать. А он — француз; у него в Париже режут друзей и родных... Вот тут и говори: «Attendre et dormir». У этого умнейшего человека течет в жилах не кровь, а холодная вода... Во всяком случае, я не очень стою за нашу интервенцию: нам во французские дела вмешиваться не следовало бы... Сами никогда не просили и не будем просить о чужом вмешательстве, ну и в чужие дела мы тоже не должны соваться. Я так и пишу императрице... Любопытно, что в вопросе об интервенции эмигранты возлагают теперь большие надежды на Англию,— но вместе с тем не верят ей ни на грош. Граф Водрейль прямо утверждает, что Англии выгодна французская революция и что Питт умышленно поддерживает якобинский развал. Это довольно распространенное мнение верно лишь отчасти: разумеется, Питт чрезвычайно хотел бы надолго и прочно ослабить Францию; но, с другой стороны, он сильно побаивается якобинской заразы. Надо вам сказать, что английское общество до войны очень благосклонно относилось к французской революции, несмотря на огромное впечатление, произведенное книгой Берка: «Reflexions on the Revolution in France» [1]. Ни о какой войне с Францией не могло быть речи, вы еще и теперь найдете на заборах старые плакаты: «No war with French!» [2] Однако после казни короля настроение англичан сильно изменилось; боязнь заразы теперь очень сильна. Сам Питт ничего умного пока не придумал.

---

[1] «Размышления о французской революции» *(англ.)*.

[2] «Нет войне против Франции!» *(англ.)*

— А что такое ваш знаменитый Питт? — спросил Штааль.

— Питт? — переспросил, снова усмехнувшись, Воронцов.— В частной жизни это честнейший, благороднейший человек, безукоризненный джентльмен, образцовый сын, брат, дядя, друг. В политике, особенно во внешней, это совершеннейший мошенник и бандит, готовый для Англии на что угодно, je dis [1], на что угодно. Якобинцы обвиняют его во всевозможнейших преступлениях. Говорят, например, будто он подкупил Николая Пари для убийства члена Конвента Лепелетье де Сен-Фаржо. По совести, не знаю, все ли в их обвинениях вздорно. Питт — англичанин и необыкновенно типичный англичанин: в этом его страшная сила. Он, как никто другой, угадывает чувства, настроения, мысли рядового великобританского гражданина. Какова бы ни была в данное время его политика — а она меняется часто,— как бы сильна ни была критика оппозиции — Фокс умнее и образованнее Питта,— вы можете быть уверены: Англия пойдет за Питтом. Он вдобавок большой знаток парламентского дела и поистине замечательный оратор: бюджетные речи произносит без клочка бумаги в руках. Я, впрочем, не считаю его большим государственным человеком. В иностранной политике он наделал много ошибок... Заметьте, этот властолюбец ничего не желает лично для себя: он раздает огромные синекуры друзьям, а сам беден, как церковная крыса. Ему часто предлагали награды, титулы, орден Подвязки,— он отказывался от всего. К женщинам тоже совершенно равнодушен,— говорят, будто он девственник. Питту ничего не нужно, кроме власти,— да еще нескольких бутылок портвейна в день: он пьет старый портвейн, как московские купцы пьют чай. Мы с ним большие друзья. В частной жизни я, ни минуты не колеблясь, доверил бы ему свое состояние, свою честь, все, что имею. Но когда я, как русский посланник, говорю о делах с ним, как с британским премьером, я держу себя так, как если бы передо мной находился бежавший из каторжной тюрьмы грабитель-рецидивист. Он это знает и потому относится ко мне с уважением — и как к человеку, и как к посланнику. По крайней мере, теперь: года два тому назад он очень хотел выжить меня отсюда. Вот что такое Питт... Впрочем, вы сами его увидите: через несколько дней у меня состоится — раут не раут, а так, небольшой прием. Будут и Питт, и Берк, и Талейран.

---

[1] Я говорю (*франц.*).

— Кто такой Талейран? — спросил робко Штааль.

— Да этот самый, бывший епископ Отенский — пояснил удивленно Воронцов.— Его зовут Талейран де Перигор... Будет еще один интересный человек... Вы, я думаю, никогда не видали якобинца? Un jacobin en chair et en os![1] Правда, не видали? Так вот, увидите. Это пастор Пристлей, очень любопытная фигура, чудо природы: старенький английский клерджимен и гордость французского Конвента!... Словом, я угощу вас лучшими достопримечательностями Лондона... Мишенька, спать пора,— сказал вдруг нежно мальчику Воронцов.

Штааль поднялся и стал прощаться.

— Нет, вы посидите,— заметил Воронцов, положив ему руку на плечо.— Мы еще поговорим. Я отлучусь всего на пять минут, уложу сына. Прошу меня извинить. Оставляю вам журналы и ликеры... Только много не пейте, это вредно,— прибавил он добродушно, уводя засыпавшего на ходу мальчика.

Штааль взял для приличия газету и подумал было, уж не обидеться ли ему на Воронцова за последние слова: дипломату постарше посланник не сделал бы такого указания. Но он тотчас почувствовал, что ни в каком случае не обидится на Семена Романовича, ибо немного влюблен в этого красивого, умного и столько видевшего на своем веку человека. Ему даже было приятно дружелюбно-властное обращение с ним Воронцова — и он чуть-чуть завидовал Мишеньке. Когда посол вернулся, у них началась долгая задушевная беседа. Штааль перешел инстинктивно на русский язык и слово за слово рассказал слушавшему ласково Воронцову всю свою жизнь, очень искренне,— почти не прикрашивая,— от первых школьных впечатлений до встречи с Кантом в Кенингсберге. Он был чрезвычайно удивлен, когда Семен Романович заметил, что этот Кант имеет у ученых людей репутацию величайшего философа в мире. Так, по крайней мере, говорил графу английский философ Нитш, большой знаток предмета. Штааль не мог поверить, что случайно встреченный им дряхлый, добрый старичок в потертом кафтане был новый Декарт. Это сообщение произвело на него сильное впечатление.

После ухода Штааля — совершенно очарованный Семеном Романовичем, он покинул миссию очень поздно — Воронцов еще долго сидел у камина, смотря задумчиво на огонь и рассеянно подталкивая железным прутом тлеющие

---

[1] Якобинца собственной персоной! *(франц.)*

уголья. Мысли русского посланника были печальны. Этот юноша хоть и несколько бесцветный («в его годы, впрочем, молодые люди всегда довольно бесцветны») и уж немного испорченный *ими* в Петербурге, но все-таки славный по природе, напомнил графу его самого в 1762 году. Воспоминание о 1762 годе было приятно Воронцову, но вместе с тем оно поднимало ряд чувств, которые он не любил в себе вызывать.

«Да, жизнь не удалась, и в ней ничего не остается, кроме Мишеньки... Из Мишеньки, конечно, выйдет превосходный, замечательный, *новый* человек [1]. По-видимому, я не был создан ни для войны, ни для политики. Да может ли вообще удасться жизнь в это жестокое время? На что рассчитывать порядочным людям в век Маратов и Прозоровских? Надо было родиться позднее. Через сто лет никто не будет проливать крови... Это, к счастью, совершенно достоверно...»

XIII

Бывший епископ Отенский, столь знаменитый в истории под именем князя Талейрана, стоя в одном белье под лампой, тускло светящей с потолка, старательно чистил щеткой башмаки. До начала приема у русского посланника оставалось не более часа. Талейрану не слишком хотелось идти на этот прием. У графа Воронцова собиралось самое лучшее общество Лондона, но почти всегда в таком сочетании, какого не мог себе позволить ни один другой салон. Английские гостиные, из-за разгара страстей, отвечавшего грозному ходу французской революции, становились все замкнутее и нетерпимее. Виги перестали бывать у тори, тори больше не ходили в гости к вигам. Жены, разумеется, разделяли политические страсти мужей. Только в нейтральных салонах иностранных послов еще считали возможным встречаться люди противоположных взглядов. В дипломатическом же корпусе граф Воронцов занимал первое место — благодаря счастливому сочетанию высокого личного авторитета с огромным военно-политическим престижем России. Попасть к нему на прием считалось большой честью.

Талейран хорошо знал, что Воронцов зовет на него англичан как на дорогое, редкое, хотя и не совсем удобоваримое блюдо. Всем было интересно увидеть бывшего революционного епископа, которого его соотечественники эмиг-

[1] Впоследствии светлейший князь М. С. Воронцов, известный по злой эпиграмме Пушкина, выведенный Л. Н. Толстым в «Хаджи-Мурате».— *Автор.*

ранты ненавидели не менее страстно, чем Марата или Робеспьера. К тому же еще задолго до революции по Европе ходили рассказы об уме, остроумии и тонкости мысли епископа Отенского. Но после казни короля Людовика XVI англичанам не представлялось удобным звать в гости отставного прелата, еще совсем недавно заседавшего в Учредительном собрании, дружившего с якобинцами и принимавшего от них дипломатические миссии. Приглашать подобного гостя решались только люди с таким общественным положением, которого никто и ничто поколебать не могло. Из английских аристократов принимал Талейрана у себя (и то больше назло Питту) лишь старый лорд Лансдоун. Однако и этот почтенный, знатный, заслуженный человек, бывший первый лорд казначейства,— как прекрасно видел Талейран, звал его к себе только на маленькие вечера, на которых бывали одни очень свободомыслящие люди — Фокс, Пристлей, Бентам, Ромилли. И свободомыслящие люди эти как будто даже несколько щеголяли тем, что не боятся знакомства с бывшим епископом Отенским. Обычное общество лорда Лансдоуна не считало удобным встречаться с Талейраном, хотя, понятно, сгорало любопытством. Приглашать же его к себе одновременно с первым министром и с Берком — это мог себе позволить только русский посланник граф Воронцов, как русский, как посланник и как граф Воронцов. Талейрану, однако, не хотелось являть в самом чопорном обществе мира зрелище не совсем приличного гостя,— вдобавок рискуя скандалом, если бы на раут оказался приглашенным кто-либо из французских эмигрантов.

Старательно вычистив башмаки и вздохнув при виде начавших стираться сзади каблуков, бывший епископ отложил сапожную щетку, достал из незапирающегося шкапа с испорченным замком свой единственный вечерний костюм, разложил на столе, пододвинув стол под лампу, и тщательно осмотрел. Осмотр дал удовлетворительные результаты: пятен на костюме не было, а дыру на брюках портной зашил так, что никто, наверное, ничего не мог заметить. Талейран надел костюм и башмаки, обновил пудру на голове и протянул сквозь жилетную петлю дорогую цепочку золотого прекрасного брегета. Этот брегет с цепочкой да еще тонкое белоснежное белье, вывезенное из Парижа (тогда Париж диктовал Лондону законы мужской моды), одни свидетельствовали о том, что их обладатель знал лучшие времена. Опуская часы в карман, Талейран вспомнил, как прежде отправлялся на балы в Париже, при покойном *ти-*

ране Людовике XVI. Он усмехнулся и пожал плечами. По принятому в эмиграции тону требовалось делать вид, будто неожиданная потеря состояния и непривычные материальные лишения не имеют решительно никакого значения: сожалеть о богатстве могли только не настоящие эмигранты, а случайно попавшие в их среду люди другого круга. Настоящим же полагалось скорбеть лишь о казни короля, о гибели родины и об унижении дворянского класса. Роль эта выдерживалась очень строго. Разумеется, в действительности потеря состояния, свободы, привычных занятий и общественного положения ощущалась громадным большинством эмигрантов гораздо болезненней, чем несчастья, выпавшие на долю Франции. Гибель Франции чувствовалась иногда — при чтении газет, при разговоре с бестактным иностранцем; личные же несчастья ощущались каждую минуту в течение целого дня. Талейран, расходясь во всем другом с эмигрантами, думал, что в этом отношении они взяли верный, наиболее достойный тон, и молчаливо ему следовал. На рауте Воронцова следовало быть одетым прилично, но чрезвычайно скромно. Та элегантность, которой епископ Отенский когда-то щеголял в Париже, здесь в эмиграции свидетельствовала бы о дурном вкусе. Да и трудно было с его нынешними средствами удивить элегантностью общество, собиравшееся на раутах русского посланника.

Шарль Морис Талейран де Перигор принадлежал по рождению к одной из очень знатных французских семей, находившейся в тесном родстве с герцогами Мортемар и князьями Шале. Четырех лет от роду; упав с комода, он вывихнул себе ногу и остался навсегда полухромым. Этот несчастный случай предопределил всю дальнейшую жизнь Талейрана. Вместо военной карьеры он должен был избрать карьеру духовную, о которой в отроческие годы не мог подумать без ужаса. Ко времени принятия им священнического сана он совершенно не верил в Бога и не чувствовал в вере решительно никакой потребности. Это обстоятельство, однако, не так смущало Талейрана: он знал, что атеисты нередко встречались и среди кардиналов, и даже среди римских пап. Гораздо больше беспокоили его разные практические неудобства, связанные с духовным саном. Неудобства эти оказались, однако, вполне устранимыми. В частности, в весьма заботившем Талейрана вопросе о ночном времяпровождении ему удалось устранить практические неудобства радикально: в двадцать пять лет молодой аббат имел такое прошлое и такую репутацию, что

сам старый маршал, герцог Ришелье, знаменитый развратник времен Людовика XV, скорбно говорил приятелям, возвращаясь под утро к себе домой: «Увидите, меня совершенно затмит этот мальчишка Талейран». А приятели только руками разводили, недоумевая, чем и как можно затмить в его области старого маршала де Ришелье.

Аббат Талейран де Перигор очень быстро приобрел чрезвычайную популярность в разных кругах французской столицы. Он был необыкновенно умен. Талейран одинаково блистал умом в богословском споре со светилами католической церкви, в разговоре на литературные или философские темы с первыми писателями Франции, в отношениях с женщинами, и в частности с бесчисленными своими любовницами, в изысканной салонной causerie[1] и в полупьяной застольной беседе. Тогда еще не знали, что главная его сила — политика и что в лице молодого прелата на политическую сцену выходит один из самых необычайных актеров века. В высшем свете Парижа Талейран был нарасхват. В то странное время — в последнее время перед Революцией — салоны управляли страной: в салонах создавались министры, кардиналы, маршалы, послы; королевское правительство считалось только с мнением салонов, но зато с ними считалось чрезвычайно. В гостиной каждой знатной дамы был свой замечательный человек, который мог и должен был спасти Францию (близость бури смутно чувствовалась всеми — и все радостно ее ждали). Так, у княгини Бово царствовал Неккер, у герцогини де Люин — Калонн, у графини де Бло — епископ Аррасский. Талейран же считался замечательным человеком везде, и его одновременно выдвигал целый ряд салонов. Он устраивал также небольшие приемы у себя в Bellechasse: он принимал по утрам,— это тогда было модно,— и собирались у него главным образом люди с дипломом ума, таланта и славы: Мирабо, Шамфор, Делиль, Рюльер, Бартес, Дюпон де Немур. Всякий знаменитый иностранец, попадая в Париж, старался добиться приглашения на завтрак епископа Отенского. Политикой Талейран занимался сравнительно мало. Для настоящей большой политики он ждал высокого духовного сана. Его церковная карьера шла очень быстро. Тридцати четырех лет от роду он был назначен епископом Отенским и имел большие шансы на получение кардинальской шапки; за него хлопотал в Риме очарованный им шведский король; а папа, разумеется, не мог отказать в одолжении проте-

[1] Разговор (*франц.*).

стантскому монарху. Талейран страстно ждал кардинальского сана для того, чтобы тогда заговорить с властью языком князя церкви.

Помешала — Французская революция. Событие, о котором в последние годы старого строя мечтали чуть ли не все французы, а больше всего люди, четыре года спустя взошедшие на эшафот, стало наконец действительностью. В эти первые дни упоения народной победой, когда знатнейшие вельможи страны приветствовали *самую бескровную из всех революций истории*, Талейран был настроен иначе. Со своей обычной приветливой улыбкой он ходил по разным местам, по салонам, по кофейням, по улицам, все осведомлялся, присматривался, выспрашивал. Своего мнения он не высказывал: но по сочувственной улыбке епископа его восторженные собеседники естественно заключали, что он совершенно с ними согласен и разделяет общий энтузиазм.

В июле 1789 года епископ Отенский ночью отправился в Марли, где тогда находился двор, и потребовал свидания с королем или с братом, графом д'Артуа, который собирался покинуть Францию. Несмотря на позднее время, удивленный граф д'Артуа принял епископа. С равнодушной усмешкой Талейран изложил принцу свой взгляд на положение вещей. Произошедшая бескровная революция есть лишь начало очень большой трагедии, где погибнет много репутаций и слетит еще больше голов. Старый порядок отжил свой век и вдобавок прогнил насквозь. Король слабый человек, двор представляет собой жалкое зрелище. Высшие классы общества во всех отношениях ничтожны и решительно ничего не могут противопоставить быстро идущей грозной волне. Радостная бескровная революция очень скоро станет жестокой кровавой революцией. В стране начнется небывалый и неслыханный развал. Через месяц, наверное, будет поздно для каких бы то ни было действий. Но теперь, пожалуй, еще можно сыграть решительную игру. План епископа был прост. Он предлагал подвести к столице верные престолу войска, и в частности наемный немецкий полк Royal Allemand, разогнать бунтующих депутатов, а затем возможно скорее провести ряд самых нужных народу, глубоких и смелых реформ. Для осуществления этой программы он скромно предлагал свои услуги. Но так как действовать необходимо безотлагательно, каждый час дорог — епископ почтительнейше просил его высочество немедленно разбудить короля и пригласить его для серьезного разговора. Удивленный граф д'Артуа возразил, что де-

путаты не дадут разогнать себя без сопротивления,— стало быть, произойдет резня. Епископ Отенский, улыбаясь так же приятно и скромно, подтвердил, что предположение его высочества действительно весьма правдоподобно; но разгон и резню он тоже берет на себя,— разумеется, если ему будут даны неограниченные полномочия. Принц был совершенно озадачен. Он думал, что хорошо знает Талейрана, и, как все, очень высоко его ценил. Но граф д'Артуа не мог понять, каким образом этот мягкий, так приятно улыбающийся, прекрасно воспитанный салонный человек, никогда в жизни никому не сказавший невежливого слова и почти всегда державшийся того же мнения, что и собеседники, не только предлагает столь страшные вещи, но и берется сам за их осуществление. Граф д'Артуа, будущий Карл X, не был лишен инстинктивного чутья людей. Он немного подумал и пошел будить своего брата. Однако король, которому очень хотелось спать, не вышел к позднему гостю. Он велел сказать епископу Отенскому, что приглашает его прийти потолковать как-нибудь в другой раз; к тому же беспорядки, вероятно, скоро улягутся сами собой. Граф д'Артуа добавил, что король ни на какое кровопролитие не согласится. Лицо епископа Отенского дернулось при этом ответе. Но сейчас же на нем заиграла прежняя равнодушно-приветливая усмешка. В самых учтивых выражениях он объяснил принцу, что каждый человек имеет полное право губить себя, но что это только право, а вовсе не обязанность. Поэтому граф д'Артуа не должен удивляться, если скоро узнает, что политическая карьера епископа Отенского приняла новое, неожиданное направление.

И действительно, немедленно вслед за разговором с принцем Талейран стал, в рядах духовенства, одним из самых горячих сторонников Революции. Но, всячески подчеркивая свои свободолюбивые гражданские чувства, он вместе с тем старался не слишком вылезать на вид. При его огромном умственном превосходстве над большинством политических деятелей того времени, ему нетрудно было бы сделать блестящую революционную карьеру. Он не спешил, однако, с революционной карьерой и не выступал в Учредительном собрании по острым вопросам. Необыкновенный знаток людей, Талейран сразу замечал и старался расположить в свою пользу всякого нового, подающего надежды человека, всякую новую социальную группу, которая могла в будущем приобрести силу и значение. Он предложил и провел закон об уравнении евреев в правах с остальными гражданами Франции; чрезвычайно также ста-

рался о том, чтобы ему была прощена его принадлежность к высшему духовенству, которое становилось все менее популярным. Когда вместо старых реакционных епископов были избраны другие, либеральные, Рим отказался утвердить этих новых выборных епископов. Они не могли вступить в должность, не получив санкции какой-либо духовной особы, занимавшей в церкви высокое положение. Такой высокой особой являлся среди революционеров епископ Отенский — и он немедленно предложил заменить собой римского папу. Это было одной из главных причин ненависти к нему всей консервативной Франции. Приятелей же Талейрана, прекрасно знавших, что он не верит ни в Бога, ни в черта, чрезвычайно позабавила торжественная церемония, в которой епископ Отенский дал новым прелатам свое пастырское благословение. Вскоре после этой пышной церемонии Талейран пришел к мысли, что настали плохие времена даже для самых либеральных духовных особ,— и он скромно, из *цивизма*, сложил с себя звание римско-католического епископа.

Так, стараясь не обращать на себя внимания, часто уезжая из Парижа с разными дипломатическими миссиями, он благополучно прожил первые три года революции. 10 августа 1792 года Тюльерийский дворец был взят толпой и пала тысячелетняя французская монархия. Талейран опубликовал горячий привет этому событию — и решил, что теперь настало время бежать, бежать всем: аристократам и революционерам, умеренным и крайним. Но тайно переходить границу, быть объявленным вне закона ему не хотелось. По разным причинам он находил более удобным уехать вполне легально, с паспортом, поручениями и деньгами революционного правительства.

В ту пору Дантон полновластно правил Францией. Главный деятель дня 10 августа, министр юстиции, член исполнительного комитета, он фактически был диктатором. Все лежало на нем. Не имея понятия о военной науке, он создавал армию для борьбы с внешним врагом; не зная иностранных дел, направлял внешнюю политику Франции; нисколько не интересуясь законами, был министром юстиции. Он принимал на себя ответственность за все: за судьбы родины, за безопасность Парижа, за погромы и резню роялистов. Его чудовищный голос охрип от вдохновенно-бешеных речей в Собрании, глаза налились кровью от волнения и бессонных ночей. Дантон был почти безумен. По улицам Парижа уже лилась кровь сентябрьских убийств.

Талейран знал Дантона, как он знал всех, и был с ним,

как со всеми, в очень хороших отношениях. Хотя выдача паспортов формально зависела не от Дантона, Талейран отправился к нему, а не к Лебрену и не к Ролану; он в серьезных случаях всегда предпочитал иметь дело с умными людьми, кто бы они ни были. Народный трибун принял его в здании министерства на Place Vendôme. Талейран очень хорошо знал, что в тюрьмах режут без суда заключенных,— если не по наущению (как говорила молва), то с попустительства всемогущего министра юстиции. Среди людей, которых резали в тюрьмах, у бывшего епископа Отенского были друзья и родные. Это нисколько ему не помешало ласково, с равнодушно-приятной улыбкой пожать руку Дантона. Заботливо осведомившись о здоровье министра, он вкратце изложил ему свое дело: Талейран находил необходимым ввести во Франции единообразную систему мер и весов — и желал получить для этой цели командировку в Англию, чтобы столковаться о мерах и весах с британскими учеными и правительственными кругами. Ввиду крайней важности вопроса он просил выдать ему немедленно заграничный паспорт.

Когда бывший епископ заговорил об единообразной системе мер и весов и о крайней срочности этого вопроса, Дантон в первую минуту подумал, что знаменитый циник издевается, и выкатил на него свои налитые кровью маленькие глаза. Но лицо епископа Отенского было совершенно невозмутимо: на нем играла приятно-равнодушная усмешка. Дантон понял... С минуту оба человека в упор смотрели друг на друга. Их взгляды говорили многое. «Бежишь? Неужели настало время?» — спрашивали переливающиеся кровью глаза Дантона. «Да, я бегу, бегу надолго, бегу, спасая свою жизнь, а ты останешься и погибнешь!» — отвечала усмешка епископа. Дантон верил в политическую проницательность Талейрана, да и сам смутно предчувствовал свою неизбежную близкую гибель. У него была слабость к очень умным людям. Он подумал, что этот бесчестный, бесстрастный, дальновидный человек еще, пожалуй, пригодится Франции. Дантон вытер лоб платком и отдал распоряжение о выдаче Талейрану заграничного паспорта.

Так очутился в Лондоне бывший епископ Отенский. На эшафоте пал французский король, начинался небывалый террор,— Талейран почти равнодушно узнавал из газет о страшных событиях Революции. Личные заботы его сводились к тому, чтобы продержаться до своего времени. Денег ему удалось вывезти лишь очень немного; он все боль-

ше приходил к мысли, что рано или поздно придется продать книги. За его лондонскую библиотеку букинисты предлагали семьсот пятьдесят фунтов, по тому времени немалую сумму. Но книги были последнее, что еще любил Талейран. В душе епископа Отенского, холодной, сухой и мрачной от природы, образовалась совершенная пустота после всего того, что он видел, наблюдая вблизи кухню монархии и революции. Он оставался по-прежнему учтивейшим и любезнейшим человеком; учтивейшие и любезнейшие люди в большинстве случаев выходят из совершенных мизантропов.

Талейран надел плащ, вдвинул под рукава манжеты рубашки, чтобы их не покрыла немедленно лондонская угольная копоть, погасил лампу и вышел на Woodstock-street. Тратиться на извозчика не приходилось. Бывший епископ пошел пешком, с ненавистью посматривая на обгонявших его в экипажах богатых англичан и от всей души желая им попасть в лапы к якобинцам.

XIV

В качестве своего человека, каким он стал за несколько дней в доме графа Воронцова, Штааль явился на раут чуть ли не в восемь часов вечера. Распоряжавшийся приемом Лизакевич, большой, хоть отставной и несколько разочарованный, знаток требований светского этикета, критически осмотрел юношу и снисходительно сказал «all right»; однако рекомендовал впредь надевать к фраку галстук, доходящий лишь до подбородка, а не до ушей. Штааль сослался было на авторитет князя Бориса Голицына. Но на это разочарованный советник с презрением заметил, что князь Голицын — шарлатан, которого только в Петербурге могли произвести в законодатели моды; в Европе же моду предписывают принц Уэлльский и граф д'Артуа — и больше никто. С Лизакевичем вступил в спор секретарь миссии Кривцов, чрезвычайно живой юноша, раз навсегда усвоивший себе беззаботно-веселое ироническое отношение ко всему на свете. Этот тон очень шел дипломату и способствовал карьере Кривцова. Молодой секретарь, неизменно во всем возражавший Лизакевичу, доказывал, что граф д'Артуа больше не является законодателем в вопросах моды, ибо, во-первых, Бурбоны потеряли престол, а во-вторых, панталоны sans un pli [1], которые пытался ввести

[1] Без единой морщинки *(франц.)*.

французский принц, скандально провалились. Лизакевич не удостоил Кривцова ответа по существу.

— На кого вы лапу поднимаете? — сказал он с презрением, смеривая молодого человека взглядом.— Вот тоже отыскался знаток... Вы бы сначала выучились приглашения писать как следует. Этот юнец,— обратился он к Шталю,— младшему сыну графа написал на конверте «лорд». А я десять раз объяснял: только младшие сыновья герцогов и маркизов имеют courtesy title [1] лорда; а дети графов, виконтов и баронов все honourable, только honourable [2]. Ну, что там о нас подумают? Ясно, скажут: дикари...

Советник Лизакевич, старый, совершенно разоренный карточной игрой и чьим-то банкротством дипломат, один во всей миссии знал сложную науку английских приглашений и, не заглядывая в справочник, мог сказать полные титулы — настоящие и courtesy titles — всех лордов королевства, равно как их старших и младших сыновей.

— Виноват, ошибся, Василий Григорьевич,— сказал как будто насмешливо, но и несколько досадуя на себя за промах, Кривцов.— Англичане и не то делают. Семена Романовича называют «граф Романович Воронцов»,— я сам читал в газетах.

Послышался смех. Лизакевич недовольно оглянулся на Штааля и на секретарей.

— Смейтесь, смейтесь над англичанами,— проговорил он.— У нас газеты пишут «сэр Грей» вместо «сэр Чарльз Грей», и мы не смеемся, хоть это так же неграмотно, как «Романович Воронцов». Только англичанам простительнее, потому что Россия — дикая страна и ее обычаи знать необязательно. Ну, да что с вами говорить!.. Лорд АуклеНД наверное будет? — обратился он с вопросом к другому секретарю.

— Приедет с дочерью,— ответил тот.

— Кто такой? — тихо спросил Штааль Кривцова.

— Лорд АуклеНД,— строго повторил услышавший Лизакевич.— Виллиам Эден, первый барон АуклеНД, посланник в Нидерландах. Только что прибыл в Лондон на несколько дней...

— Дело не в лорде, а в евоной дочери,— пояснил Шталю Кривцов.— Очень батюшка хотят выдать девочку за Питта и уж кстати, по случаю брака, получить должность хранителя печати. А вот Питт не желает, говорят, ни же-

[1] Почетный титул *(англ.)*.
[2] Высокородный *(англ.)*.

ниться на мисс Элеоноре, ни давать the privy seal[1] ее отцу. Я держал пари, что он не женится. На Питте тщетно пробовали свои чары первые красавицы Европы...

Секретари миссии вступили в спор о генеалогии лорда Аукленда; затем перешли на генеалогические вопросы вообще. Кривцов доказывал, что Кривцовы, Еропкины, Татищевы, Дмитриевы-Мамоновы, Ляпуновы — те же Рюриковичи, хоть и утратили княжеский титул. Другой служащий миссии, Назаревский, категорически это отрицал; по его мнению, одни только сохранившиеся княжеские фамилии представляли собой истинное потомство Рюрика. Штааль с горечью слушал спор; он ощущал в таких случаях особенно болезненно собственное темное происхождение.

Ровно в десять часов вечера Семен Романович хмуро вышел из своего кабинета. Лизакевич немедленно его поймал и поделился с ним каким-то сомнением, касающимся приема первого министра. Воронцов, у которого болела голова, досадливо отмахнулся.

— Сажайте Питта куда хотите,— сказал он.— Или еще лучше, пусть он садится сам, без ваших указаний. Да ведь ужина нынче не будет? И пожалуйста, не волнуйтесь: велика невидаль Питт. Кстати, он предупредил меня, что приедет очень поздно...

И, услышав снизу удар молотка, Семен Романович со вздохом направился на свой пост — на верхнюю площадку парадной лестницы, у входа в первую гостиную. Там он встречал приглашенных, обольстительно улыбаясь каждому входящему, говоря всем самые любезные вещи и затем сдавая гостей Лизакевичу, исполнявшему роль хозяйки.

Одним из первых приехал на раут Берк. Для него Семен Романович не мог сразу придумать ничего приятного. Он знал, что сделать особенное удовольствие Берку можно было, только выбранив Фокса или французскую революцию. Но ругать Фокса Воронцов не хотел, ибо очень уважал вождя оппозиции; а начинать с дверей салона разговор о французской революции находил неудобным: Семен Романович знал к тому же, что вечер пройдет все равно в разговорах о французской революции. Он поэтому ограничился замечанием о необыкновенной свежести лица и цветущем виде гостя. Шестидесятитрехлетний Берк приятно улыбнулся, тряхнул букольками и проследовал, переваливаясь, в гостиную.

Берк в то время находился на крайней вершине славы.

---

[1] Малая государственная печать *(англ.)*.

Его книга «Reflexions on the Revolution in France», выдержавшая одиннадцать изданий в течение года, сделала его первым теоретиком, вдохновителем и даже практическим вождем антиреволюционного движения во всем мире. Русская императрица, польский король, граф д'Артуа искали его дружбы и просили у него советов. Премьер вел с ним переговоры о пожаловании ему звания лорда и большой денежной пенсии. Берку не хотелось покидать Палату Общин; тем не менее он почти решил принять предложение Питта и уже наметил для себя, по местонахождению своего поместья, титул лорда Биконсфилда. Он даже часто мысленно представлял себе это звучное имя на обложке полного собрания своих сочинений, о котором подумывал, как всякий писатель: в библиотеках образованных англичан должны были занять почетное место красивые, отпечатанные на толстой гладкой бумаге томы in octavo (он любил этот формат) с золотой надписью на темных кожаных корешках: Works of lord Beaconsfield [1].

Разговор в салоне оживлялся медленно, постепенно и равномерно. Кто-то из англичан осведомился о здоровье жены Берка, которая недавно была очень больна. Оказалось, что госпожа Берк поправляется: морские купанья чрезвычайно ей помогли. Затем Лизакевич спросил о здоровье его величества короля. Этот вопрос очень удивил забившегося в угол Штааля. Георг III не так давно сошел с ума,— как говорили, от дурной болезни; правда, он затем поправился, но были основания ожидать в близком будущем его окончательного безумия. Штааль предполагал, таким образом, что эта тема в английском обществе является совершенно запретной. К большому его удивлению, Берк беззаботно ответил, что король чувствует себя превосходно. Лица Лизакевича и всех гостей немедленно изобразили чрезвычайную радость. В свою очередь, кто-то из англичан счел долгом ответной вежливости справиться о здоровье ее величества российской императрицы. При упоминании имени Екатерины дамы целомудренно опустили заблестевшие любопытством глаза, а шестнадцатилетняя мисс Элеонора Эден, которая и без того не могла пожаловаться на бледность, от стыда залилась багровым румянцем. Лизакевич заверил гостей, что российская императрица совершенно здорова, и в доказательство сослался на Штааля, имевшего недавно счастье видеть ее величество. Молодой человек заерзал у себя в углу, на пуфе, под взорами гостей

[1] «Сочинения лорда Биконсфилда» *(англ.)*.

и пробормотал какую-то не совсем понятную стилистически и фонетически фразу, в которую входили: «mais oui», «indeed», «of course», «très bien» и «I am sure» [1].

Лизакевич, временно руководивший разговором впредь до его окончательного оживления, немедленно выдвинул вопрос о погоде. Лица англичан оживились, ибо погода стояла прекрасная, а fine weather в веселой Англии является редким общенародным праздником. По вопросу о погоде высказались почти все гости. Когда же Лизакевич объявил, что к одиннадцати часам приедет мистер Питт, известие это, хотя и предвиденное, еще усилило оживление в салоне. Мисс Элеонора сделала над собой усилие, чтобы опять не зардеться румянцем от радости, и зарделась вдвое хуже. Разговор мгновенно уцепился за Питта и покатился дальше гладко, изредка ненадолго прерываясь при появлении новых лиц.

Один из гостей, пивовар с меднокрасным лицом и с шестью перстнями на толстых коротких пальцах, похвалил мудрую экономическую политику Питта, который за девять лет своего правления почти удвоил вывоз британских товаров. В связи с этим заговорили об успехе военного займа в $4^1/_2$ миллиона, только что устроенного первым министром. Пивовар с похвалой отметил также то обстоятельство, что Питт обновил состав Палаты Лордов, создав более полусотни новых пэров. Но эта сторона деятельности премьера не вызвала всеобщего одобрения; по крайней мере, один из присутствующих, очень древний маркиз с очень древним именем, сухо заметил, что Питт готов каждому богатому человеку пожаловать звание пэра.

— He gives a peerage to any decent possessor of ten thousand a year [2],— иронически поглядывая на пивовара, сказал древний маркиз.

Так как среди гостей было человек пять новопожалованных питтовских пэров и сам пивовар был ближайшим кандидатом на титул, то Лизакевич поспешил переменить тему разговора и спросил Берка о новостях на бельгийском театре военных действий. Новости были хорошие: только что пришло безмерно раздутое сообщение принца Кобургского об его успехах. Но известия о чужой победе редко приводят в восторг людей, и энтузиазма новости у англичан не возбуждали.

---

[1] «В самом деле», «действительно», «конечно», «очень хорошо», «я уверен» *(англ., франц.)*.

[2] Он даст титул пэра каждому приличному обладателю десяти тысяч фунтов годового дохода *(англ.)*.

В салон вошли два последних гостя — Талейран и Пристлей; они столкнулись у входа (оба пришли пешком), и пастор чрезвычайно обрадовался бывшему епископу: им приходилось встречаться в доме лорда Лансдоуна. Пристлей еще внизу у дверей заговорил, сильно заикаясь, с Талейраном о соццинианском учении. Он очень любил богословские диспуты и не мог упустить случая побеседовать со знатоком, каким является бывший епископ Отенский.

— Я остаюсь при своем мнении,— горячо сказал Пристлей, продолжая разговор, начатый шесть недель тому назад.— Ваша позиция в вопросе о первородном грехе неправильна. Я вам это сегодня докажу совершенно неоспоримо...

Он рассеянно пожал руку Воронцова и тотчас от него отвернулся.

— Кроме того, я убедился в том, что Соццини непричастен к насилию над Францем Давидом. Это все было последствие интриг пастора Мелия. Разумеется, король Стефан Баторий поступил в деле Франца Давида совершенно деспотически и незаконно. Обычный акт правительственного произвола...

Талейрану вообще было совершенно все равно, о чем ни говорить: подготовка, полученная им в юности, и громадная память позволяли ему так же легко вести теологические споры, как всякие другие: в другой обстановке он охотно поговорил бы и о Соццини, и о первородном грехе, и о действиях короля Стефана Батория. Но он не любил попадать в обществе в смешное положение и потому усиленно старался отделаться от разговорчивого богослова, которого считал вдобавок не совсем здоровым умственно, хотя и гениальных способностей, человеком.

Воронцов, с трудом удерживаясь от смеха, прошел вслед за гостями в салон; его хозяйская роль на площадке у входа кончилась; теперь можно было отдохнуть и насладиться предстоящим зрелищем. Семен Романович с особенной отчетливостью громко назвал имена вновь вошедших гостей.

Встречи с Талейраном в доме Воронцова ждало большинство англичан. Но появление Пристлея было совершенно непредвиденным и произвело неприятную сенсацию. Талейран очень спокойно, быстро и незаметно рассмотрел всех гостей и выбрал себе место рядом с шестнадцатилетней красавицей мисс Элеонорой Эден. Пристлей сел по другую сторону Талейрана, сожалея о прерванном разговоре.

Пастор Пристлей имел в Англии большую, но весьма неблагоприятную известность. Он по рождению принадле-

жал к пресвитерианской церкви, но должен был выйти из ее лона, так как на консисториальном экзамене заявил ко всеобщему скандалу, что не испытывает ни малейших угрызений совести в связи с первородным грехом Адама. Затем его увлекло учение теолога Армензена, и он стал горячим противником кальвиновской доктрины предопределения. Еще несколько позже из арминианцев Пристлей сделался арианцем — и тогда враги Ария, греческие епископы Александр и Афанасий, жившие в четвертом столетии, стали для него как бы личными врагами. За арианством пришло социанство, но и к нему пастор придумал целый ряд существенных поправок. Джозеф Пристлей по натуре не мог принадлежать к вере большинства окружающих его людей. Смелость мысли стала для этого искреннего человека чем-то вроде привычного спорта, которым он неутомимо пугал современников. Из отвращения к английским политическим деятелям того времени он стал проповедовать революционные взгляды; в якобинской Франции он, вероятно, объявил бы себя контрреволюционером. По крайней доброте характера, Пристлей практически не мог себе представить террора — и даже плохо верил, что якобинцы применяют террор; это казалось ему выдумкой французских эмигрантов. Отдельных террористических действий он отрицать не мог; но на расстоянии нескольких сот верст они его не так волновали; в своем присутствии он, наверное, не позволил бы раздавить комара. Обладая огромной ученостью, он писал одну за другой богословские и политические работы, которых никто не читал. В свободное же время, больше для развлечения, производил при помощи домашних приборов химические опыты, причем сделал несколько величайших открытий в истории химии: открыл кислород, азот, сероводород, аммиак, соляную кислоту. Но этим опытам он придавал сравнительно мало значения. Мысли о первородном грехе и об учении якобинцев занимали его гораздо больше. За свои революционные взгляды он получил право французского гражданства и был избран в Конвент людьми, которые не прочли ни одной написанной им строчки. Зато в Англии на его долю выпало много гонений: он должен был эмигрировать в Америку, где и умер, забыв о своих химических работах и размышляя о предопределении и о первородном грехе.

Появление Талейрана было именно тем моментом, которого ждал Берк, чтобы начать политическую беседу. Он подтянул живот, слегка переместив его на коленях, наклонился в кресле всем туловищем вперед (в отличие от мно-

гих ораторов, он умел говорить сидя) и, придав наклонением головы и плеч силу и выразительность жесту, заговорил о войне с Францией.

XV

Берк учился дикции у знаменитого актера Гаррика, очень умело скандировал слова, искусно модулировал голос и *подавал* как следует самую обыкновенную фразу. Но оттого ли, что он был стар и у него во рту не хватало зубов, или потому, что при модуляциях старческого голоса у Берка как-то забавно шевелился жирный двойной подбородок, Штаалю стало жаль говорившего. Обращаясь преимущественно к Воронцову, но часто, по привычке опытного оратора, обводя взглядом всю аудиторию, временами останавливая взгляд на Талейране, Берк доказывал, что французские революционеры с самого начала поставили себе задачей насильственное ниспровержение монархического строя во всех странах мира и устройство международной революции. Он ссылался на якобинскую пропаганду в рядах английских войск и утверждал, будто французский агент Шовелен щедро поддерживал деньгами революционные кружки в Лондоне и Эдинбурге. Особенно же возмущал Берка декрет Конвента от 19 ноября 1792 г., содержавший в себе, по его мнению, прямой нескрываемый призыв к анархии, обращенный ко всем народам мира. На этом месте своего монолога Берк поднял голос на две ноты и, наклонившись в сторону Талейрана, опустив живот на правое колено, проскандировал:

— Yes, it is the formal declaration of a design to encourage disorder and revolt in all countries [1].

Подав слушателям эти слова, он сделал небольшую паузу, как привык делать в соответствующих случаях на парламентской трибуне, точно ожидая возгласов «hear, hear» [2] и возражений с мест. Но возражений с мест не последовало, ибо никто из гостей, кроме Талейрана, не знал декрета Конвента от 19 ноября 1792 года. Талейран же весь был поглощен мысленным раздеванием мисс Элеоноры Эден. Берк привычным беззвучным движением горла прочистил голос и продолжал, сделав искусную модуляцию, естественно понизившую его тон на те же две ноты. Он коснулся основных принципов французской революции и под-

[1] Да, это форменное заявление о намерении поощрять беспорядок и бунт во всех странах *(англ.)*.

[2] «Слушайте, слушайте» *(англ.)*.

берг их резкой, сжатой и сильной критике, черпая аргументы из богатого запаса идей, собранного в «Reflexions on the Revolution in France» и «Appeal from the New to the Old Whigs» [1]. Берк требовал беспощадной войны — не с Францией, а с якобинцами. Против французского народа он, собственно, ничего не имел (тем более что главными, хотя и тайными, виновниками революции считал евреев, желающих нажиться на мировом развале).

— Мы воюем не с нацией, а с принципом,— закончил Берк мрачно.— Или якобинцы нас съедят, или мы съедим якобинцев. Революция в одной Франции — это абсурд, революция во всем мире — это гибель. Надо спасать цивилизацию!

Речь Берка не произвела должного впечатления: он очевидно был не в ударе. Меднокрасный кандидат в пэры неожиданно осмелел и заметил, что как ни умно и ни глубоко все сказанное знаменитым государственным деятелем, но торговые люди не совсем понимают цель войны с Францией. Уже и так в течение одного месяца у нас было больше ста банкротств.

— Многие в Сити спрашивают,— добавил толстяк, показывая неодобрительной интонацией, что он все-таки не согласен с мнением многих в Сити,— многие спрашивают, каковы, собственно, могут быть выгоды от этой войны...

Берк привскочил на кресле.

— Выгоды! — вскрикнул он, затрясшись подбородком и забыв промодулировать голос.— They ask what they are to get by this war! the wretches! they get their existence!.. [2]

Древний маркиз изобразил на лице восторг — впрочем, больше из антипатии к меднокрасному пивовару, который сильно оробел от гневного окрика Берка.

В эту минуту в душе и во всем физическом облике пастора Пристлея произошел взрыв. Он и прежде во время монолога Берка ерзал на стуле, отрывисто бросая вполголоса какие-то отдельные слова. Пристлей ненавидел автора «Размышлений о французской революции» (он написал ответ на эту книгу). Когда Берк заговорил об якобинском золоте, идущем на пропаганду в Лондоне и Эдинбурге, пастор нагнулся к уху Талейрана и, забрызгав его слюной, сообщил ему, что этот контрреволюционный господин давно подкуплен Питтом и получает от него ежемесячно гро-

[1] «Размышления о французской революции» и «Обращение Новых вигов к Старым» *(англ.)*.

[2] Они спрашивают, что им даст эта война! Жалкие люди! Эта война спасет им жизнь! *(англ.)*

мадные суммы. «Вот куда идут народные деньги!» — заикаясь, прошептал он возмущенно. К удивлению Пристлея, Талейран принял его сообщение весьма хладнокровно и ничем не выразил негодования. Епископ Отенский в это время мысленно сравнивал Элеонору Эден с одной из своих последних любовниц, хорошенькой парижской артисткой. Это ему напомнило те времена, когда у него водились деньги, и привело его в дурное настроение. Он с досадой отвернулся от Пристлея: революционный пастор надоел ему чрезвычайно. Затем Пристлей еще долго крепился, но последнее, нервное и грубоватое, восклицание Берка, по-видимому, совершенно пересилило терпение пастора. Он вскочил, зашагал по комнате и, резко жестикулируя, стал возражать Берку. Возражений его никто не мог понять, ибо в них политические аргументы (очень серьезные и дельные) перемешивались с химией, ересью Ария и социнианской доктриной. Кроме того, говорил Пристлей крайне путанно, нервно, невнятно и от волнения заикался еще сильнее обыкновенного. Обращался он преимущественно к Талейрану и потому отдельные фразы повторял на языке, казавшемся ему французским. Если же не находил нужного французского слова, то заменял его греческим, еврейским или халдейским, чтобы быть лучше понятым слушателями.

По лицам переглядывавшихся гостей было совершенно ясно каждому, вплоть до неопытного Штааля, что этот бегающий по гостиной и жестикулирующий пастор говорит неприличные вещи и всем своим поведением учиняет скандал в чужом доме. Только Семен Романович был совершенно доволен и наслаждался зрелищем спора. Графу казалось, что эти красные, разъяренные старики, Берк и Пристлей, при всем различии взглядов и внешности, во многом и даже в основном чрезвычайно похожи друг на друга: похожи умом, ученостью, задорным темпераментом, гордостью, желанием удивить людей и особенно каким-то *самодовольством смелой мысли* и влюбленностью в собственную *беспощадную искренность*.

Берк презрительно улыбался в сознании своего огромного умственного и социального превосходства над невоспитанным пастором в потертом костюме. Отвечать Пристлею было, собственно, ниже его достоинства. Но когда пастор наконец оборвал скандальную речь, Берк почувствовал в устремившихся на него взорах гостей полную уверенность в том, что якобинцу будет немедленно дан надлежащий суровый урок. Он не нашел возможным разочаровать общество и кратко ответил Пристлею, уничтожая его не

столько содержанием своих слов (отвечать было не на что), сколько спокойной вежливостью формы, холодным презрением тона, уверенными модуляциями голоса, чеканной речью и правильным построением фраз; чтобы оттенить контраст с путаными словами Пристлея, он придал своему ответу особенно изысканную, гладкую литературную форму. Кончая, Берк холодно выразил изумление по тому поводу, что некоторые легкомысленные или мало осведомленные люди находят возможным сравнивать презренную и отвратительную французскую революцию со славной английской революцией 1688 года, заслуживающей любви и уважения каждого разумного человека. Эту последнюю фразу он демонстративно повторил по-французски. Немедленно все глаза устремились на Талейрана и выразили совершенно ясно: «Уж если ты и теперь ничего не скажешь, то, значит, противник тебе не под силу; да и действительно сказать тебе нечего».

Талейрану очень не хотелось говорить. За три года трибуны, народных собраний и митингов он потерял интерес ко всяким, даже самым лучшим политическим речам, знал вперед почти наизусть все, что можно сказать в защиту и в опровержение любого политического взгляда, и с одинаковым равнодушием выслушивал какие угодно речи. Но он знал, что его зовут в гости для того, чтобы он говорил, и не хотел платить неблагодарностью хозяевам. Кроме того, его раздражало самодовольство, появившееся на лице Берка после победоносного спора с Пристлеем. Талейран мысленно вздохнул, послал к черту всех англичан — и стал возражать Берку.

Он заговорил по-французски, попросив в этом извинения у гостей, которые холодно наклонили головы: в ту пору даже англичане знали французский язык, и война с Францией нигде не сопровождалась его бойкотом. Штааль, не вполне свободно говоривший по-английски,— он отлично понимал иностранцев, изъяснявшихся на этом языке, но не всегда понимал англичан,— встрепенулся, услышав музыкальные звуки великолепной французской речи. Ему сразу стала ясна разница между оратором и causeur'ом. Берк был оратор, Талейран был causeur [1].

Бывший епископ Отенский начал с указания на то, что людям, не видавшим своими глазами революции, очень трудно справедливо о ней судить. Только поэтому он и решается противопоставить эрудиции, глубокомыслию и та-

---

[1] Человек, владеющий искусством разговора (*франц.*).

ланту знаменитого политического мыслителя Англии — Талейран учтиво наклонил голову в сторону Берка — свое скромное суждение очевидца, наблюдавшего события вблизи: — Car, oui, je peux dire que j'ai vu la révolution de près...

— Même de trop près [1],— не удержался хоть и смягченный немного комплиментом Берк, стреляя буквой «r» в словах «trop» и «près». Воронцов недовольно на него оглянулся. Но на Талейрана не подействовал неучтивый намек.

— Да, я наблюдал вблизи это великое историческое представление,— спокойно продолжал бывший епископ.— Я видел также пролог: последние годы монархического строя. Мы тогда все играли в оппозицию... Ведь это случается и с англичанами,— вставил он, ласково посмотрев на Берка.— Собственно, никогда не знаешь, какая страшная революция может выйти из самой мирной, лояльной оппозиции: оппозицию от революции отделяет только один шаг... На свете не существует любимых народом правительств,— ведь и Англия не вся в восторге от политики великого государственного деятеля, каким, бесспорно является мистер Питт. Поэтому почти все революции вначале бывают непопулярны. Они вновь становятся популярными двадцать пять лет после их конца. Историки, конечно, будут искать людей, которым можно было бы вменить в вину или в заслугу устройство Французской революции. Напрасный труд! Говорю как очевидец: никто не устраивал революции и никто в ней не виновен. Или если хотите, виновны все,— это одно и то же.

— Этим фатализмом *теперь* легко оправдывать кого угодно,— резко заметил Берк.

— Да, можно оправдывать и особенно можно обвинять кого угодно,— повторил Талейран.— Никто не прав. Все виноваты. Никто из людей, которых я знал (а я знал почти всех), не может считать себя совершенно невиновным. И право, было бы лучше, если б историки не искали глубокого смысла — положительного или отрицательного, все равно — в ужасных событиях Французской революции. Никакого урока нельзя извлечь из смены стихийных, бесцельных действий, порожденных разнузданными страстями,— в первую очередь человеческим тщеславием. Французскую революцию сделало тщеславие.

И оживившись, от найденного им определения, Талейран стал опровергать доводы Берка. Его собственная, со-

---

[1] Да, я могу сказать, что видел революцию близко...— Даже слишком близко *(франц.)*.

вершенно искренняя, контрреволюционность была доказана небольшим вводным словом. Преодолев таким образом предубеждение слушателей (как это невольно стараются делать на трибуне даже искренние люди, чувствуя враждебность аудитории), он коснулся самого понятия революции. Бывший епископ доказывал, что великое несчастье, обрушившееся на Францию, это прежде всего — факт и что разумная политика всегда считается с фактами. По своей обстановке, по методам, по быту Французская революция не хуже и не лучше Английской. В этом отношении все революции очень похожи друг на друга и равноценны. Но Французская революция не только собрание фактов, она еще и целая книга идей. В книге могут быть дурные и прекрасные страницы. Одинаково бессмысленно — все принимать в революции, как это делает, например, Робеспьер, и все отвергать в ней, как это делает... делают некоторые другие (он приятно улыбнулся Берку). Зачем ставить себя в смешное положение? Рыцарь Печального Образа принимал ветряные мельницы за рыцарей. Это, конечно, было нехорошо с его стороны. Но теперь его заблуждение разъяснено. Зачем впадать в другое заблуждение? Зачем отрицать существование самих ветряных мельниц? Зачем подставлять головы под удары крыльев или пытаться остановить эти крылья тростью? Пройдет ветер, станет и мельница.

— Да, разумеется, все сделает слепая судьба,— сказал саркастически Берк.

Он очень злобно и резко ответил Талейрану. В словах right honourable gentleman'а[1] он усматривал чрезвычайно опасную идею исторического фатализма. Нет ничего легче, чем все приписывать слепому ходу событий. И бесспорно, нет ничего удобнее этого для плохого политического деятеля: можно совершать какие угодно глупости и какие угодно гадости, а затем все взвалить на обстоятельства, на судьбу или на неумолимые законы истории. Настоящий государственный человек не унижается до подобных аргументов. Он борется с ходом событий или принимает за него на себя всю ответственность. Разумеется, при некоторой оригинальности мысли можно объявить кого угодно виноватым в революции. Но он, Берк, не обладая оригинальностью мысли right honourable gentleman'а, думает, что в революции виноваты революционеры. Эти господа глубокомысленно возлагают ответственность за все произошедшее на гнилой старый строй, на зарезанного короля Людо-

---

[1] Достопочтенный джентльмен *(англ.)*.

вика XVI и на его тоже понемногу убиваемых министров. Жаль, что господа революционеры не склонны применять той же логики к самим себе. Если им на смену явится какое-либо жестокое, деспотическое правительство, в десять раз более жестокое и более деспотическое, чем прежнее королевское (а дело, по-видимому, идет именно к этому), то виноваты будут опять-таки не они, а будущий самодержец или, еще лучше, тот же зарезанный король. Французские революционеры проявили огромный талант в деле разрушения,— он, Берк, отдает им полную справедливость. Но создать они ничего не умеют; они лишь творят во всем мире культ разрушения,— и это, пожалуй, самая скверная и самая вредная часть их дела. Тот ореол, который может создаться вокруг Французской революции, гораздо опаснее для человечества, чем она сама: революция кончится, ореол останется. И, видит Бог, как ни отвратительны сами по себе Марат и Робеспьер, их подражатели в потомстве будут неизмеримо хуже: эти будут не только мерзавцы, но вдобавок еще и дураки. Он, Берк, считает себя обязанным всячески бороться с зарождающимся культом революции, ибо он ненавидит всякое разрушение.

— На месте разрушенного великим землетрясением здания мы выстроим новое, которое будет, вероятно, немного лучше,— произнес Талейран, разводя руками и показывая интонацией, что этой фразой кончает надоевший гостям и, в сущности, бесполезный разговор.

— А потому слава великому землетрясению! — сказал Берк, злобно усмехаясь.— Vive le tremblement de terre!...

XVI

В эту минуту внизу послышался громкий, властный удар молотка во входную дверь, затем резкий, продолжительный звонок швейцара по лестнице, и в ту же минуту в гостиную мелкими шажками на цыпочках поспешно вошел Назаревский, дежуривший внизу в передней. Проглатывая от волнения слюну, он доложил графу, что приехал первый министр. Семен Романович, разговаривавший с одним из менее важных гостей, недовольно покосился на взволнованное лицо молодого человека, докончил фразу и, попросив извинения у собеседника, вышел на площадку парадной лестницы, где в начале приема встречал всех приглашенных. Для Воронцова в его доме не было первых министров, а были только равные в правах гости; он встречал

главу британского правительства на том самом месте и совершенно так же, как пастора Пристлея.

По лестнице, в сопровождении суетящихся людей, шагая через две ступеньки и оправляя на ходу жабо, поднимался Виллиам Питт.

— Cher ami [1],— приветливо проговорил Воронцов, крепко пожимая руку премьера.

— Enchanté de vous voir, mon ami [2],— сказал одновременно Питт, чуть резнув слух Семена Романовича словами «mon ami», которые звучат фамильярнее, чем безличное «mon cher ami», и даже несколько покровительственно. Но Питт, хорошо для англичанина говоривший по-французски, не знал тонкостей и оттенков этого языка.

Они прошли в салон. Гости-мужчины, не исключая стариков, встали при входе тридцатипятилетнего министра, и даже некоторые из дам почувствовали желание приподняться с мест. Мисс Элеонора Эден так покраснела, что ее поведение было бы найдено неприличным, если б все внимание приглашенных не было сосредоточено на Питте.

Штааль впился глазами в британского премьера, которого называли самым могущественным человеком на земле. Питт не был красив, но внешность его сразу останавливала внимание. Он был огромного роста даже для англичанина и держался так неприятно-прямо, что при тонкой своей фигуре казался затянутым в корсет. Штааля поразили его сверкающие глаза — таких блестящих глаз юноше никогда не приходилось видеть — и красивое сочетание преждевременно поседевших волос с тогда еще молодым и не пострадавшим от алкоголя лицом. От углов глаз Питта, от тонких ноздрей большого, неправильной формы носа и от крепко сжатых губ спускались наискось в обе стороны три параллельные линии морщин. Они придавали особенно суровое и надменное выражение его и без того суровому и надменному облику.

Питт обошел гостей, обмениваясь быстрыми короткими рукопожатиями со всеми. Семен Романович представлял ему незнакомых. Премьер, молча улыбаясь, остановился перед мисс Элеонорой Эден,— зоркий взор Воронцова прочел в улыбке Питта некоторое, вообще ему совершенно не свойственное, смущение — преувеличенно крепко пожал руку лорда Аукленда, на мгновение впился своими блестящими глазами в Талейрана и особенно улыбнулся, подходя к

[1] Дорогой друг (*франц.*).
[2] Рад вас видеть, мой друг (*франц.*).

Берку, точно показывая улыбкой, что этого гостя никак не приходится с ним знакомить. Всех остальных находившихся в салоне людей Питт просто не заметил; он мысленно принял решение оставаться здесь не более часа: в течение этого времени рассчитывал сказать то, что ему казалось полезным, и улучить минуту для отдельного, конфиденциального разговора с графом Воронцовым.

Питт всего лишь полчаса тому назад оставил свой рабочий кабинет на Downing Street,— ему туда приносили вечерний костюм. Ровно в половине одиннадцатого он закончил дела, подписал последний десяток бумаг, отпустил вздохнувших с облегчением секретарей и быстро, энергичной походкой спустился вниз к выходу. Слуги склоня голову подали ему пальто и трость. Гиганты-полисмены вытянулись и замерли при выходе первого министра. Какие-то люди — сыщики, оберегавшие его от возможных покушений со стороны якобинцев,— куда-то рассыпались по улице, и странно одетый кучер мгновенно подал к подъезду пару огромных гнедых лошадей. Садясь в карету, Питт отдал распоряжение ехать на Harley Street, где находилась русская миссия, более долгим, кружным путем. Он любил на быстром ходу коляски обдумывать важные дела.

Первый министр Великобритании был, подобно всем первым министрам, так беспрерывно занят в течение целого дня приемами, разговорами и чисто механическими делами, что для обдумывания бесчисленных вопросов, поступавших на его разрешение, у него совершенно не оставалось времени. Питт почти не имел возможности готовиться по-настоящему даже к самым важным парламентским речам и чаще всего, запасшись несколькими основными идеями, полагался в остальном на свою находчивость и на свое ораторское дарование, размышляя и решая вопросы на трибуне, в процессе речи. Для выработки же основных идей, от которых зависели ход британской политики и, стало быть, судьбы мира, у первого министра оставались небольшие обрывки времени — между аудиенциями, в карете, да еще в постели утром: ложась очень поздно, он вставал лишь к одиннадцати часам.

В карете Питт откинулся на спинку сиденья утомленной головой, закрыл глаза и полежал так несколько минут,— он только в одиночестве позволял своему лицу выражать усталость. Когда тело его приспособилось к быстрому ходу высокой покойной кареты, он сделал над собой небольшое усилие и сосредоточил мысли. На мгновение Питта заняли

его собственные личные дела, в первую очередь денежные: первый министр был много должен, хотя жил довольно скромно и не имел дорогостоящих привычек; расстройство его дел происходило главным образом оттого, что у него не было четверти часа в день, нужной для приведения их в порядок. Так и теперь, попытавшись мысленно счесть свои доходы и долги, Питт немедленно отложил эти подсчеты до другого раза; он успокоил себя тем соображением, что при его жизни кредиторы подождут, а после его смерти Англия сочтет для себя честью заплатить *долги Питта*. Затем перевел мысли на другое неприятное личное дело,— на мисс Элеонору Эден. Здесь все оказалось сразу совершенно ясным: нужно было поделикатнее, по возможности не давая поводов для нехороших разговоров, отвязаться от красавицы-девушки, которой он как-то сказал несколько больше любезностей, чем следовало. Что-то, однако, в этой истории с мисс Элеонорой было не совсем хорошо и не вполне отвечало его понятиям совершенного джентльмена. Параллельные линии морщин Питта опустились ниже, и лицо его сделалось еще жестче. Он переменил положение тела, опустив голову на холодную серебряную ручку палки; тотчас изменилось и течение его мыслей. Они перешли на Англию. Переход этот был совершенно естественный. Питт, собственно, почти никогда не отделял себя от Англии.

Начинавшаяся война поглощала в ту пору все внимание премьера. В победе для него как для англичанина не существовало сомнений; он был уверен в том, что создаваемая им огромная коалиция очень быстро сломит Францию. Но все-таки война пугала Питта. Он привык к парламентской борьбе, постиг ее в совершенстве и в ней не знал себе соперников. Война с внешним врагом требовала каких-то еще неизвестных ему приемов и нового страшного напряжения душевных сил. Он знал, что за каждую, хотя и недолговременную и не серьезную, неудачу вся ответственность будет возложена лично на него. Знал, что бесчисленные враги ненавидят его теперь сильнее, чем когда бы то ни было прежде, ибо их особенно раздражила недавняя резкая перемена в его взглядах,— первый министр был прежде горячим сторонником мира с Францией. Когда Питта люди обвиняли в перемене взглядов, ему всегда казалось, что либо они над ним смеются, либо же не имеют ни малейшего представления о самом существе политики: при его огромном опыте способность быстро и своевременно менять взгляды представлялась первому министру одной из наиболее важных и драгоценных черт политического ис-

кусства. Но в глазах ничего не понимающего общества этот упрек имел значительный вес. Питт понимал, что все его будущее зависит теперь почти исключительно от успехов английского оружия. Победа должна была вознести его на небывалую высоту: он знал, что только большая победоносная война создает правителям настоящий исторический престиж,— и это соображение было одной из причин войны, хотя он ни за что в нем не признался бы даже самому себе. Теперь все мысли Питта сосредоточивались на победе. Приняв на себя, ради Англии, тяжелый крест, он благоговейно обращался за укреплением к памяти своего отца: лорд Чатам был единственный в мире человек, перед которым преклонялся Питт. Воспоминание об отце и теперь в карете поддержало первого министра; он сразу перевел мысль на ближайшую очередную задачу. Она заключалась в том, чтобы привлечь русскую армию к деятельному участию в борьбе с общим врагом. Для этого Питт особенно ухаживал за Россией: для этого он и ехал на вечер графа Воронцова, забыв нанесшее чувствительный удар его самолюбию дипломатическое поражение по Очаковскому вопросу, которое он потерпел совсем недавно благодаря Воронцову. В уме Питта быстро проходили аргументы в пользу интервенции, способные оказать действие на русского посланника и на русское правительство. К тому времени, когда карета остановилась у подъезда здания миссии, аргументы эти сложились очень хорошо в одно последовательное целое. И первый министр, совершенно уверенный в себе, знал, что у него готова блестящая речь — все равно, на десять минут, на час или на три часа: это зависело только от его желания и от обстановки.

В гостиной графа Воронцова Питт немедленно очутился на почетном месте у камина; около него на столике оказалась бутылка старого портвейна. Медленно, высказывая замершим благоговейно гостям соображения о том, что завтра непременно будет хорошая погода, премьер налил себе вина, взял бисквит и стал отпивать из стакана большими глотками, продолжая разговор; бутылка чрезвычайно быстро опустела; вместо нее появилась другая. Лизакевич сбоку уставился на первого министра с тем наивным сочувственным восхищением, с каким русские люди смотрят на пьющих как следует иностранцев. Кривцов подтолкнул Штааля под локоть и сказал ему, что Питт никак не уступит известному лорду Эльдону, который берется на пари выпить всякое *данное* количество портвейна — any *given* quantity of port. Англичане старались не замечать слабости великого

человека. Мисс Элеоноре Эден хотелось плакать и оттого, что Питт ничего ей не сказал, и оттого, что он не заметил совершенно ее нового платья, и оттого, что он пьет этот ужасный напиток. Лорд Ауккленд, наклонившись к дочери, шепнул ей на ухо, что врачи давно предписали первому министру старый портвейн для укрепления здоровья. Пристлей с радостной ненавистью глядел на Питта и желал ему напиться вдребезги пьяным. Искоса посматривал на премьера и Талейран. Епископ Отенский когда-то встречался с Питтом во Франции, но первый министр не счел нужным вспомнить об их знакомстве. Талейран очень скоро заметил влюбленные взгляды, которые бросала на Питта мисс Элеонора Эден. Это и позабавило его, и несколько раздражило, хоть он сам не мог иметь решительно никаких видов на дочь лорда Ауккленда. Штааль не отрывал взора от могущественнейшего в мире человека, только что пожавшего ему руку, и старался не упустить ни одного слова и ни одного жеста Питта. Воронцов, все больше страдая головной болью, приветливо улыбаясь, соображал, сколько еще времени пробудут на рауте гости.

— Вы потеряли случай услышать чрезвычайно интересный спор,— сказал он первому министру с легкой насмешкой в голосе.— On n'a pas tous les jours l'occasion d'assister à une passe d'armes entre Monsieur Burke et Monsieur de Talleyrand [1].

— Если бы я это предвидел,— отвечал тем же тоном Питт,— я бы вышел в отставку и приехал часом раньше.

— D'ailleurs, la discussion n'est pas terminée, n'est-ce pas? [2] — добавил Воронцов, обращаясь к Берку и Талейрану и как бы приглашая их продолжать спор. Но Берк с решительным выражением на лице отрицательно покачал головой.

— Я не могу повторить здесь того, что я *доказал* на тысяче страниц,— сухо заметил он.

— И каких страниц!..— любезно, с усмешкой, вставил Талейран.

Пивовар спросил Питта, не слышно ли чего нового в военных делах. Воронцов опять поморщился, находя разговоры о войне с Францией неудобными в присутствии гостя-француза. Но невозмутимое выражение лица Талейрана ясно показывало, что его не может смутить ни эта тема, ни вообще какая бы то ни было другая.

---

[1] Не каждый день удается присутствовать при пикировке между господином Берком и господином Талейраном *(франц.)*

[2] Однако спор не окончен, не правда ли? *(франц)*

Питт уклончиво ответил на вопрос пивовара. У него была совершенно сенсационная военно-политическая новость, только что привезенная ему из ставки принца Кобургского, но он и не думал делиться ею в салоне. По долголетней привычке правителя, Питт никогда ничего не сообщал без необходимости и довольно редко сообщал правду. Точно уступая желанию гостей, он коснулся общей политической темы. Бледное лицо его стало еще бледнее от выпитого вина, и дар природного оратора повелительно потребовал выхода. Питт встал как бы для того, чтобы взять бисквит из вазы, и уже больше не садился; прислонившись спиной к мрамору камина, он заговорил будто нехотя. Хотя он не все время молчал и прежде, но сразу гостям, включая и Штааля, стало ясно, что то, прежнее, было так, а *настоящее* наступило лишь теперь. Начал Питт очень негромко; разговоры в гостиной мгновенно стихли.

Первый министр говорил о великом деле свободы, на защиту которого во всей своей грозной силе встает старая Англия; лорды и простые люди одинаково исполнят свой долг и, если нужно, умрут за отечество... Говорил он — в отличие от Берка — самые простые, банальные вещи, но говорил так, что улыбки сразу стерлись, а из англичан многие побледнели. Голос Питта расширился, и сверкающие глаза приобрели какой-то почти нестерпимый блеск. К горлу мисс Элеоноры стали подступать рыданья; но если б она теперь заплакала, то большинство гостей не слишком бы этому удивилось, ибо слова, которые говорил первый министр, хватали за душу каждого англичанина.

Талейран внимательно слушал и, несмотря на привычку к красноречию, не мог не восхищаться в качестве отставного профессионала. Он видел, что Питт может так вдохновенно говорить час, два, три, ничего решительно не сказав; по мнению бывшего епископа Отенского, это свидетельствовало о совершенно исключительном ораторском таланте. Как техник и знаток, он оценил и превосходный голос, и дикцию, и чисто оперное дыхание Питта. Талейран сразу отвел британскому премьеру одно из самых первых мест в огромном числе слышанных им ораторов,— только немногим ниже Мирабо и значительно выше Барнава.

Питт оборвал речь. Нервное напряжение кончилось; гости чувствовали искреннюю потребность выражать восторг — и не знали, как его выразить в салоне. Эдмунд Берк приподнялся на кресле и проникновенно воскликнул, простирая обе руки к премьеру:

— Cape saxa manu, cape robora pastor!..[1]

Но, воскликнув, тут же пожалел, что и речь Питта, и его вдохновенное восклицание случились не в парламенте, а перед аудиторией всего из двадцати человек, без участия представителей прессы. Питт, молодой человек и исключительно практик, никаких книг не писавший, не был конкурентом для Берка, который вдобавок видел в нем теперь как бы своего ученика.

Общество стало разбиваться на группы. Кривцов и Лизакевич занимали дам. Мужчины сгруппировались вокруг Питта. Чувствуя особый подъем от блестящей речи и от второй бутылки портвейна, премьер разговаривал с Берком о политической философии, цитируя своих любимых авторов, особенно Болингброка и Мильтона. Берк одобрительно кивал головой, слушая эти цитаты и приятно сознавая неизмеримое превосходство своей учености над тощей эрудицией Питта. Оба они упорно, но тщетно старались вовлечь в беседу Воронцова, который равномерно ухаживал за гостями. Талейран слушал молча и не обнаруживал ни малейшего желания вступить в разговор. Пристлей, к большому неудовольствию посматривавшего на него издали Лизакевича, заинтересовался розовыми восковыми свечами. Он даже вынул одну свечу из канделябра и то наклонял ее, то дул на нее, но делал все эти опыты так ловко, что ни одна капля воска не пролилась на дорогую шитую скатерть столика. Внезапно пастор оторвался от этих опытов и радостно вступил в разговор. Питт сделал какую-то ошибку в цитате, и Пристлей, который знал все, немедленно, сияя, его поправил. Талейран не мог удержаться от улыбки. Первый министр нахмурился. Его лицо приняло то злое, гневное выражение, за которое враги окрестили его кличкой the angry boy[2]. Он ничего не сказал, но про себя подумал, что оба эти человека, Пристлей и Талейран, совершенно напрасно проживают в Англии, только смущая умы в такое опасное время. И немедленно занес это в память на случай, если ему удастся, как он рассчитывал, в связи с войной приостановить действие конституционных гарантий и Habeas Corpus Act'a. Закончив разговор с Берком, он поднялся и подошел к хозяину.

Воронцов заметил восторженный взгляд, которым смот-

---

[1] Возьми камни рукой, возьми силой, пастырь! *(лат.)*
[2] Сердитый мальчик *(англ.)*.

рел на Питта Штааль, и, желая сделать ему удовольствие, вторично представил его первому министру. Он сказал при этом несколько очень лестных слов о молодом человеке. У Штааля покраснело не только лицо, но и шея. Питт рассеянно пожал ему руку, хотя уже сделал это раньше, при входе в гостиную.

— Вот плачет все, что не видал Парижа и не может туда попасть,— сказал, улыбаясь, Воронцов.

Первый министр, очевидно думавший о другом, вдруг впился в Штааля своими сверкающими глазами.

— А, вы хотите попасть в Париж? — спросил он медленно.

В это время одна из дам уронила веер. Воронцов поспешил к ней и, подняв веер, любезно заговорил с дамой.

— Вы хотите попасть в Париж? — повторил Питт, еще зорче впиваясь глазами в юношу.

Штааль так оробел, оставшись один на один с первым министром, что не мог ничего ответить, кроме «oui, je voudrais» и «c'est-à-dire» [1]... Ему казалось, будто глаза Питта его раздевают. Так они постояли молча с полминуты.

— Как вас зовут? — вдруг коротко и властно спросил Питт.— Кто вы? Вы офицер?

Штааль ответил, как отвечал в училище, когда не знал урока. Он добавил, что имеет к Питту письмо от графа Зубова.

— Ваш посол говорит по-французски так хорошо, что его часто принимают за француза,— сказал неожиданно Питт с явным неодобрением в тоне, очевидно относившимся к этому удивительному знанию иностранного языка.— Кажется, много русских говорит по-французски не менее хорошо... У нас это большая редкость... Если вы совершенно свободно владеете французским языком,— вдруг быстро добавил он, не сводя глаз с молодого человека,— я, пожалуй, мог бы доставить вам случай побывать во Франции...

И вдруг, переменив тон, он равнодушно добавил:

— Приезжайте ко мне на Downing Street завтра,— он справился по книжке,— в четверть третьего. Я хочу видеть письмо графа Зубова... Я чрезвычайно уважаю графа... Вы скажете дежурному секретарю: русский офицер от графа Воронцова.

С этими словами, небрежно кивнув молодому человеку, Питт отошел к хозяину дома и, беззаботно улыбаясь,

---

[1] «Да, я хотел бы» и «то есть» *(франц.)*.

заговорил с ним, как будто нечаянно отводя его в сторону. До Штааля донеслись слова: «участие в общем деле»... «славная русская армия»... Он увидел также, что выражение лица графа Воронцова сразу переменилось: приветливая хозяйская улыбка сошла, уступив место выражению бесстрастному и даже жестокому. Они так говорили несколько минут. Никто из гостей к ним не подходил. Затем Питт улыбнулся еще беззаботней и, чуть пожав плечами, отсшел, как будто с некоторой досадой. Он обменялся вполголоса несколькими замечаниями с Берком, затем вслух что-то произнес о fine weather [1] и простился. В душе мисс Элеоноры Эден стало темно и холодно. Воронцов, с прежней хозяйской улыбкой, проводил первого министра до площадки и там крепко пожал ему руку, сказав с чувством: «cher ami» [2]. Лизакевич спустился с Питтом к входной двери. Какие-то люди вновь рассыпались по улице. Через секунду стекла гостиной чуть задребезжали от ускоряющегося топота огромных лошадей.

Вскоре после ухода Питта начался общий разъезд. Он произошел чрезвычайно быстро, точно каждый боялся остаться последним. Воронцов едва успевал просить гостей посидеть еще немного и уже почти не менял своих прощальных любезностей. Пристлей поспешно одевался, желая на улице возобновить с Талейраном разговор о первородном грехе. Талейран с тревогой поглядывал на пастора, рассчитывая немедленно ускользнуть. Молодые секретари неустанно бегали по лестнице, провожая дам, и возвращались наверх. Мисс Элеонору Эден проводил до самой кареты едва ли не весь состав миссии.

— Вот, вот кто правит миром,— устало сказал по-французски Воронцов, садясь по привычке у камина и наливая себе минеральной воды.— У всех выдающихся политических деятелей есть что-то общее... Что-то очень тяжелое, дурное. Очевидно, я совсем не политический деятель... Да, вот кто правит миром. Англия идет во главе человечества. Питт, Берк руководят Англией. Они, а за ними этот маркиз, и лорд Аукленд, и больше всех тот пивовар с перстнями. Страшная сила. Она сломит французскую революцию... В сущности, Пристлей прав, он честнейший, благороднейший человек... Но что же сам он несет на смену Питтам? В области государственного строительства всем этим Пристлеям грош цена, как грош цена

---

[1] Прекрасная погода *(англ.)*.
[2] Дорогой друг *(франц.)*.

Робеспьерам... То же самое и у нас. Кто создал великую Россию? Народ? Да, конечно, хоть народ в России, как и везде, глуп совершенно. Но без царей он не создал бы ничего. Как странно! Исключите Петра, и вы увидите, что цари наши не блистали ни умом, ни талантами, ни добродетелью. Добродетелью не блистал, впрочем, и Петр... А что было бы с Россией без этих маленьких людей? Правда, у нас сохранилось бы в Новгороде вече. Зато в Киеве хозяйничали бы поляки, в Риге — шведы, на юге — турки и татары, в Сибири — китайцы или дикари... Хищные правительства создают великие государства, благородные — их теряют. Вот странная проблема: какова должна быть власть? Где она хороша? У нас — Зубовы, у французов — Мараты... Лучше всего в Англии, это бесспорно. Но радости и здесь мало: парламентское лицемерие, интриги, подкуп. И везде деньги, деньги... Я обо всем этом думаю лет двадцать пять и пока ничего хорошего не придумал. Думали, впрочем, об этом люди и поумнее меня... Одно ясно: истории ломать нельзя. Именно потому Англия первая страна в мире, что в ней ничего не ломают. Глубокое слово сказал Берк: «I do not like to see anything destroyed» [1].

Воронцов, видимо не ожидая ответа, задумался. Лизакевич, Штааль, Кривцов не слишком внимательно слушали его слова. Они были переполненые впечатлениями вечера. Штааль сел в кресло, *в котором только что сидел Питт*, и думал о своей все увеличивающейся близости к знаменитейшим людям мира. Хотелось ему описать вечер петербургским приятелям. Очень волновало его и предстоящее свидание с первым министром. Он старательно припоминал и обдумывал каждое сказанное слово: был ясно, что Питт хотел дать ему какое-то важное, таинственное и опасное поручение в Париж. При этой мысли у Штааля радостно и тревожно замирало сердце. Он хотел в первую минуту поделиться своими чувствами с Воронцовым, но потом решил, что лучше пока никому об этом не говорить.

Кривцов и другой секретарь вполголоса говорили об Элеоноре Эден и давали непочтительное объяснение нечувствительности Питта к ее божественной красоте.

— Она лучше, чем госпожа Сиддонс,— сказал восторженно Кривцов. Завязался не слишком горячий, впрочем, спор. Лизакевич, вспоминая сотни приемов и раутов, на которых ему пришлось быть в жизни, угрюмо слушал молодых людей.

[1] Я не люблю смотреть на разрушение чего бы то ни было (*англ.*).

XVII

Сенсационное известие, привезенное Питту из ставки принца Кобургского, заключалось в том, что главнокомандующий Северной французской армией, победитель при Жемаппе, знаменитый генерал Дюмурье склонен войти в тайные переговоры с союзной коалицией. Республиканский генерал, имевший репутацию пламенного революционера, бывший, как говорили, в дружбе с Робеспьером и Дантоном, сообщил — правда, через эмиссаров и очень осторожно — австрийскому главнокомандующему принцу Фридриху Кобургскому, что, желая положить конец несчастьям родины и владычеству проходимцев, он намерен двинуть преданные ему войска на Париж, разогнать Конвент, перевешать стоящую у власти шайку злодеев и провозгласить малолетнего Людовика XVII французским королем — на началах конституции 1791 года. Ввиду этого генерал требовал от союзников прекращения военных действий и намекал на необходимость денежной субсидии, предназначенной для подкупа парижского населения. Обрадованный принц Кобургский спешно оповестил о сенсационном предложении императора, прусского короля и британского премьера.

Питт не доверял Дюмурье, как не доверял принцу Кобургскому и союзным правительствам. Он вообще в политике никому не доверял и по принципу подозревал обман во всяком политическом предложении, каково бы оно ни было и от кого бы оно ни исходило. Без сплошного обмана Питт даже не мог представить себе политику. Этому научил его долгий государственный опыт. Получив сообщение австрийского главнокомандующего, он немедленно сделал ряд поправок на обман, возможный со стороны принца Кобургского, принял в соображение замешанные, вероятно, в деле личные интересы — и затем очень быстро, холодно и проницательно обсудил предложение с точки зрения интересов Англии. Вопрос представлялся сложным. Переход генерала Дюмурье на сторону союзников мог положить конец французской революции — и само по себе это было, разумеется, хорошо: Питт, побаивавшийся якобинской заразы, вполне искренне желал торжества во всем мире британских идей разумного порядка и разумной свободы. Но, с другой стороны, конец революции означал, собственно, и конец войны, причем Франция выходила из нее не ослабленной, а значительно усилившейся. Это совершенно не соответствовало намерениям Питта. Он долго

не хотел воевать, но теперь, когда война началась, прекратить ее до победы казалось ему невозможным. Теоретик Берк мог видеть главный смысл борьбы Франции с Англией в столкновении двух начал: республики и монархии, революции и порядка. Питт ценил ученость, глубокомыслие и литературный талант Берка и даже уважал его, поскольку он мог вообще — после восьми лет власти — уважать людей, в частности тех, кому он раздавал деньги и награды (по-настоящему Питт уважал только себя и своего отца). Но первый министр считал Берка чисто кабинетным человеком. Сам он, британский премьер и сын британского премьера, подходил к делу практически: за столкновением двух идей он отнюдь не забывал борьбы двух могущественнейших держав мира. Питт боялся Франции. Французская армия шла от победы к победе, несмотря на совершенно безумную, с его точки зрения, систему правления и администрации. Следовало опасаться, что по установлении порядка внутри страны могущество Франции примет прямо грозный для Англии характер. Поэтому британский премьер не слишком желал скорого свержения якобинцев. Таким образом, его политика представлялась не совсем определенной, а неискушенным людям со стороны могла даже казаться противоречивой. Только сам Питт ясно видел, вернее, чувствовал стройную логику всех своих противоречий.

Кроме того, самый важный вопрос заключался в том, может ли генерал Дюмурье всецело рассчитывать на свою армию. Одно стало совершенно очевидным Питту с первой минуты: необходимость окружить сетью агентов ставку французского главнокомандующего.

Первый министр очень любил систему тайной агентуры, тратил на нее большие деньги, лично ею руководил, входя в самые мелкие подробности организации, и имел везде множество секретных информаторов: у него на службе состояли люди разного положения, разных национальностей, мужчины и женщины, наемники и добровольцы, якобинцы и эмигранты, иностранные принцы и рядовые шпионы. Питт при этом рассчитывал, что из десяти нанимаемых им людей один может оказаться действительно полезным. Разумеется, он никому в отдельности не доверял, а доверял общей своей системе, контролируя донесения одних по донесениям других и посылая особых агентов для наблюдения за обыкновенными агентами. Были у него, конечно, свои люди и в Бельгии на театре военных действий. Но теперь, по получении известия об измене

Дюмурье, он счел полезным увеличить их число. Нужно было использовать момент, чтобы ввести своих людей также в республиканскую армию. Для этой цепи годились рядовые сотрудники, хорошо владевшие французским языком. Питт нашел подходящим для нее и русского, которого он встретил на вечере у графа Воронцова. Молодой человек, столь желавший попасть во Францию, с первого взгляда показался ему порядочным авантюристом. Как все искушенные властью государственные деятели, Питт считал себя безошибочным физиономистом; да и действительно обладал способностью хорошо распознавать людей.

В день, указанный для приема Штаалю, в записной книжке первого министра значилось около десяти аудиенций, но из них важные только две: одна — с знаменитым адмиралом по серьезному делу, касающемуся войны; другая — с видным членом Палаты Общин, предлагавшим интересную парламентскую комбинацию, которая могла еще ослабить группу Фокса и даже несколько скомпрометировать этого политического деятеля. Остальные посетители являлись с просьбами или просто были люди, желающие без особого дела поговорить с премьером и имеющие на то право по своему общественному положению Новый министр ловко и незаметно выспросил у старого адмирала те сведения, которые ему были нужны для парламента и кабинетских распоряжений. Питт учился почти исключительно из разговоров и выспрашивал своих собеседников всегда столь искусно, что им казалось, будто он их экзаменует, зная вопрос много лучше их самих; так, Адам Смит, полушутя, полусерьезно говорил, что его собственное экономическое учение стало ему вполне ясным лишь после разговора о нем с Питтом; так и на этот раз старый адмирал, выходя из кабинета на Downing Street, умиленно благодарил Бога за то, что Он послал Англии премьера, столь тонко понимающего и столь хорошо осведомленного в делах морской войны. Затем Питт принял члена Палаты Общин и дал ему мастерское наставление для интриги против Фокса, оставшись сам от нее как будто совершенно в стороне. Вежливо отказал просителю, просьба которого не отвечала интересам Англии и который был ему не нужен. Удовлетворил двух других просителей: из них один был ему нужен, а другой имел вполне основательную просьбу. Поговорил с каждым из остальных, пришедших без настоящего дела, людей ровно столько, сколько было нужно в зависимости от их общественного положения Все это Питт проделывал, так искусно и незаметно распределяя разговор во времени,

что каждого посетителя он принимал в указанный заранее час, с опозданием разве в несколько минут. Штааля он принял восьмым. Назначенная молодому человеку аудиенция принадлежала к разряду неважных. То, что этот молодой человек в связи с ней сильно рисковал головой, разумеется, не имело ни малейшего значения для Питта. Он давал Штаалю поручение в интересах Англии; а в интересах Англии Питт всегда готов был рисковать собственной своею жизнью,— не то что жизнью русского мальчишки.

Первый министр быстро просмотрел письмо графа Зубова, которое Штааль ему подал, волнуясь больше, чем в Эрмитаже, в кабинете на Downing Street, казавшемся ему политическим центром вселенной. Питт и не читал письма до конца (он в одну минуту высасывал все важное из любой самой длинной бумаги), но понял сразу (хотя это и не было сказано определенно), что неофициальному главе Российской империи будет приятно возможно более продолжительное пребывание за границей господина Штааля. Питт бросил беглый взгляд на красивое лицо молодого русского и, хорошо зная нравы петербургского двора, немедленно догадался, в чем дело. Первый министр брезгливо искривил верхнюю губу — хороша политика в этой варварской стране! — и подумал, что молодой человек может ему пригодиться и впоследствии: в Петербурге Англии тоже нужны агенты, особенно агенты с такими возможностями. «Пожалуй, станет моим коллегой»,— брезгливо усмехаясь, подумал первый министр. Наклонные линии морщин на его лице совершенно искривились и выразили отвращение, смешанное с чем-то еще. Кратко и сухо он предложил Штаалю предпринять поездку *за границу* в интересах России и Англии: цели обеих держав теперь совершенно совпадают. Разумеется, Питт не обмолвился ни одним словом о Дюмурье: он только пояснил, что дело идет об осведомительной поездке в ставку принца Кобургского.

— Оттуда, если вы желаете,— сказал он медленно,— вам будет дана возможность проехать во Францию... Донесения русского офицера, вполне владеющего французским языком, о настроениях населения и армии (Питт не сказал, какого населения и какой армии) нам могут быть очень полезны. Я буду, разумеется, посылать копии в Петербург.

Штааль еще утром решил, что непременно примет всякое поручение Питта, лишь бы оно было совместимо со званием и достоинством русского дипломата. Предложение, которое ему сделал первый министр, оказалось еще более соблазнительным, чем он мог надеяться. Его посы-

лали в армию, на театр военных действий. Он мог увидеть войну, принять в ней участие, отличиться. Молодой человек вспыхнул от радости; но тут же все-таки подумал, что было бы гораздо лучше получить это поручение от своего правительства, а не от чужого (хотя в ту пору открытая служба иностранным правительствам составляла очень распространенное явление).

Быстро соображая все это, Штааль ответил первому министру несколько запутанно. Не знал к тому же, как надо называть Питта. «Милорд»? — так ведь он не лорд... «Votre Haute Excellence», кажется, по-французски не говорят. «Votre Excellence» [1] — маловато, он еще обидится... Никак не надо называть... Что ж, соглашаться? Или спросить Семена Романовича? Не пустит...

Питт как будто угадал сомнения молодого человека.

— Повторяю,— сказал он нетерпеливо,— интересы России и Англии в настоящее время совершенно совпадают. Я вполне уверен, что русское правительство будет удовлетворено, если вы примете и хорошо выполните возлагаемое на вас поручение. В этом меня убеждает и письмо графа Зубова,— значительно подчеркнул он (письмо было вручено ему запечатанным).— Разумеется, я немедленно извещу графа о нашей поездке... Но графу Воронцову,— небрежно добавил Питт,— было бы бесполезно сообщать о предмете нашего разговора. Граф, кажется, находит вас слишком молодым для ответственных поручений.

— Я считаю себя вправе принять поручение,— сказал Штааль.— Мне к тому же предписано посылать в Петербург донесения о состоянии умов французских эмигрантов («кажется, не следовало сообщать это Питту,— вспомнил он,— ну, да все равно»). Между тем в ставке принца Кобургского, без сомнения, много эмигрантов.

— Очень рад, что вы согласны,— холодно заметил Питт, вставая, и сверху вниз, с высоты своего огромного роста, еще раз осмотрел молодого человека.— Может быть, наша связь продлится и тогда, когда вы вернетесь в Россию...— Он помолчал и добавил, опять брезгливо сгибая верхнюю губу, а с ней тройную линию морщин: — Завтра вместе с инструкцией вам будут доставлены деньги на поездку. Расходовать их нужно, разумеется, бережливо.

Штааль вспыхнул еще больше и отказался от денег. Как русский дипломат, он не может их принять, да и не

---

[1] «Ваше высокопревосходительство»... «Ваше превосходительство» *(франц.)*

нуждается. Он постарается выполнить поручение и оправдать оказанное ему доверие — в интересах России.

Питт посмотрел на молодого человека несколько более благосклонно. Обыкновенно, когда люди отказывались от денег, которые он им предлагал, первый министр заключал, что предложил недостаточную сумму и что с него хотят взять больше. Но так как на этот раз отказ последовал прежде, чем он успел назвать цифру, то Питт сразу мысленно перечислил Штааля из разряда авантюристов продажных в разряд бескорыстных искателей приключений. Это также была очень полезная для него, то есть для Англии, порода людей. Питт пожал руку молодому человеку, велел оставить у секретаря адрес и пожелал доброго пути.

На следующее утро в гостиницу, где жил Штааль, явился секретарь Питта, молодой, прекрасно одетый и изумительно выбритый чиновник, с лица которого не сходило особенное сияние, явно происходившее от сознания близости к первому государственному человеку мира. Он и смотрел на собеседников, как Питт, сверху вниз, хотя ростом был гораздо меньше премьера. Секретарь привез Штаалю инструкцию, письмо в ставку принца Кобургского, и запасной паспорт на имя американского гражданина Траси. Фамилия эта, по словам секретаря, могла свидетельствовать о французском или канадском происхождении и объяснять звание французского языка, недостаточное для коренного француза и слишком хорошее для американца. Штаалю показалось, что это придумано очень тонко. Несколько взволнованный подложным паспортом с красиво расчеркнутыми подписями и огромной восковой печатью, он прочел инструкцию. Она была составлена по-английски, без подписи, и точно, и неясно. Главная задача, возлагавшаяся на Штааля, состояла в том, чтобы выяснять настроение населения и армии в местах, где ему придется быть. Но места эти в инструкции не были указаны даже приблизительно. Секретарь на словах сообщил, каким способом должны пока доставляться донесения, и дал молодому человеку несколько полезных практических советов.

В тот же день вечером Штааль закончил свой первый отчет о настроениях французской эмиграции в Лондоне, использовав все то, что ему сообщил Воронцов и что он понял из разговора Берка с Талейраном. Он запечатал конверт своей печатью и передал его в миссию для пересылки в Петербург — вализой. Затем Штааль простился с графом Воронцовым. Он объяснил, что, согласно данному ему в Петербурге поручению, хочет съездить в Бельгию и

выяснить настроение французских эмигрантов в ставке. Семен Романович прекрасно видел, что Штааль чего-то не договаривает. На лице молодого человека достаточно ясно читалась таинственность. Паспорта нельзя было получить в Лондоне без посредства Downing Street, и Воронцов смутно подозревал, что дело не обошлось без Питта. Но Штааль не был формально подчинен русскому посланнику, содержания письма Зубова граф не знал и вообще мало понимал в заграничной миссии Штааля. Он видел только, что понравившийся ему сначала молодой человек, недурно одаренный от природы, хотя и не очень умный, имеет, к сожалению, богатые задатки авантюриста. «Un chevalier d'aventures, pourvu qu'il ne devienne un chevalier d'industrie» [1],— подумал граф и очень холодно простился со Штаалем, ничего не сказав в ответ на его обещание скоро вернуться в Лондон.

XVIII

В приморском городке, куда приставали приходящие из Англии корабли, британский агент сообщил Штаалю подробности об успехах союзного оружия. Сражение при Неервиндене закончилось 19 марта полной победой принца Кобургского. Двумя днями позже был занят Лувен, и с минуты на минуту ожидалось очищение французами Брюсселя. Местонахождение штаба имперского главнокомандующего в день приезда Штааля не было точно известно агенту. Он советовал переждать день-другой, а затем направиться в Брюссель, в котором, несомненно, должна была скоро обосноваться ставка принца.

Штааль на это не согласился. Молодой человек вошел во вкус войны после тревожного морского перехода. Опасаясь французских катеров, они шли ночью с потушенными огнями и никто не раздевался на шхуне. Несмотря на холод, Штааль провел ночь на верхней палубе. Завернувшись в доху, он то дремал на сундуке; то, проснувшись от холодного ветра, забиравшегося в рукава, под воротник и за сапоги, быстро ходил взад и вперед по квартердеку, изучая морское дело и стараясь запомнить терминологию: реи, марсы, шпангоуты, гафеля; то, прислонившись к борту, вглядывался в темную ночь. Раз ему даже показалось, будто к ним с правой стороны — или, как показывал его карманный компас, с юго-запада — подходил большой неприятельский

---

[1] Это авантюрист, лишь бы только он не стал проходимцем *(франц.)*.

фрегат. Штаалю представился *абордаж*, при котором он наповал застреливал французского капитана. Он хотел обратить на врага внимание караульного, висевшего в бочке на *фокмачте*, но караульный висел высоко, надо было бы кричать во все горло; Штааль решил немного переждать, и фрегат, по-видимому, прошел мимо. Молодой человек скоро снова заснул на сундуке, хлебнув предварительно, чтобы согреться, рому из висевшей у него на поясе *фляги*. Его разбудили голоса и беготня на палубе: было светло, и они подходили к берегу. К судну уже подъезжал на лодке лоцман; матросы на мачтах убирали косые паруса.

Наняв за порядочные деньги коляску, Штааль велел закладывать, наскоро стоя позавтракал перед буфетом постоялого двора (можно было позавтракать и сидя, ибо лошадей закладывали долго) и выехал по направлению к Брюсселю. В пути, по мере удаления от морского берега, его все сильнее охватывала непривычная атмосфера войны. Была ростепель, и коляска, несмотря на «начаи», которые Штааль то и дело сулил кучеру, подвигалась довольно медленно. На дороге стояли огромные лужи, и лошади вступали в них почти по колена, захлестывая грязью фартук кренящейся коляски, шинель, лицо и фуражку Штааля. Порою коляска останавливалась совершенно: вперед шли длинные обозы под конвоем солдат в незнакомых мундирах, и местами нужно было ждать расширения дороги, чтобы их объехать. Навстречу часто попадались скачущие галопом верхвые, забрызганные грязью так, что нельзя было разглядеть их форму, и медленно движущиеся закрытые фуры с ранеными. Раз встретилась богато запряженная коляска, при виде которой кучер испуганно снял картуз и перекрестился. На сидении коляски, упираясь в переднюю скамью, лежал наискось перевитый венками узкий гроб. Его поддерживали с обеих сторон руками и коленями, оживленно разговаривая через гроб между собой, два молодых офицера. Очевидно, увозили в тыл тело какого-то важного лица. Фронт продвигался вперед медленнее, чем ехал Штааль, и приближение к нему сказывалось все явственнее. Но канонады, которой ждал молодой человек, все еще не было слышно. Носились неопределенные слухи о каком-то перемирии с французами.

Верстах в двадцати от Брюсселя по Антверпенской дороге находилась большая застава. Офицер-австриец, остервеневший от схваченного насморка, свирепым голосом потребовал бумаги Штааля. Увидев пропуск в ставку, он, впрочем, стал любезнее и сообщил, что французская армия

проходит, не останавливаясь, через город. Завтра, 25 марта, в него войдут имперские войска. Пока дальше ехать было невозможно. Штааль провел ночь в крестьянской избе.

На следующий день, часов в шесть утра, через заставу двинулись вперед кавалерийские части, и по большой дороге, идущей от Малина, началось медленное движение экипажей, войск и обозов. Коляска Штааля влилась в общий поток и часам к десяти остановилась у ворот гостиницы, на одной из старых узких улиц, впадающих в Grand' Place. Накануне в этой гостинице квартировали французские офицеры, и кое-где по стенам хозяин еще не прибрал трехцветных флажков. Штааль легко получил комнату, так как приехал в числе первых, не имел никакой реквизиционной квитанции и благоразумно обещал платить за все золотой монетой. Но когда он, смыв с себя грязь и переодевшись, спустился снова вниз, гостиница была совершенно переполнена: опытный хозяин с убитым видом отвечал въезжавшим во двор новым гостям: «Désolé! c'est bondé» [1], а тем, кто предъявлял реквизиционные квитанции, указывал адреса своих конкурентов.

Штааль вошел в столовую и увидел пышное зрелище. Все столы большой комнаты были заняты нарядными имперскими офицерами в красивых, богатых, хоть и несколько измятых мундирах. Слышалась почти исключительно французская речь в немецком, венгерском, польском, кроатском произношении. Чувствовалось праздничное оживленное настроение штабов только что одержавшей победу армии. Летавший метрдотель отыскал для Штааля место у небольшого столика, за который как раз садился элегантный офицер, безусый мальчик с румяным веселым лицом. Штааль слегка поклонился. Офицер немедленно вновь поднялся с места и сообщил свою фамилию: лейтенант драгунов Латура, Дитерихс фон Альтенштейн. Штааль тоже назвал себя.

Им подали меню, на котором potage Condé и poularde Montmorency [2] заменили вчерашние soupe à la sans-culotte и poule à la Brutus [3]. Чтобы оказать почтение гостям, хозяин на сладкое заказал даже повару Zwetschkenknödel [4], что за всеми столами вызвало действительно шумный восторг. При обсуждении меню Штааль и его сосед разговорились. Лейтенант оказался чрезвычайно милым и общительным моло-

---

[1] «Очень сожалею! Переполнено» *(франц.)*.
[2] Суп Конде и пулярка Монморанси *(франц.)*.
[3] Бульон à la санкюлот и курица à la Брут *(франц.)*.
[4] Сливовые клецки *(нем.)*.

дым человеком, проникнутым той особой любовью к иностранцам, которая во всем мире свойственна, кажется, одним лишь венцам. Он назвал Штаалю имена двух завтракавших в зале генералов, указал ему мундиры и знаки отличия имперских войск; сообщил также, что ближайшим образом участвовал в сражении при Неервиндене, которое, по его словам, являлось одной из величайших побед в истории мира. Самым замечательным эпизодом сражения была атака, произведенная полками имперской кавалерии, под командой генерала Бороса, на французские позиции между Обервинденом и Рокуром. Гусары Бланкенштейна, кирасиры Цешвитца и особенно они, драгуны Латура, покрыли себя в этот день бессмертной славой. Лейтенант Дитерихс фон Альтенштейн лично участвовал в атаке, причем у него в двух местах была прострелена пулями шляпа, а от удара копьем в грудь его чудом спас большой серебряный портсигар, подаренный ему белокурым Schatz'ем[1] в Вене; лейтенант хотел даже показать Штаалю погнувшийся портсигар, но тот как нарочно остался наверху в номере. Французы также недурно дрались,— особенно белые (линейные войска), а синие (волонтеры) куда похуже. В центре, говорят, сам Дюмурье водил пехоту в атаку. Вообще французы хороший народ, и ужасно жаль, что они затеяли эту глупую революцию. Впрочем, для него, Дитерихса фон Альтенштейна, не существует национальных предрассудков. Он любит и уважает все нации,— за исключением, разумеется, чехов, которых терпеть не может, потому что они действительно ужасно противны, все эти господа Поспешиль и Кшиванек (лейтенант совершенно уничтожающе, каким-то тоненьким фальцетом, нараспев произнес, растягивая по слогам, эти чешские имена). Русских Дитерихс также любил и признавал военное дарование Суворова, который в Турции оказал принцу Кобургскому очень серьезные услуги. Если б Суворов обладал теоретическими познаниями, из него мог бы выйти русский Даун или де Ласси. Принц Кобургский тоже прекрасный полководец, но Штаалю по знакомству можно сообщить, что в действительности всем в их армии руководит генерал-квартирмейстер полковник Макк. Называя это имя, Дитерихс умиленно возвел глаза к потолку: полковник Макк, фактический главнокомандующий имперской армией, автор плана бельгийской кампании, руководитель сражений при Неервиндене и Лувене, был, по словам лейтенанта и

---

[1] Сокровище (*нем.*).

по общему мнению авторитетов того времени, самым блестящим военным гением века [1].

— Он душа нашей армии. Без него в ставке не делается ничего,— сказал Дитерихс, незаметно накладывая себе на тарелку третью порцию Zwetschkenknödel.

— Тогда, значит, и я к нему попаду,— заметил радостно Штааль.— У меня поручение в ваш главный штаб.

— Непременно попадете к Макку,— подтвердил лейтенант.— Впрочем, теперь скоро конец войне.

— Почему? — изумился Штааль.

Лейтенант посмотрел на него и многозначительно поднял брови.

— Дюмурье,— медленно произнес он, одновременно наслаждаясь Zwetschkenknödel'ями и производимым эффектом.

В ответ на недоумевающее выражение лица Штааля Дитерихс с легкой улыбкой, относившейся к неосведомленности собеседника, сообщил, что генерал Дюмурье вступил в переговоры со ставкой принца Кобургского. Он предполагает двинуться на Париж с тем, чтобы восстановить монархию. Обо всем существенном уже договорились. Сегодня в главной квартире французов в Ате будет заключено окончательное соглашение.

— Вы не знали? Теперь это уже не секрет, и я потому вам сообщаю,— сказал, слегка улыбаясь, драгун (он сам услышал об измене Дюмурье часа два тому назад).

Штааль был совершенно озадачен. Конец войны!.. Знаменитый революционный генерал хочет восстановить монархию!.. Молодой человек еще не мог сообразить, как все это должно отразиться на его миссии; но что-то в сообщении Дитерихса было ему неприятно.

— Позвольте, это странно,— сказал он недовольным голосом.— Я три дня тому назад виделся с Питтом (вот тебе за «вы не знали?»), и он мне... и он еще ничего не знал.

Драгун опять улыбнулся.

— Однако *если это так, как вы говорите*, то мы, вероятно, через две недели будем в Париже?

— Даже наверное,— категорически подтвердил драгун.— Так думают в нашем штабе, а, вы понимаете, Макк недурно разбирается в делах. Приглашаю вас в Пале-Рояль на бутылку шампанского в тот день, когда Дюмурье — он будет, говорят, коннетаблем маленького коро-

---

[1] Тот самый, который в 1805 году сдался в Ульме Наполеону со всей своей армией — *Автор.*

ля — повесит Марата и Робеспьера. Надеюсь, что господа якобинцы еще не выпили всего вина прекрасной Франции... Ну, вы меня извините, я должен вас покинуть, я ведь приехал по делам нашего полка. Очень рад был познакомиться и надеюсь, наше знакомство продлится,— вы не уезжаете пока из этой гостиницы? Хорошо было бы вечером погулять по городу, а? Вообразите, я уже больше двух недель живу, как совершеннейший монах. Вы не верите? Что делать, поход... Брюссель, конечно, не Вена и не Париж, но, говорят, здесь есть хорошенькие женщины... Очень был рад...

Штааль не без сожаления расстался с говорливым венцем. Расплатившись за обед, он вышел на улицу. На Grande Place, поразившей его глаз непривычной позолотой домов, стояла большая толпа. Посредине площади дымился, плохо разгораясь на сыром воздухе, большой костер. Это народ, которому смертельно надоели французы, комиссары и революция, с криками «Vive l'Empereur!» [1] жег дерево свободы. Старый сторож площади руководил церемонией, давал указания и подкладывал сухого хвороста из хранившегося у него в сторожке запаса: старик имел привычку к таким делам, ибо на Grande Place постоянно что-либо жгли — в последнее время больше скипетры и изображения тиранов, а во времена молодости сторожа, случалось, и живых людей, что было гораздо интереснее (прежде всего было интереснее).

Штааль разыскал главную квартиру и справился о нужных ему лицах. Но его попросили прийти на следующий день, так как штабы еще не разместились. Макк не был в городе. Затем Штааль побродил по Брюсселю, посмотрел на думу, на Manneken Pis, на Porte de Hal, на другие достопримечательности и почувствовал, что ему крайне скучно и тоскливо в этой чужой толпе. Он зашел в кофейню, спросил рюмку ликера и велел подать газеты (давно ничего не читал). Лакей-фламандец с ошалевшим лицом дико на него посмотрел. Этого лакея накануне звали «citoyen», говорили ему «ты» — по-граждански,— «начаев» не давали, а за слово «monsieur» не так давно пригрозили предать его суду революционного трибунала. Теперь он был «garçon» или «Kellner», говорили ему имперские офицеры в третьем лице «Er» (чего он уже совсем не понимал, хоть по-немецки знал лучше, чем по-французски), публика оставля-

---

[1] «Да здравствует император!» *(франц.)*

ла на чай, но за слова «Merci, citoyen» [1], сказанные им по приобретенной в последнее время привычке, какой-то кавалерийский офицер утром вытянул его хлыстом. Ошалевший фламандец теперь старался вовсе не говорить с публикой. Он принес Штаалю рюмку, бутылку и целую кучу газет. Здесь были «La chronique de Paris», «Le Moniteur», «La Gazette de France» и «La Batave» [2]. Штааль никогда не видел революционной прессы и жадно принялся было за нее, но к нему поспешно подошел хозяин и вполголоса, с умоляющим видом, попросил отдать газеты. Публика действительно начинала как будто коситься на молодого человека. Хозяин, отобрав газеты, немедленно сжег их в камине, громко повторяя: «Oh, les sales feuilles!..» [3] Штааль почувствовал себя неловко и вышел из кофейни.

По дороге домой он обдумывал свое положение. Окончание войны никак не освобождало его от принятого поручения. Конечно, Питт поступил с ним некорректно, не сообщив ему об измене Дюмурье: если британский премьер хотел, чтобы русский дипломат, рискуя головой, снабжал его важными сведениями, то и сам он должен был с ним делиться,— ну, не всем, так хоть самым главным,— а не ставить его, как сегодня, в нелепое положение. Но некорректные действия Питта не могли помешать ему, Штаалю, выполнить свой долг до конца. Долг же его заключался в том, чтобы попасть в Париж раньше имперских войск. Да, дело шло именно об этом: только в Париже он мог оказать союзникам настоящие услуги. Настал, очевидно, случай использовать паспорт американского гражданина Траси. Штааля неудержимо манила революционная столица. Опасность предприятия только усиливала соблазн. «A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire» [4],— повторял Штааль вслух, не совсем, впрочем, ясно себе представляя смысл понятия «vaincre» в применении к его делу. Не пройдет месяца, союзники войдут в Париж. Оставалось только выяснить, как перейти через линию фронта. В этом ему должны были завтра помочь в имперском штабе.

Он очутился на Parvis Sainte-Gudule [5]. Кучки австрийских офицеров осматривали надругательства, произведенные

---

[1] «Гражданин»... «господин»... «человек»... «кельнер»... «он»... «спасибо, гражданин» *(франц., нем.)*.

[2] Названия газет: «Парижская хроника», «Наставник», «Французская газета» и «Батавия» (латинское название Голландии).

[3] «Ох, мерзкие листки!. » *(франц.)*

[4] Победа без опасности — триумф без славы *(франц.)*.

[5] Паперть церкви святой Гудулы *(франц.)*.

недавно революционерами в старой церкви. Какая-то старушка, набожно крестясь, рассказывала, как нечестивые французы, поднявшие руку на драгоценности алтаря, были тут же на месте испепелены гневным взором Богородицы: так и попадали мертвые, рядом, один вслед за другим. Под лестницей, ведущей на перрон собора, били какого-то застрявшего в городе француза-комиссара, который, впрочем, клятвенно уверял, будто он не француз и не комиссар.

XIX

Разведочное отделение имперской армии временно занимало в одном из отдаленных кварталов Брюсселя красивый особняк в стиле начала восемнадцатого века, расположенный между маленьким двором и огромным тенистым садом английского образца, придуманного Кентом в противовес французским садам Ленотра. Особняк был почти пуст: часть служб полицейской разведки, работавшая на передовых позициях, уже прошла с авангардом армии через Брюссель; другой отдел, занятый розыском в тылу, еще работал в Лувене. В особняке же остановился с небольшим числом ближайших сотрудников главный руководитель разведочной службы, который обыкновенно передвигался вместе с штабом главнокомандующего войсками.

Штааль подъехал к особняку в довольно необычное время, часов около пяти дня. Он все утро разъезжал по разным местам; из одного штаба его посылали в другой: в главной квартире был, как водится на новой стоянке, чрезвычайный беспорядок. Отыскав наконец британского военного агента, Штааль вручил ему запечатанное письмо с Downing Street и добавил от себя, что желает как можно скорее отправиться в Париж. Агент, немолодой генерал, носивший свой красный мундир и лосины с неподражаемой изящной простотой, свойственной английским офицерам, очень внимательно прочел представленное ему письмо.

— У вас паспорт на имя американского гражданина Джонсона? — небрежно спросил он молодого человека.

— Нет, на имя американского гражданина Траси,— ответил с удивлением Штааль.

Генерал кивнул головой. Штааль догадался, что это была небольшая поверочная хитрость.

— Бумаги иногда теряются,— пояснил генерал.— Надо быть очень осторожным. Между тем приметы ваши изложены в письме недостаточно ясно...

«Так в письме были приметы? — спросил себя Штааль с недоумением.— Кто же и когда мог их записать?»

— Переход во Францию теперь не может представлять больших трудностей,— продолжал военный агент.— Как вы знаете, заключено перемирие; мы дойдем до самой французской границы, и через нее в обоих направлениях будет по разным надобностям переходить довольно много народа. Вам необходимо получить пропуск от имперского разведочного отделения. Я вам дам письмо. Там вам укажут, как перейти фронт.

Военный агент написал несколько строк и запечатал своей печатью, не прочитав записки Штаалю.

— Само собой разумеется,— сказал он,— вы не должны сообщать этим господам в разведке, для чего вы едете во Францию. Они, конечно, наши друзья... Но я долго служил на Востоке, а восточная мудрость говорит: «Никогда не сообщай твоим друзьям того, что не должны знать твои враги». Вообще мой совет: возможно меньше разговаривайте там, куда я вас посылаю. Помните, что вы идете на очень опасное дело.

В выражении лица и в тоне англичанина ясно сквозило презрение военного человека к полиции. Штааль чувствовал, что ему самому генерал отводит какое-то неопределенное, промежуточное место между полицейским и офицером. Он смущенно откланялся, спрятал письмо в большой, купленный в Лондоне портфель с серебряным замком и поехал в отделение имперской разведки.

По двору особняка прогуливались два господина в штатском платье. Они немедленно остановили Штааля у ворот. Один из них чрезвычайно вежливо расспросил молодого человека, взял письмо и затем, предложив подождать несколько минут во дворе, вошел в особняк. Другой господин продолжал гулять по двору, в нескольких шагах от Штааля. Вежливый разведчик скоро вернулся и, необыкновенно любезно улыбаясь, сказал, что господин полковник просит пожаловать.

Как только Штааль вошел в переднюю, он услышал лившиеся сверху приятные звуки клавесина. Кто-то очень хорошо и с большим чувством играл «Ave verum corpus» Моцарта. По лестнице, покрытой мягким толстым ковром, Штааль, в сопровождении вежливого господина, поднялся во второй этаж и вошел в небольшой салон, убранный в старом, давно вышедшем из моды даже вне Франции, стиле Людовика XIII. Звуки оборвались, и из-за клавесина встал очень грузный военный, с выразительным, потасканным, но

чрезвычайно благодушным с виду лицом, на котором виднелся белый шрам через всю левую щеку. Штааль совершенно иначе представлял себе шефа тайной полиции. Ему казалось, что у сыщиков всегда бывают мрачные физиономии с бегающими глазами, никогда не смотрящими прямо на собеседника. У полковника же глаза были голубые, взгляд открытый и почти наивный. Он смотрел на Штааля, приятно улыбаясь, и, казалось, увлеченный музыкой, еще ничего не видел перед собой. На самом деле он в первое же мгновение разглядел и запомнил на всю жизнь все подробности внешности Штааля, от его глаз (не поддающейся изменению и потому наиболее важной для сыщиков отличительной черты человека) до сапог и перчаток. Полковник с особенной приятностью, точно старому знакомому, пожал обеими руками руку Штааля, обдав его крепким запахом духов — модной смеси мускуса и амбры. Руки у начальника разведки были громадные, волосатые, очень мягкие и теплые. Усаживая молодого человека в кресло рядом с клавесином, он взял его портфель и рассеянно повертел в руках, подавливая в разных местах кожу пальцами. Затем так же рассеянно вернул портфель Штаалю и сам сел, тесно придвинув свой стул к креслу посетителя.

— Чем могу служить? Сердечно буду рад сделать все возможное для его превосходительства,— сказал он улыбаясь,— в углу рта у него сверкнуло золото (это тогда было большой редкостью).— Пожалуйста, подробно, подробно изложите ваше желание. Приказывайте...

Полковник превосходно говорил по-французски, но французская картавость, выходившая у него по-немецки очень растянутой и мягкой, мучительно резнула слух Штааля.

Молодой человек кратко сказал, что просьба его, вероятно, изложена в письме: он хочет перейти линию французского фронта. Выслушав это сообщение, полковник помолчал, как бы ожидая продолжения.

— По какому же делу изволите ехать? — нежно улыбаясь, спросил он наконец, убедившись, что сам гость больше ничего не намерен сказать.

— Дело мое известно британскому военному агенту,— ответил Штааль.

Улыбка полковника расплылась еще нежнее.

— Видите ли, сударь,— сказал он.— Очень легко, конечно, перейти фронт. Но ведь надо знать, *как* вы его перейдете. Ну, хоть в каком платье? Если вы предполагаете *работать* в армии, мы можем вам предложить любой фран-

цузский мундир. Если вы желаете быть *там* гражданским лицом, я бы позволил себе рекомендовать вам республиканский кафтан, хоть карманьолу, что ли. Когда б я имел честь знать лучше ваши намерения, мой опыт мог бы вам очень и очень пригодиться.

— А у вас есть карманьолы? — живо спросил Штааль. Он не раз слышал это слово, но не знал в точности, что такое карманьола: не то песня, не то платье.

— У нас все есть,— сказал, ласково улыбаясь, полковник,— и все в вашем полном распоряжении. Да вот, извольте выбрать сами. Принесите сюда платье,— строго приказал он вежливому разведчику.

Разведчик закивал головой и вышел из комнаты. Штааль, желая избежать расспросов, небрежно рассматривал ноты клавесина.

— Изволите, сударь, знать эту вещицу? — любезно обратился к нему хозяин, наклоняясь над Штаалем и обдавая его снова острым запахом мускуса.— Одна из последних господина Моцарта. Верно, слышали, бедняга не так давно умер. Мы очень с ним были хороши; я ему даже заказал в свое время пьеску для моих часов с музыкой. Хорошенькая пьеска, и покойный недорого взял с меня по знакомству. Надо вам сказать, я очень, очень люблю музыку и еще больше литературу. Особенно Жан-Жака Руссо,— это мой кумир... Жаль, жаль беднягу Моцарта. Теперь у нас остались только братья Гайдны, да еще Сальери. Впрочем, из молодых есть способные музыканты. Родственнице моей дает уроки ван Бетховен,— недавно приехал к нам в Вену, очень, очень способный юноша, хоть большой чудак. И представьте, совершенно не любил в детстве музыки. Но отец порол его до тех пор, пока он не полюбил; теперь славные пишет вещицы и играет очень бойко. Вот что значит хорошее воспитание. Немного старше вас будет... А вы давно изволите состоять на секретной службе?

— Не очень давно,— ответил Штааль.

Вежливый разведчик, слегка запыхавшись, вернулся в комнату и раскрыл на столе большой чемодан с какой-то короной на потертой зеленой коже. В чемодане лежало несколько свертков в белой чистой бумаге, аккуратно заколотой булавками, как у прачек. Полковник поднялся с места, взял один сверток, взглянул на пометку, сделанную на бумаге синим карандашом, и вытянул булавки.

— Ну, вот штатский костюм, парижского кроя, на ваш рост как раз подойдет,— сказал он, обмеривая Штааля

взглядом. Только при этом Штааль заметил, какого огромного роста был начальник разведки, показавшийся ему в первую минуту лишь очень грузным. Круглые плечи его были так широки, что на них могли бы уместиться четыре головы.

— Как раз на вас костюм, точно по мерке шит,— повторил полковник и вдруг бросил сверток на стол. Лицо у него сразу совершенно переменилось; старый шрам на щеке выделился розовой полосой, а голубые глаза внезапно стали темно-стеклянными и страшными.

— Что за ослы! — сказал он по-немецки разведчику, не повышая голоса (разведчик, однако, вдруг побледнел).— Господи, что за ослы!.. Сколько раз я говорил: перед расстрелом раздевать... Этакое дурачье! Думают, что заштопали шесть дыр на кафтане, так *там* никто ничего не заметит. У *них* жандармы, может быть, получше наших. Не хотят раздевать, так пусть пробавляются одними повешенными. Этакие подлецы! Подводят людей под топор!..

Штааль с невольным ужасом уставился на кафтан. На груди и пониже ее действительно были заметны плохо заштопанные, точно прожженные, круглые дыры.

— С тех двух, что утром повесили, где платье? — резко спросил своего подчиненного полковник.

— В чистке, еще не успели...— ответил вежливый господин, не сводя глаз с начальника.

Полковник повернулся к Штаалю. Стеклянные глаза мгновенно приняли прежнее наивно-добродушное выражение. Заметив ужас на лице молодого человека, начальник разведки усмехнулся.

— Понимаю, сударь, ваши чувства,— сказал он,— я и сам очень, очень чувствительный человек... К несчастью, нам трудно заказывать для наших сотрудников новое платье: ни денег, ни времени нет, да и покроя так не подделают. Военных мундиров у нас сколько угодно — пленных, слава Богу, достаточно, а насчет карманьол хуже. Берем, где можем. Вот сегодня два комиссарчика нашлись, задержались как-то в Брюсселе... Вещи повешенного, как вы знаете, приносят счастье... Впрочем, если вы брезгуете, мы найдем вам новенькую карманьолу. Ну, хоть эта,— видите пометку,— взята в чемодане.

Полковник развернул другой сверток и вынул из него, потряхивая и поглаживая, черную шерстяную блузу, такие же брюки, трехцветный жилет и красную шапку. Штааль смотрел на огромные, волосатые руки полковника и представлял себе в них тонкую человеческую шею, а над ни-

ми высунутый язык. Устыдившись обнаруженной нервности и подавив в себе ужас, он спросил равнодушным голосом:

— Это и есть карманьола?

— Самая настоящая карманьола,— ответил весело полковник.— Черная грубая шерсть — символ республиканской простоты нравов. Идеи Жан-Жака Руссо, очень, очень гуманные идеи и с большим будущим. Великий человек был Жан-Жак. Изволили читать «Новую Элоизу»?.. Какая прекрасная вещь!.. Впрочем, теперь в Париже революционеры-модники носят шелковые карманьолы. Очень, очень красиво, только дорого стоят, много дороже наших кафтанов. А по росту, жаль, тот кафтан пришелся бы лучше; ну, да можно перешить. Вы когда изволите ехать?

— А как же мне ехать-то? — спросил Штааль.

— Чего же проще! Здесь застряло много всякого народа, и кто мирный человек, мы тех не задерживаем, особенно теперь. Хочешь во Францию? Ну и ступай во Францию, покричи там еще немного: «Да здравствует республика!» — скоро будешь кричать: «Да здравствует король!» Лишь только наши войска займут пограничную линию,— а об этом, как вы изволите знать, полковник Макк заключил соглашение,— сейчас и начнем выпускать желающих. У *них* на фронте теперь тоже контроль не очень строгий. Армейщина, что они понимают! — с презрением заметил полковник.— В тылу, особенно в Париже,— этого не скажу: там гораздо труднее. Там не юнцы какие-нибудь, а старые настоящие полицейские,— остались от покойного короля. Ну, да ведь у вас паспорт, вероятно, вполне надежный?

— Вполне надежный.

— А то, если вы не совсем уверены, мы могли бы дать наш.

Полковник помолчал, вопросительно глядя на Штааля, и затем, снова не дождавшись ответа, спросил:

— Так карманьолу прикажете вам доставить?

— Да, я возьму ее с собой,— поспешно сказал Штааль.— И военный мундир тоже, на всякий случай,— ну, волонтера пехоты или другой, все равно. Что это стоит? — задал он вопрос, вынимая бумажник.

— Ничего не стоит,— ответил, улыбаясь, полковник.— Мы обслуживаем наших союзников бесплатно... А нам вы ничего не будете сообщать? — быстро спросил он.— Приятно было бы поработать вместе. Мы, кстати, платим не хуже англичан, кому даже и лучше. Люди, работающие у наших союзников, нам особенно интересны,— сказал он многозначительно, подчеркивая каждое слово, и опять по-

молчал.— Тоже, если вы пожелали бы посылать ваши донесения через нас, мы охотно возьмемся доставлять их: всегда с удовольствием оказываем услуги...

— Так как же мне перейти фронт? — спросил сухо Штааль, стараясь не смотреть на это лицо с ласковой, сверкающей золотом улыбкой.

— Не беспокойтесь, я вам дам пропуск. Вы с ним проедете дня через два в наш пограничный пункт, ну хоть в Турне, и явитесь там к коменданту. Он вас и отправит с первой же партией... Пропуск как прикажете написать?

Штааль, быстро подумав, назвал свою настоящую фамилию, но почему-то счел полезным изменить ее орфографию.

— В письме его превосходительства не совсем так написано,— сказал полковник, вставляя имя в бланк пропуска.— Генерал, верно, ошибся... Костюмы с собой захватите? А то мы можем доставить на дом, чтобы вам не утруждаться? Ну, как знаете... Заверните,— приказал он вежливому разведчику.— Вы еще дня два пробудете здесь? Если пожелаете меня видеть, весь к вашим услугам. Очень, очень приятно было бы с вами поработать... Но и просто, без дела, рад буду случаю поговорить,— о музыке, о литературе... Имею честь кланяться, чрезвычайно рад был познакомиться.

Он приветливо пожал руку Штааля. Вежливый разведчик с двумя свертками проводил молодого человека до ворот. Когда они спускались по лестнице, сверху из салона снова послышались звуки клавесина. На этот раз полковник играл не Моцарта. Он играл, тоже с большим чувством, революционную песню марсельских волонтеров, которую уже слыхал Штааль и которая начиналась словами: «Allons, enfants de la patrie!» [1]

XX

Восьмидольного формата тетрадь, купленная в Английском магазине, была извлечена наконец из чемодана. Штааль засветил две свечи в своем номере брюссельской гостиницы. Красный сафьян переплета тетради, ее превосходная толстая бумага с золотым обрезом, высокое покойное кресло и жарко растопленный камин манили к письменному столу.

«Письма русского путешественника» уже в ту пору по-

---

[1] «Вперед, сыны Отечества!» *(франц.)* — первая строка «Марсельезы».

явились на страницах «Московского журнала», и Воронцов в Лондоне познакомил с ними Штааля, отозвавшись, впрочем, довольно сдержанно об их авторе. Молодого человека поразило содержание писем Карамзина. Правда, в жизни ему не случалось встречать столь тонко и благородно чувствующих людей. Но он знал, что литература совершенно не похожа и не должна быть похожа на жизнь. Зато стиль книги показался ему недостаточно возвышенным, иногда чуть ли не разговорным, местами просто *подлым*. Не нравились Штаалю, казались нерусскими и разные новые словечки, вроде слова «промышленность», которыми явно щеголял изобретавший их в большом количестве сочинитель Карамзин. Не нравилась вся форма карамзинской речи. Сам Штааль намеревался писать свои мемуары столь же чувствительно и тонко, но гораздо более литературным, отборным и благородным языком. Однако он порою сбивался со старого слога на новый, ибо слишком усердно читал в последние дни захваченный в дорогу «Московский журнал». Не желая подражать Карамзину, Штааль отказался от формы писем к друзьям. Тетрадь должна была заключать в себе его интимный дневник. Разумеется, он твердо рассчитывал, что этот интимный дневник будет скоро напечатан и составит ему громкое имя.

Штааль старательно фигурными буквами вывел слова «Журнал путника» и нарисовал виньетку, которая изображала качающуюся в волнах парусную лодку: парус казался ему, как всем молодым людям, чрезвычайно поэтическим образом. И виньетка, и фигурные буквы вышли недурно (путник в училище имел по рисованию двенадцать); а все же до их появления сафьяновая тетрадь была как будто лучше. Штааль вздохнул и принялся писать, изредка отрываясь от тетради, чтобы поправить свечу. К концу вечера, после мучительной работы и долгих выправлений, первые страницы приняли следующий вид (в небольшом *предуведомлении* замечалось, что клочки и лоскутки сии едино для себя и прямо набело писаны были, и тиснению никогда не будут преданы):

«Места королевств европейских нашел я совсем отменными от наших. Города и селы выстроены изряднехонько; домы хоть поменьше иных санкт-петербургских, но гораздо опрятны; везде фабриканты и мануфактуры; пространства рек покрыты кораблями и протчими судами, а в горенке трактира готова для путника чистая постеля. Фуры немецкие цугом и аглицкие кибитки возят изрядно, постильоны учтивы и лишнего не берут. Улицы городов, в низких ме-

стах и дороги, мощены, а инде возвышены родом плотин. На рощицы и долины, где нежный ветерок струит светлую воду, без приятного удовольствия смотреть не можно. Видны ландшафты, достойные, по красоте натуры, кисти Клод-Лорреневой. Возымел я увышеннейшее мнение об Европе... А все же, хоть почитают нас сущими варварами, но коли что, замечем неприятеля даже шапками...»

Описав в общих чертах Европу и пожалев о кляксе, пришедшейся как раз на Клод-Лорреневу кисть, Штааль перешел к впечатлениям самых последних дней, хотя первоначально собирался рассказать всю историю своего путешествия.

«Не мог я довольно начудиться измене славного Дюмурьеза. Такова необыкновенная и не имеющая еще себе примера поступка хоть нам и весьма полезна, но не дает ему повода славиться ею. В Неервиндской баталии потерпел сей искусный вождь великий урон, и войски его ретировались в довольном беспорядке... Нельзя, чтобы пролитие столь многой человеческой крови пропало тщетно и без кары достодолжной осталось. Но, о! кто же в оном перед Создателем винен? Не ведаю, что сказать об удивления достойной революции французов. Ужли могут быть извергами сыны Дидерота и Вольтера? Ужли клевещет на оных вся Европа? Как обе стороны желают приписать врагу вину, то обе многое лгут. А все же самую истину не утаят от глаз света. Рассудит некогда Филантроп-Космополит, выспренной пиит, аки Расин, Шакеспеар или отечественный Херасков, некакой глубокомысленной мудрец, аки Иммануил Кант, которого мне не забыть мудрой, потрясшей душу беседы, иль новый Мендельзон, сей метко названный Карамзиным иудейской Сократ...

Две фасы волны видел я в сии дни. Нельзя быть славнее одной! Сколь ужасна другая! Мил и любезен сердцу юный пылкий Дитерихс. Но как жалок сей шеф полиции кесарских войск, коего не могу вспомнить без внутреннего содрогания сердца!

В красный день при наивожделеннейшей погоде из окна кофейного дома зрел я как на ладони шествие цесарского генерал-фельдмаршала. Улица, кровли и окошки домов были усыпаны упражнявшимся в приятных увеселениях народом обоего пола, хотящим видеть сию поразительную церемонию. Прежде всех маршировали фурьеры с распущенными значками при предводительстве квартермистеров. Потом шел штат, и ведомые заводные разношерстные лошади, прыгая,

играли ногами. На оных расписанные разноманерные попоны из шелка с вензеловыми именами производили отменно приятный вид. Дале везены были пушки, у коих дулы прикрыты медными сковородами. За ними следовал сам цесарский принц Фердинанд-Иосий Кобургский в провожании прочего генералитета и знатных чиновных людей. За оным с барабанным боем и играющею военною музыкою проходили войски, и стекла кофейного дома возгремели от трубного играния и барабанного звука. Но о! вперившееся в меня люто воображение, что из шествующих столь многих людей весьма многие не возвратятся в милое отечество, но положат головы на чужбине, сраженные вражеской пулей, и неизвестность, кто и кто, по воле Промысла божеского или, собственнее сказать, судьбы, подвергнется сему славному, но плачевному жребию, и протчие тому подобные тяжкие помышления уменьшали много моего удовольствия, воспаляя душу, и несказанно вздыхал я от тленности всего подлунного!..

Ах, есть другая фаса!.. Отъехав вчерась из Брюсселя для наслаждения сельской натурой, видел я, проезжая, ряд поставленных виселиц с телами... Я вострепетал, и ужас разлился по холодным жилам... Пусть винны сии преступники, но как ужасно зрелище их участи. Ничтожные изменники иль малые люди, служившие своему отечеству, казнены, но чья рука коснется могущей главы Дюмурьезовой? Раздувшиеся тела висели обнажены, и черви изъедали кожу... А птички порхали тут же, наслаждаясь сладким бытием («кажется, птичек не было»,— подумал Штааль, не отрываясь от тетради)... Да будет благословенна память Елисаветы, отменившей навсегда в отечестве смертную казнь. Не к чести народов свирепые сии варварства... В протчем, для устрашения измены, оные государствам полезны...

Увы! и сам иду я, быть может, на известную смерть. Но все же льстительные надежды бодрят паки унылое сердце...»

Штааль перечел написанное и в общем остался доволен своими мыслями и слогом. Ему даже казалось, что он совершенно искренне изложил — правда, в возвышенной литературной форме — свои действительные мысли и чувства. Штааль встал, прошелся по комнате, снова сел за стол и написал еще несколько строк:

«Из женщин в сием городе многие весьма прекрасны. Вчерась с одной, нарочитого возраста белокурой и нежной девицей я куртизировал поздно. Она мила и нещастлива.

Похожа лицом оная на *Нощь* славного рещика Микеля-Ангела, а телом на *Прозерпину* Рубенса, которого по справедливости почитают фландрским Рафаилом».

XXI

В назначенный день, часам к девяти утра, Штааль подъехал в нанятой простой тележке к дому, в котором помещался комендант пограничного с Францией городка Турне, занятого имперскими войсками. У ворот дома стояли огромная фура, две кибитки и десяток запряженных волами телег. Все это было завалено корзинами, сундуками и разным скарбом. На улице у крыльца, во дворе и на входной лестнице толпилось около сотни французов. Они говорили между собой мало и вполголоса. Чувствовалось обычное настроение плена,— плохо скрываемый страх и старательно скрываемая злоба. Несколько говорливее и бойчее других казались люди, толпившиеся вокруг большой фуры: это были актеры бродячей труппы, застрявшей в Бельгии после отступления Дюмурье. Они иногда шутили и смеялись. Один из них заучивал вслух какие-то стихи. Семейные люди, теснившиеся у своих телег, с любопытством, но не без пренебрежения посматривали на скоморохов.

Имперские власти задерживали только подозрительных людей, а большинству желающих довольно легко выдавали пропуск. Около десяти часов на крыльце появился помощник коменданта. Он быстро проверил по своему списку бумаги отъезжающих (не назвав вслух ни одного имени) и пожелал доброго пути. Из ворот дома выехала небольшая кибитка, к козлам которой был прикреплен на высоком древке белый флаг. В ней сидел австрийский фельдъегерь; у него между коленями стояла большая медная труба. В толпе послышались радостные возгласы. Все бросились размещаться по повозкам, точно боясь опоздать. Актер, репетировавший роль, повторил последний стих, захлопнул тетрадь и полез на самый верх фуры. Штааль сел в свою тележку, которая заняла в поезде второе место, за кибиткой фельдъегеря.

В это время к крыльцу подошел старый, довольно бедно одетый человек, державший в руке с очевидным трудом небольшой потертый чемодан. Он озадаченно посмотрел на уходившего помощника коменданта и хотел, по-видимому, что-то сказать, но не сказал ничего. Штааль еще раньше обратил внимание на этого человека: он в ожидании отъезда сидел во дворе на тумбе и читал книгу, ни с кем не за-

говаривая и не обращая внимания на попутчиков. Ему можно было дать лет шестьдесят пять или даже больше. Лицо у него было желтое, утомленное, как будто восточного типа, глаза недобрые и холодные.

Увидев, что размещение партии закончилось, он осмотрел поезд, встретился взором со Штаалем, и, подумав, направился к нему тяжелой усталой поступью.

— Милостивый государь,— сказал старик Штаалю,— обращаюсь к вам с большой просьбой. Я почему-то предполагал, что имперские власти будут переправлять нас в своих фурах, и не запасся никаким экипажем. Отдельный экипаж был бы мне и не совсем по карману. Все телеги переполнены, только вы едете один. Не разрешите ли вы мне занять место рядом с вами? Разумеется, я готов понести часть вашего расхода по найму этой тележки. Вещей у меня, как видите, немного, а спутник я очень удобный: могу и поговорить и помолчать, в зависимости от вашего желания...

Старик говорил с такими внушительными интонациями и имел такой почтенный вид, несмотря на бедную свою одежду, что Штаалю не пришло в голову отказать, хотя в его положении было бы благоразумнее переезжать фронт не в обществе совершенно неизвестного ему человека. Но это он рассудил потом, а старику немедленно ответил согласием и дал вместе с тем понять, что никакой платы не требуется. Старик чрезвычайно учтиво поблагодарил и не без труда взобрался на тележку. Штааль взял его чемодан, который оказался очень легким. Извозчик-фламандец, не знавший ни слова по-французски, быстро заговорил на своем наречии, возмущенно показывая пальцем на старика и на свою лошадь. Кто-то с соседней фуры перевел слова извозчика: он заявлял, что нанимался везти одного седока, а не двоих: двоих его лошадь по такой дороге и не повезет. Штааль и старик в один голос обещали добавку к плате. Фламандец мгновенно успокоился, и тележка тронулась. Поезд, приноравливаясь к медленному ходу возов, запряженных волами, пошел шагом. Актеры, фура которых была запряжена рослыми, крепкими лошадьми, недовольно поглядывали на волов и, подражая крестьянскому говору, отпускали иронические замечания по адресу попутчиков. Кто-то сказал, что до французских линий не добраться этим ходом и к трем часам дня.

Желая уже в дороге несколько войти в роль человека, путешествующего под чужим именем, Штааль представился своему спутнику. Тот выразил большое удовольствие по

случаю знакомства с американским гражданином Траси, назвал свое имя: Пьер Ламор — и, перейдя на английский язык, сообщил, что был когда-то в Америке. Штааль, чрезвычайно смутившись, по-английски объяснил, что сам он, собственно, родом из Канады. Пьер Ламор усмехнулся. Усмешка у него была такая же, как глаза: недобрая и холодная.

— Милостивый государь,— сказал он снова по-французски,— вы сейчас, вероятно, немало интересуетесь моей личностью. Если вы не в ладах с французскими властями, вас справедливо может тревожить вопрос о том, не шпион ли ваш покорный слуга. Если же, наоборот,— извините меня,— вы — шпион (чего я, разумеется, не думаю), то для вас существенное значение имеют мои отношения к французским властям. Прошу вас не тревожиться понапрасну. Вы для меня — человек, очень мило и без всякой выгоды оказавший мне большую услугу,— это люди делают чрезвычайно редко. Вы не француз, хотя прекрасно говорите по-французски. Принимаю к сведению, что вы — американский гражданин Траси. Лицо ваше внушает мне доверие, а так как я не без основания считаю себя знатоком человеческих лиц, то никак не предполагаю в вас доносчика, даже если вы не американский гражданин и не Траси. Весьма возможно, что и Пьер Ламор — не совсем настоящее имя вашего покорного слуги. Теперь очень много так называемых порядочных людей находится по разным причинам в необходимости путешествовать под чужим именем. Я разоблачением этих людей не занимаюсь, ибо помимо всего прочего у меня есть другая забота. Не скрою от вас, хоть это, вероятно, внесет некоторый холодок в нашу приятную беседу, не скрою от вас, я неизлечимо болен,— не прилипчивой болезнью, милостивый государь,— и жить мне осталось, по всей видимости, очень недолго. Помнится, поэт, никогда ни о ком не пожалевший в жизни, величайший эгоист и циник литературы, писавший, по собственным своим словам для публичных женщин, сказал: «Solamen miseris socios habuisse malorum»[1] (думаю, что вы понимаете по латыни, милостивый государь?); но я это утешение склонен считать весьма слабым — и близость собственной моей смерти не вызывает во мне особого желания сокращать жизнь дорогих «ближних». А потому вы можете быть совершенно уверены, что я на вас доносить никому не стану.

Весь этот длинный и гладкий монолог старик произнес очень уверенно и неторопливо.

[1] «Утешение несчастных в беде обретает союзников» (*лат.*).

— Позвольте, я и не предполагал,— сказал озадаченный Штааль.

— Жаль, что не предполагали, милостивый государь. Поверьте, в ваших интересах предполагать a priori [1] негодяя в каждом новом человеке.

Штааль минуты две не находил темы для продолжения разговора.

— Вы чем же больны? — догадался спросить он наконец.

— Не знаю,— ответил не сразу старик.— По-видимому, какой-то сложной (повторяю, совершенно не заразительной) болезнью разных органов: печени, желудка, почек, вероятно, чего-то еще. Один врач лечит почки и вредит этим желудку. Другой пытается излечить желудок и губит печень. Так ведь у них всегда. Лечить человека невозможно. Сегодня врачи объявляют вредным то, что вчера признавали спасительным. Медицина, как объяснял мне когда-то Гольбах (большой был шарлатан, а в этом он, кажется, не ошибался), медицина должна основываться на физике и на химии. Но на чем основаны физика и химия? Прежде, когда я учился, ученые были помешаны на флогистоне. Теперь Лавуазье, назло Сталю, отменил флогистон; однако никто из моих учителей не вернул мне денег, которые они, стало быть у меня украли. Я утешаю себя мыслью, что лет через сто или двести будет опять флогистон или нечто в этом роде... Если таковы физика и химия, воображаю, что такое ятрофизика, ятрохимия или как там еще называют медицину... Правильнее всего было бы, разумеется, вовсе не ходить к врачам. Но так как лечение — одно из любезнейших удовольствий человека, то ради этого удовольствия приходится жертвовать здоровьем. Я лечился у всех врачей и теперь в Париже тоже непременно обращусь к знаменитостям. Кажется, лучшими докторами сейчас считаются Дезо и Пипле? Вот к ним и пойду, пусть травят меня каждый по-своему. Воображаю, как они ненавидят друг друга, эти самые Дезо и Пипле! — добавил старик, неприятно засмеявшись.

— Вы для того и едете в Париж, чтобы лечиться?

— Вопрос ваш основателен. Конечно, теперь только ненормальный человек может ехать без необходимости в дом умалишенных, именуемый Парижем. Ненормальный человек или еще, пожалуй, философ, желающий изучать людей в естественном состоянии. Бугенвиль для этого ездил на

[1] Заранее (*лат.*).

остров Таити. Зачем я еду в Париж? Видите ли, люди почему-то любят умирать там, где они родились, и я не составляю исключения. Рискую я, впрочем, очень немногим. При некоторой неудаче меня, во имя свободы, посадят в революционную тюрьму. Беда будет невелика. В тюрьмах теперь сидит аристократия породы и службы; скоро туда будет посажена аристократия ума и таланта. Мне, право, приятнее умереть в Консьержери, чем в скверной наемной комнате фламандского или немецкого лавочника, который будет все время явно и неприятно озабочен формальностями, связанными с моей близкой смертью. Разумнее всего, пожалуй, было бы (хотя я в этом не совсем уверен) — использовать остающиеся мне дни для того, чтобы выследить и пристрелить, как собаку, Марата, Робеспьера или другого революционного негодяя — из тех, что покрупнее («Кажется, это агент-провокатор»,— подумал, сразу насторожившись, Штааль). Какого-нибудь Лепелетье Сен-Фаржо совершенно не стоило убивать. Лепелетье был, разумеется, прохвост, как почти все революционеры, или вернее, как почти все люди; но прохвост он был довольно безобидный и уж, конечно, недостаточно знаменитый, а потому его убийца, покойный Николай Пари (тоже был молодчик не из лучших), наверное, не станет в истории рядом с Брутом или Равальяком. Убийце Марата, напротив, было бы обеспечено то, что принято обозначать нелепым словом: бессмертие. Но какого рода бессмертие,— на этот счет у меня большие сомнения... Не заключите, милостивый государь, из моих слов,— добавил со своей неприятной усмешкой старик,— что я принадлежу к так называемым шпионам-провокаторам и желаю вовлечь вас в преступную беседу.

— Вам было бы трудно,— ответил сдержанно Штааль,— я совершенно не согласен с тем, что вы говорите.

— Да я вас ни о чем и не спрашиваю. Я высказываюсь сам. Это, конечно, неосторожно, но жизнь давно сделала меня фаталистом. Под гильотину можно угодить и хваля революцию, и ругая ее, и совсем о ней не говоря. А в общем, революция, вероятно, отправит на эшафот больше революционеров, чем реакционеров. Я, впрочем, нисколько не реакционер. При старом строе тоже мерзавец сидел на мерзавце, а главное осел на осле. Только теперь все гораздо заметнее: произошло самое скверное из аутодафе,— сожжение фиговых листочков. Люди чувствуют время от времени потребность скинуть с себя совершенно все цепи так называемой культуры. Очень может быть, что эта потребность вполне законна и для чего-то необходима природе... Нашу

революцию в 1789 году дураки с восторгом называли бескровной; теперь они ее ругают, потому что она стала кровавой... Этакие ослы!.. Всякая революция по самой природе своей ужасна и другой быть не может. В душе человека дремлют тяжелые страсти: зависть, жестокость, тщеславие, жажда разрушения, да просто жажда зла во всех его формах. Закон, власть, государство только для того и нужны, чтобы сдерживать зверя железом. Этот старый распутный идиот — я имею в виду Жан-Жака Руссо — что-то лепетал об естественном состоянии людей. Вот бы ему теперь воскреснуть,— пусть бы полюбовался, а? Если человек на пятьдесят лет вернется к своему естественному состоянию, то мир превратится в окровавленную пустыню. К счастью или к несчастью, люди возвращаются к естественному состоянию не на столь продолжительное время. Им скоро и это надоедает. Но потребность стать дикарем неискоренима в человеке, и ей Господь Бог дает выход либо в форме войны, либо — гораздо реже — в форме революции. По природе война и революция совершенно тождественны, только первая привычнее людям и вызывает меньше удивления. Осуждать террор во время революции не менее глупо, чем осуждать убийство во время войны. Бескровная революция такая же смешная нелепость, как бескровная война...

— Есть разница между войной и революцией,— возразил Штааль.— Во время революции убивают не чужого врага, а своих соотечественников, людей своего народа.

— Полноте, милостивый государь,— возразил старик.— Поверьте, своих соотечественников, людей своего народа, убивают во время революции с гораздо большим удовольствием, чем внешнего врага во время войны. В гражданской войне ненависть много острее и жестокости всегда больше. Разница не в этом... Разница, если хотите, в другом. Революция гораздо безобразнее войны. В революции все антиэстетично: бой без знамен и без кавалерийских атак; вожди без шпаг и мундиров; грязная толпа без дисциплины, а особенно разливное море слова — и какого скверного, бесстыдного слова: я революционных газет просто не могу читать; каждая их страница мне представляется переложением Руссо, написанным малограмотной горничной... Но сердиться на революцию — все равно что сердиться на Лиссабонское землетрясение.

— Помилуйте, сударь, чем же виноват Руссо? И я его не люблю, но вы подставляете «зверство» под «естественное состояние». Это совсем другое,— сказал Штааль и покраснел от гордости.

— Другое? Нет, не другое. Помните, Вольтер шутил, будто ему при чтении Руссо хотелось стать на четвереньки и побежать в лес. Старый циник был совершенно прав. Теперь Франция — сплошной дремучий лес, населенный разбойниками, причем в главной, атаманской берлоге заседают ученики Руссо. Это и есть естественное состояние человеческого рода... А вот при чтении романов Вольтера мне, когда я был помоложе, хотелось сесть на извозчика и поехать в публичный дом, ха-ха-ха... И вам, верно, хотелось того же, милостивый государь, да только вы не скажете, ибо Вольтер — просветитель, борец за прогресс и кумир молодого поколения... Я хорошо знал Вольтера, милостивый государь, и могу вас уверить, что не было большего реакционера в *душе*, чем этот великий словоблуд-«просветитель». Нынешние революционные болваны непременно отрубили бы ему голову,— и по-своему были бы совершенно правы...

— Эти революционные болваны, милостивый государь, однако, заставляют трепетать всю Европу.

— Я потому-то и сомневаюсь насчет того, какова будет слава, ожидающая убийц Марата и Робеспьера. Я убежден, что после гибели революционеров,— а они едва ли умрут естественной смертью,— вокруг них создастся грандиозная легенда. Я-то знаю, я современник, что они за люди; слава Богу, имею честь быть лично знакомым с большинством современных знаменитостей: некоторых знал и до того, как они стали знамениты: все они тогда, до революции, были совсем другие... Марат служил ветеринаром у графа д'Артуа, ха-ха-ха... Дантон писал свою фамилию d'Anton. Но через двадцать пять лет их будут знать немногие, а через сто лет — никто. Легенда уже начинает создаваться. Как вы сказали? «Заставляют трепетать Европу»?.. «Гиганты Конвента», правда? Римские души!..

Он долго и весело хохотал.

Штааль вспомнил, что нечто подобное говорил на рауте у Воронцова епископ Отенский. Но тот как будто защищал Революцию. Странно... Штаалю захотелось возражать.

— По-моему, вы совершенно ошибаетесь,— сказал он.— Именно нам, современникам, трудно судить о событиях и о людях революции. Мы слишком пристрастны. Надо отойти на расстояние от того, что происходит. Все выяснит суд истории.

— Нет суда истории,— сказал Пьер Ламор.— Есть суд историков, и он меняется каждое десятилетие; да и в течение одного десятилетия всякий историк отрицает то, что говорят другие. Это те же Дезо и Пипле... Поверьте, найдут-

ся ученые, которые ради оригинальности мысли (за оригинальность мысли ученым платят деньги) или, еще лучше, по искреннему убеждению будут доказывать в многотомных сочинениях, что Марат и Робеспьер были невинные ангелы, оклеветанные пристрастными современниками... Нет, милостивый государь, правду знают одни современники, и только они одни могут судить. Поверьте, для истории нужно лишь иметь успех, хоть и не очень долгий, проявить силу да нагромоздить вокруг себя возможно больше трагических штучек, все равно каких. Чем больше политический (особенно революционный) деятель прольет крови, тем больше чернил и слез прольют в его оправдание умиленные дураки потомства. Почти все памятники воздвигнуты или там, где стояли исторические эшафоты, или там, где жили исторические палачи... Какую огромную услугу оказал «гигантам Конвента» добрый, милый доктор Жозеф Гильотен,— если правда, что машина, которая рубит головы в Париже, построена по его плану... Я знаю этого доктора, он очень хороший человек, едва ли не лучший из них: это один из тех чудаков, которые не только говорят, но и думают о благе «ближних». «Декларацию прав человека и гражданина» породили зависть, тщеславие, донкихотство, всего больше та же блудливая страсть к слову. А вот гильотину свою доктор Гильотен изобрел от искренней любви к людям. Теперь он, кажется, изобретает какие-то прививки... Надо будет и у него полечиться, пусть что-нибудь мне привьет.

— Да вы, сударь, мизантроп, настоящий Альсест,— сказал, смеясь, Штааль.

— Альсест? Какой же Альсест мизантроп? Это Мольер пошутил. Разве настоящие мизантропы возмущаются и негодуют? Они констатируют... Сам Мольер был гораздо больше мизантроп, чем Альсест... Он вообще был великий гений, может быть, самый гениальный из писателей. Знаете, Мольер, кажется, ни разу в жизни не задумался над вопросом о смерти... На это способен только или очень глупый человек, или природный обитатель Олимпа... Жаль, что он жил в скучное время. Нынешняя революция еще ждет своего Мольера... Тартюф и Жорж Данден — это революционные герои. Я об одних гигантах Конвента говорю: «Que diable allait-il faire dans cette galère!», а другим — с особым удовольствием замечу, когда их повезут на эшафот: «Vous l'avez voulu, Georges Dandin!..» [1]

[1] «Кой черт понес его на эту галеру?» (Эту фразу повторяет не Тартюф, а Жеронт, персонаж комедии Мольера «Плутни Скапена») ...«Ты сам этого хотел, Жорж Данден!..» *(франц.)*

— Вы помните,— сказал Штааль,— в старинной итальянской поэме «Божественная комедия», автора — его зовут Дуранте Алигьери — водит по аду римский поэт Вергилий. Так и меня теперь вводит в царство революции муж всеведущий и строгий.

— Хоть я и не всеведущ, сударь, а Данте знаю хорошо и люблю не слишком. Голова у него, кажется, была слабая. Уж очень смешно себя описал... Сегодня гвельф, завтра гибеллин... Был влюблен в какую-то Беатриче и все дрожал, дрожал,— вдруг Беатриче умрет. Наконец сглазил: Беатриче умерла. Вот бы и ты отправился за ней. Нет, он немедленно утешился с другой девкой, с Пьетрой. А потом еще на ком-то женился... Смешно... И, верно, умывался он раз в неделю, а Беатриче та, должно быть, совсем никогда не умывалась... Да и поэт он не в моем вкусе, хотя, вероятно, очень хороший. Я никогда не мог читать его без скуки и сомневаюсь, милостивый государь, чтобы читали без скуки вы. Философия у него детская и глупая, даже для его времени: время, кстати, было не детское и не глупое. А вспомнили вы сейчас Данте, быть может, и кстати. Вы едете в восьмой круг «Ада». Помните, как там аккуратно, по отдельным рвам, сидят грешники: льстецы, колдуны, взяточники, воры, обманщики, возмутители, кажется, кто-то еще. Эти шесть рвов — весь Якобинский клуб. А в девятом кругу, где жарятся изменники,— Брут под ручку с Иудой, ха-ха-ха! Брут и Иуда!.. — там как раз место для всей нашей эмиграции... Теперь туда бы еще и добчестного генерала Дюмурье.

— А вы что думаете о генерале Дюмурье? — спросил Штааль, желая использовать новое знакомство в интересах миссии.

— Ничего хорошего, сударь.

— В этом я не сомневался, судя по предыдущим вашим замечаниям,— сказал с улыбкой Штааль.— Но не полагаете ли вы, что переход Дюмурье на сторону союзников быстро положит конец французской революции?

— Нет, этого я никак не полагаю,— ответил старик.— Дюмурье очень талантливый человек, но у него в голове, по-видимому, не все в порядке, по крайней мере в настоящее время... Он совершенно правильно рассудил, что революции положит конец революционная армия. Это верно. Спасение, бесспорно, придет оттуда (старик показал широким жестом руки вперед — в ту сторону, где могли находиться французские войска). Но, во-первых, момент едва

ли наступил; еще не все обогатились на счет революции, кто мог на ее счет обогатиться: не все разграблено, не вся отобранная у помещиков земля перешла к новым владельцам и не всем революция опротивела в достаточной мере. Во-вторых, государственные перевороты, особенно во Франции, не делаются по открытому соглашению с внешним врагом. Французы, как все народы, не любят и боятся иностранцев. Один вид мундира этого господина (Пьер Ламор показал на сворачивавшего впереди имперского фельдъегеря) губит популярность Дюмурье. Наконец, в-третьих, генералам рекомендуется устраивать такие дела после побед, а не после поражений. Дюмурье *должен был* сначала выиграть битву при Неервиндене... Жаль, очень жаль... Он, вообще говоря, был подходящий человек для дела Превосходный генерал — раз, умен, хотя не совсем того (старик повертел пальцем перед лбом) — два; очень храбр — у него двадцать две раны — три; большой подлец — четыре. Последнее, пожалуй, главное,— сказал с одобрением старик.— Такого прохвоста нам и нужно.

— Неужели знаменитый Дюмурье просто подлец? — спросил Штааль.

Старик опять засмеялся:

— О да, лучше подлеца и желать нельзя. Вообще, верьте старому человеку, милостивый государь есть честные генералы, есть честные революционеры, но честных генералов-революционеров в природе не существует. Всякий генерал, объявляющий себя революционером, непременно обманщик и прохвост. А Дюмурье, можно сказать, прохвост из прохвостов. Революционный вождь, слуга народа, сокрушитель тиранов, ха-ха-ха! Этот друг кордельеров, жирондистов, якобинцев (кого еще?) в восемьдесят девятом году выработал для короля прекрасный план укрепления и защиты Бастилии... Еще раньше, задолго до революции, он представил Шуазелю на выбор два проекта: план порабощения Корсики и план ее освобождения, ха-ха-ха!.. Корсиканцам предлагал свою шпагу против генуэзцев и генуэзцам против корсиканцев... Одним словом, уж вы не сомневайтесь: подлец самый настоящий, типичный генерал-революционер... Жаль, жаль, что его дело не вышло. Ну, да не он, так другой: все равно спасение придет от них.

— От кого?

— От революционных офицеров. Очень много военных — и недурных военных — пошло на службу к якобин-

цам. Пошли по разным причинам. И умереть с голоду не хотелось (что же знает офицер, кроме своей службы?); и рассчитывали служить отечеству независимо от преходящего политического строя; и коварные замыслы лелеяли: думали, что подурачат якобинцев, а потом, в подходящий момент, сломят им шею. На самом деле до сих пор якобинцы дурачили их. Все эти военные Маккиавелли пока были игрушкой в руках всяких Дантонов. Ныне господа офицеры сами не знают, как им быть: гордиться ли революционной армией или презирать и ее, и самих себя. Ведь теперь многие вменяют в заслугу революционерам, что они «создали армию». Экая заслуга! подумайте, во Франции «создали армию»!.. Да у нас всегда были и будут прекрасные войска. Революционная армия многочисленна и по качеству недурна,— приблизительно такая же армия, какая у нас была при Людовике XIV или при Франциске I. Отчего бы ей стать лучше или хуже? И через сто, и через двести лет у нас будут такие же войска. Но офицеры все-таки сейчас обозлены и унижены. Предприятие Дюмурье — первая попытка реванша с их стороны. Первая попытка обыкновенно терпит неудачу... Но последнее слово еще не сказано. Повторяю, не Дюмурье, так другой. Лет через десять все будет кончено.

— Как лет через десять? — изумился Штааль.

— А так, очень просто. Это наши неизлечимые эмигранты убеждены, что через месяц революция кончится и они вернутся к власти во Франции, перевешав всех мятежников. У власти-то они будут,— эмигранты почти всегда приходят к власти, даже самые глупые,— но очень не скоро. А карать им вряд ли кого придется. Лучшие из революционеров сами себя перережут, а худшие останутся безнаказанными при всяком строе... Я у своих знакомых эмигрантов постоянно спрашиваю: имеете ли вы возможность пережидать за границей без дела лет десять? Тогда храните гордую позу и высоко держите знамя... А если не имеете возможности, то понемногу начинайте утверждать, что в революции далеко не все скверно: есть хорошие начала, здоровые идеи, ценные завоевания, ха-ха-ха!.. Дальше — больше... Не умирать же с голоду...

— А я, признаться, думал, что вы сами эмигрант,— сказал полувопросительно Штааль.

Старик помолчал.

— Sum pius Aeneus fama super aethera notus,— произнес он с насмешкой.— Помните, так Эней скромно представил-

ся Венере: «Я благочестивый Эней, знаменитый превыше небес»... Вы, очевидно, ждете с моей стороны столь же сенсационного представления. Разочаруйтесь. Я — гражданин Пьер Ламор...

— Если это псевдоним, то он звучит слишком зловеще и может обратить на вас внимание жандармов.

— Что эти ослы понимают! К тому же я, как древний ессей, верю в неотразимость судьбы. Это даже единственное, во что я верю...

— Разрешите сказать вам,— начал Штааль,— что ваши замечания меня нимало не убедили. Мне трудно допустить, что французы, самый культурный народ Европы, внезапно стали стадом диких зверей. Мне трудно допустить и то, что из прекрасных идей Вольтера, Дидро, Даламбера могло выйти гнусное, скверное дело. К революции, наверное, присосалось много грязи, много лжи... много дурного. Но в общем высокий и благородный порыв, конечно, сказался в этом неизбежном историческом потрясении. Путь к добру ведет через зло... Слышите, как они там веселятся вот в той фуре? Вы видите,сами, простые люди счастливы возвращению в страну революции. Это обстоятельство красноречивее ваших скорбных замечаний, которые меня, повторяю, не убедили.

— Да я ни в чем вас и не убеждал, милостивый государь,— сказал с досадой Пьер Ламор.— Как я, семидесятилетний старик, могу убедить в чем бы то ни было вас, двадцатилетнего юношу? У нас и истина и ложь совершенно различны,— это в порядке вещей... К тому же какое мне теперь дело до всего, что происходит в мире? Я через несколько месяцев умру, и, поверьте, революция интересует меня неизмеримо меньше, чем, например, сансара, индусское учение о переселении душ. Сегодня я беседую с вами, молодой гражданин Траси, а завтра — кто знает? — может быть, буду говорить с Паскалем или с Платоном... Только там мы о революции говорить не станем... Засим, милостивый государь, полагаю, что утомил вас долгой и ненужной беседой. Да и болезнь моя снова дает себя чувствовать... Простите...

Лицо старика в самом деле болезненно искривилось. Он высунулся из тележки и мимо спины извозчика посмотрел вперед, жадно втягивая в себя весенний воздух полей. Впереди ничего не было видно. Пьер Ламор откинулся на невысокую спинку тележки и утомленно закрыл глаза.

Штааль, поглядывая сбоку на собеседника, думал, кто бы мог быть этот человек, так явно и без толку щеголяю-

щий всевозможными цитатами. Шпион? Конечно, нет... В его годы не занимаются шпионством... Раскаявшийся эмигрант? Разоренный герцог? — Штаалю вдруг показалось, что если б к древнему желтому лицу его соседа приделать длинную седую бороду, то он очень походил бы на одного престарелого еврея, которого все знали в Шклове как ученейшего из раввинов.

Мысли Штааля скоро перешли на другой предмет. Озабоченный предстоящим вступлением на французскую территорию, он снова проводил в уме вопросы, возможные со стороны революционных властей, и свои заранее приготовленные тонкие ответы. Кажется, все предусмотрено, опасности нет никакой... Штааль смотрел по сторонам на пустынные ровные поля. Сзади из фуры слышался смех и звон посуды: актеры весело завтракали. Молодой человек задумался об актерах, об их странной кочевой жизни. Среди них он, во дворе коменданта, видел молодую хорошенькую женщину. С кем она живет? С одним? Со всеми? Или ни с кем? Штаалю вдруг стало грустно, но ненадолго. Скоро он задремал.

Его разбудил толчок остановившейся тележки и громкий звук трубы. Он быстро приподнялся. Их возок подошел вплотную к переднему экипажу. Поезд сомкнулся. Впереди в кибитке, у древка белого флага, приложив к губам трубу, стоял имперский фельдъегерь. Пьер Ламор неподвижно сидел, откинувшись на спинку тележки. По темной щеке его, поросшей желто-седым пухом, скатывалась слеза.

Молодой человек с замиранием сердца уставился вперед. В сторонке недалеко от фельдъегеря на высоком столбе развевался трехцветный флаг. По направлению к их поезду, с саблями наголо, поспешно шли люди в странных мундирах. У одного из них был перекинут через плечо широкий шарф. Штааль уже мог разобрать часть надписи, сделанной на шарфе золотыми буквами: «...Liberté... Frater...» [1]

— Стой! Паспорта!..— властно, повышенным голосом сказал человек в шарфе, подойдя к поезду, который и без предписания стоял неподвижно.

Это были французские жандармы. Штааль находился в стране Революции.

---

[1] «...Свобода... Братст...» *(франц.)*.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В домике, расположенном на краю деревушки Пасси, лучше всего была круглая комната верхнего этажа, напоминавшая опрокинутую чашку, и таинственная винтовая лестница, которая вела в нее снизу, хорош был и сад, спускавшийся по откосу к Сене.

Круглой комнатой Штааль был особенно доволен. Ему никогда не случалось жить в круглых комнатах. Домик в Пасси незадолго до Революции богатый откупщик отделал для своей любовницы — не слишком роскошно, но и не скупо. В комнате, оклеенной бумажными обоями, стояла мебель розового дерева работы модного столяра Давида Рентгена, который очень искусно подражал Ризнеру, но брал гораздо дешевле. На этажерке, разукрашенной бронзовыми цветочками, находилось несколько статуэток мягкого Маккеровского фарфора лиможского производства под Севр; на шкафу стоял бронзовый бюст какого-то римлянина (Штааль так и не разобрал, какого именно; все римляне казались ему похожими один на другого); а на стене над неудобным, странной формы диванчиком с вышитыми на спинке игривыми картинками висела засиженная мухами пастель, на которой неразборчивая подпись могла сойти за подпись Латура. Пастель изображала красивую даму с улыбкой на губах и с печалью во взоре (это сочетание тоже было в большой моде). На улыбающуюся даму с другой стены очень хмуро смотрел своими маленькими коричневыми глазками Жан-Жак Руссо. Женевский философ был изображен в пожилом возрасте — в период армянского костюма, книги «Rousseau juge de Jean Jacques» [1] и состояния, близкого к совершенному безумию. Штааль подумывал о

[1] «Руссо судит Жан-Жака» *(франц.)*.

том, чтобы убрать со стены портрет писателя: его начинало беспокоить это мрачное лицо, выражавшее последнюю степень отвращения от всего на свете.

На столе у дивана был приготовлен ужин, подходящий для любовного свидания. По добрым старым заветам, основой ужина были трюфели, которые казались Штаалю, как большинству иностранцев, воплощением роскоши французского стола. В уважение к особым, славившимся в ту пору, свойствам трюфелей, они имелись даже в двух видах — в виде пирога и в виде ratafia de truffes: этим напитком, ванильным ликером с трюфелями, Штааль особенно гордился. Все остальное на столе было тоже очень старательно обдумано и куплено в лучших магазинах.

Домик в Пасси был сдан Штаалю внаем по случаю за бесценок, главным образом потому, что сдавал его не настоящий владелец (настоящий скрывался в бегах). Таких загородных особняков, выстроенных до Революции весело жившими людьми, сдавалось в ту пору немало в Пасси и в Монруже. Между этими двумя деревнями Штааль остановил выбор на первой, ибо по ней протекала Сена, а для любовных встреч вид на реку казался молодому человеку почти столь же нужным, как трюфели. Правда, Сена сама по себе не могла идти в сравнение ни с Днепром, ни с Невою, но все-таки это была Сена, и Штаалю нравилось, что *прозрачные воды тихо струились, журча, под окнами пустынного жилища* (так было записано в красной сафьянной тетради после первого ночного свидания с Маргаритой Кольб). Впрочем, в этот холодный октябрьский вечер журчанья вод не было слышно; шел дождь, и жалюзи уныло колотились о стекла закрытых, затянутых изнутри занавесями окон. В круглой комнате не было камина; зато рядом, в спальной, где стояла постель таких размеров, что на ней одинаково удобно было лежать вдоль и поперек, разгоревшиеся дрова отсвечивались на полу красным пятном. Это золотое дрожащее пятно на полу неосвещенной комнаты, подобно винтовой лестнице, создавало уют и таинственность. «Домик мой будто создан для адюльтера»,— сказал себе Штааль; но тут же подумал, что адюльтером, собственно, нельзя назвать его любовное похождение, ибо ему совершенно неизвестно, замужем ли Маргарита Кольб. Да и вообще ему ничего о ней не известно.

Штааль сел на диван под пастелью и встретился глазами с Жан-Жаком Руссо, который из-под меховой шапки посмотрел на него с крайним отвращением и затем как будто даже отвернулся. Молодой человек тотчас пришел в дур-

ное настроение. Мысли его приняли неприятный оборот (вдобавок он чувствовал себя в этот день скверно).

Он все меньше понимал, какие отношения связывают его с Маргаритой Кольб. Она была его любовницей, но он не чувствовал к ней никакой любви. Физическое общение с ней длилось долго, повторялось слишком часто и под конец почти опротивело.

Взятая Штаалем на себя миссия оставляла ему очень много свободного времени. Работы у него, собственно, не было никакой. Он еще изредка являлся к представителю британской тайной агентуры, и тот небрежно и не очень внимательно его расспрашивал. Молодой человек излагал, как умел, свои наблюдения в Париже, но ясно чувствовал, что они не могут представлять большого интереса для союзной коалиции. Штааль не знал, что девять десятых всей агентуры союзников не имеют решительно никакого дела; не знал и того, что всякая агентура чаще всего сама выдумывает себе разные занятия для оправдания получаемого жалованья. И он первое время очень тяготился неудачными результатами своей поездки. Потом он привык к этой мысли: морально его оправдывал тот риск, которому он подвергался во Франции.

Впрочем, революционная полиция оказалась менее проницательной и менее свирепой, чем думал Штааль. Обыск на границе прошел быстро и благополучно. Остаться в армии или вблизи от нее молодому человеку не пришлось. Предприятие Дюмурье очень быстро провалилось; сам Дюмурье бежал к австрийцам; о стремительном продвижении союзных войск вперед больше не было речи. Штааль отправился, как ему и хотелось, прямо в Париж. По дороге его не останавливали и не обыскивали. Сейчас же по приезде в столицу он явился, тщательно заметая за собой следы и переменив два раза извозчика, к агенту британской разведки. Агент принял его довольно равнодушно и, заметив, что Штааль не вполне свободно говорит по-английски, посоветовал ему не пользоваться фальшивым американским документом. Границу было трудно перейти без нейтрального паспорта, но в самом Париже в 1793 году жило легально немало иностранцев 43 враждебных Франции держав, и первое время их не слишком беспокоили. В частности, к русским революционные власти относились вполне терпимо, несмотря на то, что французский уполномоченный в Польше Бонно был схвачен в Варшаве по приказанию императрицы Екатерины и посажен в Шлиссельбургскую крепость. Декрет Комитета Общественного Спасения от

20 апреля разрешал русским гражданам свободно жить во Франции. Независимо от этого декрета, агент разведки знал в революционной полиции таких людей, которые, по его словам, могли законнейшим образом прописать в Париже самого Питта. Штааль вздохнул с облегчением, но и был немного разочарован, когда за сто ливров ему принесли прописанный вид на жительство, где были указаны его настоящая фамилия и национальность. Молодой человек долго дивился революционной печати, под которой чиновник секции сделал очень искусный и пышный росчерк чуть не во всю ширину страницы.

II

Как это часто бывает с людьми, впервые попадающими в Париж, Штааль вначале испытывал некоторое чувство разочарования. Петербург, до посещения которого он ничего не видал, кроме городков русского захолустья, в свое время поразил его много сильнее: Петербург был не только грандиозен,— он был новенький, весь будто только что выкрашенный. В Париже все потускнело и облупилось от времени. Свежесть и блеск краски входили, как часть в целое, в ощущение красоты неопытного Штааля: он еще не научился ценить очарование выцветавших столетьями зданий. Первое время ему казалось, что не мешало бы выкрасить заново и Лувр, и Palais de Justice, и Notre Dame de Paris. Непередаваемую красоту Парижа Штааль стал чувствовать лишь много позже. Изъездив всю Европу, он пришел к мысли, что есть чудесные города, как Венеция, Толедо, Эдинбург или Киев, но названия великих столиц заслуживают в мире только Петербург и Париж.

Не имея ни дела, ни знакомых, Штааль сильно скучал и стыдился своей скуки: ему хотелось *любить одиночество*, а оно теперь мучительно его тяготило. Молодой человек вначале поселился в гостинице на улице Закона, но в своем номере сидел редко: большую часть дня проводил на улицах; часто уезжал за город, в леса Медона, Бельвю, Марли: леса были как леса,— над Днепром водились и не такие. Гулял там Штааль только по утрам, да и то не без опаски: в окрестностях Парижа разбойники грабили проезжих среди белого дня. В Эрменонвиле он посидел на островке Тополей над гробницей Руссо и, хоть не любил автора «Исповеди», повздыхал над поэтической могилой и сделал несколько заметок на память, чтобы когда-нибудь потом описать островок в «Дневнике путника». Побывал он

также в Версале,— творение Мансара и Ленотра поразило его, хотя дворец был разорен, а сады запущены и изгажены. Походив так с неделю, Штааль решил, что знает Париж, и всецело занялся изучением революции. С разведкой дело не ладилось, но молодой человек все же рассчитывал, что выполнит с пользой свою миссию: он предполагал в докладе Питту и императрице осветить глубокие причины революционных событий и сделать соответствующие выводы, которые могли иметь значение для дела монархов, ведь это был доклад, составленный *на месте* с ежеминутной опасностью для жизни.

Хотя опасность оказалась значительно меньшей, чем Штааль предполагал вначале, он все-таки, ложась спать, с гордостью ставил у изголовья шкатулку с заряженными пистолетами и тщательно проверял заряд; а один из пистолетов приподнимал даже на ночь рукояткой из бархатной впадины, чтобы иметь возможность стрелять, как только революционная полиция начнет ломиться в дверь. Он, впрочем, еще не решил твердо, будет ли стрелять в полицию или сам тотчас застрелится. Штааль закрывал на ночь дверь двойным поворотом ключа и на запор, да еще на всякий случай придвигал к ней изнутри тяжелое кресло. Все это оказывалось довольно неудобным по утрам, когда горничная отеля приносила кофе: нужно было, услышав ее стук, выходить из теплой постели, прятать пистолеты и бесшумно ставить кресло на обычное место, успокаивая горничную повторением: «Un moment, Marie, un moment» [1] (Штааль при этом для правдоподобия громко зевал и покашливал). Порою его предосторожности казались ему самому чрезмерными; но он тогда вспоминал слова британского военного агента: «Вы идете на очень опасное дело». Все меры безопасности почему-то принимались им только на ночь. Между тем обыск мог, разумеется, произойти и днем. И действительно, однажды в полдень в гостиницу явились из *секции* люди свирепого вида, вооруженные с ног до головы, и произвели в сопровождении хозяина обход всех комнат, причем в каждой комнате спрашивали бумаги жильца и приказывали открыть какой-либо ящик или чемодан; но ни к чему почти не прикасались, а вопросы задавали довольно бестолковые. Потом, когда дозор, не найдя ничего подозрительного, удалился, Штааль с ужасом вспомнил, что у него в чемодане могли отыскать второй, американский паспорт. Вечером того же дня хозяин объяс-

[1] Сейчас, Мари, сейчас *(франц.)*.

нил ему, что начальнику дозора он вперед уплатил за всю гостиницу двести ливров (из которых десять были затем включены в недельный счет Штааля под неразборчиво написанным названием «специальный расход»). В дозоре, по словам хозяина, брал взятки только старший, служивший в участке и в королевские времена; все остальные были молодые люди, душой преданные революции, но незнакомые с полицейским делом.

Штааль деятельно принялся собирать материалы для своего доклада. Это тоже оказалось нелегко. Проникнуть в Конвент (Штааль никак не мог понять, что, собственно, означает это странное слово, прежде мало кому известное) и в Якобинский клуб было, вообще говоря, не очень трудно; однако для входа туда требовались связи, которых молодой человек не имел. Он побывал на открытых революционных собраньях, но там выступали перед немногочисленной публикой неизвестные люди, в большинстве случаев молодые и бестолковые,— о них было бы совестно докладывать Питту и императрице. Штаалю сказали, что революционные знаменитости собираются в Café Procope — Zoppi и что там будто бы Марат ежедневно под вечер пьет стакан миндального молока с глиной (он лечился этим странным питьем). Штааль стал бывать в Café Procope и ни разу не встретил Марата. Народа в кофейне всегда было немало, но распознать в лицо знаменитых революционеров Штааль не мог, а расспрашивать не решался. Однажды в каком-то тощем и мрачном господине он признал было Бриссо; господин этот приходил каждый вечер, говорил на политические темы и отстаивал политику жирондистов. Его внимательно слушали, и молодой человек, сразу уверовавший в свою догадку, стал распознавать и собеседников Бриссо. один из них напоминал как будто лицом Кондорсе. Но на третий вечер, к большому разочарованию Штааля, из разговора выяснилось, что замеченные им люди принадлежали к торговому классу и ничего общего не имели с вождями жирондистской партии. Только много позже, в июне, в ресторане Мео Штааль впервые увидел революционную знаменитость — красавца Геро де Сешеля, который в отдельном кабинете этого ресторана за бутылкой вина, как говорили, писал конституцию 1793 года.

Побывал молодой человек и в театрах. Начал он с «Variétés amusantes», горячо рекомендованных ему Насковым. В этом театре шла теперь революционная пьеса «Свобода негров» — и Штааль никак не мог досидеть до ее конца. Позже ему случилось побывать еще на другой революцион-

ной пьесе, где изображалась гибель всех тиранов. Главными действующими лицами в ней были римский папа и «Madame l'Enjambée» [1], то есть Екатерина II. Римский папа на необитаемом острове делал постыдное предложение Екатерине, после чего они вступали между собою в рукопашную драку. Публика бешено аплодировала, но не столько гибели тиранов, сколько драке римского папы с императрицей и особенно тем непристойным словам и жестам, которые щедро добавлял от себя к пьесе игравший римского папу известный комик Дюгазон. Эту драму Штааль смотрел не без удовольствия. Артистка, изображавшая Екатерину, ему особенно понравилась и напоминала талант Авдотьи Михайловой, но использовать пьесу в качестве материала для доклада императрице было трудно. Из знаменитостей он в зрительном зале опять-таки не увидел никого.

Молодой человек решил отложить знакомство с революционными верхами до более позднего времени. Он сам в точности не знал, на какой срок прибыл в Париж. Ждать ему, в сущности, было нечего; в глубине души Штаалю захотелось домой в первый же день пребывания в столице; в первый день даже сильнее хотелось домой, чем потом. Но простое приличие требовало, по его мнению, чтобы он провел в Париже, по крайней мере, несколько месяцев. За это время Штааль надеялся обзавестись связями, которые помогли бы ему добраться до верхов революции. Для начала же он занялся ее низами и производил наблюдения в столовой своей гостиницы. В гостинице жило довольно много разного народа; в обеденные часы все сходились в столовой и разговаривали порою откровенно: террор только начинал развиваться, и люди, не занимавшиеся политикой, мало его чувствовали.

Крайне удивило Штааля с первых же дней то, что на повседневной жизни парижан революция сама по себе, по-видимому, отразилась не очень сильно. Интерес к политическим событиям был невелик. Штаалю казалось, будто в Париже идеями французской революции интересуются меньше, чем в Лондоне или даже в Петербурге. Правда, везде заседали комитеты, комиссии, секции, клубы, и каждый парижанин был куда-то записан и сочувствовал той или другой партии. Но в большинстве своем люди на заседания ходили редко, а когда ходили, то недолго там засиживались, точно отбывали обязательную и скучную повинность. На заседаниях сами ораторы жаловались на то, что теперь слушать речи ходит в десять раз меньше граждан, чем в

[1] Здесь: мадам с широким размахом (*франц.*).

первые революционные годы. Штааль прежде думал, что во Франции, а особенно в Париже, все *«занимаются Революцией»*. В действительности это было верно только в отношении очень немногих; громадное большинство французов занималось обычным делом — кто торговлей, кто службой, кто ученьем. Жизнь населения текла независимо от революции.

В столовой гостиницы на улице Закона разговор ежедневно, хоть ненадолго, заходил на политические темы: одни жильцы высказывались за жирондистов, другие за монтаньяров. Но ни те, ни другие не проявляли большого энтузиазма в политических спорах. Революция очень давно стала из праздника буднем. Общее настроение совершенно не соответствовало тону революционных газет и речей. Высказывались порою те же мысли, но без пышных фраз. Пышные фразы в небольшой компании неизменно вызывали усмешку (как это всегда бывает во Франции,— вопреки мнению людей, которые французов не знают). Называли друг друга на «ты», но как будто конфузились этого недавно введенного обычая и часто вдруг переходили на «вы». Отдав должное политической злобе дня, разговор перескакивал на другие темы, и тогда часто проявлялось и больше интереса, и больше горячности, чем при обсуждении великих событий революции. Штааля однажды поразило, как после вялого политического спора о борьбе партий в Конвенте речь за столом, в отсутствие хозяина, вдруг перешла на порядки гостиницы. Кто-то заметил, что хозяин, наверное, зарабатывает не менее половины взимаемой им с жильцов платы. Лица оживились, все приняли участие в разговоре, стали производиться точные подсчеты.

Денежные интересы вообще занимали огромное место в жизни населения революционной столицы. Почти каждый день Штааль слышал в столовой разговоры о том, как разные лица на поставках, на скупке конфискованных имуществ, на спекуляции нажили сотни тысяч или даже миллионы. Цифры эти, по-видимому, составляли исключение, судя по тому почтительно-завистливому тону, в котором о них говорилось. Но в меньшем размере наживались почти все. Иногда из разговоров выяснялось, кем был до революции тот или другой жилец гостиницы,— и почти всегда оказывалось, что он теперь занимал гораздо более выгодное положение, чем прежде. При этом каждый жаловался на растущую стоимость жизни и с грустной улыбкой приводил изумительные примеры прежней дешевизны и удобств, которых никто не замечал в былые времена.

Почти столь же часто, как о наживе, говорилось за сто-

лом о новых сановниках, о сказочных карьерах: такой-то, прежде захудалый, адвокат теперь состоял членом Конвента и заседал в правительстве; другой, бывший школьный учитель, в качестве комиссара распоряжался судьбами огромной провинции, казнил и миловал людей; третий, служивший до революции сержантом, в чине генерала командовал армией. Об этих счастливцах говорили не без иронии; но при подобных рассказах блестели глаза, и зевков нельзя было подметить.

Иногда Штаалю казалось, что вся Революция была только гигантским перемещением людей с одних ступеней благополучия и почета на другие. Общая масса благ в стране уменьшилась — и об этом все сожалели. Но для большинства французов произошедшая общественная перетасовка, по-видимому, все-таки оказалась выгодной. Пострадавших от нее, перешедших с высшей ступени на низшую, Штааль почти не замечал: он догадывался, что они в значительной своей части бежали за границу; это и были те аристократы, о нищете и бедствиях которых рассказывал ему в Лондоне Воронцов. К эмигрантам во Франции почти все относились враждебно или, по крайней мере, неодобрительно. Старого порядка тоже никто не отстаивал; кроме дешевизны и удобств жизни почти ничего от той поры не хвалили. Веря иностранным газетам, Штааль рассчитывал найти монархические чувства в стране тысячелетней монархии. Но он таких чувств не замечал. О казненном короле вспоминали редко и равнодушно. Жалкая участь его сына, заключенного в башню Тампль, тоже не вызывала участия,— мало ли есть на свете несчастных детей. В общем, все жаловались на революцию, все ее принимали,— как люди принимают климат или время года.

Однажды в Люксембургском саду Штааль неожиданно встретил своего бывшего наставника по Шкловскому училищу, мосье Дюкро. Ничто другое не могло бы обрадовать юношу сильнее, чем встреча с этим, когда-то столь близким, человеком. Еще в Петербурге, подготовляясь к отъезду за границу, Штааль смутно надеялся, что, быть может, свидится с любимым учителем, местопребывание которого было ему неизвестно. Эта смутная мечта сбылась так неожиданно,— Штааль почти оторопел от счастья. Он едва, впрочем, узнал своего наставника. Мосье Дюкро сильно изменился: полысел и очень потолстел; новенькая, ловко сшитая карманьола облегала теперь весьма плотную, солидную фигуру. Он заключил молодого человека в объятья. Еще в объятьях учителя Штааль успел смущенно пролепе-

тать, что приехал поглядеть на Революцию. Дюкро не слишком этому удивился и не очень расспрашивал своего ученика; заметил только, что в Париже теперь находится немало русских: вообще у *себя в Якобинском клубе* он постоянно встречает иностранцев. Это «у себя в Якобинском клубе» несколько огорошило Штааля. После пятиминутного разговора он с грустью почувствовал, что от их прежней близости осталось немного: у них не было ни общего дела, ни общих практических интересов, а без этого встреча после долгой разлуки неизбежно влечет за собой разочарование и грусть. Так оно и случилось. Мосье Дюкро вдобавок куда-то торопился. Он собирался уезжать из Парижа на довольно продолжительное время, по важным делам, не то коммерческим, не то политическим,— Штааль не мог разобрать: Дюкро, как оказалось, занимался теперь торговлей и поставками (это очень поразило молодого человека) и в связи с одним подрядом уезжал на север Франции. Но в его передаче выходило так, что взятый им подряд имеет государственное значение и что он его принял по чисто патриотическим соображениям. В политических взглядах его тоже произошла, по-видимому, некоторая перемена. Он больше не восхищался Верньо и о жирондистах вообще отзывался иронически, даже враждебно. Дюкро обещал Штаалю немедленно по своем возвращении в Париж ввести его в Якобинский клуб, в котором сам бывший учитель состоял, судя по его тону, не последним деятелем; обещал также познакомить юношу с разными знаменитостями. Это обещание обрадовало Штааля: теперь его пребывание в Париже имело цель и срок; он откладывал изучение революционных верхов до возвращения мосье Дюкро, а пока мог понемногу продолжать собирание материалов для доклада. Ссылаясь на близкий отъезд, Дюкро не звал его к себе в гости; но оставил ему для справок адрес своего магазина. Они скоро расстались — и эта встреча в течение целого вечера щемила неопределенной грустью сердце молодого человека.

III

Падение жирондистов прошло для Штааля почти незаметно. Только разговоры за столом гостиницы стали несколько менее откровенны, чем были прежде: жильцы начали остерегаться друг друга. Разгоралась гражданская война; террор усиливался.

В один июльский вечер по городу молнией пронеслось известие о том, что Марат убит женщиной-аристократкой в

своей квартире на улице Кордельеров; через час весь Париж повторял на разные лады имя Марии Корде (в первых сообщениях ее называли Марией). Личность убитого, эффектная, драматическая обстановка убийства, то, что убийцей была молодая, красивая девушка, правнучка великого Корнеля, ее геройское поведение, ее римские ответы на суде,— все это произвело потрясающее действие. Но говорили в Париже об историческом преступлении совершенно не так, как мог ожидать Штааль. Все знали, что Марат был не то зверь, не то сумасшедший; любая его статья убеждала в этом с несомненностью. Тем не менее его телу воздавались божеские почести. О Корде втихомолку, в тесном кругу, говорили с благоговейным восторгом. На людях же все возмущались гнусным убийством и выражали по его поводу глубокую скорбь. Для Штааля, как для многих других, Марат был самим воплощением зла. Молодой человек с жадностью слушал и читал все, что касалось драмы на улице Кордельеров. Он до последнего часа не верил, что Шарлотта Корде будет казнена; рассказы об ее смерти чрезвычайно его потрясли.

Через два дня после убийства Марата в гостиницу снова явился тот полицейский, который прежде приходил во главе дозора. Он долго наедине разговаривал с хозяином. Вслед за тем в недельный счет Штааля было вписано неразборчивым почерком двадцать ливров на специальные расходы, а хозяин потихоньку предупредил жильцов, чтобы они, особенно иностранцы, вели себя очень осторожно: в столице ожидаются всякие строгости и стеснения. Штааль подумал, что теперь не худо бы убраться на время из Парижа; в городе было вдобавок жарко и душно, а возвращение мосье Дюкро ожидалось не так скоро.

В начале августа молодого человека вызвал к себе агент британской разведки, к которому он являлся по приезде из-за границы, и с гораздо более озабоченным видом, чем прежде, рекомендовал ему крайнюю осторожность. Начиналось трудное время. Декрет Конвента объявлял Питта «врагом человеческого рода», и малейшее подозрение в службе иностранному правительству, конечно, влекло за собой неминуемую казнь. Хотя Штааль и до того не раз себе говорил, что рискует головою, однако от слов агента у него пробежал по спине холодок и захотелось выпить коньяку. Агент вызвал его не только для того, чтобы предостеречь. У него было и дело. Некая дама, по имени Маргарита Кольб, состоявшая на службе у революционной полиции, дала туманно понять, что готова оказывать услуги

британской разведке. Этого, впрочем, агент не сказал Штаалю ясно. Он только сообщил молодому человеку, что желал бы приставить его к одной даме, которая, по-видимому, знает немало интересных вещей и с которой поэтому надо завязать тесные сношения. Без излишних тонкостей агент объявил Штаалю, что азбука ремесла предписывает вступить с дамой в любовную связь.

Штааль был озадачен и оскорблен. Он все еще не мог разобрать толком, что такое, собственно, представляет собой и как расценивается морально миссия, взятая им на себя (может быть, слишком поспешно,— думал он теперь): геройский ли подвиг или дело весьма предосудительное, а то, быть может, и грязное. Риск, связанный с его миссией, и безвозмездность оказываемых им услуг как будто его оправдывали и даже ставили очень высоко. Штааль чувствовал, что другие смотрели на дело совершенно иначе. Он, подергиваясь, вспоминал тот тон, в котором с ним говорил в Брюсселе английский генерал. («А Воронцову, непогрешимому судье в делах чести, я ведь так и не решился сказать правду»,— думал он.) Новое предложение, исходившее от агента разведки,— вступить в связь с женщиной в интересах *дела* — было уж совсем трудно истолковать в выгодную сторону. Правда, некоторый налет возвышенного можно было усмотреть и в нем. Но Штааль чувствовал, что гораздо легче усмотреть в нем другое. Однако что-то удержало молодого человека от отказа.

Агент разведки говорил таким тоном, точно предлагал нечто самое обыкновенное и само собой разумеющееся: ему действительно и в голову не приходили колебания его собеседника. Штааль решил, что отказаться можно будет и позже; а раньше нужно узнать ближе, в чем дело (ему неловко было себе сознаться, что он прежде всего хотел посмотреть на загадочную даму). Агент сообщил ему, где и как встретиться с Маргаритой Кольб, а затем начал было говорить о том, что не имеет, к сожалению, больших свободных сумм. Штааль совершенно побагровел и замотал головой; выйдя на улицу, он еще долго вздрагивал.

Маргариту Кольб он повидал на следующий день. Она оказалась довольно красивой женщиной не первой уже молодости: Штааль дал ей на вид тридцать три — тридцать четыре года, но смутно чувствовал, что вернее было бы несколько лет набавить. С первой же встречи, а особенно в дальнейшем, его удивила ее манера речи, весьма неестественная и странная: она говорила о самых простых предметах туманно и загадочно; часто подчеркивала слова, но не

те, какие можно было бы подчеркнуть по смыслу, а другие. Постоянно казалось, будто она на что-то намекает; смысла ее намеков Штааль, однако, в большинстве случаев не мог понять; сама она их никогда не разъясняла. Выражение лица ее тоже на что-то намекало (и даже яснее намекало, чем ее слова). К собеседнику она обращалась отрывистым тоном и почти всегда в форме приказов или мольбы: выражений обыкновенной вежливости никогда не употребляла. В наружности ее, обыкновенно-красивой, не было ничего примечательного, кроме бледных припухших губ, сразу останавливавших внимание своей величиной, оттопыренной формой и не вполне естественным цветом: она постоянно чем-то их мазала. Губы эти придавали ее лицу выражение силы и хищности, которым она заметно гордилась. Впоследствии Штааль пытался разгадать *тайну ее лица* (как обыкновенно делают молодые люди в отношении своих любовниц), и ему показалось, что тайна эта — в несимметричности и в несоответствии глаз и рта: нижняя часть лица имела выражение резко отличное от выражения глаз. В глазах Маргариты Кольб, обыкновенных, коричневых, не слишком больших, часто проскальзывал какой-то испуг — особенно, если на нее смотрели в упор; этот испуг впоследствии казался Штаалю самым естественным из всего, что в ней было.

Испуг скользнул в ее глазах и при первой встрече, когда молодой человек довольно бесцеремонно стал ее разглядывать. Она тотчас смерила его взором (это она вообще делала чрезвычайно часто без всякой причины) и заговорила особенно отрывисто. Штааль еще и не решил, следовать ли ему ради *дела* правилам ремесла, преподанным ему агентом, когда для нее этот вопрос был уже решен положительно. Здесь она нашла возможным обойтись без загадочных намеков. После получаса знакомства она очень просто — сначала в форме краткой мольбы, а затем в форме краткого приказа — выразила желание стать любовницей Штааля. Молодой человек был опять озадачен, но не спорил; он с Брюсселя соблюдал целомудрие. «Что ж, если все этого требуют!» — сказал он себе и ответил кратким же согласием. Маргарита Кольб захохотала. Смеялась она так, как хохочут злодейки в плохих театрах,— Штааль подумал, что у самых плохих учениц Дмитриевского хохот выходил естественней.

Принимать даму в гостинице было неудобно. Молодой человек решил немедленно переехать в окрестности Парижа и снял особняк над Сеной в Пасси. Он предложил Мар-

гарите Кольб поселиться там вместе с ним. Она отрывисто отказалась, не объясняя причин отказа, но приезжала к нему каждый день,— чаще под вечер, иногда и с утра. Первые недели, проведенные в Пасси, навсегда запечатлелись в памяти Штааля по остроте жгучих ощущений, которые были с ними связаны. Он прежде думал и говорил, что в петербургском кружке молодежи видал всякие виды. Но теперь чувствовал, что в особняк Пасси вступил совершенным ребенком. Вначале ему иногда казалось, что он по-настоящему влюблен в Маргариту Кольб; раз даже молодой человек поймал себя на мысли: уж не жениться ли ему на ней? отчего бы и нет в самом деле? Маргарита Кольб тоже была в него влюблена по-настоящему,— так, по крайней мере, он думал.

Порученное ему агентом дело не подвигалось, однако, ни на шаг. В первое время Штааль старался *незаметно* расспрашивать свою любовницу. Она всякий раз смеривала его взглядом и адски хохотала. Раз как-то под утро она сама стала задавать ему вопросы, и он на следующий день с тревогой об этом вспоминал: как сквозь сон помнил, что она особенно осведомлялась о каких-то адресах,— эти адреса не были ему известны. Еще до того он сообщил агенту разведки, что выполнил поручение, но ничего подозрительного не нашел в госпоже Кольб и ничего от нее не узнал. Агент, все более хмурый и озабоченный, молча его выслушал и с той поры не давал ему поручений.

Штааль, со своей стороны, потерял интерес к *делу* и больше ни о чем не выспрашивал Маргариту Кольб. Он так и не знал до конца, кому она служит: якобинской ли полиции или британской разведке; порою думал даже, что она и сама этого толком не знает. Разговаривать с ней ему вообще было нелегко и не о чем. Если она приезжала в Пасси рано, он заботливо придумывал разные развлечения, чтобы заполнить время до ночи. Часто они садились на rue Vineuse в почтовую карету и через заставу уезжали в Париж; обедали в Palais Égalité [1] и пили в кофейнях чай, который в ту пору вошел в большую моду. Штааль сопровождал свою даму по магазинам, по аукционам (в столице развелось необычайное множество всяких аукционов). Маргарита Кольб покупала очень много, часто совершенно ненужные ей вещи. Так, на аукционе имущества одного из монастырей купила два ящика книг в темных кожаных переплетах (книги продавались на вес), к большому удивлению Штааля, который знал, что она ничего не читает. За покуп-

[1] Дворец равенства (*франц.*).

ки всегда платил он. В первое время Штааль не знал, следует ли давать деньги Маргарите Кольб. Однажды вечером, она, точно в рассеянности, взяла с ночного столика его бумажник, просмотрела все, что в нем содержалось, и переложила в свою сумку несколько ассигнаций. На следующий день он сам предложил ей денег. Она адски захохотала и воскликнула трагическим голосом: «Il me prend pour une fille»[1]. Но через неделю снова рассеянно переложила к себе из бумажника довольно крупную сумму. Штааль охотно принял этот способ оплаты и только старался его урегулировать, оставляя на ночь в бумажнике ровно столько денег, сколько он находил нужным дать своей любовнице.

Страсть молодого человека быстро шла на убыль. Из данного ему политического поручения вышла самая обыкновенная связь, оплачиваемая деньгами, ни в каком особом отношении не интересная и скоро ему надоевшая. Странными и непонятными были только некоторые черты характера этой женщины. Днем она казалась ему плохой комедьянткой дурного тона. Но иногда, ночью, он видел в ней и другое.

Маргарита Кольб очень любила посещать казни (террор все усиливался) и часто звала с собой Штааля. Он отказывался под разными предлогами: стыдился сознаться в своей нервности (как всех в ту пору, его тянуло к гильотине). Очень удивило молодого человека следующее: Маргарита Кольб не присутствовала ни при казни Шарлотты Корде, ни при казни Марии-Антуанетты, хоть весь Париж в те дни высыпал на площадь Революции.

IV

Она вошла хорошо: так, как демоническим женщинам полагается приходить на свиданье. В передней, куда был проведен колокольчик, послышались три звонка, один громкий и довольно протяжный, два других — после небольшого перерыва — краткие, злые и зловещие. Этот условный сигнал придумала для их встреч она сама. Штааль быстро сбежал вниз по винтовой лестнице и отпер входную дверь. Шнурок колокольчика еще вздрагивал от резкого звонка. Как только Маргарита Кольб переступила порог, молодой человек порывисто схватил ее за руку обеими руками и горячо произнес:

— Вы! Наконец! Как я счастлив!

[1] «Он принимает меня за девку» *(франц.)*.

Здесь он подумал, что уже раза три или четыре встречал Маргариту Кольб именно этими словами,— нужно придумать что-нибудь новое. Первую фразу Штааль обыкновенно приготовлял для разговора заблаговременно. Маргарита Кольб поднесла ему руку к губам. Рука у нее была холодная и мокрая. «Зачем она без перчаток?» — подумал Штааль, целуя. Гостья смотрела на него в упор, молча и без улыбки, с таким видом, точно хотела сказать что-то очень важное и даже роковое, но не решалась; Штааль знал, что ей не нужно ничего ему сказать; это просто была ее обычная манера. Они пошли наверх. Посредине лестницы Штааль счел долгом вежливости остановиться и обнять Маргариту Кольб. Она слегка его оттолкнула, затем взяла его голову обеими руками и прижала лоб к своим губам, не целуя и не отпуская. Штаалю было неудобно и смешно стоять в этой позе на узкой лестнице, и он пожалел о том, что преждевременно обнял свою даму. «Хорошо было бы теперь поднять ее и отнести на руках в гостиную»,— подумал он, но тотчас отказался от этого проекта: в Маргарите Кольб было не менее четырех с половиной пудов веса. Молодой человек ограничился тем, что, освободив лоб, страстно припал к руке своей гостьи и несколько раз повторил:

— Как я счастлив! Боже, как я счастлив!

Она вырвала руку, вдруг захохотала и побежала наверх. Штааль последовал за ней. При этом, пользуясь полутьмой, он поспешно вынул носовой платок и вытер неприятный мокрый след ее губ на лбу. Ему удалось спрятать платок в карман прежде, чем Маргарита Кольб вновь к нему повернулась.

«Теперь, значит, этак часов на пятнадцать? — с тоской спросил он себя.— Как она ненатурально смеется!.. Ничего, кажется, не было смешного. Зачем ломается?..»

В гостиной он засуетился у стола, усаживая гостью и сразу начиная угощать ее. Маргарита Кольб окинула взором закуску.

— Я буду ужинать. Я проголодалась,— сказала она трагически и принялась есть. Ела она жадно и много. Штааль потягивал из рюмки ratafia de truffes и думал, что эта женщина смертельно ему надоела.

«Хорошо было бы, если б она *потом* ушла домой, а не оставалась здесь всю ночь»,— подумал он. В доме не было второй постели. Штааль любил спать один; он вспоминал слова Наскова: «Порядочный человек никогда не *спит* с женщиной». Да нет, она не уйдет. Куда ей идти ночью?»

— В Периге охотники дрессируют свиней, чтобы те

отыскивали трюфели,— сказала чрезвычайно значительным тоном Маргарита Кольб, отрываясь от пирога.— Больше всего любят трюфели гурманы и свиньи.

— Возьмите еще,— умоляюще предложил Штааль.

Маргарита Кольб разочарованно улыбнулась и отодвинула тарелку.

— Налейте мне вина. Много,— сказала она.

— Какие новости? Что процесс? — спросил Штааль, наливая вина гостье.

Он имел в виду дело жирондистов, которое шло в Революционном Трибунале.

Маргарита Кольб быстро провела суставом указательного пальца ниже подбородка.

— Завтра... Все,— сказала она.

— Разве приговор вынесен? — вскрикнул Штааль.

Гостья внимательно на него посмотрела.

— Его выносят сейчас,— ответила она нехотя.

«Почем же она знает, каков *будет* приговор?» — подумал Штааль. Ему вдруг стало нехорошо. Ликер пролился на ковер из рюмки, которую молодой человек держал в руках. Штааль быстро поставил рюмку на стол, встал и прошелся по комнате. Жан-Жак Руссо смотрел на него с безграничным отвращением.

«Кому служит эта женщина?» — в сотый раз спросил себя Штааль.

В первый раз в жизни он столкнулся вплотную с тайной чужой души.

— Мы завтра пойдем на площадь Революции,— сказала Маргарита Кольб.

«Завтра! Так и есть, будет сидеть у меня всю ночь и половину дня...»

Он угрюмо кивнул головой.

— Почему вы думаете, что их приговорят к смерти? — спросил он, не глядя на гостью.— Верньо еще не говорил. Его ораторский гений может спасти их.

— Революционное правительство не шутит с врагами,— ответила кратко Маргарита Кольб.

«Допустим. Но каким образом ей известно, что приговор будет вынесен сегодня?»

— Кроме того, как вы знаете, у меня есть разные источники осведомления,— загадочно добавила она, помолчав.

— Вы ошибаетесь, я о ваших источниках осведомления ничего не знаю,— с живостью сказал Штааль.

— И не надо.

— Позвольте мне быть другого мнения...

«Какой глупый разговор!» — подумал он с тоской и отошел к окну, повернувшись спиной к гостье. Темные жалюзи тоскливо колотились о стекло. На Сене ветер выл, то усиливаясь, то замирая. Где-то поблизости, надрываясь, лаяли собаки. Штаалю вдруг стало страшно. Что-то заставило его быстро повернуться, будто сзади ему грозила опасность. Маргарита Кольб смотрела на него в упор. Выражение лица ее было странно. Их глаза встретились. Внезапно в ее взоре скользнул легкий испуг.

«Кажется, я нездоров... У меня, должно быть, жар»,— подумал Штааль.

— Вы обо мне забываете,— сказала насмешливо Маргарита Кольб.

Штааль *взял себя в руки*, подошел к ее креслу и, опустившись на колени, поцеловал ее. Она долго молча на него смотрела.

— Завтра мы пойдем на казнь жирондистов,— опять повторила Маргарита Кольб с вопросом в голосе, хоть он не возражал и тогда.

Он не сводил с нее глаз и чувствовал, что бледнеет без причины.

— Нож гильотины бьет по этому месту,— сказала она, быстро проводя ногтем мизинца по шее молодого человека и отдергивая руку.— Рубец очень тонкий — как красная нитка... Но только при первых ударах. Когда казнят сразу много народа, нож быстро тупеет. Образуются зубцы... Если тебя казнят, старайся попасть в число первых.

— Какой вздор вы говорите! — прошептал Штааль.

Она со странной, тотчас исчезнувшей улыбкой посмотрела на него, приблизив глаза к его лицу. Затем схватила его за голову и покрыла поцелуями.

— Раздевайся скорее,— негромко сказала она и поспешно прошла в спальню.

V

Утро было серое, дождливое, октябрьское. Утомленный Штааль с трудом приподнял жалюзи,— он все не мог справиться с их несложным механизмом. В комнате стало немного светлее. Приоткрыл окно и с жадностью втянул в себя сырой воздух. Маргарита Кольб что-то промычала во сне, почувствовав холод на выбившемся из-под одеяла теле. Штааль оглянулся на нее почти с отвращением.

«Как она могла мне нравиться?» — спросил он себя.

При тусклом свете октябрьского дня она казалась ему не только непривлекательной, но прямо противной. Она

спала, уткнувшись лицом в подушку и засунув руки под валик изголовья. Штаалю были видны лишь редкие волосы, желтая нездоровая кожа шеи и кружева рубашки не первой свежести. Он вспомнил ее любовь и даже повел плечами от отвращения.

«А я, кажется, и в самом деле расхворался»,— подумал он, почувствовав острый холод. Закрыл окно и отправился умываться в уборную, расположенную рядом со спальней. Там на столе стояло десятка полтора разных вазочек; чашка умывальника не превышала размером большой тарелки. Штааль в десятый раз сказал себе, что нужно будет обзавестись если не ванной, то хоть настоящим умывальником. Он постарался умыться возможно тише, чтобы не разбудить своей любовницы. Закончив туалет, на цыпочках прошел через спальню в гостиную, еще на пороге встретился глазами с Жан-Жаком Руссо, сразу обозлился и тут же, взобравшись на стул, снял со стены портрет философа. На близком расстоянии лицо Руссо выражало совершенное омерзение. Штааль положил портрет на шкаф розового дерева стеклом вниз и на всякий случай еще прикрыл пыльную картонную спинку старыми газетами. Затем с некоторым удовлетворением сел на диван и стал приготовлять завтрак. Хозяйство в домике было небогатое; чистой посуды не оказалось. Молодой человек перелил вино из своего стакана в стакан Маргариты Кольб и налил себе разогретого кофе. Кофе было невкусное, недостаточное горячее и пахло вином. Штааль почувствовал, что ему еда противна. Озноб у него усиливался. В камине спальной на черной золе едва вздрагивали два или три раскаленных уголька.

«Хорошо бы теперь выпить горячего русского чаю с лимоном, затем лечь в настоящую постель, вместо того одра, и накрыться периной, подоткнув под себя края. Да еще на перину положить что-нибудь, подушку, что ли»,— подумал он устало и откинулся было на диване, вложив в рукава руки и плотно прижав их к груди. В это время из спальной его окликнул ленивый голос:

— Ты уже встал. Который час?

— Скоро одиннадцать.

Из-за двери послышалось легкое восклицание. Молодой человек почувствовал, что делать нечего, вздохнул и направился в спальную. Маргарита Кольб сидела на постели, свесив голые ноги. При входе Штааля она слегка вскрикнула и накинула на ноги одеяло. Этот стыдливый жест после того, что делалось ночью, крайне раздражил Штааля. Он произнес про себя грубое русское ругательство и, влюб-

ленно улыбнувшись, осведомился о том, отдохнула ли гостья. Оказалось, что она отдохнула.

— Но, ради всего святого, теперь оставь меня,— сказала она умоляющим тоном, точно требовала от него необычайной жертвы.— Надо скорее одеться. Ведь к полудню мы должны быть на площади Революции, если не хотим опоздать.

«Черт знает что: на казнь собирается точно в театр»,— подумал Штааль и произнес холодно:

— Я оставлю вас. Пойду куплю газеты.

— Ты не хочешь поцеловать меня? — спросила она с кокетливой улыбкой. Но Штааль постарался этого не расслышать и быстро спустился по винтовой лестнице. Газеты он покупал долго. По узкой rue de l'Annonciation [1], мимо старой церкви, он прошел в центр деревушки; там, чтобы согреться, заглянул в кабачок и выпил стакан горячего красного вина. Ему стало немного легче. Когда он вернулся, Маргарита Кольб с обиженным видом сидела в гостиной на диване и задумчиво-меланхолически доедала пирог. Штааль не мог не заметить, что от обильного ужина, к которому он почти не прикоснулся, не оставалось ничего.

Он ласково улыбнулся и быстро на ходу поцеловал ее волосы, на которые она, очевидно, вылила добрую половину его склянки духов; отбыв повинность, сел подальше в кресло и развернул газету. Сразу ему бросилось в глаза набранное крупным шрифтом сообщение о процессе жирондистов: все обвиняемые, числом 21, были присуждены к смерти. Казнь должна была состояться сегодня в час дня на площади Революции. Сведения Маргариты Кольб оказались совершенно точны. Между тем приговор был вынесен в одиннадцать часов вечера. Вчерашний безотчетный страх, страх перед какой-то нависшей над ним опасностью, снова овладел Штаалем.

— Откуда же вы все-таки знали приговор до того, как трибунал его вынес? — небрежно спросил он свою любовницу, показывая ей газету.

Она быстро смерила его глазами.

— Повторяю, мой милый, я знаю, быть может, много больше, чем вы предполагаете,— ответила она, подчеркивая особенную интонацию.

«Это угроза,— сказал себе Штааль.— Нет, право, надо отсюда подалее».

Он равнодушно пожал плечами и, стараясь сохранить беззаботное выражение, продолжал читать газету.

[1] Улица Благовещения (*франц.*).

— Один из жирондистов, Валазе, закололся кинжалом в трибунале после вынесения приговора,— сказал он, как бы продолжая разговор.

— Неужели! Покажите!

Она заволновалась, читая газетное сообщение. Штааль искоса внимательно на нее смотрел, и выражение лица ее все более его тревожило.

— Скоро двенадцать часов. Пойдем,— сказала, быстро вставая, Маргарита Кольб.

Штааль прошелся несколько раз по комнате. Он чувствовал, что надо принять важное решение. В спальной в шкафу у него хранились деньги. Он незаметно вышел, притворив за собой дверь, и переложил все свое богатство в карман. «Что еще? Паспорт при мне. Еще бриллиантовая булавка — вот... Больше ничего не захватишь. Все остальное надо бросить: и три новых костюма, и белье, и галстуки, экая досада. Неужели, однако, я не вернусь в этот дом?..»

— Идем, моя дорогая,— сказал он нежным голосом, возвращаясь в гостиную.

Они вышли из дому. Когда Штааль спускался по лестнице, у него вдруг закружилась голова, он схватился рукой за перила. Но тотчас взял себя в руки и пересилил болезнь.

Из деревушки много народа шло пешком на площадь Революции.

VI

. . . .

«Вот, вот она! Буква *покой!..*»

. . . .

«Зачем столбы поставлены так близко друг от друга?..»

. . . .

«Отчего нож имеет закругленную форму?.. Серп... Жатва... Революция жнет!..»

. . . .

«Разносчик продает горячие пирожки... Неужели у них хватит бесстыдства есть... Разве можно есть при виде *этого?* Вздор!.. Все можно! Я сам ел бы, если б не был так болен... Все ложь, все обман!»

. . . .

«Вот отец высоко поднял ребенка на руках... Он хочет показать э т о сыну... Ребенок смеется... Смеется и отец... У него ласковое доброе лицо...»

. . . .

«Такой толпы не было в Париже со дня казни отрави-

теля Дерю — в 1776 году». — «В самом деле? Милый старичок... Он посещает все казни... Он театрал... Говорят, они все здесь сегодня на площади: Робеспьер, Дантон, Демулен... Они смотрят на черный *покой*...»

. . . .

«Головы будут падать к ногам временной статуи Свободы, так нарочно поставили гильотину...» — «Картечью по ним, по всем! Где пушки Суворова? Будь проклята временная Свобода!.. Все гнусно, все ложь, все обман!..»

. . . .

«Нет сил терпеть эту муку... Бежать... Бежать от нее... Как она противна мне!.. Что-то здесь в ней сегодня особенное...»

. . . .

— Les voilà!.. Les voilà!.. Oh, les traîtres! [1]

. . . .

«Зачем она вцепилась мне в руку? Что говорит она? — «Везут!» — Да, кажется, везут... Их сейчас зарежут, моя милая...»

. . . .

Стотысячная толпа рванулась. С улицы Florentin выходил на площадь большой отряд солдат. За ним следовало четыре фургона... Послышалось пение. Оно становилось все громче...

Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé .. [2]

. . . .

«Как странно, как вдохновенно поют эти связанные люди! Они уносят с собой славу, они уносят доблесть Революции...»

Contre nous de la tyrannie
L e c o u t e a u sanglant est levé!.. [3]

. . . .

В мертвой тишине площади вторая, грозная фраза «Марсельезы» прозвучала рыданием смерти. Никто в толпе не заметил демонстрации: вместо «l'étendart» жирондисты пели «le couteau» [4]. Но слов не требовалось: и без того замер, не переводя дыхания, народ.

---

[1] Вот они!.. Вот они!..О, предатели! *(франц.)*
[2] Вперед, сыны Отечества,
День вашей славы наступил... *(франц.)*
[3] Над нами занесен
Окровавленный н о ж тирании!.. *(франц.)*
[4] Стяг... н о ж *(франц.)*.

Колесницы подъехали к самому эшафоту. Связанные люди прямо с них переступали на лестницу возвышения. Протяжным стоном проносились по площади имена: одно знаменитее другого.

. . . .

«Четыре удара... Всякий раз четыре удара».

. . . .

На шарнирах с треском повертывалась доска. Коротко стучал опускающийся ошейник. Со страшным грохотом падал нож. И негромко ударяла о дно корзины голова.

А с фургонов с новой силой неслось в ответ пение связанных людей,— их число все уменьшалось:

Plutôt la mort que l'esclavage!
C'est la devise des Français!..[1]

На эшафоте помощник палача быстрым движением щетки сметал далеко разбрызгивавшуюся кровь.

. . . .

«Четыре удара... Еще четыре удара... Работает черный *покой*... Кого несут с последней колесницы?.. Почему застонала толпа?.. Это труп Валазе, того, что вчера закололся... Им надо обезглавить мертвого...»

«Остался один... Он поднимается на эшафот... Он поет... Что за голос!..»

Allons, enfants de la patrie...
Le jour de gloir est arrivé...

. . . .
. . . .

«Кто это?» — «Верньо... Верньо...» — «Боже, какой голос!.. Так вот где я его услышал... Скорей, скорей конец...»

Contre nous... de la... tyrannie...
Le couteau .. sanglant. .

. . . .
. . . .

«...Четыре удара!..»

. . . .

Кто-то вцепился Штаалю в руку выше локтя. Лицо Маргариты Кольб было искажено. Штааль заглянул в ее глаза и отшатнулся. Он хорошо знал то, что в них было... С отвращением он вырвал руку, бросился в сторону и скрылся.

---

[1] Лучше смерть, чем рабство!
Это девиз всех французов!.. *(франц.)*

VII

«Куда же теперь?» — спросил себя Штааль, задыхаясь от волнения. С усилием он собрал мысли. Возвращаться в Пасси невозможно. Маргарита Кольб знала об его связи с британской разведкой. Он теперь ясно чувствовал в ней злое и очень опасное существо. «Ей достаточно одного слова, чтобы погубить меня... Почему она не выдала меня до сих пор? Или ей была еще нужна моя любовь? — Что делать? Съездить в Пасси за вещами?.. Нет, верно, они уже ждут меня там. А если и не ждут, то перевозка вещей обратит внимание,— выследят...»

«Да уж не в бреду ли я? — мелькнула у него мысль.— Быть может, это казнь расстроила мою душу. Быть может, никакой опасности нет и лучше всего пойти спокойно к себе домой?»

Он повернул было к тому месту, откуда шла в Пасси почтовая карета. Но вдруг ясно почувствовал, что не вернется больше в особняк над Сеной. Очутиться в глухой деревушке в одиночестве, в тоскливый осенний день, слушать вой ветра над рекой и вспоминать там *это* — нет. Прежде она заполняла жизнь — «да, ведь я любил ее»,— подумал он с отвращением.

Жажда мести кому-то за что-то наполняла его душу. В больной, все тяжелевшей голове носились смутные злобные мысли. «Ах, зачем, зачем Суворов сидит в Херсоне? Зачем не он, вместо Кобургов и Брауншвейгов, ведет к победе, к мщенью союзные войска?» — подумал Штааль с тоскою. Вдруг грозную фигуру херсонского полководца сменил образ Шарлотты Корде. Штааль подумал, поднял воротник пальто и пошел дальше. Ему было очень холодно, он дрожал всем телом. Шел он быстро, торопливо и уверенно. И мысли — теперь не литературные — так же торопливо, так же *дрожа* ходили у него в голове.

«Да, я останусь теперь в Париже. Здесь скверно, но здесь оживление, шум... Дождусь Дюкро, посмотрю скорее все, что им нужно, затем уеду навсегда отсюда... Ах, да, доклад... Я напишу доклад в дороге... И какой уж теперь доклад! Кому он нужен? Зубову или Безбородко? Может быть, и не ждать вовсе Дюкро? Еще удастся ли уехать? Говорят, после *его* убийства на границах пошли другие порядки... Они ведь все сожалеют об *его* смерти, они оплакивают изверга. *Он* сделал все это... *Он* погубил тех несчастных... О благородная Шарлотта! На всех площадях своих городов мир должен воздвигнуть тебе памятники!..

Теперь повернуть налево, это уже недалеко... Да, куда же я денусь? Или поселиться в прежней гостинице, на улице Закона? Там хозяин прекрасный человек. Мы с ним расстались приятелями,— они были мною довольны, прислуга тоже: никогда не нужно жалеть денег прислуге, от нее многое зависит... Хозяин в ладах с полицией и может все устроить за деньги. Я прямо ему скажу, что хочу уехать и готов заплатить сколько угодно... При мне ли деньги? (он вдруг вздрогнул и схватился рукой за боковой карман,— бумажник был на месте). Хорош бы я был, если б остался здесь без денег, подумать страшно!.. Надо уменьшить риск: буду носить при себе только половину, а другую — положу в сундук. Эх, и сундука нет. Ничего у меня больше нет, все осталось в Пасси. Кто-то допьет мой ratafia de truffes?.. Они там не скоро меня хватятся. Ну, мало ли что бывает: человек уехал в город... Это очень важно... Теперь опять налево, да, вот она, улица Кордельеров...»

Он шел и смотрел на номера домов. Вдруг увидел двадцатый номер и остановился. «Это здесь,— произнес он вслух, озираясь по сторонам.— Да, двадцатый номер по улице Кордельеров...» Штааль сто раз читал в газетах описание дома и знал наизусть всю обстановку, все подробности убийства Марата. Дом был совершенно обыкновенный, старый и грязный. Замирая, молодой человек вошел через дверь между двумя лавками в маленький двор... «И двор самый обыкновенный, только какая-то в нем разлита печаль...» В глубине двора находился вход в квартиру Марата. На дворе никого не было. Всего лишь несколько первых дней и занимал этот дом любопытство парижской толпы. Ничто не свидетельствовало о том, что здесь три месяца тому назад было совершено одно из знаменитейших убийств истории. Штааль жадно вбирал в себя глазами все. «В этот самый двор, через ту же дверь, что и я, вошла тогда, 13 июля, прекрасная женщина, в высокой черной шляпе с черной кокардой, с черным веером в руке... Здесь она, быть может, остановилась и осмотрелась,— нет ли людей, удастся ли спастись бегством?.. Думала ли она о бегстве?.. Тогда было тепло, светило солнце... Вот окна его квартиры,— она тоже на них смотрела...»

Штааль, бледный как смерть, перешагнул порог. Пахло кухней. Молодой человек поднялся по лестнице и остановился, замирая, на квадратной площадке. Он смотрел на дверь, обитую черной клеенкой. Почему-то клеенка особенно его поразила. «Да, это здесь»,— подумал он. В действительности он ошибся дверью: в этой квартире жил другой

жилец, зубной врач Делафонде. Штааль немного отступил назад, потрогал черную клеенку рукой, но тотчас отдернул руку — и рассердился на себя за чрезмерную чувствительность. «Какое мне дело до Шарлотты Корде, что за слезливость такая!» — постарался он подумать. Штааль быстро, не оглядываясь, спустился по каменной лестнице и прошел мимо настоящей квартиры Марата, не заметив ее. Он глубоко вдохнул в себя, после противного ему запаха кухни, свежий, мокрый воздух и, почувствовав в горле острую боль, сразу упал духом совершенно. «Куда же теперь? Ни живой души знакомой»,— жалостно раза три повторил он вслух.— Да, я очень болен, мне нужно ехать не в гостиницу, а в гошпиталь».

Молодой человек вспомнил, что недалеко от той гостиницы на улице Закона, где он жил, была больница, которую очень хвалили; собственно, даже не больница, а лечебница для выздоравливающих, нуждающихся в отдыхе людей. Штаалю страстно захотелось мягкой постели и заботливого ухода. Он кликнул извозчика и долго, волнуясь, сбивчиво объяснял, куда ехать. Старик извозчик смотрел на него с недоумением; затем, подумав, сказал: «C'est bien... Montez... Allons-y...» [1]

Штааль облегченно вздохнул и не без труда взобрался на сиденье. В тряском экипаже он сразу почувствовал себя совсем плохо. Жар у него усиливался с каждой минутой, мысли мешались. Он все боялся, что не объяснил, как и куда ехать, думал, что его везут не туда, несколько раз заговаривал с извозчиком, который смотрел на него очень серьезно и нахмуренно,— это крайне беспокоило Штааля: уж не везет ли он его в Комитет Всеобщей Безопасности? Штааль хотел было доказать извозчику свою непричастность к убийству, но тот не отвечал и все погонял лошадь. Посредине дороги в дрожки вдруг вскочил обнаженный, крошечный, крепкий человек, с больным, горбоносым, распухшим лицом, с воспаленными желтыми глазами. В жирную волосатую грудь его, повыше правого соска, был по черную рукоятку всажен нож. С обнаженного человека лились кровь и вода. Он схватил Штааля за горло. Штааль вскрикнул не своим голосом.

Старый извозчик довез его до лечебницы, не говоря ни слова, слез с козел, вызвал сиделку, сдал ей больного и уехал, качая головой, не получив и не потребовав платы. Молодого человека немедленно уложили в постель; врач

---

[1] «Ладно... Полезайте... Поехали...» *(франц.)*

нашел у него серьезную болезнь и сильное нервное потрясенье. Штааль все требовал, чтобы ему дали миндального молока с глиной.

VIII

Меднозвучащие месяцы на «ôse» революционного календаря уступили место сладкозвучащим месяцам на «al» и уже растаял редкий снег, с натугой выброшенный на землю французской зимой, когда Штааль стал оправляться от своей тяжелой болезни.

Лечебница на улице Закона предназначалась для богатых людей и была поставлена очень хорошо. Как всё в Париже, она находилась под наблюдением Комитета Всеобщей Безопасности. Но владелец-врач наладил добрые отношения с Комитетом: полиция редко беспокоила лечебницу; раза два или три врачу удалось даже отстоять пациентов, которых агенты Комитета хотели перевести в тюрьму или хоть в больницу Революционного Трибунала. Это создало заведению особую славу, и в нем нередко, под видом больных, находили приют здоровые люди, считавшие для себя небезопасным другое местопребывание. Жилось в лечебнице довольно спокойно, а следовательно, чрезвычайно приятно: люди в ту пору стали тихи, скромны и нетребовательны. Пациенты, исключительно мужчины, все принадлежали к образованным классам; по взглядам они сильно расходились между собой, но друг к другу относились терпимо или, вернее, равнодушно, обращались на «вы» и «monsieur», спорили мягко и учтиво, негромкими голосами и со слабыми улыбками, как подобает в заведении, где люди ложатся спать в девять часов вечера и по нескольку раз в день принимают разные лекарства. О политике, впрочем, вообще говорили мало, чтобы не волноваться. Зато очень интересовались искусством; читали не газеты, а книги, в большинстве случаев старые; делились на глюкистов и пиччинистов; вспоминали, как историческое, событие первую постановку «Женитьбы Фигаро»; обсуждали сравнительные достоинства игры Марии Вестрис и старшей Сенваль. После обеда здоровые и выздоравливающие сходились в гостиной, где один из пациентов, мосье Борегар, не очень хорошо, но с чувством играл на клавесине.

Врач впервые разрешил Штаалю встать с постели и выйти из комнаты только в конце флореаля. В мягком, чистом халате, выбритый впервые после очень долгого времени, ощущая всем телом выздоровление, молодой человек слабыми, неуверенными шагами вошел под вечер в полу-

темную гостиную. Мосье Борегар тихо наигрывал на клавесине фантазию из «Альсеста».

Штааль опустился в кресло, в другом конце большой комнаты, и стал умиленно слушать. Он был музыкален от природы, а болезнь, долгое одиночество и тяжелое настроение особенно настраивали его к тихим меланхолическим мелодиям Глюка. В комнате, как ему показалось, больше не было никого. Вдруг, однако, сзади его окликнул голос:

— Tiens! monsieur Tracy! [1]

Штааль вздрогнул и обернулся. Около него, в темном углу, сидел на диване Пьер Ламор. Молодой человек радостно с ним поздоровался; — первое знакомое лицо его поразило — и смущенно пояснил, что он, собственно, не американец Трасси, а русский Штааль (в лечебнице его записали по паспорту настоящим именем); хотел было объяснить, каким образом случилась эта перемена, но Пьер Ламор негромко засмеялся (смех у него остался такой же неприятный) и перебил его.

— Пожалуйста, извините меня,— сказал он,— с моей стороны, разумеется, было неосторожно назвать вас вашим псевдонимом; я ведь догадывался, что вы не американец и не Траси. К счастью, никто не слышал... Однако и осунулись же вы! — добавил он, вглядываясь в полутьме в лицо Штааля.— Доктор нам говорил о молодом русском, которого привезли на извозчике тяжелобольным в день казни бриссотинцев. Вот уж не догадывался я, что это вы. Очень рад, что вы оправились... Жизнь скверная штука, но в двадцать лет этого еще не замечаешь; и теперь, не правда ли, было бы особенно жалко умереть, не узнав, как все это кончится.

— У вас, напротив, прекрасный вид,— сказал Штааль (они говорили вполголоса, чтобы не мешать мосье Борегару).

— Да, я неожиданно стал себя чувствовать много лучше. Не знаю, уберегусь ли от Сансона, а от врачей, как видите, пока спасся,— поправился... За границей мне пришлось туго, я остался без средств; это очень расстраивает здоровье. Здесь мои дела стали лучше; мне удалось распродать имущество.

— Почему же вы поселились в лечебнице, если выздоровели?

— Не все ли равно, где жить? Здесь кормят прекрасно. А главное, эта лечебница — самое безопасное место в Па-

---

[1] О! Господин Траси! *(франц.)*

риже. В гостинице меня обыскивали и арестовывали два раза; я наконец счел нужным заболеть и переехал сюда. Но все-таки не уверен, что меня оставят в покое: Комитет Всеобщей Безопасности почему-то очень мною интересуется. Того и гляди арестуют,— а из тюрьмы на эшафот теперь рукой подать. Буду, верно, петь марсельезы на ступенях гильотины, как жирондисты.

— Вы присутствовали при их казни? — быстро спросил Штааль.

— Присутствовал. Я не придаю большого значени смерти, особенно чужой, но жирондистов все-таки жаль. Они умерли с достоинством, не отрицаю. Эти люди были созданы для подмостков,— даже для подмостков эшафота. Как политические деятели, они достоинством не блистали. Политика — это шарлатанство, умеряемое проницательностью. У жирондистов было только шарлатанство. В политике есть *сегодня* и есть *завтра*,— больше нет ничего. А у них было *вчера* и *через тысячу лет*. В теории они желали быть гражданами платоновской республики. В действительности им хотелось стать либеральными министрами конституционного короля и удивлять демократическими фраками раззолоченную толпу версальских зал... Версальский блеск вообще оказал сильное действие на воображение разных революционеров... Жирондистам следовало родиться в Англии. Бриссо был создан для того, чтобы хитрым парламентским запросом или тонкой газетной статьей свалить чужое министерство. Для этого ему нужна была и революция. А вышло как назло совсем не то: невежественная Коммуна, разъяренная чернь, пьяный генерал Анрио, Революционный Трибунал, гильотина. Этого жирондисты не предвидели и были очень обижены.

— Вы предпочитаете им нынешних якобинцев? — сухо спросил Штааль.

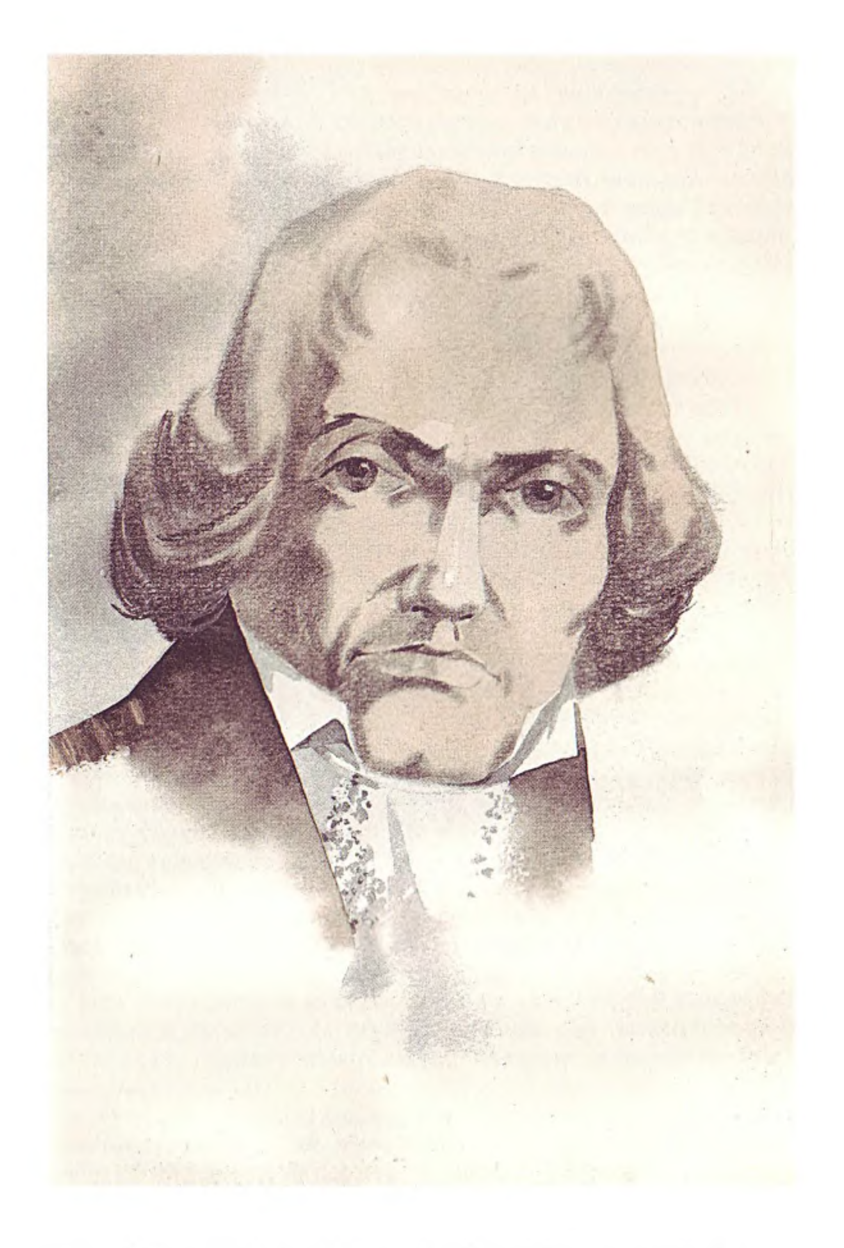
— Якобинцы заливают клоаку кровью. Жирондисты хотели вспрыснуть ее духами. Да и духи у них были скверные. Повторяю, по человечески, мне их очень жаль, особенно Верньо и тех двух молодых богачей, Дюко и Фонфреда... Заметьте, кстати, это странно: у многих революционеров огромные состояния. Не редкость, особенно теперь, увидеть человека, который отдает родине жизнь. Но я еще ни разу не встретил ни одного, кто отдал бы ей свое богатство. Если б для спасения республики граждане должны были пожертвовать, скажем, третью состояния каждый, вся Франция оказалась бы состоящей из монархистов, то же самое в обратной форме было бы верно в отно-



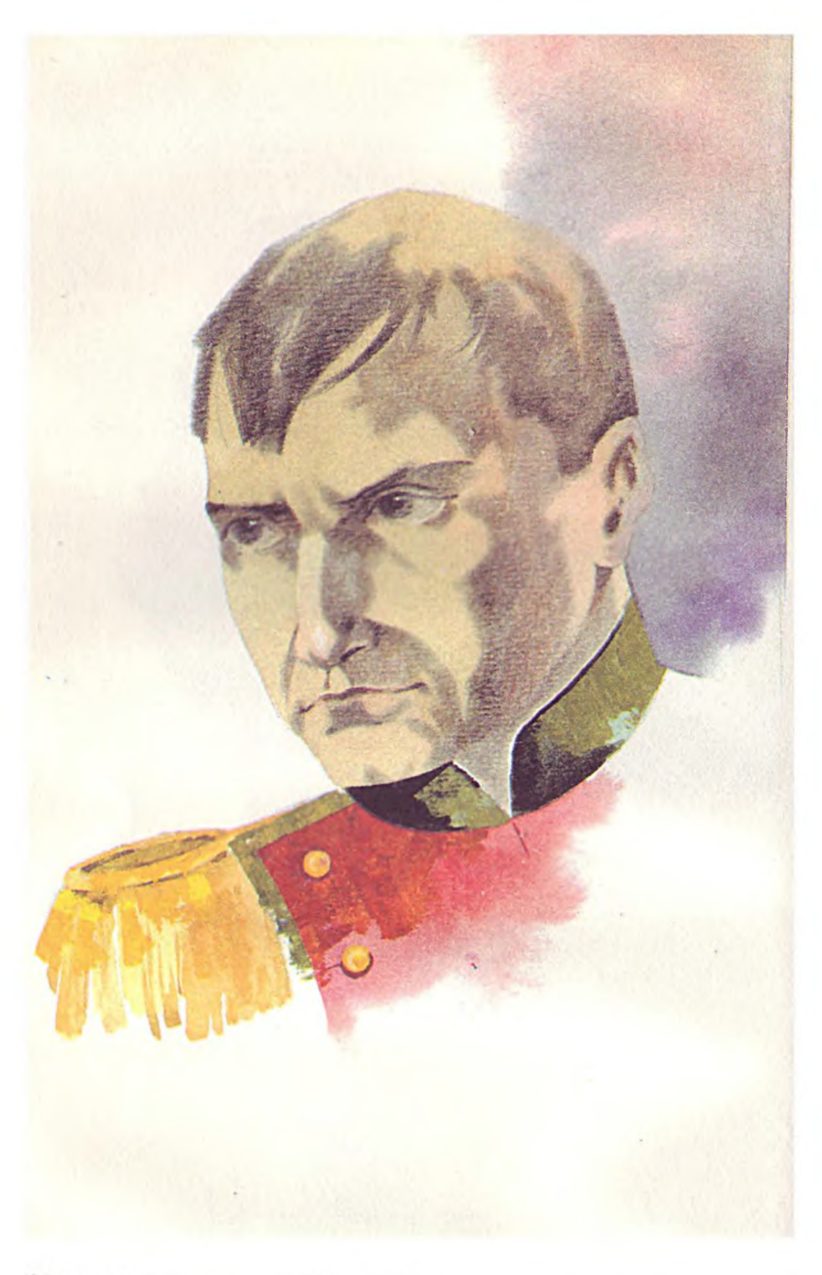
Екатерина II (1729—1796), императрица с 1762 г.



Максимильен Робеспьер (1758—1794), один из руководителей якобинцев



Шарль Морис Талейран-Перигор (1754—1838), французский дипломат, политик



Наполеон I Бонапарт (1769—1821), французский император в 1804—1814 гг. и в марте — июне 1815 г.

шении России или любой другой монархической страны. Это нелогично, ибо жизнь, разумеется, дороже людям, чем богатство... Один из бесчисленных абсурдов, заложенных в природу человека. Что же касается якобинцев... Honni soit qui *bien* y pense[1]. У нас теперь свирепствует какой-то новый *тик:* жажда облагодетельствовать человечество. И, разумеется, больше всего пылают этой жаждой всякие прохвосты и проходимцы; из них и состоит в массе Якобинский клуб... Я всегда рад, когда власть переходит к мерзавцам... Кроме того, у нас во Франции было слишком много адвокатов: должен вам сказать, у меня органическое отвращение от адвокатов. Может быть, к концу террора их число сократится... А вы, значит, не потеряли интереса к политическим спорам? Вот познакомьтесь с мосье Борегаром,— старик кивнул головой в сторону господина, игравшего на клавесине,— с ним наговоритесь о прелестях Революции.

— По внешности он что-то не похож на революционера.

— Я мог бы вам, конечно, ответить, что по внешности судить трудно. Самый благообразный, почтенный и представительный с виду человек из всех, кого я знал в жизни, был маркиз де Сад. Но в настоящем случае вы, пожалуй, не ошибаетесь... Мосье Борегар в разговоре, когда этого требует грамматика, употребляет imparfait du subjonctif[2]. По-моему, человек, употребляющий imparfait du subjonctif, не может быть революционером. Но мосье Борегар нежной любовью любит революцию. По своим симпатиям он ближе к жирондистам, однако, видите ли, признает большие заслуги и за монтаньярами. Шамфор совершенно правильно заметил: «Il faut avoir l'esprit de haïr ses ennemis»[3]. Мосье Борегару недостает этого рода ума. Хотя, вообще говоря, он человек неглупый и порядочный... Мосье Борегар! — окликнул он игравшего,— оставьте старого монархиста Глюка,— во-первых, скоро позовут ужинать, а во-вторых, я хочу познакомить вас с юношей, который, как вы, страстно любит Великую Революцию...

Мосье Борегар встал из-за клавесина. Это был высокий, немного сутуловатый, тучный человек лет тридцати пяти с усталым, приветливым лицом, желтым и немного опух-

---

[1] Позор тому, кто х о р о ш о об этом подумает! *(франц.)*. Перефразированный девиз английского ордена Подвязки: «Позор тому, кто плохо об этом подумает».

[2] Прошедшее несовершенное в сослагательном наклонении *(франц.)*.

[3] Нужно собраться с духом, чтобы ненавидеть своих врагов *(франц.)*.

шим, как от болезни почек. Он ласково поздоровался со Штаалем и поздравил его с выздоровлением.

— Никогда не говорите о политике с мосье Ламором,— сказал он, улыбаясь, молодому человеку.— Есть люди, глухие к революции, как есть люди, не восприимчивые к музыке. Убедите-ка глухого в том, что Глюк великий человек! Мосье Ламор, к тому же, органически не способен видеть добро в жизни. Послушать его, в революции нет ничего, кроме уголовных преступлений, совершенных пьяной толпой под руководством шайки разбойников. В этом он совершенно сходится с господами эмигрантами, которых он, впрочем, считает другой шайкой разбойников.

— Вот, вот,— сказал Пьер Ламор, вставая.— Учите молодого человека, объясняйте ему благодеяния Великой Революции. Может быть, вы сделаете из него со временем русского Робеспьера. Подумайте, как будет вам благодарно за это потомство... Пойдем ужинать, пора.

Мосье Борегар очень понравился Штаалю. Он показался ему одновременно и умным и добрым человеком,— сочетание, не часто встречающееся в жизни. Штааль под влиянием болезни находился в размягченном душевном состоянии и инстинктивно тянулся сердцем к приветливым и ласковым людям.

По профессии мосье Борегар был химик и в последнее время занимался изготовлением взрывчатых веществ для нужд армии. На этой работе он расстроил здоровье. Кроме того, через Кондорсе он был тесно связан с жирондистами, писал в свое время в их газетах, а потому состоял на учете в Комитете Всеобщей Безопасности. Ему рекомендовали пожить некоторое время в лечебнице. Он все это в первый же вечер откровенно рассказал Штаалю.

— А вы купите себе certificat de civisme[1],— посоветовал Пьер Ламор.— *Молодые герои*, которых гонят на фронт, очень охотно продают свои свидетельства — и недорого. Я бы и сам купил, но не подхожу по возрасту; не могу сойти за молодого героя.

Мосье Борегар только отмахнулся. К насмешкам старика он относился вполне равнодушно. Умел и сам отвечать довольно колко, но вообще иронии не любил, а особенно иронии непрерывной, к которой сводилась речь Пьера Ламора. Говорил мосье Борегар очень хорошо и действительно

[1] Свидетельство о гражданской благонадежности (*франц.*).

так литературно, точно писал статью. По-видимому, он был прекрасно образован и страстно любил науку: недавняя казнь Лавуазье была для него тяжелым личным ударом; лицо его темнело всякий раз, когда Пьер Ламор, тотчас нащупавший больное место, сочувственно расспрашивал его о работах великого ученого или рассказывал подробности суда над ним. О химии мосье Борегар говорил с таким увлечением, что Штаалю захотелось заняться этой наукой и устроить себе лабораторию. Мосье Борегар был ученик Бертолле и вместе со своим учителем девять лет тому назад принял, после долгих колебаний, новое учение. Он пытался объяснить молодому человеку сущность нового учения, созданного гением Лавуазье; излагал, с радостной улыбкой на лице, содержание собственных химических исследований. О работе же своей по изготовлению взрывчатых веществ распространялся неохотно. Он считал эту работу необходимой для Республики, но изготовление орудий убийства и разрушения было ему неприятно.

Штааль проводил часы в разговорах с новым знакомым. В освещении мосье Борегара молодой человек стал по-новому понимать Революцию. Конвент и правительство перестали ему казаться сборищем злодеев. Мосье Борегар не любил якобинцев, но отдавал должное их смелости и энергии. Он крайне отрицательно относился к террору, однако доказывал, что к стране, окруженной со всех стороны смертельными врагами, не могут прилагаться обычные политические и моральные мерила. Он верил в Революцию, подходил к ней исторически и только с досадой пожимал плечами, когда ему сообщали о творившемся кругом зле.

— Поверьте,— говорил он Штаалю,— через пятьдесят лет все это забудется или, по крайней мере, умным людям будет совестно об этом вспоминать. А вот Декларацию прав человека, всеобщее избирательное право, конституцию 1793 года, отражение неприятельского нашествия — история будет помнить вечно.

— Да, этого я не отрицаю,— сказал услышавший его заключение Пьер Ламор (старик редко слушал речи Борегара).— Я не сомневаюсь, что «перед лицом истории» будете правы вы. История все *осмыслит*, она на это мастерица. В действительности, разумеется, прав я. Извините меня, история — дура.

Мосье Борегар, обращаясь исключительно к Штаалю (что очень льстило молодому человеку), перечислял поло-

жительные заслуги Революции в области народного образования, культуры, развития искусств.

— Ну да, ну да,— говорил старик.— Вы еще забыли ее заслуги в области создания новой национальной одежды. Говорят, нас всех скоро переоденут в какой-то балетный костюм, над которым теперь работает дурак Давид. Я недавно его встретил на улице,— на нем голубенькие туфельки, голубенькая блузка, шляпа с пером, на спине огромная сабля, а за поясом два пистолета. Ручаюсь, кстати, головой, что он боится и не умеет стрелять: пистолеты, наверное, не заряжены. Я принял бы его за балетмейстера, не будь он безобразен, как смертный грех. По-моему, таким безобразным людям следовало бы вообще запретить заниматься искусством.

Штааль, со своей стороны, не желая слушать чужие мысли без возражений, рассказал о том, как на аукционе монастырского имущества продавались на вес книги. Многое, наверное, было куплено для вывоза из Франции.

— Разумеется,— подтвердил с удовольствием Пьер Ламор.— С товарной биржи на улице Сен Мартен ежедневно уходят за границу огромные ящики с произведениями искусства. Вековые сокровища Франции расхищаются и распродаются,— а Конвент гордо ассигнует деньги на поощрение наук и искусств. Это и есть революционное творчество. Так у них всегда: на словах они облагодетельствовали весь мир, а в действительности к чему они ни прикоснутся, все гибнет, пачкается, пошлеет. Революция творить не может. Единственная ее заслуга: после нее все приходится строить заново. А иногда, далеко, впрочем, не всегда новое выходит лучше старого... Но эту заслугу французская революция всецело разделяет с лиссабонским землетрясением. Добавлю еще, что основные понятия добра и зла в политике не вполне разработаны революционной мыслью. Чего хотят мудрецы Конвента? Материального благополучия Франции? Расширения ее границ? Военной славы? Освобождения мира? Они сами этого не знают. А знать не мешало бы...

Пьер Ламор отошел и уселся на диване, раскрыв «Мысли» Паскаля. Он все читал эту книгу и называл ее благочестивого автора королем скептиков и атеистов.

Штааль и Борегар продолжали разговор. Молодой человек рассказывал о наблюдениях, которые им производились в столовой гостиницы на улице Закона. Химик с улыбкой качал головой.

— Не придавайте всему этому значения,— говорил

он.— В вашей гостинице, очевидно, собрались торгаши. Народ настроен духом высоко, он опьянен свободой. Помните и то, что цвет поколения находится на границах. Было бы странно, если б в стране, окруженной врагами, в тылу оставалась лучшая часть населения. Молодежь, воплощающая в себе идеализм Великой Революции, творит в борьбе за родину чудеса храбрости и самопожертвования. Судите о нас по воинам, а не по спекулянтам. А лучше всего вообще, не анализируйте. В революцию нужно *верить!* Вы музыкальны, так прислушайтесь же к мелодическому голосу Великой Революции.

Мелодического голоса революции Штааль не слышал и про себя думал, что во многом, хотя и не во всем, прав Пьер Ламор. Чаще всего он мысленно соглашался с тем, с кем говорил,— пока говорил. Но оба толкователя были ему полезны. в своем докладе (он опять возвращался мыслями к докладу) молодой человек хотел использовать доводы противников и сторонников Революции,— доводы сторонников, разумеется, очень осторожно и в форме вопросительной.

До возвращения в Россию было, однако, далеко. Штааль посылал в лавку мосье Дюкро за справками. Оказалось, что бывший учитель успел вернуться в Париж и снова уехать. Возвращение его ожидалось к началу лета. Впрочем, Штааль был еще слишком слаб для далекого путешествия. Да и трудно было теперь покинуть Францию в самый разгар террора.

Лечебницей молодой человек был очень доволен. Полиция его не тревожила и, по-видимому, не разыскивала. Штааль начинал думать, что напрасно подозревал Маргариту Кольб. Быть может, она и не собиралась вовсе его выдавать.

Мысли об этой женщине продолжали его тревожить, и ему очень хотелось ими поделиться с опытным в жизни человеком. Мосье Борегар, наверное, ничего не мог ему сказать: он был слишком чист и возвышен душою для того, чтобы понять Маргариту Кольб. Но Пьер Ламор казался подходящим. Штааль однажды во всех подробностях рассказал ему свой роман. Старик слушал очень внимательно, даже переспрашивал о некоторых интимных подробностях их отношений и переспрашивал так, что у молодого человека краска заливала лицо. Радостная, недобрая усмешка не сходила при этом с уст Ламора.

— Вы отлично сделали, что бежали от этой госпожи,— сказал старик, выспросив Штааля как следует.— Ваше сча-

стье... Она, наверное, состояла на службе у полиции и непременно выдала бы вас после того, как ей надоело бы ваше двадцатилетнее тело. Такими женщинами полна революционная эпоха, и они играют в ней немалую роль. Ваша-то дама, правда,— третий сорт, но кое-что от Маргариты Кольб есть, думаю, во всех героинях революции. Революция не создана для нормальных женщин; зато для ненормальных она настоящий клад. Вот интересная тема: роль половых извращений в революционной психологии. Не говорите этого мосье Борегару, он назовет меня пошляком или как-нибудь еще обиднее. Но мосье Борегар понимает в революции еще гораздо меньше, чем вы — в характере женщин.

Последнее замечание несколько покоробило Штааля. Ему не нравился Пьер Ламор.

В лечебнице старика недолюбливали и боялись. Он был окружен тайной. Все думали, что Пьер Ламор — не настоящее его имя. Одни говорили, будто он принадлежит к очень знатной семье овернского дворянства. Но кто-то из пациентов, встречавший его в молодости, передавал с чьих-то слов, не ручаясь за достоверность, что Ламор по происхождению потомок маранов — давно выкрестившихся испанских иудеев. Все сходились на том, что он человек недоброжелательный и злой.

В конце весны в лечебницу ночью неожиданно явились агенты Комитета Всеобщей Безопасности и увезли в тюрьму несколько человек, в том числе Ламора и Борегара. Никто не успел с ними проститься. Врач ездил их выручать, но без успеха. Над арестованными, как оказалось, тяготело зловещее обвинение в сношениях с эмиграцией и в подозрительных знакомствах. Толком об их судьбе ничего не удалось узнать; да особенно никто и не старался: люди равнодушно узнавали об аресте и гибели даже близких родных и друзей.

IX

Член Конвента Баррас в жаркий июльский день 1794 года получил от Фуше короткую записку, приглашавшую его явиться вечером в Café Corrazza, где обыкновенно собирались заговорщики.

Франция переживала самые тяжелые времена всей своей истории. Военные дела республики были в блестящем

состоянии: армия шла от победы к победе. Но эти успехи не радовали никого. Революция явно вступила в полосу развала и вырождения. Никому не было известно, кто и во имя чего правит государством: то ли вся власть принадлежит Якобинскому клубу; то ли страной распоряжается двадцать одна тысяча террористических революционных комитетов, состоящих из подонков населения; то ли, наконец, существует следующая конструкция власти: над Францией — Конвент, над Конвентом — Комитет Общественного Спасения, над Комитетом так называемые триумвиры, над триумвирами — Максимилиан Робеспьер.

О народе никто и не говорил. После казни Дантона народ уже больше ничего не понимал и, потеряв интерес к событиям, все терпел безучастно. Лучшие из вождей революции погибли под ножом гильотины. Многие ушли от политики и переживали острые припадки мизантропии. В общем, почти все думали, что так дальше продолжаться не может; безобразию и позору должен прийти конец. Как придет конец, насчет этого мнения расходились. Одни стояли за общенациональное объединение против террористов; в последние месяцы своей жизни к этой мысли примкнул Дантон. Другие, напротив, опасаясь реакции, оставались верны старой формуле Анахарсиса Клоотса: «Ni Marat, ni Roland», разумеется, изменив ее сообразно с событиями, ибо и Марат и Ролан уже погибли. Третьи, наконец, как Лаканаль и Буасси д'Англа, думали, что существующий хаос пройдет сам собой, и проповедовали мирный труд на пользу родины, кто бы ни был у власти. Триумвиры — Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст — боялись первых, ненавидели вторых и искусно пользовались третьими, глубоко их презирая.

К лету 1794 года большое распространение получила мысль, что оздоровление придет снизу и что, пока зверские инстинкты не улягутся в народных массах, борьба с властью совершенно бесполезна.

Но существовало и другое мнение.

Несколько отважных, беспринципных и бесчестных людей, которым нечего было терять, составило заговор против Робеспьера. Они предполагали искусным маневром преодолеть апатию Конвента, поднять вооруженное восстание, уничтожить триумвиров и разогнать Якобинский клуб. Дальше заговорщики не заглядывали, рассчитывая, что там будет видно. Действовали они по личным мотивам, большей частью низменного свойства. Но порядочные люди, знавшие о заговоре, всей душой ему сочувствовали.

Сбылось то, что в своей мудрости предвидел граф Мирабо. Не могли спасти Францию честные политические деятели с их честными политическими действиями. Несчастную, порабощенную страну спасали от фанатиков негодяи.

Главным режиссером заговора термидорианцев был Фуше, в прошлом профессор духовного училища, в настоящем террорист, в будущем герцог Отрантский, знаменитый министр полиции, служивший всем режимам и всегда своевременно их предававший.

Баррасу в вооруженном восстании предназначалась роль командующего войсками. Бывший офицер королевской армии, Баррас любил разъяснять штатским людям тонкие стратегические вопросы и умел очень хорошо говорить о походах Конде, Тюренна и Фридриха II. Это искусство, в связи с его атлетической фигурой, воинственной выправкой и врожденным апломбом провансальца, создало ему в Конвенте репутацию рубаки и знатока военного дела. Но сам Баррас в глубине души был не слишком уверен в своих боевых талантах, и, чем ближе дело пододвигалось к восстанию, тем чаще ему приходило в голову, что хорошо было бы выписать на время в Париж, себе в помощники, одного молодого корсиканского офицера, работу которого он недавно наблюдал, находясь в миссии в Тулоне. Этот офицер, невысокий, худой, крайне нервный человек с подвижным, бледным лицом и страшными серыми глазами, звался не то Буонапарте, не то Бона-Парте. Он был еще очень молод и не имел никакого имени. Тем не менее все, кому приходилось вести с ним опасную и ответственную работу, испытывали такое чувство, что за этим человеком не пропадешь.

Нервное состояние, в котором находился Баррас по дороге в Café Corrazza, усиливалось еще от разных мелочей. Так, накануне, находясь по делу в Тампле, он натолкнулся на неприятную сцену. Когда он проходил по двору тюрьмы, сопровождавший его дежурный комиссар секции, по профессии портной, внезапно накинулся на заморенного длинноволосого десятилетнего мальчика в лохмотьях, смирно лежавшего на крыльце, и за что-то несколько раз ударил его палкой. Баррас недовольно оглянулся на плач поднявшегося ребенка — и внезапно почувствовал легкий прилив крови к голове: это был тот самый, всем когда-то знакомый по портретам, мальчик, которого заграничные газеты, после казни его отца, называли Людовиком XVII, королем Франции и Наварры. Баррас видел его в последний раз пять лет тому назад, на большом выходе в Версальском

дворце; в свите этого ребенка в то время шло двадцать знатнейших французских вельмож. Хотя Баррас уже два года ненавидел павшую два года тому династию, ему все-таки сделалось не по себе от мысли, что в присутствии его, потомка крестоносцев, портной бьет палкой престолонаследника Людовика Святого. На секунду он даже задумался, уж не напрасно ли, право, он, виконт де Баррас, с его шестисотлетним дворянством, с гордым девизом его рода: Vivat Barrasia proles, antiquitate nobilis, virtute nobilior[1], присоединился к портным и адвокатам. Он ничего, однако, не решился сказать комиссару: знал к тому же, что комиссар, по существу, не злой, хотя, как и все, несколько озверевший от Революции, человек, ударил бывшего дофина не из жестокости, а больше для того, чтобы этим революционным действием поддержать в глазах влиятельного члена Конвента свою репутацию доброго санкюлота: каждому было полезно в такое время лишний раз себя застраховать от висевшего над всеми обвинения в контрреволюции. Но дурное настроение Барраса усилилось от сцены в Тампле. Ему захотелось уехать из раскаленного июльским жаром и залитого кровью Парижа, подальше от тюрем и казней, от узников и сторожей, куда-либо на свежий воздух, в глушь, где, быть может, еще живут люди простой человеческой жизнью, досыта едят, допьяна пьют, не боятся шпионов и не режут друг друга. Уже давно облюбовал он себе продававшееся по случаю великолепное имение Гробуа. Доходы, которые выпали на его долю — тут он вздохнул — при взятии Марселя и Тулона, давали ему возможность осуществить этот замысел.

Баррас размечтался было о парке, о замке, об охотах Гробуа. Но внезапно в воображении его встал неподвижное, мрачное, точно из пергамента сделанное лицо Робеспьера, мутный взгляд покрытых очками глаз,— и с тоской и злобой он подумал, что если этот человек не погибнет, то не видать ему, Баррасу, ни замка, ни парка, ни охоты — и вообще ничего больше в жизни не видать и головы не сносить. Он вспомнил свой визит к диктатору после возвращения из Тулона и встреченный ледяной прием: очевидно, Робеспьер узнал о несчастном случае, происшедшем с комиссаром Конвента в дороге. Баррас вез из Марселя восемьсот тысяч казенных денег, которые должен был сдать Камбону. Но вместо них он представил протокол,

[1] Да здравствует род Баррасов, славный своей древностью, еще более славный добродетелью (*лат.*).

удостоверявший, что в пути, над болотом, коляска опрокинулась и все деньги утонули. Комиссар и теперь не мог без смеха вспомнить гневное и растерянное лицо Камбона, когда тот читал составленный по всей форме местными властями протокол. «Неужели он, разбойник, пожаловался Робеспьеру? А может быть, до Парижа дошли слухи о хищениях в городе Тулоне?»

«Ну да, я брал,— подумал Баррас,— но с кого же? С контрреволюционеров, которым он рубит головы. Резать можно, а штрафовать нельзя? Да кто же не берет взяток? И Мирабо брал, и Дантон. Один Робеспьер не берет... Так ведь на какой ему черт деньги при его образе жизни? А мог бы, дурак, если б хотел, составить себе сказочное состояние! И гораздо было бы лучше, чем без толку резать людей. Что за мелочность во взглядах у этого человека! Да, пока он жив, Франция не воскреснет. Только как с ним покончить? Восстание? Конечно... Но трудно, очень трудно».

И опять он подумал, что непременно, непременно нужно, как можно скорее, выписать в Париж бледного корсиканского офицера.

«Конечно, этот молодой человек будет пешкой в моих руках. Я буду давать ему директивы. Но для распоряжения боем он, пожалуй, способен быть моим заместителем. Артиллерийское дело он знает, это что и говорить. Очень ловко он, подлец, сообразил, что позиция Эгильет — ключ к Тулону. У меня просто не было времени изучить как следует карту...»

Баррасу вспомнились сцены, последовавшие за взятием Тулона. Он тогда был очень встревожен: имел основания думать, что в осажденном городе, в числе других контрреволюционеров, находится его родной дядя. Римская душа, полагавшаяся комиссарам Конвента, а кроме нее элементарная осторожность предписывали Баррасу расстрелять родственника в первую очередь. Но он очень любил своего дядю и вдобавок нисколько не желал, чтобы имущество старика было отобрано в казну. К счастью, оказалось, что дядя своевременно успел убежать из Тулона. Эта первая удача очень бодро настроила Барраса. Отдав приказ везде и всем называть по-новому контрреволюционный город (Марсель был на вечные времена переименован в Sans Nom, а Тулон — в Port de la Montagne[1]) и предоставив снятие

[1] Безымянный... Порт Горы (*франц.*).

реакционных эмблем и закрытие церквей своим товарищам, Баррас занялся более серьезным делом. Он уединялся поочередно с богатыми контрреволюционерами Тулона и подвергал их допросу. После нескольких таких бесед фонд, предназначавшийся для покупки замка Гробуа, достиг внушительного размера — и Баррас в самом радужном настроении духа пешком отправился в лагерь обедать. Картина зимнего вечера в захваченном городе была ужасна. Тулон горел. Арсенал, склады, корабли в порту были подожжены английским адмиралом Сиднеем Смитом при отходе англоиспанского флота, и казалось, что горит само море. По домам шел грабеж. На портовой площади, у стены развороченного дома, расстреливались контрреволюционеры, имевшие несчастье натолкнуться на неподкупных комиссаров. Баррас не любил таких зрелищ и ускорил шаги. Вдруг в небольшом расстоянии от места расстрела он увидел одиноко стоящего на возвышении офицера. Это был Бонапарт. Освещенный заревом пылающих кораблей, он стоял в изорванном плаще, тяжело опершись обеими руками на саблю, живой символ войны и победы,— и молча, безучастно смотрел на казнь. Бледное лицо его поразило Барраса выражением любопытства, отвращения, усталости и чего-то еще: точно какая-то мысль, не известная и не понятная другим, глубоко гнездилась в мозгу этого человека.

Комиссар его окликнул, и они пошли вместе. По дороге Баррас оживленно излагал свои идеи относительно штурма крепостей и войны вообще, ссылался на Тюренна, на Вобана и на Фридриха II. Буонапарте внимательно его слушал, но за почтительностью карьериста к всемогущему комиссару Конвента в стальных глазах офицера Баррасу почему-то почудилась холодная насмешка. Он был, однако, так хорошо настроен, что немедленно представил своего спутника к награде: Буонапарте был ранен при штурме; под ним была убита лошадь. Кроме того, в революционном штабе все хорошо знали, что Тулон взял именно этот молодой человек.

«Жаль только, говорят, он предан душою и телом якобинцам. Впрочем, и обо мне говорят то же самое. Очень он потом ухаживал за госпожой Рикор, с которой в связи младший Робеспьер. Верно, делает карьеру через женщин. Ну что ж, тем лучше: за этим дело не станет и у нас».

Весело улыбаясь при этой мысли, Баррас вошел в кафе Коррацца. За столиком в углу сидел Фуше и читал ведомости Якобинского клуба.

X

— Citoyen, salut [1],— сказал Баррас своим могучим грудным баритоном.

— Et fraternité [2],— довольно кисло ответил Фуше. Лицо его ясно говорило, что кричать на всю кофейню совершенно напрасно, а между собой можно бы бросить ерунду и говорить другу bon soir [3].

— Какие новости? — спросил Баррас, садясь и наливая себе вина.

Фуше, посматривая на собеседника тем незаметным острым взглядом, который свойствен сыщикам и писателям, негромко и с беззаботной улыбкой, точно он рассказывал приятные пустячки, сообщил новости: в списке, переданном Робеспьером Фукье-Тенвиллю, значилось имя Барраса.

Баррас сильно побледнел:

— Откуда ты знаешь?

Фуше улыбнулся еще приятнее. Это можно было истолковать так: «Да уж поверьте; не говорил бы, если б не знал».

— Но за что же? За что? — вскрикнул Баррас, ударив по столу кулаком так, что стаканы затряслись и люди с другого конца комнаты оглянулись.

— Пожалуйста, не кричите, Баррас,— сказал Фуше, внушительно глядя на собеседника сквозь свою беззаботную улыбку.

— Здесь шпионы?

— Не думаю. Кажется, я знаю всех шпионов. Но, согласитесь, бесполезно кричать о том, что вас должны на днях казнить... Вы спрашиваете, за что? Почем мне знать? Быть может, этому чудаку не понравился несчастный случай, произошедший, кажется, с вашей коляской по дороге из Марселя. Быть может, просто вы недостаточно добродетельны или не верите в бессмертие души. Разве у него разберешь? Он всех нас собирается съесть, как артишок: лепесток за лепестком. Пожалуй, и подавится.

— Кто еще в списке? — спросил Баррас, выпив залпом один за другим три стакана вина.

— Многие... Барер.

— Не может быть! Один из ближайших его сотрудников!

Фуше засмеялся тихим, веселым смехом:

---

[1] Привет, гражданин *(франц.)*.
[2] И братство *(франц.)*.
[3] Добрый вечер *(франц.)*.

— Знаете ли, Барер разучивает две пламенные речи для решительного дня в Конвенте: одну — за Робеспьера, другую — против него. Он еще не выяснил, чьи шансы сильнее. Теперь может бросить первую речь: попал, голубок, в списочек. Это для нас чрезвычайно ценно: Барер очень влиятельный человек. Робеспьер сделал крупную ошибку... Сообщу вам, кстати, еще новость: казнь Терезы Кабаррю назначена на ближайшие дни. Она прислала из тюрьмы письмо Тальену, молит ее спасти. Тальен в совершенном исступлении... Кажется, вы тоже интересуетесь этой дамой?

Красивейшая женщина Франции, Тереза Кабаррю, бывшая маркиза Фонтене, будущая жена Тальена и любовница Барраса, известная в истории под кличкой «Notre Dame de Thermidor» [1], была недавно арестована.

— Нет, это невозможно,— сказал, Баррас, багровея от вина и бешенства.— Он может казнить нас («Говорите за себя»,— вставил Фуше), но пусть не смеет трогать женщин. Клянусь честью, я своими руками задушу тирана!

— Вам предназначена другая роль. В Конвенте в решительную минуту будет говорить Тальен. У него изумительная дикция. Мы теперь с ним проходим его речь. Вот послушайте, я знаю ее на память: «Я молчал до сих пор. От человека, близкого к тирану Франции, я знал, что им составляются проскрипционные списки, и все же не хотел выступить с обвинением. Но вчера мне довелось быть на заседании Якобинского клуба. Я задрожал, подумав о родине. Я увидел армию нового Кромвеля — и вооружился кинжалом, чтобы пронзить ему грудь, если Конвент не найдет в себе мужества восстать против деспота!..» Здесь он выхватывает кинжал,— старый нож Терезы. А? Что скажете? Тальма не мог бы разыграть эту сцену лучше... Дальше мы все вскакиваем с мест в сильном волнении и предлагаем вас в главнокомандующие... Послушайте, Баррас, скажите совершенно откровенно: вы умеете распоряжаться боем?

— Странный вопрос!

— Значит, умеете? Да... Впрочем, теперь об этом говорить поздно. Другого военного среди нас нет. Карно не пойдет. Этот тихоня умеет подписывать смертные приговоры — на последнем месте, с краю бумаги. Но он предпочитает, чтоб за него рисковали головой другие. Однако я не кончил. Переворот назначен на девятое термидора...

[1] «Богоматерь Термидора» *(франц.)*.

В кратких и точных выражениях он изложил весь план действий. У Барраса вытянулось лицо: было поздно вызывать Буонапарте.

— Когда все это кончится, Фуше? — спросил он мрачно.

Фуше ласково похлопал его по плечу:

— Тогда кончится, когда у каждого из нас будет по приличному именьицу. Прекрасный замок в Гробуа, а? Времен Карла IX, очень хорошо тогда строили... Ну, прощайте, я ухожу. Много дела. Поезжайте отсюда к Колло д'Эрбуа и все ему передайте. Не забудьте сообщить, что и он значится в списке. И, разумеется, не ночуйте дома. Вы вооружены? Прекрасно. Завтра мы все обедаем у Дуайена. Прощайте... Да, да, salut et fraternité [1].

Фуше вышел из Пале-Эгалите, где находилось кафе Корраццa, и отправился в Комитет Общественного Спасения; он знал, что, несмотря на поздний час, найдет там Карно, который работал регулярно шестнадцать часов в сутки. Он сказал *организатору победы* (Карно чрезвычайно любил это свое прозвище), что предупреждает его по дружбе. Робеспьер очень недоволен ходом военных операций: во главе армий стоят генералы-честолюбцы, которые не умеют внушить чужим народам любовь к республиканским идеям; не сегодня-завтра какой-либо из этих победоносных генералов уничтожит республику в самой Франции и установит солдатскую диктатуру; лучше бы поменьше побед. Одним словом, военная секция работает плохо и против нее будут приняты меры. Карно, который и раньше об этом слышал, даже прослезился от огорчения и обиды. Он сказал взволнованным голосом, что ему всегда было противно работать с этим кровожадным Катилиной и что, если б не внешний враг, со всех сторон грозящий Франции, он бы давно сам ушел в отставку и занялся наукой. Фуше прослезился вместе с Карно, обнял его, назвал Катоном — и уехал очень успокоенный: военная секция не выступит на защиту Робеспьера. Из Комитета он отправился на новую улицу Разума, к влиятельному члену группы так называемых кавалеров кинжала, во главе которой стоял знаменитый роялистский заговорщик, барон де Батз: каким-то образом у Фуше были условные слова, пропуски, псевдонимы и рекомендации, открывавшие ему все двери. Вдохновенно воспользовавшись слышанным накануне рассказом Барраса, он с чрезвычайным обилием подробностей описал кавалеру

[1] Привет и братство (*франц.*).

кинжала сцену в Тампле: по его словам, дофина избил палкой до полусмерти сам Робеспьер. На этих днях несчастный младенец будет отправлен на эшафот. Посмотрев на побагровевшее лицо и выкатившиеся глаза роялиста, Фуше рискнул пойти дальше: глухо намекнул, что в Париже готовятся очень важные события; если еще осталось на свете несколько сот французских дворян, готовых умереть ради правнука Генриха IV, пусть они отточат шпаги: скоро, скоро настанет час мести и избавления. Тут он даже попробовал спеть фальшивым голосом два такта роялистского гимна: «O Richard, o mon roi! L'univers t'abandonne!» [1],— но поперхнулся и уехал, на том же извозчике, на улицу Санкюлотов, к одному чрезвычайно крайнему террористу, который был недоволен Робеспьером за умеренность и за желание остановить величественный и грозный поток французской революции. Этого террориста (у него на письменном столе стояла гильотинка, искусно выпиленная из красного дерева) Фуше считал совершенным дураком и без долгих размышлений объявил не проснувшемуся как следует, оторопевшему старику, вышедшему к нему в шлафроке и фригийском колпачке, что, по полученным точным сведениям, Робеспьер хочет жениться на Madame Royale [2], дочери Людовика XVI, и объявить себя французским королем. Фуше сам вряд ли предвидел, какое историческое значение будет иметь эта импровизация, позже повторенная термидорианцами с трибуны Конвента. «Брут, проснись!» — воскликнул он взволнованно, схватив за руку старика. Старый террорист пришел в ярость, сказал, что можно было ожидать всего от человека, который пудрит себе голову, и поклялся умереть за единую и нераздельную Республику. Фуше отправил его предупредить друзей, а сам поехал спать. На утро у него было назначено в Елисейских полях свидание с сестрой диктатора, Шарлоттой Робеспьер: он просил руки сварливой девы, чтобы на несколько дней отвлечь от себя подозрения ее брата. Шарлотта не знала, что Фуше женат.

XI

Старый Морис Дюпле, мастер-столяр по ремеслу, один из тех артистов, которые и теперь встречаются между ремесленниками Франции, недовольно покачивая головой, ходил под вечер по мастерским, осматривая то, что за день

[1] «О Ричард, о мой король! Мир тебя покидает!» *(франц.)*
[2] Здесь: наследная принцесса *(франц.)*.

было сделано его помощниками. Работа идет плохо. На это бюро красного дерева положили гораздо больше бронзы, чем нужно; явно не понята самая идея бюро. Здесь не соблюден данный им рисунок. «Молодое поколение не любит и не ценит своего искусства. Забыты великие традиции столяров прошлых времен. Стыдно сказать: иные молодчики дошли до того, что на связях употребляют клей! Дерево пускают в работу через год, много через два, после сруба! В былое время таких господ взашеи бы выгнали из корпорации... Да и не для кого, в сущности, работать как следует. Совестно признаться, а Революция испортила дела. Все эти аристократы, нынешние эмигранты — предатели и враги народа, но, нельзя не сказать, многие из них знали толк в мебели. Сам тиран Капет был любитель и большой знаток ремесла. Не будь он королем, из него вышел бы прекрасный ремесленник. Нынешние богачи и смыслят мало, и заказывают неохотно: боятся показать, что разбогатели. Дошло до того, что Ризнер, король столяров, гениальнейший человек столетия, ученик великого Эбена, терпит нужду: не продаются столы и комоды Ризнера, прежде шедшие на вес золота!»

Самому Дюпле, впрочем, жаловаться не приходилось. Сорокалетним упорным трудом он сколотил себе порядочное состояние. Если бы все жильцы его трех домов платили исправно, у старика было бы пятнадцать тысяч годового дохода. «Правда, при нынешней дороговизне этой суммы едва хватает на жизнь. Но жена, слава Богу,— то есть Верховному Существу,— прекрасная хозяйка. Дочери в нее: славные девочки и работницы. Понемногу пристраиваются: младшая, Елизавета, очень хорошо вышла замуж. Честнейший человек этот Леба. Старшая, Элеонора, тоже скоро выйдет... Ох, лучше не выходила бы...»

Лицо Дюпле потемнело. Он все не мог понять, быть ли ему на седьмом небе от радости или рвать на себе в ужасе волосы от того, что на старшей его дочери должен скоро жениться их жилец, тот самый человек, кого семья умиленно и с обожанием называет добрым другом и кто всему остальному миру известен под именем Максимилиана Робеспьера.

Уже три года прошло с той поры, когда на одну тревожную ночь Дюпле предложил в своем доме убежище этому знаменитому человеку. И так он их всех тогда очаровал своей кротостью, приветливостью и простотой, что они умолили его переехать к ним навсегда и окружили лаской и заботой. Три года почти безвыездно жил он у них, на глазах

у семьи, трудовой, замкнутой, праведной жизнью, и Дюпле все меньше понимал — кого же пустил он в свой дом в тот роковой для их семьи вечер 17 июля 1791 года: святого подвижника или кровожадного зверя?

Старик не мог не видеть, что, как от жилища прокаженных, бегут люди от их дома. По этой rue Honoré (до революции ее звали Saint-Honoré) прежде возили на эшафот осужденных. Понемногу, одна за другой, лавки стали закрываться на зловещей улице, и по вечерам тихо, стараясь не обращать на себя внимания, съезжали с нее старые жильцы.

Ныне днем, зайдя в кофейню, Дюпле услышал разговор. У стойки какой-то старичок рассказывал хозяину, что в день празднования Верховного Существа по площади, где ежедневно производились казни, должна была проехать запряженная разукрашенными волами аллегорическая колесница Искусств и Ремесел. Но волы, почуяв запах крови, от ужаса выпятили глаза на гильотину, судорожно откинулись назад и вросли в землю ногами. На глазах у оцепеневшей многотысячной толпы колесницу пришлось повернуть и повезти другой дорогой. Об этом происшествии много говорили в Париже, хотя едва ли оно не было вымышлено. Посредине рассказа хозяин круто прервал старичка и что-то тихо ему сказал, чуть заметно показывая глазами в сторону Дюпле. Старичок сразу замолк, побледнел и посмотрел на *человека, у которого живет Робеспьер*, тем же выпученным, исполненным ужаса взглядом вола, почуявшего запах крови.

Дюпле и сам хорошо знал, какие дела ежедневно творятся во Франции по воле или с попустительства праведного, кроткого человека, живущего у него в доме. Столяр был присяжным Революционного Трибунала и видел своими глазами, как на казнь сотнями отправляются люди без всякой вины, часто женщины, дети и старики. Всем сердцем преданный республиканским идеям, он все чаще с душевной болью думал, что в худшие времена старого строя, при мосье де Мопу, не творилось такого насилия, зверства и злоупотребления, как теперь; стоило ли брать приступом Бастилию для того, чтобы вместо нее учредить 41 революционную тюрьму? Дюпле под всяческими предлогами уклонялся от исполнения своих обязанностей присяжного, а когда являлся в суд, неизменно подавал голос за оправдание — и давно бы сам погиб, если б Фукье-Тенвиллю не было известно, что этот странный присяжный — ближайший друг *Неподкупного*. Однажды Робеспьер за обедом намекнул, что до него дошли слухи о крайней снисходительности Дюпле, противной долгу гражданина.

— Добрый друг,— ответил затрясшись старик,— я не спрашиваю вас о том, что вы делаете в Комитете Общественного Спасения. Предоставьте же мне судить в Революционном Трибунале так, как мне говорит совесть.

Жена и дочери Дюпле, обожавшие своего жильца, удивленно переглянулись при этой выходке. Робеспьер посмотрел на старика, пожевал губами — и протянул ему руку. Но, несмотря на ласковый жест, старому столяру показалось, что добрый друг при случае не задумается отправить на эшафот и его, как это ни будет неприятно Элеоноре и всей милой семье. «Разве с несчастным Камиллом не было то же самое!»

Камилл Демулен был школьным товарищем Робеспьера. Они говорили друг другу «ты» задолго до того, как это было предписано обычаем всем гражданам Республики. В день свадьбы Камилла Робеспьер был его шафером. Весь Париж знал о трогательном романе Демулена с прелестной Люсиль, и их свадьба стала радостным праздником молодой Революции. В церкви сошлись знаменитейшие представители всех партий. Шаферами невесты были Бриссо и Петион. С нетерпением ждали Мирабо, но он не мог приехать — его вызвал неожиданно король — и прислал одно из своих очаровательных писем, о которых впоследствии с завистью говорил Шатобриан: «Mirabeau tenait de son père: il écrivait à la diable des pages immortelles» [1]. Потом Камилл с женой чуть не каждый вечер — и уж обязательно каждый четверг — бывали в доме Дюпле (где в них не чаяли души), внося в этот дом, и без того веселый и счастливый, свою особенную атмосферу нежности и счастья. Еще позже Люсиль принесла как-то на их четверг своего крошечного Горация. Ребенок играл на коленях Робеспьера, забавно дергая его за белоснежное жабо и уставясь глазенками на пудру волос доброго друга. Кажется, вчера все это было. Но за четыре года, прошедшие со дня свадьбы, по воле человека, бывшего шафером жениха, погибли и жених, и невеста, и оба шафера невесты, и значительная часть гостей.

С днем казни Демулена и Дантона было связано самое страшное воспоминание всей жизни Дюпле. В этот день дамы, кроме Элеоноры, вышли к столу заплаканные. За обедом говорил один Робеспьер, говорил, как почти всегда, о добродетели,— он о добродетели мог говорить часами,— но и речь его текла менее гладко, чем обыкновенно, и слу-

---

[1] «Мирабо походил на своего отца: он небрежно писал бессмертные страницы» *(франц.)*.

шателям было не по себе. Только Элеонора, как всегда, влюбленно смотрела на доброго друга и с наслаждением слушала звук его слов: содержания она не понимала. Дюпле не выдержал и под предлогом спешной работы ушел в мастерские. С ожесточением он сам принялся строгать, чего обычно не делал. Вдруг — было около пяти часов дня — мастерские сразу опустели: все рабочие выскочили на улицу. В ту же минуту раздался страшный, нечеловеческий крик, от которого окна затряслись и, казалось, инструменты запрыгали на столе. В этом крике, слышном на несколько кварталов, было все: и проклятье, и ярость отчаяния, и пророческое торжество победы, и ужас предсмертного часа:

— Робеспьер, ты скоро последуешь за мной!

Во всем Париже подобный голос принадлежал только одному человеку. Столяр растерянно выбежал на улицу. Мимо дома проходили фургоны парижского палача. На переднем, повернувшись к дому Дюпле и протянув к нему сжатую руку, стоял гигант Дантон. Его искаженное лицо безобразного льва было страшно, как адское виденье. Рядом с ним рвал на себе одежду Камилл, один из немногих людей Революции, потерявших самообладание перед эшафотом. Так потом рабочие сказали Дюпле, но сам он не видел Демулена: закрыв глаза руками, столяр бросился назад, пробежал двор и лестницу и, не помня себя от ужаса, вбежал в комнату Робеспьера. Добрый друг сидел за столом и делал вид, что пишет.

— Что вам угодно, милый Дюпле? — ласково спросил он.

Но лицо у него было белое как мел, нижняя челюсть вздрагивала и он говорил не совсем внятно.

XII

Обстановка небольшой гостиной Дюпле была проникнута строгим республиканским духом. На одной стене комнаты висел большой портрет Робеспьера; по бокам от него в дорогих рамах, выпиленных самим столяром, красовались «Декларация прав человека и гражданина» и недавнее постановление Конвента, принятое по предложению диктатора: «Французский народ признает Верховное Существо и бессмертие души». Можно было прочесть на стенах и на мебели разные республиканские изречения, вроде: «Ici on s'honore du titre de citoyen» или «La vigilance et la justice caractérisent un peuple libre»[1]. Но молодежь, которая перепол-

[1] «Здесь гордятся званием гражданина... Бдительность и правосудие отличают свободный народ» (*франц.*).

няла гостиную в этот июльский день, была настроена менее строго. Здесь царил красавец Сен-Жюст, недавно приехавший из армии. В обществе юных Дюпле Сен-Жюст забывал, что он могущественный член Конвента и столп Комитета Общественного Спасения, оставлял на время свою зачем-то, в подражание кому-то, им на себя надетую маску холодного бесстрастия и становился милым, веселым юношей. В нем точно просыпался прежний дореволюционный Сен-Жюст, автор легкомысленных поэм и герой беспутных похождений. (Сам он вспоминал о своем прошлом с ужасом; по его глубокому убеждению, он тогда, сочиняя «L'Organt», был дурным и вредным гражданином, а теперь, гильотинируя людей, делал святое дело.) В своем нарядном летнем костюме, которому придавали особенно живописный вид пышный франтовской галстучек, тайно скопированный в свое время у августейшего якобинца Филиппа Эгалите, и длинный пистолет с золоченой насечкой и с высоким сложным курком, снисходительно разряженный владельцем по требованию мадам Дюпле, Сен-Жюст чувствовал себя королем. С удовольствием ловя влюбленные взгляды хорошенькой Генриетты Леба, он верным и страстным голосом пел какой-то романс, по-французски выговаривая итальянские слова.

В этот день в гостиной чувствовалась особенная праздничная атмосфера. Даже Шарлотта, сестра доброго друга, которую не любили в доме за ее сварливый характер, была настроена дружелюбно и не слишком давала чувствовать, что там революция революцией, а она, Шарлотта де Робеспьер, дочь и внучка почтенных людей, известных всему Аррасу, не чета каким-то столярам, хотя бы и очень симпатичным. Была особая причина праздничного настроения Шарлотты: сегодня утром, гуляя с ней, по обыкновению, в Елисейских полях, Фуше, уж совершенно ясно на этот раз, намекнул ей, что влюблен в нее по уши и намерен на днях просить ее руки. Конечно, Фуше некрасив собой, но при его общеизвестном уме ему открыты все дороги; будут же ее помнить подлые арраские злючки.

Элеонора Дюпле все беспокойно подходила к окну. Она никогда не могла найти себе места в отсутствие Робеспьера, особенно после покушения на него этой мерзкой Сесили Рено. Правда, за ним ходят всегда два телохранителя-силача, добрые Николь и Дидье, но все же как-то неспокойно. Он скоро должен был вернуться домой с длинной прогулки, и Элеонора нетерпеливо ждала той минуты, когда в доме станет светлее от прихода доброго друга. Ее

волновало еще и то, что сегодня у нее для жениха была дурная весть. С другой стороны, было приятно, что хоть раз не явилась на вечер противная аристократка, госпожа Шалабр, так явно желающая отбить у нее доброго друга: ведь все женщины от него без ума; но он любит только ее.

Остальные все были беззаботны, веселы и счастливы... Пятьдесят лет спустя женщина, уцелевшая в вихре тяжелых ударов, обрушившихся на бедную семью Дюпле, умиленно вспоминала о нежной атмосфере любви и счастья, которой в эти страшные дни террора был исполнен этот зачумленный дом.

XIII

Робеспьер шел из Эрменонвиля. Перед смертью ему захотелось еще раз повидать те места, где пятнадцать лет тому назад, в памятный счастливый день молодости, под вековыми деревьями парка он увидел земного бога. Это было в последний год жизни Жан-Жака Руссо. Между юношей и умиравшим отшельником произошел тогда длинный разговор, тайну которого оба унесли с собой в могилу.

Робеспьер чувствовал, что погибает. Нельзя было устоять перед глухим и тяжелым напором возбужденной им ненависти мира. Он знал, что неуловимый и страшный заговор составлен против него людьми, которые не любят и не понимают добродетели. Всеми силами, всеми способами боролся он с врагами; значительную часть их сумел отправить на эшафот. Но обнаруживались новые и новые. Робеспьер не терял энергии; чуть не каждый день он обращал на недобродетельных людей внимание Фукье-Тенвилля. Иногда приходилось, как ни больно, целиком выдумывать то, что они, адвокаты, в былое время называли составом преступления. С грустью он вспоминал, как в деле Дантона пришлось прибегнуть к грубой и очевидной клевете. Необходимость заставила его, Робеспьера, изучить в совершенстве ремесло интриги, запугиваний, обманов, подвохов. Но что такое условные средства в сравнении с целью, бесконечно великой, бесконечно прекрасной? Поняли ли ее, эту цель, все эти Бриссо, Демулены, Дантоны? Постигли ли они возможность кровавого очищения гильотиной бессмертной души человека? Еще несколько сот, несколько тысяч раз упадет тяжелый нож палача — и Франции, Европе, человечеству откроется новая эра. Не будет ни бедности, ни злобы, ни несчастья. Оставшиеся добродетельные люди заживут новой жизнью, по законам, которые дало миру Верховное Существо, возвестил великий эрменонвиль-

ский отшельник и осуществил он, Максимилиан Робеспьер.

Но если прежде он не сомневался нисколько в близости этой райской жизни, то в последнее время ему все чаще казалось, что не поймет народ его священной миссии, что порочные люди, не верящие в бессмертие души, не захотят очиститься гильотиной и что людей этих больше, чем он мог предполагать,— не сотни, не тысячи, а много, так много,— подумать страшно: уж не он ли, Максимилиан Робеспьер, единственный на свете вполне добродетельный человек, совершенно ясно постигший волю Верховного Существа и великие заветы Жан-Жака?

Он знал, что развязка близка, и был готов к решительному бою. Длинная речь, его завещание, была почти закончена; вечером он хотел прочесть отрывки из нее друзьям, чтобы потом повторить в Конвенте и у Якобинцев. Готов и новый список врагов, на которых должен пасть меч закона. Однако в успех боя Робеспьер верил плохо. Земного конца он не боялся, твердо зная, что душа его бессмертна. Только мысль о том, что он уносит с собой Республику, что после его гибели Франция достанется развратным, порочным людям, которых скоро метлой выметет какой-либо победоносный генерал,— они этого не видят, все эти ничтожные Карно,— только эта мысль его угнетала. Но даже и в ней было что-то, слегка ласкавшее мрачную душу Робеспьера.

Через крошечный двор, лестницу и умывальную он прошел к себе. Убранство его небольшой комнаты с окном, выходившим на столярную мастерскую, было скудно до крайности: постель, закрытая синим пологом, сшитым из старого платья госпожи Дюпле, стол, несколько соломенных стульев и полка с книгами. Все сверкало особенной чистотой. Умывшись, напудрив рыжую голову (пудра была единственная роскошь, которую он себе позволял), тщательно вычистив щеткой свой и без того чистый полосатый кафтан, он подошел к окну, стряхнул опахалом с подоконника деревянную пыль, осевшую за день из мастерских, подсыпал корма для птичек (он чрезвычайно любил птиц, особенно голубей) и сел за письменный стол. В комнату вбежал его датский дог Браунт, успевший после гулянья поздороваться с собакой Леба, Шиллишемом, и улегся у ног хозяина.

На столе стояла тарелка с апельсинами. Элеонора Дюпле утром потратила на них свои сбережения, зная, как добрый друг любит эти плоды. «Робеспьер, отучись от апельсинов, страсти тебя погубят»,— благодушно говаривал когда-то Дантон в пору их недолгой дружбы. Именно после одно-

го из таких саркастических замечаний, с ненавистью глядя на огромную фигуру, на красное курносое лицо опаснейшего из своих соперников, вспоминая все то, что рассказывали в Париже о разврате Дантона, Робеспьер окончательно пришел к мысли, что этот человек позорит Республику и что надо его казнить.

Добрый друг потрогал своими тонкими, слабыми пальцами апельсины и уже хотел было снять с одного из них кожу. Но вздохнул и отложил в сторону. Не время предаваться излишествам, когда народ голодает. Нужно завтра отдать эти плоды одной из тех хороших женщин, которых называют вязальщицами Робеспьера: пусть поделит между маленькими гражданами.

Вернувшись к приятно-меланхолическому ходу мыслей, навеянному прогулкой в Эрменонвиль, диктатор открыл лежавшую на столе старую тетрадь. Его мелким, четким, красивым почерком на первой странице было написано:

«Праху Жан-Жака Руссо».

«Я видел тебя в твои последние дни, и гордую радость будит во мне это воспоминание; я смотрел на твои величественные черты и видел следы скорби, которой обрекла тебя людская несправедливость. С той поры понял я всю горечь благородной жизни, посвященной служению правде. Эта горечь меня не испугала. В сознании того, что он желал добра своим ближним, лежит награда добродетельного человека. Затем идет благодарность народов, которая окружает его память почестями, возданными ему его современниками. Как ты, я хотел бы купить эти блага ценой трудовой жизни, ценой даже преждевременной смерти».

Он задумался. Смерть? Нет, смерти нет...

Снял с полки любимую книгу и принялся ее перелистывать:

«Эмиль исполнен любви к Софии; какие же прелести привязывали его к ней? Чувствительность, добродетель и любовь честного. Но что пробудило Софию? Чувства, естественные ее возлюбленному: уважение добра, умеренность, простота, великодушное бескорыстие, презрение блеска и богатств». «Иной раз в прогулках, наблюдая чудеса природы, безвинные и чистые сердца подымались к Создателю. И не боятся они Его присутствия, и раскрываются перед Ним. И видят себя совершенными, и любят друг друга, и с очарованием ведут беседу о том, что добродетели цену придает. И льют порою слезы чище росы небесной».

Всякий раз, когда он доходил до этого места, у него в

носу начинало колоть. Теперь собственное умиление было ему особенно приятно.

В дверь постучали. Вошла Элеонора.

— Добрый друг,— сказала она,— к вам пришел Фукье, но он подождет. Я должна огорчить вас, мой бедный, бедный Максимилиан: голубь, ваш голубь, тот, что в крапинках, умер.

Этого удара Робеспьер не ожидал. Слезы показались.

Элеонора умиленно любовалась своим женихом, взяв его за руку. «Подумать, что есть люди, которые называют этого человека дурным!» Угадывая ее мысли, Робеспьер смотрел на Корнелию (так он ее называл) благодарным взглядом и думал, что хорошо было бы жениться на этой добродетельной девушке,— не теперь, конечно, а лет через пять или, еще лучше, через десять. Он не любил Элеонору и вообще никогда никого не любил, но мысль о долгой, добродетельной семейной жизни была ему приятна, особенно сейчас, когда он знал, что скоро умрет, как уже умер его бедный, несчастный сизый в крапинках голубь.

Так они сидели минут пять, держа друг друга за руку и обмениваясь нежными взглядами. Корнелия убеждала доброго друга съесть хоть один апельсин, все больше умиляясь при непреклонном отказе. Наконец долг призвал Робеспьера. Он ласково отпустил Корнелию.

Робеспьер порылся в ящике стола и отыскал небольшой листок бумаги. Через минуту вошел Фукье-Тенвилль. Прокурор был, как почти всегда, не совсем трезв: имел привычку после заседаний Революционного Трибунала выпивать в буфете с присяжными за бессмертную душу осужденных. Сегодня выдался трудовой день. Было отправлено на эшафот сразу пятьдесят человек, и Фукье-Тенвилль выпил несколько больше, чем обычно. За стойкой буфета кто-то из присяжных, закусывая, благодушно заметил, что Дантон на своем процессе предсказал Робеспьеру три месяца власти и жизни. «Три месяца как раз и прошли; между тем *Неподкупный* крепче крепкого, да и мы за ним, маленькие люди, не пропали». Фукье-Тенвилль усмехнулся; ему вспомнилось, что должность прокурора он получил в свое время от Дантона: ее выхлопотал ему его двоюродный брат Камилл Демулен. Это обстоятельство показалось Фукье забавным; он лишних раза два чокнулся с памятливым присяжным и вышел на улицу в весело-возбужденном настроении духа. Но когда он проходил по Pont au Change, ему внезапно показалось, что Сена покраснела.

— Vois, qu'elle est rouge! [1] — сказал он спутнику.

По дороге Фукье успел, однако, несколько протрезвиться и теперь был только чуть-чуть веселее обыкновенного. Они поговорили с Робеспьером о разных новостях; затем Фукье-Тенвилль замолчал, очевидно чего-то ожидая. Добрый друг вздохнул и передал прокурору свой листок; для памяти он набросал на бумагу список лиц, которые кажутся ему подозрительными. Фукье просмотрел записку и заметил, что, со своей стороны, он давно обратил внимание как раз на этих самых людей. Все это явные или скрытые контрреволюционеры и враги народа.

— Помните, однако, гражданин Фукье: никто не должен влиять на вашу свободную волю. Этот список ни к чему вас не обязывает.

Вместо ответа Фукье-Тенвилль восторженно посмотрел на Робеспьера и приложил руку к сердцу.

XIV

В узкие ворота дома № 366 улицы Honoré с шумом въехало что-то странное: невысокое, узенькое, обшитое выцветшим, серо-зеленым бархатом кресло на тяжелых колесах, приводимых в движение седоком при помощи деревянных рукояток и зубчатых валов. В кресле сидел, энергично работая руками и держа неподвижно, как груз, ноги на деревянной подставке, маленький, скрюченный, сморщенный человек, которому можно было на вид дать и тридцать и шестьдесят лет. Это был паралитик Кутон, один из трех диктаторов Франции. Браунт, бегавший по двору, залаял, но тотчас успокоился, узнав своего. Вслед за Кутоном вошли Барер, красивый человек с наивно-детским выражением лица, к которому очень шли длинные, вьющиеся кудри и по-детски открытая на мягком отложном воротнике тонкая шея, и знаменитый художник Давид, ближайший друг Робеспьера, прозванный «le broyeur du rouge» («broyer du rouge» [2] на его языке значило — гильотинировать). Кутон быстро подкатил кресло к двери и беспомощно оглянулся на спутников. Барер и Давид бережно подняли его на руки вместе с креслом и внесли в дом.

«Эх, удавился бы ты лучше сам,— подумал при этом Барер, ласково улыбаясь калеке.— И на доску гильотины тебя нельзя будет положить». (Кутона в самом деле гильотинировали в сидячем положении.)

[1] Смотри, какая она красная! *(франц.)*

[2] «Красный краскотер» («растирать красную краску») *(франц.)*.

Барер все был занят одним вопросом: действительно ли он занесен в список обреченных или Фуше врет, желая вовлечь его в заговор. Он был последнее время в очень холодных отношениях с Робеспьером и особенно с Сен-Жюстом. Но старался не доводить дело до полного разрыва и обеспечивал себе возможность отступления.

Когда они пробирались через умывальную,— в комнату Робеспьера нельзя было проникнуть иначе,— им встретился выходивший Фукье-Тенвилль. Бареру показалось, что пьяный прокурор игриво подмигнул ему левым глазом.

— Так и есть: Фуше сказал правду,— подумал он, холодея.

Давид глазами художника мгновенно впитал в себя откинутые волосы, густые, черные брови, выдавшийся подбородок Фукье-Тенвилля. Фукье безобразен, но какое интересное безобразие!

У Робеспьера сидел Сен-Жюст,— не тот, который час тому назад пел барышням романсы. Его классически красивое лицо было бесстрастно и непроницаемо. Он холодно ответил на любезный поклон Барера.

Для вошедших не хватило стульев. Барер по-товарищески, как подобает санкюлоту, сел было на постель, откинув синий полог. Робеспьер посмотрел на него, и Барер тотчас же поднялся, сделав вид, будто забыл что-то на столе. Давид, свой человек в доме, сбежал вниз в столовую и принес стул, заметив на нем по дороге три небольших пятнышка (одно свежее) и порез на правой ножке. Барер сел и положил на колени свой большой толстый портфель из темно-зеленой кожи, заботливо повернув его лицевой стороной вниз. На портфеле была старая надпись большими золотыми буквами: Barère de Vieuxzac, Député à l'Assemblée Constituante [1], 1789, и владелец считал более удобным не напоминать здесь о своем (весьма сомнительном) дворянстве: Сен-Жюст еще недавно требовал отправления дворян на общественные работы. В портфеле Барера лежали проекты тех двух речей, о которых говорил Фуше: в защиту и в обвинение Робеспьера.

Робеспьер, после короткого сухого предисловия, взял листки и стал читать. Как почти все ораторы Французской революции, он писал свои речи наперед. Сен-Жюст, Кутон, Барер замерли от напряженного внимания.

Вникая и в явный и в сокровенный смысл каждого слова, Барер слушал, с трудом переводя дыхание. Сам пре-

[1] Барер де Вьезак, депутат Учредительного собрания *(франц.)*.

восходный оратор, знаток аудитории Конвента, он сразу понял, что это очень сильная, решительная речь, от которой полетит много голов и, пожалуй, его собственная. В двух местах он с удовлетворением подумал, что Робеспьер, кажется, делает крупную тактическую ошибку: вряд ли ему выгодно задевать Камбона и уж, конечно, надо было бы точно назвать людей, которых он желает отправить на эшафот: иначе каждый член Конвента будет бояться за себя; ведь и он сам, Барер, так-таки не знает толком, относится ли к нему или нет страшная угроза речи. Эта ошибка может его погубить, подумал он, без большой, впрочем, уверенности: до сих пор Робеспьер всегда играл наверняка и неизменно одерживал победу. Барер близко знал диктатора, встречался с ним прежде чуть не каждый день, но не имел определенного мнения насчет его политических способностей. Иногда Бареру казалось, что Робеспьер прост почти до глупости; иногда,— что он необыкновенно, истинно дьявольски умен и хитер. Он вспомнил, как Мирабо, видевший людей насквозь, после первого знакомства с Робеспьером сказал, разводя в недоумении руками: «Этот человек далеко пойдет: он действительно думает все то, что говорит». «Но чего же он хочет? К чему стремится? Зачем читает эту речь при мне? — Барер слушал, не поднимая головы, и в некоторых местах, чувствуя на себе взгляд диктатора, нервно теребил портфель.— Да, это страшный противник. И если уж присоединяться к заговору, то надо потребовать, чтобы Робеспьеру не дали возможности говорить. Надо заглушить его голос».

Давид тоже пытался следить за речью. Но ненасытные глаза мешали ему слушать. Через несколько минут он привык к мерному звуку резкого голоса Робеспьера — и потерял нить речи. Его заинтересовал контраст между цветущей красотой Сен-Жюста и полумертвой маской Кутона. Можно ли этим воспользоваться для картины? Антиной и — кто? Нет, нельзя... Затем он подумал, что на том портрете неудачно изображено лицо Робеспьера (в комнате диктатора было несколько его портретов в разных позах), он сам, Давид, сумел бы гораздо лучше передать эту неподвижность лица. Нужен был более холодный тон. Потом взор его остановился на Барере, и он с удивлением заметил, что тот очень бледен, гораздо бледнее, чем был прежде, и пальцы у него,— белые, тупые, с напухшими, особенно у сочленений, от жары бледно-синими жилами (ноготь на левом мизинце неправильный),— дрожат. «И, верно, руки холодные... Это особенно у женщин летом холодеют руки и

плечи... А у других тоже странные лица. Отчего бы? О чем это говорит так проникновенно добрый друг?» Давид прислушался. Робеспьер кого-то обвинял, не называя, кого именно. «Мир населен глупцами и обманщиками...» «Сильно сказано. Браво!.. Удивительно, что у людей в солнечные дни глаза светлеют и зрачки становятся меньше... И странные глаза у доброго друга, зеленые, особенные. Где я такие видел?..»

Голос Робеспьера вдруг расширился и зазвучал страданием:

— Кто же я, человек, которого обвиняют? Раб свободы, живой мученик Республики, жертва и враг преступления. Все негодяи меня оскорбляют. То, что позволено другим, для меня считается преступлением... Отнимите у меня совесть,— я несчастнейший из людей...

«Бедный, да что такое с ним? что это с ними со всеми?» — с удивлением подумал расстроенный Давид и стал внимательно слушать. Робеспьер больше не читал. То смотря в упор на Барера, то обводя глазами других, то поднимая взор кверху, он говорил страстно и вдохновенно:

— О, я без сожаления отдам им свою жизнь! Я изведал прошлое и предвижу будущее... Зачем оставаться в мире, где коварство вечно торжествует над правдой, где справедливость — ложь, где самые низкие страсти и позорная трусость занимают место священных интересов человечества... История говорит мне, что все защитники свободы стали жертвой клеветы; но умерли также и их угнетатели Добрые и дурные уходят из мира, но они уходят по-разному... Нет, Шометт, нет, Фуше, смерть не есть вечный сон. Граждане, сотрите с могил это изречение, написанное нечистыми руками: оно покрывает природу траурным саваном, оно делает малодушными невинно угнетаемых; оно наносит оскорбление смерти. Нет, смерть есть начало бессмертия!

Робеспьер встал. Глядя на него с испугом и жалостью, Давид вдруг вспомнил, что такой странный огонек в глазах он видел у одного из тех сумасшедших, которых он когда-то ходил изучать в Шарантон. И вдруг ему стало совершенно ясно,— он сам не знал, отчего и как,— что этот великий человек, этот новый Сократ, скоро умрет страшной смертью. Слезы брызнули из глаз Давида. Он бросился на шею к доброму другу:

— Робеспьер, я выпью цикуту с тобой!..

XV

Диктатор остался один. В доме все спали. Опустив голову на руки, Робеспьер долго неподвижно сидел за столом. Он думал, что его речь не спасет, не возродит человечества, как ни велико производимое ею впечатление. Думал, что вряд ли Давид выпьет с ним цикуту и что бессмертие души совершенно не утешило Барера.

Браунт встал, зевнул, потянулся, подошел к хозяину и положил ему голову на колени.

Может быть, еще этой ночью убийцы ворвутся в дом и прикончат его, и вместе с ним добродетельную семью, на которую его дружба должна неминуемо навлечь несчастье. Не все ли равно?.. Душа Робеспьера была полна и настроена торжественно. Он взял листок бумаги и написал несколько стихов:

Le seul tourment du juste, à son heure dernière,
Et le seul dont alors je serai déchiré,
C'est de voir, en mourant, la pâle et sombre envie
Distiller sur mon front l'opprobre et l'infamie,
De mourir pour le peuple, et d'en être abhorré [1].

XVI

Лето 1794 года выдалось чрезвычайно знойное. Нестерпимый душный жар неделями стоял над Парижем, и даже в поздние часы ночи температура не опускалась ниже восемнадцати градусов. В конце июля разразилась короткая страшная гроза; но часа через два после нее город снова совершенно высох, грязь немощеных улиц опять жестко хрустела под ногами, зелень деревьев тускнела от серой пыли, и дышать по-прежнему было нечем. Многоцветное изменчивое парижское небо точно вылиняло и устало остановилось на одном жемчужно-голубом оттенке; сухой раскаленный воздух, едва заметно мерцая в глазах, медленно, дрожа поднимался вверх, словно над пламенем свечи. Как всегда в таких случаях, люди, жалуясь друг другу на погоду, утверждали в один голос, будто подобной жары испокон века не запомнят старожилы. Тем не менее почти

---

[1] Кто праведен — идет в последний путь страданья,
Однако не страшусь, что смертный час грядет.
Пусть так — но как стерпеть, что торжествует злоба,
Что нестерпимее, чем быть у края гроба
Столь ненавидимым — и сгинуть за народ.
Перевод с французского Е. Витковского.

никто не выезжал из города: парижане точно чего-то ждали. Многие находили к тому же, что столица, несмотря на ежедневные казни, все-таки самое безопасное место в республике. В Париже, на глазах у центральной власти, без суда казнили редко; а в провинции рубил головы кто хотел и за что хотел: все могло сойти за контрреволюцию.

Штааль в начале лета покинул лечебницу и переехал в меблированные комнаты на левый берег. Он готовился к отъезду в Россию, но уехать было трудно: надзор на границах стал очень строг. О своем докладе молодой человек думал мало; им овладело мрачное настроение; он теперь чувствовал отвращение от революции и только саркастически усмехался, вспоминая мысли мосье Борегара.

Изнемогая от жары, Штааль проводил дома большую часть дня; не ходил ни на патриотические церемонии, ни в театры, в которых шли длинные в пять актов *санкюлотиды*, одна скучнее другой, ни даже на сенсационные казни, составлявшие главное развлечение горожан. Он считал, что нервы его достаточно, на всю жизнь, закалены зрелищем казни жирондистов. Исторические сцены перестали интересовать Штааля. Он все тоскливее мечтал о том, как бы поскорее и побезопаснее убраться от истории и от Революции, как бы покинуть Францию, не рискуя угодить в тюрьму или на эшафот. Штааль проклинал Безбородко, пославшего его за границу; проклинал Питта, давшего ему возможность попасть в Париж; проклинал в особенности самого себя. Великолепный, *спокойный* Петербург, в котором не делалась история, но зато можно было жить по-человечески, пышные сады Царского Села, еще более Шкловское имение, где прошли его детские годы, все томительнее вставали в памяти Штааля.

Раз, часов в шесть пополудни, он возвращался к себе домой, нагруженный свертками провизии. У самого дома ему встретился разносчик газет; он сиплым, надорванным голосом выкрикнул непонятно несколько названий, упершись глазами, одурелыми от зноя и жажды, в молодого человека и в бутылку, торчавшую из его свертка. Штааль вздохнул, остановился, купил старый номер «Lettres bougrement patriotiques» и, так как сдачи у разносчика не было (в столице уже чувствовался недостаток мелкой монеты), купил заодно другое издание, полное название которого было: «Le glaive vengeur de la République Française, par un ami de la Révolution, des mœurs et de la justice».

— Tu y trouveras, citoyen, la liste des gagnants à la

loterie de la Sainte-Guillotine [1],— сказал хрипло разносчик, невесело усмехаясь и протягивая газету, очень скверно отпечатанную на дурной, серо-желтой с пятнами бумаге.

Штааль вздохнул еще глубже (он знал это ходячее выражение), спрятал в карман газету, вытер платком холодный лоб и стал подниматься к себе по крутой и грязной лестнице. Сердце у него стучало. Отворяя дверь ключом, он уронил один сверток, поднял его, уронил при этом другие, снова поднял и, когда вошел к себе в комнату, почувствовал, что еще-еще немного и он разрыдается, как дитя. Подошел поправить слипшиеся волосы к потускневшему, с двоящимися пятнами зеркалу, которое у него над камином неизменно отражало грязный гипсовый бюст Марата и группу «Маркиз и пастушка» из дерева, выкрашенного под бронзу. Зеркало отразило, между Маратом и пастушкой, совершенно бледное, исхудалое, возмужавшее лицо. Штааль долго всматривался в свое изображение. Вдруг, как это часто бывает перед зеркалом с нервными людьми, изображение показалось ему чужим, и он почувствовал неизъяснимый ужас. Он поспешно отошел, сел в высокое кресло с непокорной, оторвавшейся пружиной и машинально стал читать длинный список казненных за день в городе людей. Хотя ни одно имя в этом, очень обстоятельно составленном, списке не могло быть и не было известно Штаалю, он читал внимательно и долго. Прочитав, Штааль свернул листок, зачем-то бережно спрятал его в шатающийся, с сором по углам, ящик столика у огромной двуспальной постели, затем съел холодную котлету с корнишоном, разрезав ее на бумаге карманным ножом, налил из графина воды в теплый толстостенный стакан, в котором в обычное время хранилась зубная щетка, и жадно выпил. Пожелтевшая от солнца теплая вода отдавала мятой. Штааль подошел к окну. Снизу, с улицы, дурно, по-летнему, пахло едой и доносился крикливый злой голос: «Attends un peu, on te fera compter tes abatis!» [2] Перебивая пальцем ровную нить пыли, повисшую на косом солнечном луче, Штааль устало соображал, какое могло быть сегодня число, хотя это было ему совершенно не нужно и неинтересно; хотел было заглянуть для справки в газету, но вспомнил, что ничего не понимает в новом календаре, в прериалях, жерминалях, фрюктидорах и

[1] «Карающий меч Французской республики, выпускаемый другом Революции, нравов и справедливости».

— Здесь ты найдешь, гражданин, список выигравших в лотерее Святой Гильотины *(франц.)*.

[2] Погоди, мы тебе ребра посчитаем! *(франц.)*

мессидорах. По его соображениям, *там* теперь должен был быть июль месяц. Вдруг Штаалю неожиданно вспомнился парк Шкловского имения, тенистая, всегда сырая, густо поросшая орешником аллея, круто и криво спускавшаяся к реке, где они так весело купались летом каждое утро.

«Attends, salaud, tu vas voir!» [1] — злобно кричал голос внизу. Слезы брызнули из глаз Штааля. Он бросился на постель и уткнулся лицом в круглый, жарко разогретый солнцем, валик изголовья.

Так он лежал более получаса, не думая *ни о чем,* то есть думая о самых разных предметах беспорядочно и бессвязно. Затем, лежа на постели, пытался *взять себя в руки* и при этом убедился, что нервы его пока недостаточно закалены: ни в революционные, ни в контрреволюционные диктаторы он еще не годится, и, по-видимому, укрощение французской революции нужно будет всецело предоставить Суворову.

В дверь вдруг постучали. Штааль вздрогнул. Вошел мосье Дюкро. Он уже давно возвратился в Париж и раза два виделся со Штаалем, но до сих пор все не приводил в исполнение своего обещания — показать молодому человеку революционные верхи. Бывший преподаватель Шкловского училища по-прежнему владел на улице Общественного Договора лавкой медных и жестяных изделий, но занимался и разными другими делами. Несмотря на свою ненависть к революционерам, Штааль чрезвычайно обрадовался этому человеку, с которым его связывали воспоминания детства. Он живо поднялся с постели и сделал вид, будто спал. Незаметно осмотрел себя в зеркало,— не видно ли следов слез. Глаза, точно, были красные, и Штааль тут же пожаловался на разъедающую веки уличную пыль. Дюкро тоже ругнул погоду и сообщил молодому человеку, что на этот раз поведет его *к себе* в клуб, где, по-видимому, предстоит вечером важное заседание. Ожидается выступление Робеспьера. Дюкро брался проводить Штааля на такое место, откуда будет прекрасно видно и слышно. Штааль охотно принял это предложение: чем оставаться одному дома, лучше было провести вечер у якобинцев; в самом деле, и для доклада нужно повидать хоть раз этот знаменитый клуб: приятно будет впоследствии в Петербурге вставлять в разговор: «я как-то слышал у жакобенов» или что-нибудь в таком роде. Они распили вдвоем бутылку вина — на приклеенной бумаге значилось звучное название одного из бургундских замков; перед словом «Château» лавочник, впрочем, из *циви-*

---

[1] «Погоди, подлец, мы тебе покажем!» *(франц.)*

зма приписал на всякий случай «ci-devant»[1]. От вина Штааль повеселел и вышел на улицу уже в более бодром настроении духа.

Напротив, Дюкро был настроен не слишком весело. Многозначительно не договаривая, он сообщил Штаалю, что положение в городе довольно тревожное. Ожидаются серьезные события. Ссора Робеспьера и его группы с Комитетом Всеобщей Безопасности и с большинством Комитета Общественного Спасения растет. Сегодня в Конвенте Робеспьер должен был произнести грозную речь, которую он, вероятно, повторит вечером в клубе. Против Робеспьера, с сожалением пояснил Дюкро, выступает группа влиятельных революционеров: Баррас, Талльен, Фуше, Колло д'Эрбуа, Билльо-Варенн. Штааль стал спрашивать о причинах раздора, но мосье Дюкро отвечал очень уклончиво и неопределенно, явно свидетельствуя своим видом, что не может сказать всего. Штаалю показалось, однако, будто Дюкро сам не слишком хорошо осведомлен и не вполне разбирается в существе спора Робеспьера с группой влиятельных. известных революционеров. Во всяком случае, он так и не объяснил своему бывшему ученику, на чьей стороне должны быть симпатии в этом споре. Говорил он вполголоса и часто оглядывался по сторонам. Вдруг недалеко от улицы Honoré им встретился большой, нестройно и не в ногу шедший отряд плохо одетых, оборванных солдат. В этой встрече не было ничего необыкновенного: солдаты могли возвращаться с площади Низвергнутого Трона, на которой в последнее время производились казни. Но в хвосте отряда худые, со втянутыми боками лошади везли несколько пушек. Это было странно. Штааль вопросительно посмотрел на своего спутника. Дюкро нахмурился и даже как будто немного побледнел. Солдаты шли молча. Лица у них были от жары у одних красные, у других бледные, а вид у всех очень мрачный. Вел их какой-то человек в штатском платье, что-то оживленно объяснявший офицеру. На него солдаты посматривали особенно хмуро.

Вдруг Дюкро, точно продолжая начатый разговор (хоть говорили они, собственно, не совсем об этом), принялся оживленно защищать перед Штаалем политику Якобинского клуба.

— Ведь я знаю, нас теперь во всем обвиняют явные и скрытые контрреволюционеры,— горячо говорил Дюкро.— Гидра реакции все выше поднимает голову. А в чем наша

[1] «За́мок... бывший» (*франц.*).

вина? Мы говорили громко то, что вся Франция говорила тихо. Мы выражали веру нашей страны, ее мысли, ее чувства, быть может, не спорю, иногда ее ошибки. Когда народ верил тирану, верили ему и мы. Наш клуб тогда так и назывался «Общество друзей конституции, заседающее в Париже в якобинском монастыре». Мы были роялистами, мы, стыдно сказать, разделяли аристократические предрассудки. Кто председательствовал в нашем клубе три года тому назад? Герцог д'Эгильон, виконт де Ноайль, граф де Мирабо, принц де Брой (мосье Дюкро не без удовольствия произносил эти знатные имена). Но черная смола предрассудка растаяла от солнца свободы. Заря правды и равенства восходит над старым миром, и скоро, скоро падут цепи простирающих к нам руки народов. Освобожденные нашей доблестной армией, они благословят имя Франции. Для всего человечества начнется эра мирного свсбодного труда.. А какие перспективы откроются тогда перед нашей промышленностью, перед нашей торговлей!.. Не Англия, погрязшая в болоте монархии, а республиканская Франция поведет свободное человечество по светлому пути прогресса... Поверь, освободится и твоя родина. Факел французских идей озарит беспредельные степи России. Скоро мы повезем к вам наши книги, наши журналы, наши картины, наши продукты, наши медные и жестяные изделия... Поверь, эра позорного рабства кончается для всего мира!... Франция освободит человечество.

Дюкро кратко изложил Штаалю общие идеи якобинской политики: административное и хозяйственное переустройство Франции; твердость в отношении иностранных держав; укрепление военной и экономической мощи государства. Говорил он высоким слогом революционных газет. Но мысли его показались Штаалю и ясными, и понятными, и разумными, и даже очень практичными.

— А правда ли,— спросил Штааль,— будто Барнав в свое время велел приору якобинского монастыря принести в зал заседаний тот кинжал, которым когда-то монах Жак Клеман заколол короля Генриха III, и будто вы, якобинцы, поклялись на этом кинжале разрушить троны всего мира?

— Гнусная ложь! — воскликнул возмущенно Дюкро.— Этими баснями проклятые эмигранты пытаются скомпрометировать нас в глазах Европы.

— Отчего же вы сердитесь? — весело спросил Штааль.— Ведь тиран Капет казнен по воле народа?

— Меня возмущает трясина лжи и клеветы, в которой враги хотят нас утопить,— угрюмо ответил Дюкро.

Они свернули на улицу Honoré. Перед ними показалось мрачное здание Якобинского клуба.

XVII

Штааль знал это старинное здание с высокой остроугольной крышей, в котором помещался грозный революционный клуб. Но ему еще никогда не случалось переступать порог монастырской усадьбы. Дюкро вынул из кармана какую-то бумажку и уверенно вошел в левый каменный проход невысокого огромного строения. Под сводом в нише стояла статуя святой Екатерины Сиеннской. Ей на голову кто-то надел красную шапку свободы, криво повисшую на волосах и на правом ухе святой. Дюкро и Штааль вошли в большой квадратный двор монастыря. На мрачном пятиугольнике фасада кровавыми пятнами выделялись окна, освещенные уходящим солнцем. Над входной дверью церкви, в безветренном воздухе, уныло и неподвижно повис выцветший флаг, почти одинаково серый от пыли на всех трех своих цветах. Закрывая глаза рукой от солнца, Штааль вгляделся в надпись над порталом и разобрал: «Fraternité ou la mort» [1]. Посреди двора неумелыми руками горожан-якобинцев было посажено худенькое, неровно подстриженное, обнесенное низеньким частоколом дерево свободы.

На дворе было еще не очень много народа — никакая революция не может заставить французов нарушить порядок обеденного часа. Штааль всматривался в якобинцев и с удивлением убеждался в том, что по внешности в них не было ничего страшного. Дюкро, сразу повеселевший в клубе, был знаком почти со всеми и беспрестанно обменивался приветствиями; кому говорил: «Salut et fraternité!» или даже «Salut et indivisibilité!» (последнее приветствие было не очень в ходу и употреблялось только самыми ревностными патриотами), кому «Comment ça va!» [2], кого просто похлопывал на ходу по плечу, а то и по животу. Штааля это также удивило: он никак не предполагал, что можно хлопать якобинца по животу; своего наставника молодой человек не считал настоящим якобинцем, помня в нем прежде всего мосье Дюкро, с которым в Шкловском училище проделывались разные веселые шутки. Одного из гулявших

---

[1] «Братство или смерть» *(франц.)*

[2] «Привет и братство!», «Привет и единство!», «Как дела!» *(франц.)*

по двору членов клуба знал и сам Штааль. Это был владелец лавки съестных продуктов. Звали его Луи, но он уже давно, с разрешения Коммуны, переменил эту контрреволюционную фамилию на другую: Муций Сцевола. Штааль ежедневно покупал у него припасы к ужину. Муций Сцевола, огромного роста, краснощекий, красноносый бургундец, тоже узнал молодого человека и, весело сказав ему: «Salut et fraternité», довел вполголоса до его сведения, что в лавке получено винцо — une merveille! — которое постоянным клиентам будет отпускаться по баснословно дешевой цене — pour rien [1].

Настроение во дворе было вначале довольно веселое. Все смутно слышали, что в Конвенте произошли серьезные события, но толком пока никто ничего не знал; да и к серьезным событиям в клубе успели привыкнуть. Разговор шел о разных злободневных предметах: говорили о вчерашнем адресе, поданном клубом Конвенту; обсуждали вопрос о том, насколько преступно и заслуживает ли смертной казни восклицание «sacré nom de Dieu!» [2] (большинство склонялось к мысли, что восклицание смертной казни не заслуживает). Вспоминали интересные эпизоды и эффектные ораторские выступления последних заседаний; спорили о том, кто лучше председательствует — нынешний ли президент Эли Лакост или предыдущий Барер. Рассказывали веселые анекдоты о видных членах клуба, причем фамильярно называли известные, часто упоминавшиеся в газетах имена; одних ругали, других хвалили. Эта прогулка по двору и оживленные разговоры вызвали в уме Штааля неожиданное и крайне удивившее его самого воспоминание: ему вспомнилась большая перемена в Шкловском училище в промежутке между классами,— разговоры о первом ученике, о хороших и нехороших товарищах, об интересных и неинтересных уроках.

Приток новых людей ускорялся с каждой минутой. Кое-кто из якобинцев, не останавливаясь во дворе, входил прямо в монастырь, чтобы занять место получше. Штааль тоже вошел в здание клуба, желая посмотреть зал заседаний. В старом монастыре было темно, прохладно и неуютно. Залом служила церковь, мало, по-видимому, изменившаяся в своем внешнем виде. Штаалю бросилось в глаза возвышение алтаря и над ним огромная картина духовного содержания, как будто изображавшая Благовещение. На невы-

---

[1] Восхитительное!.. почти даром *(франц.)*.
[2] Черт возьми! *(франц.)*

сокой эстраде стояли кресло председателя, большой стол и трибуна оратора. От алтаря и эстрады до противоположной стены тянулись полукругом скамьи. Штааль минут двадцать бродил по залу, стараясь все запомнить для рассказов в Петербурге; остановился перед какой-то великолепной усыпальницей — это была гробница маршала де Креки,— затем вышел через боковую дверь; в соседних с церковью помещениях тоже стояли столы, скамьи и трибуны. Со двора доносился все крепнущий гул толпы. По коридорам монастыря бродили вновь поступавшие члены клуба, вероятно провинциалы. Они почтительно слушали небрежные объяснения старших, что опять напомнило Штаалю, как в училище старички-второгодники руководили первыми шагами новичков. Это сходство очень его забавляло.

Внезапно в зале заседаний послышались оживленные восклицания, шум. Штааль вернулся в зал и увидел, что люди, занявшие удобные места, поспешно выходили, догоняя друг друга и встревоженно переговариваясь. Штааль последовал за ними. Двор был теперь совершенно заполнен народом, и гул был так силен, что отдельные разговоры, даже между рядом стоящими людьми, стали затруднительны. Появилось довольно много женщин, и это еще усилило общую нервность. Разобрать в гуле Штааль не мог ничего, но по лицам, у всех нахмуренным, у многих растерянным и бледным или озлобленным, нетрудно было угадать, что случилось что-то очень серьезное. Штааль, новичок в делах Революции, с большим удивлением заметил, что эта публика совершенно не походила на ту, которую он оставил во дворе менее получаса тому назад. От благодушия, веселья и шуточек не осталось следа. Люди стали *толпой.* Вдруг Штаалю бросилось в глаза взволнованное лицо мосье Дюкро. Молодой человек протолкался к бывшему учителю и схватил его за руку.

— Что такое случилось? — прокричал он.

Дюкро сообщил в ответ, что происходят тревожные события. Оказывается (со слов только что пришедших очевидцев), сегодняшняя речь Робеспьера вызвала в Конвенте настоящую бурю. Возможно решительное столкновение обеих партий.

— Я ничего не понимаю,— заявил Штааль, воспользовавшись минутой затишья.— На чьей же вы стороне?

Дюкро ответил не сразу.

— Почти все якобинцы на стороне Робеспьера,— сказал он нехотя — и вдруг толкнул в бок: невдалеке от них по двору проходил, неестественно наклонившись вперед, вы-

сокий, плотный, актерского вида человек. Изображая приятную улыбку на грубом лице, раздвигая толпу эффектным одновременным жестом обеих рук, он беспрестанно повторял: «Excusez, citoyens! Laisses passer, citoyen!»[1] — «Колло... Колло д'Эрбуа»,— сказало сразу несколько голосов около Штааля, и названное имя шипением прошло в отдаленные концы двора. Сразу, как всегда, почувствовалась в замолкшем гуле враждебность толпы. Штааль понял, что это был здесь главный *нехороший товарищ*.

— Этакий наглец! — вдруг свирепо вскрикнул один пожилой, побагровевший якобинец. Толпу прорвало ненавистью. Послышался свист и резкие выкрики:

— Зачем он здесь?

— Здесь не Конвент!

— Вон! Долой!

— Предатель! Дантонист! К черту!

Колло д'Эрбуа, не отвечая ни слова, прокладывал себе дорогу к входу в монастырь. Он сохранял приятно-беззаботную улыбку, но жирное, актерское лицо его сильно побледнело. Часть толпы хлынула за ним в зал заседаний. На другом конце двора вновь приходящие с улицы Honoré люди сообщали новые, все более серьезные вести, увеличивая каждый своей тревогой быстро нарастающую общую тревогу толпы. Какой-то хмурый, тощий человек невдалеке от Штааля вдруг вытащил из-под худого кафтана пистолет и демонстративно-тщательно стал осматривать курок и проверять заряд. Этот жест вдруг совершенно по-новому объяснил Штаалю смысл происходящего. Он прежде не понимал, что такое значит решительное столкновение, о возможности которого говорил Дюкро: предполагал, что речь шла о столкновении ораторов на трибуне. У Штааля забилось сердце. Его вдруг захлестнуло общее настроение беспокойства, тревоги, страха и беспредметного гнева. Он почувствовал себя частью этой толпы и пожалел, что не взял с собой оружия. И тут же ему показалось, будто до этой минуты он ровно ничего не понимал и не чувствовал в революции. Оглянувшись вокруг себя, он подумал, что революция, точно, была здесь, в этой обозленной и напуганной толпе на дворе старого монастыря.

Вдруг у прохода, где стояла статуя Екатерины Сиеннской, послышался крик, который мгновенно со страшной нарастающей силой распространился по двору и ворвался в здание монастыря. Штааль ничего не мог разобрать в

[1] «Извините, граждане! Позвольте пройти, гражданин!» *(франц.)*

этом крике на букву «е». Толпа рванулась к проходу так стремительно, что часть ее оказалась вытесненной на улицу. Произошла невообразимая давка. Штааль потерял мосье Дюкро и несколько минут перебрасывался волнами народа, видя перед собой озверело-радостные лица и слыша дикий крик, все на букву «е». Где-то кто-то зааплодировал; сразу рукоплескания бурно хлестнули по двору и слились с ревом в нестерпимый, пьянящий, чудовищный гул, все усиливающийся по мере приближения к статуе святой Екатерины. Одна из тысяч небольших волн, составлявших это людское море, выплеснула Штааля вперед и прижала его к стене на самом углу каменного прохода, ведущего на улице Honoré. Штааль ухватился за выступ и кое-как укрепился на месте. Против него рядом со статуей святой Екатерины Сиеннской, в небольшой, свободной от людей воронке неподвижно стоял человек, к которому, очевидно, относился восторг беснующейся толпы. В крике на букву «е» Штааль вдруг не столько разобрал, сколько угадал слово: Робеспьер. Он жадно впился глазами в неподвижную фигуру диктатора. Это был дурно сложенный, несколько ниже среднего роста, хорошо и даже щегольски одетый человек, сразу выделявшийся из грязноватой (хоть и не простонародной) толпы нарядным, чистеньким кафтаном фиолетового шелка и особенно —напудренной головой. В неподвижно повисшей левой руке неподвижными тонкими пальцами он держал шляпу,— оттого ли, что было очень жарко, или чтобы выразить почтение людской массе, на которую так действовал его вид. Бесстрастное лицо его, чуть тронутое оспой, было мертвенно-бледно и по цвету почти не отделялось от пудры волос; очки закрывали глаза. Впоследствии, через долгие годы, когда Штааль пытался вспомнить наружность Робеспьера, он неизменно находил в памяти первое впечатление — совершенной *неподвижности:* более безжизненного облика ему никогда не приходилось видеть.

По картонной маске лица внезапно проскочила легкая судорога. Робеспьер поднял правую руку. Штааль увидел в ней аккуратно сложенный, перевитый чистенькой шелковой ленточкой сверток бумаги. В ту же минуту из передних рядов толпы понеслась назад весть, сразу подхваченная тысячей голосов: «Il veut parler!.. Silence!.. Robespierre veut parler!.. Silence, sacré nom de Dieu!» [1]

---

[1] «Он хочет говорить!.. Тихо!.. Робеспьер хочет говорить!.. Тихо, черт возьми!» *(франц.)*

Минуты две длился рев, призывавший к «Silence». Затем в наступившей тишине Штааль, задыхаясь, услышал высокий резкий голос, медленно и проникновенно сказавший:

— Ceci est mon testament de mort... [1]

И снова легкая, едва заметная, судорога свела картонное лицо. Робеспьер пошел вперед, по направлению к церкви. Перед ним в толпе сам собой разрезывался узкий проход. Непостижимый восторг подступил к горлу Штааля. Он рванулся вперед почти в исступлении. Разбирая впоследствии свои чувства, он решительно ничего не мог в них понять и приписывал их мгновенному опьянению, странной заразе, перехваченной у обезумевшей толпы. Человек, стоявший перед ним, был в глазах всего мира виновником, вдохновителем, воплощением террора. И тем не менее он, Штааль, ненавидевший Революцию, совершенно ясно чувствовавший в ту минуту, что этот страшный человек и есть Революция, испытывал восторг, близкий к исступлению, при виде идола и главы террористов.

Толпа с ревом рванулась вслед за Робеспьером, мгновенно стирая за ним проход. Штааль отчаянно работал локтями, желая попасть в залу заседаний. Но это ему не удалось: он был на противоположном конце двора. Людская волна хлынула в церковь и сразу заполнила зал заседаний, трибуны для публики, соседние комнаты, проходы, все. Сотни людей, в том числе Штааль, остались во дворе, сбившись в кучу у настежь раскрытой, запруженной народом двери. Несколько минут длился гул борющейся за места толпы, затем донесся отчаянный звонок председателя, взволнованный спор нескольких повышенных голосов (Колло д'Эрбуа и Робеспьер одновременно попросили слова), и внезапно наступила мертвая тишина: Робеспьер начал читать речь, ту самую, которую он утром произнес в Конвенте и которую только что назвал своим предсмертным завещанием. Но до людей, оставшихся во дворе, как ни напрягали они слух, как ни приставляли руки к ушам, только изредка — в особенно патетических местах речи — доносился отдаленный звук резкого крикливого голоса Робеспьера. Слова совершенно ускользали. Иногда кто-либо из толпы у дверей тихим стоном спрашивал стоящих впереди: «Qu'est-ce qu'il dit?» [2] Но соседи зверски оглядывались и

---

[1] Это мое предсмертное завещание... *(франц.)*
[2] «Что он сказал?» *(франц.)*

с безнадежным отчаянием шипели: «Silence!» [1], хотя все равно ничего не было слышно.

Это состояние продолжалось, однако, недолго. Тишина и невозможность выражать страсть очень скоро положили конец коллективному умопомешательству. От сбившейся у дверей в липкий ком толпы робко, на цыпочках отошел один толстый, тяжело дышащий человек и в свое оправдание, изнеможенно мотая головой, расстегнул кафтан и рубашку. За ним сразу последовали другие. Скоро вся толпа разбилась на небольшие кучки. Больше не ходили на цыпочках; стали переговариваться, сначала шепотом, потом громче. Время от времени во двор доносился из залы заседаний взрыв аплодисментов, и тогда толпа снова бросалась к дверям, снова тщетно напрягала внимание и снова разбивалась на группы. Во дворе нашлись люди, которые днем были на заседании Конвента и слышали речь Робеспьера. Эти счастливцы вкратце излагали по кружкам содержание исторической речи. Но Штааль не мог не заметить, что излагали они ее по-разному и довольно сбивчиво; было даже трудно понять,— и едва ли сами рассказчики вполне ясно понимали,— в чем ее основной политический смысл. Тем не менее знатоки разъяснили (хотя это совершенно не вытекало из передачи очевидцев), что после такой речи у Фуше, у Колло д'Эрбуа, у Барраса голова, наверное, не останется на плечах. Знатоки говорили такое, что главный бой будет дан Робеспьером завтра в Конвенте и что в победе *Неподкупного* не может быть никаких сомнений. С этим вполне согласился и гражданин Дюкро. Штааль увидел, что его наставник, обещавший предоставить ему лучшее место в клубе, сам не попал в залу заседаний. Дюкро был этим несколько сконфужен и в свое оправдание пояснил, что давки, подобной сегодняшней, у них никогда не бывало. Зато, чтобы вознаградить Штааля, он категорически обещал проводить его завтра в Конвент; для этого он тут же снесся с одним своим другом, членом Конвента, очень добродушным и веселым маленьким человечком, который немедленно согласился помочь им,— только советовал прийти завтра возможно раньше. С членом Конвента Дюкро говорил о политике несколько проще, чем со Штаалем, верно потому, что члена Конвента было трудно удивить революционным слогом. Их разговор был прерван хлынувшей из церкви новой бурей аплодисментов. На этот раз рукоплескания длились несколько минут; отсюда можно было заключить, что Робеспьер кончил речь, продолжавшуюся бо-

[1] «Тихо» (*франц.*).

лее часа. Все опять рванулись к дверям. По плечам стоявших прохожих донеслась весть о том, что художник Давид, он же «Grosse joue» и «Broyeur du rouge» [1], выразил желание выпить цикуту с Робеспьером. Не все в публике знали, что тако цикута; тем не менее заявление Давида произвело в клубе сильное впечатление. Затем крик в зале стал совершенно бешеным. Та же идущая из церкви почта сообщила с негодованием, что Колло д'Эрбуа пытается возражать Робеспьеру. И действительно, могучий голос бывшего актера на мгновение выделился из общего чудовищного гула. Очень скоро толпа, забившая двери, подалась назад во двор, и в образовавшийся проход не вышел, а вылетел растрепанный, с перекошенным лицом Колло д'Эрбуа, сопровождаемый немногочисленными противниками Робеспьера. За ним гнались по пятам какие-то люди, впереди других гигант лавочник Муций Сцевола. Слышались исступленные крики:

— Предатель! В трибунал! На эшафот!

Озверевшего лавочника, который все рвался в проход, желая «casser la figure à Collot» [2], успокаивали более сдержанные люди:

— Sois tranquille, citoyen Mucius,— говорили ему.— Dans deux jours il ne parlera pas si haut... [3]

— Il ne parlera même plus du tout!.. [4]

— Il ne nous enforcera pas le poignard dans le dos... [5]

— On lui coupera le caquet! [6] — истерически прокричала некрасивая, немолодая женщина.

В зале зажглись огни. Заседание продолжалось. Какие-то группы сходились для таинственных переговоров. Куда-то посылались гонцы с распоряжениями. Духота все усиливалась, несмотря на поздний час. Ночь не обещала прохлады. Дюкро, Штааль и крошечный член Конвента решили освежиться на террасе соседнего кафе. Они потихоньку направились к выходу. У ограды Штааль в последний раз оглянулся на монастырь. Здание было совершенно покрыто тенью ночи. Только окна залы заседания горели ярким зловещим огнем, напоминавшим пламя пожара. Штааль вздрогнул.

---

[1] «Толстая щека» и «Красный краскотер» *(франц.)*.

[2] «Набить морду Колло» *(франц.)*

[3] Успокойся, гражданин Муций.. Через два дня он заговорит потише... *(франц.)*

[4] Он вообще больше не будет говорить! *(франц.)*

[5] Он больше не вонзит нож нам в спину... *(франц.)*

[6] Ему заткнут глотку! *(франц.)*

— Как душно! Будет гроза! — сказал он, вытирая лоб платком.

— Да, и не только на небе, у Верховного Существа,— ответил Дюкро, очень довольный шуткой.

— Завтра будет великий день в истории Революции,— подтвердил крошечный член Конвента.

— А какое завтра число? — спросил Штааль, входя в каменный коридор ограды, тускло освещенный фонарем.

— Нониди. Девятое термидора,— ответил Дюкро.— История отметит этот великий день.

— Свет Революции положит конец длинной ночи деспотизма,— лениво откликнулся член Конвента, поправляя тростью, из врожденной любви к порядку, красный колпак, неровно повисший на голове святой Екатерины Сиеннской.

XVIII

Чтобы попасть на заседание Конвента, нужно было прийти часов в шесть утра. Таким образом, отправляться спать в полночь уже не стоило. Штааль и Дюкро решили не расходиться по домам и пошли бродить по улицам. Захаживали в кофейни и у стойки выпивали по чашке кофе, приправляя его то коньяком, то арманьяком, то кальвадосом: мосье Дюкро утверждал, будто так легче коротать бессонную ночь. И действительно, так было легче. После нескольких чашек крепкого кофе Штааль был бодрее и возбужденнее, чем днем. Только ноги у него немного отяжелели, и он чувствовал, что если сесть как следует в кресло, то встать будет нелегко. Да еще в мыслях, несмотря на приятное возбуждение, была тяжесть от обилия впечатлений вечера; Штааль не хотел в них разбираться: это тоже могло оказаться трудным. Неприятно было воспоминание о восторге, который он испытал при виде Робеспьера.

В одной небольшой, уютно освещенной кофейне они попробовали было посидеть. Но при их появлении другие клиенты, очевидно завсегдатаи, сразу прекратили разговоры, и вошедшим стало не по себе. Дюкро с неудовольствием заметил вполголоса Штаалю, что, по-видимому, это контрреволюционное кафе, вроде Café de Foy или La grotte flamande, и вышел, оставив на чай (каждый платил за себя) только в половинном размере против обычного. Для следующего привала он повел Штааля в заведомо революционное Café Brutus, прежде называвшееся Café de la Regence. Но там народу было мало: кофейня уже запира-

лась, и оба поздних гостя снова очутились на улице. К ним пристали две женщины, ходившие по улице Honoré быстрой, деловой, раскачивающейся походкой проституток. Штааль нерешительно оглянулся на мосье Дюкро и в форме предположения заметил, что проще было бы провести ночь с этими дамами в Hôtel de la Liberté [1] (он тоже щегольнул своей осведомленностью парижанина).

— Берегись, они теперь все больны,— быстро возразил Дюкро и с достоинством попросил гражданок оставить их в покое. Услышав слово «гражданки», женщины осыпали Дюкро отчаянной бранью: проститутки в Париже были настроены крайне контрреволюционно.

Было около двух часов ночи. У лавок съестных припасов уже начинали строиться хвосты бедных людей, большей частью женщин. Там говорили о близости конца мира и ругали правительство, отчасти за террор, но больше за дороговизну жизни. Штааль начинал чувствовать голод. Мосье Дюкро, подумав, сказал, что, хотя все рестораны закрыты, можно прекрасно поужинать, если решиться истратить по сотне-другой ливров. Штааль немедленно изъявил согласие. Они вышли на улицу Закона, затем свернули в кривой переулок, а оттуда через незапертую дверь и узкий коридор, непонятным для Штааля образом, очутились в каком-то саду. Пахнуло свежее. Штааль осмотрелся. Со всех сторон открылись одинаковые стройные здания, грустно и таинственно освещенные луной, маленькие балконы с вазами на перилах, колонны, широкие спереди и узкие с боков, прелестные полуэтажи мансард, размеренные линии пышных деревьев между зданиями. Мудрено было не узнать это место, единственное в мире по своеобразному очарованию. Они были в Palais Egalité.

Из окон, местами, сквозь жалюзи и туго затянутые занавески, по краям прорезывался четырехугольниками свет В галерее сквозь колонны луна ровно делила плиты пола на темные и светлые пятна. Мосье Дюкро постучал в одну из дверей сначала нерешительно, потом крепче. Кто-то над ним высунул голову из неосвещенного окна. Через минуту дверь открылась. Их зевая встретил человек в порванной карманьоле и в красном шерстяном колпаке; так подчеркнуто по-санкюлотски редко одевались настоящие санкюлоты. Дюкро пошептался с ним, вынул бумажник и положил на стол несколько ассигнаций.

— Налево, по лестнице, первая дверь,— сказал кратко санкюлот, сел зевая на табурет и, по-видимому, немедленно заснул.

[1] Отель свободы (*франц.*).

В комнате, в которую вошли Штааль и Дюкро, за длинным столом шла игра. Игроки недовольно, но без заметного беспокойства, оглянулись на вошедших, накрывая руками кучки золота, и продолжали свое дело. Комната, огромная, высокая, нежилая, напоминала залы дворцов; потолки были раскрашены картинами бессмысленного содержания, а стены и неудобные стулья обтянуты дорогим шелком. Все было запущено, порвано и грязно. На одной из стен был прибит ржавым крюком к шелку большой картон с «Декларацией прав человека и гражданина». Из соседней комнаты кто-то громким и ровным голосом, через определенные промежутки времени, выкрикивал номера: там играли в лото.

Мосье Дюкро, улыбаясь, точно он желал весело пошутить, подошел к столу и высыпал на сукно несколько золотых монет. Никто не обратил на него внимания, кроме ближайшего соседа, который с недовольным видом пододвинул к себе деньги. Да еще пожилой, совершенно лысый распорядитель-банкомет, сидевший посредине с длинной грабелькой в руке, внимательно посмотрел на нового гостя; но, увидев небольшую кучку золота, высыпанную Дюкро, равнодушно отвернулся. Перед распорядителем кроме грабли и мешка лежал еще небольшой металлический инструмент вроде бурава, которым он иногда ловко пробовал золотые монеты некоторых гостей. Гости, однако, к удивлению Штааля, не обижались. Ассигнаций не было видно совершенно. Доска стола была разделена на множество квадратиков с номерами. На них игроки клали свои ставки. Распорядитель вытряхивал наудачу из мешка крошечную круглую коробочку, ловко раздвигал ее пополам, вынимал оттуда номер и лопаткой отделял выигравшему деньги. Штаалю очень хотелось поиграть; но он не знал этой игры biribi [1] и боялся, что взял с собой недостаточно денег,— вдруг проиграет сразу несколько тысяч.

Из десятка ставок Дюкро одна оказалась удачной и принесла ему порядочную кучку золота. Дюкро поставил для приличия, чтобы не отходить сразу после выигрыша, еще на два номера, спрятал выигранные деньги и с тем же шутливым видом вернулся к Штаалю.

— Ну, пойдем, ужинать,— сказал он весело.

Через комнату, в которой играли в лото и где публика была, по всей видимости, победнее, они прошли в столовую игорного дома. Старик гарсон, очень напоминавший наруж-

[1] Азартная игра (*франц.*).

ностью Людовика XIV периода госпожи Ментенон, усадил их за стол в углу. Дюкро потребовал карту блюд. Карты никакой не имелось.

— Что же у вас есть? — недовольным тоном спросил бывший учитель.

— Все что угодно,— с достоинством ответил старик. И действительно, на каждый заказ гостей он почтительно-угрюмо кивал головой и говорил «très bien» [1], причем за этими словами следовали еще какие-то непонятные,— не то monsieur, не то citoyen [2], не то что-то другое.

Очень скоро их стол был заставлен разными закусками; гарсон подкатил на высоком круглом табурете сложное металлическое сооружение, напоминавшее инквизиционную камеру с зубцами, котлами и костром; это подготовлялся заказанный разошедшимся Дюкро caneton rouennais [3]. Дюкро подмигнул Штаалю, как бы приглашая его подумать, во что им обойдется такое блюдо.

— Кто бы, однако, сказал, что в Париже голод! — заметил Штааль, принимаясь за закуски.

Дюкро вздохнул и развел руками, показывая, что он и рад помочь народному бедствию, но не может.

— Эмигранты хотят извести нас,— проговорил он со злобой.— Они во сне видят, как бы вернуться домой да позабирать назад имения... Для этого устраивают у нас голод, тогда как сами наслаждаются жизнью в Лондоне и в Петербурге... Подлецы!

От искреннего возмущения у мосье Дюкро побагровели шея и лысина.

— А недурно у вас ели в России, это правда,— добавил он, успокоившись.— Помнишь стол у чудака Зорича... Les sterlets... Le porossenok... Хорошо... Тяжелая кухня, кухня для ленивых людей и бездельников, а все-таки хорошо. И водка... Пить крепкие напитки до обеда! C'est une idée bien russe!.. [4] Однако и в пользу этого взгляда можно много сказать,— утешил он Штааля.— Жаль, что нельзя достать простой русской водки.. Здесь, впрочем, есть решительно все. Ты знаешь, их клуб купил запасы вина из погребов казненного Капета. Мы сейчас будем пить вино французских королей!

Это произвело впечатление на Штааля. Он потребовал, однако, подтверждения от гарсона, который как раз осто-

---

[1] «Очень хорошо» *(франц.)*.

[2] Господин... гражданин *(франц.)*.

[3] Утенок по-руански *(франц.)*.

[4] Это чисто русская идея!.. *(франц.)*

рожно ставил на стол плетеную корзинку с бутылкой в лежачем положении. Гарсон подтвердил, что их grands crus [1] вышли из версальских погребов, и добавил, что он сам двадцать семь лет состоял на службе во дворце сначала в качестве pousse-fauteuil de Sa Majesté, а затем по отделу gobelet du Roi, и должен был даже через три года получить звание officier de bouche [2]... Но... Гарсон вздохнул. Дюкро засмеялся и приподнял бутылку из корзины.

— Chambertin 1789,— с удовольствием прочел он надпись на бутылке — Tiens! 1789! Une grande année! [3]

— Une grande année,— подтвердил убежденно старик.— Les bourgognes ont été excellents [4].

Штааль тоже засмеялся, но гарсон, очевидно, не понял, к чему относится их смех.

Вино оказалось действительно превосходным, и за первой бутылкой последовала вторая. Однако роскошь заказа не произвела никакого впечатления в клубе. Соседний круглый стол, за который садилась компания игроков, был густо заставлен бутылками в ведерках со льдом и огромными вазами фруктов (в этих вазах было только то, что очень трудно достать в июле месяце). Штааль с любопытством смотрел на соседей. С одним из них Дюкро раскланялся.

— Банкир...— пояснил он Штаалю с почтением в голосе.— Сказочно разбогател... И честный человек; добрый республиканец. А вот тот другой, рядом с ним, отъявленный контрреволюционер. Не могу понять, почему ему поручили поставки для Северной армии...

Впрочем, люди, ужинавшие за круглым столом, политикой, по-видимому, занимались мало. Один из них заговорил было о тревожном настроении в городе и о том, что в Конвенте произошло какое-то важное заседание. Но и рассказывал он, и другие выслушали его сообщение так, точно речь шла о событиях в Южной Америке. Разговор — довольно громкий по сравнению с обычным в Париже того времени — перескочил на биржевые сделки. Все сразу насторожились. Насторожился, как увидел Штааль, и мосье Дюкро. На бирже ценности почему-то повышались.

— Как эти господа, однако, не боятся! — сказал Штааль с удивлением.— Игорный дом, шампанское — в голо-

---

[1] Лучшие вина *(франц.)*.

[2] Двигателя кресла его величества... королевских вин... кравчего... *(франц.)*

[3] Шамбертен... Смотри-ка!.. Вот Великий год! *(франц.)*

[4] Великий год... Бургундские вина были прекрасны (франц.).

дающем Париже, в двух шагах от Якобинцев и от Конвента.

— Увы! Мы унаследовали от старого строя тяжелое наследие грехов,— ответил со вздохом Дюкро.— Полиция во все времена одна и та же. Верно, достаточно заплачено кому следует.

И действительно, вид у гостей был совершенно спокойный, невинный и благодушный. Глядя на них, Штааль ясно почувствовал, что как бы революция ни повернулась и какой бы еще ни пришел голод, будут для этих людей и биржа, и игорные дома, и шампанское.

— В этот клуб часто захаживал Мирабо,— сказал Дюкро.— Я встречал здесь и жирондистов, и епископа Отенского, и Филиппа Эгалите. Говорят, Барер и Колло тоже приходят нередко. Странно, что нас всех сюда тянет... Распорядитель здесь, кстати, un ci-devant [1], бывший граф или даже герцог, не помню точно,— пояснил Дюкро, показывая глазами на лысого господина, который прежде за biribi пробовал монеты буравом, а теперь ужинал с угощавшими его гостями. Распорядитель, все подрагивавший лысиной, точно он не мог привыкнуть к отсутствию парика, внимательно выбивал деревянным молоточком пену из бокала шампанского. Его соседи искоса посматривали на него и неуверенно делали то же самое. Он иногда отрывался от своего занятия и холодным безжизненным взглядом обводил гостей. Лакей, похожий на Людовика XIV, подходил к лысому господину за распоряжениями с грустным, сочувственным видом, свидетельствовавшим о понимании их обоюдного падения. Гарсон, по-видимому, одного лысого господина выделял из этой толпы людей, которые заказывают в четыре часа утра закуски и caneton rouennais [2].

— Ни одно вино не мирит так со всеми огорчениями жизни, как бургонское,— сказал мосье Дюкро, наливая себе и Штаалю по новому бокалу. Оба они от вина очень повеселели. Дюкро вдруг стал рассказывать Штаалю свою жизнь. В жизни его не было ничего интересного, но он рассказывал так задушевно, что молодой человек был тронут: за время своего пребывания во Франции Штааль успел оценить, насколько ложна распространенная легенда о легкомыслии и болтливости французов: теперь ему казалось даже, будто нет народа более серьезного и более сдержанного в личных делах. Откровенность мосье Дюкро напомнила Штаалю русских людей, и он подумал, что на харак-

---

[1] Бывший *(франц.)*.
[2] Утка по-руански *(франц.)*.

тере его собеседника отразилось пребывание среди них. Это в самом деле было верно. Иностранцы, долго жившие в России, порой ее ненавидят, но никогда не возвращаются из нее прежними людьми и по возвращении на родину редко уживаются у себя дома. Мосье Дюкро неопределенно сообщил Штаалю, что он и сам не прочь бы вернуться *потом* в Россию, как ни трудно ему будет жить в рабской стране. Впрочем, Россия тоже рано или поздно освободится, а возможности торговых дел в ней уже и теперь огромны. Дела мосье Дюкро, однако, и во Франции шли недурно благодаря знакомствам, которыми он обзавелся в Якобинском клубе: он поставлял медные кастрюли для военного министерства и успел купить очень дешево небольшое имение в Нормандии из конфискованных церковных земель; рассчитывал *потом* перепродать его с большой пользой.

— Уж эти бездельники монахи... Как прав был Вольтер! — заметил он с жаром и принялся рассказывать Штаалю о дореволюционных злоупотреблениях и об эксплуатации рабочих на церковных землях. Злоупотребления и эксплуатация были, точно, поразительные.

— Я, разумеется, у себя все это переменил. Ну, не все, но очень многое. И в моем имении, как мне докладывал мой управляющий, моим работникам живется прекрасно. Иные из них недовольны, но ведь есть люди, которым всего мало... Моим работникам живется прекрасно.

Дюкро, видимо, не мог удержать восторга, который вызывало у него новое материальное благополучие. Слово «мой» он повторял беспрестанно и с чрезвычайным удовольствием. Но еще чаще и тоже с особенным выражением он произносил слово «потом», plus tard.

— Вы все говорите «потом»? Когда же это «потом»? — спросил его с недоумением Штааль.

Бывший учитель поднял одновременно брови и указательный палец левой руки.

— Когда будет порядок и твердая власть,— произнес он значительно.— Добродетельный Робеспьер должен дать нам порядок и твердую власть... А если не он, то другой...

Но тотчас, будто испугавшись своих слов, он подлил Штаалю вина и сказал поспешно:

— Est-il bon, ce petit vin! Ils s'y connaissaient, les tyrans...[1]

Мосье Дюкро, природный оратор, долго говорил о сво-

---

[1] Неплохое винцо! Тираны знали в этом толк... (*франц.*)

их делах и о политике и даже, как показалось Штаалю, немного смешивал политику со своими делами, не совсем отделяя нормандское имение от завоеваний революции. Он очень хвалил якобинцев, которые одни за все революционное время сумели проявить энергию и твердость. Правда, есть крайности, встречаются горячие головы... Сам Робеспьер,— он слегка понизил голос,— порою заходит слишком далеко... Напрасно тоже многие так отстаивают всеобщее избирательное право. У бедных людей и без того достаточно забот,— где уж им заниматься политикой, они этого вовсе и не желают. Да, конечно, у якобинцев иногда слышишь крайности. Но зато какая сила, какая железная рука у Робеспьера! Quelle poigne! [1] Вот как надо править народом! Иногда мосье Дюкро переходил на общие принципы и о них также говорил с искренним воодушевлением. Лысина и глаза у него блестели, голос порою дрожал. Он ругал монахов, одобрительно цитировал энциклопедистов; причем об энциклопедистах говорил тем же тоном одобрения, что о своем управляющем. Штааль чувствовал, что мосье Дюкро очень хотел бы побеседовать о женщинах, но не решается перейти к ним от якобинской политики и от энциклопедистов. Молодой человек сам постарался облегчить переход своему учителю, и так ночь прошла в приятной беседе. Игорный дом закрывался поздним утром. Штааль чувствовал, что пьет слишком много. Ему становилось все веселее, но уже хотелось опустить голову на стол и посидеть немного молча, закрыв глаза,— разумеется, не спать, Боже упаси!

— А ведь завтра, пожалуй, будет бой, если я правильно оцениваю положение,— сказал он медленно, делая над языком некоторое усилие, чтобы он не отнес сказуемое куда-либо в сторону от подлежащего.

— Завтра? Ты хочешь сказать: сегодня,— ответил Дюкро, вынимая дорогие золотые часы, которые он носил на простом шнурке красного шелка.— Работы Бреге,— пояснил он, открывая крышку часов и показывая Штаалю штемпель.— Мой поставщик Абрагам Бреге... Однако половина седьмого. Надо сейчас идти, а то не попадем на заседание... Garç... Citoyen, l'addition! [2] — закричал он.

Счет уже был заготовлен и своим размером превзошел ожидания Дюкро, который бессильно развел руками и беспрекословно расплатился, взяв со Штааля половину.

---

[1] Какая хватка! *(франц.)*

[2] Гарс... Гражданин, счет! *(франц.)*

— Ты говоришь: бой. Ну что ж, бой так бой,— пробормотал он, собирая сдачу.— Нужно же наконец создать твердую власть, обеспечить собственность и принципы... Va pour la bataille. Il faut en finir... [1] Погоди! — вскрикнул он (Штааль испуганно оглянулся),— я по ошибке обсчитал тебя: ты заплатил лишних пять ливров. Вот они, возьми.

Он кивнул небрежно гарсону, сказал «à bientôt» [2] распорядителю и почтительно поклонился банкиру. Они спустились вниз. Мрачный санкюлот, спавший на табурете, мгновенно проснулся, выпустил их и снова тотчас заснул.

После свечей игорного дома яркий свет утреннего солнца сразу ослепил и утомил глаза Штааля. Свежесть сада, роса, раннее утро, которого он давно не видел, произвели на молодого человека неожиданное действие: вдруг сказались с большой силой усталость, обилие впечатлений, бессонная ночь и особенно вино. Штаалю мучительно захотелось спать.

— А не пойти ли по домам? — нерешительно спросил он, с трудом составляя даже эту несложную фразу.

— Да что ты? — возразил с удивлением Дюкро, который, напротив, посвежел на воздухе.— В такой день! Никогда!

Они покинули Palais Egalité, обогнули фельянский монастырь и через сады отеля Ноайлей вышли к Национальному дворцу. В Тюльерийском саду уже давно началась жизнь. Трибуны Конвента наполнялись чрезвычайно рано, и в ожидании наплыва народа бесчисленные лавки, переполнявшие в ту пору сад, открывались едва ли не с зарей. Покорно следуя за мосье Дюкро, Штааль усиленно следил за его и своими ногами. Ему вдруг захотелось спросить что-то очень важное, но он не совсем ясно представлял себе, что именно, и произнес довольно длинную фразу, которая, однако, совершенно не вышла. Дюкро посмотрел на молодого человека и укоризненно покачал головой. Штааль крайне удивился, каким образом можно было не понять его вполне ясный вопрос, и был несколько обижен тем, что мосье Дюкро глядел на него с опаской и слегка его поддерживал, пока они очень долго куда-то поднимались по какой-то нескончаемой, крутой и коварно устроенной лестнице, которая вдобавок не стояла на месте, а качалась из стороны в сторону.

---

[1] Иди в бой. Надо кончать... *(франц.)*
[2] «До скорого» *(франц.)*.

XIX

Место оказалось очень хорошим: как раз в закругленном углу зала. Можно было прислонить спину и голову к стене. Мосье Дюкро говорил удовлетворенно, что отсюда будет видно как на ладони. Но Штааль, собственно, ничего не желал видеть: молодому человеку хотелось спать, и только. Как на беду, спать все же было неудобно: какие-то шумные, грубоватые люди, от которых дурно пахло, в поисках лучших мест, проталкивались по узким, неудобным трибунам для публики, то наступая на ноги Штаалю, то задевая его колени. У большинства из них в руках были толстые палки, а из карманов блуз вылезали кульки с едой. После обильного ужина Штаалю был почти до тошноты противен запах сыра и чесночной колбасы. Морщась и кривясь, он прислонился к стене и закрыл глаза. Мосье Дюкро тревожно толкнул молодого человека в бок, заметив вполголоса, что в Конвенте спать не годится; но затем, поглядев по сторонам, успокоился: на трибунах, куда многие пришли с рассветом, оказалось немало спящих или дремавших людей; иные даже, пока не стало тесно, лежали во всю длину на твердых, неудобных скамьях, обитых грязной темно-синей клеенкой. Тем не менее мосье Дюкро пытался помешать Штаалю спать и настойчиво обращал его внимание на разные красоты зала. Штааль послушно и лениво смотрел, куда требовалось, но утомленные глаза его ни на чем в отдельности не могли сосредоточиться. Бессмысленно длинная, узкая зала, странный желто-зеленый, точно неестественный, мрамор, ряды деревянных скамей, сложного устройства сцена, а на ней венки, знамена, что-то зеленое с красным, новое, дешевое и безвкусное на старом, дорогом и тоже безвкусном,— таково было общее впечатление от залы заседаний Конвента в бывшем дворце французских королей. Штааль снова закрыл глаза и впал в полудремоту, несмотря на усиливавшийся понемногу шум.

Заснуть как следует ему, однако, не удалось. Его привели в себя энергичные толчки мосье Дюкро: перед ними стоял, глядя с улыбкой на молодого человека, вчерашний крошечный член Конвента. Он увидел их снизу и любезно поднялся на трибуны. Штааль смущенно сослался, в свое оправдание, на ночь, проведенную без сна; но замолк под строгим взором мосье Дюкро.

— Ничего, ничего, молодой человек, спать не возбраняется,— сказал с улыбкой член Конвента, пересиливая го-

лосом общий гул.— Ну, очень рад, что вы попали на историческое заседание. Вас, разумеется, сразу пропустили, когда вы показали мою записку? Не стоит благодарности, долг всякого влиятельного гражданина заботиться о патриотах.

Он нагнулся над перилами трибуны и заглянул вниз. Штааль сделал то же самое, не без труда оторвав спину от закругления стены. Внизу было довольно много народа, но все-таки колоссальный зал казался наполовину пустым. Скамьи были заняты только в среднем пролете — людьми, державшимися очень скромно и тихо. Большинство членов Конвента расхаживало по боковым проходам. Кое-где сходились кучки и оживленно переговаривались, оглядываясь по сторонам. Какие-то люди в странных одеждах с булавами, украшенными слоновой костью, медленно гуляли по залу: это были пристава.

Член Конвента с гордостью хозяина давал объяснения Дюкро и Штаалю.

— В этом помещении был прежде домашний театр тиранов: они жили с удобствами. Разумеется, наш архитектор Жизор внес много изменений. Зал отделан очень изящно и просто,— по древним образцам. Видите по стенам изображения: вон Брут, а там Плутарх, Платон, Цинциннат, Солон... А вот это, как вы узнаете и сами (член Конвента вздохнул), это покойный *Друг народа*, дорогой, незабвенный Марат... Наши места довольно неудобны, но долг патриота сносить неудобства и страдания для родины. Посредине сидит *болото*,— бессловесные люди,— они всего боятся, и на них мы не обращаем внимания. Я занимаю место вон там, во втором ряду, в двух шагах от Робеспьера. В манеже, тут рядом сидел тиран Людовик Последний, когда мы его судили. Я его видел — вот как теперь вижу вас... Это, разумеется, трибуна президиума. Обратите внимание на кресло председателя: оно сделано по рисунку Давида. А портьера за креслом ведет в наш маленький салон, куда входят только влиятельные члены Конвента. Не скрою от вас, там-то мы все и решаем: да, за этой портьерой революционный молот кует судьбы вселенной... Что? Кто будет председательствовать? К сожалению, Колло д'Эрбуа... Вот он стоит у стены, узнаете его? Видите, какой бледный... Верно, спал ночью не больше вашего... А тот, что с ним говорит, это Баррас, тоже один из главных противников Робеспьера. Да, да, тот высокий в белом жилете с синими полосками... Все это одна компания, и сегодня им отсюда прямая дорога на эшафот!

— Неужели на эшафот? — переспросил Штааль, невольно бледнея при виде обреченных людей.

— Непременно,— подтвердил член Конвента.— Не они первые. Нужно очистить республику... Да вот и Максимилиан,— воскликнул он радостно, посмотрев в сторону входной двери.

Штааль повернул голову и увидел Робеспьера. Он был одет еще элегантнее, чем накануне. Голова его была завита и напудрена столь тщательно, точно он провел за ее украшением всю ночь. Встретили его совершенно не так, как вчера в Якобинском клубе. Послышалось несколько слабых хлопков, которые тотчас оборвались в общем молчании. Большинство членов Конвента как бы вовсе не заметило появления диктатора. Несколько человек, напротив, усиленно старалось поймать его взгляд и поклониться ему с выражением почтительного восторга. Многие поспешно углубились в чтение газет. Робеспьер, нахмурившись (как показалось Штаалю), обвел взором залу — кучки в разных ее концах мгновенно растаяли от его стеклянного взгляда — и затем поднял глаза наверх. На трибунах приход *Неподкупного* был замечен не сразу. Через минуту, правда, послышались рукоплескания и удары о пол толстых палок по сигналу молодого юркого человека, сидевшего недалеко от Штааля (Штааль вспомнил, что накануне видел этого юношу в Якобинском клубе). Но в зал уже входили другие члены Конвента и с недоумением глядели на аплодирующие при их появлении трибуны. Манифестация не вышла. Робеспьер хмуро прошел к председательской эстраде и остановился возле нее, лицом к залу, неподвижно скрестив руки.

— Ну, пора идти вниз, сейчас начнется заседание,— сказал не без смущения крошечный член Конвента и простился с Дюкро и Штаалем. Дюкро также, казалось, был смущен...

— Странно,— пробормотал он,— странно... Его обыкновенно встречают иначе.

Послышался звонок, пристава что-то закричали трубным голосом и застучали булавами. В залу со всех сторон стали входить люди, и разговоры медленно замолкли. Спустившийся сверху маленький член Конвента молодцевато прошел во второй ряд, дружелюбно опираясь на плечи соседей, и со своего места оглянулся на Дюкро, приветливо кивая ему головой. Штааль недоверчиво провожал его глазами: ему точно не верилось, что это *настоящий* член Конвента.

Бледный Колло д'Эрбуа, по привычке грациозно раскачиваясь бюстом и закинув высоко голову с тем величественным видом, с которым он прежде изображал в трагедиях добродетельных царей, взошел на председательское место. Секретарь принялся читать протокол предыдущего заседания и корреспонденцию.

Голос у секретаря был мерный и скрипучий, дикция неясная, и читал он что-то неинтересное. Штааль, снова с наслаждением прислонившийся к стене, слушал несколько минут, а затем с ужасом почувствовал, что засыпает: не дремлет, как прежде, а засыпает по-настоящему, как у себя в постели. Он сделал отчаянное усилие и открыл глаза, но они тотчас сами собой сомкнулись, и молодой человек почувствовал полную бесполезность борьбы со сном. Страшная усталость и вино были сильнее его воли.

«Нельзя спать... Не годится... Это совершенно не годится,— мелькало у него в голове.— Зачем только я пил шамбертен?.. Chambertin 1789... Une grande année... Смешной этот лакей, бывший pousse-fauteuil de Sa Majesté [1]. Разумеется, не надо было ходить в игорный дом... Впрочем, если я посплю несколько минут, большой беды не будет... Никто не заметит... И кому, собственно, какое дело? Да еще точно ли будет интересное заседание? А станет интересно, так меня разбудят... Как скучно читает этот господин. И не разберешь ничего... Отчего у него такой скверный голос?.. Какой осел... Говорили: Конвент, Конвент, а на самом деле ничего особенного: люди как люди. И вид у них презапуганный. Хороши *гиганты*,— особенно тот, что подходил к нам. Нет, все-таки спать не годится... Совершенно не годится... Совершенно не... Вот еще тоже не надо говорить со сна, если я засну. У нас в училище Колька Петров всегда болтал по ночам... Где-то теперь Колька Петров? Верно, не думает, что я теперь в... Где я в самом деле?.. Забыл... Да, в Тюльери... Если я буду разговаривать во сне, то, должно быть, по-русски... Никто не поймет... Но разрешается ли в Конвенте говорить по-русски?.. Отчего же? Говорили же мы по-французски в Петербурге... Это с их стороны долг вежливости. Надо бы все-таки спросить у Дюкро... Непременно надо... Только что же спросить?.. Какой, однако, болван Дюкро... Да, спать совершенно не годится...»

Штааль заснул как убитый. Во сне у него были смут-

---

[1] Шамбертен 1789.. Великий год... двигатель кресла его величества *(франц.)*.

ные и странные видения. Он лежал у края глубокой пропасти, свесив в нее ноги, которым было очень неудобно, и повиснув головой на чем-то твердом. Из пропасти несся все усиливающийся страшный шум. Кто-то пытался вылезть, карабкался и падал, вызывая на дне бурный восторг. На дне спорили и сердились, и голоса спорящих сливались в протяжный, неровный, взвизгивающий гул. На дне находилась еврейская молельня, та самая, что была у поворота большой дороги в шкловском имении графа Зорича... Громче всех молились, стараясь перекричать визгливо друг друга, Робеспьер и Колло д'Эрбуа. И еще там по дну бешено неслась тройка, колокольчик которой отчаянно звенел... Зачем они едут так быстро?.. Тройка зацепила и раздавила Робеспьера... На ней мчался толстый банкир, игравший в biribi в Palais Egalité... Он выкинул из мешка круглую коробочку с чьим-то номером, и тройка понеслась дальше, звеня колокольчиком. Часовые грозно требовали пароль. Пароля не было. В самом деле, какой пароль?.. Как выехать из Парижа без пароля?.. Пароль... Паро...

— А? что? в чем дело? — вскрикнул Штааль, просыпаясь. Мосье Дюкро, пригнувшийся к перилам, больно вцепился ему в руку.

— Tu n'as pas la parole! Tu n'as pas la parole! [1] — гремел внизу бешеный крик, сливаясь с отчаянным звоном колокольчика.

— В чем дело? — повторил Штааль, задыхаясь от испуга.

— Молчи! — прошептал мосье Дюкро.

Его лицо было искажено и бледно. Вместо ответа он показывал рукой вниз.

XX

Внизу действительно было страшно.

Самое трагическое парламентское заседание в мировой истории близилось к концу.

До полудня 9 термидора обе стороны только готовились к бою, действуя преимущественно хитростью и обманом. Партия Робеспьера пыталась задержать в Комитете Общественного Спасения тех его членов, присутствие которых на заседании Конвента могло быть для нее особенно опасно. Для этого Сен-Жюст оставался в Комитете всю ночь, стараясь успокоить заговорщиков и отвлечь их подо-

---

[1] Тебе не дали слова! Тебе не дали слова! *(франц.)*

зрения. В пять часов утра он ушел, обещав вернуться к десяти и дать Комитету на предварительный просмотр текст своей речи. В действительности речь, которая имела целью погубить Комитет Общественного Спасения, была уже готова у Сен-Жюста. Выйдя из Национального Дворца, он сел на коня и поскакал в Булонский лес. Быстрая скачка освежила его после бессонной ночи и подготовила нервы для решительного боя. Сен-Жюст вернулся домой и тщательно сделал туалет перед зеркалом, в последний раз прорепетировав для трибуны самую *ледяную и неумолимую* из своих поз. Он остался доволен. Туалет и поза были хороши как на случай победного торжества, так на случай поражения и казни. Сен-Жюст допускал обе возможности и почти не боялся смерти: в истории ему было обеспечено бессмертие рядом с героями Плутарха. Из дому, не заходя в Комитет Общественного Спасения, он отправился прямо на заседание Конвента. Предполагалось, что его речь и краткое выступление Робеспьера решат дело прежде, чем члены Комитета успеют подготовить сопротивление. В свою очередь, и заговорщики принимали хитрые меры. Оставшись на всю ночь в Комитете, они вызвали туда главных агентов Робеспьера из Коммуны и долго по очереди занимали их пустыми разговорами для того, чтобы помешать им собирать вооруженную силу для триумвиров.

Хитрости были довольно дешевые. Однако все эти люди, которые воспитались на истории Рима, которые писали по-французски с грубыми ошибками, но зато могли говорить по-латыни, твердо помнили, что у Тацита, у Саллюстия, у Светония рассказывается о таких же хитростях, имевших самые замечательные исторические результаты. Кроме того, нервы у большинства руководящих людей Конвента были так мучительно напряжены долгим непрерывным ожиданием эшафота, что они не могли ни минуты оставаться без дела, не выдумывая для своего спасения и для спасения Республики новых хитростей, обманов и подходов. Из обеих комбинаций не вышло ничего. Вместо задержанных в Комитете Общественного Спасения агентов Робеспьера в Париже ночью работали их товарищи. С другой стороны, заседание Конвента началось с опозданием, и, как только Сен-Жюст взошел на трибуну, по первым его словам, по его особенно *ледяной* позе, по *неумолимому* жесту руки, которой он с большой высоты рубил точно ножом гильотины (этот жест у него выходил очень хорошо и действительно наводил часто ужас на робких людей), противники Робеспьера сразу сообразили, в чем дело, и тотчас дали

знать в Комитет Общественного Спасения. Таким образом, Барер, Камбон, Бильо-Варени, ожидавшие там Сен-Жюста, явились в Конвент лишь с небольшим опозданием.

Барер для себя уже сделал окончательный выбор. Несмотря на всю свою тонкость и опыт, он в полдень еще не знал, кто выйдет победителем к вечеру девятого термидора... Ему было совершенно ясно, что этот день для одних кончится *Капитолием*, а для других — *Тарпейской скалой*[1] (лучшие ораторы Конвента и говорили, и даже думали такими образами). Но кто угодит в Капитолий, а кто слетит с Тарпейской скалы, этого Барер не знал. Зато он видел, что для него победа Робеспьера будет почти наверное означать Тарпейскую скалу. Барер не был трусом,— трусов в Конвенте было мало,— но умирать ему очень не хотелось. По пути в залу заседаний из Павильона Равенства Национального Дворца, где в прежних апартаментах королевы Марии-Антуанетты помещался Комитет Общественного Спасния, Барер мысленно перебирал все возможности предстоящего боя. Он знал свое огромное влияние в Конвенте и прекрасно понимал, что исход будет в значительной мере зависеть от его искусства, изобретательности и самообладания. Хладнокровие было теперь нужнее всего другого. Несмотря на то что он уже и так несколько опоздал, Барер остановился перед стойкой буфетчика Пайана и выпил залпом бутылку ледяной Eau de Passy[2]. Вода, однако, его не освежила. Не торопясь и стараясь не волноваться, он направился дальше. По дороге ему встретился Давид, который, весело что-то насвистывая, поспешно шел в залу заседаний.

«Этот дурак зачем лезет в петлю?» — подумал Барер с досадой.

Художника в Конвенте не очень принимали всерьез, но друзей и поклонников у него было много — и не всякий решился бы отправить такого человека на эшафот. Барер сам любил искусство, знал в нем толк и высоко ценил дарование Давида, хотя в глубине души предпочитал ему Фрагонара и Греза. Он подумал и остановил художника.

— Послушай,— сказал он ему тихим, значительным голосом.— Не ходи сегодня на заседание... Ты не политический человек.

Давид удивленно посмотрел на Барера — и вдруг по-

---

[1] С Тарпейской скалы сбрасывали преступников *(римск. мифол.)*
[2] Вода Пасси — минеральная вода *(франц.)*.

бледнел. Как все члены Конвента, он имел огромное доверие к ловкости и политическому опыту этого человека, который в любое время на любую тему мог сказать гладкую трехчасовую речь со шпильками, с намеками, с цитатами из древних авторов и ссылками на прецеденты из практики Римского Сената. Этими своими свойствами Барер внушал Давиду, ничего не понимавшему в политике, суеверный ужас. Но еще больше, чем смысл и тон сказанных слов, художника поразило осунувшееся лицо Барера и новая вертикальная, почти страдальческая, складка, которая залегла по его лбу — ближе к левой брови, чем к правой,— и которой, как твердо помнил Давид, еще не было при их последней встрече.

Давид за минуту до того, по пути в Конвент, радостно и взволнованно замирая, обдумывал пришедший ему в голову сюжет картины, где играл значительную роль опрокинутый кубок с цикутой. Художник еще не решил, кто будет на картине пить из этого кубка,— непременно ли Сократ, или кто другой; в момент встречи с Барером Давид думал о том, какого цвета могла бы быть разлившаяся по мрамору цикута в солнечный день, под вечер, при боковом освещении Слова, тон, выражение лица Барера вдруг перебросили его из этого нелегкого, волнующего, но радостного мира в другой мир, в тяжелый, сумрачный мир злобы и эшафота. Он не понял, но почувствовал, что дело очень, очень серьезно и что теперь гильотина будет broyer du rouge не из аристократов и не из агентов Питта.

— Давид, не ходи сегодня на заседание Конвента,— повторил медленно, почти шепотом, останавливаясь после каждого слова, Барер.

Давид смотрел на него расширенными, остановившимися глазами. Затем, передохнув, отвел их в сторону. Ему попался высокий тополь Тюльерийского сада, ярко освещенные ветви, зелень которых уже местами была сожжена солнцем, золотое, чуть колеблющееся пятно на песке... Страстная жажда жизни охватила Давида. Он порывисто, крепко пожал руку Барера — и пошел назад.

Барер слабо улыбнулся ему вслед, вспомнив обещание художника выпить цикуту с диктатором, и отправился в зал Свободы, смежный с залой заседаний. Он искал Тальена, желая сговориться с ним о новом плане боя: по мнению Барера, следовало попытаться разъединить триумвиров. С Робеспьером и Сен-Жюстом разговор был очевидно бесполезен. Но Кутона, пожалуй, можно было бы от них отделить или хоть заключить с ним договор о взаимном

страховании. Кроме того, Барер, принимая в соображение слабый голос Робеспьера, находил нужным помешать ему говорить.

Тальена уже не было в зале Свободы. Этот человек, сыгравший огромную роль в день девятого термидора, находился в состоянии, близком к сумасшествию. В отличие от других заговорщиков, Тальен не думал ни о плане борьбы, разработанном Фуше, ни о том, как лучше использовать *болото*, ни о том, как должен вести заседание председатель Конвента, не заботился даже о собственной своей участи. Он все позабыл и связно ни о чем не думал. Его воспаленный мозг почти отказывался работать. Обезумевший от физической страсти, Тальен знал и помнил только одно: либо Робеспьер погибнет сегодня, либо Тереза Кабаррю завтра взойдет на эшафот.

Маленькими шагами он с девяти часов утра быстро ходил, нервно зевая, по прежней капелле королей, которая примыкала к залу Свободы. В этой капелле было меньше народу, чем в других помещениях Национального дворца. Тальен избегал людей, и люди его избегали: все знали, что он включен в проскрипционный список, и от него точно шел уже запах трупа. Большинство членов Конвента утром не сомневалось в победе Робеспьера, который торжествовал неизменно. Если диктатору удалось свалить такого гиганта, как Дантон, то могла ли рассчитывать на успех в борьбе с ним небольшая группа людей, не имевшая за собой ни популярности, ни талантов, ни вооруженной силы? Только очень тонкие знатоки, посвященные во все секреты сложных политических отношений Конвента, комитетов, Коммуны, знали, что дело обстоит не так просто и что на этот раз шансы Робеспьера гораздо меньше, чем в былые времена. Но и знатоки отнюдь не спешили высказаться, а держали свое мнение про себя.

Ламбер Тальен не был знатоком. Поднятый случаем на высоты политики, он плохо разбирался в шансах и в способах борьбы. Но он твердо знал, что без Терезы жизнь ему не нужна. И та самая избитая ораторская фраза: «Победить или умереть», которую, как все, он слышал, читал, произносил тысячу раз, ни минуты не задумываясь над ее буквальным смыслом, внезапно открылась ему в своей грозной прямоте и облеклась в живые образы: счастье с Терезой или казнь Терезы. Тальен видел тонкое кровавое кольцо не на своей, а на ее шее. При этой мысли у него схватывало в животе и в горле и зевота мучительно растягивала рот. Он чувствовал, что его нервы долго не вы-

держат нечеловеческого напряжения. Заседание все не начиналось. Тальен ходил по капелле от стены к стене, стараясь попадать шагами в середины то черных, то белых мраморных плит пола, вдруг останавливался, глядя в упор на пробегавших мимо него людей, и снова продолжал свою мрачную прогулку зверя в клетке.

Когда раздался звонок, Тальен оставил капеллу и быстро пошел через зал Свободы на заседание; но, увидев секретаря, который развертывал связку документов, он с тоской отшатнулся от дверей и пошел назад. Посредине зала, где на пьедестале сидела огромная богиня Свободы, опирающаяся рукой на земной шар, силы вдруг оставили Тальена. Он почувствовал предсмертное отчаяние. Тальен сел на край пьедестала и зажал искривившееся лицо руками, открыв рот и сдавливая пальцами виски. Запоздавшие члены Конвента, пробегая по залу, движением головы показывали друг другу фигуру обреченного.

Голос секретаря умолк, и сквозь открытую дверь донесся шорох движения, какая-то неуловимая волна... Тальен поднял голову, встал и сделал несколько шагов к двери. Он увидел залу заседаний. На трибуну Конвента всходил изящный, в белом костюме, Сен-Жюст. Около него, у подножья трибуны, скрестив руки на груди и обернувшись лицом к зале, стоял Максимилиан Робеспьер.

Нестерпимая ненависть вдруг обожгла душу Тальена. В ту же минуту к нему вернулись и воля, и соображение, и жажда последней борьбы. Он нащупал под кафтаном кинжал и быстро направился к дверям, все ускоряя шаги. Впереди него торопливо проходил, спеша в залу, Дюран де Майан, из бессловесной партии *болота*, один из самых смирных членов Конвента.

Тальен, не останавливаясь, схватил его за руку.

— Смотри! Сен-Жюст на трибуне! — вскрикнул он не своим голосом.— Идем! Пора кончать игру!

Смирный Дюран де Майан, которого до сих пор никто не приглашал кончать что бы то ни было, пугливо отшатнулся в сторону. Не обращая на него внимания, Тальен бросился вперед. В дверях залы заседаний ему попался другой второстепенный член Конвента.

— Не выходи! — закричал Тальен, сверкая глазами.— Иди со мной в залу... Ты увидишь торжество друзей свободы! Сегодня к вечеру Робеспьера больше не будет!..

Член Конвента побелел и прижался к двери. Тальен как безумный вбежал в залу и остановился в нескольких шагах от трибуны, сжимая на груди кинжал и в упор, го-

рящими глазами, глядя на Робеспьера и Сен-Жюста. В мертвой тишине Конвента точно треснула искра. По зале заседаний тихо пронесся какой-то подавленный стон. В этом странном появлении человека, которого все считали обреченным, в его наклоненной вперед, вызывающей и решительной позе, в его безумных, налитых кровью глазах почувствовалось что-то страшное, как будто упал готовый разорваться огромной силы снаряд

Сен-Жюст слегка побледнел, но, не изменив выражения лица, начал свою речь. Со второй фразы его вдруг прервал бешеный истерический крик Тальена. И в ту же минуту не только члены Конвента, но и посетители наверху стали подниматься с мест.

Барер, вскоре затем вошедший в залу заседаний, с удивлением и с замиранием сердца слушал Тальена. Тальен говорил не то, что сказал бы Барер и что в нормальной обстановке могло бы быть всего вреднее партии диктатора. Но вместе с тем Барер шестым чувством чувствовал, что Тальен губит Робеспьера; губит не содержанием слов, а чем-то иным, от чего люди встают с мест, от чего сжимаются кулаки, и бледнеют лица, и ярость подкатывает к горлу. У Барера сердце застучало сильнее. Своим взором знатока он оглядел скамьи Конвента. Тот до сих пор непроницаемый покров, которым общий неизъяснимый страх окружал Максимилиана Робеспьера, как будто вдруг начал таять. Бессловесное *болото*, сильное в момент голосования своей численностью, шепталось, точно выходило из обычного оцепенения. Барер чувствовал, что бой начался хорошо и что шансы растут, крепнут. Он напряженно работал мыслью, отыскивая наилучшую тактику. И ему становилось все яснее, что главное, самое важное, единственно важное в начавшемся смертельном бою — это помешать говорить Робеспьеру. То же самое одновременно почувствовали наиболее опытные из остальных заговорщиков. В разные концы залы тихо пошел приказ по линиям.

XXI

Публика верхних мест вся повисла над перилами. Штааль, еще не совсем опомнившийся от сна, отвоевал себе локтями участок перил и также перегнулся через край.

На ораторской трибуне Конвента одновременно находилось несколько человек, по-видимому оспаривавших ее друг у друга. Сбоку, ближе к Штаалю и несколько ниже других, стоял очень красивый мальчик (это был Сен-

Жюст), который, казалось, один сохранял спокойствие в беснующемся зале. Бледное лицо его и тонкие сжатые губы кривила легкая усмешка; сверток бумаги в правой руке немного дрожал. Спиной к Штаалю и протянув кулаки к председателю, что-то кричал, надрываясь, Робеспьер,— Штааль узнал его по напудренной голове и фиолетовому кафтану. Председательствовал уже не Колло д'Эрбуа (нервы которого не выдержали), а другой член Конвента: он потрясал звонком, демонстративно вытянув его по направлению к Робеспьеру, и со злобой все время отрицательно мотал головой. Обычное место оратора занимал, вцепившись в стол рукою, незнакомый Штаалю человек с совершенно искаженным лицом. Голос этого человека все рос, рос до мучительного, нестерпимого крика и покрыл наконец и звонок председателя, и гул зала. До Штааля донеслись последние слова:

— ...Я был вчера в Якобинском клубе... Я увидел... армию,.. нового Кромвеля...

— А-а-а-а! — пронеслась новая волна в Конвенте.

— ...И я вооружился кинжалом, чтобы пронзить тирану грудь!..

Человек, вцепившийся в стол, вдруг выхватил кинжал и, шатаясь, сделал несколько шагов в направлении Робеспьера. Больше Штааль ничего не видел. Толпа людей хлынула по узким трибунам для посетителей. Находившаяся наверху *клака* вдруг стремительно бросилась к выходу, прокладывая себе дорогу между перилами и скамьями для публики. Произошла давка, послышалась отчаянная брань, одна из скамей опрокинулась, и все смешалось. Снаружи, из коридоров, напротив, какие-то люди ворвались на трибуны. Бегущая толпа оторвала Штааля от перил и надолго прижала к стене, откуда ничего не было видно. Глотая пыль, задыхаясь, стараясь подавить в себе страх и отвращение от толпы, он тщетно протискивался вперед. Снизу несся, сливаясь с гулом трибун и заглушая теперь все, прежний отчаянный вопль: «Tu n'as pas la parole!» [1], относившийся, как понимал Штааль, к Робеспьеру. Молодым человеком овладело, наконец, бешенство. Он рванулся изо всех сил вперед и пробился к перилам.

То, что он увидел внизу, осталось навсегда в воспоминании Штааля травлей дикого зверя. Робеспьер отчаянно кричал, обращаясь к правой стороне зала. Лицо его было совершенно неузнаваемо: как будто лопнула та пружина,

---

[1] «Тебе не дали слова!» *(франц.)*

которая растягивала куски картона на костяном остове головы, и эти куски теперь корчились и ходили в разные стороны. В левой руке диктатор мял шелковую шляпу, в правой судорожно сжимал раскрытый перочинный нож. Голоса его почти не было слышно. Звонок председателя звонил непрерывно. Вокруг Робеспьера с трех сторон, но на довольно почтительном расстоянии от него, какие-то люди, *охотники*, как показалось Штаалю, ревели что-то с перекошенными от ярости лицами. Вдруг Робеспьер выронил нож, схватился за грудь и тяжело закашлялся. На мгновение шум зала замолк и колокольчик зазвонил слабее.

— Председатель убийц! — послышался задыхающийся крик Робеспьера.— В последний раз... требую слова...

И он снова схватился за грудь.

Какой-то тихий пожилой человек вдруг рванулся вперед с одной из скамей Конвента и закричал ужасным голосом:

— Тебя душит кровь Дантона!..

Новый гул потряс стены зала. Робеспьер сделал несколько нервных шагов и в изнеможении опустился на скамью.

— Не садись сюда! Прочь! — раздался истерический крик.— Это место Верньо, которого ты зарезал...

— А-а-а! — прокатился стон. Штаалю в нем послышалось: Ату!.. И вдруг в его памяти встала фигура Верньо на ступенях гильотины, стук ножа и падающих в корзину голов и рыдающие звуки «Марсельезы» жирондистов:

...Contre nous de la tyrannie
Le couteau sanglant est levé... [1]

Робеспьер вскочил, сделал еще три шага и повалился на другое место.

— Прочь! Прочь! Здесь сидел Кондорсе...

— Прочь!.. (Ату!.. Ату!..)

В душной зале Конвента Штааль почувствовал холод. Ему показалось, что раскрываются могилы и тени погибших людей занимают в зале места. Через несколько минут пристава с булавами, изгибаясь всем телом, боязливо, точно они подходили к раненому волку, приблизились к Робеспьеру. (Позже Штааль узнал, что на собрании был принят декрет об аресте диктатора.) Лицо первого из приставов запомнилось Штаалю выражением нескрываемого

---

[1] Над нами
Занесен окровавленный н о ж тирании... *(франц)*

ужаса: пристав словно хотел сказать, что он человек подневольный и должен исполнить чужой приказ. Для чего-то перехватив булаву в левую руку, он еще больше изогнулся и, зажмурившись, торопливо взял Робеспьера за плечо, быстро отдернул руку и снова опустил ее. Конвент на мгновение застыл,— затем точно долгий вздох облегчения пронесся по залу,— точно вздохнула вся Франция.

В ту же минуту возле Штааля, направляясь к выходу, скользнул с совершенно растерянным видом мосье Дюкро. Молодой человек последовал за своим наставником, помня, что с ним пришел на заседание. У Штааля очень болела голова. В Национальном саду дышать было легче.

XXII

— Мудрое революционное правительство во главе с добродетельным Робеспьером возвысилось, как известно, над принципом вольного слова. Но маленький *оазис* свободы в *пустыне* порабощенной Франции (это я говорю для вас, ибо вы, революционеры, любите такие образы), маленький оазис свободы мудрое правительство все же сохранило: имя ему — Консьержери. Здесь мы имеем возможность говорить все то, что думаем, ибо у стен, вопреки распространенному мнению, нет ушей. Возвысимся же до полной терпимости друг к другу, мой милый товарищ по эшафоту... Заметьте, я говорю лишь о терпимости, а никак не об уважении к чужой мысли. Уважение к чужой мысли проповедуют неизлечимо глупые люди, страдающие застарелой любовью к принципам британской свободы. Я *терплю*, например, философию полоумного Робеспьера и красноречие Барера (правда, мне, собственно, было бы трудно поступить иначе и не терпеть их). Но уважать этих двух негодяев я никак себя не считаю обязанным. Вы же, дорогой коллега, своей нетерпимостью оскорбляете стены нашей almae matris, нашей славной академии Консьержери. Вполне допускаю, что вас раздражают и мои мнения, и некоторая болтливость, развившаяся у меня на старости лет. Но думаете ли вы, например, что меня в свое время не раздражали те свободолюбивые статьи, которые вы печатали в свободолюбивом органе свободолюбивого маркиза Кондорсе,— да простит ему за его самоубийство Господь половину его грехов: не говорю — все грехи, ибо это значило бы требовать слишком многого даже от милосердия Господня.

В небольшой тюремной камере на рядом поставленных койках лежало два человека: один лет шестидесяти пяти,

другой вдвое моложе. Старик, лежавший с закрытыми глазами, говорил быстрее, чем обыкновенно говорят старики. Лимонно-желтое лицо его изредка дергалось судорогой.

— Мосье Пьер Ламор,— сказал с раздражением другой заключенный,— я иду дальше вас и не боюсь уподобиться неизлечимо глупым сторонникам принципов британской свободы: я готов был бы и терпеть и уважать ваши взгляды. Но, к несчастью, их у вас нет. Вы только ставите знак минус перед воззрениями других людей. И не скрою, этот знак минус à la longue[1] несколько утомляет. Вы повторяетесь... Нет ничего легче, чем отрицать *все*. Очень молодому человеку бывает лестно прослыть скептиком демонического уклада. Бессознательное кокетство юношей находит в скептицизме и в пессимизме признак утонченности ума, некоторую distinction naturelle[2]. Но вам, кажется, седьмой десяток. Перестаньте же, ради Бога, удивлять меня глубинами отрицания и пессимизма: в этой области со времен Монтеня не сказано ни одного путного слова; а если есть писатель, который сильно устарел в 1794 году, то, думаю, именно Монтень. Человечество давно возвысилось над дешевым и бесплодным отрицанием.

Пьер Ламор негромко, невесело засмеялся, открыл глаза, посмотрел на часы и с трудом приподнялся на постели.

— Милый мосье Борегар,— сказал он,— разумеется, разговор наш совершенно бесполезен. Я производил над собой и над вами небольшой психологический опыт. Одно течение в науке, которую называют философией, утверждает, будто мнения людей зависят от социальных и физиологических условий их жизни. Социальные условия жизни у нас с вами достигли в Консьержери такого равенства, какое не снилось ни Томасу Мору, ни Кампанелле, ни другим провидцам будущего и благодетелям человечества: одна половина этой камеры в Консьержери принадлежит вам, другая — мне, и больше ни у вас, ни у меня нет ничего. Физиологические условия жизни у нас тоже почти одинаковы,— Робеспьер позаботился и об этом. Правда, я вдвое старше вас, но обоих нас казнят в лучшем случае сегодня, девятого термидора, в худшем — послезавтра (ведь завтра, по случаю праздника декады, мосье Сансон отдыхает). А так как возраст человека, знающего точно, когда он умрет, гораздо правильнее считать от дня смерти, чем от рождения, то мы с вами, в сущности, близнецы.

---

[1] В конце концов *(франц.)*.
[2] Природная изысканность *(франц.)*.

Следовательно, если хоть немного верить философам указанного мною течения, я должен был бы теперь совершенно во всем с вами сходиться. На самом деле мы не сходимся почти ни в чем. Я, как вы не совсем правильно замечаете, упорно расставляю знак минус, а вы до самого эшафота сохранили трогательную привязанность к идеям Великой Французской Революции, которая, по досадному недоразумению, отправляет вас на этот эшафот; как тонко заметил утром председатель Революционного Трибунала, вы заподозрены в том, что вы подозрительны: Vous êtes soupçonné d'être suspect... Согласитесь, кстати, что юристы старого строя, которые отправили на казнь Каласа и о которых просветитель Вольтер написал столько *бичующих* страниц, были все же значительно грамотнее судей Революции. Я с сожалением констатирую, что ваши старания ввести во Франции гарантии британской свободы не совсем увенчались успехом: вместо Habeas Corpus Act'a[1] у нас действует закон 22 Прериаля.

— Мы попали под колесо истории; тем хуже для нас,— сказал Борегар.— Что из этого следует? Колумб умер в нищете, но Америка все же открыта. Недостойно человека из-за собственного несчастья отказываться от того, что в течение всей жизни было его идеалом. У вас странный подход к революции. Из-за личных обид, из-за частных несправедливостей, из-за отдельных преступлений вы проглядели величайшее событие мировой истории.

— Да, каюсь, каюсь, мне очень трудно подняться мыслью так высоко. От меня упорно ускользает красота идеала, во имя которого мне *мимоходом* отрубают голову... Вы — другое дело, вы — римлянин... Я давно думаю, что нас погубили римляне. Все вы воспитались на идеалах древности. Бессовестный лгун Плутарх, не знавший по-латыни, научил вас римской истории; отъявленный негодяй Саллюстий давал вам уроки римской морали; а порнограф Светоний, не уступающий во многих отношениях гражданину де Саду, поселил в ваших душах восторг перед римской простотой нравов... Видит Бог, мы сами достаточно скверный народ, но, по совести, римляне были хуже нас. Не буду обосновывать это положение, приведу только один пример: Сансон сегодня отрубит нам голову в две секунды и совершенно безболезненно. В средние века нас, вероятно, жгли бы на костре часа два. А у римлян мы висели бы живые на крестах не менее двух дней.

[1] Закон о неприкосновенности личности, принятый в 1679 г. английским парламентом.

— Ну, вот видите, и вы уверовали в прогресс. Я рад за вас.

— Как же, я верю в прогресс не менее трогательно и твердо, чем вы и бедняга Кондорсе. Человечество совершенствуется и идет вперед, но только ему не к спеху. По моим подсчетам (правда, очень приблизительным), через 170 тысяч лет такие мерзавцы, как Робеспьер или Саллюстий, перестанут пользоваться общим признанием в качестве учителей добродетели. А закон 22 Прериаля, возможно, будет отменен даже раньше.

— Вы правы в перспективе одного дня, я прав в перспективе века. В девятнадцатом столетии Франция будет так же свободна, как Англия, и это благодаря революции. Путь к добру идет через зло. Да, революция отправляет меня на эшафот, а я на эшафоте буду кричать: да здравствует революция!

— И кричите! Здесь римский идеал у вас начинает смешиваться с еврейским,— о, зловещие два народа!.. Вы правы в перспективе века? Но в перспективе вечности цена революции медный грош. Следовательно, sub specie aeterni [1] прав опять-таки я. Какое мне дело до политической свободы парижских лавочников девятнадцатого столетия?

Пьер Ламор с трудом наклонился и поднял на койку с пола небольшую корзину.

— Милый друг,— сказал он изменившимся голосом,— до прихода палача остается не менее двух часов. Не скрою от вас, запас моей нервной силы уменьшается. Я не хочу идти в общую камеру. Вид женщин, которых казнят вместе с нами, слишком меня волнует. Мы все в тюрьме ведем себя с достоинством. Мы шутим, мы разговариваем о политике, мы играем в гильотину. Но вы знаете так же хорошо, как я, чего нам стоит наше бесстрашие. Пусть одна из женщин истерически вскрикнет,— тюрьма превратится в дом умалишенных... Останемся же вдвоем в этой камере до прихода палача; я чувствую, что один остаться здесь не в силах. Будем лучше продолжать наш бесполезный разговор. *Тональность* моей иронии неестественна, как неестественна *тональность* вашей веры. Сделаем мысленно поправку на эшафот и не будем смущаться фальшью речи. Кроме того, давайте есть и пить. У меня нет ни малейшего аппетита, но это ничего не значит. Вино и пища, самые острые наслаждения человека после любви и сна, в нашей власти. В моей корзине пулярда, хлеб, фрукты и несколько бутылок. Я по-

[1] С точки зрения вечности (*лат.*).

тратил на них последние деньги, и добрый консьерж достал все лучшего качества. Для меня заготовлены еще и капли, ибо я дорожу здоровьем и очень люблю лечиться. Если у вас также есть припасы, объедините их с моими. Edamus et bibamus, cras enim moriemur... [1] Устроим, милый друг, некоторое подобие последней трапезы жирондистов. Только, в отличие от них, не будем петь «Марсельезу», ибо эти плохие стишки чрезвычайно меня раздражают.

Другой заключенный слабо улыбнулся и тоже поднялся на постели. Старик налил вина в две глиняные кружки и тупым ножом разрезал пулярду на доске корзины. Руки у него сильно дрожали.

— Кстати, о стихах,— сказал он медленно.— Вы видели того молодого человека, который пробыл с нами один день и позавчера был казнен? Его зовут Андре де Шенье. Он — брат известного поэта и сам пишет стихи. Кое-что он читал при мне вслух. Не считаю себя знатоком, но думаю, что этот молодой человек — величайший поэт Франции со времен Корнеля и Расина. Каюсь, несмотря на мою старость, у меня мороз пробежал по спине, когда в устах обреченного поэта я услышал стихи мщенья:

> ...Le poignard, seul espoir de la terre,
> Est ton arme sacrée... [2]

Мне вдруг показалось, будто над грудью Робеспьера сверкнул кинжал Шарлотты Корде... Стыдно, конечно, в шестьдесят шесть лет так поддаваться эстетическим впечатлениям...

Старик посмотрел на часы и продолжал:

— Может быть, вся наша революция не стоит тех нескольких страниц, которые прочел при мне молодой человек, ни за что отправленный ею на эшафот. Опять скажу по этому случаю: какие жестокие тираны были старые дураки, короли прекрасной Франции: вы подумайте, писателя Вольтера засадили чуть ли не на год в Бастилию за подготовку нынешнего благополучия. И этим возмущалось два поколения людей!.. О Робеспьер, великий учитель добродетели, убавишь ли ты в глупых людях способности к возмущению и энтузиазму?..

Старик долго и неестественно смеялся, кашляя и вытирая лоб платком.

---

[1] Будем есть и пить, ибо завтра умрем... (*лат.*)

[2] ...Кинжал, земли одна надежда,
Твое оружие святое... (*франц.*)

— А все-таки,— заговорил он опять,— поэты не вправе жаловаться на революцию. Сколько поэтов умерло бы с голоду, если бы Брут в свое время не зарезал Юлия Цезаря! Кто создал легенду революции? Поэты. И когда голова одного из них слетает под топором революционного палача, я отношусь к этому событию так, как к гибели Тюренна на поле битвы. На то он и Тюренн. К тому же какую богатую тему для других стихотворцев даст казнь Андре де Шенье, если ему улыбнется счастье в лотерее литературной известности...

В течение нескольких минут оба заключенных ели молча. Вдруг Борегар поставил на пол кружку с вином, застучал зубами и, закрыв лицо, уткнулся в подушку. Старик поглядел на него, хотел что-то сказать и не сказал ничего. Молчание продолжалось довольно долго.

— Не хотите ли еще вина? — с участием в голосе спросил наконец Пьер Ламор.— Или, может быть, вы выпьете воды? Здесь душно.

— Я оставляю без средств жену и ребенка,— глухо *ответил* другой заключенный, не отрывая головы от подушки.

Старик перестал есть, налил в кружку воды, а затем аккуратно стал отливать в нее по каплям жидкость из бутылочки с лекарством. Отсчитав двадцать капель, он размешал и выпил.

В камере была мучительная тишина, какая бывает только в тюрьмах.

Молодой заключенный снова сел.

— Вы, конечно, не верите в загробную жизнь? — спросил он, не глядя на старика.

— Отчего же? Напротив,— поспешно сказал Пьер Ламор.— В бессмертии души нет ничего невозможного. Я остаюсь при «peut-être» [1] старого умницы Рабле. Разумеется, христианская идея загробной жизни несколько скучновата; я предпочел бы магометанский рай с деревом *туба*. Но — за неимением лучшего... Впрочем, я мало осведомлен в этом вопросе и даже у вас хотел при случае узнать толком, существует ли Бог или нет. В первое время Революции Бог признавался существующим и рассматривался как умеренный конституционалист. Потом, как вы знаете, была введена религия разума, и в Notre Dame de Paris на алтаре сидела полуголая танцовщица Мальяр,— ее даже на руках носили в Конвент, и председатель обнял разум в ее лице. Я с удовольствием приветствовал новую религию, ибо мадемуазель

[1] «Может быть» *(франц.)*.

Мальяр превосходно сложена, а прежде ее можно было увидеть в натуре только за большие деньги. Ведь я имел честь знать до Революции богиню разума: она тогда была на содержании у моего доброго знакомого, герцога де Субиз... Еще позже, кажется, вы предполагали заменить культ разума культом добродетели? По крайней мере, об этом подавал в Конвент петицию только что мною упомянутый маркиз де Сад. Но, если не ошибаюсь, Робеспьер недавно объявил себя деистом. Это, разумеется, совершенно реабилитирует Бога, в революционных симпатиях которого теперь трудно усомниться.

— Если есть загробная жизнь, то мы будем иметь удовольствие видеть издали, как деист Робеспьер жарится в аду,— сказал, мрачно усмехаясь, молодой заключенный.

— Это удовольствие, к сожалению, тоже не вполне нам обеспечено. Ориген Адамантовый утверждал, что все люди непременно спасутся и что адские огни рано или поздно погаснут. Добряк Ориген написал даже в защиту своей ценной мысли шесть тысяч книг. Константинопольский собор предал его анафеме — и очень хорошо сделал.

— Гениальные люди верили, однако, в бессмертие души...

— Верили. Лейбниц думал, что душа человека после его смерти остается в этом мире, но отдыхая от земной жизни, пребывает в состоянии сна и ждет момента пробуждения; ждет она, впрочем, довольно долго: миллиард столетий. Цифра и круглее и больше моих ста семидесяти тысян лет... Нет, подумайте,— вставил вдруг, засмеявшись, Пьер Ламор,— вы подумайте, как должна была опротиветь Лейбницу жизнь, если он назначил *миллиард столетий отдыха!* А все-таки старику было страшно сказать: никогда. Ох, нехорошее, нехорошее это слово!.. Ничего нет страшнее его на свете...

Пьер Ламор снова вынул часы и тотчас опустил их в карман, не посмотрев на стрелку.

— Так, значит, по-вашему — *никогда?* — медленно спросил Борегар.

— По всей вероятности.

— Где же мы будем сегодня вечером?

— Там, где нам будет не хуже, чем здесь.

— Что ждет нас?

— Мы теряем немного.

— Да, вы правы, жизнь ужасна... Смерть — избавление.

— Наконец-то вы пришли к этой здравой мысли.

В камеру тюрьмы внезапно донесся издалека тяжелый,

глухой, медный звук колокола. Пьер Ламор вздрогнул и с открытым ртом уставился снизу в небольшое окошко, проделанное в стене у потолка. За первым ударом колокола через мгновение донесся второй. Борегар приподнялся на койке и схватил за руку старика. С минуту оба они, не переводя дыхания, смотрели в сторону окошка. У обоих лица вдруг сделались белее постельного белья. Медные удары повторялись все чаще и тревожнее. Молодой заключенный хотел что-то сказать и не мог. Губы его шевелились невнятно. Старик не услышал вопроса, но понял его.

— Что это? — беззвучным движением рта спрашивал Борегар.

— Это набат! — прошептал Пьер Ламор.

XXIII

В галерее тюрьмы Консьержери, под звон колоколов набата, совершался последний туалет осужденных.

Их было много: были семидесятилетние старики и был двадцатилетний студент, были вельможи и были паяцы.

Тюрьма обезумела в этот страшный день. К казням привыкли в Консьержери; большие партии людей отправлялись на эшафот ежедневно. Все заключенные знали, что их ждет неотвратимая смерть; увозимым говорили спокойно: «Ваш черед настал сегодня, завтра умрем и мы». И увозимые подавляли в себе зависть к тем, кому судьба дарила несколько лишних дней ожидания казни.

Но в этот день с первым ударом колоколов весть пронеслась по тюрьме: «Восстание!.. Восстание началось в Париже!»

Кто восстал — не знали. Какие-то таинственные, невидимые друзья на свободе боролись за жизнь. Грозно гудели колокола набата. К ним порою примешивался отдаленный грохот барабанов. Иным заключенным казалось, будто они слышат пальбу.

Стража молчала, но имела смущенный вид. Из революционного трибунала в тюрьму то и дело спускались чиновники: у них лица были встревожены и расстроены. Говорили они с заключенными необычно кротко и вежливо. Кто-то видел, как по лестнице быстро прошел смертельно бледный Фукье-Тенвилль. Никаких сомнений не оставалось. Восстание шло, шло успешно.

С каждым новым ударом росла надежда заключенных. Среди них был старый священник, он различал по слуху *голос* каждой церкви Парижа. С его слов граф д'Аркьен,

бывший мушкетер короля, объяснял ход восстания по расположению гремящих церквей.

Возле мушкетера толпились осужденные. Всякий понимал шаткость его объяснений. Но все, затаив дыхание, вслушивались в каждое слово. «Не умолкайте, звоните, колокола!..» Жаркая мольба осужденных неслась на волю к восставшим. «Гудите, гремите, колокола!..»

Шла томительная игра жизнью. Шла скачка. Палач ли раньше явится за очередной партией жертв? Или те, те — друзья, те — избавители, прежде сокрушат власть тиранов?

Люди потеряли самообладание. Закоренелый атеист, профессор астрономии, на коленях молился Богу. Дряхлый прелат предлагал общими силами оказать сопротивление палачам, чтоб выиграть хоть четверть часа. Роялисты и республиканцы совместно прерывающимся шепотом обсуждали это предложение. Бывший мушкетер пожимал плечами и кусал нижнюю губу: за шпагу и пистолеты он отдал бы теперь все на свете.

— Нас в тюрьме несколько сот человек,— шептал, задыхаясь, один из осужденных.— Правда, мы безоружны. Но поймите, нас несколько сот человек!..

— Вы ошибаетесь, нас в сегодняшней партии нет и пятидесяти,— сказал громко, с усмешкой, появившийся в галерее Пьер Ламор.— Остальным ваше предложение *невыгодно*...

Настало молчание.

Один из еще не осужденных заметил, что *сегодня* не может быть казни. Кто решится повезти фургоны по улицам восставшего города? И не поднимется ли парижская толпа на защиту последних жертв тирании?..

Каждый понимал, что палач может провезти фургоны по тем улицам, на которых спокойно. Каждый знал, что толпа никогда не защищает осужденных. Но все с жаром повторяли: «Да, это верно,— конечно, сегодня казни быть не может».

В галерее стемнело рано. Сквозь крошечные окна, выходившие на женский двор, почти не поступал свет июльского солнца. Вошли сторожа и, не глядя на узников, зажгли смоляные фонари. Лица посинели. По стенам заметались черные тени. За сторожами вошел еще *кто-то*. У него в руках были ножницы и корзина. При виде ножниц одна из женщин забилась в истерическом припадке.

В маленькой боковой комнате парикмахер стриг осужденных. Его помощник сортировал срезанные волосы на

полу, сдувал с них пыль и пудру и распределял по пучкам разных цветов: он торговал волосами казненных. Пьер Ламор ласково на него глядел и, неестественно смеясь, говорил ему быстрее, громче, отрывистее обычного,— как говорят полупьяные люди:

— Гражданин цирюльник, вы, должно быть, делаете прекрасные дела. Не советую только торопиться с продажей товара. Мои кудри вы, конечно, можете продать в мебельную лавку хоть сейчас, они едва ли сильно подымутся в цене от времени. Но я надеюсь, рассудительный гражданин цирюльник, что вы догадались отложить в сторону косу покойной королевы или гриву Дантона. Кто знает, какую цену эти реликвии будут иметь завтра?.. Вы слышите: колокола гудят... Они гудят...

Старик захохотал и захлопал руками по коленям.

— Друзья мои,— сказал он, покатываясь со смеху.— Я много видел забавных шуток судьбы и в ее остроумии никогда не сомневался. Но эта милая шутка, которой обрывается мое приятное существование в самом лучшем из миров (воображаю, каков самый худший), эта шутка, признаюсь, превосходит все мои ожидания. Друзья мои, нас отвезут на эшафот под звон колоколов набата: кровопийцы погибнут — через несколько часов после нас!.. Гражданин цирюльник, я не знаю, какой вы партии. Вероятно, вы якобинец? Тогда завтра вам предстоит тяжкая душевная драма: завтра вы будете стричь Робеспьера, гражданин цирюльник... Сохраните же, сохраните на память потомству рыжие волосы гадины: и на эту реликвию придет спрос со стороны идиотов-поклонников.

За дверью, выходившей на двор тюрьмы, вдруг послышался шум, тот самый, которого ждали: скрип колес и шорох тяжелых шагов. Все замолкло в галерее. Люди остолбенели, уставившись глазами на дверь. Из-за двери, окованной семью железными полосами, не торопясь приближалась смерть. Ключ медленно проскрипел в квадратном замке. На пороге показался смотритель тюрьмы в сопровождении палачей и огромной собаки.

В промежутках между ударами колоколов стало тихо.

Смотритель прочел список имен. Никто не оказывал сопротивления. Все покорно выходили вперед и протягивали руки в заготовленные веревки.

В списке не было имени Пьера Ламора... Старик стоя прислонил к стене голову, спину, ладони рук, вдруг повисших как плети. Лицо его с расширенными глазами при свете смоляных факелов казалось темно-синим.

Истерические рыдания женщин покрыли звон колоколов. Началось прощание. К Ламору подошел Борегар, неестественно наклонив вперед голову и плечи. Руки его были связаны на спине. Он старательно улыбался, но улыбка не выходила, губы прыгали. Старик с минуту точно не мог оторваться от стены, потом, беззвучно рыдая, обнял осужденного.

По стенам метались черные согнувшиеся тени [1].

XXIV

Его принесли изувеченным в Консьержери в одиннадцатом часу утра. Неподвижно лежал он на носилках, глотая кровь из раны во рту. Рана причиняла сверлящую, нестерпимую боль. Но душевные страдания Робеспьера были еще ужасней.

Весь остаток ночи, после падения Ратуши, над ним издевались, его оскорбляли. К глумлению врагов он был почти равнодушен. Но он видел, что его осыпают бранью толпа, стража, носильщики, прислуга Конвента, тот самый народ, который благоговейно на него молился.

Около *Неподкупного* суетился мальчик-жандарм и с жаром рассказывал публике, что это он *убил* диктатора. Мальчика поздравляли, жали ему руку и спрашивали его фамилию. Свою фамилию он называл скороговоркой: Meda; она была в действительности на одну букву длиннее [2]. Но юноша рассчитывал, что теперь исходатайствует сокращение неблагозвучного имени, которое с детства отравляло ему жизнь.

Рано утром Робеспьеру сделали перевязку. Запустив руку в рот бывшего диктатора, врач грубо выдернул из раздробленной выстрелом челюсти несколько зубов и осколок кости. «Во все время перевязки чудовище не сводило с меня глаз, не произнося ни единого слова»,— записал врач в медицинский протокол. Затем под охраной войск Робеспьера отнесли в Консьержери.

В тюрьме, не смыкавшей ночью глаз после увоза на эшафот сорока пяти осужденных, уже знали все. Заключенные неудержимо высыпали навстречу новому узнику. Стража окружила его стеной на пути в камеру, смежную с темницей казненной королевы. С криками ярости заключенные

---

[1] В день 9-го Термидора, под вечер, уже после падения Робеспьера, в Париже по инерции было казнено сорок пять человек.— *Автор.*

[2] Merde — дерьмо *(франц.).*

рвались к диктатору. Смотритель почтительно их успокаивал, утешая близостью освобожденья. За носилками, не смотря по сторонам и высоко подняв голову, шел Сен-Жюст, как всегда спокойный, бесстрастный, красивый в своем нарядном белом костюме.

Носилки положили на пол крохотной камеры. Собака смотрителя ласково лизнула раненого Хозяин толкнул ее ногой и назвал проклятым Робеспьером

Бывший диктатор последним усилием приподнялся на носилках и знаком попросил, чтобы ему дали перо и бумагу. Победители предвидели эту просьбу и заранее строго запретили ее исполнить. слишком много секретов о каждом из них знал побежденный диктатор.

— Зачем тебе перо, *Неподкупный?* — пошутил смотритель.— Теперь уже не стоит писать Верховному Существу.

Из галереи тюрьмы, со двора, с большой лестницы Дворца Правосудия, на которой стоял толпой народ, доносился гул мщения и ненависти. Робеспьер уже больше ничего не слышал. Мысль его покидала землю и переносилась в тот, другой, лучший мир, где вечером — это он знал твердо — с радостной улыбкой его должен был встретить дух Жан-Жака Руссо...

В умирающем мозгу обрывками шевелились стихи:

Le seul tourment du juste à son heure dernière,
Et le seul dont alors je serai déchiré,
C'est de voir, en mourant, la pâle et sombre envie
Distiller sur mon front l'opprobre et l'infamie,
De mourir pour le peuple, et d'en être abhorré... [1]

XXV

«Как это глупо,— думал Штааль, проснувшись у себя в постели после двенадцатичасового тяжелого сна.— Как глупо и как стыдно! Был в клобе жакобэнов и пропустил речь Робеспьера. В Конвент явился пьяный и проспал этакое заседание. Видел давку и беснующихся людей, вот и все... Только со мной выходят такие глупые истории...»

Штааль, морщась, не поворачивая головы к столику, стал искать рукой трубку. Столик зашатался на неровно подточенных ножках. На раскуривание трубки молодой человек потратил весь свой запас энергии. Посмотреть в полутьме на часы, которые лежали в ящике под бумажником, представлялось слишком сложным. Но судя по тому, что че-

---

[1] См. с. 253.

рез дырку, прорванную в занавеси окна, солнце пыльным пучком поливало ободранный грязный стул и дощатый пол комнаты, было довольно поздно; да и шум, доносившийся с улицы, был девятичасовой утренний шум, который Штааль уже умел инстинктивно отличать от парижского шума восьми и семи часов утра. Колокольчик оказался на самом краю столика, и позвонить горничной, чтоб подавала завтрак, было сравнительно нетрудно.

Звук колокольчика вдруг ударил по нервам Штааля, напомнив ему что-то очень страшное и мучительное. Это ощущение объяснилось только через несколько секунд. Он вспомнил звонок, гремевший в Конвенте. Штааль быстро сел, сбросил одеяло и потянул к себе стул с одеждой. Но затем подумал, что торопиться, собственно, некуда, и снова опустил голову на смятую и разогретую подушку.

«Ах как гадко *все-таки* они его вчера травили,— думал Штааль морщась.— Жалеть его, правда, не за что. Большой был душегуб... То есть почему же, собственно, *был?* Он есть и теперь... Да, его, вероятно, казнят... Они все перережут друг друга, и всем им скатертью дорога на эшафот. Неужели, однако, его казнят, отрубят эту картонную голову с очками? Ах как гадко! — думал молодой человек, содрогаясь плечами, морщась и закусывая нижнюю губу от ужаса и отвращения.— Во всяком случае, если и казнят, то еще не скоро. Очевидно, его прежде будут судить в их Революционном трибунале. Тот же Фукье-Тенвилль скажет речь... Этакие шуты гороховые, проклятые!.. (он мысленно пустил по неопределенному адресу крепкое кадетское ругательство). Надо будет, однако, пойти на заседание трибунала. Дюкро должен раздобыть мне билет. Только я, вероятно, и туда приду пьяный, или еще что-нибудь случится этакое... Не может, однако, быть, чтобы казнили Робеспьера: еще вчера перед ним трепетала от восторга вся Франция. Трепетал от восторга и я... Ах как скверно!.. Проклятые!.. И какая муха укусила меня тогда на дворе клоба...»

Штааль позвонил опять, прислушиваясь к замирающему дребезжанию звонка. Он мучительно зевнул, так, что слёзы выступили на глаза, и накрылся плотно одеялом, хотя в комнате было жарко.

«Ни рыба ни мясо... Надо признать, я — ни рыба ни мясо. Как ни обидно, а надо это признать: персона бледная, а пожалуй, отчасти и темная: Питтов агент, не посылающий рапортов. Только и всего. Без костей, без плоти и без крови. В училище увлекался революционными идеями, в Петербурге охладел, в Париже стал контрреволюционером,

а увидел Робеспьера — бух ему в ноги. Увидел бы Суворова, сделал бы то же самое... Впрочем, я ведь еще очень молод. Мои товарищи по школе — такие же балбесы, как я. Разве Колька Петров — яркая персона? Или Мишенька Звоницкий? Видно, в наши годы человек еще не становится человеком... Эту мысль надо бы выразить литературнее. Хорошо бы, кстати, записать в дневник все то *историческое*, что я вчера видел... Что-то не подвигается мой дневник, так и лежит в коричневом чемодане. Я даже теряю привычку думать литературным образом. Правда, в моем положении опасно вести дневник... А все-таки, вчерашнее записать надо. Натурально, о том, что я был пьян, упоминать не следует... Да, я еще не человек, а мальчишка. Настоящий Юлий Штааль весь впереди. Я еще себя не нашел. Я ищу себя...»

Эта формула несколько успокоила Штааля. В комнату, слегка постучав в дверь, вошла горничная, пожилая, разговорчивая женщина. Неодобрительно глядя на лежащего в постели молодого человека, она смела в шатающийся ящик столика табак и огарок свечи, поставила кофейник, сливки, хлеб, масло. Штааль дипломатически осведомился о том, что слышно в городе.

— Болтают разное, да ничего такого,— ответила словоохотливая горничная.— Всю ночь звонили в набат, хозяйка спать не могла. Верно, опять какие-нибудь беспорядки. Все не надоест вам, мужчинам, безобразить. Сегодня я почти никого еще не видала... Наш булочник говорит, будто Робеспьер скоро женится на дочери покойного короля, да, может быть, люди и врут. Бедной девочке только пятнадцатый год,— как сейчас, помню ее рождение: тогда тоже звонили колокола. Я не верю, что она согласится выйти за Робеспьера. Он некрасив и ей не пара. И потом, чем же они будут жить? Теперь все так дорого. Масло с сегодняшнего дня сорок су фунт, а пинта молока тридцать пять су, и хозяйка сказала, что набавит жильцам плату за утренний завтрак с будущей недели,— тьфу, с будущей декады... Так дальше жить нельзя. А приданого у девочки нет и на фунт масла... Булочник говорит, правда, будто Робеспьер станет королем. Тогда, конечно, другое дело... А вы вставали бы, десятый час. Стыдно, право.

Узнав, что в городе ничего особенного не происходит, Штааль решил провести утро дома за дневником. Он напился кофе, умылся, побрился (борода, к его огорчению, росла еще плохо,— достаточно было бриться раза два в неделю), заботливо очинил перья и отыскал в чемодане тет-

радь в сафьянном переплете. В тетради были исписаны первые страницы до седьмой. Штааль со вздохом пропустил еще тринадцать страниц в надежде заполнить их более ранними впечатлениями, а на двадцать первой странице вывел: Париж, 9 Термидора, II года. Собственно, в этот день было уже 10 термидора, но Штааль рассудил, что запись в печати выиграет от пометки таким важным днем. Всецело погрузившись в дневник, он долго отборным языком описывал все, что видел в последние два дня. Кое-что приходилось, правда, добавлять от себя,— иначе рассказ выходил бессвязный. Окончив изложение исторических событий, Штааль задумался недолго над заключительной фразой и написал:

«Вид в нещастии сего столь многими прославляемого прежде мужа будил во мне горестные размышления».

Отложив продолжение до следующего раза, он облегченно вздохнул, надел шляпу и спустился вниз, не встретив никого на лестнице. Его немного удивило, что дом казался пустым. На улице Отомщенной Лукреции, на которой он жил, тоже не было видно людей. Но за поворотом, ближе к Люксембургскому саду, было сильное оживление. На паперти бывшего кармелитского монастыря какой-то человек что-то громко кричал, и сообщение его, по-видимому, чрезвычайно взволновало толпу. Прежде чем Штааль успел подойти и послушать, кучка народа окружила бегущего газетчика, который выкрикивал название экстренно выпущенного листка. Кучка, впрочем, тотчас отхлынула: листок стоил двадцать ливров, и разносчик клялся, будто другие берут по тридцати. Люди отходили, обозленно повторяя: «Mais c'est fou, vingt livres! C'est insensé!» [1]

— Вчерашнее заседание Конвента! Великая измена Робеспьера! Падение тирана! — закричал диким голосом газетчик.

Два человека не выдержали и с ругательством сунули разносчику деньги, вырывая газету и поспешно отходя с ней в сторону. Штааль тоже купил листок и тут же стоя пробежал его. Из краткого сообщения он узнал, что арестованный в Конвенте Робеспьер был силой освобожден его сторонниками и только поздней ночью снова схвачен, после боя, тяжело раненный, в городской ратуше. Так как Конвент объявил его вне закона, то судебной процедуры не требовалось: казнь должна была состояться сегодня же. Главнокомандующим военной силой Парижа был назначен Баррас.

---

[1] «Да это безумие, двадцать ливров! Сумасшествие!» *(франц.)*

Хотя газету купило только очень немного людей, содержание ее стало сейчас же известно всей толпе и вызвало шумную радость. Кто-то закричал: «Vive la France!» [1] — и несколько человек принялось неловко обниматься, зная, что незнакомым людям при особенно радостных событиях общенационального характера полагается падать друг другу в объятия, как ни неестествен такой поступок. Штааль с отвращением посмотрел на обнимающихся людей. «Верно, они, целуясь, придерживают свои часы и бумажники»,— злобно подумал он.

Молодой человек кликнул извозчика и поехал в Palais Egalité. Там он рассчитывал узнать подробнее о великих событиях. На улицах, по которым он проезжал, было очень шумно: толпы народа быстро направлялись на правый берег Сены. Оживление усиливалось по мере приближения к центру города.

По дороге Штааль разговорился с извозчиком, мрачным, очень плохо одетым и истощенным на вид человеком. Извозчик относился к перевороту довольно равнодушно, скорее, впрочем, сочувственно. Он сказал седоку, что цены на хлеб и на овес растут беспрерывно и что давно пора кончать революцию.

— Революция хороша только для солдат да для адвокатов,— сердито сказал извозчик.— У меня брат служит рабочим на фабрике; он говорит, каторжное житье: за стачки сажают в тюрьму, плата нищенская, а требовать прибавки запрещено. Их ночью звали к Думе защищать Робеспьера, так никто пальцем не пошевельнул. Сказали: куда ж идти в такой дождь? И правы. Давно пора кончать революцию.

— Как кончать революцию? Разве она кончена? — спросил Штааль («Полезно для доклада выспрашивать людей простого народа»,— подумал он про себя).

— А то как же? Теперь кончена.

— Да ведь говорят, что Робеспьер был роялистом?

— Я тоже слыхал,— сказал извозчик с недоумением.— У него будто бы нашли в кармане печать с королевской лилией... Что-то не похоже на правду. А впрочем, кто у них, у ученых, разберет?.. Все они стоят друг друга, все обманывают народ. А нам что? Нам при короле было плохо, при Робеспьере плохо, и теперь будет плохо, да не хуже. Хуже не бывает...

Он угрюмо щелкнул кнутом и прекратил разговор, косо посмотрев на седока.

[1] Да здравствует Франция! *(франц.)*

В Palais Egalité народный энтузиазм бил ключом. Первое время многие из публики не верили падению Робеспьера и вели себя сдержанно. Но после выхода газет сомнения рассеялись. К полудню галереи, сад, кофейни были битком набиты бурно-радостно настроенной толпой. Простого народа, впрочем, попадалось мало; публика казалась очень нарядной: людей в карманьолах Штааль почти не встречал; напротив, появились в большом количестве элегантно одетые молодые люди и дамы. Особенно много было девиц легкого поведения, которые теперь не обращали внимания на полицию, преследовавшую их прежде; иные при встрече с полицейскими показывали им язык. В разных местах сада слышалось нестройное пение,— пели песни, не знакомые ни Штаалю, ни, по-видимому, большинству гулявших. На витрине книжного магазина в галереях продавец поспешно менял книги, выставляя на вид томики с гравюрами игривого содержания.

Штааль примешался к одной, к другой, к третьей кучке и из рассказов осведомленных людей узнал наконец подробно, что произошло на том заседании Конвента, на котором он присутствовал. Он понял, что юноша в белом костюме был Сен-Жюст, а человек, выхвативший на трибуне кинжал, Ламбер Тальен. В остальном рассказы осведомленных людей, очень, впрочем, расходившиеся между собой, имели мало общего с утренней записью Штааля в дневнике. Молодой человек с досадой подумал, что запись придется совершенно переделать или даже вырезать из сафьянной тетради. Впрочем, к вечеру он был уже искренне на всю жизнь убежден, будто видел своими глазами все то, что описывали осведомленные люди с изобилием драматических подробностей. Штаалю было очень досадно, что он так мирно спал у себя в постели ночью, когда произошли главные исторические события. Особенно он сожалел, что не участвовал в штурме Ратуши и в пленении Робеспьера. В штурме Ратуши участвовали решительно все рассказчики, и все они, по-видимому, с первого дня вели геройскую отчаянную борьбу против террористов. Почти в каждой кучке был человек, который первый схватил Робеспьера и распоряжался арестом остальных тиранов.

Там же Штааль узнал, что казнь диктатора состоится в 5 часов дня и что Конвент распорядился произвести ее не у барьера Повергнутого Трона, где работала гильотина в последние дни террора, а в центре Парижа, на той самой площади Революции, на которой были казнены король, Шарлотта Корде, жирондисты. Многие из посетителей Ра-

lais Royal'я (несколько человек уже обмолвилось этим прежним названием Palais Egalité) запаслись местами у окон домов по пути следования фургонов палача. Другие имели возможность устроиться на крыше зданий на самой площади Революции. Им особенно завидовали. Кое-кто показывал увеличительную трубу.

После недолгого колебания Штааль решил не ходить на казнь Робеспьера, хотя это зрелище должно было быть гораздо более историческим, чем все то, что описал Николай Карамзин в «Письмах русского путешественника». Штааль сам хорошо не знал, что его удерживало; главным препятствием был непонятный, так мучивший его теперь, восторг, который он испытал третьего дня при виде Робеспьера. Чувство озлобления и беспричинного отвращения к людям росло с каждой минутой в Штаале. «Все они вчера носили *его* на руках»,— думал он, хотя, собственно, у него не было оснований предполагать, что Робеспьера носили на руках именно эти самые люди.

Штааль с трудом отыскал свободное место в огромном ресторане и заказал очень скромный завтрак из двух блюд без вина: он воздержанием за что-то себя наказывал. За его столом сидело еще трое людей, которые весело между собой болтали, не обращая внимания на присутствие незнакомого соседа (прежде все были гораздо осторожней). Один из них сообщил, что Якобинский клуб не то уже закрыт, не то скоро будет закрыт. Другие немедленно и с большим воодушевлением ответили почти в один голос: «Давно пора разогнать эту сволочь». Говорили также об отмене разных стеснений личной свободы, о возможности сношений с Европой. Штааль подумал, что теперь не трудно будет вернуться в Россию. Эта мысль, еще не приходившая ему в голову, на мгновение переполнила его радостью. Но затем он вернулся к прежнему мрачному и озлобленному ходу мыслей. Ему на этот раз хотелось быть в настроении, противоположном настроению толпы.

Один из его соседей полувопросительно заметил, что теперь, пожалуй, и эмигранты начнут возвращаться во Францию, ибо, собственно говоря, все французы братья, за исключением, разумеется, якобинцев. Но это замечание у других не встретило отклика: по-видимому, возвращение эмигрантов им мало улыбалось.

Неожиданно в нескольких шагах от себя Штааль услышал знакомый голос. Соседний стол освободился, и за него усаживались, отодвигая в тесноте стулья, двое мужчин. Один из них был мосье Дюкро; в другом молодой че-

ловек узнал банкира из игорного дома. Дюкро занял место спиной к Штаалю, который был очень этому рад: ему не хотелось встречаться с вчерашним спутником. Он тем не менее прислушался к разговору за соседним столом. Говорили там, разумеется, тоже об исторических событиях девятого термидора. Дюкро очень хвалил Барраса.

— Тиран Робеспьер,— говорил он громко,— понес кару за свои преступления... Но какой сильный человек Баррас! Какой ценный человек! Quelle poigne! Quelle poigne! [1] — повторил он несколько раз.— Наконец-то у власти будут люди дела, а не фантазеры... Я слышал, *мосье*, что вы хороши с Баррасом? — обратился он к банкиру.

Банкир равнодушно кивнул головой, поджимая губы и как бы показывая, что для него Баррас не лучше и не хуже другого.

Штааль вполголоса подозвал лакея, расплатился и вышел — в противоположную сторону от столика мосье Дюкро.

XXVI

После проливного дождя, который выпал в ночь на 10-е число и который, собственно, решил борьбу в пользу противников Робеспьера, воздух стал свежее. Выйдя из Palais Egalité, Штааль решил оставить опротивевший ему город и пошел бродить по бульварам, по той менее людной их части, что примыкала к церкви Madeleine, строившейся до Революции, а теперь заброшенной. Этот квартал был окраиной города и напоминал дачное место. Штааль гулял очень долго. Обошел кругом пустынный храм, осмотрел фасад с двенадцатью колоннами и две боковые стены без сводов и крыши. Церковь ему не понравилась; ему все не нравилось в этот день. «Что за замысел строить католический собор в древнегреческом штиле! — подумал он.— Да и нелепо строить новый храм в век Вольтера и Гольбаха: церковь хороша, когда ей пятьсот лет». Не понравилось ему также название храма, и он с усмешкой вспомнил страницы, посвященные Марии-Магдалине, бароном Гольбахом в «Histoire critique de Jésus Christ» [2], которую он недавно прочел: в двадцать лет нравятся такие книги.

Со ступеней заброшенной церкви через Национальную улицу открывался вид на площадь Революции. Штааль невольно заглянул в ту сторону, но, хотя шел шестой час,

---

[1] Какая хватка, какая хватка! *(франц.)*

[2] «Критическая история Иисуса Христа» *(франц.)*.

ничего не увидел, кроме черного пятна толпы. Его тянуло на место казни. Молодой человек преодолел это желание и снова отправился бродить. Как он ни старался думать о другом, мысль его беспрестанно возвращалась к Робеспьеру.

«Где *он* может быть в настоящую минуту? — думал Штааль, то и дело вытягивая часы из кармана.— Еще в Conciergerie? Или уже на фургоне? Какой дорогой поедет фургон? Верно, через Quai de la Mégisserie и rue Honoré... Мимо его дома,— вдруг почти вскрикнул Штааль, опустив вєки и дергаясь нижней частью лица.— Он живет (то есть жил) на rue Honoré... Увидит свой дом... И солнце, как назло, светит ярко. Впрочем, едва ли он теперь при сознании: говорят, он тяжело ранен. Ему утром делал перевязку лекарь... Утром делали перевязку, чтобы вечером казнить!»

Штааль опять дернулся лицом и вскрикнул, так, что на него оглянулся торопившийся куда-то прохожий. Молодой человек прикрыл шею рукой и сделал вид, будто откашливался.

«Да, он ранен в нижнюю челюсть, это, должно быть, боль нестерпимая... И нож как раз, пожалуй, ударит по ране... А-а... Говорят, он сам выстрелил в себя. Им, впрочем, выгодно это говорить... Или в самом деле он раскаялся в своих преступлениях? Нет, не может быть. Такие люди, как он, не раскаиваются. И он знал, натурально, на что идет: «Ceci est mon testament de mort» [1],— сказал он позавчера. И как сказал!.. Нет, в этом человеке было что-то необыкновенное, месмерическое... Который час?..»

Он быстро посмотрел на часы и прислушался, повернув ухо в ту сторону, где находилась площадь Революции. Ему показалось, будто он слышит рев и барабанный бой. Он постоял с минуту. Неожиданно стал накрапывать дождь. «Увидит ли он еще этот последний дождь, это посеревшее небо с бегущими тучами?» — спросил себя Штааль, остановившись под навесом. И, махнув с досадой рукой, молодой человек запретил себе думать о казни: этак еще свихнешься.

Штааль задумался над своими делами. Сначала он насильно заставил себя это сделать, но потом вошел в интерес. Дела его, очевидно, принимали хороший оборот: было ясно, что теперь пойдут всякие послабления, легальные и нелегальные; покинуть Францию будет нетрудно, и, при некоторой удаче, через месяц он уже может быть в Петер-

---

[1] «Это мое предсмертное завещание» *(франц.)*.

бурге. Весьма вероятно, что его пребывание в Париже, если его представить в надлежащем свете, сослужит ему большую службу. «Какую, правда, награду я могу получить? — подумал Штааль.— Орден? Верно, дадут голштинский святые Анны, а то, пожалуй, и этот новый — Владимира для награждения заслуг гражданских... Нет, Владимира не дадут... Или имение? Недурно бы, если б этак тысячи полторы душ...»

Ему стало стыдно, что он от *тех* мыслей вдруг так быстро и незаметно перешел к *этим.* «Ну да, пустой мальчишка, ни рыба ни мясо»,— подумал он с досадой и решил пойти домой с тем, чтобы снова засесть за дневник и уж окончательно выработать себе мировоззрение.

Штааль посмотрел вокруг себя. Солнце совершенно заволоклось тучами, и дождь все усиливался. Молодой человек находился в довольно пустынном квартале, расположенном между церковью Мадлен и садами Монсо. Не зная, как кратчайшей дорогой пройти на левый берег, он направился для расспросов к маленькой кофейне, терраса которой виднелась вблизи. На террасе у деревянного стола с отодвинутыми соломенными стульями стояло человек шесть рабочих в блузах В ту минуту, когда подошел Штааль, один из них, запыхавшись, что-то взволнованно рассказывал.

— Да говорят же вам, казнен, я сам видел, собственными глазами, сейчас оттуда бегу. Все они казнены, двадцать два человека... Толпа как ревела, прямо что звери! На улице Honoré вокруг фургонов люди танцевали от радости. А дом, где *он* жил, вымазали бычьей кровью! На площади прямо бал был... Теперь, говорят, все пойдет поновому...

— Да Робеспьер ли, Робеспьер ли казнен? — недоверчиво спросил старый рабочий, слушавший с открытым ртом.— Теперь много казнят всякого народу.

— Говорят же тебе, я сам видел, я близко стоял. Кто же не знает в лицо Робеспьера? Его на носилках несли. Лежит так хоть бы что... Голова забинтована, а сам хоть бы что. Вот только как Сансон сорвал с него повязку, он вскрикнул от боли. А так спокойный, совсем как бы ничего,— поспешно, тяжело дыша, выкладывал очевидец.

— Да, может быть, это не Робеспьер, а кто-нибудь другой?

Запыхавшийся блузник засмеялся, пожимая плечами:

— Чудак!..

— Робеспьер казнен!.. Значит, он действительно виновен,— задумчиво сказал старый рабочий.

— Значит. А если ты не веришь, то беги к общей яме. Отсюда два шага, еще поспеешь на похороны,— сказал насмешливо рассказчик и, обращаясь к другим, продолжал:

— Один калека там был, долго с ним Сансон возился, все его укладывал, не мог положить как следует... Я говорю Жюли: «Знаешь, Жюли, я бы...»

Старый рабочий, не дослушав, надел картуз, положил на стол несколько монет, вынул из-под своего стакана войлочный кружок и поспешно пошел по улице, провожаемый смехом товарищей. Штааль последовал за ним, сам не зная для чего. Через минут десять, свернув несколько раз, они очутились в совершенно безлюдной местности, густо поросшей травой. Рабочий, угадывая желание молодого человека, кивком головы пригласил его следовать за собой. Они пошли по пустырям, перескакивая через ямы и перешагнув через какую-то невысокую ограду. Вдруг Штааль почувствовал сильный запах падали, который становился все крепче по мере того, как они шли вперед. Где-то вдали завыла собака. Они не встретили ни одного человека. Место было зловещее. У Штааля сердце стучало все сильнее.

Рабочий, по-видимому, знал местность. Он уверенно куда-то свернул (запах падали еще усилился) и подошел к сторожке, дверь которой была открыта настежь. Черная, промокшая собака, сидевшая на цепи, залаяла и стала рваться на вошедших. Мимо сторожки к какому-то повороту, отделенному высокой, в человеческий рост, кучей земли и мусора, шел тяжелый след протоптанной колесами мокрой травы. Рабочий с бледным и нахмуренным лицом оглянулся на Штааля, нерешительно приблизился к повороту и, зажав нос, посмотрел вперед, затем поспешно вернулся.

— La fosse commune [1],— сказал он шепотом, с ужасом в голосе, показывая рукой в сторону поворота.— Еще никого нет, сторож, видно, встречает.

Штааль шатаясь вошел в сторожку и опустился на стул. Он только теперь понял, что означал запах падали. Собака завыла еще сильнее, потом понемногу стала успокаиваться. В убогой сторожке не было никого. У окошка находился стол, еще было два стула и постель. Штааль слушал умолкавший лай собаки и почувствовал некоторое облегчение. Он встал и прошелся по сторожке. На некрашеной стене вы-

[1] Общая могила *(франц.)*.

делялся черной рамкой документ под засиженным мухами стеклом. По стеклу неторопливо, без жужжания, передвигалась муха, какая-то странная: большая, блестящая, как металл, темно-синяя с красно-желтой головой. Штааль машинально стал читать документ. Это был протокол о смерти Людовика XVI,— очевидно, копия, которую, как достопримечательность, раздобыл и показывал редким посетителям сторож кладбища казненных. Протокол был составлен по законному формуляру,— революция законных формуляров не изменила. Штааль прочел:

Acte de décès de Louis Capet,

du vingt-un janvier dernier, dix heures vingt deux minutes du matin, *profession,* dernier roi des Français, *âgé* de trente neuf ans, *natif* de Versailles, paroisse Notre Dame, *domicilié* à Paris, Tour du Temple, *marié* à Marie-Antoinette d'Autriche; ledit Louis Capet, exécuté sur la place de la Révolution, en vertu... [1]

Дальше Штааль не успел прочесть. Собака вдруг снова бешено залаяла; старый рабочий заглянул в дверь и бросил шепотом одно слово: «Везут». Штааль выбежал из сторожки и остановился как вкопанный.

По протоптанной дорожке бесшумно продвигались три телеги. На телегах стояли грязные ящики из досок. За передней телегой шло молча человек десять. Изможденная, бледная женщина держалась рукой за телегу. На эту шатающуюся женщину смотрели странно соседи. Телеги шагом прошли по траве мимо сторожки. Штааль продолжал стоять как вкопанный в землю. На цепи рвалась и выла черная собака. Огромная нормандская лошадь сбоку на нее покосилась. Лошадь захрапела и слегка заржала у поворота. Сторож кладбища прикрикнул и замахнулся на собаку. Черная собака взвизгнула и сразу перестала лаять. За оборвавшимся лаем вдруг наступила тишина могилы.

Штааль сделал усилие и дошел до поворота. Оттуда пахнуло ветерком; запах падали стал нестерпимым.

В нескольких шагах от поворота, в углу грязной кирпичной стены небольшой участок земли был отхвачен низенькой оградой из черных перекладин на столбах.

---

[1] Акт о смерти Людовика Капета. Казнен сего года 21 января, в десять часов двадцать две минуты утра; профессия: последний французский король, возраст: тридцать девять лет; место рождения: Версаль, приход Богоматери; место жительства: Париж, башня тюрьмы Тампль; женат на Марии-Антуанетте Австрийской. Означенный Людовик Капет казнен на площади Революции на основании... *(франц.)*

Первая телега подошла к ограде. Две другие остались у сторожки. С них слезли люди. Старший могильщик соскочил с переднего большого ящика и знаком распорядился снять этот ящик.

Штаалю надолго запомнился в гробовой тишине легкий хлест хвоста лошади, сгонявшей с себя мух. Кучка людей поднялась на цыпочки позади гробовщиков. Старый рабочий снял шапку. Все, кроме могильщиков, сейчас же сделали то же самое. Могильщики подняли дощатую крышку. Любопытные разочарованно отступили назад. В большом ящике была известь.

Старший гробовщик недовольно оглянулся на зрителей и сказал с насмешкой:

— Вам кого надо? Робеспьера? Сейчас увидите. Подайте им Робеспьера, вот он!

Могильщик стукнул палкой в передний ящик поменьше. Зрители снова замерли. Слышно было медленное дыхание женщины. Ящик был невысокий, дощатый и странно короткий. Вдруг женщина как-то негромко всхрипнула, и легкий, чуть слышный стон пронесся по кучке народа: из узкой щели между нижними досками ящика густыми, вытягивающимися каплями просачивалась кровь.

Штааль слышал хлест хвоста лошади, стук капель дождя, удары собственного сердца, но скрипа снимаемой с ящика крышки он не слыхал.

Старый рабочий, стоявший ближе других, быстро наклонился над открытым гробом, замер и затем отшатнулся с подавленным криком. Штааль, затаив дыхание, заложив руки назад и выставив вперед левую ногу с трясущимся коленом, тоже быстро наклонился над ящиком, как бы боясь в него упасть.

«Что такое?.. Что это?.. Где он?.. Где его голова?..» — проскользнуло в цепенеющем уме Штааля.

В ящике лежал Робеспьер. Но в первую секунду Штааль его не увидел. На том месте (в конце ящика), над которым он наклонился, было что-то без облика: кровавый обрубок с торчащей костью. В то же мгновенье Штааль понял.

Голова Робеспьера лежала между раздвинутыми полукругом ногами приблизительно посредине ящика. На фиолетовом шелке кафтана она выделялась восковым пятном, густо залитым кровью. К рыжим волосам кое-где присохла белая пудра. Кафтан был изорван, и худое тщедушное тело виднелось из-под рубахи. Синий кусочек стекла криво повис сбоку от носа. Другой глаз, не прикрытый раз-

бившимися очками, казался тоже стеклянным. Но что-то в нем сохранилось живое, и оно делало его страшнее всего остального, страшнее даже ног, раздвинутых точно для пляски. Это ужас проскользнул в остановившемся зрачке в ту последнюю секунду, когда внизу, под собой, уже под ножом, Робеспьер увидел в корзине палача отрубленные головы друзей.

Гробовщик с насмешкой оглянул застывших зевак и, перешагнув через перекладины, стал быстро разворачивать лопатой мокрую, густую, черную землю с белыми прослойками извести. Кто-то шепнул (все услышали), будто в этой яме похоронен король. Снова легкий стон пронесся в кучке народа... «Не может быть!.. Нет, не здесь...» — шепнул кто-то другой. Один из могильщиков мрачно сказал вполголоса:

— Много тут лежит народа... Всех не упомнишь.

От земли, которую бросал могильщик лопатой в сторону, шел ужасный запах. На нее тотчас садились мухи, те же, странные: темно-синие, металлические, неторопливые.

— Глубже надо рыть,— сказал вполголоса сторож кладбища.— Вам горя мало, а мне с *ними* жить здесь. Извести мало кладете...

Старший могильщик покосился на сторожа.

— Давай больше денег, будем класть больше извести,— ответил он сердито, перешагнув назад через черную перекладину.— Нам на всю компанию выдали 193 ливра, а их двадцать два человека. Не очень раскутишься на известь... Ну, кидай.

Он опустил руку в ящик и вытащил голову, держа ее в вытянутой руке. Послышался мягкий звук удара. Почти беззвучно вскрикнула женщина.

XXVII

«Неужто этот ров, где вместе лежат они все, этот ров, облепленный трупными мухами, этот ров, из которого несется нестерпимый запах падали, неужели это и есть Великая Французская Революция? Не может быть!..»

Штааль угрюмо возвращался пешком домой на левый берег Сены. Он чувствовал себя усталым и разбитым. Ему казалось, что последняя неделя его состарила.

Он твердо решил в ближайшие дни во что бы то ни стало покинуть Францию. Самые обыкновенные принадлежности русской жизни, кипящий самовар, русская баня, снег и сани, черный хлеб, даже окна с двойными рамами,— име-

ли теперь в глазах Штааля неизъяснимую прелесть; при мысли о том, что он скоро увидит все это и отдохнет душой в спокойной стране, у него слезы навертывались на глаза.

В мыслях у молодого человека была тяжесть и путаница.

«Я возмущаюсь *ими*,— думал Штааль.— Кто же это *они*? Французы? Точно англичане, немцы или мы лучше? Да, я научился за границей любить родину истинной любовью (прежде я только говорил о любви к ней), я предпочитаю ее всем другим странам мира и за уголок парка над Днепром, в имении Семена Гавриловича, отдам все красоты, весь блеск Европы. Однако французы справедливо почитаются первым народом мира. Город этот умственный центр земли, и тому немногому, что я знаю, я, как все, научился по французским книгам. Так кто же *они*, кем я возмущаюсь? Или был прав Пьер Ламор, и эти люди вернулись к натуральному состоянию?»

Штааль остановился и вдохнул в себя воздух. Дождь давно прошел. Солнце закатывалось, наступал светлый, ясный вечер. Серебряная Башня Palais de Justice отсвечивалась в Сене, перебрасывая тень верхушки на правый берег реки. У этой башни находилась тюрьма Консьержери. Перед ней толпился народ. И тюрьма, и толпа теперь были почти одинаково противны Штаалю. Он ускорил шаги. Слева перед ним вдруг открылась освещенная последними лучами солнца серая громада Notre Dame de Paris.

— Вот это церковь! — сказал вслух Штааль. Он точно впервые увидел тысячелетний собор. Каменное чудо поразило его душу. Штааль долго смотрел на темную громаду, сбоку, со стороны набережной левого берега; затем вернулся назад и медленно пошел вдоль портала, не сводя с него глаз. На углу rue du Cloître ci-devant Notre Dame, у двери, ведущей на лестницу башен, сидела на тумбе дряхлая нищая старуха. Шамкая беззубым ртом, она бормотала дребезжащим голосом какую-то песенку. Лицо и платье древней старухи были одинакового серого цвета, цвета камней церкви. Штаалю показалось, будто старуха — часть Собора Парижской Богоматери. «Что поет эта ведьма?» — подумал он и остановился послушать. Дребезжащий голос бормотал давным-давно заученные слова:

Nous sommes hommes comme ils sont,
Tels membres avons comme ils ont,
Et tout aussi grands corps avons,
Et tout autant souffrir pouvons.
Ne nous faut que coeur seulement

Allions-nous par serment,
Nos biens et nous défendons,
Et tous ensemble nous tenons...[1]

Штааль, плохо разобравший песню, протянул нищей ассигнацию. Старуха вскинула на него глазами, замотала головой, перестала петь и спрятала деньги в чулок. Затем снова поспешно взглянула на молодого человека и опять послышалось дребезжание.

«Эта женщина может так петь сто лет»,— подумал Штааль, дал нищей еще пол-ливра и повернулся.

— Спасибо, добрый господин,— прошамкала старуха.— Да пошлет вам счастье Матерь Божья, добрый господин. Сюда, сюда, вход здесь, добрый господин...

«Да в самом деле, здесь вход на башни. Уж не подняться ли на верхушку? — сказал себе Штааль.— Немного поздно, правда, но погода ясная... В воздухе Парижа видишь вдвое дальше».

Штааль взглянул вверх, прикрывая глаза ладонью. Он боялся высоты. Мысленно представив себя на вершине башни («Верно, нет перил, или низкие»), он вздрогнул и замотал головой. Тотчас устыдившись нелепого страха, Штааль вошел в боковую дверь. На него пахнуло сырым воздухом. Солнце исчезло. Камни надвинулись и все закрыли от Штааля.

Лестница была узкая, винтовая, с маленькими, грубыми ступеньками, расширяющимися к одному краю. Штааль быстро поднялся на несколько полукругов винта и остановился у узкой длинной щели, которая служила окном. Сквозь эту глубокую щель был виден только горизонт. Заглянуть вниз было невозможно. На горизонте лилось красное пламя. «Теперь упасть еще ничего, не убьешься»,— подумал Штааль и пошел быстро дальше. Неровные темно-серые прямоугольные плиты стен то светлели при приближении к новому окну, то становились почти черными. По дрожанию своих коленей Штааль чувствовал, что поднялся высоко. Он инстинктивно взялся рукой за шедший вдоль стены тонкий железный прут перил. На пло-

[1] Мы такие же люди, как все вокруг,
Столько же у нас и ног и рук,
Такое же тело у нас, как у всех,
Такие же слезы, такой же смех,
Лишь сердце наше быть должно
К общей присяге приведено,
Будем бороться во имя добра,
Вместе держаться нам пора...

Перевод с французского Е. Витковского.

щадке, где было светлее, молодой человек передохнул. «Какие люди переводили здесь дух в течение тысячи лет»,— подумал он. После площадки лестница стала еще у́же. Вдруг сделалось совершенно темно. Штааль почувствовал под собою пропасть. Ему стало страшно, и рука его сжалась на железном пруте. Он быстро прошел еще два полукруга, не отрывая скользящей руки от перил. Вдруг появилось солнце и пахнуло свежим воздухом. Лестница кончилась. Штааль был на галерее, у подножья правой башни. У его ног лежал Париж.

Молодой человек осторожно приблизился к перилам, осмотрелся, затем отступил на шаг назад и долго глядел в пропасть на вечный город.

На сиреневом шелке неба зажглось несколько звезд. Тени шевелились на Серебряной Башне и на Дворце Конвента. Штааль ориентировался в пространстве и разыскал глазами то место, где могла находиться общая могила. Его занимали прежние мысли.

«Exécuté sur la Place de la Révolution, en vertu... [1] — мелькнуло в его голове воспоминание.— И здесь vertu,— подумал он, усмехнувшись своей игре слов.— Да вот она, Робеспьерова добродетель, ради которой лилась потоками кровь. Эти люди страстно ненавидели друг друга. Их примирила общая яма на кладбище. Но кто же, кто же был прав, где смысл кровавой драмы? Или смысл именно в том, что совершенно нет смысла?

Нет, того не может быть,— сказал себе Штааль.— Не может быть! Я молод, я мало знаю! Далеко ли я ушел по пути великого Декарта? Я еще не понял ни жизни, ни истории, ни революции. Смысл должен быть, смысл глубокий и вечный. Мудрость столетий откроется мне позднее... Я пойду в мир искать ее!»

Он быстро повернулся, чтобы сейчас же идти в мир...

В двух шагах от него на перилах сидело каменное чудовище. Опустив голову на худые руки, наклонив низкую шею, покрытую черной тенью крыльев, раздувая ноздри горбатого носа, высунув язык над прямой звериной губою, бездушными, глубоко засевшими глазами в пропасть, где копошились люди, темный, рогатый и страшный, смотрел *Мыслитель*.

---

[1] Казнен на площади Революции на основании... (*франц.*)

Чертов мост

ПРЕДИСЛОВИЕ

Историческая серия «Мыслитель», по первоначальному моему замыслу, должна была состоять из трех романов. Первый из них «Девятое Термидора» и заключительный «Святая Елена, маленький остров» появились в 1920—1923 гг. Центральная же часть серии, охватывающая последний период Французской революции и царствование Павла I, разбита мною на две книги (вторая скоро последует за «Чертовым мостом»). Они особенно тесно связаны между собой — мне очень досадно, что я не могу одновременно предложить вниманию читателей всю серию.

В чисто историческом отношении «Чертов мост» потребовал бо́льших трудов, чем «Девятое Термидора» или «Святая Елена». Научная литература событий, затронутых в настоящей книге, количественно так же обширна, но качественно неизмеримо ниже. В особенности не посчастливилось в этом отношении Неаполитанской революции: как нарочно, ею специально занимались главным образом бездарные или недобросовестные историки (есть, впрочем, несколько исключений). Свидетельства очевидцев той эпохи приходилось также принимать с большой осторожностью. Много неясностей заключает в себе и история суворовского похода[1]. Специалисты заметят, что в исторической части романа не очень принят во внимание рассказ Грязева. Источник этот, по-моему, мало достоверен, несмотря на некоторую видимость правдоподобия, которую дают ему записка Венанкура и дневник полковника Вейротера (лишь сравнительно недавно опубликованный Гюффером и оставшийся неизвестным громадному большинству историков). Подлинные донесения генерала Лекурба Массене, храня-

[1] Весьма ценные указания и советы любезно давал мне генерал Н. Н. Головин, сочетающий всем известные боевые заслуги с исключительными познаниями в военной истории.— *Автор.*

щиеся в архиве французского военного министерства, не оставляют сомнений в том, что Грязев очень многого не видел.

Позволю себе еще одно замечание. Критики (особенно иностранные), даже весьма благосклонно принявшие мои романы, ставили мне в упрек то, что я преувеличиваю сходство событий конца 18-го века с нынешними (как курьез отмечу, что два критика указали, с кого именно из современных политических деятелей я писал Питта, Талейрана, Робеспьера и т. д.). По совести я не могу согласиться с этим упреком. Я не историк, однако извращением исторических фигур и событий нельзя заниматься и романисту. Питта я писал с Питта, Талейрана — с Талейрана и никаких аналогий не выдумывал. Эпоха, взятая в серии «Мыслитель», потому, вероятно, и интересна, что оттуда пошло почти все, занимающее людей нашего времени. Некоторые страницы исторического романа могут казаться отзвуком недавних событий. Но писатель не несет ответственности за повторения и длинноты истории.

Автор

St. Gothard Hospiz
Август 1925 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Поручик Юлий Штааль вошел в кордегардию и расположился на дежурство. Отстегнул шпагу, хоть это не полагалось, и положил ее на табурет, потянулся, зевнул. Подошел к окну — за окном не было ничего интересного, поискал глазами зеркало — зеркала в кордегардии не имелось. Уселся поудобнее в жесткое кресло с изодранной ситцевой обшивкой, из-под которой лезло что-то серое, грязное, и расстегнул мундир, подбитый не саржею, а полусукном: поручик был одет по моде; под мундиром носил жилет, шитый по канифасу разноцветными шелками; а рубашка на нем была английская шемиза в узенькую полоску, с тремя пуговицами.

Вынул из кармана тетрадки газет и начал читать с объявлений: «По Сергиевской под нумером 1617 продается серой попугай, который говорит по-русски и по-французски и хохочет, а также глазетовая с собольей опушкой епанечка за 170 рублей...» — Дорого... «В Бецковом доме отдаются покои для дворянства, с драгоценными мебелями, без клопов и протчих насекомых...» — Не требуется... То есть, пожалуй, и требуется, да не по карману... «Некоторой слепой желает определиться в господский дом для рассказывания давних былей и разных историй, с повестями и удивительными приключениями, спросить на Бугорке в доме купца Опарина...» — Бог с ним, с некоторым слепым... «Продажная за излишеством славная девка, 18 лет, знающая чесать волосы, равно и пятки, всему нужному обучена, шьет в тамбур и золотом и собою очень хороша, во уверение же отдается покупателю на три дни рассмотреть, о которой на Петербургской стороне близ Сытнаго Рынку, против Пискунова питейного дому, на углу спросить дворника Сендюкова...» Штааль задумался. Он, собственно, не соби-

рался покупать девку, но довольно долго воображал, какова славная девка собою и не взять ли ее, в самом деле, на три дня рассмотреть, а там видно будет? На случай записал длинный адрес. Затем прочел об изобретателе, который за пять рублей делал из кошки танцмейстера и учил ее писать на четырех языках... «Фу, какой вздор!..»

Поручик бросил газету и развернул другую — немецкую, серьезную: «Berlinische Zeitung von Staats-und gelehrten Sachen» [1]. Как человек образованный, он следил за политикой по иностранным ведомостям. Полюбовался виньеткой — на ней были изображены два подпоясанных венками бородатых человека с дубинами,— что за люди? — пробежал отдел «Publicandum» [2] — очень уж мелкая печать, читать скучно,— просмотрел политические новости... Триполийский паша объявил войну императору, неаполитанскому королю и еще другим монархам... Генерал Буонапарте одержал над Вюрмсером новую викторию... Газета писала осторожно, но по всему видно было, что виктория настоящая — одних пленных 1100 человек и взято пять пушек. Генерал сурьезный. Штааль почувствовал досаду, читая о победе карманьольщиков; особенно было досадно, что генерал с трудной фамилией очень молод, всего на четыре года старше его, Штааля. Поручик было нахмурился, но ему не хотелось настраиваться дурно. Он опять подошел к окну: по улице проходил отряд солдат в походной амуниции. Солдаты шли не в ногу и нестройно; сзади на дрожках, называемых гитарой, ехал офицер,— дисциплина и форма в екатерининские времена соблюдались очень нестрого. Штааль подумал, что отряд, верно, идет на север; поговаривали о новой войне с Швецией. Ему захотелось, чтобы началась война,— уж очень надоело тянуть лямку,— но не со Швецией: кому это интересно? — а настоящая война, с французами, под начальством фельдмаршала Суворова. Только так и можно сделать карьеру.

Поручик зевнул, открыл окно, хотя ноябрь был довольно холодный; морщась и зажав рот, далеко высунулся набок, чтобы увидеть, не едет ли карета Баратаева. Кареты не было видно. По противоположной стороне улицы шла не то дама, не то *женщина* — он не мог издали разобрать. Оказалась дама, но некрасивая, и Штааль почувствовал то наивное разочарование, которое в таких случаях испытывают мужчины. Он закрыл окно, вздохнул, вернулся к сво-

---

[1] «Берлинская газета о государственных и ученых делах» *(нем.)*.
[2] «Объявления» *(лат.)*.

ему креслу, затем лениво потянулся к полке над креслом, на которой от прежних дежурств остались пустые бутылки да еще лежало в беспорядке несколько книг — библиотека кордегардии, предназначавшаяся для развлечения дежурных офицеров. Он стал просматривать книги одну за другой. «Несчастные любовники, или Истинные приключения графа Коминжа, наполненные событий весьма жалостных и нежные сердца чрезвычайно трогающих»... «Новоявленный ведун, поведающий гадания духов; невинное упраженение во время скуки для людей, не хотящих лучшим заниматься»... «Путешествий Гулливеровых 4 части, содержащия в себе путешествие в Бродинягу, в Лапуту, в Бальнибары, в Глубдубриду, в Лугнагу, в Японию и в Гуингмскую страну»... Нет, решительно ему не хотелось читать. А ведь когда-то читал запоем.

Штаалю не надолго, на минуту, стало жаль прошлого времени: и жизнь в шкловском училище, и первый приезд в Петербург, и даже приключения в революционном Париже теперь в воспоминании казались ему радостными и забавными. Военная служба, на которую он поступил по возвращении в Россию, скоро надоела молодому человеку. Красивый конногвардейский мундир радовал его сердце только два дня; на третий день он привык, а дисциплина, хоть и легкая, его тяготила. «День занимает служба — где уж тут читать книги? Да и денег лишних нет для покупки книг»... Денег у него было действительно немного. Между тем Штаалю не хотелось богатства, ему было нужно богатство. Другим оно не было нужно или, во всяком случае, значительно меньше. «Зачем старому дураку Александру Сергеевичу Строганову его дворец и земли? Зачем груды золота графу Безбородко?»

Штааль задумался о том, как бы сам он жил, если б был богачом. Имел бы дом в Петербурге,— да вот, хорошо купить Строгановский дворец на Невском,— имел бы дачу по Петергофской дороге, имел бы, разумеется, подмосковную (ему нравилось это слово). Были бы у него десятки красивых девушек — управляющий подбирал бы из крепостных... или нет, подбирал бы лучше он сам. И разумеется, немедленно выкупил бы Настеньку у Баратаева. Завел бы свой театр — Настенька была б у него первой актеркой... «Да... только на мои средства строгановского дома не купишь... Смерть надоела бедность... И надежд на богатство не видно. В мирное время карьеру у нас можно сделать только одним способом...» Штааль вдруг улыбнулся, вспомнив, как великий князь Константин Павлович, не

очень давно, нечаянно в Таврическом дворце застал врасплох государыню с молоденьким графом Валерьяном Зубовым. Это приключение очень забавляло пятнадцатилетнего великого князя, и он рассказывал о нем с разными подробностями всякому, кто желал слушать (а слушать желали многие): «Бабушка-то, бабушка! — повторял с хохотом великий князь.— Что-то скажет о братце Платон Александрович, а? Никто, как свой...» Штааль улыбался, вспоминая рассказ взбалмошного великого князя, завидовал Валерьяну Зубову (бедный, каково ему теперь без ноги!) и вместе удивлялся, представляя 67-летнюю государыню: «Как он может? Я не мог бы! Опять же, как благородным путем выйти в люди? Честно служить, честно жениться, быть верным жене, дослужиться в пятьдесят лет до генеральского чина,— слуга покорный, так в скуке прожить хорошо для немца... Да... А чудак, однако, этот Баратаев... Не поймешь его... Розенкрейцер, что ли, или фармазон? Революцию ненавидит, но государыню тоже, кажется, не жалует... Алхимист... И как он смешно говорит, когда по-русски: при Елизавете Петровне так говорили или при Петре... А Настенька ужас как мила... Живет он с ней или не живет? Не иначе как живет. А может быть, нет?»

Он почувствовал, что по уши влюблен в Настеньку и что его мучит ревность. Настенька была артистка домашнего театра Николая Николаевича Баратаева. На театре этого богатого барина должен был играть вместе с другими молодыми людьми и сам Штааль, который как раз подыскивал для себя пьесу с подходящей ролью. Ему особенно нравилась роль дон Альфонсо, вельможи гишпанского, в *слезной драмме* Хераскова «Гонимые». Он еще раз хотел в этот день просить Баратаева поставить у себя на театре *слезную драмму* «Гонимые», с тем, разумеется, чтобы Зеилу играла Настенька. Штааль знал драму почти наизусть и некоторых трогательных сцен у пещеры на необитаемом острове не мог вспомнить без слез; особенно ту из них, где дон Альфонсо, вельможа гишпанский, кричал Зеиле: «И ты моего злодея дочерью учинилась!..» Молодой человек представлял себе, как Настенька с распущенными волосами *приходит в беспамятство* и как он обнимает ее колени с криком: «Убийца, смотри на плоды твоей свирепости!..»

Обожженный мыслью о коленях Зеилы, Штааль снова поднялся с кресла и прошелся по комнате. «Да, для этого можно прослушать весь вздор алхимиста. Потащит в лабораторию, пойду в лабораторию. Философический камень так философический камень...» Штааль почувствовал, что

его заливает неудержимая радость. Он швырнул книгу на пол и неожиданно сделал несколько па из *минавета а-ларен,* напевая не совсем верно:

Ты скажи, моя прекрасна,
Что я должен ожидать?

II

«Пади, пади!..» — раздался с улицы крик на отчаянно высокой ноте (мальчиков-форейторов с высокими голосами, наводившими испуг — не случилось ли несчастья? — очень ценили владельцы богатых экипажей). Доски, которыми была выстлана улица, затрещали. Штааль поспешно подошел к окну. К кордегардии подъезжала огромная, о семи зеркальных стеклах, обложенная по карнизу стразами карета. Кучер сдерживал четверку белых лошадей. Два лакея в коричневых ливреях с басонами по борту, как у прислуги особ, следующих за двумя первыми классами, соскочили с запяток, откинули с шумом подножку и почтительно высадили барина, приподняв левыми руками треуголки. Проходивший мимо мужик с испугом остановился и снял шапку. Штааль не без смущения почувствовал, что и ему, как мужику, внушает уважение чужое великолепие. Лакеи, округлив спину и руки, подвели барина к кордегардии и распахнули широко дверь.

— Здоровы ли, сударь? — осведомился учтиво Штааль.

— Здоров. И вам желаю доброго здравия наипаче,— отрывисто ответил, снимая шубу, Баратаев. Это был высокий, очень некрасивый, но осанистый человек, лет пятидесяти. В его странной наружности тотчас останавливали внимание голый череп с двумя симметричными плоскими площадками на темени, огромные, неправильно поставленные уши, ярко-красные губы, резко выделявшиеся на лице серого цвета, и всего больше — тяжелые, нечасто мигающие глаза.

— Здоров,— повторил он садясь.

Штааль выразил по этому случаю живейшее удовольствие. Одного вопроса о здоровье показалось ему, однако, мало, и он еще спросил, почти бессознательно подделываясь под старинную речь своего гостя:

— Менажируете ли, сударь, себя в работе? Нет важнее, как разумныя экзерциции на воздухе. По себе скажу...

Но он так и не сказал по себе ничего толком: тяжелые глаза Баратаева неподвижно остановились не мигая на лице Штааля. Молодой человек вдруг почувствовал крайнее сму-

щение. Помявшись в запутанной фразе, он оставил тему о здоровье и несколько заговорил об успехах французов, о новой виктории генерала Буонапарте. Баратаев все глядел на него молча, не приходя ему на помощь, затем вдруг точно опомнился, мигнул (что успокоило Штааля) и принял разговор, как будто вспоминая чужие, неинтересные слова, которые нужно было говорить, чтобы отделаться:

— Сказывают люди, сей Буонапарте есть мужчина исполинского росту и, хоть однорукий, но силы непомерной, так что по две подковы зараз без малого труда ломает, как блаженныя памяти царь Петр иль как Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский,— сказал он равнодушно (Штааль почмокал губами в знак удивления).— В протчем, может, люди и врут...

Опять оборвался разговор.

— Сколь, однако, тлетворен дух времен! — сказал наудачу Штааль, не совсем хорошо зная, кого и что он имел в виду.— Смеются народы гневу Божию,— не получив ответа, добавил он уже с некоторым отчаянием.

— Прилепились, сударь, к умствованиям паче меры легким,— ответил Баратаев.— Игра пустая, скажу, невеликого разума. Не вижу любомудрия над загадками мира неудоборешимыми. Вот о том и речь к вам вести намерен как к юноше молодому. Известно мне стало, что, невзирая на небольшие годы, уже видели вы немало... Что причиною было вашего вояжа в Париж, не ведаю. То ли антузиазм к учениям более мерзким, чем дерзким, к духу свободолюбия ложного и равенства мнимого? Но мыслю, на вас глядя, злых намерений иметь были неудобны. Может, просто вертопрашили и шалили?

— Ведь я как попал в Париж,— поспешно заметил Штааль, слегка покраснев.— Это целая гиштория (уже больше никто не говорил «гиштория», но Штааль чувствовал, что так будет лучше).

Он в тысячный раз рассказал о своей поездке в Париж. Рассказывал он ее не совсем правдиво — не то чтобы лгал, но кое о чем забывал, кое-что приукрашивал. Штаалю так часто приходилось рассказывать о Французской революции, что он уже почти не менял выражений рассказа, который выходил у него очень связным, занимательным и эффектным. Баратаев слушал молча. Когда Штааль окончил, гость заговорил снова. Штаалю было скучно, но сам он показал себя в лучшем свете и теперь предпочитал молчать: рассказ о путешествии по Европе был его самым выигрышным номером. Баратаев говорил так же

старомодно, но еще более туманно и загадочно, чем всегда. Штааль многого не понимал и даже не мог сообразить, о чем, собственно, идет речь: об алхимии или о спасении души? Но это его не огорчало. Его занимал вопрос: чего хочет от него этот странный человек? Занимали также внимание Штааля симметричные площадки на темени гостя. Он думал, что на эти площадки можно положить по пятаку, и пятак как раз приляжет плотно и не слетит с неподвижной головы Баратаева... Но Штааль чувствовал, что больше ничего смешного нет в госте и что, даже про себя, очень трудно (а хотелось бы) установить к нему ироническое отношение.

Баратаев, недавно с ним познакомившийся, сам назначил ему свидание в этот день. Штааль, стыдясь своей бедной квартиры, пригласил его в кордегардию, как часто делали офицеры екатерининского времени. Был немало тем польщен, что знатный, богатый пожилой человек отдает ему, мальчишке, визит: очень желал также получить от Баратаева постоянное приглашение на дом. К этому, по-видимому, и шло дело. Баратаев как раз заговорил об отсутствии у него сотрудников.

«Меня, что ли, он зовет в сотрудники? — мелькнула догадка у Штааля.— В какие же сотрудники? За мной, впрочем, дело не станет. Только как же театр и Настенька?»

— Да, сударь, в наш век мало кто жаждет сердцем истины,— сказал он, хоть не совсем твердо, но все-таки более уверенно, чем прежде.— Обуял души людей Луцифер мирской суеты.

Луцифера мирской суеты Штааль никогда не решился бы пустить иначе как в разговоре с розенкрейцером. Баратаеву, по-видимому, не понравилась его фраза. Он прошел взглядом по лицу молодого человека и молча взял с табурета (руки у него были огромные и потому страшные) книгу «Новоявленный ведун». Штааль смутился и покраснел. Посетитель перелистал томик и отложил его в сторону.

— Прелегкомысленное сочинение,— пробормотал Штааль.

— Вы еще молоды,— сказал Баратаев.— Доживши до старости моих дней, не будете читать подобного, но к другому потянетесь бессомненно. Молодость немалых сует притчина. С годами, сударь, когда обманетесь суетою пустого счастия, сколь многое пройдет, видя смерть неминуему: и легкомыслие, и бездельная корысть, и горделивость роскошелюбия...

«Сам-то в карете ездишь — пять тысяч дешево,— поду-

мал Штааль.— Надоели мне твои проповеди... Подарил бы мне своих лошадок, уж я на себя возьму грех роскошелюбия, так и быть».

— Но сударь, естли вправду чувствительна душе вашей ее милость,— сказал хмуро Баратаев,— то в мирознании могли бы найти путеводителей... О науке древнейшей и таинственной говорит мудрый Соломон: «внемлите, я царственное глаголю»...

Он помолчал, затем начал снова:

— Намерен я, сударь, в немедленном времени убраться в земли чуждые. В сей вояж и вас взял бы с охотою. А естли вам того имение не дозволяет, то могу одолжить деньгами ради приватных услуг. Пока же милости прошу часто бывать для доброго знакомства, дом мой вам открыт.

— Благодарю, сударь, за великую вашу бонтэ,— сказал Штааль, вспыхнув от удовольствия.— Почту за особливую честь... А как, осмелюсь спросить, порешили насчет пиесы, которую будем играть на вашем театре?

Баратаев с недоумением уставился на молодого человека.

— Ах да,— сказал он равнодушно.— Играйте, что хотите. Какую-нибудь смешливую фарсу — ну, «Горе-богатыря Косометовича» или «Фигарову женитьбу». Гандошкина можно выписать, он славно песни играет. Или иудейский оркестр, что остался от князя Потемкина... Да стоит ли, сударь, о пустяках думать?

— Может быть, разрешите сыграть «Гонимых»? — спросил вкрадчиво Штааль и пояснил в ответ на вопросительный взор Баратаева: — «Гонимые», слезная драма господина Хераскова, поэта нашего первейшего. Прекраснейшее сочинение.

— И прекрасно, Херасково сочинение и сыграйте,— подтвердил Баратаев, поднимаясь, к великой радости Штааля.— А вы ко мне неупустительно приезжайте завтра ввечеру, а то и поутру. Не без умысла вас приглашаю... Прощайте, сударь, мне недосужно. Третий час уже в половине.

Штааль проводил гостя на улицу, где лакеи снова подхватили барина. Один из них сказал с испуганным видом, что проезжавший только что извозчик говорил, будто во дворце случилась беда с матушкой-государыней, а какая беда, не знает.

— Rien de grave? Du moins, je l'espère? [1] — сказал Шта-

---

[1] Ничего серьезного? По крайней мере я надеюсь? *(франц.)*

аль по-французски, так как говорил в присутствии прислуги.

— Monsieur, rien de grave ne se passe dans le palais [1],— отрывисто ответил, садясь в карету, Баратаев.

III

Во дворце в этот ноябрьский день действительно случилась беда.

Малый Ермитаж накануне вечером затянулся немного долее обычного. По общему отзыву гостей, давно уже не было так весело в тесном кругу государыни. Из-за границы как раз пришла эстафета с известиями. Одно известие было чрезвычайно приятное. Имперские войска одержали викторию над революционными генералами и принудили их произвести спешную ретираду за Рейн. Австрийцы уже давно не имели серьезных успехов. Неудачи союзников в Петербурге вначале встречались не без приятного чувства; они все увеличивали то значение, которое Европа придавала участию русских войск в войне против общего врага. Но в последнее время у союзников накопилось уж слишком много неудач, особенно в Италии, где генерал Буонапарте шел от победы к победе. Поэтому известие о виктории эрцгерцога Карла было встречено с искренней радостью. Императрица тотчас села за стол и написала экспромтом радостно-шутливую записку имперскому послу графу Кобенцлю: «Je m'empresse d'annoncer à l'excellente Excellence que les excellentes troupes de l'excellente Cour ont complètement battu les Français!» [2] Екатерина любила графа Кобенцля и допускала его в свой самый тесный круг. Он был очень некрасив, и безобразие его особенно оттеняло красоту князя [3]

[1] Ничего серьезного, сударь, во дворце не происходит *(франц.)*.

[2] «Спешу сообщить превосходному Превосходительству, что превосходные войска превосходного Двора разбили французов наголову!» *(франц.)*

[3] «В биографиях Зубова,— справедливо замечает автор большой работы о нем, напечатанной в 1876 году в «Русской Старине»,— постоянно находим противоречия во времени пожалованья ему княжеского титула!» (Русск. Стар., т. XVII, с. 446). По соображениям, которые здесь излагать не стоит, пишущий эти строки (оторванный от архивных материалов России) вопреки указаниям Д. Бантыш-Каменского (Словарь достопамятных людей русской земли. Москва, 1836, т. II, с. 412), кн. П. Долгорукова (Российская родословная книга. СПб., 1856, т. III, с. 136) и А. Васильчикова (Liste alphabétique de portraits russes. St. Pétersbourg, 1875, т. II с. 497), склонился к мнению, что П. А Зубов уже был князем в 1793 году (автор указанной статьи в «Русской Старине» предполагает, что в 1793 году еще только велись переговоры с венским двором о возведении графа Зубова в

Платона Александровича: государыня любила сажать их рядом. Записка была прочтена вслух приближенным, и остроумие матушки вызвало общий восторг. На малом приеме только речи было, что об этой записке, о блестящей виктории австрийцев, о паническом бегстве французов за Рейн. Тон установился такой радостный, что веселье както распространилось и на второе известие, сообщенное эстафетой, хотя оно само по себе было печальное. Скончался сардинский король Виктор-Амадей III, и по этому случаю ожидался некоторый, хоть и непродолжительный, придворный траур. Траура и смерти в Ермитаже очень не любили. Но сардинский король был стар и решительно никого не интересовал. Государыня приняла известие об его кончине совершенно равнодушно и даже шутила с Львом Александровичем Нарышкиным, пугая его тем, что уж теперь, после сардинского короля, и он, верно, скоро умрет. Нарышкин, который для потехи явился на малый прием переодетый уличным разносчиком, хоть маскарада не было, старался делать комически испуганное лицо. Но шутка матушки была ему не очень приятна: он в самом деле чрезвычайно боялся смерти. Лев Александрович старался перевести разговор; вынимал из карманов леденцы, грецкие орехи, яблоки, выкрикивал товар хриплым голосом и продавал его гостям, как старый коробейник, забавляя все общество. Императрица смеялась так, что в самом конце Малого Ермитажа выразила опасение, не сделался бы у нее от смеха вновь припадок колик, как три дня тому назад. В одиннадцатом часу она удалилась, вместе с князем Зубовым, во внутренние покои и так хорошо провела ночь, что Марья Саввишна Перекусихина, войдя в семь часов утра в опочивальню, долго не могла ее добудиться.

Императрица проснулась в прекрасном расположении духа. Весело пошутив с Перекусихиной, она встала с постели и скинула с себя рубашку. При этом, как всякое утро в последние годы, Марья Саввишна подивилась необычайной полноте государыни: в ней теперь, несмотря на ее ма-

---

княжеское достоинство Римской империи) Однако недавно, пересматривая «Voss'sche Zeitung» за 1796 год, я нашел в № 52 (30 апреля 1796 г.), в корреспонденции из Петербурга от 8 апреля, сообщение о том, что императрица разрешила 4 апреля графу П. Зубову (Platon von Souboff) принять пожалованный ему Римским Императором титул имперского князя. Таким образом, первоначальное предположение мое (благодаря которому в романе «Девятое Термидора» Зубов назван не графом, а князем) оказывается ошибочным. Пользуюсь случаем сделать здесь соответствующую поправку.— *Автор.*

лый рост, было, на взгляд Перекусихиной, более пяти пудов веса. Марья Саввишна, не снимая с матушки изящного решетчатого медальона, вставила в него другой золотой стерженек, вымазанный свежим медом,— Екатерина, как и другие дамы 18-го века, носила на шее ловушку для блох,— помогла матушке надеть пеньюар, нежно поцеловала ее в плечико и пошла за князем.

Государыня умылась, напилась крепкого кофе, потом весело поболтала с Платоном Александровичем, который был тоже очень хорошо настроен, отпустила его, позвала в спальню секретаря и принялась за работу. Вскоре после начала работы она вдруг поднялась, попросила секретаря подождать немного в соседней комнате и удалилась в уборную, помещавшуюся рядом со спальней.

Секретарь со сконфуженным видом вышел и принялся в соседней большой комнате рассматривать картины по стенам. Он ждал с четверть часа, удивился и довольно громко кашлянул несколько раз. Заглянул осторожно в спальню — там никого не было. Подождал еще, затем обеспокоился и поделился своим беспокойством с дежурным лакеем Тульником. Тульник тотчас доложил старшему камердинеру, любимцу Екатерины, Захару Зотову. Зотов сказал, что, должно быть, матушка давно вышла из уборной и, забыв о секретаре, через другую дверь спальни прошла погулять в Ермитаж. Гуляла обыкновенно государыня в шубе и в мягких ботинках. Зотов заглянул в шкаф и увидел, что шуба и мягкие ботинки на месте. Это очень встревожило камердинера. Как ему ни было неловко, он подошел к уборной, сначала кашлянул, затем слегка постучал в дверь, потом громче.

Никто не отвечал.

— Ваше величество... Матушка!..— окликнул он дрогнувшим голосом.

Ответа не было.

Зотов попробовал ручку двери. Дверь, открывавшаяся внутрь уборной, была заперта. Захар Константинович вдруг чрезвычайно побледнел. Схватив с кофейного прибора нож, он смахнул с него пальцем масло, просунул лезвие в щель двери и поднял с петли крючок, которым дверь запиралась. Крючок повернулся и упал по другую сторону. Зотов нажал дверь и с ужасом почувствовал, что она открывается туго, особенно снизу, точно к ней внизу прижато какое-то тяжелое тело. Из уборной послышался странный, негромкий, хрипящий звук. Вскрикнув от ужаса, Зотов надавил на дверь руками и коленом и протиснулся в уборную.

Не то стон, не то крик, не то вой камердинера оповестил секретаря и Тульника о случившемся несчастье.

В маленькой уборной на полу, прислонившись спиной к двери и безжизненно опустив на грудь голову, подогнув под себя левую ногу, выставив вперед правую, с которой свалилась туфля, сидела императрица Екатерина II. Лицо ее было багрово-красного цвета, глаза тяжело опущены. Из открытого рта вырывалось хрипение.

От толчка в дверь туловище государыни слегка обвалилось, голова повисла на левом плече. Захар Зотов, выкрикивая бессмысленные слова, схватил Екатерину под мышки, выпустил, дернул поднявшийся пеньюар, спустив его на обнаженную волосатую ногу, высунул в дверь белое от ужаса лицо и пролепетал еле слышно:

— За князем! Скорей за князем!

Секретарь опрометью бросился на половину Платона Александровича. Зотов снова схватил государыню под мышки и, напрягая все силы, поднял и оттащил немного от двери ее тяжелое тело. Екатерина, не открывая глаз, продолжала хрипеть. Дверь удалось открыть. Тульник сорвал с постели сафьяновый тюфяк и бросил его на пол, затем обхватил ноги императрицы ниже колен и поднял ее с помощью задыхавшегося Зотова. Тело было необычайно тяжело. Они втащили государыню в спальню и опустили ее на тюфяк. При этом правая рука ее свалилась и мягко ударилась о ковер — Зотов и Тульник ахнули.

Императрица лежала, хрипя, тяжело запрокинув голову, под которую не догадались положить подушку. Ее тело в белом, осевшем на животе и на босых ногах пеньюаре, казалось частью огромного шара.

За дверью спальной послышался шум бегущих шагов. В комнату ворвался князь Платон Зубов, замер на пороге — и с криком ужаса упал на колени возле хрипящего тела государыни.

IV

Несчастный случай с императрицей было вначале велено скрывать, так что сам граф Безбородко узнал о нем лишь в обеденное время. Известие это, сообщенное на ухо Александру Андреевичу доверенным секретарем Иванчуком, совершенно его ошеломило. В мозгу графа оно мгновенно отразилось образом невысокого беспокойного человека в странном мундире, со вздернутым носиком и со злыми бегающими глазками. Александр Андреевич, с утра вдобавок чувствовавший себя нехорошо, апоплексически побагровел;

он схватился обеими затрясшимися руками за галстук и на мгновенье лишился дыхания. Ему вдруг захотелось лечь. Ноги задрожали мелкой дрожью. Не говоря ни слова, ни о чем не спрашивая Иванчука, который, впрочем, никаких подробностей и не знал, Безбородко неверной походкой пошел по направлению к дивану, по дороге остановился и тупыми глазами уставился на секретаря. Постояв так с минуту, он вздрогнул, вытер все лицо платком, тяжело поспешными шагами спустился вниз по лестнице, машинально расправляя рукой смявшийся шелк галстука. Как ни был поражен граф, он не забывал, что тяжелая болезнь императрицы может составлять государственную тайну. Он никому не говорил о случившемся и не объяснял, куда и зачем уезжает. Лакеи смотрели на него изумленно: не было случая, чтобы Безбородко выехал из дому в обеденное время. Экипаж графа не был заказан, но у подъезда стояли парные сани управляющего. Александр Андреевич вышел из парадной двери, оступился на мостках, вступил ногой в мокрый снег, замочив чулок по щиколотку, и, опираясь на плечо Иванчука, полез в чужие сани. Перепуганный кучер хотел было объяснить, что тут ошибка, что это не карета его сиятельства, но Иванчук сделал страшное лицо — и кучер сразу стих. Секретарь ловко подсадил Александра Андреевича и спросил его шепотом:

— Прикажете ехать с вами?

Безбородко отрицательно мотнул головой и с выражением ужаса на лице приложил к правому углу рта конец указательного пальца, тотчас же смочившийся при этом слюною. Иванчук почтительно закрыл глаза и медленно наклонил голову. Радость от того, что он первый, раньше всех, узнал и сообщил графу столь важную новость, совершенно переполняла его душу, и хоть Безбородко не взял его с собой, Иванчук не чувствовал досады: рассчитывал скоро проникнуть во дворец и без графа.

— Барин, куда их везти? — спросил растерянно кучер.

— Пошел в Зимний дворец! — тихо, но внушительно сказал секретарь, с особым удовольствием произнося последние слова.

Кучер задергал вожжами и негромко — из уважения к седоку — щелкнул кнутом. Улицы Петербурга по дороге от дома Безбородко ко дворцу были в ту пору уже вымощены, и на камнях мостовой, еле покрытых грязным ноябрьским снегом, сани сильно трясли и стучали. Александр Андреевич, обычно выезжавший в покойной карете шестериком в цуге, с гусарами, с форейторами, с гайдуками, си-

дел боком, ухватившись за левую ручку саней и не запахнув шубы. Непривычный плохой экипаж как бы отметил в его сознании, что произошло что-то новое, страшное и непоправимое. Сани были небогатые, но с претензиями: с ярко-красной бархатной полостью и с загнутыми полозьями, которые наверху, аршина на два от земли, сводились в золоченую фигурку — голову сатира со сквозными ушами для пропуска концов вожжей. Александр Андреевич, медленно вздрагивая всем телом, бессмысленно уставился сбоку на голову сатира — и вдруг с фигурки на него взглянул беспокойный курносый человек со странной отвесной верхней губой и с нехорошим взглядом исподлобья. Безбородко почувствовал себя больным. Последним усилием воли он запретил себе думать, до приезда во дворец, о том, что произошло. Может быть, еще ничего и не произошло... Мало ли что говорят люди...

Но как только он вылез, задыхаясь, из тряского экипажа, как только вошел в хорошо знакомый правый малый подъезд дворца, он почувствовал, что люди говорили правду и что случилось несчастье. Непривычный человек, вероятно, не заметил бы в вестибюле ничего особенного. Но Александру Андреевичу сразу бросилась в глаза не совсем обыкновенная картина. Прислуги внизу было меньше, чем всегда; зато были какие-то чужие люди, явно не имевшие привычки ко дворцу,— это было заметно по их неуверенному поведению у лестниц. Небольшие группы шептались.

Александра Андреевича прислуга заметила не сразу. Один старый лакей бросился, наконец, к нему и, снимая шубу, шепнул графу на ухо, что кончины ожидают с минуты на минуту. Александр Андреевич ахнул — уж, стало быть, всем известно.

— Что ты говоришь!..— прошептал он чуть слышно.

Лакей закивал головой с сокрушенным видом. Однако в бегающих глазах у него играли радостные огоньки. Дворцовая прислуга любила Екатерину. Но близящаяся большая перемена радовала русских людей.

— Господи, помилуй! — сказал тихо Александр Андреевич.

Он с трудом повел утомившейся вдруг спиной и плечами, отдал шубу и по привычке хотел было, как всегда при этом жесте, предписать лакею заботливое отношение к шубе, но спохватился — неприлично, «да и к чему теперь соболья шуба? разве что в Сибири пригодится»,— он криво улыбнулся бледными холодными губами. Машинальным жестом потянулся рукой к чулку, чтобы его подтянуть, но

опять спохватился,— пожалуй, и о чулках заботиться теперь не совсем удобно. Он оглянулся по сторонам: слава Богу, никто не заметил. Александр Андреевич вдруг опомнился, сделал над собой усилие и медленно пошел вверх по лестнице, стараясь держаться ближе к перилам: ему почему-то казалось, будто и с ним, как с матушкой, вдруг может случиться что-то очень неожиданное и нехорошее. На первой площадке он остановился передохнуть и увидел в огромном уже темнеющем зеркале наклонное отражение расстроенной фигуры. По второй лестнице спускался поспешным шагом обер-церемониймейстер Валуев — добрый знакомый и благожелатель. Александр Андреевич окликнул его упавшим голосом. Валуев радостно к нему подошел и остановился с ним в углу площадки минут на пять, хотя по его спешному шагу можно было заключить, что он торопился по важному делу. Тут только Безбородко, ахая и вскрикивая, узнал во всех подробностях, что именно произошло. Валуев морщился, описывая несчастный случай с государыней. Он подтвердил, что лейб-медик Роджерсон признал состояние матушки безнадежным: уже послано за его высочеством в Гатчину. Послано и за митрополитом Гавриилом. Александр Андреевич — неожиданно даже для самого себя — вдруг тяжело беззвучно зарыдал. Обер-церемониймейстер посмотрел на него изумленно, и Безбородко вспомнил, что Валуев, в отличие от него, не имеет особых оснований опасаться воцарения курносого человека со злыми глазками. Расстроенный вид Валуева объяснялся главным образом тем, что несчастье с государыней случилось в столь неподобающем и непредусмотренном месте; и все мысли обер-церемониймейстера сосредоточивались теперь на вопросах церемониала, связанных с предстоящими похоронами государыни и со вступлением на престол Павла Петровича.

Из сочувствия горю Александра Андреевича Валуев крепко пожал ему руку, торопливо взглянул на часы, ахнул и побежал дальше. Безбородко вытер слезы, уронил платок, поднял, встряхнул и подул на него, затем, держась за перила, пошел вверх по лестнице. Валуев сказал ему, что *все* собрались около спальной ее величества, в бриллиантовой и зеркальной комнатах. Когда Безбородко поднялся в средний этаж, у него началось сильное сердцебиение. Он добрался до стула у стены узкой проходной залы и сел, схватившись рукой за грудь. Сердце понемногу отошло. Зато голова работала все хуже. А между тем он чувствовал, что надо сделать что-то важное: что именно — он не

мог сообразить. Александр Андреевич напрягал память: сколько раз в последние годы он представлял себе возможность кончины государыни. Почему-то ему всегда казалось, что это произойдет не сразу; можно будет позаботиться о своих делах во время болезни матушки. Теперь несчастье обрушилось так внезапно... Он не мог собрать мыслей, не мог вспомнить того, что предполагал сделать в этом положении. Александр Андреевич, не меняя позы, смотрел снизу вверх на людей, проходивших перед ним с озабоченными и нахмуренными лицами. Никто его не замечал: было уже довольно темно. Ему казалось, что его не замечают умышленно, и это наводило на него особенный ужас. По зале проходило много народу; были тут и привычные, и совершенно неизвестные лица. Почти никто не здоровался со знакомыми. Шедшие *туда*, встречаясь с шедшими *оттуда* (вторых было гораздо меньше), задавали вполголоса, или просто выражением лица, один и тот же вопрос и получали один и тот же ответ, после чего, кивая медленно головой, говорили: «Господи!», или: «Ах ты, Боже мой!», или: «Какое несчастье!..» Разговаривали вообще немного и однообразно. Но почти неизменно, вслед за «Господи!» и «Какое несчастье!», знакомые спрашивали друг друга, уже погромче, о князе Зубове, точно и он заболел вместе с императрицей. Ответы были также однообразные: одни говорили «смотреть жалко», другие говорили «смотреть гадко». При этом лица менялись, и на них выступало с трудом сдерживаемое, а то и вовсе не сдерживаемое выражение радости: Платона Зубова ненавидели все, даже облагодетельствованные им люди.

Безбородко только тут, услышав разговоры, вспомнил о Зубове: высокомерный фаворит Екатерины, всячески третировавший наследника престола, мог, конечно, считаться погибшим человеком. Александр Андреевич теперь забыл о своей злобе против князя. Но его все же немного утешила мысль о том, что есть сановник, положение которого еще гораздо хуже, чем его собственное. Надеясь найти и других товарищей по несчастью, Безбородко с тоской всматривался в лица людей, которые проходили как тени во все темнеющей узкой зале. Но на всех почти лицах он читал то же выражение, которое мелькало в глазах старого лакея. Почти всех радостно волновало ожидание близкой важной перемены. Едва ли кто радовался самой кончине Екатерины. Но едва ли кто и очень огорчался, кроме нескольких ее любимцев. Из посторонних людей лишь очень немногие выражали скорбь иначе, как коротким восклицанием при

первом известии. Зато эти немногие выражали свое горе в столь неестественной форме, что за них становилось неловко. Быстро взбежавший по лестнице нарядно одетый представительный господин,— Александр Андреевич знал его в лицо, это был известный актер придворного театра,— услышав о безнадежном состоянии Екатерины, вдруг вскрикнул страшным голосом, вцепился в волосы руками в перстнях и, подбежав к выстланной мягким штофом стене, стал биться о нее головою.

— Фелица! Матушка! Великая Екатерина! — вскрикивал рыдающим голосом актер.— За что? Господи, за что?.. Что же теперь будет с несчастной Россией!.. Фелица! Гремислава!..

Одни кивали сочувственно головою, другие смотрели в недоумении. Вдруг неожиданно у стены, почти рядом с рыдающим актером, послышалась музыка. Это заиграли «Malbrough s'en va-t-en guerre» [1] часы работы Рентгена. Екатерина, совершенно лишенная музыкального слуха, очень любила играющие часы, и во дворце их было немало. Актер еще вскрикнул, уже потише, и поспешно отошел от часов. Какой-то молодой человек в форме сержанта Измайловского полка весело засмеялся. Александр Андреевич посмотрел с тоскою — кто теперь может смеяться? Симпатичное лицо молодого человека было ему знакомо. Он механически напряг память и вспомнил: Митя Бологовской. Бессознательное удовлетворение от этого удавшегося, хоть совершенно ненужного ему, усилия памяти вдруг заполнило провал, образовавшийся в уме графа Безбородко. В памяти его выскочил перевязанный черной ленточкой пакет, в котором хранилось завещание государыни. Точно вспыхнул огонек — мысль Александра Андреевича пришла в движение. Он видел, что использовать этот пакет против Павла Петровича уже невозможно: нет времени. Но передать завещание Павлу, смягчить таким образом его немилость — да, тут еще были козыри для игры. И первым делом нужно, разумеется, послать от себя гонца к наследнику — сообщить как и что. Это само по себе должно ему понравиться. «Как только я раньше не догадался?..— подумал, быстро поднимаясь и вздрагивая, Безбородко.— Куда ж послать?.. В Павловское?.. Нет, в Гатчину... Нет, скачет уже, верно, сюда. Вот по дороге ему и передадут... Кого послать? Да вот этого хлопца...»

---

[1] «Мальбрук в поход собрался» *(франц.)*.

Он поспешно поплыл к Бологовскому и взял его рукой за плечо.

— Вот что, Митенька, голуба,— сказал он негромко, не отвечая на почтительное приветствие молодого человека.— Не в службу, а в дружбу прошу и услуги твоей не забуду... Да... Поезжай-ка ты сейчас по Гатчинской дороге... да... по Гатчинской дороге... навстречу его высочеству. А как встретишь его высочество, скажи ты ему... скажи, что послал тебя Александр Андреевич Безбородко и велел передать, что надежды на выздоровление ее величества нет никакой,— он тяжело вздохнул.— И еще велел передать, что он, Александр Андреевич, его высочеству всегда был, есть и будет верный слуга.— Безбородко произнес эти слова особенно внушительно, точно убедить в них надо было Митю Бологовского...

Проходивший мимо них с озабоченным видом Валуев услышал слова графа и вдруг остановился.

— Вы что, тоже к наследнику посылаете? — сказал он с недоумением.— Mais on dirait que c'est contagieux! [1] Нынче все послали гонцов к наследнику. И великие князья послали, и Ростопчин, разумеется, поскакал, и Зубов — да-с, Зубов! — послал братца Николая, и еще двадцать человек послало, c'est comme j'ai l'honneur de vous dire! [2] Придворные повара и те, ma parole[3], отрядили к Павлу Петровичу своего человека для оповещения, что надежды никакой нет. Полноте, Александр Андреевич, оставьте в покое этого юношу. И без вас ввечеру прискачет Павел Петрович...

Он взял графа за талию и отвел его от Бологовского. Безбородко, сокрушенный новым ударом, бессильно за ним следовал.

— Вот что, ваше сиятельство,— сказал шутливым тоном Валуев, невольно прислушиваясь к игре часов и слегка отбивая такт ногою.— Не волнуйтесь вы понапрасну. На вас лица нет. Еще, не приведи Бог, свалитесь.

— И лучше бы!.. Один конец!..— простонал Александр Андреевич

— Да полноте! Грех какой! — вскрикнул Валуев.— Зубов — другое дело, а вам чего так бояться, право? — добавил он поспешно вполголоса.— Кто перед Павлом Петровичем не грешен, кто бабе не внук? Все, правду говоря, виноваты.

---

[1] Можно подумать, что это заразительно *(франц.)*.
[2] Это так, как я имею честь сообщить вам *(франц.)*.
[3] Честное слово *(франц.)*.

— Я-то, Петр Степанович, я-то чем виноват? — лепетал Александр Андреевич.— Вот уж, Бог видит, ни мыслью, ни душою... Готов служить верой и правдой... как матушке служил!..

— Ну да, ну да! — рассеянно сказал Валуев, с сожалением взглянув на умолкшие часы.— И с Ростопчиным в особливости вы хороши, ведь он теперь всем на шею сядет... Незачем вам себя озабочивать, верьте мне! Пойдем лучше со мной туда... Экая темь! Отчего свечей не зажигают? Беспорядок какой!.. Всякий народ сегодня пускают во дворец! Cette foule!..[1] О кончине... о восшествии на престол объявил в бриллиантовой граф Самойлов,— неожиданно добавил Валуев.

V

В большой комнате, которая примыкала к спальной Екатерины, все говорили шепотом или вполголоса; однако глухой, сливающийся шум голосов был слышен еще в коридоре. Несколько человек приблизились вплотную к Валуеву и Безбородко и, разглядев их лица, равнодушно отвернулись: очевидно, ждали не их. Когда глаза Александра Андреевича привыкли к полутьме, он узнал среди присутствовавших в этой комнате первых сановников империи, с которыми протекала его жизнь. Но рядом с ними находились и совершенно другого сорта люди. Около вице-канцлера графа Остермана стоял мелкий чиновник дворцовой службы, который прежде не посмел бы сюда и показаться. Было в комнате несколько генерал-аншефов, и был тут же молоденький, бойко державшийся, никому не известный поручик. Очевидно, порядок исчез совершенно за отсутствием хозяина; хозяином был прежде князь Платон Зубов. Его Безбородко искал глазами, но не нашел. В большой комнате кроме ее обычной красной мебели стояло еще несколько стульев другого цвета, расставленных как попало, очевидно снесенных сюда предприимчивыми людьми из разных покоев дворца. Кресел, стульев и диванов все же не хватало, и часть собравшихся стояла; освободившиеся места захватывались немедленно: люди, по-видимому, устраивались надолго. Больше всего мебели и людей было у окон, где шла оживленная беседа и где собрались наиболее видные сановники. Но довольно плотная кучка стояла и у противоположного окнам угла комнаты, отрезывая от глаз Александра Андреевича то, что было в углу. Невысокая

---

[1] Эта толпа! *(франц.)*

дверь в спальню императрицы, находившаяся посередине короткой стены, была плотно прикрыта, и из-под нее на ковер ползла небольшая полоска бледного света. Безбородко, выпустив руку Валуева, уставился на эту дверь, поискал кого-то глазами, затем отошел к одному из окон и тяжело сел на подоконник, едва доставая до полу концами туфель. Так Александр Андреевич просидел с четверть часа, растерянно слушая разговоры лиц, сидевших перед ним в креслах, и плохо их понимая. Преждевременная старость и немощи сильно на нем сказались в этот день. Он желал теперь только одного: чтобы новый император просто, без позора и кар, уволил его в отставку и дал ему дожить век,— он чувствовал, уже недолгий,— в Москве или в деревне на покое. Честолюбивые мысли, мучившие его всю жизнь, вдруг исчезли совершенно. Кроме радостей еды, сна и того, что еще могли дать ему женщины, он больше ничего не желал на свете. Ему захотелось снять промоченный чулок, накрыться с головой одеялом и уснуть. Он болезненно зевнул, тщательно скрывая зевок, отчего слезы выступили у него на глазах, и прислонил голову набок, к боковой стенке окна, с трудом удерживая спину, чтобы, согнувшись, не разбить стекла. Эта школьническая поза на подоконнике, столь не подобающая его годам и сану, снова напомнила ему ужас его положения.

Из сановников кое-кто дремал, другие устало разговаривали. Все *ждали*. Большинство не обнаруживало признаков особого горя — оттого ли, что и не чувствовало его, оттого ли, что скорбь умерялась оживляющим действием близкой большой перемены, или же просто по привычке светских, придворных людей скрывать проявления каких бы то ни было сильных чувств. Но были и исключения. Глубокая, искренняя скорбь запечатлелась на лице тяжело сидевшего в кресле Александра Сергеевича Строганова. Этот старик, лишенный честолюбия, один из богатейших людей в России, которому государыня ничего не могла дать, искренне и бескорыстно любил Екатерину. Он любил ее общество, любил ее остроумие, преклонялся перед ее ученостью и умением обращаться с людьми и по-христиански прощал ей всю жизнь ее слабости, ему, по его темпераменту, особенно чуждые. Он думал теперь о величии царствования Екатерины, об ее победах, об ее заслугах перед Россией; думал о том, что никогда больше не будет играть с матушкой ни в вист, ни в макао, ни в мушку, никогда больше не услышит ее голоса с так смешившим его немецким акцентом... Слезы застилали ему глаза.

В комнату вошла косая полоса бледного света. Дверь из спальной императрицы открылась, и на пороге появился лейб-медик Роджерсон. Мгновенно наступила мертвая тишина. Только несколько человек успело подняться с кресел и Александр Андреевич Безбородко, сорвавшись с подоконника, мелкими шажками пробежал вперед. Роджерсон недовольным взором обвел комнату и сказал медленно, вполголоса, на затрудненном французском языке:

— Господа, прошу разговаривать тише...

Легкая, еле слышная волна точно разочарованного гула пронеслась по комнате. Люди, поднявшиеся с кресел, опять уселись плотнее. Но Александр Андреевич прирос к полу против открытой двери, с ужасом глядя мимо Роджерсона на белое пятно посредине выстланной красным ковром спальной. Его особенно поразило то, что императрица лежала на полу (врачи не решились перенести ее на кровать). Спальная была полутемна по стенам. Но посредине против двери горело несколько свечей в розовых колпачках. Перед тюфяком на коленях стоял, с отведенной свечой в левой руке, один из врачей и платочками, которые, удерживая рыдания, подавала ему Марья Саввишна Перекусихина, вытирал черную пену, струившуюся с губ государыни. Лицо Екатерины было страшно. Оно беспрерывно меняло цвет: из желто-бледного вдруг, наливаясь кровью, становилось багрово-красным, затем снова быстро желтело. В двух шагах от тюфяка в неестественной позе, устремив неподвижный, застывший взор на государыню, заломив перед грудью руки, стояла на коленях толстая безобразная éprouveuse [1] — Анна Степановна Протасова...

Марья Саввишна вдруг тяжело поднялась с колен, передала врачу платочек, подошла к двери со свечой и, сердито потащив за рукав Роджерсона, резким, хоть бесшумным, движением закрыла дверь. Снова поднялась волна гула, почти столь же громкая, как прежде. Александр Андреевич остался в своей неподвижной позе, с полуоткрытым ртом и широко раздвинутыми ногами, чуть согнутыми у колен. Позади него сановники из вновь пришедших вполголоса обменивались впечатлениями: один из них в боковой стене спальной успел разглядеть дверь уборной, в которой случилось несчастье. Бойкий старичок как будто сокрушенно, но не без удовольствия рассказывал соседям, в каком виде была найдена Зотовым императрица. Все морщились, слушая подробности его рассказа. Кто-то вдруг шепотом, с

[1] Испытательница *(франц.)*.

расширенными глазами, напомнил пророчество *Андрея Враля:* Андрей Враль, умирая, предсказывал, что Екатерина II погибнет позорной смертью. В уме Александра Андреевича тоскливо зашевелился вопрос: какой такой Андрей Враль? И тотчас он вспомнил, что под этой шутливой кличкой был когда-то заточен государыней в ревельский каземат (и умер там) знаменитый митрополит Арсений Мацеевич, борец за вольности православной церкви. Александру Андреевичу вдруг стало уж совсем нехорошо, хоть он был ни при чем в деле митрополита Арсения. Шатаясь, он отошел к своему окну. Но его место на подоконнике было занято бойким поручиком.

Из коридора появился дрожащий свет: лакей с длинной свечой пошел вдоль стен, зажигая канделябры. Комната постепенно освещалась: послышался радостный гул. Когда лакей дошел до противоположного окнам угла, стоявшая там кучка людей расступилась, чтобы дать ему дорогу, и Безбородко увидел, что на небольшом угольном диване сидел Платон Александрович Зубов. Но он с трудом узнал князя. Лицо Зубова было совершенно искажено. На диване рядом с ним могло поместиться еще два человека; однако, хотя в комнате были заняты решительно все стулья, оба места рядом с Зубовым оставались свободными. Вблизи от князя, бесцеремонно на него уставясь, как на медведя в зверинце, стояло несколько человек. Никто с ним не говорил. Вначале он сам пробовал разговаривать с окружающими; одни с испугом от него отшатывались, другие просто не отвечали или пожимали в ответ плечами. Когда лакей, испуганно на него взглянув, зажег над ним свечи канделябра, Зубов болезненно сморщился и сказал сипло, обращаясь неуверенно, с мольбой в голосе, не то к лакею, не то ко всей стоявшей перед ним кучке:

— Дайте мне стакан воды...

Лакей не расслышал слов князя и поспешно прошел дальше. Послышался смех. Зубов с ужасом взглянул на людей и вдруг закрыл лицо руками. Смех усилился. «Beau joueur!» [1] — произнес иронически кто-то вполголоса. Кто-то другой тоже вполголоса сказал фразу, в которой все услышали «кнут» и «Сибирь». Слова эти облетели комнату. Два сановника у окна заспорили об участи, ожидающей Платона Александровича. Один полувопросительно напомнил, что Павел Петрович в свое время грозил по вступлении на престол высечь фаворитов своей матери и сослать

[1] «Смелый игрок!» *(франц.)*

их в Сибирь. Безбородко испуганно посмотрел на говорившего и тотчас отвернулся. Но другой сановник стал возражать:

— Мало чего в запальчивости не скажешь! Шутка ли, высечь, и в Сибирь! Этот сударь как-никак андреевский кавалер, генерал-фельдцейхмейстер, русский столбовой дворянин и князь Римской империи...

— А Волынский? А Бирон? А Миних? — сказало сразу несколько голосов.

— Да-с, граф Миних был воин почище этого...

— Однако чувствительность Павла Петровича известна. Может, его величество и помилует...

— Его высочество,— поправил сердито Валуев, показывая глазами на дверь спальной.

Безбородко растерянно огляделся по сторонам. В комнате он увидел человек десять, о которых упорно говорили, будто они пользовались в разное время милостями государыни...

Дверь спальной настежь с шумом распахнулась; из нее с сияющим радостью лицом выскочила Марья Саввишна и с криком бросилась к дивану князя Зубова:

— Открыла глаза! Ожила! Пожалуйте! Теперь выздоровеет! — лепетала она бессвязно.

В комнате произошло смятение. Зубов поднял голову, уставился на Перекусихину, затем вдруг понял смысл ее слов. Сорвавшись с дивана, он бросился с спальную в сопровождении Марьи Саввишны. Толпа мгновенно перед ним расступилась. Кто-то второпях побежал к графину за стаканом воды для князя, но не поспел. Дверь спальной уже закрылась.

— Вот бы дал Господь!..— Радость какая!..— Я говорил, что еще есть надежда!..— Что ж такое, что удар!..— Всего шестьдесят семь лет!..— У моей тетушки было три удара, и жива!..— слышалось с разных сторон. Безбородко не выдержал, маленькими шажками проплыл к спальной, приоткрыл дверь и отчаянным, умоляющим жестом вызвал лейб-медика. Снова настала тишина.

— Ну, что вам? — недовольно спросил Роджерсон.

Александр Андреевич хотел объяснить — и не мог: язык не повиновался его усилию. Несколько человек задало вопросы лейб-медику. Выражение досады на лице Роджерсона усилилось и перешло в гримасу.

— Ведь я же ясно сказал, что никакой надежды нет,—

сухо проговорил он, пожав плечами.— Зачем меня спрашивать, если вы больше верите этой доброй женщине? Часы ее величества сочтены... Открыла глаза!.. Что с того?.. Это агония...

Он круто повернулся и столкнулся с Зубовым, который выходил из комнаты с прежним выражением отчаяния на лице. Услышав рыдание Александра Андреевича, князь протянул руки, желая его обнять. Безбородко в испуге попятился назад. Роджерсон исчез в спальной.

В коридоре за дверью послышались шаги — не такие, какими ходили теперь все, а спокойные, неторопливые, очень тяжелые. В комнату вошел человек лет шестидесяти, головой выше высокого человеческого роста и наружности, какую никогда никто не мог бы забыть, раз ее увидав. Страшное лицо его от уха до рта было пересечено глубоким шрамом.

«Орлов... граф Алексей Григорьевич... Чесменский...» — пронесся по комнате шепот.

Имя убийцы Петра III теперь звучало еще гораздо более зловеще, чем имя князя Зубова. Но над Алексеем Орловым никто не смеялся и никто не злорадствовал. Все смотрели с ужасом на его могучую фигуру. На нем был мундир серебряной парчи, залитый драгоценными камнями величины невиданной даже при дворе Екатерины II. Андреевская лента и на груди портрет государыни в алмазной раме (после смерти своего брата и Потемкина он один в России имел право носить на груди портрет императрицы). Орлов равнодушно оглядел людей, находившихся в комнате, и, слегка усмехнувшись (усмешка у него при его шраме была особенно страшная), медленно прошел к двери спальной. В комнате стояла совершенная тишина. Алексей Орлов неторопливым движением открыл двери и, слегка вздрогнув, остановился. Наклонив голову, держась обеими огромными руками за косяк двери, недостаточно высокой для его роста, он стоял так неподвижно несколько минут, не отводя глаз от хрипящего тела императрицы Екатерины. Роджерсон поднялся со стула и отчаянно замахал руками. Протасова мгновенно закрепилась в своей позе глубокого отчаяния. Марья Саввишна, смертельно, как и государыня, как и все, боявшаяся Алексея Орлова, в ужасе подняла на него глаза.

— С утра еще был здесь,— прошептал кто-то около Александра Андреевича.

— Больной пришел...

— Видно, Ерофеич вылечил...

Алексей Орлов от всех болезней лечился зверобойной настойкой, которую рекомендовал ему знахарь Ерофеич. Лицо его было в самом деле очень бледно.

...Он стоял неподвижно — и жизнь Екатерины, так странно, так страшно сплетенная с его собственной жизнью, бессвязно перед ним проходила... Она была его любовницей, она имела от него сына, он возвел ее на престол, он задушил ее мужа. Перед ним встал образ любимого брата, который был главным ее любовником, который должен был стать ее мужем. И вдруг промелькнуло в его памяти видение, быть может, самое страшное, вместе с призраком убийства в Ропшинском замке, из всех страшных видений, которые по ночам могли тревожить память Орлова-Чесменского,— образ брата Григория в последние дни жизни: этот человек несравненной красоты, этот любимец судьбы, этот идол женщин в припадке неизлечимого безумия пожирал свои изверженья...

Казалось, все присутствовавшие в комнате угадывали чувства Алексея Орлова. В общей тишине слышен был только ужасный хрип, неумолчно несшийся с тюфяка на полу спальной. Что-то вдруг изменило на мгновенье не мысли, а души людей. Радостное оживление исчезло, человеческие чувства пробудились. Люди почувствовали не близящуюся перемену престола, не появление новых любимцев, не новые награды и опалы, не конец шумного царствования, а смерть — смерть женщины, с которой каждого из них связывала большая часть жизни. Бледное лицо Орлова дрогнуло. Он медленно закрыл дверь и пошел назад. По дороге ему попался на глаза Платон Зубов, которого на диване поили водой со сбивчивыми словами утешения. Граф Чесменский опять усмехнулся и неторопливо вышел из комнаты.

Своей тяжелой походкой он спустился по лестнице. Внизу происходила суматоха. Парадные двери были открыты настежь. С улицы виднелись огни факелов и слышался звон колокольчиков. От подъезда отъезжала вереница экипажей. По вестибюлю шла толпа людей. Впереди бежал невысокий, худощавый человек в больших пудреных буклях, с огромной шпагой, болтавшейся позади, на спине, между фалд длинного кафтана старого прусского образца. Алексей Орлов почтительно склонился перед наследником престола. Павел

Петрович на мгновенье прирос к земле, странно заслонив лицо красным обшлагом своего гренадерского мундира, затем что-то пробормотал и побежал вверх по лестнице. За ним шел, покачиваясь, сопровождавший его из Гатчины граф Николай Зубов [1].

VI

В день смерти государыни Штааля постигла большая неприятность: он схватил сильнейший насморк и принужден был сидеть несколько дней дома. Весь Петербург в эти дни толпился во дворце, и показаться знакомым дамам с красным распухшим носом и слезящимися глазами Штааль, разумеется, считал невозможным. Каждое утро он старательно выписывал на листе бумаги: «Заболев сего числа, службы Его Императорского Величества нести не могу» (в первое утро он ошибся и по привычке — ему довольно часто случалось сказываться больным — вместо «Его Величества» написал «Ее Величества»). Небритый и злой, сидел он в своей жарко натопленной квартире, беспрерывно кашляя и мучительно чихая. То лениво рисовал в тетрадке разные *скицы*, то со злостью читал случайно ему попавшийся седьмой том «Французской революции» врача Христофа Гиртаннера (удивляясь при этом, как все в ней было несогласно с тем, что он видел в Париже). Квартира его, на Хамовой улице, была из двух комнат, небогатая и неуютная, с мебелью рыжеватого цвета,— этот рыжеватый цвет почему-то создавал впечатление бедности и провинции, несмотря на усиленную погоню Штааля за модой и за теми дорогими вещами, которые он мог себе позволить. Одну из стен кабинета (наиболее ободранную) прикрывал настоящий гобелен, за бесценок купленный у французского эмигранта. На другой стене висели две скрещенные рапиры, а под ними кинжал дамасской работы и огромный пистолет. Была в кабинете еще полка с небольшой коллекцией табакерок из яшмы и слоновой кости и с двумя лорнетами (их больше почти не носили с тех пор, как носить их было приказано будочникам). На письменном столе лежали — большая редкость — недавно изобретенные в Бирмингаме гаррисоновские стальные перья (Штааль, впрочем, писал гусиными, но тщательно их прятал в ящик, а знакомых уверял, что стальные хоть гораздо дороже, но зато удобнее). В спальной гостям совсем нечего было показывать — разве только бутыль с душистой водою, которую изготов-

[1] Будущий убийца императора Павла — *Автор*.

лял в Кельне сардинец Фарина и которая даже во Франции была в ту пору известна лишь щеголям.

Скучал Штааль невообразимо. От скуки и одиночества быстро прошло то небольшое удовольствие, которое доставляет людям, особенно молодым, легкое, не причиняющее болей нездоровье и связанное с ним законное состояние безделья. Все товарищи его, по-видимому, забыли совершенно: никто не счел нужным зайти навестить больного. Озлобление против людей росло в молодом человеке с каждым часом. «Так и пропадешь с ними, как собака»,— говорил он себе вслух. Он догадывался, что в столице происходят события большой важности, и полное отсутствие новостей угнетало его чрезвычайно.

Неожиданно в пятницу, часов в семь вечера, к нему вдруг заглянул Иванчук. Штааль, хоть не слишком его любил, обрадовался ему так, что потом было совестно вспоминать. Озлобление против людей и отвращение от жизни прошли у больного мгновенно. Он вдобавок видел (и мудрено было не видеть), что секретарь графа Безбородко начинен новостями больше всякой меры. Ужас охватил Штааля, как бы Иванчук тотчас не ушел. Он стал умолять гостя остаться на весь вечер и, торопливо соображая содержание кошелька, обещал послать за ужином к Демуту или к Юге и поставить *море шампанского*. Иванчук согласился не сразу и неохотно, с таким видом, будто у него был на этот вечер десяток других, гораздо лучших приглашений. Но все же согласился остаться, потребовав, чтобы ужин был именно от Демута, а ни в каком случае не от Юге, который кормит дохлятиной. Штааль не обиделся на тон гостя: видел, что он ломается и сам горит охотой рассказать новости. Иванчук сбросил шубу будто небрежно, однако же так, что она ни одним краем не коснулась пыльного пола. При этом Штааль не мог не заметить, как нарядно был одет его гость. Под шубой-винчурой туруханского волка у него оказался зеленый, шитый золотом и шелками камзол, гроденаплевые панталоны, застегнутые ниже колен серебряными пряжками, и полосатые — не вдоль, а поперек, колечками,— шелковые чулки. В руках он держал белую муфту — «маньку». Все это было очень модно и тщательно обдумано. Штааль утешился тем, что у Иванчука была все же не соболья муфта, а «манька» из украинской овцы, и каменья на пряжках у него едва ли настоящие — разве один или два, что поменьше? — и часов как будто была при нем лишь одна пара вместо полагавшихся модникам двух — вторая цепочка служила для отвода глаз. Иванчук был на-

строен возбужденно и весело. В первые часы после несчастья с государыней он несколько встревожился в связи с участью, ожидавшей графа Александра Андреевича, и даже немного щеголял перед другими своей тревогой, говорившей, что он, как тот или другой вельможа, мог впасть в немилость при новом императоре. Разумеется, ему по-настоящему ничего не приходилось опасаться: в случае опалы Безбородко у Иванчука нашлись бы другие покровители. Но это означало бы важную перемену в его жизни. Кроме того, Иванчук, как все приближенные Александра Андреевича, искренне любил графа. Тревога его продолжалась недолго: после тридцатишестичасового отсутствия Безбородко вернулся из дворца домой. Хотя вид у графа был разбитый и потрясенный, но по особому сиянию его измученного лица, по торжествующим огонькам в заплывших глазах, распухших от слез и бессонницы, по той жалости, с какой он упомянул о Зубове, Иванчук сразу почувствовал, что все обстоит благополучно. А часа через два, немного отдохнув, Безбородко сам вызвал к себе секретаря и поговорил с ним о делах, не очень откровенно, но и не слишком скрываясь. Оказалось, что новый император обласкал Александра Андреевича и перед ним открывались совершенно неожиданно самые блестящие надежды. Как это произошло, граф не говорил и даже старался (хоть при этом неуверенно смотрел на Иванчука) взять такой тон, будто милость к нему Павла Петровича совершенно естественна — иначе и быть не могло,— а расстроен он накануне был главным образом несчастьем с государыней. Впрочем, о любви своей к покойной матушке Безбородко теперь не очень распространялся, даже в разговоре с секретарем, которому он *в общем* верил. (Александр Андреевич *в общем* верил довольно многим людям, но до конца не откровенничал ни с кем. Поступал он так инстинктивно; в переводе же на язык связных суждений инстинкт говорил ему приблизительно следующее: такому-то человеку верить можно — он хороший человек и *вообще* не продаст, однако если не *вообще* и если предложат большие деньги, то, пожалуй, и продаст — почему не продать?) Из короткого разговора с графом Иванчук узнал, что дел, должностей и наград теперь будет больше прежнего (наград в последнее время при государыне было — из-за Зубова — маловато).

— Ведь я кто был? — прямо сказал Безбородко.— Золотарь... Ей-Богу, золотарь. Что князь Зубов гадил, то я убирал.

По этому прошедшему времени «был» и «гадил» Иван-

чук понял, что торжество Александра Андреевича гораздо больше даже, чем он дает понять. Совершенно успокоенный, Иванчук сам заговорил об Екатерине.

— Погасло солнце российское: Великая телом во гробе, душою в небесах,— прочувственно произнес он фразу, которую слышал от Шишкова.

— Кто минует непременность смерти? — уклончиво ответил Безбородко и тотчас сел писать какую-то *промеморию*.

В тот же день Иванчук услышал в трех местах, с разными вариантами, рассказы о растопленном камине и о пакете, перевязанном черной ленточкой, содержавшем завещание государыни, которое Павел Петрович будто бы сжег по совету Безбородко. Уважение Иванчука к уму Александра Андреевича (и без того очень большое) возросло чрезвычайно. Он побывал уже в десяти местах, рассказывая сенсационные новости. Но так как сенсационные новости в эти дни рассказывали все, то ему особенно приятно было зайти к больному, ничего не знавшему Штаалю.

Выйдя в переднюю, Штааль позвал денщика, вручил ему три пятирублевки и отдал распоряжения шепотом (смутно предполагая, что Иванчук в кабинете прислушивается). Два обеда у Демута (в семь часов еще должны были оставаться обеды) стоили недорого, главный расход составляло обещанное сгоряча *море шампанского:* меньше двух бутылок было, очевидно, никак нельзя поставить. Штааль тревожно соображал, что если у Демута бутылка шампанского стоит не дороже, чем в «Лондонской» (где он недавно *кутил*), пятнадцать рублей хватит; если же нет, то выйдет очень неловко,— тогда надо будет все свалить на непонятливого денщика (Штааль чувствовал, однако, что кого другого, а Иванчука на непонятливости денщика не проведешь). Он подумал еще немного и — шепотом приказал денщику сбегать к Юге. Затем, вернувшись в кабинет, Штааль объявил, что к Демуту послано, сел в кресло, чихнул и только жестами выразил, что смешон, сам чувствует это, просит извинить и умоляет не томить.

Иванчук понес. Начал, разумеется, с завещания Екатерины, устранявшего Павла Петровича от престола. Со всеми подробностями сообщил вполголоса (чтоб было страшнее — услышать не мог никто) об участии графа Безбородко в уничтожении этого завещания — при этом дал понять, что сообщает далеко не все, а только то, что можно. Рассказал о безудержной нескрываемой радости нового императора. Государь, по его словам, собирался щедро награ-

дить Мамонова, который семь лет тому назад, в бытность свою фаворитом Екатерины, с большим скандалом и к тяжкому ее горю, изменил ей и женился на княжне Щербатовой. (Мамонову и в самом деле вскоре был пожалован графский титул Российской империи.) С юмором говорил Иванчук об отчаянии князя Зубова, вдобавок ко всему оставшегося без квартиры; о Михаиле Илларионовиче Кутузове — он при жизни государыни собственными руками готовил для Зубова кофей и сам относил его князю в постельку, а теперь мог быть в большом беспокойстве; о Нелидовой, долголетней любовнице Павла Петровича, как назло поссорившейся с ним незадолго до его восшествия на престол (все, впрочем, надеялись, что Катерина Петровна помирится с императором: Нелидову любили за ее незлобивость и бескорыстие); о Ростопчине, который после воцарения своего друга стал будто выше ростом, не сразу узнавал знакомых и, только пощурившись немного, любезно кивал им головою, впрочем, не всем и не всегда. То, что рассказывал Иванчук, было очень интересно Штаалю, как всем, ибо относилось ко двору и к первым сановникам империи.

Денщик принес обед: гласированную семгу, утку в обуви с солеными сливами, соус «поутру проснувшись», девичий крем и две бутылки шампанского. Иванчук удовлетворился тем, что все было от Демута, и не очень ругался, хоть соус «поутру проснувшись» был холодный, а шампанское — теплое. Он ел с большим аппетитом, не умолкая ни на одну минуту.

— А у вас теперь все пойдет по-новому,— воскликнул Иванчук уже на второй бутылке шампанского (военные новости его интересовали мало, и потому о них он вспомнил последними — вообще к военным относился свысока).— Было время, а ныне иное. Знаешь, кто у вас теперь будет первое лицо? Аракчеев... Ну да, Алеша Аракчеев, тот самый, что солдату ухо откусил... Он завтра, кажется, получает генерал-майора... И будет жить во дворце, говорят, в квартире Платона... Видал? Да, уж послал вам Бог сахару! Алешка вас подтянет. Кадетский корпус, говорят, так подтянул, что лучше не надо... Теперь держись. Как поднесет, так один не выпьешь!

— Ну, это мы еще посмотрим, как он нас подтянет,— сказал Штааль задорно.— Гвардия, слава Богу, не кадетский корпус.

— Очень просто как. Павел Петрович,— Иванчук больше не говорил Павлик,— его во всем слушает. Шутить, брат, не будут.

— Ну и мы не будем! — воскликнул разгоряченный новостями и шампанским Штааль.— 1762 год помнишь?

Он сам немного испугался своих слов и попытался замять их легким смехом. Иванчук посмотрел на него.

— Кстати,— сказал он,— уж если ты вспоминаешь 1762 год... Можешь себе представить, Пассек, узнав о кончине государыни, скрылся неизвестно куда — пропал без вести, просто смех... А Федьку Барятинского, уж как он ни метался ужом и жабою, государь уволил вчистую — не убивай царей.... Так этому грубияну и надо. На его место гофмаршалом назначен Шереметев. А Алексею Орлову ничего, сошло — и в ус себе не дует. Говорили, будто его повесят, да провралось, брат, совершенно.

— Вот тебе раз,— сказал озадаченно Штааль.— Ведь из всех убийц Петра главный — граф Алексей Григорьевич?..

— Ну да, кто ж этого не знает? Другие только помогали ему душить — я сам от Барятинского это слышал... Дело, видишь ли, в том,— Иванчук опять понизил голос,— Павел Петрович боится Орлова... У него большие связи в войсках и среди генералитета... Ах да, генерал-адъютантам запрещено носить тросточки на приемах... Голубчик, да ведь я забыл, ведь ты еще ничего не знаешь! У нас по части мундиров перемены страшные. Теперь всех вас нарядят на гатчинский лад... Помнишь старый прусский бироновский кафтан, ну, как в опере-буфф Ненчин носил? Так теперь все будете ходить...

— Не может быть! — воскликнул Штааль.

— Как же, как же... Приказ вышел, все ваши офицеры плачут. И то сказать: красоты никакой... Прощайся, брат, с синим мундиром, кафтан дадут тебе кирпичного цвета, и волосы велено зачесывать назад, в косичку или гарбейтелем. Салом будете мазать... И в экипажах ездить тоже строжайше вам запрещено: либо в дрожках, либо верхом... Хороша погодка, чтобы верхом кататься? — спросил насмешливо Иванчук, показывая рукой на окно (погода была действительно ужасная)...— Уж вам при матушке точно во всех отношениях жилось привольнее... Вообще прожектов и затеев великое множество. Да,— радостно вспомнил он еще.— Пехоты больше нет, велено называть инфантерией. И не взвод, а «плутонг»... И не отряд, а «деташемент». А вместо «ступай!» будете командовать «марш!»... Я уж сегодня слыхал на Царицыном лугу. Ничего, хорошо, только солдаты еще не понимают...

— Но как же, обмундировочные-то хоть дадут, ведь я только что сшил новый мундир,— растерянно спросил, чи-

хая, Штааль, у которого от этих новостей голова пошла кругом.

— А уж этого, голубчик, я не знаю. Едва ли, впрочем,— ответил Иванчук, наливая последний бокал шампанского.— Хуже, братец мой, то, что и на нас, вольных людей, готовится напасть. Губернатором Петербурга,— добавил он,— назначается Архаров. Чай, слыхал? Зверь, братец мой, совершенный. Он, да Чередин, да Чичерин, хуже зверей свет не видал с тех пор, как Шешковский околел. Ты в Москву поезжай, там тебе о них расскажут. Знаешь ли ты, что такое значит «выведать подноготную»? Небось слышал? Это Архаров с Чerединым в Москве на Лубянке на допросах гвозди под ногти вбивают — вот тебе и есть подноготная.

Штааль действительно слышал это выражение, но смысла его не знал. Он представил себе, как под ногти вбивают гвозди, и лицо его искривилось. Брезгливо он отставил на стол бокал с шампанским и задумался.

— Впрочем, мне жаловаться грех,— сказал Иванчук.— Наш Сашенька в большом фаворе, и я, сказать тебе правду, и для себя надеюсь хорошего успеха...

С улицы вдруг послышались отчаянные крики и звук какого-то странного инструмента — будто железом били по железу. Иванчук сильно побледнел. Штааль вздрогнул и поспешил к окну. По Хамовой улице со стороны Невского шли огромные люди в высоких меховых шапках с треугольным верхом. Они отчаянно били молотками о железо и орали нечеловеческими голосами:

— Гас-сите огни!.. Гас-сите свет!..

Из всех домов высовывались растерянные лица.

— Нахтвахтеры,— прошептал за спиной Штааля Иванчук.— Значит, это говорили правду: с нынешнего дня всем велено ложиться спать в девять часов...

Штааль изумленно переводил взор с Иванчука на нахтвахтеров. Он мог поверить чему угодно, только не этому.

В доме против них в одном из окон свет вдруг погас — там задули свечу. Мгновенно за этим окном последовали другие. Через минуту улица стала темна. Издали, понемногу слабея, слышался тот же рев:

— Гас-сите огни!.. Гас-сите свет!..

VII

...Дом, неуверенно раскрашенный в разные цвета и выцветший от времени, был старый, елизаветинских или, быть может, даже бироновских времен. На фасаде его, в вы-

рубленных на камне странных зверьках и штучках, в петушьих гребешках, в побитых грифонах, сказалась та мрачная веселость, которая отличает постройки кровавых эпох,— точно строитель хотел и не мог отдохнуть в искусстве душою: захудалый *гезель от архитектурии*, он, видно, чтил и голландцев, и немцев, и итальянцев, но хранил в сердце память Дмитриевского собора во Владимире.

Дом был без сеней, без монументальной лестницы, без двусветной залы с колоннами, без зимнего сада, без всего того, что полагалось иметь у себя богатому русскому вельможе. И комнат было не очень много, не более двадцати во всех трех этажах вместе. Соединяли их узкие темные лестницы и неровные, невысокие, длинные коридоры. Сам владелец дома проводил жизнь в двух комнатах второго этажа. Одна служила кабинетом [1], другая спальной. Обе были не очень большие, темные и странные.

Первая комната была будто нарочно сделана по образцу старых немецких гравюр, изображающих кабинеты алхимиков. Имелись в ней огромный, косо поставленный глобус с металлическими кругами, собранный, свинченный человеческий скелет, тяжелые каменные и металлические реторты и много других предметов, совершенно не нужных человеку, занимающемуся химией или какой бы то ни было другой наукой. По стенам, в книжных шкафах черного дерева, стояли тяжелые, неудобные, отпугивающие книги. Потолок был дубовый, с тяжелой, скучной резьбой непонятного содержания.

Стены и пол соседней комнаты были выстланы черным сукном с нашитыми золотыми слезами. В комнате этой с одним небольшим окном днем было темно. Мебели имелось в ней мало: невысокая кровать, покрытая черным одеялом, да еще посредине круглый стол. Когда зажигались свечи в тройном серебряном канделябре, на черной скатерти стола красивыми пятнами выделялись рукописи, писанные частью красными, частью черными чернилами; все они были богато переплетены, и все по-разному: в красную, зеленую, черную кожу, в голубой, синий, белый атлас. На переплетах были вытиснены звезды, кресты, пентаграммы, щиты с двуглавым орлом, циркули, лопатки, и прошиты были рукописи золотым шнуром, припечатанным семью печатями, на которых изображалась свернувшаяся в кольцо змея.

Жил в этом умышленно-мрачном доме Николай Нико-

---

[1] Это место смерти Вардбурга в моем романе из современной жизни «Ключ».— *Автор.*

лаевич Баратаев, странный человек с душой неизменно серьезной, какая встречается редко,— иногда у монахов-отшельников, иногда у конспираторов-террористов, часто у жильцов сумасшедшего дома. В России таких людей во все времена было больше, чем в других странах; больше было в ней и отшельников, и террористов, и сумасшедших.

VIII

Тело императрицы Екатерины около недели лежало в опочивальне, а затем было перенесено в тронный зал. Врачи его набальзамировали, как умели. Но умели они плохо, и придворные, которые по два раза в день, вслед за императором и царской семьей, являлись целовать руку скончавшейся государыни, бледнели, исполняя этот обряд, и поспешно отходили от гроба. Об Екатерине почти все совершенно забыли на третий день после ее кончины. Если кто из стариков начинал вспоминать вслух какие-либо умилительные черты характера матушки или события ее царствования, на него смотрели со скукой. Успели надоесть также анекдоты и сплетни, неизбежно связанные с переходом престола: за несколько дней все было пережевано. Никто не понимал, почему государыню так долго не хоронят. Общее недоумение еще усилилось, когда в большой галерее, служившей для танцев в дни балов, стали воздвигать необыкновенную постройку: на возвышении, огражденном колоннами, устроили *ротонду* и с потолка, наподобие круглого шатра, спустили бархатную занавесь с серебряной бахромой и кистями. Этому сооружению было дано имя castrum doloris [1]. По дворцу прошел слух, будто государь предполагает короновать тело своего отца, императора Петра III, много лет назад задушенного, до коронации, Алексеем Орловым, и будто тело Петра вместе с прахом государыни перенесут сюда, в большую галерею. Слух произвел впечатление сильное и нехорошее. В этом увидели желание оскорбить память государыни, о роли которой в убийстве Петра теперь вдруг все стали вспоминать втихомолку (а то и громко); тридцать четыре года не помнил никто. Хотя об Екатерине нисколько не жалели, оскорбление умершей сочувствия не встречало.

Подробности же того, как все это будет сделано, вызывали смешанное чувство недоумения, страха и любопытства. С самого дня смерти Петра III никто о нем не думал, кро-

---

[1] Форт скорби (*лат.*).

ме Павла Петровича, который помнил своего отца. Стали вспоминать, где похоронен убитый император. Обстановка его погребения, после убийства в Ропшинском замке, была довольно загадочная. Однако с помощью стариков-очевидцев удалось разыскать то место, куда в 1762 году закопали императора. Гробовщики и полиция разрыли могилу и с ужасом вытащили полуистлевший, источенный, облепленный землею, но все же сохранившийся ящик. В одной из досок зияла сбоку черная дыра. Никто не решился в нее заглянуть. Запаха, которого боялись люди, разрывавшие могилу, не было слышно...

Ящик, тотчас положенный в великолепный гроб, обитый золотым глазетом с гербами, был открыт в присутствии всей царской семьи и лиц ее свиты.

Император с лицом землисто-бледным стал возле плотника, не спуская с крышки ящика остановившихся глаз. Мария Федоровна для чего-то поддерживала царя под локоть, и это, видимо, раздражало Павла. На румяном лице императрицы была ясно написана совершенная преданность мужу и полное понимание того, как ему тяжело.

Кто-то из лиц свиты держал на подушке золотую корону (хоть коронование тела еще не должно было произойти в этот день). Другие придворные с ужасом глядели то на золотой глазет гроба, то на землистое лицо и остановившиеся глаза императора.

Плотник, перепуганный до последней степени тишиной, устремленным на него общим вниманием, близостью царя и всего больше тем, что ему в столь непривычной обстановке нужно было делать привычными инструментами привычные движения, нарушавшие тишину, с долотом в руках наклонился над гробом. Ящик с осыпавшейся землей был гораздо ниже нового гроба и лишь немногим у́же его, так что трудно было вдвинуть под крышку долото. Плотник ввел его наискось и надавил на рукоятку, не решаясь сразу сильно нажать и боясь задеть армяком золотой глазет гроба. Крышка не поддавалась. Механическая привычка к работе взяла свое: плотник быстро попробовал доски, передвинул долото и налег. Послышался треск. Крышка поднялась. Император странно согнулся и застыл. Великий князь Константин не вытерпел и, сделав поспешно три шага вперед, испуганно заглянул в гроб. Императрица выпустила руку мужа и зашептала:

— Schrecklich!..[1]

[1] Ужасно!.. *(нем.)*

Император склонился над ящиком, ухватившись обеими руками за края. Плечи его тряслись, и шпага, которую он носил сзади, странно болталась свободным концом... Вдруг Павел Петрович оторвался от гроба, перекрестился, взял с подушки тяжелую корону, прикоснулся золотом к одной из костей, с ужасом отдернул руки и, отступив на один шаг, не спуская глаз с ящика, знаком приказал крестившемуся плотнику опустить крышку.

По группе лиц свиты медленно шел неясный испуганный шепот: в ящике ничего не было, кроме косы, нескольких костей и полуистлевшего сапога. Не было ни савана, ни венчика, ни иконы...

IX

После панихиды и коронования тела наглухо закрытый гроб Петра III был перенесен в Зимний дворец и поставлен на возвышение в castrum doloris. Возле него горели высокие восковые свечи, отсвечиваясь на золотой короне, положенной поверх гроба, и на серебряных касках бледных великанов гвардейцев, которые днем и ночью неподвижно стояли по углам у подножья. Рядом на возвышении стоял все еще открытый гроб императрицы Екатерины. Его тяжелая крышка стояла прислоненная к колонне и резала глаз, придавая мрачно-красивой картине castrum doloris несимметрический и недоконченный вид. В огромной зале целый день толпились люди. Утром и днем приходил простой народ, робея, поднимался по ступенькам, целовал руку государыни, выпростанную из-под кисеи, которой по шею было прикрыто тело, и проходил, очень довольный выполненным долгом, дивясь роскоши и блеску дворца. Общество же приезжало под вечер. Дворец был освещен слабо; только castrum doloris горел огнями бесчисленных свечей. В полутьме колоссальный зал был величествен и прекрасен. Одни и те же люди приезжали каждый вечер, повидать друг друга, поговорить. Среди лиц, отдававших последний долг Петру III, украдкой показывали его убийц. По ночам устраивались дежурства придворных кавалеров и дам, офицеров гвардии и собственно всех желавших. Немногие долго оставались в зале, так как в ней было холодно (окна не закрывались). В соседних же комнатах время проводилось приятно. Пошла мода назначать свидания на дворцовых дежурствах, и пожилые богобоязненные люди неодобрительно качали головами. Были даже жалобы, но на них, в общем переходном неустройстве дел, не обращал внимания никто из новых людей, ведавших новым этикетом.

Штааль с восьми часов устроился в большой проходной затянутой крепом комнате, открывавшейся в зал прямо против castrum doloris. В ней свечи вовсе не зажигались. Лишь в камине горел огонь, освещая веером часть комнаты. Штааль сидел в покойном кресле, то наблюдая людей, попадавших в светлую полосу камина, то поворачиваясь к зале и вглядываясь в огни возвышения. Во дворце были знакомые офицеры, был и Иванчук (он приезжал ежедневно на весь вечер), но Штааль не искал их общества, так как поджидал Настеньку. Ждать надо было долго, и, чтоб убить время, он усиленно старался думать и делать тонкие наблюдения.

Спектакль на театре Баратаева не мог состояться из-за траура. Штааль два раза побывал в доме *старика* (так он упорно называл его в мыслях, хотя Баратаеву было не более пятидесяти лет). Старик собирался в Италию, и отчасти в связи с этой поездкой, отчасти независимо от нее ему нужен был секретарь; он, впрочем, ни разу не употребил этого слова и обязанности нужного ему лица определял не вполне ясно: по-видимому, надо было помогать ему — не то в научных изысканиях (с которыми связывалось путешествие за границу), не то в практических делах. Кроме знания иностранных языков, ничего не требовалось. А жалованье Баратаев предлагал такое щедрое, какого Штааль и не ожидал. Обращение старика было самое учтивое: он даже продолжал говорить Штаалю не только по-французски, но и по-русски *вы*, что в ту пору по отношению к молодым людям было довольно необычно. Во время визита он угощал Штааля вином, которое называл мальвазией, и, подливая, по-старинному говорил: «Совершенная дрянь-с»,— хотя вино было превосходное.

«Отчего же временно не принять? — думал Штааль.— Не понравится, уйду, вернусь в полк... Отпуск на три месяца мне, конечно, дадут — я до сих пор ни разу не брал отпуска... Интересно ведь поглядеть на Италию... Но главное, конечно, едет ли Настенька...»

Это действительно было самое главное. Однако старика об этом никак нельзя было спросить. Ответа на вопрос Штааль ждал от самой Настеньки. Свидание было назначено ей длинным страстным письмом, над которым он работал два дня, взяв в офицерской библиотеке Карамзина и «Новую Элоизу». Ответное письмо Настеньки, не очень грамотное, но чрезвычайно милое, Штааль носил на груди и был недоволен тем, что карман приходился не на самом сердце. Настенька принимала свидание в зале дворца. Но

освободиться она могла лишь к десяти часам вечера. Штааль рассчитывал повести ее в ресторан. О дальнейшем он *не смел думать* — так он говорил себе словами романов, когда, замирая, думал об этом дальнейшем: ни о чем другом он не думал в два дня, последовавшие за получением письма Настеньки.

Штааль посмотрел на часы — было девять. Он вздохнул и занялся наблюдениями. Для наблюдений место его было очень удобно. Почти все посетители проходили по черной комнате; многие останавливались и грелись у камина. Были здесь и сановники прошлого царствования, отличавшиеся видом несколько ироническим и растерянным. Их Штааль всех знал в лицо (это доставляло ему удовольствие). Реже попадались новые люди. У них, напротив, выражение было довольно пренебрежительное, точно они хотели показать, что вовсе им незачем здесь быть, что есть у них пропасть других, важных дел, но что они, несмотря на все, исполняют по доброй воле, из приличия эту не очень нужную формальность. И действительно, новые сановники не задерживались во дворце: поспешно всходили в castrum doloris, с озабоченным видом целовали государыне руку (никто, кроме простого народа, в действительности ее не целовал: все только нагибались и делали движение ртом, оставляя расстояние между рукой и губами) и быстро уходили: одни вниз по парадной лестнице, другие, самые важные, в покои нового императора.

Иванчук, разыскавший скоро Штааля, присел на ручку его кресла и положил Штаалю руку на плечо — это свидетельствовало о том, что он был во дворце свой человек и мог даже оказывать покровительство. Иванчук охотно бывал в обществе Штааля. Почти у всякого молодого человека имеет в жизни значение другой молодой человек, сверстник и соперник, на которого он поминутно оглядывается, щеголяя перед ним своими успехами, дразня его удачами, ревниво следя за его карьерой. Таким соперником, несмотря на различие их поприщ, был для Иванчука Штааль, и сравнение с ним Иванчук почти всегда и во всем считал для себя выгодным. Покровительственно похлопывая Штааля по плечу, Иванчук называл вполголоса по именам проходивших новых людей (он уже знал в лицо их всех, а с некоторыми даже оказался знаком): Куракиных, Кутайсова, Плещеева, Данаурова (Аракчеева, о котором много говорили, в этот вечер не было во дворце). Когда по черной комнате с легкой усмешкой прошел, нервно теребя пуговицу, Ростопчин, Иванчук поспешно встал с ручки кресла и

почтительно поклонился. Штааль почти механически сделал то же самое (да еще звякнул шпорами) и потом долго краснел, вспоминая прищуренные недоумевающие глаза и небрежный, еле заметный поклон Ростопчина.

— Знаешь, кто это? — вдруг зашептал над его ухом Иванчук, показывая взглядом на нескладного, дурно носившего мундир бригадира, который неловко вошел в комнату и остановился у камина.— Бобринский, сын Екатерины.

— Сын государыни? Ах да, от Потемкина?..

— Какой ты вздор несешь! От Григория Орлова. Или ты не помнишь? Он родился еще при жизни Петра, и Шкурин поджег свой дом, чтобы спасти матушку от беды...

— Как поджег дом?

Иванчук, видно, наслаждался эффектом своего сообщения и подавал его не торопясь:

— Ты не знаешь этой истории?.. Видишь ли, покойный Петя (Штааль не сразу догадался, что Петя — император Петр III) очень любил пожары и, где чуть что, всегда ездил смотреть... Ан, когда настал час матушке родить,— что тут делать? как от Пети скрыть? — Шкурин возьми да подожги свой дом на краю города... Государь тотчас поскакал туда на всю ночь, а матушка тем временем разрешилась от своего бремени... На следующий день встала на ноги как ни в чем не бывало — здоровье ведь у покойницы было неизобразимое... Неужто ты не слыхал?

— Враки,— ответил недоверчиво Штааль.

— Ничего не враки. После ропшинского дельца Екатерина было пожаловала сынку титул князя Сицкого, да както вышло неловко: ведь Сицкие, древняя фамилия, родовитее Романовых: они идут от князей ярославских. Конфуз, и нам, дворянству, обидно: как-никак, бастард. Так вот его переименовали в Бобринские, по пожалованному имению Бобрики... Матушка сына держала в черном теле, ну, так государь, разумеется, осыпает милостями: пожаловал ему графский титул, штегельмановский дом, а на днях даже громко назвал его братцем... Об этом весь Петербург говорит, один ты, конопляник, ничего не знаешь.

— А это кто с ним разговаривает? — спросил Штааль.

У камина с Бобринским остановился высокий немолодой кавалерийский генерал с умным и странным, противоречивым лицом: с губ его не сходила приветливая благодушная улыбка, но глаза у генерала были холодные, стеклянные.

— Не знаю, право, не могу вспомнить, хоть где-то мы, кажется, с ним имели знакомство,— смущенно сказал Иванчук.— Погоди...

Он отошел, с кем-то поговорил и вернулся к Штаалю с успокоенным видом:

— Немудрено, что я его не знаю: он, оказывается, приехал из Риги представляться... Да и ничего, брат, особенного: немецкий фон-барон, генерал фон дер Пален...

Штааль, не дослушав Иванчука, быстро сорвался с кресла. Вдали, во входившей группе молодых женщин, он увидел Настеньку.

X

Настенька приняла приглашение Штааля, потому что он очень ей нравился. Понравиться Настеньке было нетрудно. Почти ко всем мужчинам, ласково на нее смотревшим, она чувствовала сердечную признательность, которая легко и быстро могла превратиться в любовь. Физической любви Настенька не придавала большого значения, и ей трудно было отказать в ней предприимчивому человеку, если в нем не было ничего противного и если он очень этого хотел. Хотели этого многие, однако любовников у Настеньки было крайне мало для артистки, которую даже строгие судьи признавали очень миловидной, а снисходительные — называли красавицей. Чаще всего между ней и людьми, которые ей нравились, становились случайные внешние препятствия. В любовной жизни Настеньки, как у громадного большинства людей, особенно женщин, эти препятствия,— отъезд, надзор, недостаток времени, отсутствие места для встречи, всего больше недостаток денег,— имели огромное значение. Иногда, думая о своей жизни (Настеньке редко случалось о ней думать), она сама дивилась тому, как все это странно вышло, как мало значения имела ее воля, ее желания во всем том, что с ней происходило. Поэтому она была набожна и особенно очень суеверна. Она знала все приметы: не клала пряжи на стол — сорок грехов наживешь; не оставляла ножа на столе — лукавый зарежет — и ждала гостей, когда дрова разваливались в печи; знала также лучшие ходы против каждой приметы, тщательно обдумывала сны и, хоть строго исполняла все религиозные обряды, кроме очень обременительных, но приметам и обходам примет придавала про себя гораздо больше значения. Она несколько месяцев была близка с актером-вольтерьянцем, который научно разъяснил ей неосновательность суеверия, называл все приметы бабьим вздором и строго запрещал ей стучать по дереву в тех случаях, когда это предписывала мудрость столетий. Настенька покорно слушала актера, восхищалась его

умом и ученостью, но стучала по дереву от него тайком. Актер, человек раздражительный, скоро ее бросил. Она не слишком этим огорчилась и почти не сердилась на актера. Настенька была чрезвычайно добра; во всем мире она ненавидела только двух женщин, из которых одна была артистка и чрезмерно важничала, а другая оклеветала Настеньку перед красивым офицером-преображенцем. По-своему Настенька была и очень неглупа, и чрезвычайно наблюдательна. И если Николай Николаевич Баратаев считал ее совершенной дурой, то главным образом потому, что не понимал женского ума: он считал дурами всех женщин, начиная с самой Екатерины.

Баратаеву Настенька вместе со всей труппой досталась по наследству от дяди. Прежний их владелец был страстный театрал, нанимал для артистов учителей и приглашал к ним Дмитревского. Баратаев же только раз пришел на спектакль, который ставила труппа, и не досидел до конца представления. Но тотчас согласился на все просьбы труппы и назначил актерам жалованье. Настеньку он заметил во время спектакля, поговорил с ней недолго, видимо тяготясь разговором, и затем равнодушно предложил ей прийти к нему вечером. Она была крайне польщена и тронута — тем, что он предложил, а не велел ей прийти. Все поздравляли Настеньку — как было не поздравлять? Но ей было боязно: артисты, расширяя глаза, говорили, будто новый хозяин — фармазон; он показался ей страшен, он, и весь дом его, и особенно черная спальня. Впрочем, Настенька не была лишена насмешливости и потом улыбалась, вспоминая, что спал ее новый владелец хоть и в черной комнате и под одеялом черного цвета, но не на досках, а на мягкой перине. В первый же день через управляющего ей были в конверте доставлены отпускная и деньги. Отпускная ничего не изменила в жизни Настеньки и так и пролежала у нее год, в том ящике шкапа с бельем, где хранились ее самые ценные вещи: письма трех человек, которых она любила больше других, золотое колечко с рубином и большой граненый флакон настоящих французских духов (она этими духами пользовалась только в самых торжественных случаях, а обычно душилась «Вздохами Амура» рижского производства). Старый актер, которому она раз показала свою отпускную, сказал, что документ составлен не по форме и не имеет никакой силы. Это известие тоже не очень огорчило Настеньку, так как она чувствовала, что без хозяина ей все равно не обойтись — не этот, так другой; а этот был лучше, чем другие.

Она, однако, не полюбила Баратаева, хотя, казалось, не имела причин не любить его: он был щедр и учтив с нею. Она чрезвычайно его боялась, особенно потому, что он смотрел на нее почти как на собаку; заговорить с ней как с человеком ему просто не приходило в голову.

Штааля же Настенька полюбила с первой встречи (по крайней мере, так она потом себе говорила). Он был беден и тщательно это скрывал. Скрывал он свою бедность довольно искусно; однако Настеньку можно было — и даже очень легко было — обмануть чем угодно другим, но никак не этим. И ее особенно трогало, что молодой красивый офицер в блестящем гвардейском мундире проделывает все те фокусы прячущейся бедности, которые она так хорошо знала. Ей-то, собственно, прятаться не приходилось: все понимали, что у нее ничего нет; но самая профессия артистки требовала, на сцене и в кулисах, постоянной подделки под роскошь.

Штааль, разыгрывавший перед нею роль богатого офицера-кутилы, не знал и не думал, что Настенька, раздобыв его адрес, тайно приходила в дом, в котором он жил, и выспрашивала о нем дворника. Ей стало, таким образом, известно, что он живет в двух комнатах, не имеет прислуги, кроме денщика, и не держит лошадей; что он иногда сидит без гроша; что из ресторана по нескольку раз приходят со счетами; что лавочник говорил даже нехорошие слова и грозил жаловаться начальству офицеришки. Для чего Настенька тайком приходила наводить справки о Штаале, едва ли было ясной ей самой: никаких денег она от него не ждала, а может быть, и не приняла бы. Но сведенья эти (особенно о лавочнике) доставили ей тайную отраду. Если б оказалось, что Штааль живет в собственном дворце, имеет десятки слуг и лошадей, это тоже было бы приятно Настеньке, но по-иному и не так приятно. Она, разумеется, желала Штаалю всякого добра, но при мысли о том, что у него никого и ничего нет, что ему часто приходится туго, у ней по ночам, как если б она его ненавидела, сладко сжималось сердце. Мысленно она его называла «маленький», хоть он был среднего роста и только пятью годами моложе ее. Из любви к нему она при встречах своими замечаниями и вопросами давала понять, что считает его тем богачом-кутилой, под роль которого он почти бессознательно подделывался.

Штааль, собственно, не хотел обманывать Настеньку и, как правдивый человек, только редко лгал без необходимости. Но роль гвардейца-мота, в которую он, по его мнению,

сразу попал в глазах Настеньки, была все же приятная роль; выходить из нее не хотелось, а после первых дней знакомства было уж и не так удобно. Для успокоения совести Штааль говорил себе, что женщин надо *брать* обаянием силы и богатства: он не знал, что одни этого достигают силой и богатством, другие — слабостью и бедностью. В его положении было возможно лишь второе, да он и сам тревожно задумывался — что же будет *потом?* Очевидно, Настеньке пришлось бы *назначить содержание.* Но где его взять? Как сказать ей правду? Как она правду примет? Штааль гнал от себя эти мысли. В этот вечер у него были деньги; он предполагал повезти Настеньку за город, и счастье, которого он ждал от ночи, вытесняло все тяжелые мысли и заботы. «Не все ли равно? Хоть день, да мой!» — говорил он себе все решительнее.

Настенька тоже многого ждала от свиданья. Две ночи подряд она провела с *утиральником Венеры* на лице: от веснушек мазала нос раздавленными сорочьими яйцами, натирала для гладкости щеки дынным семенем, тертым с бобовой мукой, а отправляясь в Зимний дворец, надушилась французскими духами из граненого флакона, чуть подрумянилась кошенилью и выбрала самую модную мушку, изображавшую карету четверкой. В таком виде никто не мог ей дать более двадцати двух лет. На самом деле ей было двадцать восемь, и немало огорчения доставляло ей то, что женщины гораздо старше, которых она знала, тоже любили мальчиков и что над ними из-за этого втихомолку смеялись.

Настенька пришла на полчаса раньше условленного времени. Несколько артисток собрались вместе для посещения дворца. Настенька мало их знала, хоть с ними брала уроки у Дмитревского. У них были общие интересы по пьесам, которые они играли, по знакомым, которые за ними ухаживали. Но все же положение их было совершенно различное, в зависимости от того, каков был их хозяин. Среди них три были крепостные и две вольные, но и вольные зависели от хозяев. Все они кое-чему учились и, за исключением познаний во французском языке, мало отличались по образованию от дам и даже от многих мужчин лучшего общества. Близости между актрисами особенной не было — они условились пойти во дворец вместе только потому, что в одиночку было бы боязно. Должна была идти с ними еще шестая, но она как раз в этот день за плохо выученную роль

Армиды была на двое суток посажена *на стуло*. Разговор всю дорогу и шел о строгости владельца этой артистки. Говорили о нем с ужасом и с затаенным интересом.

Настенька намекнула своим спутницам, что должна встретиться во дворце с одним конногвардейским офицером. Когда Штааль, весь вспыхнув, подошел к ним, артистки с любопытством оглядели его с ног до головы и тотчас простились с Настенькой, подчеркивая свою скромность и знание приличий. Штааль даже не посмотрел им вслед, хоть редко не оглядывался на молодых женщин.

— Еще нет десяти,— радостно сказал он, от смущения зачем-то вынимая часы, как если бы ему было неприятно, что она пришла получасом раньше, и еще больше покраснел, сообразив нелюбезность своего замечания. Настенька тоже сконфузилась, хотела сказать что-то в свое оправдание, но встретила его влюбленный взгляд и улыбнулась. Штааль оглянулся — его кресло уже было занято,— он сердито посмотрел на того, кто его занял, и подвел к камину Настеньку, которая тотчас стала усиленно греть руки у огня, скрывая свое смущенье. Штааль, до того все обдумывавший, как бы деликатнее разузнать, едет ли Настенька за границу, в первую же минуту прямо ее спросил об этом и замер от радости, услышав ее ответ: ей как раз накануне Баратаев кратко сказал, что собирается с ней в Италию. Но толком она еще ничего не знала: не решилась задавать вопросы, как ни удивило, ни обрадовало и ни испугало ее это известие.

— Так и я же поеду с вами! — горячо воскликнул Штааль.

Настенька задумалась, спрашивая взглядом, говорит ли он правду и хорошо ли это, если он в самом деле с ними поедет.

— Вам служить надо,— нерешительно сказала она.

— Я возьму отпуск...

Она радостно кивнула головой, точно теперь решила, что это хорошо, и протянула ему руку. Он быстро поцеловал ее, вспыхнул и оглянулся: никто не обратил внимания. Настенька тоже покраснела: артисткам не целовали рук.

— Настенька, поедем кататься за город,— сказал Штааль умоляющим голосом.

Она опять немного подумала, как после каждого его замечания,— все боялась ответить не так, как требовалось.

— Только вы о катаньях думаете, все вам, проказе, проказничать,— строго сказала она и тотчас добавила: — Да ведь у вас дежурство?

Штааль махнул рукой:

— Какое дежурство! Никто и не думает дежурить... Померла старушка, поплакали, и будет...

Настенька широко раскрыла глаза:

— Это государыня-то? Не стыдно вам!.. Такая красавица была! Другой такой не сыщешь...

— Можно сыскать другую, и даже далеко ходить незачем,— галантно сказал Штааль.

Она быстро недоверчиво на него взглянула, хоть как будто ждала этого ответа.

— Уж я не знаю, где это вы другую такую сыщете,— сказала она, вспыхивая.— А я пришла проститься с государыней...

Настенька повернулась и пошла в большую галерею. Штааль, очень собой довольный, последовал за ней. Она поспешно оглянулась, тряхнула головой, ускорила шаги и со строгим выражением на лице стала в очередь, которая образовывалась перед узкой лестницей, поднимавшейся в проход castrum doloris. Штааль остановился на пороге залы, уступая место дамам: в хвосте между ним и Настенькой успело стать несколько человек. Он увидел ее на верхней ступени лесенки и задержался глазами на ее шелковых чулках. Настенька опять оглянулась, поймала его взгляд и, быстро поправив юбку, скрылась в ротонде.

Очередь передвигалась быстро. Сильно запахло ладаном и еще чем-то непривычным. Штааль очутился на возвышении. Перед ним снова мелькнула в желтом свете свечей бледная крестившаяся Настенька, и тотчас ее опять заслонили... Щурясь от света, он старался не смотреть по сторонам и небольшими неровными шагами подвигался вперед, следуя за движениями других и делая то, что делал штатский господин впереди его. Вдруг сбоку показалось что-то желто-белое, страшное... В памяти Штааля мелькнула государыня в Среднем Ермитаже, потрепавшая его по щеке, когда он *там* целовал ей руку... Он чуть не вскрикнул, сжал зубы, толкнул замешкавшегося господина, который испуганно смотрел на золотую корону, и, быстро пройдя мимо него, спустился по выходной лестнице ротонды.

Настенька, сидя на небольшом диване (около castrum doloris диваны были не заняты), вытирала платком глаза. Перед ней стоял Иванчук.

— Настенька, тужур белль,— говорил он.— Ну, как живем?

Он увидел Штааля и почему-то немного смутился: Иванчук знал об их романе, как вообще знал все обо всех. Он многозначительно улыбнулся и подмигнул Штаалю.

— Здесь теперь все встречаются,— сказал Иванчук, показывая тоном, что ему-то вполне естественно тут быть, а вот удивительно, как она сюда попала.— Особливо влюбленные парочки. И то сказать, место: *они* ведь тоже были влюбленной парочкой,— сказал он, показывая рукой в сторону ротонды, и засмеялся своим неполным, неуверенным смехом.

Штааль не ответил даже улыбкой, а Настенька немного изменилась в лице.

— Сидеть здесь нет ни резону, ни радости,— продолжал Иванчук.— Пойдем... Ведь ты хотел повеселиться за городом? И добрая мысль — ночь хорошая, нехолодно, только снегу, жаль, мало. Я вас провожу... Да не сюда, так гораздо ближе...

Он повел их в вестибюль кратчайшей дорогой, которая была хорошо ему известна.

XI

— Куда бы нам поехать? — спросил Штааль, выходя из дворца и с недовольным видом оглядываясь на Иванчука, который вышел вместе с ними.— Настенька, хотите на Мельгуновский остров?

— Ну нет, зачем на *Елагин* остров? — ответил уверенно Иванчук.— В Петербурге теперь от полиции нигде нет проходу, того и гляди нарвешься на скандал. Махнем-ка в «Красный кабачок»? Туда нахтвахтеры пока не суют носа... А?

«Он, что же, с нами собирается ехать? Экой прилипчивый!» — подумал, морщась, Штааль.

Иванчук, по-видимому, угадал его мысль и, взяв Штааля за рукав, сказал ему тихо, так, чтобы Настенька не слышала:

— Вот что, монкер, ты не бойся, я тебе мешать не буду. Доедем до «Красного кабачка» вместе, а там ни вю, ни коню: у тебя твое, у меня мое...

«Разве что так»,— подумал Штааль, удовлетворенный тем, что общество устами Иванчука уже признавало его преимущественные права на Настеньку. Кликнув извозчика, Штааль приказал громким голосом:

— В «Красный кабачок»! И живо: два рубля на водку...

«Почему два? Экой я дурак!.. Надо было сказать: три рубля...»

Иванчук посмотрел на него с неудовольствием и твердо решил, что уже из этих двух рублей он никак не возьмет на себя половину: «Никто его не просил сулить на чай за мой счет. И совсем это не нужно: что за мальчишество!» — подумал он: втайне он надеялся, что совсем не будет платить.

Венская карета, перенесенная с колес на полозья, была небольшая, с узким сиденьем спереди. Иванчук скромно хотел было сесть спиной к лошадям. Штааль из вежливости запротестовал в качестве хозяина Настеньки. Начался вечный спор людей, садящихся в экипаж.

— Да сядем рядом, втроем поместимся, и теплее будет,— сказала Настенька, опуская муфту, которой она прикрывала рот: ночь была не очень холодная, но все известные артистки и певицы прикрывали вечером рот муфтой.

— И то правда,— подхватил настроенный сговорчиво Иванчук.

Штааль поднял брови. Втроем сесть рядом было трудно, и если б Настеньку посадить посредине, то она оказалась бы на коленях у него и у Иванчука, который, по-видимому, ничего против этого не имел. Штааль первый вскочил в карету, помог взойти Настеньке и без разговоров, с решительным видом, усадил ее к себе на колени. Она было пискнула, но не сопротивлялась. Штааль, задохнувшись от счастья, взял из ее рук муфту и положил рядом с собой на сиденье кареты. Для Иванчука оставалось достаточно места по другую сторону муфты.

— Ну, садись же,— сказал Штааль, глядя на него с видом ироническим и торжествующим. Иванчук негромко хихикнул, но послушно сел на указанное ему место. Карета тронулась. Первое время разговор не клеился. На вымощенных улицах сани трясло — снега было мало,— и раза два их шатнуло так сильно, что лица Настеньки и Штааля как-то встретились на боковой стенке кареты. Толчки повторялись (даже после того, как экипаж съехал на немощеную улицу), и Штааль немного им помогал, все больше пьянея от счастья. Настеньке было тоже очень приятно, хоть и не так, как ему: сидеть было твердо, нельзя было опереться, и немного ее тревожило, все ли у нее в порядке сзади: как волосы, не запачкан ли воротник?.. Она сильнее прежнего чувствовала, что в любую минуту может без памяти влюбиться в «маленького», если еще не влюбилась,— но, кажется, уже влюбилась без памяти,— ну да, ко-

нечно, с первого дня... Иванчук философски пожимал плечами, хихикал, а при одном особенно сильном толчке сказал даже отечески: «Веселитесь, веселитесь, детки...» В действительности их игры были ему неприятны.

На заставе, которой, из-за новых порядков, побаивался Иванчук, все обошлось вполне благополучно. Сторож спросил было спросонья подорожную, но сам ухмыльнулся, подбежав к карете, и благодушно махнул рукою. Они выехали на Петергофскую дорогу и понеслись стрелою. В окнах загородных дач по сторонам таинственно мелькали редкие огни. Было немного страшно, Штааль был счастлив, как никогда в жизни.

Иванчук, прижавшись к своему стеклу кареты, называл имена владельцев дач: чем знатнее и богаче был владелец, тем с большим удовольствием он его называл, точно это все были его родные. Трудно было понять, как он различал дачи в темноте (он и в Петербурге знал чуть ли не все дома — какой кому принадлежит). Когда они промчались мимо дачи *Ба-ба*, Иванчук особенно оживился и напомнил, как они с Штаалем здесь кутили в первый месяц их знакомства. Воспоминанье это было приятно Штаалю (ему было очень хорошо в тот месяц) и вдобавок поднимало его престиж в глазах Настеньки. Но, к большой его досаде, Иванчук заявил, что, по его сведеньям, Штааль именно здесь, на даче *Ба-ба*, впервые постиг тайны любви. Настенька расхохоталась чрезвычайно весело (ее растрогало это сообщенье). Штааль сконфуженно отрицал сведенья Иванчука. Но тот уверенно настаивал на своем, предлагая *доказать*. В конце концов засмеялся и Штааль, подумав, что Настенька ведь не знает, когда именно это было, и, следовательно, не может сделать выводов, обидных для его самолюбия. Разгоряченный Иванчук стал напоминать разные подробности. Настенька хохотала все веселей, хоть ей было стыдно.

— Да, да,— говорил, улыбаясь, Штааль.— А ведь давно мы с тобой, брат, ведем знакомство...

Он желал переменить разговор. Ему вообще не нравился тон Иванчука, его грубоватая манера разговора в присутствии дамы: он не раз видел, как Иванчук, багровея, хватал малознакомых женщин и говорил им самые непристойные вещи в полной победоносной уверенности, что это и есть самая лучшая, самая модная манера ухаживанья: прежде все это могло быть иначе, а теперь признано необходимым поступать именно так. Штааль знал также, что уверенность свою Иванчук иногда передавал женщинам и

вообще имел у них недурной успех, значение и размер которого он, впрочем, сильно преувеличивал. Манера Иванчука теперь, в присутствии Настеньки, особенно не нравилась Штаалю. Но вместе с тем он чувствовал, что его интимность с Настенькой растет от вольного тона. Иванчук, как всегда, шутил долго и упорно. Раз установив тон разговора с человеком, он вообще нелегко и неохотно из этого тона выходил: ему уже было бы трудно говорить с Настенькой и Штаалем иначе как грубовато-шутливо, с отеческим оттенком, точно они были гораздо моложе его.

Фонари стали учащаться, откуда-то сбоку показался яркий красноватый свет. Вдали послышалась музыка. Сани подъезжали к «Красному кабачку». Штаалю было жаль, что они так скоро приехали: в карете было прекрасно. Он чувствовал легкое беспокойство, которое свойственно людям, впервые приезжающим в шумное общеизвестное место. Несколько мальчиков в красных костюмах бросилось им навстречу с красными бумажными фонарями. Один мальчик еще на ходу откинул подножку замедлившей движение кареты и заскакал на одной ноге, держа другую ногу на подножке и ухватившись рукой за ручку двери. Свет все усиливался, и звуки музыки становились громче.

XII

Иванчук поспешно соскочил, помог Настеньке выйти из кареты и галантно под руку проводил ее на крыльцо, предоставив Штаалю расплату с извозчиком. Настенька остановилась на крыльце и, не оглядываясь, читала какую-то афишу: она знала, что не нужно смотреть на мужчин, когда они расплачиваются,— всегда может выйти неловкость или даже неприятность. Иванчук неторопливо вернулся к карете после того, как извочик низко снял шапку (вместо обещанных двух рублей на водку Штааль сгоряча дал ему пять).

— Combien? [1] —спросил Иванчук, опуская руку в карман.

— Оставь,— пренебрежительно ответил Штааль.

— Никогда в своей жизни не позволю,— решительно возразил Иванчук, вынимая руку из кармана.— Собственно, сегодня мой черед платить. Ну, да так и быть, давай пополам...

---

[1] Сколько? *(франц.)*

— Оставь,— повторил Штааль еще пренебрежительнее: он знал по долгому опыту, что Иванчук всегда легко уступает в таких случаях, и не отказал себе в удовольствии. саркастически усмехнулся. Иванчук, однако, совершенно не заметил этой усмешки и бросил небрежно:

— Ну, мы с тобой сочтемся.

Толстый старый швейцар настежь открыл дверь и, почтительно наклонив в сторону булаву, кланялся гостям. Настенька, еще более умиленная щедростью Штааля (она и не оглядывалась на них, а все видела), вошла в переднюю «Красного кабачка» и остановилась перед зеркалом. Огонь свечей рванулся в сторону от ветра и стал выпрямляться. Музыка замолкла, издали послышалось несколько хлопков, затем смех. Швейцар, поспешно снимая шубы, сразу совершенно верно расценил гостей: понял, что платить будет не штатский (он его знал в лицо и не рассчитывал с него поживиться), а офицерик и что заплатит офицерик хорошо, хоть денег едва ли у него много. Настенька поправляла волосы, мужчины украдкой через ее плечо поглядывали в зеркало.

— Много нынче народа? — спросил тоном завсегдатая Иванчук.

— Еще будут-с,— ответил швейцар, открывая дверь. В первой комнате за стойкой сидела старая немка, вся увешанная медалями. Больше никого не было. Штааль вежливо ей поклонился первый (немка тотчас потеряла к нему уважение, которое она отпускала в кредит новым гостям) и приостановился, поправляя галстук и пропуская вперед Иванчука: он на беду никогда не был в «Красном кабачке» и не желал это обнаружить. Иванчук уверенно открыл перед Настенькой следующую дверь. Он вошел приосанившись; Штааль — горбясь: так по-разному у них выражалось смущенье.

В большой комнате гостей было немного, и сразу чувствовалось (в особенности по хмурым лицам официантов), что настроение вялое. Замешкавшийся скрипач с виноватым видом укладывал инструмент в ящик. У окна человек шесть играло в карты, тоже вяло, судя по тому, что игроки оглянулись на вошедших, а один из них продолжительным взглядом осмотрел Настеньку с ног до головы. Настоящая игра, *совет царя Фараона*, шла в дальней комнате, а здесь, за недостатком в той места, устроились не настоящие игроки. Столики, крытые белыми скатертями, были большей частью не заняты. Только в углу, за тремя сведенными вместе столами, усиленно *кутила* какая-то компания. Штааль

никого в ней не знал, но видел, что это господа не первый сорт: офицеры армейских полков и второклассных гвардейских (офицерам лучших полков гвардии их обычай в ту пору строго запрещал кутить с армейцами), двое штатских и несколько дам, сидевших вперемежку с мужчинами, что считалось неприличным: в обществе всегда сажали дам по одну сторону стола, а мужчин по другую. На столе стояли всего две бутылки шампанского и тарелка с вафлями, которыми славился «Красный кабачок». Иванчук кому-то поклонился с приятной старательной улыбкой и тотчас покосился на Штааля, как бы приглашая его оценить это знакомство. Но штатский, которому он поклонился (позже оказалось, что это богатейший киевский помещик), ответил не сразу, без всякой улыбки и несколько удивленно, точно не зная, с кем имеет дело.

Лакеи, оживившись при входе новых гостей, с низкими поклонами отодвинули перед Настенькой стол в другом углу. Настенька села конфузясь и от застенчивости обмахивалась веером, хоть ей еще никак не могло быть жарко. Иванчук, прищурив глаза, поспешно отстранил карту вин, которую почтительно раскрыл *метрдотель* на странице шампанских, и заказал устрицы и бутылку портера. Хотя это сочетание было очень модным, метрдотель отошел с несколько обиженным, холодным выражением. Штааль тоже был недоволен тем, что Иванчук распорядился, не спросив ни Настеньку, ни его (он не успел вмешаться). Смущена была и Настенька: она не совсем твердо знала, как едят устрицы.

Иванчук, отпустив метрдотеля, вскочил и с той же приятной улыбкой направился к большому столу, за руку поздоровался с киевским помещиком, достойно раскланялся с компанией и немного поговорил: каждый счел его знакомым других. Через некоторое время он уже вошел в это общество. Собственно, цели он при этом никакой не преследовал, так как важных особ здесь не было, а богатством киевского помещика он, очевидно, не мог воспользоваться. Но Иванчук так поступал по бессознательным побуждениям общительности и любви к знакомствам с приличными людьми. Перезнакомившись, он вернулся к своему столу в очень хорошем настроении и тотчас вполголоса назвал, как будто обращаясь к Настеньке, но в действительности сообщая это Штаалю, имя помещика и число принадлежащих ему душ и десятин, которое сильно увеличил. Потом принялся за устрицы, пил портер и говорил без умолку, все похваливая «Красный кабачок», объясняя случайностью и

трауром недостаток оживления в эту ночь и отсутствие видных людей. Он говорил так, точно был здесь хозяином.

— Ты знаешь, Екатерина останавливалась в «Красном кабачке» на ночь в 1762 году при походе на Петю. Может, здесь изволила забавляться с Алексеем Григорьевичем (Орлова Иванчук не называл Алешей)...

Настенька кивала головой, притворяясь, будто знает, кто такой Алексей Григорьевич и какой был поход в 1762 году. Ее мысли были сосредоточены на том, чтобы не совершить никакого неприличия: она украдкой посматривала на Штааля и делала с устрицами все то же, что делал он. Настенька слышала, что устрицы живые, и ела их с ужасом, думая о том, как им, должно быть, больно, когда их отрывают вилкой. Штааль пил портер и от непривычки к этому напитку становился все нервнее.

Иванчук подметил его недобрый взгляд и внезапно позвал его в другую комнату, к стойке с крепкими напитками.

— Настенька, mille pardons [1],— сказал он, поясняя Штаалю значительным взглядом, что имеет секретное дело.

«Если денег попросит, не дам,— сердито подумал Штааль.— За ним второй год моих двадцать пять...»

— Вот что,— сказал за дверью Иванчук вполголоса отеческим тоном.— Ты чего глазопялова платишь?

Штааль удивленно смотрел на него.

— Ты зачем сюда с Настенькой приехал? Дождался случая, так пользуйся,— в голосе Иванчука проскользнула вдруг зависть, и улыбавшееся отечески лицо его на мгновенье стало жестким.

— Здесь кабинеты есть? — спросил глухо Штааль.

— Зачем кабинеты, есть лучше. Об избушках слышал? Избушки Петергофской дороги... Снаружи elles ne payent pas de la mine [2],— с усилием выговорил Иванчук, очевидно гордившийся этим выражением.— Но внутри — ничего лучшего желать нельзя. Я много раз бывал... Хочешь, я тебе это аранжирую через здешних мальчиков?

— А ты? — поспешно спросил Штааль, у которого голова закружилась при мысли об уединенной избушке.

— А я, Бог даст, без вас обойдусь,— насмешливо сказал Иванчук.— Может, своего счастья поищу. Чай, свет на твоей Настеньке не клином сошелся... Или с теми посижу, очень они меня звали... Напоследок, к рассвету rendez-vous [3] здесь: столик за нами оставят, меня знают. Впрочем,

[1] Тысяча извинений *(франц.)*.
[2] Они не привлекательны *(франц.)*.
[3] Свиданье *(франц.)*.

ежели хочешь, заплати *метру* сейчас. И считай за мной половину...

Он отошел, подозвал пальцем одного из мальчиков и пошептался с ним, показывая глазами на Штааля. Мальчик кивал головой с видом полного одобрения.

— Все будет сделано,— успокоительно заметил Иванчук, возвращаясь к Штаалю.— Через полчаса он за тобой зайдет и покажет дорогу в избушку... Дай-ка ему что-нибудь вперед для поощрения. Ну, зачем так много?..

XIII

В большой комнате начинался новый музыкальный номер. Так как публики было мало, управляющий кабачка решил, что выпускать весь цыганский хор не стоит. Цыгане, открытые еще не очень давно Алексеем Орловым, все больше входили в моду и из разных стран стекались в Москву и Петербург: в Европе их пение, по странному душевному сродству волнующее русских людей, неизменно вызывало смех. В ту минуту, когда Иванчук и Штааль входили в большую комнату, безобразная цыганка, одна из наиболее известных в столице, уже сидела на стуле, скаля зубы и перебирая на коленях красный платок, очевидно взятый ею, чтобы занять руки (как опытные ораторы на трибуне припасают для этого карандаш или свернутую тетрадку). Рядом с цыганкой на низеньком табурете поместился молодой гитарист, который, собственно, не был цыганом и, видимо, очень об этом сожалел: по крайней мере, играл он с необыкновенной цыганской удалью, производя и пальцами, и плечами, и ногами, и глазами гораздо больше движений, чем было нужно. За стулом цыганки стоял высокий пожилой цыган, немного подделывавшийся под Алексея Орлова, который был кумиром всех цыган, осанкой и одеждой (только камни, заливавшие его нелепый костюм, даже издали не походили на настоящие бриллианты). Игроки с веерами карт в руках повернулись на стульях вполоборота. Штааль и Иванчук поспешно на цыпочках прошли мимо певицы, получив от нее на ходу отдельную извиняющую их улыбку, и уселись за стол, неслышно отодвинув стулья. Настенька сделала обиженное лицо (она действительно была немного обижена, больше на Иванчука, за то, что ее оставили одну). Штааль умоляюще-нежно посмотрел на нее: она тотчас его простила.

В ту самую минуту, когда певица стерла улыбку и пе-

рестала скалить зубы, дверь с шумом отворилась и в комнату не торопясь вошел грузный, старый, неряшливо одетый человек. На него зашикали с легким смехом. Певица сердито посмотрела на вошедшего и сделала знак гитаристу, который с удовольствием начал наново вступление. Старый человек принял виноватый вид, сел за первый свободный столик, рядом с игроками, и пробормотал довольно громко:

— Не буду, не буду, красавица... Тсс!..

Игроки с неудовольствием переглянулись, тотчас собрали веера карт и демонстративно положили их на стол. Один из них накрыл даже свою игру пепельницей. Грузный господин укоризненно покачал головой и еще раз внушительно протянул:

— Тсс...

Иванчук успел шепотом объяснить Настеньке и Штаалю, что это старый шулер, когда-то гремевший по всей России, но давно поконченный и отпетый. С ним решается играть один Женя... (он назвал титулованную фамилию), но и то лишь в комнате без зеркал, своими картами и с условием, чтобы партнер был без манжет и не имел в руках ни часов, ни табакерки, ни других предметов с блестящей отражающей поверхностью. Настенька с ужасом уставилась на шулера.

Вступление дошло до нужного места, и запел высокий цыган. По лицу его никак нельзя было бы понять, что именно он поет — грустное или веселое. Глаза его и высоко поднятые внутренние концы бровей изображали крайнюю тоску, но скулы и рот улыбались — это придавало ему глупый вид. Никакого голоса у него не оставалось — он, собственно, только подготовлял слушателей к пению цыганки. После того как она начала петь, цыган лишь делал вид, что поет. Ее же с напряженным вниманием слушали все в комнате, кроме двух или трех совершенно невосприимчивых к музыке людей. Улыбка на лице безобразной цыганки стерлась. Туловище ее и руки, сложенные на коленях, были совершенно неподвижны, и только голова постепенно тяжело раскачивалась все больше — стекла, висевшие на цепочках в ее ушах, так и ходили. Шулер облокотился на стол и закрыл лицо руками, точно скрывая рыданья. Он действительно плакал, но не столько от ее пения, сколько потому, что ночью, от вина и обид за день, его всегда клонило к слезам. Штааль слушал напряженно, глядя то на певицу, то на Настеньку. Он не знал, как расценивается знатоками эта странная музыка, и потому не имел о ней мнения

(подобно людям гораздо более взрослым, умным, самостоятельным, чем он, Штааль в своих оценках невольно считался с общепринятыми, даже тогда, когда сильно от них отступал). Но он по природе не был лжив и невольно, хоть нерешительно, чувствовал, что никакие знаменитые кастраты, ни одна итальянская опера не волновали его так, как это дикое пение. Цыганка была чрезвычайно ему противна. Он думал, что она, должно быть, очень грязна, и старался на нее не смотреть. Но от ее пения страсть его к Настеньке росла. Настеньку тоже волновала музыка, особенно потому, что она чувствовала, как он был взволнован. Ее волнение было бы еще сильнее, если б она не смотрела на певицу (ей некуда было девать взгляд: на Штааля она смотреть не могла, а на других мужчин — боялась). В цыганке же ее развлекали разные вещи: и то, что руки у нее много темнее лица, и то, настоящие ли бриллианты в ее ушах или нет, и если настоящие, то сколько они могут стоить и от кого она их получила. «Нравится она ему? — тревожно думала Настенька, сравнивая себя с цыганкой.— Я, правда, возьму лицом, но если она так поет?.. Ну и Бог с ним, мне ничего не надо»,— взволнованно-ревниво подумала она, оскорбленная его предпочтением цыганки, и вдруг, поспешным косым взглядом оглянувшись на Штааля, покраснела до ушей: не чувствовала до того его взгляда (из-за множества людей в комнате). То, что краска бросилась ей в лицо, доставило Штаалю наслаждение.

Пение окончилось, аккомпаниатор молодцевато взмахнул гитарой, привлекая и на себя часть внимания публики, певица кокетливо оскалила зубы. Иванчук покровительственно похлопал со всей публикой и, обратившись к Настеньке, заметил, что музыка делает в России, слава Богу, большие успехи. Покойный граф Скавронский, Петя, был, например, так музыкален, что разговаривал с прислугой не иначе как по нотам, речитативами, и отлично выучил прислугу: кучера должны были на вопросы отвечать ему октавой басами, выездные лакеи — тенорами, а форейторы — дишкантами.

Сказав это, Иванчук заметил в дверях мальчика, подававшего знаки, толкнул Штааля в бок и произнес с хитрым видом (очевидно, вперед придумал), тоном, не допускающим спора:

— Ну, теперь, дети, пойдем погулять — душно. А там поиграем в кегли...

Штааль встал, Настенька покорно поднялась с места, даже не удивившись, где и зачем ночью играть в кегли.

Когда швейцар подавал им шубы, Иванчук, еще пошептавшись с мальчиком, сказал Штаалю на ухо:

— За кегельбаном избушка, по правой стороне. Мальчик будет вас там ждать... Так прямо и идите.

XIV

Кегельбан и *тир*, обязательные во всех увеселительных заведениях, были расположены поблизости, в длинном деревянном бараке. Поздно ночью туда редко ходили гости, и незапиравшийся барак освещен был слабо. Прислуги уже не было. Иванчук, сопровождавший их до дверей барака, сказал ласково: «Поиграйте, детки, в кегли или во что хотите» — и исчез. Они вошли в полуосвещенное здание, пахнуло приятным запахом сожженных пистонов. У Настеньки немного кружилась голова от портера, от музыки, от усталости, от вечера в обществе красивых, хорошо одетых мужчин, всего больше от его близости. Штааль, прижимая локтем руку Настеньки, подвел ее к тиру (он очень волновался) и подал ей пистолет. Настенька с испуганной улыбкой отвела его руку — она боялась оружия. Штааль быстро прицелился и выстрелил в мишень. К большому его удовольствию, из мишени выскочила с шипеньем какая-то фигура. Запахло приятно. Настенька ахнула от силы звука и от изумления перед искусством стрелка.

— Вот, должно быть, страшно, ежели с вами у кого поединок,— сказала она, чтобы доставить ему удовольствие (он действительно так и просиял).— Вы, чай, стрелялись?

— Собственно... нет,— процедил Штааль несколько загадочным тоном, давая понять, что ведь не всю правду и скажешь о таких предметах. Настенька недоверчиво на него посмотрела и покачала головой.

— Выстрелите еще — тому арапу в брюхо,— сказала она и смутилась: не знала, прилично ли было сказать — в брюхо.

— Нет, Настенька, темно, плохо вижу,— ответил Штааль, не желая рисковать репутацией.— А вот в кегли давайте поиграем...

Он взял из огромного ящика шершавый шар и с поклоном (чувствовал себя бретером и маркизом) подал Настеньке. Она поправила шубу, неумело, сама улыбаясь своей неумелости, высоко подняла шар над головой и сверху вниз бросила его на узкую деревянную дорожку. Шар докатился почти до конца и слетел с дорожки на песок почти

у самой площадки, над которой горели два фонаря. Штааль побежал за шаром (были в ящике и другие шары, но он хотел бросить Настенькин), принес его и сказал тихо:

— Настенька, пари? Сейчас собью короля...

— Ан не собьете.

— Пари... Если собью, я вас расцелую...

— Ну, вот еще!.. Верно, выпили много?.. А если не собьете?

— Что хотите...— прошептал он, замирая от счастья, и быстро стал на ее место перед дорожкой, чтобы закрепить условие. Прицелился, как мог, старательнее, чем когда-то в училище, и, раскачав, бросил шар, который покатился по средней доске дорожки и вошел в темную полосу посредине кегельбана. Штааль еще успел оглянуться на смущенную Настеньку. Шар появился в полосе, освещенной крайними фонарями, ровно по средней доске вошел на площадку и сбил переднюю кеглю, за которой пошатнулся и упал король. Настенька вскрикнула, засмеялась и выбежала из барака. Штааль бросился за ней и нагнал ее: она шла, поспешно оглядываясь, не к «Кабачку», а в противоположную сторону. Там, по его соображениям, должна была находиться избушка...

— Не смеете, не смеете,— говорила, быстро оглядываясь, Настенька, ясно чувствуя, что он смеет и сделает. Дорога уходила в темноту. Свет «Красного кабачка» слабел. Дул довольно сильный ветер, не зимний, а осенний, шумный и нехолодный. На беззвездном, безлунном небе творилось что-то непонятное, быстро куда-то неслись черные скользящие громады... Вдали, на высоте, в старой лефортовой усадьбе, расположенной по другую сторону дороги, редкими красными четырехугольниками горели окна. Да еще откуда-то странный одинокий фонарь светился звездою,— казалось, легко было сосчитать ее иглы. В той стороне, по преданию, был Петровский редут. Таинственное поэтическое чувство, которое всегда темной ночью вызывает светящийся издали огонь, охватило Штааля и Настеньку. Они остановились. Настенька оставила муфту у швейцара и не знала, куда девать руки. Штааль схватил их, сжал и почти прислонил свое лицо к лицу Настеньки. Она ждала поцелуя, но он не поцеловал ее, точно хотел продлить удовольствие.

— Настенька, что я сказал?

— Глупости... На девятом взводе сказали...

— Что я сказал, Настенька? — повторил он, еще крепче сжимая ее руки.

— Поцелую, сказали... Глупости...— прошептала она, подчиняясь с наслаждением его властному тону.

— Неправда, не «поцелую»: я сказал, «расцелую»...

Штааль быстро привлек к себе Настеньку и поцеловал ее — нежно, легко, осторожно, совсем не так, как собирался.

— Теперь умереть,— прошептал он.

Настенька благодарно на него взглянула, хоть ей, как и ему, нисколько не хотелось умереть в эту минуту. Он неохотно ее выпустил (ей тоже стало жалко), и они быстро пошли вперед... Ветер рванул с воем. Небо становилось все страшнее. Им вдруг стало неуютно. Точно что-то внезапно изменилось и начало быстро слабеть... Не говоря ни слова, они шли дальше. Тревога их все нарастала. Вдруг откуда-то сверкнул красный огонек, и ломающийся голос окликнул:

— Здесь, барин...

Штааль вздрогнул. Мальчик с красным фонарем в руке выступил из-за избушки, стоявшей в нескольких саженях от дороги. Настенька с ужасом на него глядела. Мальчик поставил фонарь на землю и принялся огромным ключом отпирать тугой замок. Штааль суетился и говорил Настеньке что-то несвязное, чувствуя, что вышло нехорошо. Верх замка поднялся. Мальчик снял замок, освободил скобку, потащил к себе дверь, туго поддававшуюся снизу, и внес дрожащий фонарь в избу.

— Настенька, войдем... Холодно... На минуту... Отдохнуть, Настенька...— говорил Штааль, почти насильно втаскивая ее в избу.

Мальчик зажег свечой фонаря восковую свечу, прикрывая ее от ветра красными грязными руками. Свеча тотчас погасла. Он снова зажег и поспешно надел колпак. В избе все было как в кабинете ресторана: ковер, бархатный диван с помятыми подушками, кресла. На столе, около тарелки с фруктами, лежали апельсиновые корки и был разбросан пепел, понесшийся по избе от ветра. На полу стояли лужи от занесенного сапогами снега.

— Но как же не убрали? — вскрикнул Штааль с порога.

Он чувствовал все яснее, что вышло очень нехорошо, что совсем, совсем не вышло. «Этот пепел!..» Мальчик, глупо улыбаясь, смотрел на господ и, видимо, ждал денег. Штааль поспешно дал ему на чай.

— Пошел вон! — сказал он сердито.

— Ключ, барин, потом, когда запрете, не забудьте захватить,— напомнил, исчезая, мальчик.

— Настенька, присядьте, умоляю вас,— прошептал Штааль дрожащим голосом.

Быть может, этим он окончательно испортил свое дело. Его мольба и отчаянный вид испугали Настеньку. Она покачала отрицательно головой, не спуская с него глаз, и попятилась к выходу... Ветер рванулся в избу и погасил свечи. Настенька вскрикнула. Тотчас, с болью и облегчением, Штааль почувствовал, что ничего не будет...

Он больше ее не удерживал, хоть продолжал, весь бледный, говорить бессвязные слова...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

К послу султана Эссеиду-Али был приставлен Директорией чиновник министерства иностранных дел, свободно говоривший по-турецки: посол никогда не был во Франции и французским языком владел плохо. В сопровождении чиновника Эссеид-Али в день своего прибытия в Париж осматривал с утра город, разъезжая в роскошной коляске, на запятках которой стояли два раба — один в синем, другой в красном костюме. Рабы были огромного роста, лица у них были зверские, и чиновник министерства иностранных дел, сидя рядом с послом в коляске, все время ежился, неприятно ощущая за своей спиной присутствие этих диких людей. Прохожие останавливались на улице и смотрели, выпучив глаза, на странную коляску, затем, догадавшись, в чем дело (о приезде посла уже сообщили газеты), радостно повторяли: «Le grand Turc!», «Voilà l'envoyé du grand Turc!..»[1] И только один хмурый человек в якобинском костюме с синим воротником, глядя в упор на Эссеида-Али, закричал со злобой: «Vive la République!»[2]

Посол, красивый горбоносый турок с черными глупыми глазами, все время нервно разглаживал холеной большой рукою в перстнях длинную черную бороду. Эссеид-Али чувствовал себя в Париже неловко. В этот день был назначен его торжественный прием у Директории. Он не знал, кроме министра иностранных дел, никого из людей, составлявших французское правительство, и даже в их именах разбирался плохо. Он вообще знал очень мало. Но ему было известно, что люди эти, незнатной породы, отрубили голову своему султану, и в суждении Эссеида-Али они мало отличались от тех мужиков-инородцев, называвших себя

[1] «Великий турок!», «Вот посланец великого турка! » *(франц.)*
[2] «Да здравствует Республика!» *(франц.)*

армянами, сербами, молдовалахами, македонцами, которые иногда ни с того, ни с сего устраивали кровавые восстания и убивали своих законных господ. Этих мужиков потом усмиряли султанские войска: сжигали деревни, вырезывали часть населения, а главных зачинщиков сажали на кол. В подобных усмирениях не раз участвовал и сам Эссеид-Али, владевший огромными поместьями на берегах Дуная. Именно так, по общему складу мыслей посла, следовало поступить с французскими мужиками, к которым он был прислан. Но по соображениям, известным султану Селиму, так поступить с ними было теперь невозможно: послу, напротив, предписывалось соблюдать в сношениях с Директорией особую любезность. Он строго соблюдал то, что ему предписывалось. Кроме того, Париж, в отличие от болгарских, македонских и молдовалашских деревень, при усмирении которых случалось присутствовать Эссеиду-Али, сразу чрезвычайно ему понравился. Гладя бороду рукой, поглядывая на залитые солнцем улицы, на нарядных женщин с незакрытыми лицами, посол думал, что французский город будет жалко сжечь, если сюда султан Селим для усмирения пошлет свои войска. Эти мысли удивляли Эссеида и немного утомляли: он не привык работать головою. Еще более озадачивало его то, что министр иностранных дел, по имени Талейран, которого он успел повидать, производил при первом знакомстве хорошее впечатление. Эссеиду-Али даже показалось, что такой министр, по уму, обращению и манерам, вполне мог бы занимать место во дворце падишаха. Этого человека тоже, несомненно, жаль было бы посадить на кол.

Когда коляска посла выехала на площадь Революции, чиновник приказал кучеру остановиться и пригласил посла полюбоваться самой прекрасной площадью в мире. Очевидная ложь вызвала презрительную усмешку на лице Эссеида: площадь Баязета в Стамбуле была, бесспорно, много красивее. Но и эта тоже была хороша в своем роде. Эссеид кивнул чиновнику головой и неторопливо вышел из коляски, опираясь на рабов, которые мигом соскочили с запяток. Он благосклонно окинул взором площадь, пышные деревья Тюльерийского сада, стройные колоннады Garde meuble'я, вынул из кармана платок, вытер лоб и выжидательно уставился на чиновника, как бы приглашая его рассказать о площади еще какую-нибудь выдумку, которую из вежливости нельзя, да и не стоит опровергать. Спутник Эссеида, очень утомленный двухчасовой поездкой — говорил почти исключительно он один,— вздохнул и сообщил

послу, что на месте, на котором они стояли, четыре года тому назад была отрублена голова короля Людовика XVI. Эссеид вдруг остолбенел. Чиновник подробно рассказал, где стояла машина, отрубившая голову королю, и показал статую Свободы, к подножью которой эта голова упала. Статуя Свободы, выкрашенная в розовый цвет, находилась в очень дурном состоянии. Обветренная, размытая дождями, она осыпалась повсюду — от ее груди и от шеи оставалось очень немного. Со скуки, не зная, как заполнить положенное на прогулку время, чиновник начал было переводить послу надпись на статуе Свободы: «Elle est assise sur les ruines de la tyrannie. La postérité...» [1] Но оказалось, что весь конец надписи был совершенно размыт дождем, и чиновник так и не мог вспомнить, что именно должна была сделать «la postérité». Это его, впрочем, не смутило, и он дополнил надпись от себя, приблизительно соображая, в каком духе она могла быть составлена. Но, взглянув во время рассказа на лицо Эссеида-Али, чиновник сразу замолчал, сконфуженно подумав, что послу султана Селима лучше было бы показывать что-либо другое. Они сели в коляску, и разговор не завязывался некоторое время. Выезжая с площади мимо отеля «Инфантадо», в котором все еще производилась продажа с аукциона имущества казненных аристократов, Эссеид-Али высунулся из коляски, оглянулся на площадь и плюнул, не обращая внимания на своего спутника. Чиновник долго не знал, как это понять и принять. К большому его облегчению, им как раз в это время повстречался известный всему Парижу экипаж артистки Анны Ланж, отправлявшейся на катанье в Пасси. Чиновник почтительно с ней раскланялся и взором знатока оглядел ее дюплановский светлый парик и модное платье à la vestale [2], стараясь запомнить все подробности для того, чтобы рассказать сослуживцам и самому министру. Мадемуазель Ланж, вместе с госпожой Тальен, была первой модницей Парижа. Говорили, что в ее гардеробе насчитывалось около тысячи платьев, тридцать париков, пятьсот пар туфель и дюжина рубашек. Посол тоже, видимо, заинтересовался красавицей. Морщины на его лице немного разошлись, и глупые глаза стали менее суровы. Он вопросительно посмотрел на своего спутника. С удовольствием переводя разговор на другой предмет и желая поразить воображение Эссеида-Али, чиновник сообщил ему, что мадемуазель

---

[1] «Она воздвигнута на руинах тирании. Потомство...» *(франц.)*
[2] В стиле весталки *(франц.)*.

Ланж самая дорогая из всех женщин в мире и что она берет не менее тысячи ливров в час. Посол задумался, затем вынул из кармана мешочек с деньгами, отсчитал двенадцать тысяч ливров и, передавая эту сумму растерявшемуся чиновнику, попросил вечером привести мадемуазель Ланж к нему на квартиру.

II

Принимать турецкого посла первоначально предполагалось в одной из зал Большого Люксембургского дворца. Но потом по разным причинам решено было устроить церемонию во дворе. Ожидалось огромное стечение публики. Директоры хотели обставить прием торжественно: народ отвык от церемоний и особенно от участия в них представителей чужих государств. Сношения с большими державами все не налаживались: иностранные дипломаты в Париже были преимущественно второго сорта. Пышный прием так кстати прибывшего *настоящего* да еще столь живописного посла должен был доставить развлечение парижанам и заодно поднять внутри страны престиж революционного правительства. А поднять престиж было очень нужно. Члены Директории чувствовали страшную ненависть, которая их окружала и могла прорваться наружу каждую минуту. Их безграничная власть им самим порою казалась сказкой, затянувшимся сном. Они знали, могли вспомнить и рассказать, как и когда эта власть им досталась. Они делали вид, будто всегда к ней готовились и не находят в своей судьбе ничего удивительного и неестественного. Но долгие десятилетия предыдущей их жизни, бедной, незаметной и бесшумной, тем не менее преобладали в их сознании над тем, что было теперь, и члены Директории так же не могли привыкнуть к привалившему счастью, как не могли подумать без ужаса о возможном его конце. Они то верили, то теряли веру в свою прочность и, когда теряли, начинали метаться и выискивать заговоры. В обществе происходило то же чередование настроений. Одни и те же люди иногда с изумлением себя спрашивали, каким чудом *это* еще существует; иногда с усталой безнадежностью говорили, что *это* будет существовать вечно. Иностранцы, очень желавшие знать мнение французского народа, решительно ничего не могли понять.

Церемониал приема султанского посла был старательно выработан членом Директории Бартелеми при помощи бывших дипломатов королевской службы, по лучшим образцам венского и лондонского этикета, чуть измененным для на-

добностей этикета революции. Представить посла Директории должен был новый министр иностранных дел Талейран де Перигор, бывший епископ Отенский.

Никто не мог понять, каким образом прошел в правительство этот, уже в ту пору почти легендарный человек, одинаково ненавистный всем партиям — якобинцам, умеренным, роялистам. Посвященные люди говорили, будто должность министра доставила бывшему епископу его новая любовница, госпожа Сталь, и тонко улыбались, упоминая о цене, какою известная писательница выпросила эту должность у Барраса, самого влиятельного из членов Директории. Но люди не менее посвященные отрицали *сплетню* и утверждали, что любовником госпожи Сталь состоит ее долговязый приятель Бенжамен Констан и что она, ради оригинальности, никогда не имеет одновременно несколько любовников. О взглядах и намерениях Талейрана говорили разное. Одни говорили, будто он сторонник партии Барраса, другие думали, что бывший епископ связался с Карно; третьи высказывали догадку, уж не подготовляет ли Талейран возвращение династии Бурбонов.

В день приема Эссеида-Али в Малом Люксембургском дворце, в котором жили члены Директории, с утра было волнение. Дворец был разделен на пять квартир, а сад при нем разбит заборами на пять участков. Между семьями разных жильцов дворца давно велась ожесточенная война. Жены директоров ненавидели друг друга еще больше, чем их мужья, и взаимная ненависть жен была не только следствием (как все думали), но отчасти и причиной раздоров, происходивших в Директории.

По городу упорно ходили слухи, будто три директора, Баррас, Рейбель и Ларевельер-Лепо, готовят государственный переворот и собираются отправить в Кайенну или даже подстрелить в суматохе своих двух товарищей по Директории — Карно и Бартелеми. С другой стороны, говорили, что Карно вступил в переговоры с темными людьми, которые брались за приличное вознаграждение зарезать Барраса и Ларевельера. Эти слухи становились немедленно известными всем жильцам Малого Люксембургского дворца и почти ни у кого не встречали особенного недоверия.

День церемонии выдался очень жаркий. С раннего утра госпожа Рейбель, не первой молодости женщина с чрезвычайно энергичным выражением лица, читала газеты, сидя в кресле в своем участке сада. За забором три женщины в белых платьях — госпожа Карно и ее сестры — склонились

над повозочкой, в которой отчаянно кричал ребенок, маленький сын Карно, названный отцом Сади в честь восточного мудреца. И ребенок этот, почти неумолчно кричавший целый день, и его мать, женщина слабого здоровья, нуждавшаяся в постоянном уходе, составляли предмет жгучей ненависти госпожи Рейбель. Демонстративно держа перед собой газету, она упорно делала вид, что не замечает и не желает замечать существования людей в соседнем участке сада.

С улицы донесся грохот замедлявшей ход тяжелой кареты. Послышался звонок. Госпожа Рейбель, взглянув поверх невысокого забора, увидела во дворе Малого Люксембургского дворца Талейрана в парадном костюме, радостно поднялась с места, уронив газету, и окликнула министра. Он оглянулся, подавил движение досады и с восхищенной улыбкой на лице вошел со двора в сад.

Как все женщины, госпожа Рейбель чувствовала к бывшему епископу Отенскому большое расположение, смешанное еще с чем-то другим. Хотя по своему служебному положению, как министр, подчиненный директорам, он был значительно ниже ее мужа, госпожа Рейбель никого в революционном правительстве не ценила так высоко, как Талейрана,— и потому, что он принадлежал к старой аристократии, и потому, что она еще задолго до революции слышала имя епископа Отенского, рассказы об его уме, дарованиях и успехах у женщин. Талейран с нежной улыбкой поцеловал обе руки госпожи Рейбель, потом повернул ее правую руку ладонью вверх и, не выпуская, поцеловал снова у рукава. Потянулся он к руке госпожи Рейбель так, как поцеловал бы руку у самого Рейбеля, если б это допускалось приличием. Но лишь только он коснулся губами пульса ее руки, ему вдруг показалось, что госпожа Рейбель, в сущности, не так нехороша собой и даже в ее лице есть что-то такое: для Талейрана уже не существовало некрасивых женщин. Госпожа Рейбель застыдилась, тем более что ногти правой руки были у нее не совсем чисты. Талейран молча восторженно улыбался и, по-видимому, не спешил завязать разговор. Госпожа Рейбель, оглянувшись в сторону садика Карно, стала расспрашивать о новостях. Талейран тотчас остыл. Он нехотя рассказал новости (очень не любил разговаривать с женщинами о политике), затем стал объяснять церемониал приема турецкого посла.

Из-за забора донесся крик ребенка. Три женщины в белых платьях засуетились над повозочкой.

— Sadi, toujours Sadi,— сказала, насмешливо подмиги-

вая, госпожа Рейбель.— Il crie jour et nuit... Pas une minute de repos!..[1]

Талейран сочувственно покачал головой.

— Et puis on s'appelle Paul, Jean, Pierre, ou bien Brutus, Gracchus, Lycurgue, mais on ne s'appelle pas Sadi! C'est ridicule, n'est-ce pas, citoyen ministre? Ces gens ne savent pas vivre...[2]

Они еще поговорили. Госпожа Рейбель, опустив глаза и слегка покраснев, спросила министра, правда ли, будто Баррас продал или продает свою любовницу, госпожу Тальен, разбогатевшему банкиру Уврару. Талейран подтвердил слух: сделка уже почти налажена, и это тем большая удача для Барраса, что Уврар вовсе не собирался покупать госпожу Тальен,— она ему не настолько нравится, чтобы платить за нее бешеные деньги. Госпожа Рейбель, окончательно покраснев, всплеснула руками — и тут только Талейран вспомнил, что ему нужно было выразить возмущение цинизмом Барраса. Он и сделал это с полной готовностью.

— А где ваш муж? — спросил он, подыскивая способ ускользнуть поскорее.

— Работает, конечно, как всегда: все выносит на своих плечах,— ответила госпожа Рейбель, на лице которой при этих словах изобразилась беззаветная готовность помочь мужу в его тяжелом труде. Госпожа Рейбель часто говорила о себе и еще раз при случае повторила Талейрану, что, в отличие от некоторых других жен, она настоящая *подруга жизни* своего мужа, разделяет его убеждения, симпатии, интересы, согревает его женской любовью и создает ему семейный уют для того, чтобы он мог спокойно делать свое дело. *Подруги жизни* составляли род женщин, которого совершенно не выносил Талейран. Он взглянул на госпожу Рейбель и почувствовал, что ошибся: она была точно нехороша собою, и ничего такого в ее лице не было. Дослушав ее слова, он посмотрел на часы, сделал испуганное движение, простился и вошел в вестибюль дворца.

Еще поднимаясь по лестнице, Талейран услышал резко повышенные голоса, доносившиеся из малой гостиной. Дверь была открыта. Войдя в эту комнату, он увидел, что там происходила ссора. Директоры, все в парадной форме, в синих, расшитых золотом костюмах, в белых жилетах и

---

[1] Сади, все время Сади... Он кричит день и ночь... Нет ни минуты покоя! *(франц.)*

[2] И пусть бы его звали Полем, Жаном, Пьером или же Брутом, Гракхом, Ликургом, но не Сади! Это смешно, не правда ли, гражданин министр? Эти люди не умеют жить .. *(франц.)*

при шпагах, были чрезвычайно взволнованы. Баррас и Карно стояли друг против друга с лицами, искаженными злобой, со сжатыми кулаками,— точно готовясь вступить в драку. Грузный Бартелеми, задыхаясь в тяжелом костюме, откинулся в глубоком кресле и, оттягивая левой рукой концы синего шарфа, обмахивал себя огромной шляпой, на которой висела трехцветная лента и шаталось плохо всаженное страусовое перо. Горбатый Ларевельер-Лепо кротко, с умоляющим видом, повторял:

— Tranquillisez-vous, citoyens... Voyons, mes chers collègues...[1]

Но его никто не слушал. Талейран видел, что Баррас нарочно в себе усиливает бешенство. «Чего он хочет?» — спросил себя бывший епископ. Он знал *вспыльчивый характер* Барраса, но по долгому опыту жизни вообще плохо верил во вспыльчивость: много раз замечал, что это чувство проявляется только тогда, когда его можно проявлять, и видел, что самые горячие люди прекрасно себя сдерживают, если положение и особенности тех, с кем они имеют дело, не допускают вспышек гнева... «Чего он хочет? — спросил себя Талейран, слушая раскаты могучего баритона Барраса.— Разрыва? Но почему же именно сегодня?»

— Ты!.. Ты!..— кричал Баррас.— Ты назначил главнокомандующим Бонапарта? Так ты ему пишешь, да? Лжец! Где ты был девятого термидора? Ты тогда прятался, тихоня! Ты сам с твоим другом Робеспьером резал людей!

— Неправда! Ты лжешь!..

— Подлец! Ты думаешь, я не видел ваших комитетских бумаг? На всех приказах о предании суду твоя гнусная подпись! Ты подписывался с краешка бумаги мелко-мелко! Ты не читал того, что ты подписывал, да? Или ты, может быть, не знал, что такое означало при Робеспьере предание суду революционного трибунала? Наивное дитя! Рассказывай это дуракам!..

— Ты лжешь, Баррас!.. Я не занимался внутренними делами, я создавал армию... Я организовал победу... Ты смеешь меня попрекать кровью? Сколько тысяч людей ты сам перерезал на юге?.. Ты — провокатор! Ты нарочно теперь готовишь вспышку народной ярости, чтобы перерезать своих противников!..

— Подлец! Это ты хочешь выдать нас всех своим новым друзьям-роялистам! Но погоди!..

Баррас с ненавистью смотрел на Карно, как будто соображая, ударить ли его или нет. Умное тонкое лицо *орга-*

[1] Успокойтесь, граждане... Полноте, дорогие коллеги... (*франц.*)

низатора победы совершенно побелело от гнева. Его рука привычным движением тянулась к эфесу шпаги. Но на боку на этот раз у него висела не обычная офицерская, а бутафорская шпага директора — ее и вынуть не так было легко из узких блестящих ножен. Не спуская горящих серо-зеленых глаз с Барраса, Карно инстинктивно готовился отбить удар противника, если тот вправду полезет в драку.

— Господа, турецкий посол будет здесь через четверть часа,— бесстрастно, ровным негромким голосом сказал Талейран.— Вы правительство, господа,— неожиданно добавил он — и против воли министра в его интонации вдруг проскользнуло совершенное презрение (он тотчас об этом пожалел).

— Voyons, citoyens [1],— снова заговорил кроткий Ларевельер-Лепо.

Директоры опомнились. Баррас презрительно фыркнул, сорвал с кресла синюю мантию и, эффектно перебросив ее через плечо, вышел из гостиной, хлопнув дверью, не очень крепко, но так, чтобы всем было ясно, что он не запер дверь, а именно хлопнул ею. Карно саркастически засмеялся, хотя ему было вовсе не смешно.

— Il faut en finir! [2] — угрожающе-неопределенно сказал он, сердито глядя на Талейрана, которого он очень не любил и чье замечание поразило его своей дерзостью.

Бартелеми облегченно заговорил с Ларевельером в примирительном духе: в сущности, вышло простое недоразумение. Они хотели восстановить, из-за чего началась ссора, но не могли: ее причиной была ненависть директоров друг к другу, а прямого повода не было никакого. Рейбель, плотный краснолицый веселый адвокат, отвел Талейрана в сторону и шепотом спросил его, не знает ли он, сколько именно денег получил Баррас за продажу Уврару госпожи Тальен. Талейран, не задумываясь, назвал очень крупную сумму. На лице Рейбеля выразилось возмущение, смешанное с восторгом: такой суммы он никак не ожидал.

— Nom de Dieu! [3] — воскликнул он, и в вырвавшемся у него восклицании вдруг сказался эльзасский акцент, от которого он сумел себя отучить.

Директоры надели мантии и спустились по лестнице. Внизу в вестибюле стоял, охорашиваясь перед зеркалом, Баррас. Он как ни в чем не бывало подошел к Рейбелю и весело с ним заговорил. Швейцар открыл двери настежь.

---

[1] Полно, граждане *(франц.)*.
[2] Пора с этим покончить! *(франц.)*
[3] Черт возьми! *(франц.)*

Карно, очередной председатель Директории, прошел первый. Баррас, нарочно задерживая Рейбеля, пропустил вперед и Ларевельера, и Бартелеми, подчеркивая этим, что первое место здесь не имеет никакого значения.

На дворе перед двухэтажным серым фасадом Малого Люксембургского дворца выстроилась гвардия Директории. При выходе Карно послышались слова команды. Гвардия взяла на караул. Забили барабаны. Карно торопливо пошел по направлению к Большому дворцу, все ускоряя шаги и видимо стараясь возможно скорее пройти мимо игрушечного фронта. Талейран сдерживал усмешку: ему вдруг стало как-то особенно ясно, что все это — глупая затянувшаяся шутка. Но у других членов правительства при грозном звуке барабанов краска радости и счастья бросилась в лицо: да, это для них выстроилась гвардия, это для них бьют барабаны, это они хозяева государства, они принимают султанского посла в старом дворце Медичи по церемониалу, выработанному герцогами и князьями, которые до них правили Францией. Рейбель молодцевато выпрямился, свел по-военному свои тонкие ноги, окинул взором гвардию и с достоинством отвесил два поклона — направо и налево. Вид его свидетельствовал о том, что он, хотя человек штатский, но революционный сановник, любит армию и знает ее обычаи. Ларевельер ласково улыбался, стараясь привлекать сердце народа кротостью и республиканской простотой обращения. Баррас догнал Карно и пошел все-таки рядом с ним, стараясь на него не смотреть. За ними, задыхаясь от жары и путаясь в длинной синей мантии, мелкими шажками бежал Бартелеми. У солдат и офицеров гвардии вид был угрюмый. Со стороны Большого Люксембургского дворца музыка заиграла «Марсельезу».

III

Эссеид-Али в двухцветном, бело-зеленом, тюрбане, в богатом горностаевом костюме, покрытом мантией фиолетового шелка, верхом на великолепной арабской лошади, которую вели под уздцы рабы, в сопровождении отряда конной гвардии подъехал к Большому Люксембургскому дворцу. Неторопливо сойдя с коня, не глядя на огромную толпу народа, заливавшую улицы, балконы, окна, крыши домов, не осматриваясь по сторонам и усиленно скрывая охватившее его любопытство и смущение, он медленно вошел в Большой дворец. Там его уже ждал министр иностранных дел. Посол молча обменялся с ним глубокими поклонами.

Секретарь-турок из свиты Эссеида благоговейно подал ему кусок красного пергамента, завернутый в белую кисею. Эссеид-Али набожно поцеловал султанский фирман и положил его себе на голову. На другом конце залы кто-то фыркнул. Но посол этого не услышал — он из всех людей, находившихся в зале, видел только министра иностранных дел. Лицо бывшего епископа Отенского сияло умилением и ясно говорило, что он был бы счастлив прикоснуться губами к подписи султана Селима, но не имеет на это права. Эссеид снова оценил поведение умного христианина. Еще раз поклонившись друг другу (посол при этом поклоне поднял с головы вытянутыми руками султанский фирман), они спустились в большой двор, тоже залитый народом. Посреди двора были устроены эстрады для правительства и почетных гостей. При появлении турка в богатом наряде, с руками, поднятыми к голове, по двору, смешиваясь со звуками «Марсельезы», пронесся гул изумления. Ждали странного человека, но он оказался еще более странным, чем думали. Турок, однако, сразу очень понравился парижской публике — каждый тотчас почувствовал, что он понравился всем другим, и это еще увеличило общую симпатию к послу султана Селима. Оркестр замолк. Настала совершенная тишина. Приблизившись медленно к срединной эстраде, Эссеид снял с головы фирман, снова его поцеловал и отдал Карно. Председатель привстал, взял в руки пергамент, что-то пробормотал и всунул фирман Бартелеми, который продержал его в руках до конца церемонии. Эссеид медленно низко поклонился три раза людям, сидевшим на эстраде. Директоры ответили ему поклоном. И тотчас чувство неудержимой радости с новой силой их охватило. Рейбель и Ларевельер-Лепо иронически себя настраивали в отношении турецкого дикаря и всей этой *китайщины*. Но улыбка самодовольства против их воли все шире расплывалась на их лицах. Бартелеми гордо оглядывался по сторонам, точно приглашая публику оценить по достоинству выработанный им церемониал. Баррас с завистью смотрел на драгоценные каменья, которыми с головы до ног был залит посол, и мысленно определял их цену. Только Карно чувствовал себя не в духе и с раздражением глядел на разукрашенного дикаря в меховом костюме. Ему хотелось возможно скорее кончить эту глупую церемонию и вернуться в свой кабинет к любимой работе над военной корреспонденцией, картами и планами кампаний. Вид многотысячной толпы волновал президента Директории — и раздражало его то, что после семи лет политической дея-

тельности он был не в состоянии побороть в себе нервное возбуждение перед краткой пустой приветственной речью, которую должен был произнести.

Отдав три поклона и приняв поклон Директории, Эссеид развернул лист бумаги и стал читать с восточным напевом, несколько громче, чем было нужно. Легкая волна гула пронеслась по двору и замолкла во всеобщем напряженном внимании. Речь посла была следующая:

— Le Sultan, qui règne aujourd'hui si glorieusement dans les états ottomans, souverain de deux continents et de deux mers, le très-majestueux, très-redoutable, très-magnanime et très-puissant empereur, dont la pompe égale celle de Darius et la domination celle d'Alexandre, mon très-bienfaisant seigneur et maître, m'a chargé de présenter à ses sincères amis, la très-honorable et très-magnifique République française, cette gracieuse lettre impériale, remplie des sentiments de l'amitié la plus parfaite et de l'affection la plus pure, et il m'a envoyé en ambassade près d'elle, pour augmenter avec l'aide du Très-Haut, l'amitié et la bonne harmonie qui subsistent si solidement et depuis si longtemps être la Sublime Porte et la France. S'il plaît à Dieu, pendant ma résidence, je n'aurai rien de plus à cœur que de chercher les moyens de resserrer les liens de cette amitié pure et sincère qui unit ces deux grandes puissances...[1]

Напев восточного приветствия оборвался. С невыразимым наслаждением слушали речь Эссеида члены революционного правительства. Это было именно то, что им казалось нужным: восточный стиль турка поднимал престиж Директории. Снова гул пронесся по толпе. На второй эстраде кто-то нерешительно хлопнул в ладоши. Бартелеми строго посмотрел в сторону, откуда раздались тотчас оборвавшиеся рукоплескания: по церемониалу аплодировать не полагалось. Карно сердито встал и, неслышно откашлявшись, нервно дернув щекой, стал читать ответную речь:

[1] Султан, который ныне столь славно правит в своих оттоманских владениях, повелитель двух континентов и двух морей, величайший, грознейший, благороднейший и всемогущий государь, величие которого равно величию Дария, а власть — власти Александра, мой благодетель, повелитель и господин, вменил мн в обязанность передать его искренним друзьям, высокочтимой и достославной Французской республике его благосклонное царственное послание, содержащее выражение самой искренней дружбы и наилучшие пожелания, и послал меня с миссией, дабы с помощью Всевышнего развивать отношения дружбы и доброго согласия, столь прочно и в течение столь долгого времени существующие между Блистательной Портой и Францией. Если будет угодно Богу, во время моего пребывания я сочту своим долгом лишь искать средства к укреплению уз чистой и искренней дружбы, которые соединяют наши два великих государства... (франц.).

— Monsieur l'ambassadeur de la Sublime Porte, notre amie... Le sultan Selim... [1]

Голос его звучал резко и неприятно. Бартелеми умоляюще смотрел на президента, как бы приглашая его не портить своим тоном настроение столь удавшегося приема. На задних эстрадах и в толпе, наполнявшей двор, напряжение тишины сорвалось. Главное было позади. Люди стали обмениваться впечатлениями, сначала шепотом, потом все громче. Конец речи Карно уже тонул в гуле голосов.

К министру иностранных дел, занявшему место поодаль, сбоку у второй эстрады, медленно приблизился сзади сгорбленный седой старик лет семидесяти.

— Епископ,— сказал он негромко, с усмешкой.

Талейран поспешно оглянулся, чуть вздрогнул и долго молча смотрел на старика.

— Вы?..— произнес он наконец тихим голосом.

— Как видите.

— Мы давно не встречались...

— Очень давно. В последний раз... Кажется, в последний раз я у вас завтракал перед революцией?.. В большом обществе... из которого не казнены только мы двое?

— Нет, еще Мирабо.

— Он умер, прах его выброшен из гроба: Мирабо почти казнен... Вы угостили нас прекрасным завтраком. Правда, постным — но вы тогда ждали кардинальской шапки. Отчего вы ее не получили? Она была бы вам очень к лицу...

— Помешала Мария-Антуанетта.

— Не сердитесь на нее: ей не повезло в жизни.

— Людям, которые со мной ссорятся, обычно не везет в жизни.

— Да, вы очень умный человек. Я хотел бы с вами побеседовать...

— И я тоже хотел бы. Но не сейчас... Как вас теперь зовут?

— Пьер Ламор.

— Когда бы?.. Приходите...— Он помолчал, соображая, и назвал число: — В десять часов на праздник в Elysée-Bourbon [2]. Вы спросите мой кабинет. Можете?

— Я приду.

---

[1] Господин посол Блистательной Порты, наш друг . Султан Селим... *(франц.)*

[2] Нынешний дворец президента Республики — *Автор.*

К министру иностранных дел подходил генуэзский посланник Бонарди. Талейран нагнул голову, прощаясь с Ламором, и приветливо протянул посланнику руку.

IV

— Нет, это бесполезно отрицать, Талейран. Террор великая, еще недооцененная сила. На нем нельзя построить столетия власти. Но кто же теперь гоняется за столетиями? А вообще, власть часто дается подлецам, которые режут врагов, не меряя кровь на литры. Резать так резать беспощадно... Робеспьер знал, что делал. Он только не понимал, что работает для других. Вот случай сказать: Sic vos non vobis [1]. Впрочем, это ему было, вероятно, все равно. Ему, может быть, даже было приятно подготовлять Францию для нынешних владык и для тех, кто их сменит. Ведь он все время собой любовался в зеркале истории... Террор! Говорят, покойный Бабеф пустил в обращение это слово... Хорошее слово! О, гильотина великая вещь, если палач умен и знает, чего хочет. Мы с молоком матери, почитательницы Руссо и Монтескье,— ведь наши маменьки все, не тем будь помянуты, почитали (не говорю, читали) Руссо или Монтескье,— мы с молоком матери всосали глупенькие газетные слова о том, что право выше силы! Я спрашиваю вас, епископ: где, когда в истории право было выше силы?

— Допустим, что и не выше. Но это не глупенькие слова: рано или поздно право всегда становится силой. Не знаю, как Руссо, а Монтескье дальше этого, вероятно, и не шел. Он был человек трезвый.

— Рано или поздно? Чаще поздно. И вовсе не всегда. «La violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre» [2],— вы помните зловещее слово Паскаля?.. Положение палача в споре его с истиной немало облегчается тем, что истин всегда несколько и они друг друга ненавидят гораздо больше, чем ненавидят палача. Наконец палач тоже непременно сколачивает для собственной надобности какую-нибудь захудалую истину... О, да не мне учить вас этому, Талейран, вы знаете все это лучше меня. Вы видите, что такое нынешняя Франция... Сила сопротивления французского народа сломлена революцией надолго. Навсегда ли? Не знаю, не ручаюсь. Но надолго. Жатва готова, пусть

---

[1] Вы, но не вам! (*лат.*)

[2] «Насилие и истина ничего не могут поделать друг с другом» (*франц.*).

только появится жнец!.. Могу вас уверить: он скоро появится.

Пьер Ламор вдруг встал, раздвинул портьеру и раскрыл окно, выходившее в сад. Пахнуло прохладой, густым ароматом очень поздно расцветшей липы, от которого при глубоком вздохе давит в голове, как от сразу проглоченной полной ложки мороженого. Где-то вдали, со стороны Елисейских полей, музыка играла «Ифигению в Тавриде». Было уже около одиннадцати часов вечера. Праздник давно кончился, и в саду бывшего дворца Elysée-Bourbon, освещенном лишь по небольшим участкам цветными фонарями, оставалась только избранная, особо приглашенная публика. Из гротов и беседок, разбросанных в разных углах сада, слышались голоса. Против окна комнаты, где стоял Пьер Ламор, происходило, по-видимому, что-то веселое. Там было устроено главное развлечение Елисейского сада, *панорама* из расставленных искусно огромных зеркал, принадлежавших в свое время маркизе Помпадур. Дорогие рамы их были освещены бумажными фонарями, и в этом участке сада было совершенно светло. Но Пьер Ламор не успел точно разглядеть, что именно там происходило: как только в первом этаже дворца из раздвинутой портьеры сверкнуло ярко освещенное, вдруг открывшееся окно, у панорамы раздались испуганные женские голоса, послышался пьяный смех, кто-то кратко неприлично выругался, и за зеркальную панораму, в темноту, скользнули обнаженные тела. Сбоку от зеркал находилась беседка, закрытая тяжелой раздвижной портьерой. Прислонившись лбом к щели портьеры, раздвигая ее над головой поднятыми руками, стоял спиной к Ламору какой-то грузный, пожилой человек. Над ним на проволоке горел красный фонарь, освещавший лысину, огромные бриллианты на пальцах, вцепившихся в бархат, и трясшиеся от смеха толстые плечи. Человек, смотревший в щель беседки, не оглянулся, когда у панорамы произошла суматоха.

Пьер Ламор закрыл окно (хотя в комнате было очень жарко), задвинул портьеру, нервно дергая ее, пока края не сошлись плотно, затем подошел к единственной двери большой, богато убранной, но грязноватой, запущенной комнаты, открыл ее, выглянул в коридор, снова запер дверь и вернулся к столу, на котором стояли остатки ужина. Талейран, не подходя к окну и не вставая, внимательно слушал, повернувшись назад в кресле, точно старался угадать по доносившимся звукам, что в саду происходило. Усталое лицо его было бледно; полуоткрытые глаза холодно блес-

тели из-под опухших век. Когда Ламор закрыл окно, Талейран принял в кресле прежнее положение, налил в бокал на две трети рейнвейна (это вино вошло в моду после занятия рейнских провинций революционными войсками) и стал пить, как пьют знатоки: взглянул через бокал на свечу, затем привычным движением двух пальцев придал ножке бокала вращательное движение и, когда золотая поверхность сравнялась с краями тонкого стекла, вдохнул, раздувая ноздри, аромат испарявшихся летучих частей вина, затем с «cul-de-poule» [1] отпил глоток и несколько секунд переливал холодную влагу во рту, пробуя разными участками языка и нёба, по-разному ощущающими вкус вина. Столетний иоганнисбергер из разграбленных погребов майнцского электора был превосходен. Бывший епископ, только недавно вернувшийся, после долгих лишений эмиграции, к прежней, привычной ему с детства, роскошной жизни, оценил вино по достоинству. Он поставил пустой бокал на стол, благодарно и почтительно поправил в ведерке бутылку, затем полуоткрытыми глазами уставился на Ламора, не говоря ни слова.

Ламор рассеянно обводил взглядом расписанный под Буше потолок комнаты, в которой они ужинали.

— Я бывал когда-то в этом дворце у маркизы Помпадур,— сказал он наконец.— Вы не бывали у нее, Талейран?.. Нет, по вашему возрасту вы, конечно, и не могли бывать... Милая была женщина и чудесные устраивала приемы... Теперь у нас принято умиляться,— вот еще сегодня в клубе «Клиши» какой-то роялист орал: «Во дворце святой мученицы, принцессы Ламбаль, устроен публичный дом!» Подумаешь! Я, кстати, терпеть не мог принцессу Ламбаль... В ее наружности было что-то странное и отталкивающее, еще до того, как ее муж — славный был мальчик, помните? — заразил ее сифилисом... Или вот этот дворец!.. «Помилуйте, в Elysée-Bourbon притон!» Да где же, собственно, и быть публичному дому, если не в бывшем дворце маркизы Помпадур? Там ли еще бывают притоны! Вы заметили, Талейран, веселые дома всегда устраиваются в таких местах, где их существование — прямой вызов исторической морали? В Милане лучший собор Италии со всех сторон окружен притонами публичных женщин. А Сион!.. Вы не были в Иерусалиме, епископ? Сионский холм — восточная rue Fromenteau. Вокруг гробниц Давида и Соломона ютятся арабские дома терпимости, нет, даже не

[1] Здесь. вытянув губы (*франц.*).

дома, а лачуги терпимости. Соломон-то, быть может, ничего не имел бы против этого, если б его предупредили три тысячи лет назад... Я не знаю более порнографической книги, чем «Песнь Песней». Подумать только, глубокомысленные комментаторы усмотрели в ней какую-то религиозную аллегорию, кажется, любовь церкви к Господу Богу или что-то в этом роде!.. Вот уж, можно сказать, были знатоки поэзии!

Талейран зевнул, взял с тарелки вилку и стал чертить ею по жиру манской пулярды.

— Вы не изменились... Философия притонов! Скептицизм невысокого полета! — сказал он.— Говорят, вы были лучшим украшением обедов барона Гольбаха. Но ведь Гольбах давно умер. Мы рассуждаем не о «Песни Песней». Я почему-то думал, что вы будете говорить о серьезных делах.

— Погодите, погодите, поговорю и о серьезных делах... А покойный Гольбах, кстати, тоже бывал в этом дворце. Я встречал его здесь у генерального контролера финансов — аббата Терре. Помните аббата Терре, епископ? Его упрекали в том, что он достает деньги из чужих карманов: «Il prend l'argent dans les poches!» — «Où voulez-vous que je le prenne?» [1] — резонно ответил министр. Революционное правительство делает то же самое, но уж очень гнусно это у него выходит. И так во всем: тот же старый режим, только гораздо грубее, обнаженнее, безобразнее... Я видал прежних правителей вблизи и знаю им цену. Мы жили худо, но все же не так гнусно, как живем теперь. Потомству нашему будет казаться, что революция расцветила, украсила жизнь. На самом деле жизнь была, в общем, гораздо ярче до революции. Нет ничего бледнее и беднее, чем революция. Ничто так не суживает душу, ничто так не извращает разум... Вы думаете, я идейно ненавижу якобинцев или Директорию? Нет, не только идейно. Конституция 1793 года ничем не хуже других конституций, даже, быть может, лучше и справедливее. Геро де-Сешель был образованный человек. Говорят, правда, он писал свою конституцию в пьяном виде — да чего только люди не говорят о тех, кто нарушает их интересы? Якобинские идеи не хуже других политических идей — они тоже могут увлечь лавочника... Нет, я ненавижу всех этих господ не мозгом — скорее, нервами кожи... Я презираю их, презираю их язык, их

[1] «Он берет деньги из карманов!» — «Откуда, по-вашему, я должен их брать?» *(франц.)*

обращение, жизнь, которую они создали, их хваленую *новую жизнь*... Презираю и ненавижу, ненавижу люто, Талейран. Когда кто-либо из них умирает естественной смертью, мое первое ощущение: как жаль, его нельзя будет повесить!

— Умерьте кровожадность. Повесить можно будет только очень немногих.

— Я и сказал, первое *ощущение*. Ощущение, а не мысль. Умом я понимаю, вы правы: повесить можно будет, к сожалению, далеко не всех. Слишком большое число мелких участников имеет это общество по эксплуатации и по распродаже Франции... Опять будет лотерея... А все-таки тех немногих я никому не подарю. О, будет у нас и другой террор, епископ!..

— Чем же тот другой террор будет лучше этого?

— Тем, во-первых, что восстановит равновесие. Квит — прекрасная вещь, и «не мы начали» — также хорошая вещь. Люди это любят: заметили ли вы, ни в одной армии в мире не существует *разведки* — всюду непременно *контрразведка*... Но еще и во многих других отношениях тот террор будет лучше...

Талейран с любопытством поднял глаза на старика, но никакого вопроса не задал. Не получив пояснений, он снова равнодушно стал чертить вилкой по жиру.

— О чем мы говорили, епископ? — спросил, помолчав минуты две, Ламор (ему, по-видимому, доставляло удовольствие называть своего собеседника епископом).— Да, о терроре, об истине, о насилии. Вы сомневались в том, что сопротивление французского народа сломлено восемью годами революции? (Талейран неопределенно пожал плечами.) Вот что я вам скажу, Талейран. Вы помните историю тринадцатого столетия? Не помните? Это было замечательное столетие. Оно немного напоминает дни нашей молодости. В то время *лучшие люди* уже начинали верить во всемогущество разума, в процесс бесконечный и неуклонный. Было вновь найдено римское право, эллинский гений возрождался, арабы, евреи воссоздавали древнюю науку, расцветало искусство: только что был отстроен собор Notre Dame de Paris. Лучшие люди были очень довольны. И вдруг гром грянул с неба: Гузман основал инквизицию. Лучшие люди долго не могли опомниться и поверить. Этакий неприятный сюрприз: инквизиция! «Не может быть, это непрочно, это не будет продолжаться! Бог не допустит! Не сегодня, так завтра гнев Божий сметет с лица земли людей, позорящих христианское учение!..» Они надеялись на гнев Божий, как

мы на волну народного гнева. Об этом говорил Бернард le Délicieux[1] — был тогда такой правдолюбивый монах,— об этом, много позже, говорила на костре Жанна, об этом говорил перед костром Гус,— помните письма Гуса, я не знаю трогательнее книги. И ничего, оказалось, инквизиция может существовать довольно долго: пережила и Бернарда, и Жанну, и Гуса. Что было *в конечном счете*, епископ? В конечном счете Гузман был объявлен святым; это святой Доминик. Он, впрочем, в самом деле был человек праведной жизни и основал инквизицию ради счастья людей. Талейран, когда же церковь канонизирует Гуса и Бернарда? А ведь она всегда следила зорко за душами, за умами людей. Если святым объявлен Гузман, а не Гус, значит, люди могли это принять. Инквизиционный террор сломил душу и разум человечества... Одно поколение уничтожается террористами, следующее — они уже воспитывают. И дело строится иногда довольно прочно... Не всегда, но иногда. Ведь я, счастливый современник якобинцев, ведь я был и современником инквизиции. Я лично знал Андре Дюлора, последнего инквизитора Франции; он был, кстати, недурной и просвещенный человек, гораздо симпатичнее Марата. Его должность упразднили лет двадцать назад — больше потому, что он повздорил с госпожой Дюбарри, которая пожаловалась королю. В других странах инквизиционный аппарат благополучно действует и поныне. В Испании еще недавно кого-то сожгли, к большому негодованию якобинцев. Эти поэты гильотины очень возмущаются костром... Они вообще чрезвычайно возмущаются, когда за границей делают какую-либо гадость. И часто возмущаются вполне искренне. Заметьте, Тартюф глуп: он почти не замечает своего лицемерия... Поверьте, Талейран, если Директория просуществует пятьдесят лет, Баррас станет великим человеком. Найдутся дураки, которые канонизируют Барраса! Долголетняя власть создает престиж любому болвану — и это единственное основание престижа многих исторических деятелей... Но, к счастью, Директория пятьдесят лет не просуществует. О нет, об этом кто-то позаботится, епископ!.. Говорю «к счастью», а то уж слишком это было бы глупо!

Он весело засмеялся, встал, прошелся по комнате, затем остановился перед Талейраном, глядя на него в упор.

— Давайте построим политический силлогизм по всем правилам логики. Признаете ли вы, что наше настоящее правительство состоит из отъявленных мерзавцев?

[1] *Дивный (франц.).*

— Как вам сказать? Легкое преувеличение, конечно, есть: Ларевельер-Лепо, например, человек искреннего убеждения.

— Правда? А я сомневаюсь. У Ларевельера *честный открытый взгляд.* Я плохо верю, чтобы у человека, поднявшегося на вершину власти, мог быть *честный открытый взгляд.* Слишком много луж расположено на пути к королевским и республиканским тронам — очень трудно пройти не оступившись. Кроме того, Ларевельер много говорит о своей честности; это в пору революции для меня безошибочный признак: значит, мы имеем дело с мерзавцем. Но пусть будет по-вашему. Случайное исключение можно оставить в стороне... Я иду дальше... Признаете ли вы, что, кроме Карно, мерзавцы, стоящие у власти, вдобавок совершенные ничтожества?

— Это главное...

— Разумеется. Тогда простите, мне не совсем понятно: зачем же вы связали себя с гибнущей Директорией? Вы, один из умнейших людей нашего времени, состоите подчиненным Бартелеми, Барраса, Ларевельера! Вы исполняете их мудрые предначертания! Какое падение, Талейран!

— Директория еще не гибнет. Она продержится — до первого крепкого толчка...

— Нескромное замечание, епископ: вы не боитесь, что при первом крепком толчке вас могут повесить?

— Не думаю.

— Я знаю, вы в день крепкого толчка самоотверженно броситесь на помощь победителю. Но победители бывают злы и злопамятны.

— Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь.

— Не буду настаивать... Пойдем дальше: кто же, по-вашему, нанесет крепкий толчок? Роялисты? Едва ли. Уж очень они глупы. И уж очень их боятся те, кто унаследовал их земли... Нет, у роялистов нет светлого будущего — и слава Богу: надоели! Бурбоны и теперь, после казни Людовика XVI, на хлебах у сумасшедшего русского императора и полоумного английского короля, продолжают твердо верить в свое божественное право, в божественное право всех монархов, здоровых, полоумных и сумасшедших... Нет, пусть посидят за границей.

— Мы их позовем, когда у них убавится веры в божественное право...

— Или вовсе не позовем. Пойдем еще дальше... «Клуб Пантеона»? Партия Бабефа? «Манифест равных»? Я не отрицаю будущего коммунистических идей. Я хочу сказать:

всегда будут люди, которые будут думать, что у этих идей есть будущее. Но настоящего у них никогда не будет... Впрочем, что же о них говорить: клуб Пантеон закрыт, и Бабеф казнен — вечная память!

— Ну а чистые демократы? Или Кондорсе был последний?

— Демократия, Талейран? О, это игрушка с большим будущим. Демократия спасет мир, она же его потом и погубит. Вы любите «Discours de la méthode»? [1] У нас на каждом заборе будет висеть по десятку «Discours de la méthode»... Но это дело не завтрашнего дня... В революционное время шансы демократии ничтожны: она далекая наследница революций — не любимая дочь, а неведомая правнучка. Как ей победить в наши дни? Если на мгновенье демократия приходит к власти, она тотчас дарит противникам подарки: свободу слова, неприкосновенность личности и много других хороших вещей... Я не знаю случая в истории, чтобы кто-нибудь погубил демократию: она всегда сама себя губила. Заметьте, я в принципе большой ее сторонник. Подумайте, Талейран, как это хорошо: мыслить свободно, высказывать свое мнение открыто, спорить мирно, убеждать вежливо, потом решать согласно воле большинства... Du choc des opinions jaillit la vérité...[2] Мне, правда, не приходилось видеть, как истина возникает из столкновения мнений. Но умные люди говорят, что это бывает. Это очень хитрая вещь. Я слышал, как Вольтер спорил с Даламбером — не было истины. А вот стукнется лбами тридцать миллионов тупых невежественных крестьян, и, очень возможно, истина брызнет потоком. Странно, но это так... Я говорю вполне серьезно. Счастье демократии в том, что ее противники еще пошлее, чем она сама... Однако в периоды революции демократии нечего делать и незачем лезть в историю. Представьте себе дуэль: у одного противника отточенная шпага, у другого рапира с тупой пуговкой на конце. Второй, быть может, фехтует гораздо грациознее, но у него на лезвии тупая пуговка, тогда как шпага первого несет смерть... Демократ требует свободы слова для своих противников, а они его сажают в Консьержери. Он грозит им судом истории, а они ему рубят голову, как отрубили головы жирондистам. Неравная борьба... Нет, епископ, победа демократии в революционное время — это чудо. Чудеса бывают, но очень редко... А я готов бы поставить на эту

---

[1] «Рассуждение о методе» *(франц.)*.

[2] Истина рождается в спорах *(франц.)*.

карту. Скажу больше, я все-таки, быть может, на нее поставил бы, если б... если б не другое чудо,— о нем мы еще поговорим... Не поставишь — не выиграешь... Лучше ставить на чудо, чем вовсе ни на что не ставить. А на что же другое? Не на Директорию же!

Ламор опять заходил по комнате. По-видимому, мысли, которые он высказывал, и волновали его, и радовали.

— Давно ли вы читали Макиавелли, Талейран? — спросил он, остановившись, и, не ожидая ответа, продолжал: — Перечтите. Вот книга, которая нескоро устареет. Перечтите в «Государе» главу «Di quelli che per sceleratezza sono parvenuti al Principato» [1]. Точно написано о наших ны...

V

Стекло окна вдруг резко зазвенело, точно в него кто-то бросил камнем. Ламор вздрогнул, быстро подошел к портьере, раздвинул ее и раскрыл окно. Густой запах липы снова ворвался в комнату. Талейран хотел было встать, но раздумал. Ламор с трудом перегнулся в сад, тяжело опираясь на подоконник бескровными сморщенными руками. Невдалеке залился пьяный мужской смех. Сдавленный женский голос, шедший снизу, очевидно с травы, ласково простонал:

— T'as pas honte!..[2]

Пьяный смех еще усилился, сливаясь с другим мужским голосом. Фонари на зеркалах панорамы больше не горели, и только из-под портьеры беседки выступала недалеко на траву яркая полоска света. Дальше в саду ничего нельзя было увидеть. Со стороны Елисейских полей все так же лились звуки «Ифигении».

— Кто там? — окликнул Ламор хриплым старческим голосом.

В ответ с травы раздалась незлобная заплетающаяся неприличная ругань. Портьера беседки вдруг приподнялась от земли, блеснул яркий свет, послышалась возня, смех, с ковра на траву выползла чья-то голова и уставилась на окно, поддерживая портьеру шеей. Невидимый мужчина на траве радостно загоготал:

— Ça va? [3]

Голова с озабоченным видом кивнула утвердительно и скрылась, сбросив на траву конец портьеры. Пьер Ламор закрыл окно и вернулся к столу.

---

[1] «О тех, кто пришел к власти путем злодейства» *(итал.)*.

[2] Бессовестный!.. *(франц.)*

[3] Идет? *(франц.)*

— Это кто-то мило пошутил,— сказал он в ответ на вопросительный взгляд Талейрана.— В саду идет пьяная оргия... Шпионов тут нет... Я, кажется, цитировал «Государя», правда?.. Забыл, что именно я хотел сказать... Уместнее было бы здесь из Макиавелли процитировать «Discorsi» [1]. Хорошо этот наивный циник доказывал, почему не может привиться свобода в развращенном государстве... Вот она вам, la città corrotta [2],— сказал Ламор, показывая в сторону окна.— При Людовике XV, при регенте, не было такого разврата, как теперь... Тот будет править Францией, кто даст возможность пить и посещать притоны наибольшему числу людей. Таков мой вариант учения Бентама. *Им* нужен прочный участок для охраны веселых заведений. Директория его им дать не может. Слишком многим людям у нас теперь не до развлечений. Да и те, что забавляются, не уверены: вдруг завтра отправят их из Elysée-Bourbon в Кайенну или на эшафот. Уж очень связаны с гильотиной все эти *принцы крови*, эти Карно, эти Баррасы! Один Робеспьер казнен, а вдруг завтра явятся другие? Баррас тотчас сбежит или присосется и снова станет террористом — это все понимают... Он сам это понимает... Никто не верит Директории, никто не верит в демократию. Какая уж демократия, когда исчезла у людей последняя тень уважения друг к другу! Наверху у правителей круговая порука пролитой крови, бесчисленных преступлений. Внизу в обществе круговая порука трусости, угодничества, лицемерия. Каждый знает все о других. Все узнали цену друг другу. Возьмите нашу молодежь, она уважает только силу. У нас теперь ни один дурачок не согласится умереть за республиканскую идею. Может быть, и ни за какую идею вообще... Моральный багаж растерян. Подождите пятьдесят или лучше сто лет, пусть вымрет настоящее поколение, воспитайте заново следующее, да еще разрушьте двадцать тронов по соседству с Францией, тогда увидим. А теперь нет, полноте,— сказал Ламор решительно и сердито (хотя Талейран слушал не возражая),— полноте, какая теперь демократия, какая там республика!.. Поймите, теперь есть только одна задача, сколько-нибудь стоящая усилий: надо спасти остатки французской культуры... Костер, слава Богу, гаснет. Пора прикрикнуть на хама! Он сам этого жаждет. Я верю в человека, Талейран: он труслив, он спрячет, залижет, залжет свое хамство, когда на

---

[1] «Рассуждения» (*итал.*).
[2] Развращенная столица (*итал.*).

него сумеют прикрикнуть... «E peró dico, che quelle Repubbliche, le quali negli urgenti pericoli non hanno rifuggio o al Dittattore o a simili autoraidadi, sempre ne gravi accidenti rovineranno» [1].

Талейран медленно поднял голову.

— Ну, наконец договорились,— сказал он, растягивая слова.— Вы очень любите говорить, Ламор,— большой ваш недостаток, тем более что говорите вы однообразно... Вот, значит, заключение силлогизма: диктатура?

— Так точно.

— Армия против полиции?

— Шпага против гильотины.

— Не могу сказать, чтобы это было очень оригинально. Я ожидал лучшего... Вот в чем беда: нет такого глупого генерала, который не считал бы себя прирожденным диктатором.

— Верно. И добавьте: нет хуже бедствия, чем глупый диктатор.

— Как же быть?

— Искать умного диктатора.

Талейран помолчал, зевнул и спросил равнодушно:

— Говорите, прямо, Ламор: от какого генерала вы ко мне присланы?

— Я не прислан ни от кого. Даю вам слово, я действую по своей инициативе...

— Ради чего? Я вас никогда не понимал, таинственный человек,— сказал Талейран с насмешкой.— Зачем вы суетитесь, зачем работаете? Не все ли вам равно?

— В мои семьдесят лет? Вы это хотите сказать? А вот, видите, не все равно. Я ведь денег у вас не прошу, не правда ли? Предположите, что я тружусь из любопытства... или из отвращения. Но дело не в моей психологии.

— Конечно... Так кого же из генералов вы имеете в виду? Моро?

— О нет! Моро прекрасный полководец. Говорят, его отступление от Дуная к Рейну стоит десятка побед. Но народу этого не растолкуешь, он не любит отступлений... Моро бывший адвокат или юрист, это тоже неудобно. Народ не без основания не любит юристов, и ему будет неприятно, что хороший генерал вышел из плохого адвоката. Кроме того, Моро легко поддается влияниям, особенно

---

[1] «И потому я утверждаю, что государства, которые в минуты опасности не искали спасения в диктаторской власти или в подобной власти, были разрушены великими бедствиями» (*итал.*).

дамским. Он из роковой породы людей, которые не знают, чего хотят.

— Может быть, вы стоите за генерала Ожеро?

— Полноте, Талейран, ведь это набитый дурак.

— Кто же еще есть из генералов? — спросил, точно припоминая, Талейран.— Гош связан с Директорией и, говорят, болен. Пишегрю не имеет армии... Разве Жубер?

— Нет, Жубер не годится... Вы будете смеяться, Талейран, я сам этому ни за что бы не поверил: Жубер — честный человек! Жубер, революционный генерал, сделавший головокружительную карьеру,— честный и убежденный человек! Он верит в свободу, равенство и братство, верит в декларацию прав человека и гражданина, верит в идеалы Революции!.. Невероятно, беспримерно, сверхъестественно, но это так!

— Что ж, тогда ваш кандидат, вероятно, генерал Бонапарт? — спросил, уж совсем широко зевая, Талейран.

Ламор посмотрел на него и усмехнулся:

— Именно, епископ, именно: генерал Бонапарт. Вы угадали. Правда, вы назвали это имя после ряда других... Ваша необычная недогадливость тем более удивительна, что оно теперь на устах у всех. Да вот послушайте.— Он вынул из кармана газету «Le Miroir» и прочел отрывок из статьи: — «...De Buonaparte n'ayez peur. Tout le monde nous fait peur de Buonaparte: Buonaparte va venir; pauvres Parisiens, cachez-vous dans vos caves: Buonaparte est là. Il n'y a pas jusqu'aux nourrices de nos petits enfants, qui, par parenthèse, sont passablement royalistes, qui n'emploient comme un moyen de terreur le nom célèbre de Buonaparte» [1]. Хорошая статья! А вот другая, в «Le Thé». Журналист Howmuch предлагает пари, что Бонапарт никогда не вернется во Францию. Проницательный журналист! Ему бы вместо вас быть министром иностранных дел. Ecce plus quam Salomo hic [2].

— Именно потому, что теперь Бонапартом няньки пугают детей, я от вас ждал другого,— сказал Талейран.— К сожалению, я никогда в жизни не видал командующего

---

[1] «Не опасайтесь Буонапарте Весь мир пугает нас Буонапарте· Буонапарте вот-вот придет; несчастные парижане, прячьтесь в погреба вот он, Буонапарте! Нет никого, кто, включая кормилиц наших малых детей, женщин, между прочим, настроенных достаточно роялистски, не использовал бы как средство запугивания знаменитое имя Буонапарте» *(франц.)*

[2] Вот этот больше, чем сам Соломон! *(лат.)*

нашей итальянской армией и ничего почти о нем не знаю. Что за человек этот генерал Бонапарт?

Пьер Ламор помолчал. Талейран, чуть прищурившись, внимательно смотрел на него своими холодными глазами.

— Генерал Бонапарт,— сказал Ламор и вдруг остановился.— Мы давно с вами знакомы, Талейран,— заговорил он опять с новой интонацией в голосе,— вы знаете, что мне несвойственно увлекаться людьми, правда? Смею думать, я знаю в них толк... Ошибался я в людях редко — и, уж поверьте, на этот раз не ошибаюсь... Вы спрашиваете, что за человек генерал Бонапарт. Я отвечаю: генерал Бонапарт не человек. Генерал Бонапарт — чудо...

Талейран молча смотрел на собеседника, ожидая продолжения.

— Быть может, чудо рекламы? — переспросил он наконец, слегка улыбаясь.

Ламор, не отвечая, налил в бокал вина и выпил залпом.

— Не говорю о нем как о полководце, я этого дела не смыслю,— сказал он.— Знатоки говорят, что итальянская кампания — новая страница в истории военного искусства. Не знаю... Но... Представьте себе качества самые необыкновенные и самые различные. Ум,— я просто не могу вам сказать, как умен генерал Бонапарт. У него все виды ума... Нет, это неверно. У него не ум, а машина, могучая гигантская машина для решения политических и военных задач. Обширные всеобъемлющие познания — этот молодой человек ученее нас с вами. Феноменальная память, работоспособность, равной которой я никогда не видел. Дьявольская, именно дьявольская энергия. Столь же дьявольское честолюбие — он его тщательно скрывает, это прекрасный актер.— Пьер Ламор весело засмеялся.— Вы знаете, я обедал у него в ставке с одним добрым республиканцем, не буду его называть: хороший такой республиканец, с честными доверчивыми глазами, но с настоящими, не то что у Ларевельера-Лепо. Так вот, Бонапарт со слезами в голосе рассказывал ему, что он жаждет заключения мира; он, видите ли, хочет навсегда поселиться в деревне и стать — кем бы вы думали? — мировым судьей. Правда, хорошо? И глаза у него при этом были еще честнее и доверчивее, чем у республиканца, который, конечно, тоже прослезился от умиления... Меня потом наедине Бонапарт не уверял в том, что он хочет стать сельским мировым судьей... Он знает людей, как знаете их вы, как знаю людей я. Но мы с людьми ничего не можем сделать, а он играет ими как хочет... Так вот, представьте себе ясно генерала Бонапарта,

представьте себе нынешнее положение Европы — и подумайте, куда может подняться этот человек, командующий восьмидесятитысячной армией, которая его боготворит, которая под его руководством одержала беспримерные победы... О Талейран, нам, поверьте, предстоит еще удивляться. Будут невиданные и неслыханные дела, будет человечеству кровопусканье почище того, революционного... Я скажу, как Брут у Вольтера: «On demande du sang, Rome sera contente...»[1] Пусть только поживет немного генерал Бонапарт, а мы еще посмеемся... Вот поживет ли он, это, конечно, вопрос. Его могут убить в первом сраженье. Он рискует головой ежедневно — не от молодого пыла, этого у него нет и следов, не от избытка физической энергии, нет,— из холодного политического расчета: для престижа, для того, чтобы покорить души солдат, для того, чтобы создать свою легенду... Да и только ли неприятельская пуля! Здоровье Бонапарта очень плохо, вид у него все хуже... Порою, после его рабочего дня,— вернее, после рабочей ночи,— на него страшно смотреть. В Италии говорят, будто он отравлен медленно действующим ядом,— вы понимаете, сколько у него врагов?.. Может быть, это и правда. А может быть, это и не так худо... По совести, я не знаю, должны ли жить на свете люди, подобные генералу Бонапарту!..

Он вдруг оборвал речь. Талейран смотрел на него с удивлением.

— Не знаете? — переспросил он.— И все же зовете меня к нему?

— Зову. Порою мной овладевает колебание... Нет, пусть разорвется над миром этот страшный снаряд! Не мне жалеть... Чего мне жалеть?

Пьер Ламор махнул рукой, откинулся на спинку кресла и долго сидел неподвижно, закрыв глаза. Лицо его поразило Талейрана внезапно выступившим выражением бесконечной усталости: в эту минуту ему на вид можно было дать сто лет. Морщины на его восточном лице сложились так плотно, что раздвинуть их, казалось, было бы трудно, не порвав этот желтый пергамент.

— Вы недавно приехали из Италии? — спросил наконец Талейран.

— Недавно. И скоро опять туда уеду. Здесь пока нечего делать — все решит армия... Однако уже очень поздно, епископ. Мы приятно поговорили... Не смею тешить себя надеждой, что переубедил вас... Наступила ночь Хаоса,

---

[1] «Прольется кровь, и Рим доволен будет...» *(франц.)*

Ночь, nutrix maxima curarum [1], если верить Овидию. Вы подумаете у себя в постели...

Он опять закрыл глаза. Талейран позвал лакея и потребовал счет. Когда он отсчитывал деньги, Ламор пошевелился в кресле и спросил, сколько составляет его доля. Талейран покосился в сторону старика и поспешно спрятал бумажник. В бумажнике этом, вместе с ассигнациями, лежало письмо генерала Бонапарта, с которым тайно от всех уже решил связать свою политическую судьбу бывший епископ Отенский.

VI

Баратаев, с Настенькой и Штаалем, выехал в начале весны из Петербурга и, останавливаясь в больших городах по дороге, медленно передвигался к Италии. Они не знали точно, куда именно едут. Баратаев колебался между Венецией, Миланом и Неаполем: во всех этих городах были прекрасные библиотеки, необходимые для его работы. Но в Неаполе с наступлением лета могло стать слишком жарко, а против Милана и Венеции говорила война, шедшая в Северной Италии. Настеньке и Штаалю было, собственно, безразлично, куда ни ехать: все было им одинаково интересно. Поездка по Европе была для них радостным приготовлением к какому-то необыкновенному празднику, который еще не начался, но с каждым днем приближался.

Баратаев не советовался с ними о путешествии и был вообще мало разговорчив. Раз он в полувопросительной форме, как показалось Штаалю, высказал свои колебания по выбору города в Италии. Но когда Штааль в ответ объявил, что предпочел бы Венецию, Баратаев остановил на нем с таким удивлением свой тяжелый взгляд, что Штааль еще вечером, в постели, вспоминал об этом, краснея.

Отношения с Баратаевым несколько портили ему радость ожидавшегося праздника. Во время совместного путешествия люди обычно сближаются теснее, чем в других условиях жизни. Но к Баратаеву за два месяца Штааль не приблизился совершенно и в его обществе испытывал еще большее смущение, чем в первые дни их знакомства. Неловкость увеличилась оттого, что он теперь получал жалованье. Это Штааль совершенно ясно почувствовал в первый же день своей службы, когда Баратаев, равнодушно на него глядя, передал ему двухмесячный оклад. Сколько Штааль себе ни говорил, что нет ничего унизительного в

[1] Ночь более всего усиливает заботы (*лат.*).

получении платы за труд, тяжелое чувство его не покидало. Он пришел к мысли, что всякая служба, кроме службы государству, неизбежно связана с унижением, и все себя проверял: напряженно и недоброжелательно присматривался к Баратаеву; но ничего не находил в его обращении ни обидного, ни дурного. Баратаев был учтив и равнодушен.

Самое неприятное было в том, что обязанности Штааля оставались совершенно не выясненными. Предполагалось, что служба его определится, когда они осядут на месте для работы. Но о работе Баратаев не заговаривал, и Штааль, как прежде, ничего о ней не знал. Он видел только, что каждый вечер, где бы они ни находились, Баратаев удалялся в свою комнату, куда лакей вносил чайник и бутылку рома, и там то писал в черной атласной книге, то медленными, тяжелыми шагами ходил по комнате взад и вперед. В Кракове, в гостинице, богатый шляхтич, снявший помещение под комнатой Баратаева, наутро жаловался хозяину, что ему не давали спать всю ночь шаги верхнего жильца. Действительно, Баратаев работал часто до рассвета — в чайнике утром почти ничего не оставалось, и рома в бутылке убавлялось очень сильно. Крепкие напитки, как замечал Штааль, совершенно не действовали на Баратаева.

Желая быть полезным и оправдать свое жалованье, Штааль взял на себя всякие хлопоты по поездке, разговоры с хозяевами гостиниц, с почтальонами, с полицией. Баратаев и об этом его не просил, но, когда это сделалось само собой, больше ни во что не вмешивался. Штааль чувствовал, однако, что такую работу мог бы исполнять и камердинер. Раз он со стыдом и досадой поймал себя на том, что в присутствии Баратаева нарочно принимал вид заваленного делом человека. Неловко выходило и с расходованьем денег. Первоначально Штааль аккуратно записывал издержки и на первой остановке подал длинный счет, который Баратаев принял удивленно и, не читая, сунул в какую-то шкатулку. Денег у него было очень много, и он их не жалел ни на гостиницы, ни на рестораны, ни на лошадей. Но не покупал почти ничего и только раз в Вене, вспомнив, предложил Настеньке купить что нужно из платья. Настенька робко на него взглянула и истратила очень немного. Штааль все свое жалованье тратил на разные покупки и скоро так оброс вещами, что их некуда было класть при переездах. Чем больше он покупал, тем сильнее хотелось ему покупать еще. В Вене он приобрел новые дорогие пистолеты (у него, как у многих молодых людей, была слабость к оружию) и чуть не поддался соблазну поста-

вить их в счет Баратаеву как вещь, необходимую в дороге. Но, опять устыдившись («так Бог знает до чего можно опуститься!»), заплатил из своих денег и, точно желая себя наказать, не занес в счет небольшого расхода, несомненно относившегося к поездке.

Но все эти мелкие огорчения от службы тонули в счастье, происходившем от любви его к Настеньке.

Между ними почти ничего больше не произошло с той ночи в «Красном кабачке». Они, не уговариваясь, о ней и не вспоминали. Путешествовали они в разных экипажах и в гостиницах редко оставались вдвоем. Тем не менее поездка с ее бесчисленными мелкими делами очень их сблизила. Штааль *ждал* — и первоначально сам не знал, чего именно. При настойчивости в дороге можно было найти время и место для уединенной встречи. Но теперь он был совершенно уверен в том, что Настенька будет ему принадлежать, и не спешил.

Ее отношения к Баратаеву мучили его меньше, чем в России. К удивлению Штааля, ревность его не усилилась, а ослабела во время путешествия, точно ее подточила привычка. Раз поздно вечером в коридоре гостиницы он встретил Настеньку в ночном туалете — она шла к Баратаеву (в дороге это случалось редко). Штаалю было тяжело, но менее тяжело, чем он мог бы предположить. Ворочаясь в ту ночь в постели, он хотел испытывать бешенство и ненависть, а испытывал только тоску, да и то не очень долго: утомленный переездом, через час он крепко заснул. Наутро он встретился с Настенькой, и ему было почти приятно, что она сильно покраснела и отвернулась. Он сам не мог понять своих чувств. «Как же люди из-за *этого* убивают себя и других? Или у меня не кровь, а вода в венах?» — сердито говорил он себе. И, не думая о том, что было ночью, замирал, вспоминая, как у нее зарделись щеки и уши, а в глазах показались слезы. Ему казалось, что он любит ее все больше. Вначале он часто себя спрашивал, *интрижка* ли это, любовь или *страсть*, — и теперь склонялся к тому, что это страсть (Штааль любил копаться в своих переживаниях — чужие были ему совершенно неинтересны). Он ждал Италии и рассчитывал, что в Венеции все решится.

VII

Венеция в ту пору имела репутацию самого веселого, оживленного и легкомысленного города в Европе. После того как французская революция изменила характер париж-

ского веселья, иностранцы, особенно англичане, хлынули в Италию. С некоторыми из них русские путешественники встречались еще по дороге из Вены. Настоящего знакомства они не завязали: Баратаев ни с кем вообще не разговаривал, Штааль был занят одной Настенькой. Настенька же боялась всех, а иностранцев в особенности. Но, встретившись несколько раз на ночевках, совершая одновременно переезды, они знали в лицо и раскланивались с молодым немецким туристом и с тремя английскими семьями, которые тоже направлялись в Венецию. Англичане были веселы и оживлены, когда между собой говорили по-английски, но немедленно выцветали, переходя на французский язык. Иностранцы объясняли это *британской чопорностью;* на самом деле это происходило от застенчивости и от той же боязни иностранцев, что у Настеньки. Немецкий турист был молодой человек в широкополой высокой цилиндрической шляпе, с загадочной задумчивой улыбкой и с волосами, подчеркнутая длина которых, по-видимому, что-то означала; за обедом в гостиницах он демонстративно читал роман модного автора «Вильгельм Мейстер» — англичане и Баратаев относились к этому вполне равнодушно, Штааль — почему-то с некоторой злобой, а Настенька — с благоговением перед ученостью человека, который даже за обедом читает книжку. Немец ел очень много и пил французские вина, хотя, по мнению Штааля, хотелось ему пива. Если в общей зале гостиницы имелся клавесин, молодой турист непременно садился играть: во время игры он очень высоко поднимал руки, задерживал их на высоте в воздухе, точно размышляя, куда с силой опустить пальцы, причем злобно смотрел на клавиши, двигал скулами и округлял глаза. Но играл довольно приятно, так что даже англичане иногда охотно его слушали.

На одной из последних остановок в немецких землях немец с возбужденно-радостным видом появился в столовой гостиницы и сообщил громко, что в Венеции произошли важные события: власть дожей, продержавшаяся 1100 лет, пала, правление перешло к народному совету. Хозяйка гостиницы, грустно улыбаясь, подтвердила эти сведенья и очень советовала den gnädigen Herren[1] — не в своих, а в их собственных интересах — повременить с отъездом: в Венеции была стрельба и, по слухам, есть убитые. Сведенья эти взволнованно обсуждались путешественниками; даже англичане приняли участие в общем разговоре. Они были

---

[1] Милостивым господам *(нем.)*.

очень недовольны — исчезновение того, что держалось тысячу лет, никогда не нравится англичанам, хотя бы в нем не было ничего хорошего. Кроме того, они твердо знали, что в Венеции дож венчается с Адриатикой, и столь же твердо рассчитывали увидеть эту церемонию. Теперь, очевидно, венчаться с Адриатикой было некому. Тем не менее никто не думал отказываться от поездки: англичане были совершенно уверены в том, что их как британских подданных не тронут; немец не скрывал, что рвется in das stürmische Meer der Ereignisse[1]; Штааль с презрительной улыбкой уверял Настеньку, что видел когда-то в Париже не такую революцию.

В Венеции действительно произошли исторические события. Власть дожей неожиданно пала, и никто пальцем не пошевелил для того, чтобы ее спасти: оказалось, что она всем смертельно надоела. Сам последний дож, Людовик Манин, и его сотрудники, передавая власть революционному совету, старательно, но непохоже, делали вид, будто всегда этого желали и только по неблагоприятному стечению обстоятельств не могли до той поры осуществить свое заветное желание. Лишь полиция и наемные далматские солдаты, зная вековую ненависть к себе народа, оказали вялое сопротивление. Было убито двадцать человек и разгромлено в суматохе несколько магазинов на Риальто. Венеция приняла революцию восторженно. Произошло то, что во все времена происходило в начале всех революций. Население, ликуя, поднимало новые флаги, за которые прежде надолго сажали в Piombi; ликуя, хоронило погибших за свободу, не подозревая, что среди перенесенных из мертвецкой в парадную могилу преобладали далматские солдаты; ликуя, слушало и особенно говорило вольные речи. Через три дня везде висела «Декларация прав», на казенных зданиях была повешена надпись: «Свобода, равенство, братство», имелись повсеместно развивавшие крайне шумную деятельность комиссары, комиссариаты, комитеты, клубы и революционные трибуналы. И в каждом городке Венецианской республики очень быстро отыскались неподкупные Робеспьеры, титанические Дантоны, бесстрастные Сен-Жюсты и неумолимые Фукье-Тенвилли. Выбор французского образца зависел отчасти от профессии, но главным образом от наружности венецианских трибунов. Все, однако, проделывалось сравнительно благодушно: негде было воздвигать баррикады за отсутствием улиц; гильотиниро-

[1] В бушующее море событий *(нем.)*.

вать было некого, так как все оказались горячими сторонниками революции; а главное, стояла в области чудесная, редкая весна.

К тому времени, когда медленно двигавшаяся, задержавшаяся на границе группа иностранцев прибыла в Венецию, энтузиазм успел сильно остыть. В городе уже хозяйничали французы: генерал Бонапарт прислал отряд своих войск в помощь революционному правительству. Войска эти вошли в качестве друзей, а не завоевателей, но население встретило их без восторга: за тысячу лет впервые иностранные солдаты появились в Венеции. Через неделю их все ненавидели и назло французам устраивали овации застрявшим в городе английским туристам — ненависть к одной державе неизменно связана с обожанием какой-либо другой. Англичане принимали овации сдержанно, но без удивления: как должное.

Одновременно с появлением иностранных войск от Венецианской республики один за другим стали откалываться города, входившие в ее состав. К большому изумлению революционного совета, Местре, Чоджия, Торчелло, никогда прежде не заикавшиеся о независимости, теперь, не удовлетворяясь местными комитетами и комиссариатами, основывали самостоятельные правительства, с Робеспьерами и Сен-Жюстами во главе, и без разговоров отделялись от Венеции. Никакие увещевания не помогали. Генерал Бонапарт, по-видимому, ничего не имел против новых республик. Венецианцы их высмеивали, но злились.

Всего больше подтачивалась популярность революции повседневной жизнью. Жизнь эта почти не изменилась. Чтобы жить, надо было работать по-прежнему и даже больше прежнего: макароны, вино, полента не подешевели, а поднялись в цене. Между тем в первую минуту предполагалось, что теперь все пойдет по-новому...

Люди, стоявшие на самом верху, в большинстве чистые и искренние, начинали думать, что из истории нелегко вычеркнуть безболезненно тысячу лет (даже тогда, когда это необходимо). Никто не мог бы сказать, в какой именно момент великая национальная радость превратилась в национальную катастрофу.

Первое впечатление от Венеции было у Штааля и у Настеньки такое же, какое бывает у всех, впервые в молодости попадающих в нее под вечер: неповторяющееся, незабываемое и ни с чем не сравнимое. Был в этот день большой праздник, годовщина какой-то древней морской победы, неизвестно когда одержанной неизвестно над кем.

После «фреско», дневной гонки гондол, начиналось ночное гулянье. Играла музыка. Большой канал горел огнями. Настенька и Штааль плыли в вызолоченной спереди гондоле, в шатре темно-красного шелка, разукрашенном листьями и цветами. Гондольер не торопился — ему самому, видно, не хотелось покидать гулянье. Их обогнал Баратаев, плывший в другой гондоле без вещей. С лицом еще мрачнее обыкновенного, он сидел неподвижно, откинувшись на спинку скамьи, тяжело опустив руки. Он был в Венеции тридцать лет тому назад. Его лодка быстро исчезла впереди... Они плыли долго. Не произошло между ними почти ничего, но поездка эта сблизила их больше, чем все то, что было. На всю жизнь слились в памяти Штааля мрамор венецианских дворцов, темное золото гондол, синий выцветший бархат воды, под которым двигались, дрожали и ломались косые золотые иглы, мелодия итальянской песни, чемодан, давивший колени, запах «Вздохов Амура», которыми душилась Настенька...

VIII

Остановились они на одном из небольших каналов, в «Гостинице английской королевы». Там же поселился и молодой немец — ему было жутко оставаться в одиночестве в чужом городе: русские были все-таки знакомые люди. Штааль иногда разговаривал с немцем и совершенствовался в немецком языке: стал произносить «и», как «ы», и щеголял этой тонкостью выговора, хотя, вместе со всеми, находил, что русскому не полагается хорошо говорить по-немецки.

Жизнь скоро наладилась и стала однообразной, как дома. Баратаев с утра уходил в библиотеку, возвращался только к вечеру, запирался в своей комнате и писал. Настеньку он к себе требовал нечасто и, по-видимому, совершенно не интересовался тем, что она делала днем. По крайней мере, он об этом (да и ни о чем почти другом) не спрашивал ни ее, ни Штааля. Они же проводили целый день вместе и проделывали все то, что туристам испокон века полагается делать в Венеции: кормили на площади голубей (с этого начали), катались в гондоле по узким, темным внизу, каналам, стиснутым между позеленевшими стенами крашеных дворцов (удовольствие от гондолы уже было не то, что в первый раз), посещали церкви, проверяли существование известных картин, в которых смыслили немного, и смотрели работы арсенала, в которых не смыслили ничего. Кроме обычных достопримечательностей, теперь

показывались туристам и новые, революционные: дерево Свободы на площади Святого Марка, между статуями «Libertà» и «Uguaglianza», и «Diritti e doveri dell'uomo del cittadino» [1] на книге, положенной в лапы венецианского льва, вместо прежнего «Pax tibi, Marce, evangelista meus» [2]. При этом скептики повторяли (приписывая ее каждый себе) шутку: наконец-то за тысячу лет лев перевернул страницу.

По утрам к Штаалю являлся хозяин, за распоряжениями и просто так поболтать (он говорил по-французски). Хозяин был родом из Неаполя и, хоть прожил в Венеции двадцать лет, к жителям этого города относился как к иностранцам, называл их «они» и отзывался о них иронически и недоброжелательно. В разговорах с Штаалем он настойчиво, с значительным выражением выхваливал красоту синьоры, а о Баратаеве говорил тоном сострадания (Штаалю этот тон и льстил, и несколько его смущал). Как-то раз хозяин произнес слово «cicisbeo» [3] — Штааль с удивлением и обидой узнал, что так называется здесь должность, которую он занимал при Настеньке: именно должность, притом вполне почетная, естественная и обычная. Оказалось, что при всех хорошеньких женщинах Венеции имеются чичисбеи, нередко с ведома и согласия мужей, а иногда на основании пункта в брачном договоре, предусмотренного невестой или ее родителями. Штаалю было приятно узнать, что его отношения с Настенькой так ясны и законны. Но слово «чичисбей» ему очень не понравилось: было в нем что-то юркое и несерьезное, напоминавшее и чижика, и воробья. Кроме того, Штааль знал, что еще не имеет права на это обозначение.

Теперь, собственно, ждать было нечего: трудно было бы к придумать более благоприятную обстановку. И все-таки Настенька ему не принадлежала. Он сам недоумевал и бранил ее за то, что она *ломается*, а себя — за недостаток решимости; в свое оправдание повторял мысленно, что он и без того счастлив, что он эпикурьянец, растягивающий надолго наслажденье, и что решительные действия могли бы оттолкнуть ее, как тогда на Петергофской дороге. Но чувствовал неискренность этих мыслей. Он действительно был счастлив, но в его счастье входило ожидание. Думал он теперь о Настеньке уже не совсем так, как прежде,— еще очень нежно, но с развязностью того любителя женской

---

[1] «Свободы» и «Равенства», и «Права и обязанности человека и гражданина» *(итал.)*

[2] «Мир тебе, Марк, евангелист мой» *(лат.)*.

[3] Чичисбей, кавалер, постоянный спутник дамы *(итал.)*.

красоты, каким он себе представлялся. Иногда, думая по ночам о Настеньке, произносил мысленно (а то и вслух) неприличные слова. Поэзии в их любви стало меньше, а наслажденья — не то больше, не то меньше, он сам не мог бы сказать.

Обедали они чаще всего в своей гостинице, так как после обеда не хотелось ни осматривать достопримечательности, ни кататься: уже было очень жарко. Обед всегда проходил у них весело; в другое время, несмотря на их любовь, было иногда скучновато: все возможные предметы разговора исчерпывались. Источником веселья за обедом было прежде всего то, что они не могли как следует объясниться с прислугой. Штааль в Петербурге ходил в Итальянский театр и уверял, что все понимает, потому что похоже на французский. В Венеции он не понимал ни слова, и на французский совершенно не было похоже. Но главное веселье вносила итальянская кухня. Ни Настенька, ни Штааль не ели макарон и этим умиляли хозяина гостиницы, который издевался над северными, сухими макаронами и прельщал русских гостей Неаполем, где они увидят настоящие макароны. На поленту они не могли смотреть без отвращенья. Тем не менее все было чрезвычайно забавно: и то, что красное вино именуется черным, vino nero; и то, что подавали им *морские фрукты*, frutti del mare; и то, что вечная, плохо изжаренная телятина с горошком носит звучное название в рифму vitello con piselli. Штаалю все казалось, что это несерьезно и что он живет в театре. Очень нравилось ему пахнувшее фиалкой итальянское вино и сложное сооружение, в котором оно подавалось. Лакей приносил огромный графин и, не вынимая его из сооружения, низко опускал вытянутое горлышко, осторожно сливал оливковое масло (этот способ предохранять вино от порчи сначала показался им противным), а затем разливал по стаканам, не потеряв ни капли вина, ни масла. К концу обеда неизменно (они очень редко ссорились) Штааль говорил Настеньке нежные слова и был изысканно любезен с прислугой.

В воскресенье, под конец обеда, хозяин, презиравший тосканское вино не меньше, чем пьемонтские макароны, с радостным видом приносил старательно запыленную бутылку «Lacrima Christi» [1] и разливал по стаканам жильцов. На долю каждого приходилось очень немного; тем не менее все были довольны вниманием: за воскресное «Lacrima Christi» хозяин ничего не ставил в счет. И сам немецкий

---

[1] Буквально: «Слеза Христова» *(итал.)*.

турист отрывался от «Вильгельма Мейстера», подставлял со снисходительной улыбкой стакан и, уже изучив итальянские обычаи, говорил: «un bicchiere di Siracusa no si ricusa» [1],— говорил очень некстати, и хозяин смотрел на него злобно, так как его «Lacrima Christi» было настоящее, неаполитанское с Везувия, а не сицилийская подделка с Этны.

IX

— Gelate, gazoze [2]...— выкрикивал безнадежно старый разносчик на мелодию, затверженную им в детстве.

День кончался, но, казалось, никто не мог на это согласиться. Возвращаться домой с площади Святого Марка Штаалю и Настеньке не хотелось. Однако нельзя было вечно занимать столик в кофейне. Французские офицеры, сидевшие рядом с ними, поднялись. Лакей назло им демонстративно поспешно стал вытирать салфеткой их стол, что-то бормоча под нос. Штааль с любопытством смотрел вслед офицерам. Он три года не видал этих мундиров и все не мог к ним здесь привыкнуть. Его радовала французская речь. Но достойно-торжествующий вид победителей немного его раздражал и внушал ему зависть.

Настенька имела обиженный вид. Он мало разговаривал с нею и проводил взглядом хорошенькую итальянку, проходившую мимо кофейни. Настенька сначала хотела затаить обиду, но не выдержала, придумала сложный намек и дала понять Штаалю его вину — с наивной уверенностью влюбленных женщин в том, что человек, в которого они влюблены, станет любить больше, если ему сказать, что он любит недостаточно.

Штааль не сразу понял намек, но услышал новую интонацию во фразе, сказанной Настенькой, и поднял голову. Он наудачу улыбнулся, она ответила нерешительной улыбкой, и одновременно они подумали одно и то же. Настенька подумала, что вовсе ей не нужно было, а может быть, и опасно вести ту сложную политику, которой она хотела придать себе цену (опытные артистки говорили ей, что никогда не следует быстро сдаваться мужчине — пусть сохнет!). Штааль чуть не вслух назвал себя дураком. «Сколько упущено времени — в этом чудесном городе!.. Только что поцеловались несколько раз... Да чего же я ждал?.. Вовсе я был не эпикурьянец, а просто дурак!..»

---

[1] «От бокала сиракузского вина не отказываются» *(итал.)*.
[2] Мороженое, лимонад *(итал.)*.



Павел I (1754—1801), император с 1796 г.



Александр Васильевич Суворов (1729 или 1730—1800), генералиссимус



Федор Федорович Ушаков (1744—1817), адмирал



Горацио Нельсон (1758—1805), английский вице-адмирал

Ничего не было сказано, но оба, обменявшись взглядом, поняли, что это будет не когда-нибудь (то они знали еще с «Красного кабачка»), а скоро... Сегодня? Штааль немного изменился в лице. «Как провести остающиеся три-четыре часа?..»

— Gelate, gazoze! — пропел разносчик.

Они встали. В конце площади у большого бочонка с вином стояла очередь: урожай Conegliano выдался хороший, и вино продавалось не по бутылкам, а на время — за сходную цену любители приобретали право выпить в оговоренное число минут столько вина, сколько им будет угодно. У бочонка происходили состязания. Продавец знал каждого покупателя и старался не прогадать при назначении цены. Штааль и Настенька посмотрели на пивших, обменялись впечатлениями и пошли дальше. Между колонн Пьяццетты стояла черная открытая складная будка с огромной надписью, слева по-итальянски, справа по-французски:

АСТРОЛОГ

Знаете ли вы свое будущее?
Что может быть важнее этого?
Войдите и вы получите свой гороскоп!
Вам откроются тайны неба!

В будке за складным деревянным столиком, заваленным книгами, сидел на табурете старый, сутуловатый, горбоносый человек восточного типа и мрачного вида. Седые волосы его были странно зачесаны, образуя подобия рожков. Перед ним горела в черном подсвечнике свеча, около которой, рядом с черепом, лежал жестяной прибор из трех наискось вписанных друг в друга квадратов. На треугольниках прибора были обозначены номера и изображены какие-то фигурки. Штааль объяснил, как мог, Настеньке, что это такое.

— Колдун? — бледнея, спросила шепотом Настенька и хотела было удержать Штааля, который с решительным видом вошел в будку. Из нее как раз выходил их знакомый немец с листом бумаги в руках. Увидев Настеньку, он трагически засмеялся, безнадежно махнул рукой и сказал громко:

— Qui fifra, ferra...[1]

Настенька улыбнулась ему испуганно и с сочувствием; ее, впрочем, немного успокоило, что и немец побывал у колдуна. Он еще раз посмотрел на Настеньку и скрылся.

Астролог, погруженный в книги, с минуту как бы не за-

[1] Поживем, увидим... *(искаж. франц.)*

мечал нового посетителя. Затем медленно поднял глаза и долго угрюмо смотрел на Штааля, который невольно смутился. Лицо астролога показалось ему странно знакомым.

— Вы желаете получить гороскоп? — спросил по-французски предсказатель.

Штааль кивнул головой. Астролог опять помолчал, как бы размышляя, исполнить ли желание посетителя.

— Когда вы родились? — задал он наконец вопрос.

— Собственно, вы должны это знать без меня,— ответил насмешливо Штааль. Обстановка будки напомнила ему кабинет Баратаева, а все, что делало Баратаева смешным, было приятно Штаалю.

— Когда вы родились? — повторил строго астролог, точно в его власти было наказать Штааля в случае отказа в нужных сведеньях. Получив ответ, он погрузился в размышления, изредка бормоча слова на непонятном языке, затем долго что-то высчислял, справлялся по книгам, по прибору и наконец взял из лежавшей перед ним стопки большой лист красивой толстой бумаги. Штааль наклонился над столом. Настенька испуганно смотрела через его плечо. На бумаге были изображены планеты с надписями, а посредине тот же тройной квадрат.

Астролог оторвался от листа и сказал холодно:

— Полцехина.

Штааль не думал, что это будет стоить так дорого, но беспрекословно протянул деньги. Настенька ахнула, увидев монету.

— Ну и грабитель! — сказала она, совсем успокоенная. Астролог спрятал деньги, растопил на свече кусок красного сургуча, капнул на верхний левый треугольник с двумя волнистыми полосками, на кружочек с точками внутри и на другой со стрелкой сбоку, раздавил красные пятна печатью с неясным изображением Зодиака, затем протянул лист Штаалю. Тот смотрел на него вопросительно.

— Одиннадцатый дом неба,— сказал астролог, тыча остывшим сургучом в треугольник.— Луна... Владеет теми, кто работает ночью... Марс... Владеет теми, кто употребляет железо...

— Что, что сказал? — зашептала Настенька. Штааль, не отвечая ей, рассматривал с недоумением бумагу.

— Что же все это значит? — спросил он с насмешкой.

Астролог смерил его взглядом:

— Вы желали получить гороскоп, я вам дал гороскоп... Если вам нужно толкование, это стоит еще полцехина.

— Что он говорит? — настойчиво требовала объяснений Настенька.

— Мошенник он, вот что! — сердито сказал Штааль и, презрительно фыркнув, вышел из будки. Ему хотелось хлопнуть дверью, но будка была открытая. Отойдя несколько шагов, он взглянул на Настеньку и расхохотался.— Нет, этакий бездельник,— сказал он.— Что за страна!..

X

Возвращаться в гостиницу им не хотелось; там было по вечерам неуютно, оттого что хозяин экономил свечи, а главное потому, что в своей большой комнате во втором этаже находился Баратаев. Ужинать еще было рано. «Что ж, опять в pestrino, пить miscio и есть storti?..[1] Или картины смотреть? Еще Тинторетты, Тицианы, Веронезы... А то в какую-нибудь церковь?.. Нет, предовольно с меня церквей и картин. Скучно...» — мысленно перебирал Штааль и вдруг подумал, что, как ни прекрасна Венеция, жить в ней он ни за что не хотел бы. «Не все же на лодках ездить, хорошо и погулять пешком... Скоро, говорил Баратаев, уедем в Милан. Ну что ж, Милан так Милан, может, там будет еще лучше... Да и так ли я восторгаюсь красотой Венеции? Может, дворец в Сарском Селе не хуже, чем эта игрушка?..»

Он посмотрел на Дворец Дожей и задумался: проверял себя, вполне изучил ли Венецию. Это Прокурации, Libreria, это Torre del Orologio (он все названия знал по-итальянски). Там дальше Riva degli Schiavoni... Rialto... «Все знаю... Когда бы Иванчук приехал — вот бы ему показывать? Ну-ка, главные дворцы? Всех не упомнишь... Cà Doro, Contarini, Loredan, Labia... Какая еще поговорка о роде Labia? Да: che i gabia o non e gabia, i xe semre Labia... [2] Будет что рассказывать в Петербурге... Ну, а по той стороне Дворца какой канал? Canal Orfano, канал сирот, по нем боятся ехать гондольеры, потому что над ним мост Вздохов, а сбоку тюрьма»...

Он радостно вспомнил, что они еще не видели страшных тюрем Palazzo Ducale [3], которые открылись после революции и теперь за деньги показывались туристам. О них ходили ужасные рассказы; все иностранцы с особым удовольствием произносили их итальянские названия: Pozzi и

[1] Кабачок... смеси вин... макароны... *(венец., диал.)*.
[2] «Богаты они или небогаты, они всегда Лабиа» *(итал.)*.
[3] Дворец Дожей *(итал.)*.

Piombi[1]. Штааль как-то предлагал Баратаеву посмотреть тюрьмы (почему-то ему казалось, что они, в отличие от картин, могут занять внимание старика). Баратаев нехотя ответил, что все это лицемерие: в других странах ямы заключенных ненамного лучше, а у нас в России, быть может, и хуже,— только никто о них не говорит.

Настенька охотно согласилась пойти осмотреть тюрьмы: она тоже смутно чувствовала потребность заполнить вечер, так, чтобы друг ее с ней не соскучился.

Через Porta della Carta они вошли во двор Дворца Дожей, где теперь постоянно толпился народ (браня прогнанных тиранов за роскошный образ жизни и вместе восторженно удивляясь им). Штааль уверенно называл достопримечательности.

— Это, Настенька, помните? Scala dei Giganti[2]... Вот это Сансовинов Нептун, бог морей, а это Марс...

— Какие большие! — сказала Настенька и пожалела, что сказала: замечание было недостаточно тонкое — Штааль поморщился.

Они быстро прошли по залам, наскоро полюбовались глобусами в Sala del Gran Consiglio[3] и черной дощечкой на месте портрета Марино Фальеро. Настеньке очень понравилось, что злого короля оставили без портрета; она, впрочем, только смутно догадывалась, кто был Марино Фальеро, и не спрашивала Штааля, чтобы его не сконфузить, если и он не знает.

В одной из зал Штааль нашел сторожа, говорившего по-французски, и предложил показать им тюрьмы. Сторож, огромный человек зверского вида, фамильярно взял его за пуговицу и, наклонившись к самому его лицу, объяснил значительным тоном, что он как раз при тиранах и был приставлен к Pozzi, но они показываются только по утрам. От него сильно пахло вином — вид у него был праздничный. Штааль недовольно высвободил пуговицу (это, по-видимому, обидело сторожа) и предложил двойную плату. Сторож сбегал за фонарем, засветил свечу и повел их в Pozzi. Какая-то тяжелая дверь открылась. Как из погреба, пахнуло сыростью; сразу стало прохладно и темно. Они очутились на узкой лестнице. Сторож остановился, поправил свечу в фонаре и медленно пошел вниз, звеня ключами. За ним, ступая боком и держась за руку, следовали Штааль и Настенька. Спускались они довольно долго, и серд-

---

[1] Буквально: «Колодцы» и «Свинцовые крыши» *(итал.)*.
[2] Лестница исполинов *(итал.)*.
[3] Зал Большого Совета *(итал.)*.

це у них стало стучать, точно им грозила опасность. Особенно неприятны были тяжелые двери, с шумом захлопывавшиеся за ними по дороге.

— А что, если он шмыг назад, а нас тут оставит? — прошептала Настенька.— Умрешь, никто не сыщет...

— Полноте, Настенька, сущий вздор! — строго сказал Штааль и сжал ее руку. Она тотчас успокоилась, но ему ее замечание было неприятно. Он посмотрел на спину сторожа, на огонек впереди него, пожал плечами и пошел дальше. Вдруг Настенька вскрикнула не своим голосом: что-то со страшной быстротой пронеслось мимо их ног. Сторож засмеялся, как-то странно цыкнул, сделал еще два шага вниз и высоко поднял фонарь. Штааль споткнулся, сходя на ровное место. Они были в узком коридоре, в котором тусклый свет фонаря произвел смятение: по земляному полу стаями носились огромные крысы. Настенька онемела, да и Штааль почувствовал ужас: он смертельно боялся крыс, их отвратительной торопливости. Сторож загремел ключами, стал на колени (Настенька вздрогнула) и придвинул фонарь к одной из стен коридора. Они увидели дыру, сделанную в низкой железной двери.

— Через эту дверь подавали пищу и выносили,— пояснил с удовольствием веселый сторож.— Вот что бы тогда сказала синьора! Крысы бросались вырывать хлеб из рук...

Он ввел ключ в замок, открыл дверь, вышиной много ниже человеческого роста, и знаком предложил посетителям пролезть. Настенька замахала руками отрицательно. Штааль нагнулся и заглянул в камеру. Там было темно, но не так темно, как в коридоре. Сторож прополз в дверь с фонарем и осветил крошечную каменную клетку, в которой встать он никак не мог бы. К одной из стен была приделана полка, прикрытая тюфяком. Больше ничего в камере не было. Против входа, через небольшую дыру в стене, просачивался слабый свет.

— Canal Orfano,— сказал сторож, показывая на дыру рукою.

Настенька, ахая, согнулась и прошла в камеру: там было светлее и крыс не было слышно. Штааль тоже пролез в дыру, выпрямился за ней, больно стукнулся головой о потолок, выругался и с удивлением почувствовал, что ноги его увязают.

— Отчего здесь мокрая земля? — спросил он, стараясь говорить спокойно.

Сторож, стоя по-прежнему на коленях, пояснил, что, когда вода поднимается в лагуне, она через дыру входит в

камеру — вот до сих пор: он двинул рукой выше уровня полки. С водой-то и врываются крысы: ведь это морские крысы.

— Куда же девались узники, когда вода поднималась в лагуне? — невольно вскрикнул Штааль.

Сторож охотно ответил. Большая часть узников стояла на четвереньках на полке. Но некоторые не обращали внимания — привыкли. Он дал пояснения относительно заключенных, причем и о них, и о крысах говорил совершенно одинаково; рассказывал так, как если бы тюрьма, в которой он состоял сторожем, была главной гордостью Венеции. По-видимому, он одинаково сочувствовал и заключенным, и тем, кто их держал в тюрьме. Долго ли здесь оставались заключенные? Обыкновенно всю жизнь. Большинство скоро умирало, но были такие, что жили в камерах тридцать, даже сорок лет. После революции их всех выпустили на свободу, радостно сообщил он, так один старик, просидевший очень долго, не хотел уходить.

— Не понимал,— пояснил весело сторож.— И вот, представьте, на свободе через три дня умер. Синьору интересно будет взглянуть на надпись?

Он приблизил фонарь к стене. Там были выцарапаны каракули.

— «Di... chi...» — стал разбирать Штааль. Сторож ему помог:

Di chi mi fido guardami Dio,
Di chi non mi fido guardaro io.

— «Пусть Бог спасет от тех, кому веришь; от тех, кому не веришь, спасешься и сам»,— скоро и гладко перевел он — видно, в сотый раз переводил эти строки. Штааль по требованию Настеньки взволнованно объяснил ей страшную надпись, говорившую о неизвестном предательстве.

— Ах какой несчастный! — вздохнула она.— Неужто здесь так и помер?

Ее слова опять укололи Штааля. Перед этой беспредельностью страданья нельзя было так говорить.

— Довольно, пойдем! — вскрикнул он со злобой. Сторож с удивлением оглянулся.

Они вышли в коридор, по которому опять понеслась встревоженная стая, и с облегчением стали подниматься. Но ступенек через двадцать их проводник опять остановился и открыл боковую дверь, которой они прежде не видели. Блеснул бледный свет кончавшегося дня. В небольшой каменной комнате, выходившей на канал, в стену была

ввинчена железная машина, что-то вроде толстой подковы, концы которой, стянутые ремнем, соединялись с осью рычага. Сторож произнес с удовольствием непонятное итальянское слово и, видимо, не мог его перевести. Отдав Штаалю фонарь, он принялся вертеть ручку рычага. Концы подковы стали сжиматься. Сторож засмеялся и провел рукой по шее.

— Душили этим,— догадалась Настенька.— Ну да, душили. Ах, звери!..

— Верно, он-то сам их и душил... Как ловко вертит! — проговорил Штааль и, вытянув руки с фонарем (со свечи капало сало), быстро вышел и стал подниматься по лестнице, увлекая за собой Настеньку.

Дверь открылась и захлопнулась, зазвенели ключи. Блеснуло золото, живопись, бархат. Стало тепло. В комнате инквизиторов было уже полутемно. В изнеможении Штааль опустился на диван: сердце у него сильно билось от того, что они видели, и от быстрого подъема по лестнице. «Сорок лет... сорок лет в темной дыре с крысами... На полке на четвереньках... Нет, нет предела человеческому терпению... Так да будет же благословлена революция, да будут благословлены Робеспьеры и Мараты, если они этому кладут конец!..» — думал он — и вдруг вспомнил, как звал Суворова в день казни жирондистов...

Настенька видела, что он был взволнован, и это ее трогало. Ей хотелось его утешить и похвалить за доброе сердце. В комнате инквизиционного совета было мало народа. Английская семья — муж, жена и подросток-сын — обменивалась вполголоса впечатлениями. Высокий человек, стоявший поодаль, спиной к дивану, смотрел на орудия пытки, которые, для устрашения допрашиваемых, изобразил здесь мрачной кистью Тинторетто. Настенька наклонилась к Штаалю и быстро, с наслаждением, поцеловала его в ухо. Он посмотрел на нее влюбленным взглядом, благодарный за то, что она оценила его чувствительность. Они нежно обнялись. На диванах Дворца, собственно, сидеть не полагалось. Но сторож, который получил от Штааля больше, чем рассчитывал, не вмешивался — со снисходительностью южных людей к влюбленным. Англичане старались не замечать парочку — только подросток смотрел на нее внимательными блестящими неподвижными глазами, как собака смотрит на обедающих людей... Высокий человек отвернулся от стены. Настенька подавила восклицание ужа-

са и стиснула руку Штааля. Этот человек был Баратаев. Он, казалось, не заметил их и медленно направился к выходу.

XI

«Тогда молодой человек начал говорить — не языком романов, но языком истинной чувствительности: «Наталья, прекрасная Наталья! Любишь ли ты меня? Твой ответ решит судьбу мою: я могу быть счастливейшим человеком на свете, или шумящая Москва-река будет гробом моим».— «Ты мил сердцу моему,— прошептала Наталья нежным голосом, положив руку на плечо его.— Дай Бог,— промолвила она, подняв глаза на небо и обратив их снова на восхищенного незнакомца,— дай Бог, чтобы я была столь же мила тебе!»

У Штааля выступили слезы: так нравилось ему это место повести.

— Настенька, какой прекрасный сочинитель господин Карамзин! — сказал он дрожащим голосом.

Каждое поколение любит по какому-нибудь писателю. Штааль любил по Карамзину.

Не получив ответа, он оглянулся на Настеньку и увидел, что она спала на боку, прикрыв глаза платочком от солнца, близкого к закату. Настенька уснула под его чтение.

В Милан они переехали из Венеции уже довольно давно. Как всегда без объяснений, Баратаев, вечером после возвращения из Дворца Дожей, сообщил им, что они покидают Венецию на следующий день. Образ жизни их почти не изменился на новом месте. Баратаев работал в библиотеке, а они развлекались, как могли. Часто совершали вместе большие прогулки за город. В этот день они гуляли очень долго, Милан был в пяти верстах. Уже за обедом в траттории Настенька чувствовала себя усталой и даже заметила — не напрасно ли они выпили целую бутылку пахучего Vino nero, которое подавалось в таких милых, уютных летних корзинках (это вино зимою, без солнца, казалось, и пить было бы невозможно).

Штааль положил книгу, радостно полюбовался спящей Настенькой и сам с наслаждением откинулся на траву, расправив кафтан так, чтобы его не смять. Правда, Настенька говорила, что на настоящем мужчине костюм должен быть немного помят, но Штааль не разделял ее мнения; он всегда чувствовал себя гораздо лучше и самоувереннее, когда был безукоризненно одет,— не знал, что почти такое же

приятное чувство дают нищему лохмотья (только платье среднего качества неприятно). «Не позеленел бы кафтан от сырой травы! Глупо будет гулять с зеленым пятном сзади...» Штаалю вообще не нравился его штатский костюм, он успел привыкнуть к военному мундиру. Особенно досадно было отсутствие оружия. В траттории, где они обедали, за соседним столом расположилось много французских солдат... Они могли задеть, оскорбить Настеньку — что бы он стал делать безоружный? И хотя французские солдаты вели себя, грех сказать, очень прилично, уважая, согласно своим обычаям, права кавалера, с которым находилась дама, Штааль все-таки торопился кончить обед и тотчас после десерта увел Настеньку в садик над большой Миланской дорогой. Траттория была шагах в тридцати, и окна ее выходили на другую сторону. Оттуда доносились голоса и взрывы веселого смеха.

Штааль лег на грудь, повернув голову так, чтобы видеть Настеньку. Глаза ее были закрыты платком, рот, чуть открытый, слегка улыбался. Подумал, что, быть может, Настенька притворяется спящей: разве люди могут спать улыбаясь? Она привыкла к театру, значит, вдвойне притворщица: как женщина и как актриса. Это замечание показалось ему тонким, и, как всегда, он почувствовал удовольствие от сознания своего ума. Но, вглядевшись ближе, Штааль заметил, что Настенька действительно спит. Самая лучшая актриса не сумела бы так верно изобразить ровное дыхание сна... А вот муравей, обогнув быстро сырой просвет, переполз с травы к ней на шею: если б Настенька не спала, она непременно вскрикнула бы и затем, сбросив муравья, еще долго бы ахала и ужасалась,— значит, спит. Наблюдение это было тоже очень проницательно и опять засвидетельствовало Штаалю тонкость его ума. Одну минуту он взвешивал: не лечь ли ему удобнее и не поспать ли самому полчасика, если все равно Настенька спит; с удовольствием чувствовал, что может заснуть в любую минуту,— стоит только повернуться немного на бок и прикрыть от солнца глаза. Штааль чрезвычайно любил спать. Но и так лежать было очень хорошо. «Ведь не всегда я буду вдвоем с Настенькой, далеко от Баратаева, далеко от всего знакомого мира и на таком прекрасном ландшафте натуры? Вдруг эта минута больше не повторится?» Что-то на мгновенье его кольнуло, потом прошло. Штааль лениво повел глазами, не кругом — нельзя было, потому что лежал он на груди,— а столько, сколько позволяла шея: увидел обвитую плющом стену траттории, лицо и шею Настеньки, зеленые

и желтые неравные непараллельные былинки сырой пахучей травы, серые просветы земли между ними, серебряную бумажку («она как сюда попала?»), двух муравьев и книгу, которая лежала на траве корешком вверх, так что часть страниц неровно загнулась («не поправить ли? нет, Бог с ней, лень протягивать руку»). И вдруг опять его укололо *то самое*. Он еще полежал с минуту, бессознательно стараясь ускользнуть от *этого*, затем принужден был дать волю сознанию: конечно, нехорошее — то, что все это уже когда-то было. Это всем известное ощущение, знакомое Штаалю и по опыту, и по книгам, было ему очень неприятно.

«Когда же, где и что было? И почему неприятно (нет, хуже чем неприятно), если даже было?» — тревожно спросил он себя.

«Да, было. Все было. И Настенька, и книга... Только где и когда?»

Он подумал, что Настенька была не Настенька, а кенигсбергская немочка Гертруда («где она теперь?»), и читали они не «Наталью, боярскую дочь», а «Страданья молодого Вертера», и не он читал, а она... Она читала по-немецки, он плохо понимал... И весна тогда была, а не лето, и вообще тогда было совсем другое... Но кажется, задолго до того было что-то гораздо более похожее на *это*, но где, когда — и с ним ли, или с другим — он решительно не мог вспомнить: не только не мог вспомнить, но не мог и вспоминать: на этом трудно, невозможно было сосредоточиться — мысль тут точно обрывалась перед краем, будто не ее это было дело. «А может быть, не было, а *будет?*.. Что за вздор!» Штааль вдруг почувствовал тревогу. Ему захотелось разбудить Настеньку.

— Настенька,— нерешительно сказал он негромким голосом, предоставляя Провидению решить, проснуться ли ей или нет. Настенька не проснулась. Но звук собственного голоса тотчас успокоил Штааля. Он пожал плечами, взял книгу и, чуть подняв повернутую голову на правом локте, стал читать на том месте, где открылось. Левая страница была много дальше от его скошенных глаз, чем правая, но лежать на груди было очень удобно.

«Молодой супруг возвратился к своей любезной — помог ей раздеться — сердца их бились — взял ее за белую руку... Но скромная Муза моя закрывает белым платком лицо свое — ни слова!.. Священный занавес опускается, священный и не проницаемый для глаз любопытных».

«А вы, счастливые супруги, блаженствуйте в священных восторгах под влиянием звезд небесных, но будьте це-

ломудренны в самых высочайших наслаждениях страсти своей! Невинная стыдливость да живет с вами неразлучно — и нежные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском ложе вашем!»

«Уже солнце взошло высоко на небе и рассыпало на снегу миллионы блестящих диамантов но в спальне наших супругов все еще царствовало глубокое молчание».

...— сказал Штааль.

Ему стало очень стыдно: оставшись наедине с женщиной, которую он любил, он сначала хотел уснуть, а потом занялся чтением!

А тут еще такая попалась страница... Штааль захлопнул книгу, поднял голову, лежа на груди, и приблизил лицо к Настеньке.

«Наконец-то эта женщина в моей власти»,— сказал он про себя, бледнея, и зачем-то повторил вслух, правда негромко, эту фразу.

У него не было, однако, уверенности в том что Настенька действительно теперь больше в его власти, чем прежде. Он злым сосредоточенным взглядом оглянулся по сторонам: никого не видно, но траттория, в которои шумели люди, расположена слишком близко...

— Настенька,— опять негромко позвал Штааль, раздевая ее взглядом.

Прежде насчет веснушек Настеньки могли быть сомненья. Но теперь, всматриваясь в ее лицо на необычно близком расстоянии, при ярком свете летнего итальянского дня, он видел ясно: «Да, конечно, на носу и под глазами ее заметные веснушки. Но они милые. И вообще это ничего, веснушки... они сойдут зимой в Петербурге. А то еще была в «Английском магазине» помада против веснушек... Или это было в «Нюренбергских лавках»? Нет, в «Английском магазине», у приказчика с острой бороденкой, что слева от входа, красивая такая длинная баночка, стоила три рубля... От Houbigant... Как они, однако, теперь выписывают из Парижа товары? Государь ведь запретил... Очень хороши зубы у Настеньки...» Штааль считал себя знатоком женской красоты и часто, кривя душою, уверял товарищей, что больше всего ценит в женщине зубы и *конечности*. Зубы у Настеньки были точно хороши. Как будущий писатель (он все возил с собою дневник), Штааль задумался, с чем можно было бы их сравнить, и сразу нашел несколько хороших образов: снег, кораллы, слоновая кость, жемчуг («впрочем,

вовсе он не белый, жемчуг, и вообще совсем не похож на зубы»). На губах у Настеньки играла теперь улыбка, которая казалась Штаалю насмешливой и немного его раздражала («чем же я виноват?»). Вглядываясь внимательно, он заметил у нее между зубами у десен следы итальянского сыра с луком, который в траттории подавали вместо десерта. И тотчас ему представился запах этого сыра (он его не ел, хоть и хотелось: закончил обед рюмкой марсалы). Штаалю показалось, что он почувствовал отвращение. «Неужели разлюбил?» — спросил он себя — и неожиданно при этой мысли на него на мгновенье нахлынула непонятная тщеславная и злая радость. Он тотчас, однако, опомнился: «Да нет, быть не может... Нет, конечно, я влюблен по-прежнему, больше прежнего... Зачем, однако, она так улыбается? Сердится?.. О чем она думает?..»

Настенька не сердилась и ни о чем важном не думала: она соображала, что, собственно, произошло и почему и как ей нужно поступить. Подумав, она рассудила, что всего благоразумнее молчать, чуть улыбаясь,— это всегда хорошо.

Штааль смущенно закрыл глаза, желая обдумать нечто очень важное («для этого всегда надо закрывать глаза»). Конечно, в последние месяцы любовь к Настеньке составляла весь смысл его жизни. Однако, в сущности, он совращает женщину, близкую человеку, от которого он, кроме добра, ничего не видел... Штааль хотел чувствовать угрызения совести, но не чувствовнал их. Напротив, он видел ясно, что до Баратаева ему нет решительно никакого дела. «Хуже было бы, если б я стал себя уверять в том, чего нет. Так я, по крайней мере, правдив с самим собою»,— подумал он в свое оправдание. Этого оправдания ему, однако, показалось мало, и он тотчас бессознательным усилием стал искать другое. «*Собственно*, какие могут быть угрызения совести в наши дни, в пору всяких злодеев! И потом, *в сущности*, Баратаев не любит Настеньку. Он никого и ничего не любит, кроме своих мыслей. Настенька ему нужна в полночь, как в полдень ему нужны хлеб и мясо. Разве любят хлеб и мясо?..» При этой мысли у Штааля вспыхнула ненависть к Баратаеву. «Поделом ему, что он стал *соси!..* [1]» Очень хорошее это слово — *соси*... У молодого человека возникли было сомнения, можно ли уже считать, что Баратаев действительно стал *соси*. Сомнения эти он, слегка краснея, решил в положительном смысле — и опять в его

---

[1] Рогоносец *(франц.)*.

душе поднялась радость. Он даже не понимал, как могла ему явиться мысль, будто он разлюбил *эту женщину*. Только *в первую минуту* ему могло так показаться.

Тут он заметил, что давно открыл глаза, несмотря на важность вопросов, которые его занимали, и смотрел он не на Настеньку (как следовало бы), а на небо. Небо было обыкновенное — хотя и итальянское, но такое же, как везде... «И все это неправда, будто в Италии какое-то особенное небо и прозрачный воздух. Такой же воздух, как летом в России... И в ландшафте натуры тоже нет ничего особенного. В Шклове, в имении Семена Гавриловича, натура будет, пожалуй, почище... О чем же я думал? Да, о Баратаеве, о моей вине перед ним...» Теперь он почти ясно чувствовал, что от сознания вины перед Баратаевым волна радости в нем не только не слабела, а, скорее, как будто даже росла... Штааль *ужаснулся* своей безнравственности, но и ужас этот, он чувствовал, был не совсем настоящий. Он стал искать такую мысленную позицию, с которой Баратаев был бы хуже его. Этой позиции он не находил и только подобрал с горечью одно смягчающее обстоятельство: «Собственно, нас и сравнивать нельзя: Баратаев — старик, а я ведь еще так молод»,— подумал он, не замечая, что нашел здесь не смягчающее обстоятельство, а именно ту самую позицию, с которой он был во всех отношениях гораздо выше пятидесятилетнего Баратаева.

«Да, в сущности, если разобраться, какой Баратаев мне благодетель? — спросил себя Штааль.— Он взял меня с собой в чужие края — что ж с того? Я был в них и раньше. Он мне платит жалованье, да разве я без него голодал? Правда, он платит щедро, но...» — Штааль подумал, какое могло быть здесь *но*, и внезапно ему в первый раз в жизни пришло в голову, что все богатые люди — и богатые от рожденья, и только что разбогатевшие, первые даже больше, чем вторые,— немного презирают тех, кому платят деньги: и Баратаев, должно быть, его презирает — тщательно скрывает это, как человек хорошо воспитанный, а все-таки чуть-чуть презирает в одном из далеких чердаков души. От непривычки от этой мысли (к ней люди скоро привыкают) у Штааля кровь бросилась в голову и зубы плотно сжались: «Он мне платит деньги не даром, а за мой труд — не был бы я ему нужен, он не нанял бы... не пригласил бы меня»,— резко сказал он кому-то, кто его оскорблял. «Да, да,— отвечал тот,— за то и презирает, что ты даешь труд, а он деньги».— «Но разве *можно* гордиться богатством?» — «Отчего же *нельзя*, если *можно* гордиться умом, красотою,

знатной породою? Богатство не такое ли счастье, как все другое, чем гордятся люди? Люди всегда гордятся счастьем — и только им. Чем же другим?» — «Как чем? Благородной душою и поведением моральным»,— с негодованием сказал Штааль, забывая недавние свои мысли и проникаясь духом сочинителя Карамзина. Но тот другой молодой человек, который в нем был и шутливо к нему относился, победоносно ответил: «Люди, гордящиеся благородной душою, самые противные из гордецов. А ты лучше сам стань Баратаевым, стань-ка вельможей».

— И стану, дай срок! — гневно сказал вслух Штааль, вздрагивая от неожиданности и быстро поднимаясь.

Со стороны траттории загремели барабаны. Настенька вскочила с легким криком испуга. Штааль прикрыл глаза от косых лучей солнца. Перед большой дорогой быстро строился взвод французских солдат. Люди взяли ружья на руку и повернули головы направо. Офицер, сверкнув шпагой, поспешным радостным взором оглянулся на окаменевший взвод. По Миланской дороге, дымя пылью, кавалерийский отряд несся карьером к траттории. С радостным биеньем сердца Штааль узнал пышную, красивую форму польских телохранителей главнокомандующего. Впереди на кровном коне скакал, приложив руку к треуголке, генерал в синем мундире. На худом каменном лице страшные глаза смотрели вперед, будто ничего по сторонам не замечая. Тяжелые люди пронеслись вдаль, не замедлив хода, и как зачарованный Штааль смотрел вслед генералу Бонапарту.

XII

Не получив ответа на стук, Штааль попробовал дверь и неслышно вошел в комнату. Баратаева не было.

«Ну да, книжный червь уже в библиотеке»,— подумал с насмешкой Штааль. С тех пор как его отношения с Настенькой превратились в настоящую связь, он относился к Баратаеву совершенно иронически. Старик по-прежнему ничего не замечал.

Штааль зевнул (накануне заснул очень поздно) и уж хотел было идти разыскивать Настеньку, как вдруг заметил на столе большую тетрадь в черном атласном переплете. Любопытство охватило его. «Чем же наконец занят старый сумасброд? — спросил он себя и стал нерешительно соображать: — Баратаев ушел в библиотеку, значит, вернется только ввечеру... Не почитать ли?.. Собственно, неблагородно... Ну, вот вздор!.. Я его тайн никому не выдам. Да

и какие у него могут быть от меня секреты? У нас ведь теперь все общее».

Он выглянул в дверь. В длинном коридоре гостиницы ничего не было слышно. Штааль оставил дверь полуоткрытой, чтобы узнать вовремя, если кто направится в комнату, затем сел, раскрыл лежавшую на столе газету («в случае чего скажу, что зашел ее посмотреть») и нерешительно протянул руку к тетради, заметив предварительно ее положение на столе («вдруг он помнит, как у него все лежит,— от него станется»)... Сердце у Штааля немного билось.

Толстая тетрадь была вся почти исписана. На первой странице был эпиграф:

Bene vixit bene qui latuit [1]

За ним следовала огромная цифра 2, и под ней подпись: Deux — nombre fatidique [2].

Штааля удивил мелкий прямой почерк с утолщениями не по вертикальной, а по горизонтальной линии: старик, когда писал, держал перо между указательным и средним пальцами. Буквы ясные и мелкие прыгали, слова кончались резкими взлетами. Штааль подумал, что почерк этот двойственный, как и весь облик старика. В нервном и беспокойном Баратаеве был богатый барин, с той завидной уверенностью, которую дают знатность и богатство. Остановила внимание Штааля также орфография: так в ту пору уже только немногие писали по-французски. Он принялся читать наудачу. Первые страницы как будто составляли введение и были поделены на отрывки, с заглавиями большей частью латинскими.

Et quasi aquae dilabimur in terram, quae non revertuntur [3].

Elle était pourtant belle, la vie, tant que restoit entier l'espoir, la plus grande joie qu'icy-bas nous est donnée. Je ne suis pas ingrat: je n'oublie rien. Fleur desséchée, retrouvée dans un vieux livre en poussière, le foible vestige de ton parfum évaporé m'est une nouvelle et atroce douleur.

Une aventure incomprehénsible, odieuse, m'est arrivée: la vieillesse. Le ver du sépulcre me guette et le temps n'est pas révolu. L'existence des autres que, vivant, je supportais à peine, va continuer sans moy. Tout recommence. Deux choses

---

[1] Тот хорошо жил, кто хорошо прятался *(лат.)*.

[2] Два — число вещее *(франц.)*.

[3] И проливаемся на землю подобно водам, которые не возвращаются *(лат.)*.

m'inspirent un dégout insurmontable: le cadavre en décomposition et la femme enceinte[1].

Слово cadavre[2] было подчеркнуто два раза. На полях было приписано:

Il est tout. Il est partout. La sociabilité interdit d'en parler. L'habitude empêche d'y penser. Une conspiration du silence s'est faite contre les cendres de notre tombeau[3].

«Этот труп везде? — подумал Штааль с усмешкой.— Веселенький человечек... Гробокопатель какой-то! Да я, например, ни одного трупа сроду не видел... Нет, видел: Робеспьер... Еще государыня... А все же это вздор... Как есть гробокопатель, дурак этакой...»

Et mon âme immortelle? Dérision! Que veulent-ils donc immortaliser, ces pédérastes hellènes, ces cuistres allemands? Il n'est pas de vice dont je ne retrouve en moy le germe. La différence est infime entre le marquis de Sade et le plus respectable des humains: différence de courage peut-être, une autre nuance de l'irrationnel tout au plus. C'est donc cela, noble Socrate, que vous voulez diviniser? C'est icy, brave Kant, que vous avez découvert l'admirable loy morale? Car mon âme vaut bien les vôtres[4].

Над следующим отрывком была надпись:

Et videbunt omnem turpitudinem tuam[5].

Но далее Штааль ничего не мог разобрать: весь отры-

---

[1] Она была все-таки прекрасна, эта жизнь, настолько, пока оставалась надежда, наибольшая радость, данная нам на этом свете. Я не являюсь неблагодарным: я ничего не забываю. Засушенный, найденный в старой, покрытой пылью книге цветок, остаток твоего улетучившегося аромата, для меня новая и нестерпимая боль

Непостижимое, отвратительное событие свалилось на меня старость Гробовой червь подстерегает меня, и время нельзя повернуть вспять. Существование других, живущих, которых я переносил с трудом, будет продолжаться без меня. Все обновляется. Две вещи вызывают у меня непреодолимое отвращение: разлагающийся труп и беременная женщина *(франц.)*.

[2] Труп *(франц.)*.

[3] Снова он. Он везде Вслух об этом не говорят. Привычка запрещает об этом думать. Заговор молчания составился вокруг останков нашего склепа *(франц.)*.

[4] А моя бессмертная душа? Насмешка! Что хотят они обессмертить, эти эллинские педерасты, эти немецкие болваны? Нет гнусности, на которую я не чувствовал бы себя неспособным. Нет порока, зародыша которого я не нашел бы в себе. Разница между маркизом де Садом и самыми достойными людьми ничтожна, быть может, она в мужестве — это, самое большое, другой нюанс иррациональности. И это то, что вы хотите обожествить, благородный Сократ? Это то, что вы назвали прекрасным моральным законом, честный Кант? Ибо моя душа стоит дороже ваших *(франц.)*.

[5] И увидят все безобразие твое *(лат.)*.

вок показался ему зашифрованным. Только в самом конце, за непонятными словами, было написано:

«И никто же о них погибе, токмо сын погибельный». C'est la parole la plus ambiguë de l'Evangile [1].

Штааль в недоумении перевернул несколько страниц и прочел:

Epipitur persona, manet res [2]

La pierre de la sagesse est purifiée par le feu philosophique dont l'image est le Phénix renaissant de ses cendres. Tout se répète. Il a y là un mystère, que nul n'a su déchiffrer. Deux est le nombre fatidique.

La connaissance intégrale est l'idéal que je dois atteindre. Il me trompera peut-être luy aussy. Mais c'est pour la dernière fois, alors, que je serai dupe de l'existence. La haute sagesse, si elle est mensongère, sera au moins mon ultime mensonge [3].

На этой фразе, по-видимому, заканчивалось вступление. Дальше на белой странице были выведены большими буквами два слова, составлявшие заглавие труда:

КАМЕНЬ ВЕРЫ

Штаалю надоело читать, он ничего не понимал. Равнодушно закрыв тетрадь, он положил ее на место и, убедившись, что все на столе оставлено в прежнем виде, вышел из комнаты Баратаева.

XIII

...Он говорил по-французски так холодно и равнодушно, как Штааль не мог бы говорить на сцене, когда б играл холодного и равнодушного человека. Баратаев не объяснял причин отказа и не придумывал для него предлога. Это было оскорбительнее всего: если б он сослался на что-либо непредвиденное, если б указал хоть самый глупый, неправдоподобный предлог, было бы гораздо легче снести оскорбление. Но он просто, без долгих слов, предложил Штаалю вернуться в Россию — предложил, ни разу не повысив голоса: только на мгновенье слетело с него выражение равнодушия, и лицо его вдруг стало грубым и злым...

[1] Самая двусмысленная фраза из Евангелия *(франц.)*.

[2] Личина исчезает, суть остается *(лат.)*.

[3] Камень мудрости, очищенный философским огнем, есть образ Феникса, возрождающегося из пепла. Все повторяется. Здесь есть тайна, которую никто не сумеет раскрыть. Два — число вещее. Целостное познание — мой идеал, которого я должен достигнуть. Может быть, и он меня обманет. Но это последний раз я стану жертвой обмана жизни. Высшая мудрость, если она обманчива, станет, по крайней мере, моей последней иллюзией *(франц.)*.

Долгие недели Штааль с мученьем возвращался мысленно к этой сцене и все не мог придумать, как ему следовало себя вести, чтобы выйти с достоинством из положения, в которое поставил его Баратаев. Глупее, очевидно, нельзя было поступить, чем поступил он, безмолвно и растерянно глядя на оскорбителя. Но что на его месте сделал бы самый умный и находчивый человек на свете — этого Штааль так не мог решить и впоследствии. Всякая просьба *объяснить* сделала бы еще унизительнее положение, и без того достаточно унизительное.

«Он подумал бы, что я прошу прощенья, молю сохранить за мной должность, жалованье... Надо было вызвать его на дуэль... Но он не дал бы мне сатисфакции... Он сказал бы, что не в обычае нашем драться на поединке со служащим, с увольняемым секретарем... И это правда... Я должен был ударить его. Правда, он почти старик... Но я не поэтому его не ударил... И что же я стал бы делать дальше? Ударить и — потом взять деньги. А у меня в кармане три цехина. Будь я богат, я увез бы Настеньку... Будь я богат, я не был бы секретарем, слугой у этого подлеца... Но без денег мы через три дня очутились бы в долговой тюрьме. В Россию не на что было бы вернуться. Письма о помощи писать — кому? Никого и ничего у меня нет... О проклятые деньги!» — думал он, вспоминая подробности несчастного утра.

Штааль сразу почувствовал недоброе, когда слуга, разбудив его в девять часов, с таинственным видом сообщил, что синьорина уехала куда-то с зарею... Правда, отъезд их в Неаполь давно считался решенным. «Но почему такая неожиданная спешка? Почему не выехали все вместе? Почему именно Настеньку послали вперед? Почему она с ним не простилась, а его даже не разбудили?..»

Взволнованный, он поспешно оделся и уж хотел было идти разыскивать Баратаева (еще надеялся, что ничего не случилось), как в дверь постучали: лукаво на него глядя, хозяйка передала, что синьор требует его к себе. У подъезда стоял готовый экипаж. Баратаев, в дорожном костюме, с тростью в руке, только минуту разговаривал с Штаалем. Затем положил на стол звякнувший холщовый мешочек и, поклонившись (но не дав руки), вышел. Звуки колес коляски уже замолкли вдали — а Штааль все еще стоял неподвижно, не приходя в себя от удара, который свалился на него так неожиданно.

Лакей стал с сочувствующим видом убирать комнату, оставленную Баратаевым. Вошел хозяин и учтиво спросил, желает ли *молодой синьор* (прежде он его называл просто

синьор) оставить за собой также и этот номер или только свой прежний.

— Я... я еще не решил,— сказал Штааль вспыхнув.

Он поспешно сунул мешочек в карман, с решительным видом спустился во двор и, спустившись, вспомнил, что идти ему некуда. Хозяйка и горничная разговаривали, весело смеясь, и, увидев его, сразу перестали смеяться. В любовной ссоре старика и молодого человека симпатии итальянцев должны были бы оказаться на стороне Штааля; но то, что старик поступил так хитро и поставил молодого в глупое положение, очевидно, меняло дело.

Штааль быстро вернулся к хозяину.

— Скажите, когда я мог бы отправиться отсюда в Неаполь?

Хозяин подумал и ответил тихо, сочувственным тоном:

— Вам нужно было бы получить подорожную и пропуск от французов... Это теперь очень трудно. Старый синьор потратил много денег, а все-таки ждал две недели...

— Как две недели? — воскликнул Штааль.

— Синьор получил бумаги только вчера.

— Вчера?.. Отчего же вы... Но разве нельзя без подорожной и пропуска?

Хозяин посмотрел на него с удивлением:

— Вас задержат на первой заставе.

Штааль, едва удерживаясь от слез, вышел из гостиницы. Он дошел до конца улицы, свернул на другую и бессильно опустился на какую-то скамейку.

«Ну да, этот негодяй ждал паспорта и притворялся, будто ничего не замечает... Он видел нас тогда во Дворце Дожей... Быть может, и здесь в Милане... Мы стали слишком смелы... Кто мог подумать?..»

— Gelate... gazoze,— сказал проходивший разносчик.

«Венеция... Площадь Святого Марка... Все было так хорошо... Мы были счастливы... Но как же Настенька, как она согласилась меня бросить? Так, легко, без сопротивленья... Здесь не Россия, он не мог бы ее заставить уехать насильно... Так вот чего стоила ее любовь, ее клятвы! — думал он (хоть Настенька не имела привычки клясться в любви).— Боже, что мне делать? Гнаться за ними, убить его как собаку?..»

Но он уже ясно чувствовал, что не погонится, не убьет и ничего не сделает страшного.

«Гнаться? «Вас задержат на первой заставе...» Ну да, в военное время... А где они будут через две недели! И на его деньги гнаться!.. Боже, какое положение!..»

Он посидел еще с четверть часа на скамейке, вернулся в свой номер, стараясь пройти незамеченным, и лег на неубранную постель, даже не сдвинув подушки, оказавшейся посредине кровати. Так он пролежал часа два — как он думал, худшие два часа его жизни. Сначала он думал о Настеньке — еще накануне ему казалось, что, в сущности, он ее любит гораздо меньше, чем прежде. Теперь при мысли о Настеньке он испытывал злобную тоску. Часа через два он вовсе перестал о ней думать: злоба взяла верх над любовью и распространилась на Настеньку.

Штааль встал после полудня, почувствовав голод, и машинально стал сбивать пух с кафтана. Что-то с тяжелым звоном упало на пол. Он поднял холщовый мешочек и высыпал золото на столик. Денег было не очень много — приблизительно столько, сколько требовалось для возвращения в Россию. Все было, очевидно, предусмотрено, чтобы связать его по рукам и ногам.

— Ах какой подлец! — сказал Штааль вслух и стиснул зубы от бешенства, вспоминая грубое жестокое выражение, которое на минуту приняло при их разговоре лицо Баратаева. «Да, вот его истинная натура. Все остальное — маска учтивости, привычная комедия... Ах какой подлец... И я все стерпел тише агнца!.. Да неужто все кончено? Да, все кончилось так просто, без шума, без сатисфакции, без крови — кончилось одной властью денег, вот этих золотых монет...»

Золотые монеты были венецианские цехины. На одной стороне их был изображен дож Людовик Манин, на другой — Христос с Евангелием в левой руке. Штааль машинально прочел надпись: «Sit tibi, Christe, datus, quia tu regis, iste ducatus» [1]. Бешенство его охватывало все больше, уже не только против Баратаева, а против них всех, против всего этого мира, который на презренных монетах ставит изображение Христа. «Все, все обман,— думал он,— вот, вот то одно, что правит человечеством... Так они же за все мне заплатят!..»

«Che i gabia o non i gabia, e xe sempre Labia» [2],— вдруг почему-то вспомнил он — и от обиды за то, что никакой он не sempre Labia, а бессильный, беспомощный мальчишка, Штааль уткнулся лицом в подушку и заплакал, всхлипывая по-детски и почти не удерживая злобных мстительных рыданий.

---

[1] «Да будет даром Тебе, Христос, сей край, в коем Ты царствуешь» *(лат.)*.

[2] «Богаты они или не богаты, они всегда Лабиа» *(итал.)*.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

В тревожной жизни Петербурга в начале 1799 года смелые люди, которые решались обсуждать политические вопросы, много говорили о войне с Францией, об отношениях между императором и Анной Петровной Лопухиной и о формировании корпуса кавалергардов.

Предметы эти имели тесное отношение один к другому. Анну Петровну считали сторонницей войны с Францией; начиналась война, очевидно, из-за Мальтийского ордена святого Иоанна Иерусалимского; и к этому же ордену имел тесное отношение новый корпус: кавалергарды должны были составить гвардию особы Великого Магистра, иными словами, императора Павла Петровича.

В мальтийской истории почти никто ничего не понимал. Говорили, будто выдумал ее канцлер князь Безбородко, тонко знавший царя и желавший доставить ему безобидное развлечение. Добавляли, однако, что князь Александр Андреевич не только не рад своей выдумке, но рвет на себе волосы — после того как затея эта повлекла за собой войну с Францией: генерал Бонапарт, овладев островом Мальтой по пути в Египет, посадил там свой гарнизон.

Петербургское общество иностранной (да и внутренней) политикой занималось мало. Тем не менее война из-за Мальтийского ордена сильно всех поразила. Самые странные слухи ходили по столице. Очень осведомленные люди утверждали, будто государь собирается провозгласить себя римским папой вместо Пия VI, политику которого он не одобрял. Им в ответ недоверчиво указывали, что римскому папе надлежит быть католиком. Но соображение это никого не убеждало. И Мальтийский орден был чисто католический; между тем в кавалеры его теперь были записаны православные митрополиты. Основой ордена, по самому его

замыслу, было безбрачие; однако государь, женатый человек и отец семейства, объявил себя Великим Магистром. А главный мальтийский рыцарь, итальянский граф Литта, нарочно приехавший в Петербург для того, чтобы предложить царю гроссмейстерский сан, в России скоро сам женился на богатой племяннице Потемкина, графине Скавронской. Юлия Помпеевича Литту во всех гостиных Петербурга ругали плутом и мошенником. Очень были сперва недовольны им и всей мальтийской историей также католические круги Запада во главе с папой и с императором. Баварский электор не соглашался даже признать царя Великим Магистром, а в своих владениях закрыл мальтийское приорство. После этого посланник Баварии барон Рейхлин был в двухчасовой срок выслан из Петербурга, а генералу Корсакову, стоявшему во главе пятидесятитысячной русской армии, велено было вторгнуться в Баварию и разорить ее дотла. Иностранные державы стали сговорчивее: России на Западе боялись чрезвычайно.

Свыклось с мальтийской затеей и русское общество, по крайней мере в столице (в провинции и даже в Москве люди в ту пору жили и думали совсем не так, как в Петербурге). Многие по-настоящему увлекались пышным церемониалом ордена, мальтийскими плащами, мундирами и восьмиугольными крестами.

Особенно усилилось увлечение, после того как государь отдал графу Литте приказ о формировании нового кавалергардского корпуса на новых, блестящих началах и с такими привилегиями, которых не знала ни одна другая гвардейская часть: рассказывали, что все кавалергарды будут носить шляпу с плюмажем, вообще полагавшуюся только генералам; что кавалергардский отряд будет постоянно занимать во дворце внутренний караул; что на спектаклях в театре Ермитажа за креслом государя будет стоять кавалергардский офицер. Слухи эти волновали гвардию. Карьера нового корпуса с первых дней приняла особый характер. Впоследствии кавалергарды всегда считали себя много выше других офицеров и порою нелегко принимали в свою среду даже великих князей. Но в царствование Павла Петровича репутация самого аристократического из русских полков еще не была за ними признана; их *претензии* вызывали раздражение в петровской гвардии и особенно в конногвардейском полку: в новый корпус именно из конной гвардии были взяты отборные солдаты и лучшие лошади. Все зачисленные в кавалергарды, как офицеры, так и рядовые, тем самым становились мальтийскими рыцарями.

Кавалерами ордена святого Иоанна Иерусалимского, вслед за царем, великими князьями, сановниками, становились по разным побуждениям разные люди. Не все здесь сводилось к моде и к карьере. Почти во всех исторических явлениях преобладают не сохраняемые историей личные побуждения выгоды и тщеславия. Но вместе с тем едва ли есть в истории такое событие, которое эти побуждения объясняло бы целиком. Быть может, никогда жажда тайны, одна из столь же сильных, сколь неровных потребностей человека, не ощущалась так сильно русскими людьми, как в то странное время. Царствование Екатерины развращало людей, но не давало им скучать. От скуки было много лекарств. Одни кутили, прожигали жизнь. Другие делали карьеру при дворе, в армии, во флоте. Третьи путешествовали и развлекались по-западному за границей: молодой Строганов был членом Якобинского клуба, князья Голицыны брали приступом Бастилию.

В новое царствование кутить стало трудно и рискованно — почти все было запрещено. Карьера представлялась призрачной при характере императора Павла: крайняя милость и суровая кара сменяли друг друга в течение одного дня без всякой видимой причины. Жизнь при дворе стала почти невыносимой. О поездке за границу никто не смел и подумать. Всем было скучно и страшно.

В тайнах Мальтийского ордена многие искали смысл событий, происходивших во Франции и в России. Кое-кто внимательно изучал статус ордена и сочинение аббата Верто. Императору Павлу приписывались глубокие таинственные замыслы. Больная душа его и вправду искала того, что было другим непонятно.

Людям свойственно переоценивать долю намеренного, сознательного и целесообразного в действиях всевозможных правительств. Планы, мысли, стремления людей, стоящих у власти, вызывают разные, большей частью враждебные чувства. Но самое существование этих мыслей, планов, целей обычно не вызывает сомнения. Огромная доля бессознательного, случайного, механического в том, что делает власть, постоянно проходит незамеченной. Так бывает и в странах с нормальными правительствами. Так было и в России в конце восемнадцатого века. Действия несчастного императора Павла тщательно обсуждались русским обществом. Не искали в них смысла только люди, хорошо знавшие царя. Их было немного, и они ничего не говорили. Молчал упорно канцлер. Впрочем, у князя Безбородко, как почти у всех выдающихся государственных людей Рос-

сии,— как у Ордын-Нащокина, у Петра, у Дмитрия Голицына, у Сперанского, у Валуева, у Победоносцева, у Витте, как у наиболее умных политических деятелей последнего времени,— всегда было смутное сознание, что все равно *все пойдет к черту*. Это смутное сознание облегчало канцлеру совместную работу с императором. Упорно молчали и другие — и только через несколько лет после восшествия на престол Павла Петровича из самых близких к нему кругов наконец выскочило и пронеслось шепотом по необъятной стране зловещее слово:

«Сумасшедший...»

II

«Panem et aquam et humilem vestitum promittimus...»

Перед Штаалем на письменном столе лежало несколько книг и груда рукописных листов. На первом из них четким, крупным, писарским почерком было написано: «Уложение священного воинского ордена святого Иоанна Иерусалимского, вновь сочиненное по повелению священного генерального капитула, собранного в 1776 году, под началием его преимущественного высочества великого магистра брата Емануила де Рогана». Все большие буквы заглавия были выведены затейливо, отвесно к строке и красными чернилами. Уложение это подготовлялось к печати по приказу царя, и его первые листы уже распространялись в рукописи. Штааль получил их по знакомству от одного из служащих канцелярии графа Литты. Он хотел обстоятельно изучить литературу ордена, прежде чем принять решение.

За литературу эту он принялся было со страстью — у него тоже истосковалась по таинственному душа,— но увлечение Штааля продолжалось недолго. По-латыни он знал плохо, позабыл то немногое, что знал, и переводить статуты было очень трудно.

Штааль облегченно вздохнул, увидев короткую фразу без accusativus cum infinitivo, ablativus absolutus [1] и других фокусов. Но и короткая фраза далась не сразу. «Promitimus — это верно как promettre: обещаем,— соображал Штааль.— Panem et aquam — ясно: хлеб и воду... Значит: обещаем есть хлеб и пить воду... Et humilem vestitum.— Он заглянул в латинско-французский словарь: — «Humilis humile — vil, de basse condition... Vestitus, vestitus —

[1] Латинские грамматические обороты.

vêtement, habit». Теперь все было понятно: «Обещаем есть хлеб, пить воду и носить скромное платье...»

Понятно это, конечно, было, но, чтоб так разобрать одну только главу «De receptione fratrum» [1], надо было бы потратить несколько дней... Штааль зевнул и, хоть устыдился зевка, отложил латинский статут и стал читать другие сочинения об ордене святого Иоанна Иерусалимского. Вначале шла история. Штааль прочел в оглавлении список гроссмейстеров ордена, стараясь запомнить наиболее звучные имена: «Лавалетт, Вилье де Лиль-Адан... Лавалетт, Вилье...» Он опять зевнул и занялся философией ордена.

Штаалю очень хотелось перевестись в кавалергардский корпус и стать, таким образом, мальтийским рыцарем. Попасть на войну было больше шансов в качестве кавалергарда. Соблазняли и привилегии нового корпуса. Очень хороша была также его форма: кавалергардам полагались латы и малиновые супервесты, а для придворных собраний — красивые красные мундиры. Особенно прельщали Штааля латы да еще белый финифтяный восьмиугольный крест мальтийского рыцаря с лилиями на углах и золотой короной наверху. Штааль уже осведомлялся о значении этой эмблемы. Белый цвет означал целомудрие, обязательное для рыцарей ордена, а восемь концов креста — восемь блаженств. Насчет пункта о целомудрии Штааль был спокоен: лейтенантом корпуса состоял знакомый ему Владимир Петрович Долгоруков. А восемь мальтийских блаженств никто в Петербурге не мог перечислить Штаалю. Спросили было у графа Юлия Помпеевича, но и Литта знал на память только четыре блаженства.

Просмотрев несколько глав в книге, Штааль отложил ее и стал перебирать в памяти прочитанное. Память у него была хорошая: запомнил сразу почти все. «Девять провинций ордена?.. Прованс, Овернь, Франция, Италия, Арагония (с Каталонией и Наваррой), Кастилия, Португалия, Германия...» Только девятой провинции он не мог вспомнить и заглянул в книгу: девятой провинцией была Бавария. «Ну да, конечно, Бавария...» Штааль подумал, в какую провинцию ему придется записаться (о Российской провинции в книге ничего не было сказано), и, поколебавшись недолго между Кастилией и Арагонией (с Каталонией и Наваррой), решил в пользу Арагонии. «Комтур Арагонской провинции» — это звучало прекрасно. Штаалю

[1] «О принятии братьев» *(лат.)*.

очень хотелось выслужиться именно в комтуры, хотя в ордене имелись чины и повыше: над комтурами были приоры, а над приорами — провинциалы. Но слово «приор» очень отдавало монастырем, а чин провинциала совсем не нравился Штаалю: «Точно какой-нибудь костромич или рязанец — объясняй, что здесь провинциал значит совсем другое». Ранг комтура был гораздо красивее; он звучал почти как графский титул. Русским комтурам император назначил и недурное жалованье. Но чтобы выслужиться в комтуры, нужно было либо оказать ордену особую услугу, либо проделать большой поход. Штааль подумал, какую особую услугу он мог бы оказать ордену. «Отбить, что ли, Мальту у генерала Бонапарта? Трудно...» Нет, главная надежда была, конечно, на участие в походе. «А пока что же, побуду простым мальтийским рыцарем...»

Успокоенный, он снова взялся за книгу и сразу напал на место, которое его несколько встревожило: чтобы стать рыцарем ордена, нужно было указать, по общему правилу, восемь предков, а в германской провинции даже шестнадцать. Только Арагония и Италия ограничивали требование четырьмя предками — Штааль удовлетворенно подумал, что он, еще не зная этого, выбрал именно Арагонию. Если же кто не имел и четырех предков, то он мог стать донатом — лишь бы только ни отец, ни дед его не были рабами и не занимались ремеслом. Такому условию Штааль удовлетворял, и слово «донат» было ничего, хорошее слово. Он, однако, с огорчением прочел, что в обязанность донатов входил преимущественно уход за больными. Это ему совсем не понравилось. Желая проверить французского автора, он снова заглянул в латинский статут, но там в отделе «De regula» [1] как назло открывалась длинная и запутанная фраза, которую, наверное, не могли понять никакие ученые, ни даже сами римляне. После нескольких отчаянных попыток Штааль выделил из длинной фразы наиболее важный, по-видимому, кусок: «ut post multifariam alcemosynarum elargitionem gentem Mehummetanam oppugnant, premant, pessumdent». Совершенно разобраться и в этом куске было почти немыслимо, но общий смысл Штааль, однако, уловил: главная задача всех рыцарей ордена, независимо от их степени, заключалась в том, чтобы истреблять магометанское племя. Об уходе за больными в «De regula» ничего не говорилось. Тут, однако, Штааля смутило другое: турки только что стали союзниками России, их эскадра сра-

[1] «О правилах» (*лат.*).

жалась под командой адмирала Ушакова, и об истреблении магометанского племени, очевидно, не могло быть речи. Штааль подумал, что вообще устав ордена, конечно, устарел: едва ли в России будет соблюдаться и пункт о предках. По общему правилу в кавалергардский корпус было приказано даже рядовыми принимать только дворян, но так как дворян-рядовых не хватало, то брали и людей других сословий; как раз накануне из конногвардейцев в состав кавалергардского корпуса перевели за огромный рост двух солдат-мужиков, Хинчука и Шелкова. Шелков и Хинчук также были теперь мальтийские рыцари. «Быть может, той же Арагонской провинции?..» Мысль эта показалась неприятной Штаалю. Он пересмотрел всю книгу, читая одну страницу из десяти. Что-то еще было длинное и скучное о бессмертии души, о загробной жизни. Штааль задумался о том, бессмертна ли душа и какова может быть загробная жизнь. Так он сидел несколько минут, неуверенно вспоминая то, что он прежде читал об этих предметах в серьезных книгах. Ничего толком не вспомнив, он заставил себя снова взять книгу. Доказательства бессмертия души были настолько странны и непонятны, что Штааль подумал, уж не шутит ли автор. Но все в старой книге, от тяжелого возвышенного слога до черной кожи переплета, говорило против подобного предположения. Автор не только высказывал свои мысли; он ссылался на Платона и на отцов церкви. Было чрезвычайно странно, что Платон и отцы церкви говорили такие вещи... «Если бы душа человека не была бессмертна, злоба и грех разрушили бы ее, как болезни разрушают тело...» «Значит, грех и злоба — это болезнь души? — подумал Штааль.— Допустим... Но отчего же так устроено, что душа хворает?.. И если бессмертие дано всем, то какой резон стараться, живи как знаешь... Зачем бессмертна, например, душа Марата?..»

Штааль закрыл глаза и постарался вообразить загробную жизнь. Ему представилась дверь, запертая наглухо, а за ней огромная полутемная зала («Как в кадетском корпусе»,— подумал он, кривя губы)... В этой зале на большой высоте скользило, колеблясь, что-то белое, кисейное... Темная зала тоже куда-то летела... Штаалю стало страшно; он поспешно отогнал от себя этот образ и открыл глаза, стараясь восстановить прежний ход мыслей. Вдруг его охватила радость. «Что же случилось хорошего? Платон и бессмертие души?.. Нет... Ах да, латы»,— вспомнил он и ясно представил себя в мундире кавалергарда, в шляпе с плюмажем, в серебряных латах.

Мальтийский орден удовлетворял потребностям его души. Все новое было приятно Штаалю, *выбор жизни* — лучшая радость и поэзия молодости. Штааль еще раз быстро восстановил в уме все доводы в пользу того, чтобы стать мальтийским рыцарем. Хорошо было уж и то, что поступление в орден навело его на такие серьезные и полезные мысли... И все знатные персоны Петербурга записывались теперь в рыцари. Против этого шага было только одно соображение: жаль было покидать конногвардейский полк. Конная гвардия сразу усвоила к кавалергардам враждебно-ироническое отношение (впоследствии длившееся долгие десятилетия). Чтобы заглушить укоры совести, Штааль припоминал все обиды, которые ему пришлось перенести от начальства конногвардейского полка. Обид было не очень много, но воспоминание о них раздражало Штааля. Его не сумели оценить, пусть же теперь не пеняют.

Он сел за стол и, обдумывая каждое слово, написал по-французски частное письмо князю Долгорукову, лично его знавшему. Письмо с просьбой о принятии в кавалергарды было очень хорошо составлено, особенно в конце. Своим французским слогом Штааль желал обратить внимание Долгорукова и сгладить разницу в их общественном положении, обнаружив одновременно и крайнюю почтительность. Вместо банального «veuillez agréer» [1] Штааль написал: «Si mon audace égalait l'estime, que j'ai toujours professée pour votre personne j'oserais signer, prince: le plus fidèle et le plus respectueux de vos serviteurs» [2].

От буквы «s» последнего слова шел эффектный росчерк на три строки вниз и чуть влево, непосредственно переходивший в подпись. И конструкция этой заключительной фразы, и выбор места для слова prince [3], и даже росчерк показались Штаалю чрезвычайно удачными. «Так, кажется, заканчивали письма версальские вельможи... Так ли? Ну, все равно оригинально...» Он с удовольствием переписал письмо набело (росчерк вышел еще лучше), запечатал своею печатью и сам отнес на Фонтанку в бывший дом Хлебникова, где помещалась канцелярия кавалергардского корпуса.

---

[1] «Примите и проч.» *(франц.)*

[2] «Если бы моя дерзость равнялась уважению, какое я всегда к Вам питал, я осмелился бы подписаться, князь: Ваш преданнейший и почтительнейший слуга» *(франц.)*.

[3] Князь *(франц.)*.

III

От князя Долгорукова долго не было ответа. Для поступления в Мальтийский орден требовалось, очевидно, пустить в ход связи, и Штааль решил поговорить со своим старым покровителем Александром Андреевичем.

Безбородко в последние годы достиг предельной вершины почестей. Он занимал должность канцлера, имел титул светлейшего князя и считался, вместе с Шереметевым и Строгановым, богатейшим человеком в России. Но и карьера, и жизнь Александра Андреевича подходили к концу. Он был тяжко болен водянкой, и, по общему отзыву, силы его слабели с каждым днем. Говорили, однако, что канцлер не сознает всей опасности своего положения, мечтает о поездке в чужие края и по-прежнему занят коллекциями и постройками. Свой московский дом, считавшийся самым роскошным в России, он продал государю и теперь строил себе в Москве новый дворец, еще больше и пышнее. Между тем уже шли озабоченные споры о том, кто займет должность Александра Андреевича и как будет разделено между наследниками его несметное богатство. Говорили теперь о канцлере без всякой злобы и зависти: все отдавали должное его уму, способностям и государственным заслугам. Это было самым зловещим признаком.

Слухи о тяжкой болезни князя доходили и до Штааля, и ему поэтому было неприятно идти к Александру Андреевичу, которого он искренне любил. Однако в числе его знакомых не было никого, кто хотя бы немного приближался к канцлеру по влиянию и связям. Штааль решил, что простая вежливость предписывает ему этот визит, а там уж будет видно, можно ли просить об услуге Александра Андреевича в его нынешнем состоянии.

В качестве бывшего своего человека Штааль вошел в дом канцлера с подъезда Большой Исаакиевской. Отсюда к князю направлялись без доклада, и даже швейцара при этом подъезде не было. Впрочем, к Александру Андреевичу, как к большинству вельмож того времени, вообще ходили в гости довольно свободно. В ту гостеприимную пору существовал в обеих столицах целый разряд людей, которые не считали нужным держать собственный стол, так как к их услугам имелся гораздо лучший — у Алексея Орлова, у Шереметева, у Остермана: в их дворцы приходил обедать кто хотел, не будучи вовсе знакомым с хозяином (у Орлова чуть не ежедневно обедало несколько сот дворян).

Штааль хорошо знал дом Александра Андреевича, но

всякий раз, после непродолжительного отсутствия, находил там перемены. Он поднялся во второй этаж, прошел по ряду гостиных комнат, заметил новую горку с китайским фарфором, шедшую почти до потолка, увидел голубую вазу, о которой ему говорил Иванчук, утверждавший, что другой такой нет в целом мире. За эту вазу Безбородко заплатил двенадцать тысяч. Штааль полюбовался вазой, но недолго: во дворце князя имелось множество самых редких и дорогих вещей, и потому, как в больших музеях, любоваться ими было нелегко. С тех пор как по службе Безбородко достиг предела, доступного русскому подданному, а многочисленные болезни отняли у него женщин, единственной страстью Александра Андреевича осталось искусство. Он в нем знал толк, как, быть может, никто другой в России, и последние мысли его, еще связанные с честолюбием и завистью, относились не к служебным успехам других вельмож, а к картинной галерее Строганова, которая одна могла соперничать с его собственной.

Штааль остановил одного из слуг и спросил, где находится его светлость. Слуга, хотя и не знавший в лицо гостя, нисколько не удивился незнакомому человеку и предложил проводить его в спальную. Но Штааль знал туда дорогу и уверенно пошел к князю. Безбородко спал в очень простой комнате, которая спальной не называлась. А в спальной, главной гордости его дома, он принимал — не просителей, но знакомых.

Штааль задержался на мгновенье в небольшом кабинете перед спальной: находившиеся в нем бюро, жирандоли и тамбурные занавеси принадлежали Марии-Антуанетте и были вывезены из Малого Трианона. Как всегда в этой комнате, Штааль не удержался и потрогал рукой доску стола, за которым писала казненная королева. В кабинете тоже были новые вещи: бокалы из перламутра и серебра, украшенные камеями и драгоценными каменьями. Штааль подумал, что не худо бы поставить несколько таких бокалов на полку у себя в квартире на Хамовой улице, и вздохнул. Затем подошел к спальной, послушал (ничего не было слышно) и слегка постучал в дверь; за дверью тотчас послышался кашель, и знакомый голос произнес с малороссийским акцентом:

— Ну, что ж там? Войдите...

На Штааля пахнуло теплом и запахом аптеки. Спальная, затянутая красным бархатом комната-музей, была жарко натоплена. Безбородко сидел около печки в низком кресле, вытянув вперед на тумбу ноги, прикрытые пледом. На

коленях у него лежала книга в ободранном переплете. Рядом на столе стоял графин и несколько склянок.

Штааль едва узнал князя — так его изуродовала страшная болезнь. По его груди, плечам, особенно по ссохшейся, жилистой шее видно было, как сильно он исхудал. Но ноги, руки, живот Александра Андреевича безобразно распухли от водянки, и фигура его походила теперь на уродливую раздавленную куклу или на изображение в искривленном зеркале. Лицо князя также опухло и приняло серо-зеленоватый цвет. Ничего не оставалось от его обычного выражения благодушия, самоуверенности и хитрости.

Александр Андреевич на мгновенье впился глазами в Штааля, стараясь не упустить его впечатления, затем улыбнулся — улыбка вышла жалкая. Видимо, он рад был гостю — оттого ли, что любил его, или же потому, что ему теперь было страшно оставаться без людей.

Он приветливо кивнул Штаалю и с очевидным усилием, как чужой предмет, подал ему холодную распухшую руку. Штааль пожал ее и с ужасом почувствовал, что на отекшей коже от пожатия, точно на подушке, осталось углубление. Безбородко перенес руку на стол и уставился на нее расширенными глазами.

— Как ваше здоровье? Надеюсь...— начал Штааль.

— Здоровье? Хвастать нечем, брат,— ответил небрежно Александр Андреевич, отрывая взгляд от своей руки.— Блок дрянью пичкает, приписывает все гуморроиду. Да что-то в груди терплю боль и жаждой томлюсь... Кровь было из горла выкидывал, ты, может быть, слышал? — Он внимательно посмотрел на Штааля.— Кровь — это пустое, верно, какая-нибудь жилка порвалась... Советуют пьявицы поставить... Думаю Крузе позвать, но у них с Блоком шиканы, еще уморят, со злости один на другого.

— Слава Богу, что ничего сурьезного,— сказал Штааль.

— Ну, да ты почему же думал, что сурьезное?.. Не всем, брат, рассказам верь. Меня многие, верно, уж похоронили, а я назло возьму и их переживу. Все, правда, под Богом ходим. «Не весте бо егда приидет тать и подкопает храмину...» Умирать, однако, пока не собираюсь. Худо, брат, то, что сон имею плохой. Так сидя и сплю... Это, брат, худо...

— Вам бы съездить отдохнуть на теплые воды, ваша светлость,— посоветовал Штааль.— Перетрудились вы очень...

Безбородко посмотрел на него внимательно и, по-види-

мому, остался доволен впечатлением, произведенным на нового человека. В речи его появилась прежняя закругленность и внушительность интонаций.

— Прошу теперь государя уволить меня от всех дел и для пользования моего здоровья всемилостивейше дозволить отлучиться в чужие края, к водам Карлсбадским и Пирмонтским. А то от телесных немощей, без сна как бы не отшибло у меня память и другие способности, к доброму и успешному производству дел необходимо нужные,— сказал он удовлетворенно и легко надавил средним пальцем кожу левой руки. На коже появилось углубление. Лицо Александра Андреевича снова потемнело.

Желая развлечь князя и доставить ему удовольствие, Штааль обвел глазами спальную, сделал изумленный жест и попросил показать новые покупки.

— Есть, есть кое-что,— сказал Безбородко.— Да ты что видел? Вернетов моих знаешь? Числом шестнадцать, в том числе Карадыкинский? Ну да, Вернетов я тебе показывал, их кто же не знает...

Он спустил ноги с тумбы, тяжело оперся одной рукой о стол, другой о палку и поднялся с кресла, странно закидывая назад голову, как это делают больные водянкой. Чулки его больше не спускались с распухших ног.

— Есть, есть кое-что новое,— повторил он.— Ну, вот недавно навязал мне Мелиссино этого Греза «L'enfant gâté» [1]. Дорого взял, собака, но не жалуюсь: Грез преизрядный. У короля французского, может быть, были лучше, да революционеры, хамье, растаскали, так что теперь Греза лучше моего не сыщешь. А вот «Богоматерь» Гверчинова, тоже грех хаять: весьма хорошая... А это «La charité romaine» [2] Гвидо, превосходной красоты... Мелиссино ценит скромно тысяч до пяти. Ну а насчет сией картины ты что скажешь?..

Штааль нерешительно смотрел на картину, боясь осрамиться: осторожнее было не говорить ничего — как бы изучая внимательно.

— Жулио Романо Моценигов,— пояснил Безбородко.— Только о нем, голуба, мысли разные: иные хвалят, иные хулят. Гваренги почитает настоящим, а немцы, собаки, ругают чужим. Ты как думаешь? — спросил Александр Андреевич, озабоченно глядя на Штааля и, видимо, желая, чтобы он признал картину подлинной.— Я полагаю, что Гва-

---

[1] «Избалованный ребенок» *(франц.)*

[2] «Римское милосердие» *(франц.)*.

ренги верно говорит... Ну и гроши вытяблили ох какие!.. Чек акча вирды,— сказал Безбородко.

Штааль посмотрел на него с изумлением.

— Чек акча вирды — по-татарски «много денег ушло»,— повторил Александр Андреевич.— Опять же грех жаловаться: кое-что и даром перепало. Покойный король польский, царство ему небесное, подарил мне знаменитую картину... Вот та большая — Рубенса «Le dénir de Saint Pierre» [1]. Какой колер?.. Ты посмотри, какой колер,— сказал с удовольствием Безбородко, в тысячный раз любуясь картиной.— Рыбаки-то, рыбаки, а? Экое здоровое мужичье!.. А знаешь ты, какая это баба сзади стоит с ведром? Это, дружок, первая мадам Рубенс... Не дурак был Рубенс, а? Царство небесное польскому королю, очень я его жалел,— сказал Александр Андреевич, искренне благодарный за сделанный ему подарок.

Штааль воспользовался случаем для того, чтобы перевести разговор поближе к своему делу: от польского короля к польским делам, а оттуда к Мальтийскому ордену.

— Правда ли, ваша светлость,— спросил он,— будто поляки опять собираются нас воевать? Говорят, Костюшко вернулся из Америки и получает командование во французской армии?

— Ну да, правда,— ответил нехотя Безбородко, садясь снова в кресло и перебирая в руках медали из стоявшего на столике блюда.— Павел Петрович, как взошел на престол родительницы, ей назло возьми и отпусти эту Костюшку на волю. Да не просто, а с наградами, с подарками, да с комплиментами, и так, и этак... Одними чистыми деньгами подарил ему государь шестьдесят тысяч рублей, да шубу, да серебро, да фарфор, да экипаж...

— И Костюшко принял?

— А что, он дурак, что ли? Натурально принял,— сказал канцлер.— Деньги, правда, теперь, через два года, вернул, спохватился,— верно, его паны надоумили,— с отчизны, пане, и больше возьмете... А шубы и серебра не вернул, шельма... Ругательное письмо государю прислал, честь честью, на французском языке, а шубы нет, не вернул,— с сожалением повторил Безбородко.— Хорошая была шуба, соболья... И серебро первый сорт... Первый сорт... Чек акча вирды... Чек акча вирды...

— Вот и вышло, что польская политика покойной государыни была разумна,— заметил неуверенно Штааль.

Безбородко ссыпал медали назад в блюдо.

---

[1] «Отречение апостола Петра» *(франц.)*.

— Матушка государыня, вечная ей память,— сказал он,— была, что и говорить, умная женщина. Ах какая умная! — повторил он и помолчал, закрыв глаза, видимо вспоминая Екатерину.— Но в политике ничего не понимала,— вдруг добавил он, открывая глаза (он выразился сильнее, и Штааль засмеялся от неожиданности).— Что ей очередной мужчина скажет, то и свято. Велел ей Мамонов-дерябка меня Без... называть — называла... Знаю, что называла,— сердито сказал Александр Андреевич,— добрые люди порадовали, тотчас сообщили... Потом Зубова в гении произвела. А он, братец, мало что язва, плутец, шильник,— он, братец, дурак, каких свет не видывал!.. Ну и в польских делах матушка, не тем будь помянута, тоже немало намудрила. Было, раз, она что выдумала? Из бывших уманских, белоцерковских и побережных казаков, учиня общую кличь, составить Запорожскую Сечь и пустить ее на Польшу! Хорошо? Это ей Репнин посоветовал, мудрый человек, ребры ему все отломать. И так ей понравилось, что я насилу отговорил. Ты понимаешь ли? В такое время собственный народ возмутить и гайдамачину завесть! Наш мужичок Пугачева небось помнит, а там на юге и Хмельницкого еще не позабыл. Начнет с Потоцких да Чарторыйских, а потом разлакомится и нас с Репниным слопает... Да мне и Чарторыйского жаль нашему мужичку отдать... В Пулавах какие картины есть, ах какие вещи! — он покачал головой.— Мужичку, брат, мои Вернеты не нужны... Того и гляди дождемся греха... Большая может быть ферментация... Ты думаешь, у нас все прочно стоит? На песке, братец, строим, на песке... Боже сохрани, чтоб я разумел там какое-нибудь равенство химерическое. А только худо, дружок, худо у нас людям живется, а они все, шельмы, на ус мотают. Ведь продажа людей без земли что есть, как не сущее невольничество?.. Ох, может быть ферментация... Ты возьми якубинцы. Ведь эти изверги и поныне во Франции владычествуют, ознаменяя правление лютыми казнями. Да над кем казнями? Над знатнейшими в государстве особами духовного и мирского чина, разбойники этакие! — сердито сказал князь.

— Что ж, у нас, вы думаете, появятся жакобены какие из мужиков? — спросил Штааль несколько насмешливо (после своей поездки во Францию он себя считал специалистом по жакобенам).

— А Емелька Пугачев тебе чем не жакобен? — еще сердитее ответил Безбородко.— Вот я теперь все пищами духовными питаюсь. Кашкин покойный, Евгений Петрович,

подарил мне сию книгу, ключ к «Апокалипсису».— Безбородко поднял ободранный том.— Написал ее лет сорок назад немец Бенгель, и, поди ж ты, говорит он в книге, что не дале как через тридцать лет будет во всей Европе неустройство и вражда, а в одной стране великое возмущение народа, так что добрых людей из оной изгонят, а правительство опровергнут и государя законного умертвят... Как по писаному предсказал немец! Ты что на это скажешь?

— Учительная книга! — произнес изумленно Штааль.

— Да...— протянул неопределенно Безбородко.— А может быть, и то,— добавил он помолчав,— болтал просто немец зря, что в голову взбредет, да на случай как раз так и вышло. Может, и «Апокалипсис» так написан... Ну да молод ты все это понимать...

— О Бонапарте из Египта нет ли известий? — спросил Штааль после некоторого молчания: все не решался перейти к своей просьбе.

— Из Царяграда через Молдавию было известие,— сказал недоверчиво канцлер.— Привел на него войско турецкий паша и, встретив под Каиром, побил наголову. Убитому Бонапарте, сказывают, отрезана голова и, по ихнему обычаю, выставлена перед гаремом на позор. Коли правда, жаль: умная была у Бонапарты голова... Кобенцель, довольно с ним обращавшийся, говорил мне, что он глубокомыслен, проницателен и математик великий, при честолюбии пребезмерном... Да только мастера турки врать,— добавил вдруг князь и помолчал.— Ну, говори, как живешь? Ко мне зачем пожаловал?

— Вас проведать,— сказал, улыбаясь, Штааль.

— Спасибо, дружок. А коли что нужно, говори. Денег, что ли? Естьли не много, дам.

— Денег мне не надо, ваша светлость,— ответил Штааль (Безбородко удовлетворенно кивнул головой),— а просьба к вам вправду есть, и немалая.

Смущенно выбирая слова, он неуверенно изложил свое дело. Когда Штааль заговорил о Мальтийском ордене, лицо князя вдруг приняло испуганное выражение.

— Тебе это зачем? — спросил он боязливо после того, как Штааль кончил.— В мальтийцы-то?

— Как вам сказать? — замялся Штааль.— Ведь и вправду нужна когорта... для борьбы с духом революции... Прекрасна сия мысль государя и Мальтийский орден, как видно из самого статута...

— Ты лучше поступи в почтовое ведомство,— перебил его Безбородко.— Ведь *им* в... когорте жалованье не сразу

идет, а? Надо сначала выйти в... в комтуры (он боязливо и с очевидным усилием выговорил это слово). А в почтовом ведомстве ты в первый же год законных да небеззаконных можешь заработать тысячи три, а то и четыре... Я тебе дам записку, а? Будешь благодарить...

— Нет, что вы! Разве я для жалованья? — вскрикнул Штааль, краснея.— Я по убеждению души...

Безбородко смотрел на молодого человека мутным взглядом маленьких глаз. Лицо его стало еще более испуганным.

— По убеждению души? — переспросил он.— Ну, тогда, конечно. Тогда иди, если по убеждению души, я ничего и не говорю... Только что ж я тут сделаю, голубчик? Я от *них* как от... Я от них в стороне. Знак *они* мне свой прислали, хороший знак, золотой. А ходить я к ним не хожу...

— Назначение формально зависит от графа Юлия Помпеевича...— пробормотал Штааль, все больше конфузясь.

— От какого еще Помпеевича?.. Ах да, от Литты. У Литты денежной молитвой прежде все можно было сделать. Теперь он, голубчик, стал богат, как секретари берут,— только ты, брат, ведь гол как сокол,— сказал Безбородко, но, увидев расстроенное лицо гостя, тотчас добавил: — Впрочем, ты не тужи, может, что и придумаем. Да вот что, я забыл... Приходи ты ко мне на бал, который я даю по случаю обручения великой княжны Александры Павловны с эрцгерцогом австрийским Иосифом, Палатином Венгерским. Государь,— сказал он испуганно,— обещал осчастливить меня посещением... И *они* все будут,— добавил также Безбородко,— комтуры-то. Весь Мальтийский орден... Ты приходи, я тебя представлю. Ничего, мы это сделаем...

— Не знаю, как и благодарить вас,— начал радостно Штааль, но не успел закончить фразы: Безбородко вдруг тяжело закашлялся, схватившись руками за шею, и выронил палку, которая стукнулась о блюдо и упала, зацепив одну из склянок с лекарством. Штааль быстро опустился на ковер и поднял склянку прежде, чем жидкость успела вылиться. Безбородко прижимал к губам платок, на котором выступало желто-красное пятно. На лице князя изобразился ужас. Такое же выражение проскользнуло и по лицу Штааля.

— Опять жилка, видно, лопнула,— прошептал Александр Андреевич, отнимая платок от вздрагивавших губ.

— Не прикажете ли послать за врачом? — спросил растерянно Штааль.

Безбородко жалостно кивнул головой и снова ухватился за горло, чувствуя приступ страшного кашля. Штааль поспешно вышел из комнаты и распорядился позвать врачей. Ему было очень жаль Александра Андреевича. «Не умер бы, однако, до бала»,— подумал он и тотчас устыдился этой мысли.

IV

По случаю обручения великой княжны с австрийским эрцгерцогом богатейшие вельможи Петербурга старались затмить друг друга роскошью своих праздников. Князь Безбородко, никогда не бывший скупым, несмотря на постоянное кряхтение о расходах, и вдобавок получивший только что от царя награду в сто тысяч рублей, отдал Иванчуку приказ не жалеть никаких денег. Но интереса к своему вечеру Александр Андреевич не проявлял и лишь устало глядел на Иванчука, когда тот измученным, торжествующим тоном докладывал ему, что не только Завадовскому, но и самому Шереметеву их праздником будет утерт нос. Впрочем, на Иванчука можно было положиться: он старался изо всех сил. Работы у него действительно было много. Всего больше забот ему доставляли вопросы этикета, связанные с приездом государя, который должен был явиться на праздник во главе Мальтийского двора и в костюме гроссмейстера. Александр Андреевич не входил и в эти вопросы, да и сам мало смыслил в этикете, несмотря на долголетнюю жизнь при дворе. Иванчук ездил для совещания к авторитетным людям, почтительно и горячо высказывал свои соображения, удивляя осведомленностью авторитетных людей, и завел при этом случае ряд хороших знакомств. Мальтийский этикет не был твердо разработан, и после продолжительных совещаний оркестру указано было играть при появлении государя не английский гимн «God save the King» [1], принятый в ту пору в качестве гимна и в России, а подходящую случаю музыку по выбору дирижера (ввиду преклонных лет Сарти приглашен был Бортнянский). Император мог приехать лишь к десяти часам и приказал открыть бал до своего прибытия. Решено было, что откроет бал с Долгоруковым Анна Петровна Лопухина. Другой возможной кандидаткой признавалась ее мачеха Екатерина Никола-

---

[1] «Боже, храни короля» *(англ.)*.

евна, но по размышлении была отвергнута: все знали, что княгиня Лопухина долгое время была в близких отношениях с Александром Андреевичем. Это подало бы повод для глупых шуток, чего желали избежать, из уважения не к Екатерине Николаевне — ее все презирали,— а к князю Лопухину, который имел репутацию хорошего, порядочного человека; он тяготился положением своей дочери, еще больше — сыпавшимися на него милостями, и титул принял неохотно, тем более что Лопухины просто считали себя знатнее светлейших князей Лопухиных.

Программа танцев тоже была принята не сразу. Тампет, матрадура и манимаска были отвергнуты как недостаточно основательные для такого бала танцы, а оставлены лишь гавот, а-ла грек, англез и в первую очередь вальс, который только что был вновь разрешен императором по просьбе Анны Петровны: Павел Петрович считал этот танец неприличным.

Всеми своими соображениями Иванчук озабоченно делился с близкими людьми. Штааль, бывший в их числе, последние часы перед балом провел в большом волнении. Часов в семь вечера он наконец приступил к туалету, сразу почувствовал усталость и раздражение от всего того, что нужно было сделать: выбрился, во второй раз в этот день, и — хоть зажег для бритья перед зеркалом все имевшиеся у него свечи — немного порезался в углу рта и на шее, и, не заметив этого, испачкал кровью воротник только что купленной белоснежной рубашки. Это привело его в дурное неуверенное настроение: он замечал, что маленькие неудачи всегда предвещают неудачный день. Штааль надел другую рубашку и с досадой заметил на ней прореху, очевидно сделанную у прачки; вылил на себя полсклянки Кельнской воды, выпил для улучшения настроения рюмку *кукельванца* и закусил очень легко, чтобы оставить аппетит для чудес, ожидавшихся к ужину. Затем надел новый мундир и в десятый раз посмотрел на часы. Иванчук просил его приехать возможно раньше, помочь в последних приготовлениях. Было, однако, еще слишком рано. По тому волнению, которое он испытывал, Штааль невольно подумал, какая серая жизнь выпала на его долю в последнее время. «Надо этому положить конец»,— неопределенно-сердито подумал он. Тотчас приказал денщику сходить за извозчиком, вышел из дому, напевая решительно «Звук унылой фортепьяна», и осторожно, на цыпочках, оберегая от грязи сапоги, натертые до ослепительного блеска, перешел с крыльца к дрожкам. Но и тут оказалась неудача: садясь, он задел одной

ногой другую, и на левом носке выше подошвы остался грязный след. Все больше убеждаясь, что вечер будет неудачный, Штааль со злобой подтолкнул под себя шинель, тщательно закутался и приказал ехать *живее*, хотя торопиться было решительно незачем. Он испытывал раздраженное чувство человека, который едет в общество богачей на ободранной гитаре извозчика. «Не выйдет так не выйдет!» — заранее — уже перед самым дворцом князя — подготовлял он себя к неудаче. Но тотчас почувствовал, что, как себя ни подготовляй, а непринятие в орден перенести будет нелегко.

Он прибыл на праздник первый. На огромной мраморной лестнице, по сторонам от растянутого на ней толстого ковра, столбами вытянулись огромные пудреные лакеи в синих ливреях и в чулках. Штааль поспешно стал подниматься, неловко оглядываясь на этих людей, из которых каждый был выше его головою. Заметив молодость первого гостя и его неуверенный вид, лакеи приняли менее принужденную позу; а один наверху даже дерзко усмехнулся, глядя на вошедшего с той самоуверенностью, какую дает, независимо от социального положения, большое превосходство роста. Штааль быстро прошел в зал Гваренги, еще только наполовину освещенный. Кроме стоявших у дверей двух великанов, в зале не было ни души. Лишь на хорах невидимый оркестр настраивал инструменты. Слева, наверху, в залу открывались темные квадраты *лож*. Штааль знал, что ложи эти — для парочек, ищущих в бале уединения,— Иванчук устроил в подражание знаменитому празднику князя Потемкина в Таврическом дворце. Вид лож и звуки настраиваемых инструментов щекотали нервы Штааля, который чувствовал себя неуютно, хоть и твердо помнил, что он в доме свой человек. Иванчук, без кафтана, в сопровождении двух слуг, на цыпочках пронесся по зале. Штааль радостно направился к нему, но он, отчаянно щурясь, замахал головой, затряс над ней руками, точно Штааль хотел все испортить, и пронесся дальше. «Зачем же этот *хам* просил меня приехать как можно раньше? — подумал, обидевшись, Штааль.— Хоть бы *прогнал* его Александр Андреевич» (об увольняемых со службы людях редко говорят: «его уволили» или «он ушел», а больше «его прогнали», «он вылетел»). К облегчению Штааля, в дверях показался новый гость, вдобавок знакомый: конногвардеец Александр Рибопьер. Это был небольшого роста семнадцатилетний мальчик с необыкновенно оживленным выражением подвижного краси-

вого лица. Радость жизни так его переполняла, что на него трудно было смотреть без улыбки. У него и рот всегда был полуоткрыт, обнажая мелкие белые зубы. Кожа на лбу у Рибопьера была по-детски так твердо и гладко обтянута, что его часто гладили по лбу (это выводило его из себя). Штааль не очень любил Рибопьера: немного завидовал этому баловню судьбы (в нем сразу чувствовался баловень судьбы), завидовал даже его молодости и тому, что, несмотря на свои семнадцать лет, он уже как-никак считался большим. Сам Штааль только что вступил в тот возраст, когда молодой человек неожиданно, с чувством недоумения и грусти, замечает, что первая его молодость безвозвратно прошла и что над ним из-за нее больше не подтрунивают и никогда подтрунивать не будут,— а прежде такие шутки вызывали в нем раздражение.

Штааль вдобавок знал, что в этот вечер у Рибопьера была кроме его семнадцати лет особая причина для возбужденно радостного настроения: весь Петербург говорил, будто этот мальчик был соперником императора Павла в милостях Анны Лопухиной. Еще утром Штааль слышал из разных уст с несходившимися подробностями рассказ о том, как император в необычный час приехал во дворец на набережной Невы, только что им подаренный отцу Лопухиной; не застав ее дома, по указанию Екатерины Николаевны, ненавидевшей свою падчерицу, через пробитую в стене дверь он вошел в соседний дом Долгоруких и там застал Анну Петровну — одни говорили, наедине с Рибопьером, другие — в его объятиях. Что было дальше, не объяснялось: «Картина!» — только повторяли радостно рассказчики. Штааль — больше из зависти к Рибопьеру — громко выражал сомнение в достоверности этого происшествия и говорил, что если бы в нем была хоть небольшая доля правды, то Пален тотчас пригласил бы Рибопьера на «стаканчик лафита» (так почему-то называли ссылку в Сибирь). Но теперь, по взволнованному лицу мальчика, он видел, что в рассказе должна быть доля правды.

Доля правды в нем действительно была, и это в самом деле приводило в особо взволнованное состояние Рибопьера. Он не был влюблен в Анну Петровну — во всяком случае, не больше, чем в других хорошеньких женщин. Государь застал их не наедине, а в обществе других гостей: они танцевали вальс, причем Рибопьер держал даму не одной рукой, а двумя, что было строго запрещено царем. На всех лицах изобразился ужас, когда в дверях

внезапно появилась мрачная фигура Павла. Ничего больше не произошло; государь скоро уехал. Но Рибопьер и теперь не мог освободиться от смешанного чувства испуга, счастья и гордости: он, которого все еще называли Сашей, которому говорили «ты» и которого гладили по лбу, был в любви соперником императора. Всю ночь он замирая ждал страшного стука в дверь и появления великана фельдъегеря — с *кибиткой*, для отвоза его в Сибирь; а утром, выйдя из дому, он осматривался и тщательно избегал подворотен, где его могли ждать подосланные убийцы (если б с ним пожелали *покончить тайно*). Ни фельдъегеря, ни убийц не было, но сознание опасности, которой он подвергался, не покидало Рибопьера даже в доме князя Безбородко, хоть он и предполагал, что на людях с ним не решатся покончить.

При виде Штааля Рибопьер первым делом себя спросил, слышал ли уже Штааль, и если не слышал, то как ему рассказать, не компрометируя чести женщины. Это страстное желание Штааль тотчас почувствовал — с проницательностью молодых людей, враждебно настроенных друг к другу, и нарочно сделал вид, будто ровно ничего не слышал, когда Рибопьер принялся осторожно, никого не называя и не компрометируя чести женщины, рассказывать свою историю. Это очень огорчило юношу. Но его утешил Иванчук, вновь пронесшийся по зале: увидев нового гостя, он на мгновенье остановился, захохотал и потрепал Рибопьера по плечу:

— Слыхали, брат, слыхали о твоем вальсоне с Анет Лопухиной!.. Смотри, Сашенька, в Сибирь не угоди!

Несмотря на упоминание о Сибири или вследствие этого упоминания, Рибопьер вспыхнул от удовольствия.

— Да ведь что же, ведь ничего, собственно, не было,— скромно начал он.

— Ну, Сашенька, ты не ври — это, брат, кажется, из «Цивильского цирюльника»!..

Иванчук опять захохотал и понесся дальше. Штааль упорно делал вид, будто во всей истории нет ничего ни удивительного, ни интересного. Он даже *незаметно* зевнул. «Выскочка»,— думал он о Рибопьере, вспоминая, что, по слухам, отец *мальчишки* был француз-парикмахер по имени Пьер Рибо. Неожиданно внимание Штааля заняло сходство имен: Рибопьер — Робеспьер. Он вспомнил картонное лицо революционного диктатора, посмотрел на *мальчишку* и — невольно улыбнулся. То, что он *знал* Робеспьера, было ему теперь особенно приятно, так как сви-

детельствовало об огромном превосходстве его жизненного опыта над опытом Рибопьера, хотя бы тот и был соперником императора. «А может быть, он и в самом деле сочинил всю эту историю с Лопухиной. Очень мальчики врут о таких своих делах... И я привирал в свое время...» — подумал он.

Рибопьер тотчас почувствовал недоброжелательство Штааля и насторожился. Других гостей еще не было, и им приходилось поневоле оставаться вместе. Медленно гуляя по зале, Штааль тоном хозяина и знатока показывал ее главные достопримечательности. Хозяйский тон его теперь раздражал Рибопьера. «Экая, подумаешь, честь, что он свой человек у Александра Андреевича, даже если не врет и в самом деле свой человек...» — думал он (Безбородко, несмотря на его первый в империи пост и огромное богатство, никому не внушал особенного преклонения). Он сбоку смотрел на Штааля и с повышенной насмешливостью, свойственной семнадцатилетним мальчикам, старался найти в нем что-либо такое, о чем можно было бы пустить забавный и злой рассказ. Картины совершенно не интересовали Рибопьера: как все очень молодые люди, он ничего не понимал в искусстве — ему даже были неизвестны имена знаменитых художников, которые называл Штааль (сам Штааль только и знал, что их имена). Но в конце зала, у двери, ведущей во внутренние покои, Рибопьер вдруг залился звонким хохотом при виде мраморной статуи Эрота, обнесенной решеткой из медных стрел.

— Так об этой-то статуе Гаврила Романович написал «Крезова Эрота»! — с трудом выговорил он наконец

Стихотворение, в котором Державин, недолюбливавший Безбородко, высмеял его немощь, пользовалось большой популярностью у молодежи. Штааль тотчас продекламировал:

...Что, сказал я, так слезами
Льется сей крылатый бог?
Иль толикими стрелами
В сердце чье попасть не мог?
Иль его бессилен пламень?
Тщетен ток опасных слез?
Ах! Нашла коса на камень:
Знать, любить не может Крез.

Рибопьер, схватившись руками за приглаженные виски и сжимая их так, чтобы не расстроить прически, заливался неудержимым смехом. Он лишь очень недавно узнал женщин. То, о чем говорилось в стихах, теперь состав-

ляло главное содержание его жизни (ему было на балах трудно танцевать от волнения), и именно поэтому его так смешили — своей невероятностью — стихи Державина.

— «Знать, любить... не может... Крез»...— задыхаясь от смеха, повторил он.

Штааль сделал испуганный жест: дверь из внутренних покоев бесшумно открылась, и в залу вошел, тяжело опираясь на палку, сгорбившись плечами и запрокидывая назад голову, Александр Андреевич в черном кафтане, в спанче из черных кружев. Измученный, больной вид князя, его распухшее, от черного воротника особенно бледное лицо сильнее прежнего поразили Штааля.

— Ты это что, из «Крезова Эрота» читаешь? — спросил канцлер остолбеневшего от смущения Рибопьера.— Славные стишки!..

Он сказал это как бы равнодушным тоном, но по сердитому выражению его глаз Штааль почувствовал, что едва ли князь находит стишки славными.

— Славные стишки...— повторил Александр Андреевич.— Хоть и то сказать: экой Геркулес нашелся Гаврила Романович! Из самого песок сыплется — и туда же!.. А ты, голубчик, поживи с мое, молоко на губах подсохнет — тогда посмеешься... Я, может, на своем веку больше женщин знал, чем тебе случалось д... (Штааль весело рассмеялся, услышав живописное выражение, которым Александр Андреевич наградил Рибопьера, сильно покрасневшего от этих слов). Да... Стар пестряк, да уха сладка...

Он будто ласково потрепал Рибопьера по спине и пошел, опираясь на палку, в примыкавшую к залу Гваренги голубую гостиную, в которой должен был принимать наиболее почетных гостей. Рибопьер прикрыл ладонью рот, выражая досаду, что так смутил старика.

V

Появились новые гости, и Рибопьер, общий любимец, тотчас к ним присоединился. Штааль сделал вид, что и сам как раз хотел от него отойти, так как он ему надоел. Но среди новых гостей у него не оказалось знакомых. С равнодушным видом он бродил по наполнявшемуся залу, небрежно и неслышно напевая «Звук унылой фортепьяна»... Более старые гости проходили в голубую гостиную, к Александру Андреевичу, который по праву больного не выходил из этой комнаты и не вставал с кресла. Самых почетных гостей еще, впрочем, не было: они

должны были явиться в мальтийской свите императора. Штааль вышел в галерею над парадной лестницей. Оттуда наблюдали съезд гости, очевидно тоже неуютно чувствовавшие себя в зале и потому иронически настроенные. Съезд был в разгаре. Небольшую сенсацию вызвал приезд Лопухиных. Штааль впервые видел вблизи фаворитку. Ее лицо удивило его обыкновенностью. «Ничего особенного... Только глаза хороши...» Ему почему-то казалось, что император мог полюбить лишь первую красавицу в России. Через минуту после того как Лопухины вошли в зал Гваренги, оркестр заиграл вальс. Из галереи кое-кто устремился в зал. Большинство стоявших над лестницей осталось, вполголоса разговаривая о Лопухиной. Одни тоже разочарованно спрашивали, что в ней нашел государь. Другие сомневались, действительно ли она любовница Павла Петровича; он всячески подчеркивал просто дружеский характер их отношений и даже, по слухам, подыскивал для нее жениха. Третьи говорили об огромном влиянии фаворитки: новый линейный корабль назван «Благодать» в ее честь, так как имя Анна значит благодать на каком-то языке — не то по-гречески, не то по-еврейски. Строившийся дворец государя у Летнего сада приказано выкрасить в цвет перчаток Анны Петровны... Говорили о ней без злобы: дам среди стоявших на галерее не было, а между мужчинами у этой семнадцатилетней миловидной девочки еще не было врагов. Только один пожилой малоросс-полковник изумленно кивал головою, услышав, что Анна Петровна стоит за войну с Францией.

В галерее показался Иванчук, по-прежнему взволнованный, но уже степенный, одетый по последней моде. Он хотел убедиться в том, что на лестнице все обстоит благополучно. Увидев холодно отвернувшегося от его взгляда Штааля, Иванчук поспешно к нему подошел.

— Прости, брат, что тогда с тобою не задержался. Голова идет кругом,— сказал он, пожимая руку Штаалю.— Очень ты хорош в мундире...

Штааль, смягченный, пожал плечами.

— Ты, надеюсь, ничего нынче не ел? Ужин, брат, будет неизобразимый! — таинственно сказал Иванчук.— Да вот не хочешь ли пойти со мной?

Он взял Штааля под руку и повел его из залы. В соседних с уже открытыми залами помещениях люди накрывали столы дорогими скатертями — под ужин на тысячу человек были отведены в доме все три столовые, картинная галерея и еще несколько комнат. Иванчук везде

все оглядывал хозяйским взглядом — по-видимому, не в первый раз — и отдавал распоряжения, которые прислуга выслушивала молча и угрюмо. Особенно долго задержался он в малой столовой, где должны были ужинать император, великие князья и княгини, эрцгерцог, принцы Мекленбургские и человек двадцать высших сановников. В этой особенно роскошно обставленной комнате, странно освещенной стеклянными шарами, столы были мраморные, на стульях черного дерева лежали одинаковые парчовые подушки, а посуда вся была из чистого золота. Распоряжался в малой столовой мажордом князя, седой итальянец в черном шелковом фраке, в чулках и при шпаге. Он недоброжелательно посмотрел на вошедших, видимо, хотел что-то сказать, но сдержался и, отвернувшись, продолжал отдавать лакеям распоряжения на ломаном русском языке. Иванчук приблизился к креслу императора, внимательно его осмотрел, сдул какую-то пушинку и поправил перед креслом золотое плато, изображавшее рог изобилия. Затем столь же заботливо осмотрел и понюхал, жмурясь, разложенное на мозаичных столиках по углам душистое куренье. Все было в полном порядке. Иванчук, однако, неодобрительно качал головой (мажордом смотрел на него с худо скрываемой ненавистью). Штааль хотел взять со стола меню.

— Я и так тебе все скажу,— сказал Иванчук, с беспокойством хватая его за руку.— Будет шестьдесят три блюда... У Строганова бывало и больше, но мы выбрали шестьдесят три по числу букв: «Его величество Павел Петрович, император и самодержец Всероссийский». По-моему, недурная мысль, а? Завадовский обещал за ужином обратить на это внимание его величества — не забыл бы он только...

— Да разве кто может съесть шестьдесят три блюда? — с удивлением спросил Штааль.

— Отчего же? Гость до обеда соловей, а после обеда воробей...— ответил Иванчук.— Иной, пожалуй, и перышком рад бы воспользоваться, в горле пощекотать: у Строганова всегда дают гостям перышки... Но я не велел — по-моему, это гадость... Питухи — другое дело: для них растоплена баня и поставлена паюсная икра. Могут искупаться в бане, а там опять пить с новой силой... А я тебе скажу, что нынче надо есть. Из закусок ты возьми щеки селедок — изумительная, братец мой, вещь, но морока же, доложу тебе: на одну тарелку идет больше тысячи сельдей... Из супов — кавардак... Или нет, пожалуй, возь-

ми уху: очень хороша будет уха — из кронштадтских ершей. Пирожки до одного бесподобные — непременно отведай все восемь сортов: «бодрые», «нескучные», «повтори», «с рыбкой-с», «с живыми картинами», «просто прелесть», «мал золотник да дорог», «что в рот, то спасибо»,— без запинки перечислил Иванчук.— Затем из серьезных блюд рекомендую rôti de l'Impératrice[1]. Это, брат, тоже сложная штука: жаворонка начиняют оливками и кладут в перепелку, понимаешь? Потом перепелку кладут в куропатку, куропатку — в фазана, фазана — в каплуна, каплуна — в поросенка, а поросенка жарят особым манером на гвоздике... Смешение вкусов, аром!.. Описать нельзя — сам отведаешь... Но лучше всего будет, пожалуй, свиная печенка, только уж извини, брат, ты в картинной ужинаешь, а ее в одну эту комнату и подадут: Павла Петровича любимое блюдо,— я царскому повару за секрет пятьдесят рублей дал... Постой!..— Он посмотрел на часы.— Ну да, сейчас будут резать гречанку.

— Кого? — спросил Штааль.

— Свинью. Мы ее полгода кормили грецкими орехами, поили лучшим венгерским вином. Необходимо, видишь ли, свинью зарезать пьяной и притом не доле как за час-полтора до сервировки,— тогда печенка много вкуснее... Знаешь что, пойдем-ка со мною на кухню, я тебе все покажу...

Они вышли из столовой, к большому удовольствию мажордома, и направились цепью коридоров по направлению к кухне. По дороге Иванчук сообщал Штаалю еще разные подробности о предстоявшем ужине.

— К жаркому не забудь взять салад: соленые персики или лучше ананасы в уксусе... Ты видал когда-нибудь ананасы?

— Помилуй! — сердито ответил Штааль, раздраженный тем, что Иванчук спросил «видал».

— Это новый фрукт,— пояснил недоверчиво Иванчук.— Его привозят из Индии. Очень вкусен и с уксусом в салате, и с сахаром на десерт.

Из кухонь издали несся шум. Пахнуло жаром и запахом, невыносимым для сытого человека. Кухни в доме князя Безбородко занимали несколько огромных комнат: в них в этот день кроме двадцати собственных поваров князя работало еще много приглашенных со стороны — из дворцов и из клубов. Люди в белом платье с багрово-красными лицами носились по душным комнатам, рубили, сту-

[1] Жаркое императрицы *(франц.)*.

чали, что-то приносили, что-то подливали, что-то пробовали. Среди них, в шелковом кафтане, высоко держа пудреную голову и выпятив на толстом животе белый жилет с цепочкой, неторопливо расхаживал главный шеф кухни князя, мосье Рено. Он не носил ни колпака, ни фартука (как знаменитые химики, щеголяя своим экспериментальным искусством и точностью работы, не носят фартуков в лаборатории); впрочем, его дело заключалось лишь в том, чтобы давать идеи,— исполнителями были другие. На цепочке у мосье Рено висел медальон с изображением Людовика XVI в рамке из черной эмали: мосье Рено был легитимист, горячо преданный делу Бурбонов и искренне сожалевший о старом строе. Но, в отличие от большинства эмигрантов, сильно преувеличивавших свое прежнее богатство, роскошь жизни и почетное положение (в последние годы они уже это делали почти бессознательно, по привычке, отдаваясь неистребимой потребности самоутешения, и плохо верили друг другу), мосье Рено охотно рассказывал каждому, как он был сначала поваренком, а затем поваром у самого принца Конде. Несмотря на все потрясения революции, мосье Рено за десять лет ни разу не усомнился ни в одном из установлений старого порядка: власть и далекое превосходство над ним принцев, герцогов и графов он очень легко переносил и принимал как самое естественное явление,— в революции ему всего обиднее было именно то, что эта власть над ним и социальное превосходство перешли к людям его круга. Своего прошлого он не скрывал еще и потому, что, как все не бездарные и не гениальные люди, гордился своей профессией и любил ее. Мосье Рено приветливо встретил гостей и тотчас подвел к серебряному чану-кастрюле вместимостью в десять ведер, в котором варилась уха из кронштадтских ершей. В качестве чисто русского блюда она находилась на ответственности русского повара. Повар этот, Игнат, высокий немолодой человек с красивым нахмуренным лицом, стоял перед чаном и внимательно наблюдал за жидкостью. Мосье Рено попробовал уху, закрыл глаза и через полминуты кивнул одобрительно головою.

— Mes comliments, Ignace... [1] Карошо...— сказал он.

У Игната, беспокойно следившего за выражением лица мосье Рено, просияли глаза (лицо его уже не могло стать краснее).

— Ну а гречанка? Не пора ли, Игнат? — спросил оза-

[1] Поздравляю, Игнат... *(франц.)*

боченно Иванчук и повторил вопрос по-французски, обращаясь к шефу.

— И то пора,— подтвердил Игнат.

Мосье Рено кивнул головой, и Игнат вышел. Через минуту из дальней комнаты раздался ни на что другое не похожий крик — вместе раздирающий и комический визг свиньи, которую режут. Иванчук повел туда упиравшегося Штааля.

— А есть любишь? Что за нежности? — говорил он с хитрым видом человека, придумавшего остроумный и неотразимый довод.

Когда они вошли в последнюю из комнат, составлявших помещение кухни, свинья уже была зарезана и дергалась в предсмертных издыханиях. Мальчик сметал шваброй кровь в желоб, шедший по краям чуть покатого каменного пола (дальняя, отделенная комната эта специально предназначалась для убоя животных). Повар Игнат, слегка наклонившись и опираясь руками о бедра, пристально, с интересом смотрел на дергавшиеся шею и брюхо огромного животного. Штааль почувствовал отвращение. Не дожидаясь Иванчука, он поспешно, на цыпочках, вышел из кухни.

VI

Штааль заблудился в длинной цепи коридоров и вышел не туда, куда было нужно. Поднялся по какой-то лестнице — между тем помнилось ему, что по пути в кухню лестниц не было. Музыка слышалась все дальше. Коридоры становились беднее — те были покрыты коврами и ярко освещены, а здесь он шел по голому каменному полу, при свете одиноко мерцавших, не восковых, а сальных толстофитильных свечей. Затем он попал в большую, очень низкую полутемную комнату, где плотно друг к другу были прижаты высокие деревянные нары, крытые худыми тюфяками. На некоторых из них у стены лежали вповалку люди. Оттуда слышался храп. Воздух в комнате стоял очень тяжелый. Очевидно, здесь была одна из спален прислуги, где теперь отдыхали люди, работавшие ночью. После блестящих приемных зал Штааля особенно неприятно удивили бедность этой комнаты и условия, в которых жили слуги в доме первого богача России, вдобавок доброго и нескупого человека. Штааль оставил эти мысли и поспешно пошел дальше. Пройдя еще два коридора, он остановился: из-за стены слышались женские голоса, смех... «Уж не здесь ли гарем Александра Андреевича?» — подумал он. Но тот-

час сообразил, что для гарема Александр Андреевич, вероятно, подыскал бы более подходящее помещение. «Да ведь его девицы живут на даче против Смольного»,— вспомнил Штааль. Он представил себе — с большим трудом — обстановку княжеского гарема и почувствовал, что, как это ни дурно, ему мучительно хочется иметь гарем: женщин, с которыми он мог бы делать все что угодно. Он даже ускорил от нетерпения шаги, хотя шел не в гарем. Звуки музыки стали приближаться. Снова появились ковры, диваны. Он внезапно вышел в ярко освещенный, широкий, очевидно заново отделанный коридор, с правой стороны которого были симметрично расположены низкие бархатные портьеры. Оттуда — теперь очень громко — слышались звуки вальса «Cosa rara» [1]. Штааль сообразил, что за портьерами находятся ложи, устроенные Иванчуком в подражание князю Потемкину. Он остановился и прислушался. Из некоторых лож, смешиваясь со звуками вальса, доносились негромкие голоса. За другими портьерами ничего не было слышно. Штааль осторожно отодвинул крайнюю портьеру и вошел в пустую ложу. Длинная узкая ложа не была освещена. Впереди, как сцена в театре, открывался зал Гваренги.

Штааль ахнул от восторга. Зрелище в самом деле было удивительное. В необозримо громадном зале, под звуки мартиновского вальса, лившиеся откуда-то сверху, кружилось около двухсот пар. Золото блестящих мундиров, туалеты, голые плечи и руки дам, бархат и палисандр мебели, мраморные статуи и колонны — все было залито светом десяти тысяч восковых свечей и отражалось в венецианских зеркалах, подымавшихся до потолка зала...

Из своей темной ложи Штааль смотрел вниз и не мог оторвать глаз. Только через несколько минут сказочная картина стала распадаться на части. Немного высунувшись из ложи, он неожиданно встретился глазами с Екатериной Николаевной. Она сидела в кресле и разговаривала с Рибопьером, обмахивая веером, как показалось Штаалю, не себя, а его. С полминуты Штааль и Лопухина смотрели друг на друга взглядом, почти одинаково наглым с обеих сторон. Затем Лопухина отвернулась с легкой усмешкой. Штааль почему-то почувствовал себя смущенным, несмотря на одержанную победу. Он демонстративно пожал плечами (никто, однако, этого не видел), отошел в глубь ложи и сел в самое дальнее кресло. Только теперь он заметил, что в полутемной ложе стояли на столике бутылка шам-

---

[1] «Редкая вещичка» *(итал.)*.

панского в ведерке со льдом, печенье и фрукты. «Ну, это Иванчук перестарался,— подумал он.— Точно кабинет у Лиона... Мало ли что Потемкин делал — так то Потемкин!.. C'est du parfait mauvais goût» [1]. Однако он налил шампанского в бокал и выпил не без удовольствия, хоть не очень любил это вино (тщательно это скрывал, даже от самого себя,— как и то, что не любил устриц).

«Пойти разве вниз? Смешно так здесь сидеть одному»,— подумал Штааль и не тронулся с места. Сидеть в кресле было очень покойно, а внизу в зале он чувствовал себя неуютно и одиноко (в этом тоже ни за что бы никому не признался). Кроме того, он хотел собраться с мыслями. Чувствовал, что надо сделать какой-то очень важный вывод,— из чего и какой именно, он не знал.

Штааль откинул голову на спинку кресла. В таком положении ему был виден только небольшой участок зала у противоположной стены. В участке этом одна за другой, медленно кружась, проходили пары, большей частью ему незнакомые. Мелькнуло малиновое платье Анны Лопухиной. Она танцевала с Уваровым, официальным другом ее мачехи. Штаалю очень не нравился тяжелый широкоплечий Уваров, который благодаря Лопухиной в несколько месяцев сделал сказочную карьеру. «А ведь невежда совершенная — даже по-французски ни слова не знает»,— думал со злобой Штааль, вспоминал ходившие в городе анекдоты об Уварове: говорили, будто он в сенях Итальянского театра, когда вызывали кареты, громко кричал: «Pas ma!.. Pas ma!.. Ma, ma!» [2] «А вот поди ж ты, двести человек обошел по службе... Теперь его вся Россия знает... Ну и меня будет знать...»

И вдруг вывод, который он должен был сделать, сразу стал совершенно ясен Штаалю. «Да, конечно, я больше не могу так жить: как князю Александру Андреевичу, как всем *им*, мне нужны, необходимы, как воздух, необходимы дворец, прекрасные женщины, и почести, и власть, и больше всего богатство, одно способное дать мне все то, что мне нужно... И я на что угодно пойду, но буду, буду богат...»

Только теперь на балу совсем ясно определилось это чувство, медленно нароставшее в нем в течение последних лет. На богатство было, однако, мало надежды. Зорич, отечески относившийся к Штаалю, говорил когда-то, что не

---

[1] «Очень скверный вкус!» *(франц.)*
[2] «Не моя!.. Не моя!.. Моя, моя!» *(искаж. франц.)*

забудет его в своем завещании. «Верно, выйдет пустяк,— думал Штааль,— очень были расстроены и дела Семена Гавриловича». Он любил Зорича, но чувствовал, что ему было бы чрезвычайно приятно стать наследником богатства своего воспитателя. «Хорошо было бы и наследство получить, и так чтобы он не умер... Какой, впрочем, вздор!..» Штааль не испытывал от своих тайных мыслей ни стыда, ни укоров совести. Напротив, к большому его удивлению, эти мысли сообщали ему какую-то непривычную свободу и душевную бодрость. Он думал, что богатство нужно ему для власти и почета. Но чувствовал и неправду в этих мыслях: Россия — одна из очень немногих стран, где властью и всеобщим почетом может пользоваться человек совершенно неимущий. «Сколько, однако, таких? — мысленно спрашивал он.— И как я таким стану? Да и сущий вздор, нет порядочных людей,— радостно отвечал он себе.— Уж потому нет и быть не может, что есть на свете женщины (он вспомнил Настеньку — уже прошло два года!). Какого честного человека любовь не приводила в мерзкое, гнусное, постыдное положение? Кого не заставляла обманывать, лицемерить, предавать?.. Нет, конечно, надо стать богачом... Все, все сделаю для богатства — фортуна придет, должна прийти»,— уверенно говорил он себе, чувствуя приятную теплоту и от новой своей свободы, и от выпитого шампанского, и от того, что никто никогда не узнает этих его мыслей.

Портьера ложи открылась, из коридора на мгновенье блеснул яркий свет... На пороге стояла Екатерина Лопухина. Штааль изумленно вскочил. Она усмехнулась и села на диван. Ее улыбка желала быть и казалась Штаалю вызывающей: робость развратной женщины общества, боязнь натолкнуться на грубого, привычного к проституткам человека, готовность обратить его возможный циничный тон в шутку — все это от него ускользало.

«Вот она, Фортуна»,— подумал он.

Он сел на диван рядом с Лопухиной, быстро и неуверенно взял ее за руку и придвинул ближе свое лицо к ее глазам для того, чтобы она в полутьме ложи могла разглядеть его ответную *решительную* улыбку.

«Она и недурна собой... Конечно, это Фортуна: через нее я, как Уваров, могу добиться чего угодно...»

На мгновенье его кольнуло воспоминание о геркулесе Уварове. Но он тотчас подавил это в себе, не допуская и мысли о страхе. «И не в таких переделках я бывал»,— сказал он себе, как если б отвечал другим: сам не мог бы ука-

зать, какие это переделки. И небрежным тоном он произнес фразу, которая в тот год была в большой моде и считалась почти обязательной при ухаживании, особенно на маскарадах:

— Сударыня, сказать ли вам новость? Ведь я влюблен в вас до дурашества...

Она тотчас подхватила его маскарадно шутливый тон и ответила фразой столь же обязательной:

— Ах, монкер, ты уморил меня своим вздором... Ужесть, как ты забавен!..

Начало было превосходное, но продолжения Штааль не мог придумать. Он смутно предполагал, что дальше, собственно, нужно не говорить, а *действовать*. «Не здесь же, однако, в ложе, с этой портьерой? Нельзя рисковать скандалом... И порванная рубашка!..— Кровь бросилась ему в лицо.— Нет, на первый раз достаточно *установить такие отношения*»,— думал он, все крепче сжимая руку Екатерины Николаевны, для того чтобы еще уяснить отношения. Но, по тусклому взгляду ее опущенных, чуть косивших глаз, даже ему, при его неопытности, показалось, что она ждала другого.

В эту минуту в зале что-то вспыхнуло, и в ложе стало светлее. Пронесся гул, покрывший звуки вальса, которые сразу оборвались.

— Государь приехал,— сказал, оглянувшись, Штааль взволнованным шепотом. Лопухина быстро поднялась с дивана и, скользнув рукой по его губам, чуть задержав руку на щеке, скрылась за портьерой.

Штааль последовал за ней. Сбоку от крайней ложи, по узкой витой лестнице, поднимавшейся на хоры, где помещалась музыка, быстро шел, нервно оглядываясь назад и подергивая щекой, бедно одетый человек лет пятидесяти. Штааль знал его в лицо: это был директор придворной капеллы Дмитрий Бортнянский.

VII

Люди, расставленные Иванчуком по дороге от Зимнего дворца к дому Александра Андреевича, вовремя дали знать о выезде царского поезда. Иванчук с белым от ужаса лицом сбежал вниз и отдал последние распоряжения. Поверх пестрых турецких ковров, покрывавших вестибюль и подъезд, лакеи поспешно разматывали из клубка другой, узкий, малиновый ковер, доходивший на улице до того места, где должна была остановиться карета. Это было очень

тонко придумано: малиновый цвет считался любимым Анны Петровны, так что выбор такой дорожки для императора и был, и вместе не был манифестацией в честь Лопухиной — партия императрицы не могла все-таки придраться к ковру. Когда карета царя стала у подъезда, мастер-немец поджег чуть заметный шнур, соединявший пять тысяч еще нетронутых свечей. Огонек скользнул и шипя улетел вдаль, потом вверх. На подъезде, в вестибюле, на парадной лестнице, во всех открытых для гостей залах зажглись вензеля императора, так что стало еще светлее, хоть и до того было светло как днем. Этой шуткой Иванчук особенно гордился — с надеждой, что у Шереметева до нее не додумаются.

Итальянец мажордом князя Безбородко вошел на цыпочках в голубую гостиную, приблизился к Александру Андреевичу и взволнованно доложил ему об ожидающемся сейчас приезде императора. Безбородко, с повисшей на лице, за час не изменившейся улыбкой, тяжело сидел в кресле, в обществе нескольких старых сановников, которые, видимо, безуспешно старались его развлечь. Лицо его именно из-за этой улыбки особенно ясно выражало тяжкое физическое страдание. Сановники поднялись с места, услышав слова мажордома. Но Александр Андреевич, по-видимому, не сразу понял то, что сказал итальянец; лишь через минуту и на его лице изобразился испуг, который теперь везде вызывало появление императора Павла. Растерянно оглянувшись на гостей, он поспешно встал (лицо его при этом искривилось от боли) и, тяжело опираясь на палку, небольшими торопливыми шагами пошел вниз, в вестибюль. Когда на лестнице внезапно вспыхнули огни царских вензелей, Безбородко схватился за грудь и пошатнулся. Лакеи, вытянувшиеся шеренгой на ступеньках по обеим сторонам лестницы, поддержали князя. Он испуганно на них взглянул, отстранил их, замахав отрицательно головою, спустился к самому подъезду и, прикрыв от простуды рот ладонью, вышел из открытых настежь парадных дверей.

В зале Гваренги и в прилегавших к нему парадных комнатах музыка, танцы, разговоры мгновенно оборвались. Настала мертвая тишина. Посредине зал образовался широкий проход. Все двери раскрылись еще шире. По обеим сторонам каждой вытянулись столбами огромные лакеи.

Размеренным изученным шагом, высоко поднимая ногу и тяжело, с ударом, опуская ее на ковер, во главе мальтийского кортежа медленно шел землисто-бледный импера-

тор. Он был в преображенском мундире, но Штааль, стоявший у стены во втором ряду гостей, заметил это не сразу: поверх мундира на государе был шитый жемчугом долматик пунцового бархата, а поверх долматика еще какая-то мантия. Рукой император придерживал на голове венец мальтийского гроссмейстера. По паркету за государем скользила, развлекая внимание, широкая разноцветная лента, спускавшаяся с его правого плеча. На нее, видимо, смертельно боялись наступить оруженосцы, следовавшие за Павлом с обнаженными палашами. За оруженосцами, в красных рыцарских костюмах, цепляясь ногами за непривычные тяжелые палаши, с бледными лицами, шли великие князья, немецкие принцы и высшие сановники Российского государства.

В ту минуту, когда император показался в конце анфилады комнат и несколько сот человек склонилось в низком поклоне,— на хорах зала Гваренги заиграла музыка. К общему удивлению, она играла не гимн. Она играла торжественное и страшное.

Медленно, странной походкой шел безумный император.

Слева, сзади от него, выделяясь черным пятном на алом фоне мальтийских мундиров, измученно подвигался вперед умирающий князь Безбородко.

Находившийся в зале в числе маловажных гостей старый композитор Сарти слушал музыку со всевозраставшим удивлением. Ему, впрочем, и прежде казалось, что директор придворной капеллы — музыкант необыкновенного дарования.

VIII

Перед самым ужином взвинченный музыкой Штааль, гуляя у дверей голубой гостиной, дождался наконец Александра Андреевича. С умоляющим выражением он подбежал к нему и, осторожно взяв князя за рукав, напомнил о своей просьбе. Безбородко уставился на молодого человека своим непонимающим взглядом.

— Да, да, в рыцари, в кавалергардский корпус,— повторил он наконец, испуганно глядя на Штааля.— Конечно... В Мальтийский орден? Ну что ж, я скажу... Сегодня же скажу Литте...

Он высвободил рукав и хотел идти дальше, но посмотрел на Штааля и задумался. Ему пришло в голову, что, вероятно, он последний раз в жизни видит этого молодого человека, к которому он был расположен.

— Тебе это очень важно? — спросил он Штааля, положив ему руку на плечо.

— Больше, чем могу выразить, Александр Андреевич,— горячо ответил Штааль.

Безбородко смотрел на него с сокрушением:

— Знаешь что? Чем с Литтой говорить, дай-ка я сейчас попрошу государя... Подожди меня здесь...

Штааль рассыпался в выражениях признательности. Александр Андреевич вздохнул и снова скрылся за дверью голубой гостиной.

«Кажется, дело в шляпе! Неужели государь откажет канцлеру? — радостно думал Штааль, нервно расхаживая по комнате.— Сейчас, пожалуй, меня туда потребуют... О чем они могут спросить?.. Государя надо назвать Sire [1]... Говорят, Уваров императрицу на днях назвал Sirène [2]. Он думал, что это женский род от Sire. Ну, да не в этом дело... Вот идет Иванчук — как бы не помешал... Почему так долго тянется?.. Наконец! Слава Богу!..»

Безбородко с порога, держась за ручку полуоткрытой двери, быстро подзывал его к себе косым движением глаз и морщин лба. Штааль замирая вошел в голубую гостиную. После шума тех зал его поразила тишина, бывшая в этой комнате. В ней находилось человек десять. Но Штааль видел только стоявшего посредине спиной к столу невысокого человека с землистым лицом, безумными глазами и странными трубочками завитых волос около ушей.

— Это он? — спросил хриплый голос.

— Он, ваше величество,— ответил князь Безбородко.

— Monsieur, agenouillez-vous! [3]

Штааль опустился на колени, не смея поднять глаза. Вдруг над ним крестообразно сверкнул обнаженный палаш. От неожиданности он чуть не вскрикнул и невольно подался телом назад. Клинок больно задел его по уху и ударил по плечу плашмя.

— Nous, par la grâce de Dieu, grand maître de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem [4],— произнес, повышаясь, хриплый голос, очень чисто и легко выговаривавший по-французски. Голос оборвался.

Штааль поднял глаза и с ужасом их опустил.

---

[1] Ваше величество, государь *(франц.)*

[2] Сирена, русалка *(франц.)*.

[3] Преклоните колени, сударь! *(франц.)*

[4] Мы, Божьей милостью, гроссмейстер ордена святого Иоанна Иерусалимского *(франц.)*.

— Nous vous proclamons chevalier de cet illustre et puissant ordre! [1] — вскрикнул вдруг голос.

Все молчали, потупив глаза.

На Штааля пахнуло запахом аптеки; он услышал над ухом испуганный шепот Александра Андреевича:

— Да целуй же руку!.. Руку целуй!

Неловко, испуганно Штааль поцеловал — почему-то два раза — горячую руку, державшую опущенный меч.

— Теперь ступай подобру-поздорову,— шепнул еще тише Александр Андреевич.

Штааль попятился к выходу. Только у дверей он совсем поднял глаза. Император, показывая на него, говорил что-то военному губернатору Петербурга. Пален в белом мундире внимательно смотрел на царя, чуть наклонившись с высоты своего большого роста.

«На кого это он похож?» — подумал Штааль, не помня себя от радости.

Чуть не в дверях его встретил и заключил в объятия Иванчук, очевидно подсматривавший в щелку. Поздравляли с милостью и другие гости, находившиеся в той же комнате. Штааль, поглаживая ухо, блаженно принимал поздравления.

— Спасибо... Очень, очень благодарю... Извините... Ах, ради Бога!.. Поверьте... Да, да, в рыцари. И в кавалергардский корпус... Я очень рад...— бессвязно говорил он. Дверь голубой гостиной снова открылась. В комнату вошел Пален. Он окинул ее быстрым взором умных проницательных глаз, отыскал Штааля и с легкой усмешкой поздравил его. Разговоры замолкли.

— По приказу государя императора,— сказал Пален чрезвычайно значительным, даже мрачным тоном, который странно не согласовался с его усмешкой (казалось, будто он шутит),— вы назначены, с зачислением в кавалергарды, в десантную армию адмирала Ушакова, действующую против республики Партенопейской...

Последние слова он произнес как будто явно шутливо. Но содержание его слов очевидно противоречило всякой мысли о шутке.

— Барон, я не знаю, как и благодарить...— начал радостно Штааль.

— Граф, граф,— подсказало ему сразу несколько человек.

---

[1] Мы посвящаем вас в рыцари этого именитого и могущественного ордена! *(франц.)*

Штааль вспомнил, что Палену было на днях пожаловано графское достоинство, и покраснел. Пален поглядел на него с той же непонятной усмешкой, круто повернулся, не дослушав, и вернулся в голубую гостиную.

— Так ты назначен в поход?.. Отчего же не в армию Суворова? — взволнованно спросил Штааля Иванчук.

В голосе его звучало искреннее сочувствие, относившееся, впрочем, к походу.

«В самом деле досадно, что не в армию Суворова»,— с огорчением подумал Штааль.

— Нет, брат, ты не говори, я очень рад: честь громадная,— ответил он.— Сразу в кавалергарды, и в рыцари, и в поход... Я очень счастлив... Но скажи, что это за Партенопейская республика?.. Где она?

Иванчук уклонился от ответа: видно было, что он тоже этого не знал. Один из гостей снисходительно разъяснил, что Партенопейской назвала себя республика, образовавшаяся, по только что полученным депешам, в Неаполе. Гости слушали недоверчиво.

— Ну что ж, будешь воевать лазоронов! — с насмешкой сказал Иванчук.

— Да, да,— радостно подтвердил Штааль.— А ничего, что я назвал Палена бароном? Как ты думаешь? Совсем было забыл... Скажи, кстати, на кого он похож? — спросил Штааль Иванчука.— На человека, которого я совсем недавно видел,— а никак не могу сообразить... Но очень похож...

— Да на нашего повара Игната,— не задумываясь ответил Иванчук.— Помнишь, тот, что давеча зарезал свинью?

— А ведь правда,— сказал Штааль с удивлением.

IX

Фельдмаршальский поезд прибыл 13 марта в Брюнн, где была назначена последняя ночевка перед Веной. Путь от Бреста семидесятилетний Суворов проделал в пять дней, в тряской кибитке, в которой с ним ехал его адъютант, барон Розен. Иногда в дороге фельдмаршал ласково осведомлялся у своего спутника, не устал ли он и не желает ли отдохнуть. Розен только тяжело вздыхал, отлично зная, что старик, как всегда, играет комедию: нисколько не интересуется его усталостью и все равно не остановится раньше Брюнна.

У крыльца постоялого двора, снятого для поезда посланным вперед молодым племянником Суворова князем

Андреем Горчаковым, толпился народ: все слышали о русском полководце, который ехал спасать Римскую империю от французов. Но общее любопытство осталось неудовлетворенным. Суворов приехал в сумерки. Он быстро выскочил из кибитки, оставив в ней соболью шубу, крытую зеленым бархатом, и, слегка волоча за собой ногу, маленькими шажками пробежал вприпрыжку в отведенную ему, жарко натопленную комнату с приготовленной постелью из сена. Хозяин почтительно следовал за ним, беспрестанно повторяя то «Excellenz», то «Durchlaucht» [1]. Во всех комнатах постоялого двора, по распоряжению Горчакова, были тщательно завешаны зеркала (Суворов не выносил зеркал). Фельдмаршал по-немецки осведомился, какая церковь расположена на холме, мимо которого проехал их поезд. Узнав, что это старинный собор святого Петра, он одобрительно кивнул головой и тотчас лег спать, закусив холодной рыбой и выпив перед сном порядочное количество тминной водки.

Фельдмаршал поднялся с сена, по обыкновению, за три часа до рассвета. Помолившись, Суворов засветил свечу и разбудил своего старика денщика, Прохора Дубасова, капнув ему на нос горячим воском. Прохор разразился отчаянной бранью. Суворов выслушал ее внимательно, с видимым интересом, даже с удовольствием, и ответил, нисколько не повышая голоса, бранью еще более замысловатой, после чего приказал Прохору ставить самовар.

— Не будет вам самовара... Обойдетесь! — огрызнулся Прохор.— Чего там ночью самовар!..

Суворов, не дослушав, понесся рысцой в другую комнату. Хотел было капнуть воском на нос майору Розену, но раздумал. Вытащил из чемодана мохнатую простыню, раздобыл где-то ведро воды и выглянул в одной рубашке на крыльцо. Поморщился было от холода и темноты, однако поспешно снял рубашку, окатил себя водой и, завернувшись в простыню, быстро вернулся, дрожа всем телом, в сени, где тускло горел ночник. Огромный волкодав хозяина постоялого двора проснулся, поднялся на передние лапы и стал потягиваться. Суворов вдруг бешено залаял по-собачьи. Волкодав перестал потягиваться и долго внимательно смотрел на чужого старика в белой простыне, желая понять, что это, собственно, означает; но, по-видимому, не понял и, равнодушно зевнув, медленно вышел из сеней на крыльцо, отворив трехцветной мордой и лапой

---

[1] «Ваше превосходительство» *(итал.)*, «Ваша светлость» *(нем.)*

дверь. Суворов еще полаял ему вслед, затем вернулся в свою комнату, надел туфли, вынул из шкатулки несколько книг, огромную складную карту, записную тетрадь, гусиные перья, чернильницу, баночку с песком и сел за стол. Выражение лица его вдруг совершенно переменилось. Через несколько минут в комнату вошел ворча Прохор с самоваром. Увидав барина за работой, он сразу притих, тоже несколько переменился в лице, бесшумно поставил на табурет рядом со столом (на столе не было места) самовар, сухари, варенье, заварил чай и на цыпочках вышел.

Карта, разложенная на столе, изображала северную часть Апеннинского полуострова. Суворов внимательно изучал итальянскую кампанию, три года тому назад так блестяще проведенную совсем еще молодым и никому до той поры не известным генералом Буонапарте. Кампания эта была хорошо известна фельдмаршалу. В Кончанском имении, куда он был сослан императором Павлом, Суворов собрал материалы о военных событиях в Италии и тщательно их изучил. Тактика революционного генерала своей смелостью и энергией поражала — и несколько раздражала — старого фельдмаршала. Ему казалось, что это был его собственный метод ведения войны, доведенный, однако, до последних пределов отваги: некоторые операции Буонапарте представлялись Суворову слишком рискованными и опасными. Он думал, что молодой карманьольщик мог себе позволить такие операции, только имея дело с бродфрессерами, и что давно пора проучить зазнавшегося мальчишку. Мальчишка теперь находился в Египте, откуда, по слухам, собирался в Палестину, в Константинополь, в Индию. Суворов сердито фыркал и пожимал плечами, когда читал об этом в газетах. Но в душе ему нравилось предприятие генерала Буонапарте: он и сам в семьдесят лет был бы не прочь заняться завоеванием Индии.

Склонив свою седую голову над картой и записной тетрадью, фельдмаршал долго сидел у стола. Бледный свет мартовского утра неожиданно стал пробиваться в комнату и заспорил с шатающимися огоньками свечей. Из соседних комнат постоялого двора послышался негромкий шум, возня просыпающейся свиты. Суворов с тяжелым вздохом встал из-за стола и подошел к двери.

— Закладывать! Через десять минут едем! — хриплым голоском сердито прокричал он и закрыл снова за собой дверь.

За стеной тотчас началась беготня.

X

В Неаполе революционной партией при деятельной поддержке французов была основана Партенопейская республика. Король Обеих Сицилий Фердинанд IV отдался под покровительство адмирала Нельсона и на английском военном судне бежал в Палермо с семьей, с министрами и с казною. Торжество республиканцев продолжалось, однако, недолго. Очень скоро в стране вспыхнула гражданская война. Высадившийся в Калабрии вождь роялистов, кардинал Фабриций Руффо, поднял восстание против нового правительства и с помощью калабрийских разбойников быстро составил *армию святой веры* Республиканцы первое время относились презрительно к этой armata della Santa Fede, называли ее бандами и чувствовали себя спокойно: в Неаполе стояли французские войска под начальством генерала Макдональда.

Кроме регулярных разбойников действовали в Южной Италии еще и разбойники иррегулярные. В Абруццах укрепился с большим отрядом расстриженный аббат Проньо, осужденный в свое время на галеры за убийство. Он объявил себя роялистом, но было неизвестно, за какого, собственно, короля он стоит. В Калабрии хозяйничал Шарпа, служивший прежде в полиции и теперь занимавшийся преимущественно грабежом. Но больше всего страха наводили на страну разбойники Гаэтано Маммоне и Миккеле Пеццо, засевшие между Римом и Неаполем и вешавшие всех, кто им попадался под руку. О Маммоне ходили слухи, будто он сдирает с живых людей кожу и пьет человеческую кровь. Немногим лучше была слава Миккеле Пеццо, которого население прозвало Фра-Диаволо.

В стране наступило то особое состояние зверства, нелепости, взаимного недоверия и подозрения измены, какое бывает лишь при гражданской войне.

В мае 1799 года победа явно стала склоняться на сторону роялистов. Суворов вторгся в Северную Италию, и под влиянием первых его успехов французская Директория в помощь своим войскам, действовавшим в Ломбардии против русского полководца, отозвала из Партенопейской республики армию генерала Макдональда. Как всегда бывает в пору гражданской войны, Макдональд ушел внезапно, не предупредив населения, которому много раз обещал не покидать Неаполя. В революционной столице сразу создалось худо скрываемое и потому особенно страшное настроение безнадежной обреченности. Слухи один мрач-

нее другого понеслись по городу. Говорили, что флот адмирала Нельсона уже идет к неаполитанским берегам. Говорили также о предстоящей высадке в Калабрии огромных сил союзников короля Фердинанда.

Слухи эти были очень преувеличены. Нельсон еще не собирался идти на Неаполь, а на суше помощь контрреволюции со стороны союзников могла быть только ничтожна. Турецкий султан, выступивший на защиту католической веры, действительно предложил королю Обеих Сицилий прислать ему на помощь десять тысяч иррегулярных албанцев (Порта очень хотела отделаться от этих своих войск). Но советники Фердинанда IV, справедливо рассудив, что после похода по неаполитанским землям десяти тысяч иррегулярных албанцев королю не над чем будет править, с благодарностью отклонили турецкое предложение. Главные свои надежды Фердинанд возложил на Россию. Император Павел обещал прислать для низвержения Партенопейской республики двенадцатитысячную армию.

И фельдмаршал Суворов, и адмирал Ушаков, командовавший русскими морскими силами, знали, что двенадцатитысячную армию для посылки в неаполитанские земли взять неоткуда. Однако помощь роялистам была оказана. На Корфу, где находились главные силы Ушакова, явился с просьбой о присылке десанта представитель короля Обеих Сицилий кавалер Мишеру. Адмирал Ушаков был человек простой и неученый. Но он успел приобрести некоторый опыт в гражданской войне у южных народов и знал, что война эта не имеет ничего общего с войною между регулярными армиями, что к ней совершенно неприложимы обычные законы стратегии, тактики и расчета численности враждующих сил. Ушаков быстро принял решение и отрядил капитана 2-го ранга Сорокина с четырьмя фрегатами к берегам Южной Италии.

Эскадра эта подошла к Бриндизи и высадила десант из пятидесяти человек. По всей области тотчас пронесся слух о появлении неисчислимых сил московитов. Южная Италия видала за две тысячи лет разных врагов, но о московитах там с сотворения мира ничего не было слышно — и даже образованные люди с трудом себе представляли, каким образом могли тут появиться московиты. Самые страшные рассказы об их наружности, одежде и свирепых нравах понеслись по Партенопейской республике. В Бриндизи, как во всех провинциальных городах республики, управляли люди третьего сорта (все, что было даровитого

и смелого, стекалось в столицу). Городские вожди революции тотчас бежали за разными делами и с разными поручениями в Неаполь. Население с яростью снесло деревья свободы, которых за три месяца было насажено довольно много; подозрительные люди были взяты под стражу, и на крепости поднято королевское знамя. Завоевав Бриндизи, капитан Сорокин двинулся вдоль берега на север, высаживая свой *десант* у каждого пункта, сколько-нибудь отличавшегося по виду от деревни. Впереди эскадры бежала, все усиливаясь и усложняясь, та же страшная молва, и московитам без выстрела сдавались города, считавшиеся твердынями революционного духа: Мола, Бари, Барлетта В течение двух недель все южное побережье Адриатического моря перешло на сторону контрреволюции. К русскому капитану явились депутаты города Манфредонии и просили помощи против якобинской Фоджии (эти города с давних пор ненавидели друг друга; революция и контрреволюция определялись в них преимущественно их ненавистью друг к другу). Фоджия лежала довольно далеко от берега, и, чтобы завоевать ее, нужно было предпринять наступление в глубь страны. Отслужив молебствие в соборной церкви Бари, в которой покоятся мощи Николая Чудотворца, и, положившись на этого русского святого, капитан Сорокин высадил в Манфредонии все свои силы, добавив к солдатам часть матросов. Десантная армия в несколько сот человек под начальством обрусевшего ирландца капитан-лейтенанта Белле через Фоджию двинулась походом на Неаполь. Двумя неделями позднее в Ариано она соединилась с ополчением кардинала Руффо, а еще через неделю, после ряда победных столкновений с отступавшими республиканскими войсками, подошла с юго-востока к Неаполю Мост святой Магдалины и его укрепления, составлявшие последнюю надежду революционной столицы, были взяты штурмом русскими войсками. Партенопейской республике пришел конец.

XI

Получив от передового русского отряда известие о полном поражении мятежников и о том, что падение Неаполя должно произойти в ближайшие часы, кардинал-наместник Фабриций Руффо перенес свою квартиру из Сан-Джиованни Тедуччио к мосту святой Магдалины. Переезд совершился торжественно — нужно было подействовать на воображение народа. Наместник — не в красной, а в фиолетовой мантии, по случаю кровавого дня,— ехал в запряжен-

ной шестеркой лошадей великолепной карете, над которой был укреплен кардинальский зонтик. Сопровождали карету русский конвой и калабрийские гвардейцы кардинала. Для наведения же особенного страха на мятежников впереди скакали на взмыленных варварийских конях турки свирепого вида (их тоже насчитывалось до сотни в армии святой веры). Они быстро пронеслись через мост, уже занятый русскими артиллеристами, и расположились в самом Неаполе, по другую сторону Себето.

У дверей наскоро для него приготовленной виллы кардинала встретили капитан Белле, секретари и кавалер Мишеру, состоявший при русских войсках уполномоченным короля Обеих Сицилий. Наместнику был представлен рапорт о ходе событий в Неаполе. Руффо тяжело вздохнул и вошел в салон через переднюю, куда тотчас был перенесен с кареты ombrellino [1]. Рядом с салоном в маленькой капелле виллы уже стоял переносный трон кардинала. На почтительные извинения приближенных, указывавших, что нельзя было отыскать помещение лучше, Руффо только слабо улыбнулся. Люди свиты, взглянув на измученное лицо кардинала, поняли, что ему не до того. Он утомленно-ласково поблагодарил всех за понесенные тяжкие труды, наконец увенчавшиеся полным успехом, и помянул кратким словом погибших в борьбе за святое дело:

— Pro exaltatione sanctae fidei, pace et quiete populi christiani [2],— сказал Руффо взволнованно, словами торжественной присяги, подняв руку, украшенную кардинальским перстнем.

Несмотря на очевидную потребность в отдыхе, наместник тотчас принялся за дело и работал до поздней ночи. Ужасы победного похода в эту первую ночь у ворот столицы особенно ясно представились кардиналу-наместнику.

Руффо никогда не был священником. Кардинальское звание было ему пожаловано папой за выдающиеся государственные заслуги, как это делалось изредка в былые времена: за политические заслуги оно было дано Мазарини, за военные подвиги предложено Тюренну, за художественный гений обещано Рафаэлю. Было некоторое несоответствие между высоким духовным саном Руффо и всей его светской жизнью. Плохо зная догматы веры, почти не

---

[1] Зонтик от солнца (*итал.*).

[2] За величие святой веры, мир и покой народов христианских (*лат.*).

зная обрядов, он дух и величие католической церкви понимал лучше, чем настоящие кардиналы. Однако как государственный человек понимал он их по-своему. По рождению он принадлежал к высшей аристократии Неаполя: его отец был герцог Баранелло-Руффо-Баньяра, мать — принцесса Колонна, и семья их считалась первой в Калабрии. По Италии издавна ходила поговорка: во Франции — Бурбоны, в Риме — Колонна, а в Калабрии — Руффо.

Деятелей Неаполитанской революции Руффо хорошо знал и не относился к ним серьезно: все эти легкомысленные либеральные аристократы и богатые адвокаты-честолюбцы, по его мнению, ничего не понимали в жизни. Они расшатывали государственность, не зная цены ее. Они шутили с огнем и наконец дошутились до пожара, не имея представления о том народе, которому якобы хотели служить: на самом деле, по мнению Руффо, люди эти никому служить не хотели, а просто плохо подражали чему-то, никогда нигде не существовавшему, тешились либеральными и революционными словами — приобрели к ним неискоренимую привычку с юношеского возраста, и особенно за десятилетие с 1789 года; они обманывали не только других — это Руффо мог и понять и простить,— они себя обманывали по природной умственной лени. Вся их жизнь была сплошная *внутренняя* ложь, не тот государственный обман, который лежал в основе его собственного мрачного понимания жизни, а ложь наивная, бессознательная, детская, противная ему во взрослых людях.

Так он думал. Правды же в словах республиканцев, как человек образованный и умный, кардинал Руффо отрицать не мог. Он со злобой читал революционные прокламации, в которых король Фердинанд обзывался шутом и идиотом, а королева — развратной Мессалиной. Но кардинал прекрасно знал, что в листках этих если не все, то очень многое было верно. Легендарная глупость Фердинанда, бездействие, трусость бежавшего в Сицилию двора вызывали в Руффо совершенное презрение. После первых успехов революции он увидел ясно, что, кроме него, некому организовать сопротивление республиканцам. Рассчитывая на свою популярность, на престиж своего имени и звания (население считало его папой), на свою энергию и организаторский талант, кардинал тайно высадился в Калабрии и поднял восстание против правительства Партенопейской республики.

Деятелям этого правительства он почти не желал зла — это все были родные или знакомые, люди того же

общества, что и он. Ему хотелось, натравив на них народ, именем которого они постоянно клялись, показать им наглядно их глупость и его неизмеримое политическое превосходство. Ему хотелось также на неаполитанской почве растоптать революционную идею, принесшую во Франции столько зла, горя и крови. Цель кардинала Руффо была скоро достигнута. Он поднял против республиканцев темное население Калабрии. С уходом французских войск дни революционной власти были сочтены. Армия святой веры победоносно подошла к Неаполю. Но за время этого столь удачного и блестящего похода душевное настроение кардинала Руффо совершенно изменилось.

Как все люди, долгие годы стоявшие у власти, кардинал Руффо видал виды. Но несколько месяцев гражданской войны открыли ему бездонную пропасть зла, о которой он до того не имел понятия. За эти несколько месяцев его прежние представления о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о праве и наказании смешались. Им овладело настроение, почти неизбежное у порядочных людей, руководящих гражданской войною: сознание своего бессилия, фаталистическое отношение к злу, безотчетное от всего отвращение и тяжкая душевная усталость.

Армия кардинала Руффо состояла из подонков населения; союзниками его в борьбе против республиканцев были разбойники большой дороги. Прежде этих людей вешали. Теперь они были дорогие друзья, желанные сотрудники: король пожаловал чин полковника Фра-Диаволо, королева писала ему ласковые, льстивые письма. Кардинал понимал, что нельзя поступать иначе, так как люди эти нужны и незаменимы. Он знал о бесчисленных злодеяниях, которые во время похода чинила армия святой веры. Ежедневно, чуть не на его глазах, убивались люди, не имевшие никакого отношения к революции или имевшие к ней самое отдаленное отношение. Кардинал Руффо пытался бороться со злом. Он заводил военные суды, предписывал проделывать с арестованными прежние формальности следствия и судопроизводства. Но никакого суда из этого не выходило. И подозреваемых было слишком много, и следствие представлялось невозможным в условиях гражданской войны, и — главное — заседали в судах те же разбойники, которым место было на виселице. Кардинал приказывал расстреливать виновников самочинных расправ, но расстреливали тоже наудачу, часто столь же неповинных людей. Казнившие почти всегда были хуже казнимых. О большинстве убиваемых ему даже не докладывали —

никаких протоколов не велось, и за всем он уследить не мог. Но еще тяжелее были те случаи, когда приговоры представлялись на утверждение кардинала: не имея никаких данных для определения участи осужденных, он чувствовал, что и сам решает ее произвольно. Смягчить смертные приговоры было невозможно. Он знал, что ему все простят, кроме доброты, то есть слабости. В условиях гражданской войны, без тюрем и тюремщиков, с ненадежным конвоем, с постоянным переходом территории от одной воюющей стороны к другой, для осужденных выбор шел между смертью и свободой — с тем еще осложнением, что людей, которых кардинал-наместник освобождал от расстрела, часто подвергали гораздо более мучительной смерти в двух шагах от его ставки. Вокруг кардинала шли доносы, шантаж, вымогательство, небывалое воровство. Армия состояла из разбойников, чиновники были грабители, судьи — убийцы; неизвестно было, кто прав, кто виноват, кто лжет, кто говорит правду, кто предаваемый, кто предатель, кто палач, кто жертва. Озверение гражданской войны кардинал чувствовал и на самом себе. Первый смертный приговор стоил ему немалых душевных страданий; в дальнейшем он подписывал приговоры механически, не думая о людях, которых отправлял на казнь. Все его политические мысли спутались: контрреволюция была ничем не лучше революции, и Руффо сам не знал, в каком отношении он выше Фукье-Тенвилля или Робеспьера. В утешение себе он говорил, что государственную машину разрушили мятежники, и цеплялся за эту мысль как за последнюю моральную опору. Но и в нее он в душе плохо верил: в разрушении неаполитанского государства король и королева были более виновны, чем революционеры.

В присутствии других людей кардинал Руффо хранил прежний достойный, уверенный вид, приличный вождю армии, которая ведет борьбу за правое дело. Но тяжелая мучительная усталость и бесконечное отвращение от людей охватывали его все сильнее. Основную свою задачу он теперь видел в том, чтобы, уцепившись за какой-нибудь уцелевший, правильно работающий рычажок разбитой машины, от него повести дело возрождения страны. Такого рычажка в неаполитанском государстве не оставалось. Единственную организованную силу, единственный нормально действующий механизм — правда, от чужой машины — представлял собой небольшой русский отряд капитана Белле. На эту силу, вынесшую на себе тяжесть неаполитанского похода, кардинал Руффо возложил надежды. Рус-

ские офицеры были свои люди в его ставке — и он был с ними чрезвычайно ласков и любезен.

Приближенные кардинала-наместника знали расположение его к московитам и всячески их расхваливали. Так и теперь, на новой квартире Руффо, кавалер Мишеру, делавший ему доклад, и секретари, Спарциани и Сакинелли, много говорили об удивительной храбрости русских, об их примерном поведении в походе, об их дружелюбном отношении к мирным жителям, к которым они неизменно обращались со своим национальным приветствием: «Маруске, Маруске!» [1] Кардинал слушал и ласково улыбался.

Из доклада выяснялось, что армия святой веры одержала полную победу. Мятежники очистили улицы города и стянули остатки своих сил в два крепких замка на берегу моря: Castel Nuovo и Castel del Ovo. Белле предполагал через несколько дней приступить к штурму этих замков. Кардинал в самых трогательных словах благодарил капитана *за все*, но добавил, что, быть может, удастся обойтись и без штурма.

Измученный зрелищем крови, убийств, грабежей и пожаров, наместник твердо решил вступить в переговоры с республиканцами. Дело их было очевидно проиграно. Самих же мятежников кардинал рад был отпустить на все четыре стороны: никакой злобы против них у него больше не оставалось, да и политический расчет диктовал Руффо снисходительное отношение к побежденному врагу. К тому же каждую минуту в море могла показаться неизвестно где скрывавшаяся французская эскадра.

Переговоры продолжались недолго, и обе стороны были довольны исходом. Республиканцы потребовали, чтобы им и их семьям был обеспечен свободный отъезд во Францию на транспортах (другим путем, кроме морского, они не могли воспользоваться, так как их истребили бы разбойники). Кардинал согласился и на это, и на отдачу воинских почестей, и на амнистию для тех из мятежников, которые пожелали б остаться в Неаполе. Капитуляцию со стороны победителей подписали кроме самого кардинала капитан-лейтенант Белле, предводитель турецкого отряда Ахмет и коммодор Фут, командир небольшой английской эскадры, крейсировавшей у неаполитанских берегов. После того как

---

[1] Об этом приветствии московитов «Maruske, Maruske» говорит в своих «Memoria storiche» Доменико Сакинелли, второй секретарь кардинала Руффо.— *Автор.*

договор был подписан, русские войска заняли подступы к замкам, а сдавшимся было предложено приготовиться к посадке на транспорты.

XII

Ночь была беспокойная, с темным, почти черным, утомительно одинаковым небом, без туч, без единой звезды. С моря дул ровный, довольно холодный, не летний ветер. На набережной, в замках, в арсенале дрожа горели фонари. Дальше, по направлению к городу, черным неприветливым пятном выделялась нейтральная полоса между двумя лагерями, а за ней вздрагивали звездочками огни русских войск. Перемирие было заключено. Но измученный бледный комендант Castel Nuovo все еще обходил по временам посты, часовые, спохватившись, порою перекликались жалостными голосами, а у пушек, по стенам замка, в положенные сроки сменялись те из осажденных, которые знали или думали, что знают толк в артиллерийском деле. Республиканцы делали вид, будто еще есть у них какая-то боевая сила. Несмотря на очень поздний час, и кроме дозорных не все спали в Castel Nuovo. В большом внутреннем дворе то и дело появлялись у лестниц дрожащие огни факелов. Из выходивших во двор освещенных окон слышались женские голоса. Они, вместе с красными огоньками башен, придавали странный, почти фантастический уют картине осажденного средневекового замка.

Ламор и Баратаев, оба в полувоенных, полудорожных костюмах, со шпагами, без факела спустились по большой лестнице во внутренний двор Castel Nuovo и пошли по направлению к набережной.

В замках собрались после поражения революционных войск почти все главные деятели Неаполитанской республики, за исключением адмирала Караччиоло, скрывшегося неизвестно куда. Были здесь и люди, которые в революции принимали очень малое участие, но все же, считая себя скомпрометированными, опасались победителей и городской черни. До заключения капитуляции, от усталости, зрелища резни и страха близкой смерти, настроение у осажденных было подавленное, у многих — граничившее с безумием. Только некоторые из республиканцев находили, что еще не все потеряно и что можно продолжать борьбу: взять приступом замки не так просто, съестных припасов достаточно, и с минуты на минуту может показаться в море французская эскадра, появление которой все немедленно изменит. Но говорили они это без уверен-

ности и никого энергией не заражали: все чувствовали, что борьба кончена и что речь может идти только об условиях сдачи. Присутствие в крепости женщин и детей делало это совершенно ясным. После тяжелых совещаний и вялых споров было решено вступить в переговоры с Руффо. Возвращения парламентеров ждали с тоскливым, чуть истерическим нетерпением.

Выговоренные условия вызвали радостное оживление в измученных, полумертвых людях. Кардинал Руффо соглашался отпустить с воинскими почестями осажденных во Францию и предоставлял для этого транспорты. Сторонники борьбы до последней крайности скромно торжествовали и говорили решительнее, чем прежде, что с капитуляцией, как она ни почетна, сильно поторопились: по-видимому, французский флот близок, иначе хитрый кардинал не согласился бы на такие условия. Сторонники сдачи имели смущенный вид и, горячо поздравляя парламентеров, придумывали для своего взгляда всевозможные оправдания. В сущности, все были одинаково рады — так давили осажденных ужасы последних дней и то неизвестное, что еще ожидалось, так хотелось вернуться, хоть в новых условиях, к тихой мирной жизни, которая теперь приобрела особенную прелесть. Впервые после долгих недель люди вздохнули спокойно. Немедленно закипела работа. Женщины по разным покоям замка радостно укладывали последние, второпях захваченные вещи. Мужчины, ласково поручив это женам, весь день толпились в саду и во дворах, горячо обсуждая события. Настроение было беспокойно-оживленное и почти веселое, несмотря на полный крах революции. Залитый кровью Неаполь опротивел, почти все радовались мысли об эмиграции, о новой жизни в дружественной гостеприимной Франции, в необыкновенном Париже, которого большинство осажденных никогда не видало. Знавшие Париж рассказывали о нем чудеса. Обсуждались планы будущих занятий, сроки отъезда, время прибытия в Тулон. Немногочисленные французские офицеры и чиновники, оставшиеся в Castel Nuovo для связи, были в особенном почете: все забыли прежнее общее раздражение против союзников, вызванное уходом генерала Макдональда.

— Что ж, пройдемся еще к морю? — предложил Ламор.— Или вы хотите спать?

— Нет, не хочу,— ответил кратко Баратаев.— Пойдем.

В кучке людей поблизости услышали французскую речь. Один из неаполитанцев подошел с факелом к гово-

ривишим, вгляделся в их лица и, узнав гражданского комиссара Пьера Ламора, крепко пожал ему руку.

— Мы говорим о том приеме, который нам будет оказан в Париже,— сказал он полушутливо, но с вопросом в тоне, оглядываясь на свою группу. Другие тотчас придвинулись.

— Прием, который будет вам оказан, господа,— сказал Ламор,— зависит главным образом от того, есть ли у вас деньги. Те из вас, у кого денег достаточно, могут рассчитывать на самое радушное, самое братское гостеприимство с нашей стороны.

В кучке принужденно засмеялись: денег у большинства было немного, и шутка всем показалась бестактной. Больше никто ни о чем не спрашивал.

— Других мы встретим, вероятно, сдержаннее,— продолжал Ламор.— Но не скрываю, граждане, я совершенно успокоюсь душою относительно всех вас, не исключая и самых бедных, в тот день, когда вы высадитесь в Тулоне. До того, говорю откровенно, я не буду вполне спокоен.

— Чего же нам опасаться? — спросил с недоумением один из неаполитанцев.— Ведь капитуляция подписана кардиналом Руффо и командующими союзных войск?

Ветер отнес пламя факелка и на мгновенье скрыл лицо говорившего.

— Гражданин,— сказал Пьер Ламор,— простите, я не знаю, как вас зовут и какой пост вы занимали в покойной Партенопейской республике... Но как было этой республике не погибнуть, если ее руководители так же твердо верят в святость подписанной бумаги, как руководимые — в чудо святого Януария? Да, капитуляция подписана. Однако, хоть я не читал ее, скажу вам с полной уверенностью, что в ней есть тысяча и один пункт, делающие договор недействительным. У кардинала Руффо, наверное, найдутся опытные юристы. Кроме того, могут отменить капитуляцию, на основании собственной мудрости, сподвижники Porporato[1], например достойные полковники Маммоне и Фра-Диаволо. Если б с сотворения мира соблюдались все подписанные договоры, данные обещания и торжественные присяги, то подумайте, какая участь постигла бы прогресс и цивилизацию? Ведь тогда я, гражданский комиссар Директории, был бы верноподданным короля Людовика XVI. А Партенопейской республики,

[1] Игра слов: «porporato» по-итальянски означает и одетый в пурпур, и кардинал. Кардиналы носят облачение красного цвета.

может быть, совсем не видала бы история, что, разумеется, было бы крайне обидно. Никто, кстати, так искренне не возмущается всяким нарушением конституции и никто так не карает посягательства против существующего строя, как люди, захватившие власть посредством государственного переворота... Поверьте, господа,— добавил Ламор серьезно, услышав ропот неудовольствия в кучке слушателей,— я говорю это в ваших интересах. Не полагайтесь вы чересчур на капитуляцию. Если у кого из вас есть возможность скрыться переодетым, как это сделал адмирал Караччиоло, может быть, лучше рискнуть... Подумайте, господа, и запаситесь на случай соответственным платьем.

Не ожидая ответа, он поклонился и пошел дальше с Баратаевым. Все смотрели ему вслед с недоумением.

Ламор и Баратаев вышли из замка и медленно направились на набережную. На насыпи стояли пушки и были зажжены фонари, отражавшиеся быстрой золотой дрожью на черной поверхности воды. В конце Molo Angioino на высоте тревожно горел кроваво-красный огонь. Здесь находилось какое-то сооружение, не то маяк, не то сторожевая башня. Где-то очень далеко мерцали еле заметные огоньки Сорренто, Кастелламмаре и Капри. Справа, вырастая из самого моря, высился мрачный Castel del Ovo. Гребни волн, разбивавшихся об его стены, были видны и в эту темную ночь, освещенные красным огнем башни. Слева вдали, над Везувием, изредка рвались искры.

— Они теперь, конечно, возмущаются моей *циничной* речью,— сказал Баратаеву Пьер Ламор, усаживаясь на скамью лицом к Везувию.— Цинизмом люди называют правду, если она очень им неприятна. Я не отношу себя к той скверной породе людей, которая *всегда говорит правду*,— это одна из многочисленных форм дурного воспитания. Но в разговоре с теми мною руководила жалость. Бедные люди! Я хотел помочь им добрым советом.

— Отчего же вы их жалеете больше, чем самого себя? — не поворачиваясь к Ламору, спросил Баратаев.

— Я, как и вы, почти никакой опасности не подвергаюсь. Видите ли, институт заложников — очень скверный, варварский институт, пережиток тех времен, когда люди еще не были так просвещены и цивилизованы, как теперь. Однако, не скрываю, я нахожу сейчас у этого института добрые стороны и сердечно рад тому, что во Франции есть люди, которых Директория не замедлит зарезать, если

кардиналу Руффо вздумается зарезать меня... Нет, поверьте, нас, французов, никто пальцем не тронет. Но — мудрое правило! — без хороших заложников не попадайся в плен в пору гражданской войны.

— Вы в самом деле думаете, что капитуляция будет нарушена? — спросил Баратаев.

— Я сильно этого опасаюсь. Разве можно верить Руффо? Боюсь политических кардиналов, как вообще всех людей, непосредственно сносящихся с Господом Богом и получающих от него директивы. Уж лучше, пожалуй, было бы иметь дело с Нельсоном, который нас поджидает в море... Впрочем, он тоже хорош.

— Вы знаете и Нельсона?

— Я знаю всех: это моя профессия. Я помню людей, как зубной врач всю жизнь помнит все попадавшиеся ему больные челюсти. Лорд Нельсон, что и говорить, бесстрашный моряк. Но не дай Господь попасть в лапы глупому человеку!.. Нельсон во всем *стоит на другой точке зрения.* Есть такие счастливые люди: им никогда не бывает скучно, так как они постоянно с *жаром защищают свою, другую точку зрения*. Они, кроме того, всегда чем-либо возмущены, это тоже очень скрашивает жизнь... Нельсон втройне глуп: глуп от природы, глуп от одержанных побед и особенно глуп оттого, что вообразил себя *человеком судьбы:* Нельсон — Робеспьер наизнанку... Повторяю, я больше всего на свете боюсь провиденциальных людей, как бы их божество ни называлось. А революциями и контрреволюциями обычно руководят именно провиденциальные люди. У нас в пору террора наиболее буйно помешанные были инквизиторы безбожия, духовенство атеистического вероисповедания.

Вздрагивая и стуча зубами от холодного ветра, он поправил платок на шее, опустил подбородок на грудь, всунул руки в рукава и сгорбился больше обычного.

— Я думал еще недавно,— начал он снова,— что мне после Парижа — после гильотины и Директории — доставит большое удовольствие зрелище настоящей, хорошей контрреволюции... Казалось бы, есть теперь чем полюбоваться. А вот, смотрю, удовольствия мало! По-видимому, чувство моральной симметрии во мне недостаточно развито. Может быть, и ненависти оказалось у меня меньше, чем я думал. Это плохо... Я ненависть ценю как *царский путь к познанию* — ведь очень немногие умеют ненавидеть по-настоящему. Какой дурак сказал: «Понять можно только то, что любишь»? Кто любит, ничего не понимает. Я говорю: понять можно только то, что ненавидишь... Повторяю, мне

жаль этих людей... Castel Nuovo — преддверие кладбища. Список мучеников свободы в ближайшие дни, вероятно, увеличится на несколько сот человек. Это, собственно, большого значения не имеет, если подсчитать общее число мучеников свободы со дня сотворения мира. Но мне все-таки их жаль... Бедные, наивные люди! Среди них нет ни одного настоящего мерзавца, а они хотели устроить революцию!..

— Вы и в гражданские комиссары пошли для того, чтобы *любоваться?*

— Да, а также из жажды общественного блага и полезной деятельности. Пост гражданского комиссара на вторых ролях — должность хорошая. Гадостей приходится делать не очень много, и будущее революции зависит главным образом от нас. А уж мы-то ей приготовим будущее!.. Мы, les commissaires si vils [1] (нас так теперь прозывают в армии). Я был поэтому чрезвычайно благодарен моему другу генералу Бонапарту за то, что он меня сюда пристроил. Правда, я предпочел бы устроиться при нем самом. Но он к этому не очень стремился. Видимо, я надоел Бонапарту своей старческой болтливостью.

— Болтливость от дьявола,— сказал Баратаев.— Дьявол словоохотлив. Но уж очень вы откровенны для комиссара. У вас не выходило неприятностей с начальством?

— Ни разу, к собственному моему удивлению: я ведь действительно не стесняюсь. Теперь всем все сходит с рук. Это, кстати, плохой симптом для революции. Когда диктатура начинает проявлять либерализм, дни ее сочтены: умеренные террористы обыкновенно бывают недолговечны.

Он засмеялся и продолжал, снова стукнув зубами от холода:

— Эта неаполитанская революция — одна из самых замечательных в истории. В некоторых отношениях она своеобразнее нашей. Фердинанд IV, король Обеих Сицилий, за три дня до провозглашения республики нимало не сомневался в том, что народ его боготворит. И, собственно, он был прав: за три дня до провозглашения республики народ действительно его боготворил... В Неаполе существуют только две партии: культурные люди и народ. Грубее: люди умывающиеся и люди неумывающиеся. Устроила революцию аристократия, отчасти из подражания нам, отчасти от скуки, отчасти от презрения к династии, отчасти, может быть, даже по искреннему убеждению; всего

---

[1] Подлые комиссары *(франц.)*. Здесь игра слов: по-французски civile — гражданский, si vil — подлый.

больше, вероятно, из тщеславия — ради двух строк в курсах истории: очень много людей живет всю жизнь главным образом для трогательного газетного некролога. Но это в сторону... Вспомните имена главных республиканцев, взбунтовавших на неделю население: Караччиоло, Пиньятелли, Пьедимонте, Сфорца, Колонна, Руво, Карафа, Монтелеоне,— все герцоги и князья, самые знатные люди Италии... А кто встал на защиту короля? Встали, опомнившись, нищие, лаццароны, полулюди, полусобаки... Они обожают своего Nasone[1] — и они опять-таки правы: Фердинанд IV имеет с ними общие вкусы, симпатии, привычки, он так же груб, жесток, невежествен, как они. Этот правнук Людовика XIV — лаццарон в королевской короне По своему беспредельному хамству король Обеих Сицилий составляет даже исключение среди Божьих помазанников: они, надо отдать им справедливость, люди хоть тупые, но хорошо воспитанные,— эти два свойства, большая тупость и хорошее воспитание, и отличают их от революционных диктаторов. Так вот, видите ли, аристократы и богачи здесь за республику, а нищие все поголовно — легитимисты. Чего только в истории не бывает?! Согласитесь, что эта разновидность векового спора плебеев с патрициями сама по себе достаточно глупа. Неизмеримо глупее, однако, следующее: революцию патриции сделали именем плебеев! Республиканское правительство совершенно серьезно решило исходить из воли неаполитанского народа. А неаполитанскую народную волю и выяснить невозможно, так как она меняется каждые две недели. Да и воля хороша! Это вроде как выяснять волю константинопольских собак И если есть в воле неаполитанского народа что-либо постоянное, то разве глухая безотчетная ненависть к тому, что республиканцы еще три дня тому назад называли идеалами неаполитанской революции,— теперь, кажется, больше не называют: язык — уж на что гибкая вещь! — язык не поворачивается. Все это, собственно, и не так непонятно. При королях громадное большинство людей здесь, как и везде, впрочем, жило собачьей жизнью; но зато всем было обещано вечное блаженство. После революции жизнь осталась собачьей по-прежнему. Но вечное блаженство было отменено. Зато республиканские мудрецы обещали, что через тысячу лет потомки нынешних лаццаронов будут благоденствовать в этом мире. А какое дело лаццаронам до потомства и до того, что будет через тысячу лет? Разумеется,

[1] Большеносого *(итал.)*.

они плюнули на республиканских мудрецов, и, пожалуй, не без некоторого основания. Фердинанд IV охотно вернет им вечное блаженство — оно ему ничего не стоит. Да уж теперь цена не та...

— Как же маленькая горсть аристократов могла, хоть ненадолго, овладеть властью?

— Разумеется, мы помогли. Без французских войск ничего бы у них не вышло. И в этом, пожалуй, самое удивительное. Ведь вы подумайте: когда неаполитанская аристократия затеяла революцию? После Марата, после Робеспьера, после Бабефа — в пору Директории, в пору виконта Барраса! Не могут же они, современники, не знать, что у нас все кончилось публичным домом? Чего, в таком случае, ждать от потомства? Неужели люди и через сто, и через тысячу лет будут ради того же резать друг друга? Хоть бы другое что выдумали, а?

— В этом вы правы. Нам ошибаться было простительнее.

Ламор поглядел на него. Баратаев, особенно бледный при тусклом свете фонаря, сидел совершенно неподвижно, не отрывая глаз от далекого Везувия.

— Нам?.. Конечно... Помните, где мы с вами познакомились?

— Забыть мудрено.

— Да. Хоть было это более двадцати лет тому назад. Точнее: в седьмой день второго месяца, в год истинного света пять тысяч семьсот семьдесят восьмой...

Он произнес с насмешкой масонское обозначение времени. Но выражение лица его несколько смягчилось.

— В тот памятный день мы принимали в Ложу Девяти Сестер брата Вольтера, за несколько недель до его кончины. Лаланд был мастер, а подготовлял профана ваш соотечественник, граф Строганов... Жив он еще или умер? Воображаю, как он себя чувствовал, когда остался в темной комнате наедине со стариком,— сказал Ламор, усмехнувшись.— В самом деле, неприятное положение — подготовлять *к свету* Вольтера... Лаланд тоже волновался, и мы все... Да я, старый дурак, и сейчас волнуюсь, вспоминая... Помните музыку, эти скрипки? Оркестр играл Третью симфонию Генена... А затем вдруг мертвая тишина: *он* вошел, дряхлый, бледный, с лицом умирающего дьявола, еле передвигая ноги. Кажется, и он был взволнован, в восемьдесят четыре года... Он сказал несколько слов невнятным шепотом, назвал этот день самым счастливым днем долгой жизни. Лаланд подал ему передник и

надел на него лавровый венок. Помнится, брат Грез зарисовал его черты. Не Грез? Ну, все равно... Вы помните, что для нас означало это посвящение! Знаменитейший из людей, царь скептиков, величайший отрицатель и разрушитель, принял нашу веру на пороге могилы! Мы думали, что в истории человечества начинается новая эпоха... А вот позавчера санфедисты поймали на улице переодетого республиканца: он стоял в очереди у котла с варившимся супом, ждал своей порции. Его окунули головой в кипяток и держал так, пока он не сварился. А потом суп съели с аппетитом.

— Вольтер — масон сомнительный, но за действия санфедистов он, кажется, не отвечает?

— О нет... Но, по-видимому, брат мой, еще не совсем отесан камень?

— Значит, не наступил час отдыха.

— Час последнего отдыха наступает. И не только для свободных каменщиков. Другие моральные силы переживают тоже нелегкие времена, правда? Разве христианство в ином положении, чем масонство? В начале французской революции либеральные священники были у нас настроены очень радостно. Они говорили о независимой церкви, освобожденной наконец от унизительной государственной опеки, о первых временах христианства, о свободной апостольской общине... Некоторые из них и теперь находят, что революционные преследования подняли церковь на небывалую духовную высоту. Эти люди в человеческой душе никогда ничего не понимали и никогда ничего не поймут. Вера больше нуждается во власти, чем власть в вере. Кардинал Руффо, руководящий шайками санфедистов, лучше знает толк в жизни, чем либеральные священники революции. Апостольской общины я не видел и не знаю, давно это было. Но вот что скажу с полным убеждением: безнаказанное преследование церкви нанесло ей тяжкий удар, от которого ей не суждено оправиться, как монархическая идея никогда не оправится от казни Людовика XVI. Слишком велик соблазн, слишком растлены им низменные души людей... Поверьте, все преступления папы Александра Борджиа гораздо меньше повредили церкви, чем вид хама, безнаказанно ругающегося над распятием, чем голая мадмуазель Майар, танцующая на алтаре Notre Dame.

— Какой же ваш вывод? Или все следовало оставить по-старому, так было хорошо? — угрюмо спросил Баратаев. — И теперь что делать, если распались моральные скрепы?

— Это другой разговор. Я вас спрашиваю: откуда берется у людей энтузиазм, после всего того, что было?

— А я вас спрашиваю: что надо делать?

Ламор усмехнулся:

— Вопрос трудный. Вам на него ответить легче, чем мне. Я за вас ответил бы так. Прежде всего надо надеть намордник на зверя и хаму показать крепкий хлыст. Это единственный смысл контрреволюции: сама по себе она ничем не лучше, чем революция. У нас целое поколение готовило революцию, не имея понятия о том, что это такое. Теперь мы готовим контрреволюцию и ее представляем себе еще более смутно. Многие отшатнутся от нее с таким же ужасом, как отшатнулись от революции. Виселица — вещь полезная, но красоты в ней никакой нет, да и крестом ее осенять незачем. Крест на рукоятке меча имеет философский смысл... Правда, и здесь можно усмотреть некоторую забавную шутку со стороны того гипотетического духа, который так хорошо задумал интригу романа мировой истории (Лесаж с этим духом в сравнение не идет). Но и смысл в рукоятке крестом все же есть несомненный, больший, чем думают со стороны поверхностные ценители. А вот виселица с крестом — это неаполитанский стиль, стиль очень скверный... Да и вообще контрреволюция сама по себе жалкая вещь. Я не понимаю наших роялистов... Разве король на троне казненного — тот же прежний король? Монархию воссоздать можно, но престиж ей вернуть нельзя. А эти принцы, прятавшиеся по подвалам!.. Les proscrits!..[1] Их больше ненавидят за их нынешнее бесправие, чем за их былой деспотизм. Угнетатели, ставшие угнетенными,— конченые люди... Я опять отвлекся, простите... Так, видите ли, с хлыста нужно бы начать, а затем можно взяться за работу. Для этого на все взрослое поколение надо махнуть рукою и заняться теми, кому не будет шестнадцати лет в день, когда на зверя наденут намордник. Надо воспитать новое человечество. Это не очень новая мысль, ей, верно, три тысячи лет. Но мысль вполне правильная. С шестнадцатилетними еще, быть может, что-либо выйдет... Это все я за вас говорю.

— А за себя?

— Ничего не выйдет и с шестнадцатилетними.

Вдали над Везувием сверкнуло несколько искр.

— Вы видели кратер? — показывая рукой на вулкан, спросил Ламор.— Я поднимался... Над Везувием не ле-

---

[1] Упраздненные, гонимые! *(франц.)*

тают птицы, на земле его нет насекомых. Только люди живут на нем. Какие-то отшельники... Из бездонного бокала рвется огонь. Здесь вулкан называют Cucina del Diavolo — кухня дьявола,— какое выразительное название! В Неаполе, собственно, ничего и доказывать не нужно. Эта трагическая гора — сама по себе аргумент неотразимый... И хоть бы красиво все это было! Нет, грязь, пепел, дым, едкие пары... Именно царство смерти: ведь смерть безобразна, даже самая поэтическая... Не понимаю, как при виде Везувия можно верить во что бы то ни было, кроме как в дьявола. В науку, что ли? Я не раз говорил с Вольтером о значении научного прогресса для людей. Других суеверий у старика не было, но в научный прогресс он верил твердо... Разве неясно, что против подземных процессов, против землетрясений, против космических катастроф наука всегда будет совершенно бессильна? Вероятно, и вон там, под землей, где лежит Геркуланум, добрые люди собирались осчастливить свой народ — и чуть-чуть, должно быть, не осчастливили, да как на беду вмешался Везувий.

Он помолчал, затем спросил Баратаева с усмешкой:

— Вы что-то не очень со мной спорите?

— Зачем я буду спорить? — ответил с внезапным раздражением Баратаев.— Допустим, что все правда в вашем утомительном пессимизме. После ужасов революции ужасы контрреволюции — это для усмирения хама, как вы аристократически выражаетесь. А потом хам вырвет хлысты, на контрреволюцию ответит новая революция, и так без конца, да? Чудесное же воспитание получит молодое поколение... Меня, впрочем, интересуют преимущественно выводы. Из ваших взглядов вывод можно сделать только один: броситься бы возможно скорее, головой вниз, в кухню дьявола, в этот самый кратер Везувия. Вы, однако, до семидесяти лет не бросились. Может быть, рассчитываете убедить человечество броситься? Я не знаю, зачем вы живете, зачем всем, кто готов слушать, высказываете свои утешительные мысли... Вы умный человек, но, извините меня, выше некоторой ступени ума, выше определенного его сорта вам не дано подняться. Бросьтесь, в самом деле, в Везувий.

— Зачем так сразу в Везувий?.. Для начала достаточно встать на ноги: большинство людей, как святой Януарий, патрон этого города, рождается в коленопреклоненной позе.

— Нет, оставьте... Пустая вещь — афористическое мышление...

Баратаев вдруг остановился и уставился глазами вверх на сторожевую башню. Дозорный что-то взволнованно кричал. Усилившийся ветер относил его слова. Баратаев встал, приблизился к башне и, сложив трубкой руки у рта, спросил, в чем дело. По словам дозорного, в море на высоте Капри показались огни. Кажется, какая-то эскадра идет к Неаполю. Баратаев и Ламор тщетно вглядывались в море и ничего не видели. Был ветер, волны рвались и пенились у мрачных стен Castel del Ovo.

— Если это французы, дело меняется,— сказал Баратаев.

— Если это англичане, дело тоже меняется,— сказал Ламор.— А я когда-то уже переживал такие минуты... Странно...

Они поспешно направились назад в замок. Близился рассвет.

XIII

Огни, которые видел в море дозорный Castel Nuovo, принадлежали английской эскадре. Это лорд Нельсон подходил к неаполитанским берегам.

Гораций Нельсон, барон Нильский, в ту пору, несмотря на свою испытанную храбрость, на тяжкие раны и на блестящую победу при Абукире, еще был далек от необычайной славы, выпавшей на его долю после Трафальгарского сражения. Король Георг III не был к нему благосклонен. Питт его недолюбливал, как недолюбливал всех глупых людей. В Англии не прощали Нельсону того, что он не сумел помешать высадке в Египет армии генерала Бонапарта; и даже за победу у Нила адмирал получил в награду не титул виконта, на который он рассчитывал, а низшую степень пэрии, баронский титул. Это чрезвычайно его раздражило. Он чувствовал нерасположение к себе начальства, правительства и высшего английского общества,

Престижу лорда Нельсона в Англии препятствовало многое: незнатное происхождение — отец его и все предки были простые священники,— неприятный характер и детское тщеславие, невежество и отсутствие воспитания, малый рост и некрасивая наружность. В последнее же время особенно вредил адмиралу общественный скандал — связь лорда Нельсона с Эммой Гамильтон, женой английского посланника в Неаполе. Любовные связи могли быть у всех, но эта имела скандальный характер. Неприличны

были отношения, возникшие между Нельсоном и его женой. Странно было то, что старик посланник остался лучшим другом адмирала. Многие — с полной осведомленностью — вспоминали прошлое леди Эммы, которая в первой своей молодости была уличной женщиной. Обо всем этом говорили не стесняясь в аристократических салонах Лондона. Но о главной черте скандала там говорили лишь шепотом мужчины, да и то с разбором: в обществе юношей о ней молчали, чтобы их не портить; в обществе стариков также молчали, из уважения к сединам. Черта эта заключалась в особого рода отношениях, существовавших будто бы между леди Гамильтон и неаполитанской королевой Марией-Каролиной. В Неаполе о них болтал каждый мальчишка. Революционные листки писали об этих отношениях с большим удовольствием, в том особенно противном уличном тоне, в каком обычно обличают нравы низложенной династии на следующий день после ее низложения.

Страсти адмирала к леди Гамильтон недоброжелатели приписывали его бездействие и военные ошибки. Говорили, будто он пропустил генерала Бонапарта в Египет потому, что не мог расстаться со своей любовницей; будто в Палермо он в угоду леди Эмме проводил ночи напролет за игрой и проиграл в карты состояние. Долгое пребывание Нельсона в сицилийских водах объясняли тем же влиянием. Адмирал делал все, что хотела леди Гамильтон; леди Гамильтон ни в чем не могла отказать Марии-Каролине. Королева же, смертельно напуганная революцией, больше всего боялась, как бы Нельсон не перестал заниматься ее делами. Эшафот ее сестры, Марии-Антуанетты, все мерещился королеве Обеих Сицилий. Она верила в непобедимость барона Нильского: лишь он мог ее спасти от неаполитанских мятежников и от французской эскадры, недавно прорвавшейся в Средиземное море.

Когда выяснилось, что Сицилии не грозит опасность со стороны французской эскадры, лорд Нельсон, крейсировавший у сицилийских берегов, решил отправиться в Неаполь, чтобы прикончить гибнущую Партенопейскую республику. Адмирал съехал в Палермо на берег; на совещании с королем и королевой он получил полномочия для самых решительных мер по подавлению мятежа (Мария-Каролина не доверяла кардиналу Руффо). Так как Нельсон не знал иностранных языков, то было решено, что сэр Вильям Гамильтон с женою также отправятся в Неаполь. Влюбленный адмирал был очень счастлив: он

давно мечтал о том, чтобы леди Эмма увидела его во главе эскадры.

Британские моряки приняли озлобленно-весело появление леди Гамильтон на адмиральском судне. Подчиненные боялись и уважали Нельсона; но леди Эмма и ее муж были вечной темой их шуток. Моряки, остающиеся месяцы и годы без женщин, смотрят на любовь по-особенному просто — в этой простоте смесь профессионального идеализма и грубой откровенности. Офицеры обсуждали любовь Нельсона так, как этого себе не позволил бы ни один штатский человек. Израненных, ежедневно рискующих жизнью моряков никто не мог удивить храбростью; тяжкие увечья адмирала служили у них предметом самого обыкновенного, а порою, по обстоятельствам, и шутливого разговора.

Переход из Палермо в Неаполь был со второго дня беспокойный, несмотря на летнее время года. Огромный восьмидесятипушечный линейный корабль «Foudroyant» [1], на котором находились лорд Нельсон и его гости, качало очень сильно. Сэр Вильям Гамильтон пролежал сутки в отведенной ему каюте на верхней палубе. Туда ему жена приносила то капли, то черное кофе, то чашку бульона. Он от всего отказывался, слабо улыбаясь, но уступал настояниям леди Гамильтон, с отвращением проглатывал, поднявшись на локте, то, что ему подавали, и торопился принять снова горизонтальное положение. В каюте навестил его и адмирал, смотревший на больного с наивным, не понимающим сочувствием: лорду Нельсону было очень трудно понять, что такое морская болезнь. Море представлялось адмиралу чем-то вроде принадлежащего ему огромного имения, и он чувствовал себя при виде больного Гамильтона как хозяин, в доме которого, от дурного устройства и неудобных порядков, неожиданно захворал приглашенный гость. Почти такое же чувство испытывал сам сэр Вильям, и долю отвращения, вызываемого в нем морем, он невольно переносил на Нельсона.

Леди Гамильтон, напротив, не страдала морской болезнью и очень этим гордилась. Зимою, во время их бегства из Неаполя в Сицилию, на море поднялась небывалая буря. В королевской семье и в свите почти все были тяжело больны и очень скоро потеряли условное чувство физического стыда; потом дамы некоторое время избегали смотреть в глаза мужчинам. Но леди Эмма и тогда чувст-

[1] «Громовержец» *(франц.)*.

вовала себя лучше других, теперь же вовсе не страдала и проводила время довольно приятно, хоть немного однообразно, в салоне адмирала Нельсона.

В течение последних суток переезда Гамильтон не думал ни о чем из того, что обычно его занимало: ни о делах службы, ни об отношениях леди Эммы к Нельсону, ни даже о своей коллекции древностей и минералов, которая составляла главный интерес его жизни (коллекцию эту ему удалось вывезти из Неаполя и отправить в Англию). Все его обычные мысли были вытеснены общим чувством отвращения, порожденным тошнотою, вкусом во рту, щетиной на тройном подбородке и на щеках — он все нервно ерошил рукой эту щетину. Незадолго до конца переезда сэр Вильям задремал. Когда он проснулся, ему показалось, что качки больше нет: парусиновый плащ висел на стене ровно; наверху, на полке, круглая коробка не перекатывалась и не стучала о бортик полки, а лежала твердо (Гамильтон целые сутки с усталым отвращением следил за перекатыванием этой коробки). Сквозь открытый иллюминатор лились солнечные лучи. Сэр Вильям тяжело приподнялся, заглянул в окно и вместо шатающихся туч и горизонта увидел с невыразимым облегчением совсем близко землю; корабль медленно шел вдоль берега по совершенно гладкому, залитому солнцем морю. Вода в углублении на борту иллюминатора высохла. Гамильтон поднялся с койки, не почувствовав при этом тошноты, наклонился, немного набок из-за брюшка, брезгливо ступил ногой на пол, разыскал туфли и передвинулся в каюте к умывальнику. Зеркало отразило желто-бледное помятое лицо с двухдневной седой бородой и с растрепанными белыми волосами, на которых почти не выделялись остатки пудры. Сэр Вильям откинул доску умывальника и недоверчиво умылся *начерно* в маленькой чашке; втянув шею перед зеркалом, потрогал, морщась, резко обозначившиеся складки подбородка и почувствовал, что может побриться,— утром эта мысль показалась бы ему дикой. Он дернул шнурок над койкой. Где-то вдали зазвенел колокольчик: тотчас явился слуга, приставленный к посланнику во время его болезни. Гамильтон заговорил с ним уже не измученным шепотом, а почти обыкновенным своим голосом; это так его утешило, что он, никогда не разговаривавший с прислугой, против своего обычая задал несколько ненужных вопросов, с удовольствием прислушиваясь к своей речи. Слуга убрал с откидной доски столика рюмку и пузырек с каплями, на которые сэр Вильям

не мог смотреть без отвращения (все чувствовал во рту противный вкус), принес горячую воду, снял с полки и раскрыл великолепный серебряный несессер, в течение долгих лет сопровождавший повсюду посланника. Гамильтон занялся своим туалетом *набело*. Через полчаса он привел себя в обычный вид, и к нему вернулось чувство собственного достоинства. Слуга принес поднос с чаем. Сэр Вильям еще не имел аппетита, но ни чай, ни хлеб, как всегда немного черствый на море, ни холодное мясо ни вызывали в нем отвращения. Он, однако, торопился оставить опротивевшую ему каюту, теперь забрызганную по полу и стенам водой. Едва прикоснувшись к завтраку, он вышел старческой барской походкой, еще неуверенно ступая, но ни за что не держась, на залитую светом палубу, с наслаждением вдыхая морской ветер и с особой силой чувствуя радость жизни, которой оставалось так мало.

Справа вдали, в двойной цепи Везувия, над лысой, чуть золотившейся вершиной вулкана склонялся набок еле заметный летом беловатый дымок. Столь знакомый Гамильтону берег залива, с его надоедливой сладкой красотою, был, после всех потрясений революции, совершенно такой же, как прежде. Впереди, сливаясь с облаками, виднелся Неаполь. Сэр Вильям с любопытством вглядывался в даль, защищая от солнца глаза ладонью и придерживая прядь волос на блестящем у висков лбу. С корабля он не видел никаких следов разрушения в городе, в котором провел тридцать пять лет. Гамильтон разыскал взором местонахождение своего дома, Palazzo Sessa, и подумал со злобой о погибшем имуществе («еще слава Богу, что удалось вывезти коллекцию!»), о многочисленных делах и заботах по службе, которые теперь им всем предстояли в связи с усмирением мятежа. Люди усиленно старались отравлять ему последние годы жизни. Сэр Вильям французскую, и особенно неаполитанскую, революцию принимал как сделанную ему личную неприятность. Он тяжело вздохнул и отправился разыскивать лорда Нельсона.

Стоявший на верхней палубе молодой офицер с любопытством окинул взором старого посланника, отдал честь и сказал с легкой улыбкой, что помещение адмирала находится на опердеке. Улыбка молодого офицера неприятно кольнула Гамильтона. Стараясь сообразить, где может быть опердек, он пошел дальше той же неуверенной походкой: морская болезнь все-таки еще сказывалась.

По традиции, принятой в британском флоте, для пре-

стижа, связанного с некоторой таинственностью, адмирал жил уединенно и вне служебных дел почти не встречался с офицерами эскадры, редко бывая в их обществе. Занимаемое им помещение из салона и лучших кают корабля находилось почти у кормы на второй палубе (это и был опердек). Доступ к Нельсону был затруднен. Но часовые знали в лицо посланника и не останавливали его, понимая, что никакие предписания и запреты не относятся к этому важному штатскому старику. Сэр Вильям прошел по длинному коридору и еще издали услышал, морщась, знакомое ему *щебетанье*. Он постучал в дверь салона, в котором находились его жена с лордом Нельсоном, почувствовав, как всегда в этом случае, одновременно неловкость и необходимость стука. Послышалось сухое «come in» [1] Нельсона. На лице посланника появилась сладкая улыбка. Он открыл дверь и вошел в салон. Как он и ожидал, кроме адмирала и леди Эммы, в салоне никого не было.

Гамильтон давно знал о связи своей жены с лордом Нельсоном. Если б он сам об этом не догадывался, то ему очень скоро сказали бы в обществе правду тонкие улыбки, любезные вопросы, обрывавшиеся при его появлении разговоры. Все это было неприятно Гамильтону, но не слишком его волновало — его уже почти ничто не могло особенно волновать. Сэр Вильям говорил себе в утешение, что в конце концов он знал, на что́ шел, когда женился на уличной женщине, бывшей вдобавок моложе его на тридцать с лишним лет. Немного раздражало Гамильтона, что он сам познакомил свою жену с Нельсоном. Но и здесь он утешался тем, что все равно, если не Нельсон, нашелся бы другой. Было, впрочем, досадно, что выбор леди Эммы остановился на невежественном, неумном и некрасивом плебее, каким представлялся Гамильтону адмирал со всей его храбростью и боевыми заслугами. Связь леди Эммы с принцем-красавцем была бы менее неприятна сэру Вильяму. Ревность, однако, не очень его мучила. Мысль о разрыве или о дуэли с Нельсоном никогда не приходила ему в голову. Поединки в ту пору еще не вывелись в Англии. Но дуэль между британским посланником в Неаполе и победителем при Абукире составила бы такой скандал, по сравнению с которым французская революция потеряла бы всякий интерес. Сэр Вильям не очень любил скандалы даже тогда, когда они случались с другими, и менее всего

[1] Войдите *(англ.)*.

желал, чтобы в скандал было замешано его собственное имя: он был хорошей семьи и чрезвычайно дорожил фамильной честью Гамильтонов. Большой опыт жизни подсказал сэру Вильяму тон, который ему надлежало взять для ограждения своей чести и особенно своей репутации умного человека. Тон этот сводился к самой изысканной любезности, к дружеским отношениям с Нельсоном. Этому правилу посланник неизменно следовал уже несколько лет и сам именовал шутливо их тройное содружество: tria juncta in uno[1]. Когда Гамильтон впервые пустил в обществе эту шутку, он было спохватился, уж не зашел ли слишком далеко. Но, убедившись в полном ее успехе, сэр Вильям пошел еще дальше, вспомнив слова, приписывавшиеся не то князю де Линю, не то другому знаменитому остряку: «Лучше иметь пятьдесят процентов в хорошем деле, чем сто — в плохом». Эта шутка, невинно повторенная Гамильтоном в салоне с видом «à bon entendeur salut»[2], имела еще больший успех и сразу дала его роли не смешной, а изящно-циничный тон (теперь называемый: très dix-huitième[3]), который лучше всего выгораживал в неприятном деле его честь и древнее имя Гамильтонов. Однако, как ни свыкся сэр Вильям с этим тоном, вид лорда Нельсона иногда бывал ему неприятен.

Британский посланник вошел в гостиную с нежной улыбкой, которую он неизменно на себя нацеплял, встречаясь в обществе со своей женой. Улыбка эта определяла их отношения. Она все объясняла — и то, что старый английский аристократ женился на уличной женщине, и то, что леди Гамильтон проводила время наедине с лордом Нельсоном, и то, что именовались они tria juncta in uno, и еще многое другое: леди Эмма была резвый, шаловливый, очаровательный ребенок, которому решительно все прощалось. Эту улыбку сэр Вильям годами искусно навязывал и в конце концов навязал своей родне, британской аристократии, неаполитанскому двору, королевской семье, даже самому адмиралу Нельсону. Леди Эмму все давно принимали именно так, и это предохраняло Гамильтона от разных, без того неизбежных, неприятностей. Теперь резвый очаровательный ребенок близился к сорока годам, но при его виде на лице сэра Вильяма неизменно появлялась эта улыбка, на которой твердо держалась их супружеская жизнь.

---

[1] Трое едины в одном *(лат.)*.

[2] «Имеющий уши да слышит» *(франц.)*.

[3] Здесь: весьма непринужденный *(франц.)*.

В большом адмиральском салоне угрюмый Нельсон сидел за письменным столом. Леди Гамильтон стояла возле него, потрясая какой-то бумагой, и, как всегда, взволнованно щебетала. По особенно высокой ноте ее щебетания, по красным пятнам, выступившим на ее толстом, еще очень красивом лице, по бумаге, которую она держала в унизанной кольцами руке, сэр Вильям понял, что его жена рассуждает о важных политических делах. Леди Гамильтон ничего не понимала в политике, и это было прекрасно известно ее мужу. Но он знал также, что, вследствие сложной комбинации ее отношений к Нельсону и к королеве Марии-Каролине, теперь решительно все зависело от леди Эммы. Гамильтон почувствовал смутное беспокойство.

Он нежно поцеловал руку жены, любезно поздоровался с адмиралом, с улыбкой отвечая на их одновременные вопросы об его здоровье, и, усевшись в кресле, изобразил сладко улыбавшимся лицом вопрос.

Нельсон озабоченно сообщил Гамильтону важную новость. Слухи, бывшие у них раньше, подтвердились: кардинал Руффо заключил с проклятыми мятежниками договор о капитуляции, по которому они очищали замки с воинскими почестями и получали право свободного отъезда во Францию.

— Вообразите,— сказал сердито Нельсон,— коммодор Фут, сообщивший мне только что это известие, имел смелость подписаться под договором...

— Не может быть! — воскликнул Гамильтон. Сладкая улыбка мгновенно исчезла с его лица.

Леди Гамильтон отчаянно защебетала, но сэр Вильям не слушал ее, зная по долгому опыту, что понять ее политические мысли трудно, а спорить с ней невозможно. Он быстро соображал следствия из сообщенной ему новости. Капитуляция замков на таких условиях представлялась совершенно невозможной; она должна была вызвать величайшее возмущение королевы Марии-Каролины, которая в Палермо мечтала, говорила, бредила о казнях мятежников. Принять капитуляцию было, очевидно, немыслимо. Но старый посланник знал, что письменный договор, да еще подписанный полномочным британским офицером, есть вещь нешуточная.

— Да, этот дурак Фут подписал капитуляцию именем его величества короля Георга,— повторил со злобой Нельсон.— И русский командующий тоже, от имени своего императора...

— Но это невозможно! — воскликнула с крайним вол-

нением леди Гамильтон.— Мы объясним, что они ошиблись, что вышло недоразумение. Поймите же, это невозможно. Я не усну всю ночь... Отпустить этих негодяев во Францию после того, что они сделали!.. Разве мы забыли, какие гадости они писали о королеве, обо мне, о вас?..

— Этому не бывать! — сказал Нельсон бледнея. Он вскочил и заходил по комнате.

— Вы получили копию капитуляции? — спросил упавшим голосом Гамильтон. Он взял бумагу, которой размахивала его жена, прочел договор, опустил бумагу на колени, снова ее прочел, откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза.

Как политический деятель, он понимал, что Руффо поступил правильно: благоразумнее всего было отпустить всех этих революционеров на безвредное житье во Францию. К судьбе их Гамильтон был совершенно равнодушен. «Казни, пытки, как здесь принято, к чему это?..» — подумал сэр Вильям. Но одновременно он опять себе представил, как королева примет в Палермо известие о капитуляции.

«Они отравят мне жизнь,— почти неожиданно для себя сделал Гамильтон главный вывод и, открыв глаза, взглянул на свою жену, которая, все больше краснея от жары и волнения, расхаживала по комнате в ногу с Нельсоном. Сэр Вильям снова опустил веки.— Да, они меня замучат... Это будет изо дня в день истерика... Та сумасшедшая отравит жизнь ей, а она мне.— Он устало поморщился, как морщился всякий раз, когда одновременно думал о королеве и о леди Эмме.— Разумеется, в Палермо во всем обвинят меня... Ведь я был приставлен для политического руководства... Куда же я из Неаполя поеду после тридцати пяти лет?.. Нет, конечно, капитуляция невозможна. Что скажут, однако, в Лондоне, если мы нарушим договор?.. Могут быть неприятности. Нехорошо... Но так гораздо хуже... Pitt s'en f...après tout... [1]» — подумал Гамильтон (он нередко переходил в мыслях на французский язык и немного гордился этим).

Сэр Вильям открыл снова глаза.

— Разумеется, вы не можете утвердить эту позорную капитуляцию,— сказал он Нельсону, подчеркивая слово infamous [2].

— Да, да, именно позорную! — воскликнула леди Эмма.— После всего того, что они о нас писали в своих подлых листках...

---

[1] «Питт выйдет сухим из воды» *(франц.)*.

[2] Позорная, постыдная, бесчестная *(англ.)*.

— Я сам решил не утверждать договор,— поспешно сказал, останавливаясь на мгновенье, лорд Нельсон: он постоянно боялся, как бы не подумали, что он находится под чужим влиянием.

Сэр Вильям, знавший хорошо своего друга, склонил набок свой тройной подбородок в знак уважения к мудрому решению адмирала, свел концами пальцы худых старческих рук с толстыми жилами и вкратце изложил те доводы, по которым лорд Нельсон решил не утверждать капитуляции. Главные аргументы его были следующие: монарх не может входить ни в какие переговоры с мятежниками, и безнаказанность революционеров противоречит Божьей воле. Гамильтон знал, что эти доводы сильнее всего поразят Нельсона. Гладкая речь посланника (он очень хорошо говорил) произвела на всех и на него самого успокоительное действие. Адмирал снова сел в кресло, щебетанье леди Эммы стало почти нормальным, и красные пятна начали сглаживаться на ее щеках.

— Копию капитуляции,— сказал в заключение Гамильтон,— надо немедленно послать в Палермо ее величеству... Их величествам,— поправился он и помолчал.— Я не скрываю от себя некоторых формальных трудностей, которые вы, без сомнения, понимаете лучше меня. *Формально* (он подчеркивал это слово) кардинал Руффо вам не подчинен: он наместник короля Фердинанда. Таким образом, заключенная им капитуляция, собственно, не нуждается в вашем утверждении... Роль Руффо в этом деле странная и сомнительная. Но я думаю, что, если написать кардиналу решительное письмо, он не будет настаивать на своем...

— Я сам так полагаю,— подтвердил Нельсон.— Пожалуйста, напишите ему немедленно,— добавил он, уступая посланнику место за письменным столом. Гамильтон предпочел бы, чтобы письмо написал Нельсон. Тем не менее он послушно сел за стол и быстро, обдумывая каждое слово, написал размашистым, чуть дрожащим, скорее детским, чем старческим, почерком, с открытыми сверху буквами «о», с «а», похожими на «u», без знаков препинания, французское письмо кардиналу:

«Eminence Milord Nelson me prie d'informer V. E. qu'il a reçu du Capitaine Foote Commandant de la Frégate «Sea Horse» une copie de la Capitulation que Votre Eminence a jugé à propos de faire avec les Commandants des Châteaux de St. Elme — Castel Nuovo et Castel del Ovo — qu'il désapprouve entièrement de ces Capitulations et qu'il est très résolu

de ne point rester neutre avec la force respectable qu'il a l'honneur...»[1]

Он остановился в конце страницы на слове honneur, легонько помахал письмом в воздухе и с удовольствием прочел написанное вслух. Леди Гамильтон, вскрикивая от восторга, переводила фразу за фразой. Нельсон одобрительно кивал головой. Сэр Вильям улыбался старчески детской улыбкой, при которой сеть морщинок, прямых сбоку от глаз и полукруглых над глазами, резко обозначалась на его благодушном лице.

XIV

Британские офицеры, прибывшие в ставку Руффо с письмом Гамильтона, не говорили ни по-французски, ни по-итальянски или не желали объясняться на этих языках. С улыбкой сожаления, относившейся к чужому невежеству, они настойчиво говорили по-английски с секретарем кардинала, аббатом Спарциани, в полной уверенности, что их должны понять и поймут. Их действительно скоро поняли. В качестве переводчика неуверенно предложил свои услуги Штааль, находившийся в приемной Руффо с другими офицерами отряда капитана Белле: после перемирия он почти все жаркое время дня проводил в кардинальской ставке. Русский командующий, капитан-лейтенант Белле, тоже не знал по-французски, и Штааль помогал ему в разговорах с Руффо. Штааль не свободно владел английским языком, однако его понимали. Когда выяснилось, что британские моряки прибыли с важным поручением от *милорда* (они так и говорили *милорд*, точно на свете существовал только один лорд Нельсон), секретарь решился побеспокоить Porporato, отдыхавшего у себя в кабинете.

Спарциани приоткрыл дверь, вошел на цыпочках в комнату Руффо и приблизился к кардиналу, который с измученным видом сидел за столом, закрыв глаза. Когда секретарь произнес слово «Eminenza»[2] тихим голосом, как вначале будят спящих людей, Руффо вздрогнул и с ужасом открыл глаза.

---

[1] «Его Превосходительство лорд Нельсон просит меня сообщить Вашему Высокопреосвященству, что он получил от капитана Фута, командира фрегата «Морской конек», копию капитуляции, о которой вы, Ваше Высокопреосвященство, решили договориться с комендантами крепостей святого Эльма — Кастель Нуово и Кастель дель Ово, что сию капитуляцию он решительно не одобряет и что он твердо решил не остаться нейтральным со своими внушительными силами, кои он имеет честь...» *(франц.)*

[2] Ваше Высокопреосвященство *(итал.)*.

— Пусть войдут, сейчас пусть войдут! — нервно приказал он, узнав, в чем дело.

Через минуту британские офицеры вошли в кабинет в сопровождении секретаря и Штааля — аббат Спарциани был вынужден его пригласить, так как другого переводчика в вилле не оказалось; кардинал не говорил по-английски. Руффо приветливо протянул вошедшим обе руки и не подал ни одной. Так он обычно поступал с почетными гостями-иноверцами, которые, по его предположению, предпочли бы обойтись без целования кардинальского перстня

Старший офицер, капитан Троубридж, тотчас подал Руффо письмо британского посланника.

— Так сэр Вильям Гамильтон тоже прибыл вместе с адмиралом? — тоном радостного удивления спросил кардинал, распечатывая письмо. Штааль перевел его вопрос. Руффо устало улыбнулся, оттого что переводили ненужные слова, приблизил письмо к глазам и стал читать.

— Quelle est cette plaisanterie! [1] — вдруг проговорил он, меняясь в лице.

Штааль не без недоумения хотел было перевести это замечание. Но Руффо, тотчас сдержавшись, остановил его жестом.

— Вам известно, господа, содержание письма господина посланника? — спросил он офицеров.

Капитан Троубридж ответил утвердительно.

— А известно ли лорду Нельсону, что капитуляцию подписали кроме меня,— лицо его дрогнуло,— коммодор Фут именем вашего монарха и капитан-лейтенант Белле именем российского императора? — сказал медленно Руффо, оглядываясь на Штааля; он как бы хотел пригласить русского офицера подтвердить эти свои слова, но, признав его недостаточно авторитетным, перевел вновь глаза на капитана Троубриджа.

«Неужто англичане хотят нарушить капитуляцию? быстро подумал Штааль.— Что за скандал!..»

Троубридж кратко ответил, что коммодор Фут не имел достаточных полномочий от милорда. Милорд не может утвердить капитуляцию, заключенную на таких условиях

Хотя все мысли Штааля были заняты переводом, он вспыхнул, услышав слова Троубриджа: английский капитан говорил так, будто из подписей на документе интерес представляла только подпись коммодора Фута.

— Лорд Нельсон не мой начальник,— сказал Руффо,

[1] Что за шутка! *(франц.)*

больше не сдерживаясь и повышая голос.— Мои действия не нуждаются в его утверждении.

Штааль с особым удовольствием перевел слова кардинала. Англичане ничего не ответили. Разговор с ними был, очевидно, бесполезен. Руффо поднялся с кресла и, не глядя на капитана Троубриджа, велел Штаалю сказать, что кардинал-наместник (он подчеркнул свой титул) лично отправится на «Foudroyant» для непосредственного разговора с адмиралом Нельсоном.

Английские офицеры откланялись и вышли из кабинета.

Баркас адмиральского корабля, присланный за кардиналом-наместником, причалил почти у самой ставки. Лаццароны, лежавшие на берегу и недоброжелательно поглядывавшие на британских матросов, вскочили при появлении кардинала и его свиты. С Руффо на «Foudroyant» отправлялись кавалер Мишеру и еще несколько человек, состоявшие при кардинале калабрийские офицеры и Штааль, взятый в качестве переводчика на случай надобности. Лица свиты помогли кардиналу сесть в баркас. Лаццароны, тоже суетившиеся вокруг Porporato, почтительно поцеловали край его одежды и при этом вызывающе смотрели на английских гребцов, точно чувствовали, что перед лицом чужеземной силы необходимо особой почтительностью поддержать престиж своего начальства.

Рослые гребцы, со страхом глядевшие на главного паписта в красной мантии, налегли на весла, и лодка, сильно качаясь, несмотря на спокойное море, быстро пошла по направлению к эскадре. Руффо, расстроенный и угрюмый, ни с кем не говоря, сидел на средней скамейке. Штааль по-французски вполголоса переговаривался с другими лицами свиты. Английский офицер изредка негромко бросал команде непонятные слова. Почти все испытывали чувство неловкости, неясно сознавая его причину.

Мост святой Магдалены становился все меньше, британские военные корабли росли. У борта огромного судна, стоявшего впереди других, уже был виден офицер, внимательно вглядывавшийся в баркас. Штааль смотрел на грозную эскадру и тщетно старался разобраться в кораблях: который — линейный, который — фрегат, который — корвет (он очень любил морские термины; слово «фрегат» ему особенно нравилось — и было почему-то неприятно, что линейные корабли важнее фрегатов). Вдруг совсем близко грянул пушечный выстрел. Все вздрогнули. За первым выстрелом последовали другие. Это британская эскадра салютовала кардиналу-наместнику. Баркас несколько изменил

направление и стал огибать адмиральское судно (уже можно было прочесть конец надписи «...royant»). Штааль, никогда не видавший вблизи линейных кораблей, с любопытством всматривался в гигантские мачты, припоминая их странные, смешные названия, в отверстия на бортах, прикрытые ставнями,— он догадывался, что это *порта* пушек,— в шлюпки, подвешенные на брусьях с бортов. Все так и сверкало чистотой. Баркас подошел наконец вплотную к спущенному трапу. Офицер легкой походкой сбежал на нижнюю площадку трапа, отдал честь и с улыбкой протянул руку Руффо, который, морщась от последнего выстрела салюта, неторопливо стал подниматься, держась за веревочные перила. Штааль не воспользовался помощью офицера, шагнул через скамейку кренящегося баркаса, вскочил вслед за кардиналом на чуть заметно дрожащую площадку трапа и быстро поднялся по лестнице, не касаясь перил.

Наверху стоял около трапа немолодой офицер, капитан корабля, а рядом с ним, справа, осанистый старик в штатском платье,— как потом узнал Штааль, британский посланник в Неаполе, сэр Вильям Гамильтон. Нельсона, однако, у трапа не было; это тотчас с неприятным чувством отметили и Руффо, и Мишеру, и даже Штааль. Сэр Вильям, сияя счастливой улыбкой, поспешно, чуть переваливаясь, подошел к кардиналу, остановился (тотчас, сбившись, неловко остановились все), дружески поздоровался и по-французски негромко обменялся с Руффо несколькими фразами. Затем представил ему капитана, познакомился с лицами кардинальской свиты и приветливо предложил им пройти с капитаном в салон, добавив вскользь с любезной улыбкой, что обязанности переводчика он берет на себя. Мишеру, рассчитывавший принять участие в важной беседе, ответил, затаив обиду, легким поклоном и сделал вид, будто очень рад тому, что ему можно будет не присутствовать при разговоре кардинала с лордом Нельсоном. Руффо и Гамильтон пошли несколько впереди по направлению к широкой лестнице, спускавшейся вниз недалеко от грот-мачты. Вдруг наверху этой лестницы, быстро шагая через две ступеньки, появился невысокий бледный офицер с зеленым козырьком на лбу под копной густых пудреных волос. Правый пустой рукав офицера был привязан шнуром к пуговице, пришитой к груди рядом с большой блестящей звездою. По неуловимому изменению в капитане и в других англичанах Штааль, хоть и не различал английских мундиров, еще не вглядевшись, догадался, что это лорд Нельсон. «Да он калека несчастный!» — подумал Штааль, только теперь вспом-

нив, что знаменитый адмирал был тяжко изувечен в сражениях. Козырек, очевидно, предохранял от света его больные глаза. Нельсон быстро окинул палубу тяжелым взглядом, сделал несколько шагов вперед и неловко поклонился. Кардинал протянул обе руки. Гамильтон с полупоклоном отступил в сторону, на секунду задумался, кого кому представить, и представил лорда Нельсона: он знал, что адмирал в требованиях этикета ничего не смыслит и не обратит внимания, а Руффо, в связи с предстоявшим неприятным разговором, не мешало оказать лишний почет. Нельсон неловко пожал левой рукой руку кардинала и чуть поклонился другим в ответ на их почтительные поклоны. Штааль жадно всматривался в адмирала, стараясь все запомнить. Но потом, к своему удивлению, он ясно помнил мундир с восьмиугольной звездой, открытый снизу, над лосинами, длинный жилет, узкие эполеты с широкими падающими кистями, зеленый козырек, всего больше пустой сложенный рукав, привязанный к пуговице на груди. Из лица же Нельсона в памяти Штааля остался лишь тяжелый угрюмый взгляд.

Адмирал, Руффо и Гамильтон скрылись на лестнице. Других гостей капитан незаметно задержал немного на палубе, а затем учтиво пригласил следовать за ним, попросив извинения в том, что пойдет впереди. По той же лестнице все спустились на третью палубу в кают-компанию, где был приготовлен чай.

После неаполитанской грязи, бедности, пыли все на этом великолепном корабле невольно останавливало внимание Штааля. От блестящих, без единого пятнышка пушек до белоснежной тяжелой скатерти на столе в кают-компании все было самое прочное, дорогое и лучшее: это была Англия. И находившиеся в кают-компании офицеры в изумительно сидевших мундирах без пушинки тоже были самые прочные, дорогие и лучшие. Штааль смотрел на них с завистью и уважением. У него как назло на груди мундира слева заметно выделялось пятно. А большое зеркало кают-компании, против которого он прошел с неприятным чувством, отразило его слипшиеся волосы и красную полосу на лбу от фуражки.

Капитан усадил гостей за большой стол. Он пригласил их на чашку чаю, и действительно посредине стола сверкали серебряные сосуды и фарфоровые чашки. Но чая никто не пил. Два лакея в ослепительно белых костюмах разносили на натертых серебряных подносах небольшие бокалы с каким-то беловатым напитком. «Уж не молоко ли?» —

подумал с недоумением Штааль. Он взял бокал и при этом с досадой заметил, что суставы пальцев у него чуть темнеют: в Неаполе, за час, пыль забилась в складки кожи. Он подогнул пальцы и беспокойно оглянулся на соседа. Увидев, что сосед этот залпом опорожнил свой бокал, Штааль сделал то же самое и едва не задохнулся — так обжег ему горло и внутренности невинный с виду беловатый напиток. «Если они, разбойники, пьют крашеный спирт, так предупреждали бы хоть гостей!» — подумал Штааль, немного отдышавшись. Он закусил сладким печеньем и снова тревожно оглянулся на соседа, но тот, по-видимому, не заметил его слез.

Разговор за столом не очень клеился. Капитан вежливо занимал гостей, однако мог связывать только несложные французские фразы. Остальные офицеры, по-видимому, совсем не говорили, а только понимали по-французски и не вмешивались в разговор, но очень гостеприимно, больше жестами и междометьями, предлагали гостям портвейн, печенье, фрукты. Вел беседу речистый кавалер Мишеру. Он рассказывал чудеса об успехах оружия санфедистов, об их храбрости и великодушии к врагам. «Как он может врать так гладко — хоть бы запнулся?» — думал Штааль. Калабрийские офицеры, с своей стороны, робея, рассказали, смешивая французский и итальянский языки, каждый по одному чуду храбрости, больше, впрочем, для того, чтобы не молчать все время. Англичане слушали с учтивым недоверием. Их молчание неприятно действовало на Мишеру. Отсутствие реплик, переспросов, восклицаний удивления и восторга скоро его утомило: он не любил так разговаривать. Желая, из вежливости болтуна, дать поговорить и хозяевам, неаполитанский кавалер, в свою очередь, стал спрашивать об английской эскадре и об ее подвигах. Капитан отвечал чрезвычайно кратко и всякий раз думал несколько мгновений, прежде чем дать ответ. На вопрос Мишеру о дальнейших планах и намерениях доблестного лорда Нельсона капитан ответил: «Ничего не могу сказать»,— и по этой фразе осталось неясным, оттого ли он не может сказать, что не знает, или оттого, что говорить не хочет.

Молодой офицер, сосед Штааля, наклонился к нему с бутылкой портвейна и произнес вопросительное междометие. Штааль, до того все время молчавший, ответил по-английски, старательно выговорив что-то вроде «splendid port» [1] (трудное по произношению слово «port» далось ему

[1] «Превосходный портвейн» *(англ.)*.

хорошо, но он не был уверен, может ли «port» быть «splendid» или ему надлежит быть «fine» [1]). Как только молодой офицер услышал английский ответ, лицо его просветлело. Через минуту они дружески разговаривали; другие офицеры тоже ласково поглядывали на Штааля, иначе, чем на других сидевших за столом иностранцев. Когда *чай* кончился, Штааль оказался в центре группы молодых, очень милых, любезных, прекрасно воспитанных людей. Они не из вежливости, а с самым настоящим интересом задавали вопросы о Петербурге, о русской армии и флоте, всего больше о фельдмаршале Суворове, имя которого уже гремело в Европе. Офицеры спрашивали о наружности Суворова, о том, правда ли, будто он похож на милорда (Нельсон начинал гордиться этим сходством). Штааль, польщенный, подтвердил сходство — ему хотелось всем говорить приятные вещи. Затем беседа перешла на Неаполь, на возможные развлечения, на женщин. Все было чрезвычайно мило. Прекрасному настроению теперь очень способствовал и проглоченный залпом белый напиток. Штааль быстро становился англофилом и думал, что давно не был в таком хорошем обществе. На него подействовало своеобразное очарование англичан — сочетание красивой внешности и высокой светской культуры с детской душою. Штааль не все понимал из того, что слышал, и, когда не понимал, говорил уверенно: «Oh, I see» [2], зная, что по-английски это всегда можно сказать без всякого риска. Пробовал даже раз начать с «I say» [3], но как-то не вышло.

В самый разгар беседы в кают-компанию вошел новый офицер и, учтиво поклонившись, сказал несколько слов капитану, который тотчас встал.

— Мне очень жаль, господа,— сказал он.— Вас ждет...— он затруднился, очевидно, не зная, как назвать кардинала.— Вас ждут...

Гости тоже поднялись и, оживленно разговаривая, направились вверх по лестнице. Штааль шагал через две ступени (белый напиток особенно оживлял ноги) и чувствовал себя весьма свободно. «Значит, это мидельдек,— весело соображал он, продолжая играть в моряка.— А это опердек... А там будет квартердек... Мидельдек, опердек, квартердек»,— чуть не пропел он вдруг. На верхней, светлой, части лестницы разговоры замолкли. Сбоку вблизи послышался взволнованный женский голос. «Это еще отку-

[1] «Отличный», «первоклассный» *(англ.)*.
[2] «О, я понимаю» *(англ.)*.
[3] «Я скажу» *(англ.)*.

да?» — игриво спросил себя Штааль. На палубе, в нескольких шагах от лестницы, у самой грот-мачты стояла группа из четырех человек: Руффо, Нельсон, Гамильтон и красивая толстая дама, которую Штааль не успел разглядеть как следует. Общий вид группы сразу выбил из него веселье. Кардинал был чрезвычайно бледен — таким Штааль никогда его не видал. Лицо Руффо имело выражение решительное, почти угрожающее. Нельсон с опущенной головой напоминал бульдога, собирающегося оскалить зубы. Левой рукой он оттягивал вниз кисточку, висевшую на рукоятке шпаги. Сэр Вильям Гамильтон был также совсем не такой, как час назад: он размахивал руками, странно жмурился, старался улыбаться, но улыбка на багровом лице его не выходила, и вид у него был неуверенный, даже растерянный. Толстая дама чрезвычайно волновалась. Порывистыми движениями она хватала за руку то Гамильтона, то Нельсона. В ту минуту, когда общество кают-компании поднялось на палубу и остановилось (улыбки у всех сразу стерлись), леди Гамильтон с умоляюще-очаровательным видом дернулась к рукаву кардинала. Руффо холодно, брезгливо высвободил руку (дама сильно покраснела) и, повернувшись к Нельсону, сказал умышленно громко, так, что все слышали его слова:

— Mylord, ce que vous voulez faire est sans exemple dans l'histoire des peuples civilisés! [1]

Нельсон, едва ли понявший фразу кардинала, вопросительно взглянул исподлобья на посланника, который поднес левую руку к уху, осклабился и прищурил глаза, показывая жестом сожаления, что как раз пропустил эту фразу мимо ушей. Леди Гамильтон взвизгнула почти истерически. Нельсон поднял голову, сверкнул глазом и сказал, точно огрызнулся:

— An Admiral is no match in talking with a Cardinal...[2]

Гамильтон совсем зажмурил глаза, сладко улыбнулся и заговорил с необычайной быстротой, потрясая согнутыми ладонями впереди ушей. Жесты и выражение лица его показывали, что происходит забавное недоразумение, которое сейчас разъяснится, после чего все будут очень смеяться. Но Руффо, не дослушав его слов, сделал резкое движение и сказал с угрозой в голосе:

— Alors, c'est non bien? Il suffit...[3]

---

[1] Милорд, то, что вы хотите сделать, беспримерно в истории цивилизованных народов! *(франц.)*

[2] Адмиралы не состязаются в словопрениях с кардиналами. *(англ.)*

[3] Это нехорошо? Довольно... *(искаж. франц.)*.

Кардинал круто повернулся и, приказав движением головы свите следовать за ним, быстро пошел по направлению к трапу. Шел он как-то по-особенному — Штааль невольно подумал, что так может и должен ходить князь церкви, имеющей за собой полторы тысячи лет господства над миром. Посланник быстро открыл глаза, развел руками и, почти апоплексически багровея, нагнал кардинала-наместника. Леди Гамильтон, взвизгивая, бежала рядом с Руффо, нерешительно пытаясь схватить его за руку.

XV

По возвращении с английского судна Штааль был тотчас, к большому своему неудовольствию, послан за фуражом; после важных политических сцен, в которых он принимал участие с самыми высокопоставленными людьми, мелкое неинтересное дело показалось ему понижением по службе. Мысли его, однако, отвлеклись, и, только возвращаясь в Неаполь, он вспомнил о столкновении, произошедшем между Руффо и Нельсоном. «Интересно, чем же кончилось?» — подумал он. Ему, однако, в этот вечер не пришлось узнать, чем кончилось столкновение. Подъезжая к тому дому, где квартировали младшие офицеры русского отряда, он встретил двух товарищей, отправлявшихся в трактир, и, голодный, с охотой согласился к ним присоединиться. Штааль, умывшись с дороги, отдал краткий отчет в выполненном поручении; затем они втроем весело пообедали, выпили и решили вместе провести весь вечер. О политических делах за обедом не говорилось; оба офицера были *неразвитые*, и Штааль относился к ним поэтому немного свысока. Но ему было с ними веселее, чем с развитыми. Говорили молодые люди за обедом о своих успехах у женщин и о своих успехах вообще, отдаваясь той безудержной потребности в хвастовстве, которая иногда овладевает самыми скромными людьми.

Несмотря на панику, вызванную в Неаполе известием о предстоящем нарушении капитуляции, веселые места города работали еще лучше, чем в мирное время, благодаря множеству съехавшихся иностранных офицеров с деньгами — русских и англичан. Молодые люди всю ночь провели в темных кварталах Сан-Франческо, выясняя, действительно ли соответствует истине высокая репутация неаполитанских притонов. Под конец они пришли к выводу, что репутация соответствует истине и даже несколько отстает от нее. Правда, предлагали им большей частью не то, что их

интересовало. Юркие люди, безошибочно останавливавшие любознательных иностранцев на темных улицах, неизменно начинали с предложений особого рода, по старой неаполитанской традиции, идущей от времени Тиберия. Но, услышав смех иностранцев, соглашались, хоть не так охотно, показать и женщин: это, по принятым ценам, было им менее выгодно. Часа за два до рассвета русским любителям новых ощущений была наконец показана tarantella dell'imbrecciata. О ней они еще в походе много слышали от неаполитанских товарищей, которые многозначительно говорили, что перед началом этого танца владелец притона обязан повернуть к стенке изображение Мадонны. Tarantella dell'imbrecciata была действительно вещь невиданная, и даже Штааль, побывавший в Париже и поэтому окруженный особым ореолом среди молодых офицеров (хоть он там ничего такого не видал), не строя разочарованного лица, соглашался, что для одной тарантеллы стоило проделать поход.

— Увидеть Неаполь и умереть! — убежденно сказал один из молодых людей. Второй спутник Штааля дал свое толкование поговорке: фаталистически печально напомнил об одной болезни, которая в ту пору чаще всего называлась неаполитанской. Это напоминание очень не понравилось молодым людям. Они было и забыли о том, что болезнь, вероятно не без основания, называется именем города Неаполя.

— Какие пустяки! — сказал храбрясь Штааль.— Детская болезнь... Только тот заболевает, кто боится заболеть.

Но он не ободрил ни других, ни себя. Охоты кутить убавилось. К тому же было чрезвычайно поздно. Молодые люди вернулись домой гораздо менее веселые, чем с вечера.

После кутежа Штааль долго не мог заснуть. Почему-то ему вспомнилась его первая поездка в Италию, Настенька, о которой он давно перестал думать. Когда он получил назначение в армию, действующую против Партенопейской республики, ему тотчас, еще во дворце князя Безбородко, пришло в голову, что в Неаполе, быть может, до сих пор находится Баратаев. О нем в Петербурге не было никаких известий — он ни с кем не переписывался. «Что, ежели я с ним встречусь?» — подумал тогда Штааль. Эта мысль и потом на море, в эскадре Ушакова, и особенно во время похода по неаполитанским землям, довольно часто его занимала: воображение рисовало ему самые различные возможности реванша и посрамления Баратаева. О встрече с На-

стенькой он тоже иногда думал, но бегло-тоскливо и неохотно. Теперь, едва ли не впервые за последний год, Настенька, их любовь вспомнились ему вполне отчетливо. В этом тяжелом воспоминании было и что-то приятное: вернее, приятно было то, что он, с его опытом жизни, в бессонную ночь, после кутежа, вспоминает о давней чистой любви... Штааль ворочался в постели и думал, что бессонница особенно мучительна в предрассветные часы. От Настеньки мысли его перешли к другому, вспомнился Париж, революция, Пьер Ламор, *Средний Ермитаж*, государыня, училище... Где это? Все вспоминалось в цвете мрачном, почти во всем были минуты постыдные — от некоторых воспоминаний он дергался болезненно и теперь. «Верно, у всякого человека есть, должны быть такие воспоминания»,— утешал себя Штааль. Он думал быстро, беспорядочно, как думают поздно ночью в состоянии нервного возбуждения; изредка что-то со стороны врывалось и кололо Штааля в сердце: он тревожно собирал мысли — это что-то была неаполитанская болезнь... Заснул он незаметно, на самых тяжелых мыслях, которые, как ему казалось, должны были совершенно прогнать сон. Уже было совсем светло. За окном начиналась жизнь, слышны были голоса и лай собак. Штааль спал очень долго, сном утомительно тяжелым, с неясными видениями, где смешивались сцены похода, tarantella dell'imbrecciata, Лопухина, Настенька, переходившие одна в другую, язвы, кровавые струпья и дом умалишенных. Он несколько раз почти просыпался и даже думал, что проснулся совсем, мучительно пытался собрать тяжелые, неясные мысли, но они тотчас заматывались в бессмысленный клубок. Было уже очень поздно, когда Штааль, от толчков в плечо, растерянно раскрыл глаза и рот. На постели его кто-то сидел — новый, кого не было в ночных видениях,— и говорил что-то другое, бывшее давно, гораздо раньше всего являвшегося во сне... Через секунду клубок размотался, и оказалось, что язв и дома умалишенных нет (Штааль испытал невыразимое счастье), что все остальное вздор и что на постели сидит поручик Александер.

Поручик этот, со странной, несерьезной фамилией, которая причиняла ему много огорчений, особенно отличился в походе, упоминался с большой похвалой в донесениях адмиралу Ушакову, был поэтому очень счастлив и вел себя примерно. Первый из *развитых* в отряде, он очень интересовался политической стороной похода. Теперь, предполагая, что Штааль проснулся, Александер говорил о неаполитанских событиях. Штааль сделал над собой усилие, сел,

крепко сжал ладонями виски и щеки, широко раскрыв рот с глубоким горловым звуком, бессмысленным взглядом уставился на Александера, совсем пришел в себя и тотчас вспомнил все то, что было до поездки за фуражом. «Ну да, конечно, Нельсон отказался утвердить капитуляцию...»

— Так говори же, наконец, какие новости! — сказал он нетерпеливо, точно долго добивался встречи с Александером и насилу его разыскал.

Новости были важные. Кардинал-наместник после своего бурного разговора с Нельсоном пригласил в ставку на совещание капитана Белле, Мишеру и турецкого командира Ахмета. Руффо объявил, что английский адмирал не соглашается признать заключенную ими капитуляцию и требует безусловной сдачи республиканцев на милость победителя. Кардинал был, по словам Александера, слышавшего это от Белле, в чрезвычайном гневе, и гнев его всем передался. Возмущение было единодушное. Нельсону тотчас отправили общий протест, составленный в самых решительных выражениях.

— Ты понимаешь? — взволнованно говорил Штаалю Александер.— Ведь и кардинал-наместник, и капитан, и мы все были бы, можно сказать, обесчещены. Люди нам сдались, веря обещанию, данному именем союзных монархов. А мы их после того на виселицу!.. Сам небось понимаешь, какая у них милость победителя?

— Ну да, конечно. Какое безобразие! — сказал Штааль, заражаясь его возмущением (он только теперь ясно понял, что означало несогласие английского адмирала на капитуляцию).— И что же Нельсон?

— Уперся на своем, старая собака: «Монарх не может, мол, входить в соглашение с бунтовщиками. Безусловная сдача — и никаких...» Ан нет, видишь ли, нашла коса на камень! Кардинал-наместник не только человек благородный, но и умница, каких на свете мало. Он потерял терпение и послал сказать Нельсону вот что: «Ежели ты, такой-сякой, не желаешь признать капитуляции, так, изволь, бери замки собственными силами. А я себя обесчестить не дам: русские войска той же час очистят подступы к замкам и отдадут республиканцам прежние позиции, и оружие, кто сдал, вернем». Понимаешь, голубчик? — вставил взволнованно Александер, так, что нельзя было заключить из его рассказа, он ли все это говорил Штаалю или с подобными словами Руффо обращался к Нельсону.— Пусть-ка англичане попробуют взять замки без нас: ни одного солдата, ни одной пуш-

ки мы им, разумеется, не дадим — неутралитет совершенный, мы пальцем о палец для этого живодера не ударим.

— Да неужто Руффо так ответил? — воскликнул Штааль с восторженным изумлением.

— Этими самыми словами. Мало того, нынче на рассвете нашим войскам вправду было велено очистить подступы к замкам...

— Да быть не может?

— Я тебе говорю... Вот когда Нельсон увидел, что кардинал не дурак и что мы не шутим, он поджал хвост и пошел на попятный. Положение его, понимаешь ли, было безвыходное. Как же он с моря возьмет замки? Да и в оттяжку дела нельзя пускать: ведь не сегодня завтра, того и гляди, может появиться французский флот. Ан нынче утром («какой же теперь час?» — подумал с недоумением Штааль, оглядываясь на окно) пришло от англичан новое письмо к кардиналу: будь, мол, по-вашему, на все ваши действия мы согласны и пусть проклятые мятежники садятся на транспорты,— черт с ними! Одним словом, полная наша виктория! Молодец кардинал! И умница, и благородная душа: спас жизнь тысяче людей. Им в замки, понятно, обо всем сообщили.

— А что, если Нельсон их схватит, как они сядут на транспорты? — спросил Штааль.— Ведь на море он полный хозяин, что мы там с ним сделаем?

— Помилуй! — сказал удивленно Александер.— Да это последним человеком надо быть, чтобы после письма учинить такую гнусность. Нельсон как-никак английский офицер и знаменитый моряк.

— Да, конечно,— поспешил согласиться Штааль, вспоминая кают-компанию «Foudroyant'a».— Я глупость сморозил.

— Тебе простительно, да еще после вчерашнего... Слышал я, брат,— заметил весело поручик, хлопая его по лбу.— Но, представь, сам кардинал в первую минуту, получив письмо Нельсона, сгоряча ляпнул то же самое, что ты,— я от капитана знаю... Пустяки, конечно. Одним словом,— он посмотрел на часы,— как наступит вечер, республиканцы выйдут из замка, кто на транспорты для отъезда во Францию, кто в город. Безопасность гарантирована, но для пущей верности кардинал рекомендовал осажденным выйти, когда стемнеет и лазороны разойдутся. Наш отряд отдаст воинские почести. Вот я за тобой и пришел, идем почести отдавать... В замке хорошеньких женщин пропасть. Это по твоей части,— добавил он весело, признавая та-

кой раздел: ему — государственные дела, Штаалю — кутежи.

Штааль опять неприятно вспомнил о неаполитанской болезни. Он поспешно оделся и вместе с Александером вышел на улицу.

В замке у арки Альфонса Арагонского, среди тележек, узлов и чемоданов, толпились республиканцы в ожидании жуткой минуты выхода. Наступали сумерки.

Пьер Ламор не без труда разыскал Баратаева, который угрюмо сидел на небольшом сундучке.

— Ну, прощайте, сейчас выходить,— сказал Ламор.— Я выхожу позже и чувствую себя способным обойтись без воинских почестей. Вот видите, я был прав, предложив вам удалиться с нами в замок. Мало ли что могло с вами случиться при взятии города! А отсюда вы сейчас благополучно перейдете в штаб русского отряда, под его защитой проедете на север к Суворову и через месяц можете быть в Петербурге, у вашего милого мальтийского гроссмейстера,— вы знаете, я обожаю императора Павла. Люблю вино без примеси воды и идеи в чистом виде: люблю революционеров, как Анахарсис Клотц, и монархов, как император Павел... А то, если хотите, поедем вместе во Францию? Нигде в мире вы не найдете таких библиотек, как в Париже, и, заметьте, вам будет очень удобно работать: они в настоящее время совершенно пусты. Кто теперь, кроме вас, способен заниматься наукой?.. Что же ваша милая дама? — спросил он с усмешкой.— Еще не готова?

— Сейчас выйдет,— сухо ответил Баратаев.— А ваши предсказания не оправдались? Нельсон признал в конце концов капитуляцию.

— Я очень рад, что ошибся. Это со мной уже случалось... Вся моя жизнь — ошибка, правда, в другом смысле. И ваша, разумеется, тоже. В сущности, республиканцы чудом избежали смерти... Если хотите, психологическим чудом: кардинал Руффо так долго — всю жизнь — прикидывался порядочным человеком, что привычка стала, по-видимому, его природой. Это бывает. Я знавал, например, людей, которые, как мне казалось, чрезвычайно искусно притворялись дурачками. А теперь думаю, что это могло быть у них совершенно натурально.

— По чувству собственного достоинства,— сказал, подумав с минуту, Баратаев,— я не стал бы оплевывать свое прошлое. Из уважения к самому себе...

— Собственное достоинство... Уважение к самому себе... Уверены ли вы, что эти чувства могут быть свойственны людям, которые хоть себя не хотят обманывать?

Баратаев безнадежно махнул рукою.

— Вот, кажется, идет ваша дама,— сказал подчеркнуто, с той же усмешкой, Пьер Ламор.

В глазах Баратаева что-то мелькнуло. Он оглянулся. Настенька, сильно изменившаяся, бледная и измученная, быстро, чуть согнув голову, подходила к ним, подкатывая легкую тележку с двумя чемоданами. Баратаев сказал поспешно:

— Ну, а вы что намерены делать? Останетесь в Италии?

— Едва ли. Нам теперь здесь ничто не сулит добра. Мне, собственно, нечем заниматься до возвращения в Европу одного человечка... Буду, верно, сидеть без дела в Париже — уж очень люблю этот город.

— Вы, кажется, родились в Париже?

— Да, в Cité... Ну, прощайте. Я рад, что неожиданно, после долгих лет, встретился с вами в Otiosa Neapolis[1]... Не сержусь на вас и за ваши откровенные слова... Лучшая школа смирения для каждого из нас — это знать то, что о нем за спиною говорят его ближайшие друзья... А мы с вами и не в дружбе... Прощайте. Salute e fratellanza!..[2] Если буду жив, может быть, приеду к вам в Россию после заключения мира, как вы зовете,— сказал он шутливым тоном.— Очень я надеюсь на вашу страну.

— Мой дом будет к вашим услугам... Ну, слава Богу, выходят...

Они равнодушно пожали друг другу руки, в уверенности, что никогда больше не увидятся. В толпе произошло движение. Ворота открылись. Пьер Ламор вежливо поклонился Настеньке. Баратаев сделал ей знак, взвалил свой сундук на тележку и присоединился к толпе людей, которые поспешно, обгоняя друг друга, выходили из замка. Перед аркой он оглянулся на Ламора. Тот смотрел ему вслед. Оба тотчас отвернулись. Где-то вдали вдруг загремел барабан. Несколько женщин в ужасе вскрикнули. Их тотчас успокоили нервные голоса мужчин.

Белый рог, высоко повисший на небе, еще не давал света. Под надвигавшимся на луну черным облаком пробивался рыжеватый свет дня. Огоньки фонарей у арки Аль-

---

[1] Праздном Неаполе *(лат.)*.

[2] Привет и братство *(итал.)*.

фонса Арагонского становились все ярче — быстро наступала темнота. Семьи республиканцев шли, с тележками, с чемоданами, с коробками, неровной, неловкой вереницей, мужчины по краям, женщины и дети посредине. Выходившие с испугом и тоской вглядывались в редкий ряд солдат, стоявших с ружьями у ноги по сторонам улицы. Узнав русские мундиры (их уже все знали), мужчины успокоительно кивали женам — под грохот барабана ничего нельзя было сказать. Штааль со своим взводом недалеко от арки усиленно салютовал сдавшимся. Баратаев и Настенька прошли в толпе в пяти шагах от него. Он их не видел.

XVI

Когда в Неаполе стало известно, что спор Нельсона с Руффо кончился победой кардинала и что республиканцы перешли из замков на транспорты для отъезда во Францию, настроение у победителей изменилось. Прежде над всем у людей умеренных преобладало желание положить предел бойне и зажить наконец спокойной жизнью. Теперь и умеренные люди почувствовали некоторое разочарование: было досадно, что мятежники (так их все теперь называли) спокойно отправятся в чужую страну, в самый лучший город мира, и там заживут привольной жизнью после всего того, что они сделали (говорили именно так, не указывая, что именно сделали мятежники). Для русских офицеров республиканцы были противниками не в гражданской, а в обыкновенной войне, шедшей на чужой территории. Ненависти к ним русские испытывать не могли, и самая мысль о казни военнопленных показалась бы им дикой. Но все же и их немного захватило общее раздражение против мятежников, уезжавших из разоренной страны на привольное житье во Францию — после всего, что они сделали. Поэтому события, случившиеся вслед за посадкой республиканцев на транспорты, вызвали в русском штабе меньше негодования, чем можно было бы предположить.

Случилось же именно то, что смутно предвидел в первую минуту кардинал Руффо. Вскоре после выхода республиканцев из замков и посадки их на суда транспорты были захвачены английской эскадрой, находившиеся на них люди по приказу адмирала Нельсона объявлены арестованными и преданы суду. В городе пробежал слух, что английский адмирал утром получил из Палермо особые полномочия от короля Обеих Сицилий. После этого известия негодование против англичан еще ослабело. Та небольшая часть неапо-

литанского общества, которая осталась верной королю или, по крайней мере, теперь так утверждала, шумно одобряла действия Нельсона и — несколько тише — порицала кардинала Руффо (сразу все почувствовали, что о нем теперь можно говорить иначе, чем прежде). Многие намекали, будто наместник находится под влиянием скрытых якобинцев. Некоторые шли еще дальше и сообщали таинственно, что кардинал желает свергнуть династию Бурбонов и посадить на неаполитанский престол свой род Руффо-Баньяра.

Штааль первоначально был поражен новостями. Возмущение его чуть-чуть смягчалось тем, что он с самого начала все предсказал *как по писаному* (поручик Александер должен был признать обнаруженную им проницательность). Однако рассказы об особых полномочиях Нельсону со стороны Фердинанда IV немного поколебали и Штааля, как всех русских офицеров. Действие короля нельзя было называть вероломством. Король был король. Эту мысль: король есть король — офицеры повторяли убежденно, с детства зная, что во всем дурном бывают виновны приближенные, а сам монарх никогда ни в чем не виноват. Тем не менее ясности в настроениях больше ни у кого не было. Штааль отправился в ставку Руффо: только там можно было выяснить достоверно, что, собственно, случилось и как к случившемуся надо относиться.

В ставке кардинала настроение было оживленно-злобное и вместе растерянное. Людей в доме Руффо было в этот день гораздо меньше, чем обычно. В приемной Штааль увидел аббата Спарциани, второго секретаря, и еще несколько человек. Другие люди входили, шептались между собой и, узнав о полномочиях, данных королем Нельсону, незаметно выскальзывали из виллы. Оставшимся приближенные особенно крепко пожимали руку. Кардинал заперся в своем кабинете, и к нему никого не пускали. Но люди его свиты, не стесняясь, говорили о неслыханном вероломстве, совершенном лордом Нельсоном (имена короля и королевы не произносились). Секретарь наместника с лицом, искривленным злобою, показывал посетителям, не выпуская бумаги из своих рук, письмо Вильяма Гамильтона кардиналу, неоспоримо устанавливавшее вероломство британского командования. Тут же Штааль узнал, что адмирал Караччиоло, один из главных деятелей Неаполитанской республики, пойманный англичанами и преданный утром военному суду, приговорен к смертной казни и будет повешен на мачте судна «Минерва» в пять часов дня (Штааль невольно взглянул на часы). Аббат Спарциани, сообщивший это из-

вестие, не утерпел и сказал громко, что Караччиоло хоть и мятежник, но человек, известный всему королевству, заслуженный воин, член древнейшей герцогской семьи Неаполя, и казнь его, по требованию Эммы-Лионны, которая не могла прежде добиться приема в его доме, по приказу иностранца, который... Секретарь, видно, хотел выразиться очень сильно, но сдержался и оборвал речь. Штааль узнал, что, по получении известия о захвате транспортов и о приговоре военного суда, кардинал-наместник отправил два письма. В одном, посланном на «Foudroyant», он в последний раз призывал лорда Нельсона не позорить мундир британского офицера. Второе письмо было адресовано в Палермо и заключало в себе прошение об отставке кардинала-наместника.

Штааль вышел из опустевшей мрачной виллы и пошел пешком по набережной. На улицах настроение было совершенно иное, и чем ближе он подходил к Castel Nuovo, тем перемена сказывалась сильнее. Неаполь, залитый июньским солнцем, ликовал. Лаццароны принарядились, и все, точно по форме, щеголяли на полуголом теле серебряными пряжками, главной гордостью их наряда в праздничные дни. Народ валил к замкам, над которыми уже развевался королевский флаг. У ворот стояли английские часовые. Это несколько задело Штааля. «Мы взяли Неаполь, а они распоряжаются!» — подумал он сердито. Кофейни на набережных были внутри совершенно пусты, но на террасах залиты публикой. Английская эскадра стояла гораздо ближе, чем в тот день, когда ее посетил Штааль. Он тотчас разыскал глазами «Foudroyant». Но общее внимание теперь занимал не адмиральский корабль, а неаполитанский фрегат «Минерва», стоявший от него сбоку, саженях в двадцати. Море между набережной и британской эскадрой было усеяно лодками. С них слышалась веселая музыка. Это население приветствовало лорда Нельсона. Лодки на пристани брались с бою, несмотря на необычайно высокие цены. Лодочники и музыканты объясняли торговавшимся, что подвезут к самому фрегату «Минерва», на котором назначена казнь изменника. На мгновение Штааль задумался, не взять ли лодку. Но и денег у него было после кутежа немного, и стыдно ему показалось. Он, однако, заметил, что совершенное Нельсоном вероломство и предстоящее повешение военнопленного трогают его не так уж сильно. Штааль вспомнил казнь жирондистов, при которой присутство-

вал несколько лет тому назад, и не находил в себе даже следов испытанного тогда волнения и ужаса. Он подумал, что чувствительность его первой молодости прошла безвозвратно, что он огрубел после террора, после войны, особенно после последних кровавых дней похода. Мысль эта была ему почти приятна: приятно было, что он стал *железным*. «Тогда казнили революционеры, теперь казнят контрреволюционеры, не все ли равно? Всегда одни будут казнить других, и все сто́ят друг друга... Прав был старик Ламор... Вывернулся ли он тогда? Верно, давно умер»,— думал Штааль.

За одним из столиков кофейни на набережной освободилось место: кавалер нанял лодку и уводил свою даму. Штааль быстро пробежал несколько сажень, отделявших его от кофейни, и успел занять место, к неудовольствию лакея, который предпочел бы сдать стол не одному человеку, а нескольким. Лакей что-то говорил недовольным тоном, но Штааль не слушал, зная, что все равно невозможно понять неаполитанскую речь, с «v» вместо «b», с «ch» вместо «p», с «z» вместо «l». Он успокоил лакея, заказав целую бутылку «Lacrima Christi», и наклонил второй стул спинкой на столик, на случай, если на набережной покажется кто-либо из товарищей. Одному было скучновато ждать. Но как назло никто не показывался. С террасы кофейни был виден ясно фрегат «Минерва», со всех сторон облепленный барками с музыкой. Штааль навел на него полевую трубу, которую носил при мундире. В трубу он прекрасно различал на фрегате людей. Лица, однако, не были видны. «Верно, на грот-мачте...» — подумал он, вздрогнул и снизу вверх осмотрел всю грот-мачту с ее сложной системой брусьев и канатов. Он поспешно отвернулся. За соседним столом две дамы без кавалера, одна пожилая, другая помоложе, с завистью взглянули на его трубу. Молодая ему улыбнулась — он ответил холодным взглядом: дама была нехороша собой. Она тотчас со смехом заговорила с пожилой дамой.

«Те на площади Революции тоже приходили на казнь, как в театр,— подумал Штааль с отвращением, вспомнив Маргариту Кольб. Но тотчас ему пришло в голову, что теперь он не имеет права возмущаться зрительницами казни.— Ведь и я здесь по доброй охоте сижу для того же самого...»

Он взглянул на часы (было без двадцати минут пять) и постарался представить себе адмирала Караччиоло, который теперь, вероятно в цепях, где-нибудь в трюме, ждет

приближающейся казни. На мгновенье Штааль почувствовал ужас. Но вид бесчисленной толпы, музыка, доносившаяся с моря и откуда-то сбоку, тотчас рассеяли это чувство. К тому же он никогда не видал Караччиоло, и потому ему трудно было себе представить образ несчастного адмирала. А главное, расстояние от набережной до «Минервы» было все же слишком велико: если б казнь происходила в нескольких саженях от кофейни, впечатление было бы неизмеримо сильнее.

«Может быть, он и хороший человек, да *мне* какое дело? — думал Штааль, впервые так ясно чувствуя стену между своим внутренним миром, где все было бесконечно важно, и остальным человечеством, где, в сущности, ничего очень важного не было и быть не могло. — Пусть они вешают кого угодно, пусть все перевешают друг друга, мне совершенно все равно. Я предпочел бы, конечно, чтоб Караччиоло не казнили. Но его казнь не мешает мне сейчас пить с удовольствием «Lacrima Christi» (названье какое!)... А потом мы с Александером за обедом будем опять возмущаться и негодовать, хоть Александеру тоже совершенно все одно...»

Толпа становилась все нервнее. Люди вставали и вглядывались во фрегат «Минерва», хоть стоя они не могли лучше видеть, чем сидя. Очень молодой английский офицер с растерянным лицом быстро прошел мимо кофейни. «Вот и я *тогда* был такой же», — с удовольствием подумал Штааль. Дамы рядом с ним нервничали: молодая то взвизгивала, то смотрела на часы, то закрывала лицо руками, хотя ничего страшного пока не было. Почему-то опять Штааля кольнула в сердце мысль о болезни. Но он не успел об этом подумать. Вдруг рев пронесся по набережной. На террасе все повскакали с мест, кто-то вскочил на стул, и тотчас почти все, хватаясь друг за друга, сделали то же самое. Штааль и за ревом толпы услышал звон разбивающегося рядом стакана. Он увидел лакея, остановившегося у двери, с подносом в руках, в странной позе, с открытым ртом. Стул под Штаалем пошатнулся, он чуть не упал. Сердце у него сильно застучало. Закрепившись кое-как на стуле, он торопливо навел дрожащими руками трубу на «Минерву» и в первую минуту ничего не увидел, потому что смотрел на грот-мачту. Штааль опустил трубу, задыхаясь, прошел глазами по фрегату и увидел простым глазом ряды матросов и какое-то движение на передней части судна. Он поспешно навел трубу снова. По палубе несколько человек в белом быстро вело странно шедшую фигуру.

Музыка и вой на набережной оборвались на одно мгновенье. Группа белых людей подошла к фок-мачте. Что-то там делалось одну секунду. Кто-то с соседнего стула схватил Штааля за кисть руки, крепко вцепившись пальцами и умоляя дать трубу. Штааль схватил трубу левой рукой и грубо рванул вниз правую. При этом он потерял равновесие на узком шатавшемся стуле, соскочил и снова вскочил... Раздался гул пушечного выстрела. Кукла быстро, вздрагивая и болтая ногами, как фигура паяца, неровно, толчками поднималась кверху, вдоль фок-мачты. Несколько человек матросов внизу, странно откинувшись назад к земле, тащили вниз, перебирая руками, веревку, очевидно перекинутую наподобие блока. Кукла, криво вздрагивая, поднималась все выше... Вдруг она замерла на огромной высоте. Кто-то ахнул рядом со Штаалем. Снова раздался вой. Послышался долгий гром рукоплесканий, заглушивший звуки музыки.

XVII

Казни захваченных в замках революционеров начались в июле месяце. Из приличия их судили: в восемнадцатом веке и революция, и контрреволюция не решались нарушать это приличие. Для суда над мятежниками была создана, из отпетых людей, особая коллегия, называвшаяся Государственной Юнтой. Заключенные в тюрьмах предпочитали ее суду немедленную казнь, так как при следствии применялись пытки. Государственная Юнта работала очень быстро. Были установлены два разряда осужденных: одним рубили голову, других вешали. Казни производились публично на Рыночной площади. Народ стекался в большом количестве в те дни, когда осужденных вешали. Говорили, что техника этой казни сделала в ту пору значительные успехи. Главный неаполитанский палач Донато, прежде получавший по шести дукатов с казни, был переведен для экономии на месячное жалованье. Палач сердился, но спорить не мог, так как было много желающих занять его должность, даже без всякой платы. При повешениях Донато помогали так называемые tirapiedi: после того как табурет выбивался из-под ног осужденного, tirapiedi с лестницы прыгали ему на плечи или, ухвативши его за ноги, повисали с ним в воздухе. Этот прием неизменно имел огромный успех на Рыночной площади. Повторялась шутка мастера Донато о том, что не каждый день простой человек, бедный палач, имеет случай ездить верхом на важных персо-

нах. Очень забавляла толпу и насмешка природы над повешенными.

Казни обыкновенно производились в полдень. Затем эшафот убирался и после завтрака на Рыночной площади устраивалась правительством для народа игра в лото. Иногда лаццароны разрезывали на части висевшие тела казненных, варили их и тут же съедали, что, по распространенному среди них слуху, приносило счастье. Это было запрещено правительством, но власти относились снисходительно к действиям лаццаронов, как и ко всем убийствам, насилиям и зверствам, которые производила чернь над революционерами, ускользнувшими от суда Юнты. Разыскивали этих революционеров по физическому признаку: лаццароны утверждали, что у всех республиканцев на коже есть изображение дерева свободы. На улицах хватали подозрительных людей, особенно женщин, раздевали их и обыкновенно находили изображение дерева свободы на коже захваченных.

В первых числах июля король Фердинанд выехал из Палермо в Неаполь и был восторженно встречен населением столицы. Слушая доклады о работе Государственной Юнты, король, как и докладчики, делал из приличия грустное лицо. На самом деле быстрое искоренение врагов престола наполняло его душу радостью. Как все правители в мире, он говорил, что власть держится не казнями, а моральным авторитетом, и, как почти все правители, в душе не сомневался в спасительном действии казней. Отравляло его радость только то, что некоторые из революционеров все же скрылись; да и у казненных оставались родные и близкие люди, которым терять было нечего (истребление родных и близких тоже запрещалось приличием). Тревога не покидала короля Фердинанда. Он уступил настойчивым просьбам друзей, оберегавших его жизнь, и, ни разу не съехав на берег, поселился на «Foudroyant'е», на котором был тотчас поднят королевский флаг.

По случаю приезда короля Обеих Сицилий на адмиральском судне и в городе шли пышные праздники. Союзники были в чрезвычайном почете и у народа, и у новых властей. Английские и русские офицеры встречались овациями; но и те, и другие принимали их холодно и в своем обществе говорили с отвращением обо всем происходившем в Неаполе. Даже простые русские солдаты павловского времени, хорошо понимавшие отходчивое зверство, с испугом и с недоумением отшатывались от того, что делалось на Рыночной площади.

Очень сильно было недовольство среди офицеров британской эскадры. Роль лорда Нельсона в истории с замками, в казни герцога Караччиоло, в выдаче республиканцев Государственной Юнте вызывала глухое раздражение. Защитники адмирала нерешительно указывали, что, *собственно*, кардинал Руффо неправильно истолковал уступку, сделанную ему Нельсоном: милорд обещал не препятствовать посадке республиканцев *на транспорты* — и это обещание он исполнил; о свободном же уходе транспортов во Францию им, *собственно*, ничего не было сказано. Довод этот вызывал у одних офицеров смех, у большинства — резкие протесты: как все дело, он был противен личной честности англичан, их понятиям джентльменства, тому чувству fair play [1], за нарушение которого в английской школе бьют товарищи и наказывает начальство. Были у Нельсона и другие защитники, говорившие, что он просто исполнял предписание короля Обеих Сицилий или, точнее, королевы Марии-Каролины, переданное через леди Гамильтон. Но в ответ на это не менее резко указывали, что британский адмирал не только не был обязан, но не имел права исполнять противные воинской чести приказания чужого монарха. Все проклинали любовницу лорда Нельсона и сокрушались, что победитель при Абукире покрыл себя бесчестием ради уличной женщины. О роли сэра Вильяма говорили в эскадре с совершенным презрением — у него не было ни тяжких ран, ни боевых заслуг адмирала. Вскоре стало известно о неудовольствии адмирала лорда Кейта, непосредственного начальника Нельсона. Позже из Англии пришел слух, что Фокс намерен в парламенте внести запрос правительству о вероломстве и о зверствах в Неаполе и будет требовать предания суду адмирала, опозорившего английское оружие. В эскадре Нельсона сыновья тори численно преобладали над сыновьями вигов (самим офицерам не полагалось принадлежать к политическим партиям, но партийная принадлежность отцов определяла обычно их взгляды). Тем не менее на этот раз, несмотря на ироническое и недоброжелательное отношение к штатским политическим деятелям, присущее всем военным на свете, слухи о намерениях вождя оппозиции встречали тайное сочувствие у самых консервативных офицеров. Офицеры эскадры Нельсона ненавидели революцию. Но они иначе себе представляли то, ради чего проливали кровь: контрреволюция, для которой они ежедневно рисковали жизнью вот уже несколько лет, теперь

[1] Честной игры *(англ.)*.

делалась на Рыночной площади и вызывала тяжелое недоумение в умах англичан. Независимо от своих взглядов все британские офицеры были особенно рады тому, что у них в Англии есть печать, говорящая правду, суд вместо Государственной Юнты, всемогущий парламент, в парламенте независимая оппозиция и во главе оппозиции знаменитый Фокс.

XVIII

На «Foudroyant'е» король Обеих Силиций старался жить так, как жил если не в своем неаполитанском дворце до революции, то в Палермо, во дворце Колли, после бегства из Неаполя. В адмиральском помещении, уступленном Фердинанду IV лордом Нельсоном, ежедневно происходили совещания правительства, аудиенции, приемы и вообще все то, чем обычно заполняют свое время монархи. Над «Foudroyant'ом» развевался королевский флаг, и сэр Вильям Гамильтон с самой сладкой улыбкой часто повторял: «le roi est chez lui partout où il se trouve» [1]. Но все-таки трудно было представить адмиральский корабль английской эскадры частью неаполитанской территории: король находился, очевидно, в гостях, и хозяева делали все возможное для того, чтобы он хорошо себя у них чувствовал. Хозяевами вместе с Нельсоном признавались и Гамильтоны. Вернее, единственной и полной хозяйкой корабля, ставшего дворцом, была леди Эмма. Тон обожания очаровательного ребенка теперь поддерживал сам король. Он поступал так почти инстинктивно, чувствуя, что так поступать нужно. Это далось ему, однако, не без усилия.

Король прибыл в Неаполь без королевы, которая в наказание была оставлена в Палермо: Фердинанду IV очень не понравилось то, что в пору революции республиканские листки сообщили о роде жизни, о привычках Марии-Каролины и об ее отношениях к леди Эмме Гамильтон. Листки, конечно, не заслуживали доверия. Но некоторые из сообщенных ими сведений навели короля на неприятные мысли. Между ним и его женой произошел бурный разговор. Марии-Каролине, к великому ее горю, было приказано оставаться в Палермо; к тому же в популярности иностранки-королевы у неаполитанского населения советники Фердинанда сильно сомневались. Король отбыл в Неаполь один, очень довольный тем, что раз в жизни указал своей жене ее настоящее место. Но хотя леди Эмма была главной при-

---

[1] «Король у себя везде, где бы он ни был» *(франц.)*.

чиной его раздражения против Марии-Каролины и внушала ему, после революционных листков, отвращение, смешанное с игривым любопытством,— все же с женой английского посланника, любовницей лорда Нельсона, очевидно, нельзя было обойтись грубо, да еще в таких обстоятельствах. Король это понимал и старательно подделывался под тон обожания леди Эммы. На адмиральском судне леди Гамильтон была настоящей королевой, к большому счастью и гордости лорда Нельсона. Она сама тоже была очень счастлива, как ни огорчало ее оставление в Палермо Марии-Каролины. Они обменивались длинными, нежными, трогательными письмами.

Гамильтоны по той же причине, что и король, не съезжали на берег с «Foudroyant а». Не ездил в город и Нельсон, хоть он не боялся покушения (он вообще ничего не боялся). Гости немного скучали, и все росло в них неопределенное беспокойство, которое испытывают люди на неподвижном корабле. Фердинанду было скучно без охоты и ночных притонов; леди Эмме — без королевы, сэру Вильяму — без его коллекций. Только Нельсон, оставаясь наедине с леди Гамильтон, был счастлив, как собака, свернувшаяся у ног хозяина. Без леди Эммы он чувствовал себя нехорошо и общества избегал. В глазах большинства офицеров, избегавших его взгляда, Нельсон читал молчаливый, холодный укор. Он делал вид, будто ничего не замечает, был со всеми официален и сух, и только двух-трех высших офицеров эскадры, которые были особенно любезны с леди Эммой по соображениям карьеры или из слабости к ее красоте, принимал, против обычая, в тесном кругу. Тесный круг этот собирался в салоне леди Эммы. Несмотря на огромные размеры адмиральского судна, на нем после приезда короля с его свитой было тесно. Нельсон жил в небольшой офицерской каюте. Помещение, смежное с королевским, занимали Гамильтоны, и оно было центром корабля. В салон леди Эммы, любившей музыку, был с берега привезен клавесин.

На корабле все вставали очень рано и жили, как на даче. С утра, еще задолго до обеда, приезжали гости, высшие чиновники, знатные иностранцы и та часть неаполитанского дворянства, которая, за отсутствием доказательств противного, признавалась сохранившей верность престолу. Никогда еще верноподданнические чувства не были так сильны в Неаполе. Гости, допускавшиеся к королю, смотрели на него с молитвенным выражением. Должностные лица, разговаривая с Фердинандом и делая ему доклады, принимали такой вид, будто ничего особенного в королевстве

не случилось: просто шайка негодяев учинила буйство, которому, к общей радости, быстро положен полицией конец. С почти таким же молитвенным выражением приезжавшие гости смотрели на Нельсона и на леди Гамильтон. Леди Эмма отовсюду получала восторженные приветствия. Поэты слагали в ее честь стихи.

Был одиннадцатый час утра, и король еще не выходил из своего помещения: он у себя слушал доклад президента Государственной Юнты. В салоне леди Эммы собрался небольшой круг избранных друзей. Через открытые окна изредка доносился из кабинета короля почтительный голос докладчика. При этом сэр Вильям на мгновенье закрывал глаза и делал комически испуганное лицо. Леди Эмма занимала гостей. В этот ранний час их ничем не угощали, и потому роль хозяйки была труднее обычного. Леди Эмме помогал ее муж, обладавший лучшими свойствами светского человека: самоуверенностью и значительным голосом. Ораторам и causeur'ам недостаточно обладать талантом — им нужна еще особая способность вызывать к себе внимание. Гамильтона в обществе всегда слушали, даже в тех случаях, когда он говорил о пустяках. Он был чрезвычайно приятен в разговоре и всегда, блеснув в меру, соглашался со взглядами своего собеседника. В светском искусстве сэра Вильяма было что-то напоминавшее парикмахера, который постоянно принимает мнения сидящего перед ним клиента. Гамильтон очень хорошо говорил и по-французски, и по-итальянски. Но особенно приятно было слушать его изысканную, чуть фатовскую английскую речь. В разговор часто *врывалась* взволнованно леди Эмма Она свои мнения — и о революции, и о погоде — всегда высказывала с необычайным жаром, затем, высказав все, что ей приходило в голову, вдруг застенчиво улыбалась очаровательной улыбкой, как бы желая объяснить гостям, что и рада бы не обладать таким горячим характером,— но ничего не поделаешь. Всякий раз, когда леди Эмма врывалась в разговор, сэр Вильям, несмотря на десятилетнюю к ней привычку, тревожно настораживался, а некрасивое, изуродованное, угрюмое лицо адмирала освещалось выражением счастья.

Лорд Нельсон в последнее время чувствовал себя особенно плохо. Его раны и странная болезнь, схваченная им в молодости в тропических странах, последствие не то малярии, не то укуса змеи, почти всегда причиняли ему тяжкие страданья. Он их тщательно скрывал, отчасти по долгу служ-

бы, чтобы внушить подчиненным впечатление несокрушимой силы и железной твердости, отчасти из любви к леди Эмме, чтоб она не болела за него душой да и не считала его инвалидом. На эту постоянную борьбу с физическим страданьем лорд Нельсон тратил громадную долю своих душевных сил. Борьбы никто не видел, и он поэтому, как все тяжело больные люди, считал себя непонятым человеком. В салоне леди Эммы, пока она молчала, адмирал угрюмо смотрел на говоривших и думал о них недоброжелательно: эти люди не знали, что он тяжко страдает, что его жизнь — сплошная цепь трудов, лишений, подвигов, что в ней не было ни одной минуты счастья с детских лет до той поры, когда послал ему леди Эмму Главный Лорд, назначивший его своим уполномоченным (Нельсон видел в Боге как бы своего старшего начальника по службе). Ничего этого они не знали и тем не менее позволяли себе его осуждать. Собственно, осуждали Нельсона не те лица, которые собрались в салоне леди Эммы. Но Нельсон после казни Караччиоло и начала работ на Рыночной площади везде и во всем чувствовал молчаливый укор.

Гамильтон, с его цветущим старческим здоровьем, с его сетью жилок и морщинок, с его самоуверенной остроумной речью, теперь особенно раздражал адмирала. Он знал, что его отношения к этому старику были не совсем приятны Верховному Лорду. Но в этом деле он никак не мог пойти навстречу предначертаниям своего высшего начальства: без леди Эммы Нельсон жить не мог; даже те немногие радости, которые были в его жизни — слава и награды,— без леди Гамильтон имели в тысячу раз меньше интереса. Он, впрочем, рассчитывал умилостивить Провидение своей энергией в борьбе с французскими и неаполитанскими безбожниками.

Один из гостей с улыбкой попросил разрешения прочесть стихи, написанные в Палермо в честь Гамильтонов и Нельсона. Получив смущенное согласие хозяев, гость вытащил из кармана листок бумаги и стал читать:

Bella Miledi'e qual superbo core
Può contrastarti di bellezza il vanto?
Se Pallade, Giunon' la Dea d'amore,
Perdon suoi pregi e sua beltade accanto? [1]

---

[1] Ужель, Миледи, вам чужда пощада?
Краса прелестных жен рождает стоны.
Венера, и Юнона, и Паллада
Ужель бы вам не уступили троны?

В салоне зааплодировали — не очень громко из уважения к важным делам, которыми в соседнем помещении был занят король Обеих Сицилий. Сэр Вильям тоже счел возможным похлопать, затем нежно поцеловал руку застенчиво улыбавшейся жены (Нельсон нахмурился). Гость сделал движение и стал читать дальше:

Chi la prudenza d'Amilton? a cui
(Né mai scelta meglior far si potea)
La Brettagna affidó gli affari suoi! [1]

Сэр Вильям склонил голову набок, показывая жестом и улыбкой, что прекрасно понимает, как преувеличены относившиеся к нему похвалы. Гости не успели похлопать выбору, сделанному Британией в лице Гамильтона: чтец, не остановившись после второй строфы, сразу перешел к третьей, которую прочел особенно прочувственно и с растроганным лицом:

Chi di Guerriero il vanto altri che Marte
Contrastar ti potra, Nelson? e sia
Giudice pur l'istesso Buona pakte [2].

Послышались громкие аплодисменты — для лорда Нельсона гости отказались от уважения к занятиям короля. Но Нельсон, уже в Палермо читавший эти стихи в переводе, улыбался очень угрюмо. Ему не нравилось, что поэт называл его на «ты», что его имя было названо третьим, что Гамильтон затесался между ним и леди Эммой. Неуместно было и упоминание о Бонапарте: удачный переход французского генерала в Египет составлял больное место лорда Нельсона.

Леди Эмма тотчас заметила его неудовольствие. Эта женщина, впоследствии продавшая забрызганный кровью мундир, в котором был убит Нельсон, никогда его не любила. Но любовь была ее ремеслом, и ремесло свое она знала в совершенстве. Леди Эмма взволнованно заговорила о блестящих победах лорда Нельсона. В этом разговоре приняли живое участие все гости. От побед он естественно перешел к наградам и отличиям, выпавшим на долю адмирала. Леди Гамильтон с гордым выражением, которое, как она знала, чрезвычайно умиляло Нельсона, перечисляла полученные им подарки: русский император пожаловал ему свой портрет с бриллиантами, султан — шубу, мать сул-

---

[1] А Гамильтон? Не нанесет урона
(О, жребий ныне дан ему прекрасный!),
Он чести не уронит Альбиона!

[2] Чья — разве только Марсова корона —
Тебе не впору, Нельсон? Несогласный —
Пусть явится судить на поле оно.

Перевод с итальянского Е. Витковского.

тана — драгоценную шкатулку, город Лондон — великолепную шпагу... Не удовлетворившись перечислением подарков, леди Эмма подошла к столу, открыла ящик и вытащила из бархатного портфеля пергамент. Это был патент на звание лорда, полученный Нельсоном после победы при Абукире. Некоторые из гостей, говорившие по-английски, пожелали прочесть патент. Леди Эмма тотчас принялась читать, с трудом разбирая и дурно, по-простонародному, произнося старинные слова:

«George the Third, by the Grace of Cod, to all Archbishops, Dukes, Marquesses, Earls, Viscounts, Bishops, Barons, Knights, Provosts, Freemen, and all other our Officers, Ministers, and Subjects whatso'ever, to whom these presents shall come, greeting. Know ye thaw we of our especial grace, certain knowledge, and mere motion, have advanced, preferred and created Our trusty and well belowed *Sir Horatio Nelson*, Knight of the Most Honourable Order of the Bath, Rear-Admiral of the Blue Squadron of our Fleet, to the State, Degree, Dignity, and Honour of *Baron Nelson of the Nile*, and of *Burnham Thorpe*, in Our County of Norfolk...» [1]

На лице Нельсона тихо расплывалась улыбка. Горечь, которая была связана с этим патентом — полученный баронский титул вместо ожидавшегося титула виконта,— теперь исчезла, и старинные слова пергамента, в ее чтении, возбуждали в адмирале тихую радость. Леди Гамильтон бурно щебетала.

Кто-то из гостей позволил себе заметить, что слышал еще о другом титуле, ожидающем лорда Нельсона. Леди Эмма улыбнулась и приложила палец к губам. Уже многие знали, что король Обеих Сицилий решил, с своей стороны, наградить Нельсона титулом герцога Бронте, с приложением трех тысяч дукатов годовой ренты. Но пожалование еще не состоялось, и о нем говорить было неудобно.

Сэр Вильям, слушавший разговор с легкой усмешкой, смотрел на своего друга и думал, что, в сущности, оперные титулы были недорогой платой этому сыну священника за

---

[1] «Мы, Милостью Божьей, Георг Третий,— всем Архиепископам, Герцогам, Маркизам, Графам, Виконтам, Епископам, Баронам, Рыцарям, Провостам, Старшинам и всем другим нашим Офицерам, Министрам и верноподданным, до кого дойдет настоящее, шлем привет. Знайте, что, по особой нашей милости, истинному разумению и доброй воле, мы возвели нашего военного и любимого сэра Горация Нельсона, кавалера Досточтимого ордена Бани, Контр-адмирала Синей Эскадры нашего Флота, в звание, степень и достоинство Барона Нельсона Нильского и Бернамторпского в нашем графстве Норфолкском...» *(англ.)*

оторванную руку. Гамильтону пришло в голову, что человеку с оторванной рукой в минуты любовных утех приходится довольно неудобно. Сэр Вильям вполне ясно представлял себе сцены любви между своей женой и Нельсоном, затем вспомнил королеву Марию-Каролину и подумал, что едва ли другой муж был когда-либо в таком глупом положении, как он. Несмотря на весь его *стиль*, фамильная честь Гамильтонов все же понесла некоторый ущерб... Мысли эти были неприятны сэру Вильяму. Он дружески пожал руку Нельсону и пересел к одному из гостей, который еще не принимал участия в разговоре.

В эту минуту дверь открылась, и все в салоне встали: вошел *запросто* король Обеих Сицилий. Леди Эмма вспыхнула от радости: она все не могла привыкнуть к тому, что у нее в салоне запросто бывает король. Фердинанд IV, высокий, грузный, длинноносый человек, еще не успел выбриться, и на толстом лице его чернела такая густая борода, что присутствовавшие в салоне англичане на мгновение усомнились, джентльмен ли король Обеих Сицилий,— но тотчас прогнали сомнение: правнук Людовика XIV, очевидно, не мог не быть джентльменом. В действительности, Фердинанду просто не приходило в голову заботиться о каком бы то ни было приличии в том обществе, которое собралось в салоне леди Эммы. Король Обеих Сицилий выходил к этим людям небритый, как его предок Людовик XIV принимал придворных, сидя в уборной. На лице у Фердинанда играла веселая, хитрая улыбка. У него всегда было такое выражение, будто кто-то хотел его надуть, но не тут-то было: он тотчас разгадал обман (Фердинанд действительно — не столько умом, сколько наследственным профессиональным инстинктом — считал всех людей обманщиками). Этот вид короля приводил новых придворных в недоумение. Но оно тотчас рассеивалось, когда Фердинанд IV разражался смехом: по его смеху самые ненаблюдательные люди сразу догадывались, что король Обеих Сицилий чрезвычайно глуп.

Фердинанд тяжело уселся в кресло и милостиво кивнул гостям, которые тотчас сели. Он с веселой улыбкой пожаловался на жару — и все подтвердили в один голос: действительно, очень жарко. Голос у короля был высокий и тонкий, не шедший к его громадному телу. Это у новых людей тоже вызывало в первую минуту разочарованное удивление.

Король очень не любил разговаривать. Сэр Вильям тотчас предложил устроить музыкальный сеанс или сыграть

партию в вист. Фердинанд размышлял минуту и остановился на музыкальном сеансе. Нельсон хмуро подумал, что для утреннего часа на военном судне, пожалуй, слишком много развлечений: после декламации еще музыка. Ему хотелось остаться вдвоем с леди Эммой. Фердинанд охотно пел неаполитанские песни (Гамильтон говорил, что его величество *поет, как король*), но в этот день королю петь не хотелось. Он еще подумал и лениво попросил леди Эмму показать свои attitudes [1] (правнук Людовика XIV произносил attitoudes). Лицо Нельсона тотчас просветлело. Леди Гамильтон с молодых лет славилась своим искусством пластических поз. Предложение короля встретило общий восторг. Хозяйка удалилась в соседнюю комнату. Сэр Вильям, много лет угощавший гостей этим талантом своей жены, не торопясь, приготовлял все для сеанса. Леди Эмма могла изображать позы только при вечернем свете. С помощью гостей и слуг Гамильтон опустил шторы, зажег свечи вдоль короткой стены салона и усадил всех (позади короля) в неосвещенной части комнаты. На это сэр Вильям потратил ровно столько времени, сколько было нужно леди Эмме для того, чтобы подготовиться к сеансу. Затем Гамильтон сел за клавесин, над которым горела одна свеча, провел руками по клавишам и дал создаться настроению. Сеансу мешал солнечный свет, пробивавшийся сквозь шторы и вызывавший в гостях смутное неприятное чувство. Прошло несколько секунд. Гамильтон медленно заиграл фантазию из «I nemici generosi» [2] — и тотчас подумал, что сделал неловкость: Чимароза как раз сидел в неаполитанской тюрьме по обвинению в симпатиях к республике, да и название оперы было не совсем подходящее. Однако никто из гостей не заметил, по-видимому, неловкости, и сэр Вильям успокоился. «Искусство выше всего этого»,— подумал он. Дверь медленно открылась, и в салон вошла боком леди Эмма с распущенными волосами, задрапированная в индейскую шаль, с лирой в высоко поднятых руках. Тяжело отрывая ноги от пола, она приблизилась к середине короткой стены и стала медленно извиваться всем телом, судорожно перебирая руками шаль и лиру.

— Niobe! — прошептал взволнованно лорд Нельсон, знавший все attitudes леди Эммы.

— Niobée,— тоже шепотом подтвердил по-французски сэр Вильям, не отрывая рук от клавесина.

---

[1] Пóзы *(франц.)*.

[2] «Великодушные враги» *(итал.)*.

— La Niobe,— сказал громко король с хитрой улыбкой.

Один из гостей, помнивший мифологию, немного удивился, почему, собственно, у Ниобеи лира и индейская шаль. Зрелище всем понравилось. Позы, которыми леди Эмма в молодости очаровала самого Гете, теперь, при ее толщине, выходили далеко не так хорошо, как прежде. Но все же она была очень красива, и сэр Вильям со вздохом еще раз оценил свои пятьдесят процентов в предприятии, тут же усомнившись в том, действительно ли его доля составляет по-прежнему пятьдесят процентов. Гости захлопали с искренним восхищением. Леди Эмма вдруг застыла: Ниобея превратилась в статую. Аплодисменты еще усилились. Сэр Вильям, щурясь у свечи, приблизил свое лицо к нотам, быстро перевернул страницы и заиграл вступление к большой арии: леди Эмма от attitudes непосредственно переходила к пению, показывая сразу все свои таланты. Она вышла из оцепенения, отдала лиру и шаль восторженно смотревшему на нее Нельсону и соединила перед своей огромной грудью руки — в одной из них был зажат кружевной платок. На опущенном лице леди Эммы вдруг появилась задумчивая улыбка, которая больше с него не сходила и не менялась до конца пения,— улыбка эта не имела никакого отношения к тому, что пела леди Эмма. Затем она медленно подняла глаза на Нельсона (этот взлет глаз был главным ее очарованием; она считала его неотразимым) и запела. Пела она долго и плохо, так что восторг на лицах гостей остыл: самым льстивым из итальянцев трудно восхищаться дурным пением. Наконец раздалось длинное fermato[1] — такое длинное, такое fermato, что даже английским матросам, слушавшим издали с палубы, стало ясно наступление конца арии. Певица, однако, опустив голову, с задумчивой улыбкой ждала конца аккомпанемента. Нельсон, не дождавшись, восторженно захлопал по колену левой рукой (он не мог аплодировать). Гости тоже похлопали. Король встал и неожиданно залился всхлипывающим тонким смехом. Гамильтон, поднимаясь вслед за Фердинандом, взглянул на него с изумлением: хоть посланник десятки лет знал короля, этот смех не потерял способности поражать сэра Вильяма. Король, захлебываясь, с хитрым видом поблагодарил леди Эмму и объявил, что идет бриться. Гамильтон и Нельсон проводили Фердинанда до дверей его помещения. Затем сэр Вильям, опять надев свою улыбку, вернулся в салон. Леди Эмма с жаром перечисляла

[1] Остановка, продление одной ноты *(итал.)*.

гостям всех высокопоставленных людей, которые восхищались ее позами и пением. Гамильтон поднял шторы, гости с облегчением стали тушить свечи и переставлять мебель на ее обычное место. Никто не уходил, все надеялись получить приглашение пообедать с его величеством. Сэр Вильям уселся поудобнее в кресло и снова, как ключом часы, завел механизм общего разговора.

— C'est une de ces formules dont vous avez le secret, mon cher comte,— любезно говорил Гамильтон сидевшему рядом с ним дипломату.— On ne saurait mieux définir l'indéfinissable: cette politique du cabinet de Berlin qui fait le désespoir de nos chancelleries. Pourtant, sans pouvoir me vanter d'en avoir pénnétrer le mystère, je crois pouvoir affirmer... [1]

В салон вдруг без стука быстро вошел капитан корабля. Он остановился на пороге. Вид у него был такой, что сэр Вильям поспешно поднялся с кресла и подошел к двери. Капитан сказал ему что-то шепотом. На лице посланника изобразилось удивление. Он открыл рот, хотел что-то спросить, оглянулся на гостей и непривычно быстрой походкой вышел из салона.

На палубе, у борта корабля, который как раз готовился к отходу на прогулку в море, толпилось человек двадцать. По их бледным нахмуренным лицам, по тому, как офицеры и матросы сбились в одну кучку, ясно было, что случилось что-то необыкновенное. Сэр Вильям поспешно, переваливаясь, маленькими шажками подошел к борту, перегнул через него брюшко, взглянул туда, куда смотрели все, и попятился назад с негромким восклицанием.

Тело казненного мятежника поднялось со дна залива. В воде, в нескольких саженях от корабля, медленно пошатывался герцог Караччиоло [2]. Распухший труп в почти вертикальном положении, лишь чуть наклонившись набок, высовывался из воды по шею, странно выдвинув вперед связанные руки. В волосах его повисло что-то зеленое. Между оскаленными зубами торчал громадный язык. На голой шее болтался размокший тонкий обрубок веревки.

[1] Это одна из тех формул, секретом коих вы владеете, дорогой граф... Никто не сумел бы лучше объяснить необъяснимое: политику берлинского кабинета, которая приводит в отчаяние наши государственные канцелярии. Однако, хотя я не могу похвалиться, что проник в тайну, я думаю, что могу утверждать .. *(франц.)*.

[2] Эпизод появления у борта «Foudroyant'a» тела казненного адмирала, разумеется, мною не выдуман Историческая достоверность его засвидетельствована рассказом очевидца, капитана Томаса Гарди. Эпизод этот оживленно обсуждался в переписке людей того времени, как Т. Гарди, коммодор Футт, И Кларк и др. Тело Караччиоло после казни было сброшено в море с подвязанным к ногам грузом, который,

Несмотря на ужасный вид трупа, Гамильтон, хорошо знавший герцога, не мог его не узнать. Сэр Вильям растерянно смотрел на пошатывавшееся тело, еще ничего не соображая... Вдруг сзади него послышались голоса и быстрые шаги. Кучка людей молча расступилась. К борту подходил король Обеих Сицилий, без кафтана, с бритвой в руке, с намыленными трясущимися щеками. Рядом с ним шел смертельно бледный лорд Нельсон.

— Caracciolo! Ma che vuole? [1] — вскрикнул король.

Никто не отвечал. Сэр Вильям опомнился, быстро подошел к королю и заговорил с ним по-итальянски. Первые его слова были не совсем связны. Но Гамильтон всегда успокаивался по мере того, как говорил. Он еще не знал, что скажет, когда подходил к Фердинанду. Но как только он открыл рот, ему сразу представилось объяснение происшествия. Фрегат «Миневра» стоял очень близко от «Foudroyant'а». В появлении тела нет ничего сверхъестественного. Груз, к нему привязанный, либо оторвался в воде, либо был слишком мал для распухшего трупа. Кто же не знает, что тела утопленников выплывают,— очень часто море прибивает их к берегу. Надо, значит, привязать *к нему* что-либо потяжелее — только и всего... Или, еще лучше, пусть его похоронят где-нибудь на берегу. С покойниками воевать незачем, и бояться их нечего... Последние слова Гамильтон произнес уже совершенно обычным тоном, без следов волнения и даже с подобием улыбки. Король тоже понемногу успокаивался. Матросы и офицеры расходились. Только Нельсон, по-прежнему смертельно бледный, неподвижно стоял у борта...

Намыленные щеки и глупое лицо короля дали вдруг другой тон мыслям Гамильтона. Сцена показалась ему чуть-чуть комической, как неудавшийся театральный эффект. Он оглянулся на море. Распухший труп теперь стоял к нему боком и был гораздо менее страшен, чем в первую секунду.

«Le coup est raté, mon vieux!» [2] — подумал сэр Вильям, почему-то вспомнив сеанс attitudes леди Эммы.

Он склонил голову набок и почтительно спросил, не угодно ли будет его величеству еще до обеда начать партию виста.

по-видимому, оказался недостаточно тяжелым для того, чтобы удержать на дне залива распухший труп. Останки адмирала были, после его появления у «Foudroyant'а», извлечены из воды и погребены, по приказу короля, в церкви Maria la Catena.— *Автор.*

[1] Караччиоло! Но чего же он хочет? *(итал.)*.

[2] «Ты дал маху, старина!» *(франц.)*

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Накануне битвы при Нови французский главнокомандующий все утро объезжал полки в сопровождении блестящей свиты, на великолепном коне, сверкая золотом мундира и дорогим бархатом чепрака (как Бонапарт, перед которым он преклонялся, Жубер считал пышность необходимой для престижа и в меру возможности старался придать нарядный вид своим полуголодным войскам). В разных частях фронта он останавливался, собирал солдат и говорил речь: начинал с тяжелого положения родины, объяснял значение предстоящего боя и призывал армию исполнить свой долг. Речи эти волновали Жубера: в том особенном приподнятом настроении, в каком он находился последние недели, он говорил очень сильно — и волнение его передавалось войскам, хотя не все солдаты могли его слышать и не все слышавшие понимали то, что он говорил. Но даже люди его свиты, слушая во второй и в третий раз одно и то же, не усмехались, а с бледными взволнованными лицами не отрываясь, в упор смотрели на главнокомандующего.

С приездом генерала Жубера во французской армии исчезло уныние, которое вызвали неудачи последних месяцев: победа Суворова над Макдональдом под Треббией и занятие австро-русскими войсками Милана и Турина.

Жубера армия хорошо знала и по 1796-му, и по 1798-му году. В пору первой итальянской кампании он был правой рукой и любимцем Бонапарта, который, как передавали, уезжая в Африку, рекомендовал его в свои заместители. Еще больше прославила двадцатидевятилетнего генерала тирольская война и дальнейшие его действия в качестве самостоятельного полководца. О военных дарованиях, храбрости и благородном характере Жубера ходили самые лестные рассказы. Плохо о нем не говорил почти никто. Бескорыстие же его стало почти легендарным: этим в пору

революционных войн было гораздо труднее удивить, чем храбростью или военным искусством. Храбры были все революционные генералы, честные же люди среди них считались по пальцам. Солдаты говорили, что в трудные дни Жубер отдавал свое жалованье на покупку продовольствия для войск; а в правящих парижских кругах рассказывали с изумлением, что молодой полководец отказался принять подарок, предложенный ему в Италии,— картину, оцененную в сто тысяч ливров. Баррас, узнав об этом отказе, только разводил руками — он, впрочем, давно про себя решил, что генерал Жубер глуп.

Подъем духа во французской армии еще усилился, когда распространились слухи о том, что сам Суворов высоко ставит военные дарования Жубера. Слухи эти были основательны. А с мнением Суворова считались чрезвычайно. В республиканских войсках не было никакой ненависти к противнику, как ни старались ее раздуть газеты и Директория. Ненависть к противнику была в первые дни войны — и прошла, как всегда проходит на фронте в пору затянувшихся войн (что нисколько не мешает учинению всяческих зверств). «Марсельезу» войска пели, и она даже возбуждала солдат, как возбуждали их вино и грохот барабанов. Слов «Марсельезы» почти никто не знал дальше двух строчек, а те немногие, которые знали весь первый куплет, произносили его механически. Слова «qu'un sang impur abreuve nos sillons»[1] не могли производить никакого впечатления на солдат — кровожадные метафоры не были во вкусе людей, ежеминутно рисковавших жизнью: и кровь они собственными глазами видели, как свою, так и неприятельскую, и *нивы* были не французские, а чужие.

Члены Директории, любившие поднимать своим красноречием дух армии и возбуждать в ней ненависть к наемникам Питта, были у тех солдат, которые о них вообще слышали, посмешищем и предметом злобного презрения — как штатские люди, не подвергавшиеся в Париже ни малейшей опасности да еще получавшие в тылу большое жалованье за неопасные и, должно быть, скверные дела. Напротив того, Суворов (его и Директория, и газеты, и генералы, и солдаты почему-то называли Souwaroff) не только не возбуждал ненависти во французской армии, но был в ней своеобразно популярен — за храбрость, за удачу и за то, что с его приездом в Италию опасность смерти для каждого солдата увеличилась во много раз: с уважением в тоне вти-

[1] «Пусть нечистая кровь обильно напоит наши нивы» *(франц.)*.

хомолку передавали (начальство это скрывало), что в битве у Треббии из тридцати пяти тысяч человек осталось в живых лишь немногим более половины. С удивлением рассказывали о русском генерале разные анекдоты; лицо его по портретам было всем хорошо известно. Для возбуждения ненависти к Суворову из Парижа в армию сообщали слухи о свирепости русского главнокомандующего, о том, будто в Измаиле он вырезал двадцать тысяч турок, а при штурме Праги — девять тысяч поляков. Но и это не вызывало ни особой ненависти, ни жажды мщения; солдаты революционной армии не раз видали и устраивали при штурмах резню и плохо представляли себе грань между сотней, тысячей или десятком тысяч вырезанных людей, тем более чужих: турок и поляков. Это даже увеличивало престиж Суворова, так как размер резни невольно принимался умами солдат пропорциональным значению победы.

План сражения был уже почти составлен Жубером. Армия его расположилась на скатах Апеннинских гор, полукругом вокруг городка Нови, раскинувшегося у подножия Монте-Ротондо. Эта крепкая позиция до некоторой степени уравновешивала численное и артиллерийское превосходство противника. Жубер рассчитывал на левом фланге выдержать и отбить натиск союзников, сосредоточивая тем временем на правом, для атаки на деревню Поццоло-Формигаро, отборные ударные колонны под начальством генерала Моро. Ходили зловещие слухи о падении Мантуи — это означало усиление неприятельских войск двадцатитысячным осадным корпусом генерала Края. Жубер убеждал себя и других в том, что неприступная Мантуя, взятие которой стоило три года назад огромных усилий генералу Бонапарту, не могла пасть так быстро. Но уверенности у него не было, особенно после того, как о капитуляции сообщили флорентийские и ливорнские газеты. Мысль о падении Мантуи составляла больное место Жубера: если б женитьба перед самым походом не задержала его во Франции, он мог бы дать генеральное сражение раньше. Всякий раз, как это соображение приходило ему в голову, главнокомандующий вздрагивал и уверенно говорил, что Мантуя, конечно, еще держится.

Но когда он выехал на передовые позиции и остановился со своей свитой на одной из высот вблизи города Нови, перед ним на обширной равнине, засеянной кукурузой, между белевшими вдали строениями крепостей Александрии и

Тортоны, от реки Бормиды до реки Скривии и еще за нею, по ее правому берегу, открылась вся неприятельская армия. И сразу привычным глазом он увидел, что численность ее много больше той, о которой ему сообщали разведчики. Сомнений быть не могло: Мантуя пала, и осадный корпус присоединился к войскам Суворова. Жубер ничего не сказал и долго неподвижно стоял на горе, не отводя глаз от зрительной трубы, то подсчитывая силы противника, то бросая подсчет.

Имея дело с этим страшным русским стариком, он не мог больше рассчитывать, что снова, как часто прежде, его спасет нерешительность противника. Суворов, конечно, не упустит случая дать решительное сражение. Отступать было так же опасно, как оставаться на позициях.

Рядом с ним на высоте находилось человек десять офицеров его штаба. Они шепотом обменивались впечатлениями. Сен-Сир, перегнувшись красивой своей фигурой к седлу генерала Моро и похлопывая левой рукой его лошадь между ушами, вполголоса доказывал, что о победе не может быть речи: нужно отступить в горы. Нервно оглядываясь на левую руку Сен-Сира, Моро с неудовольствием его слушал. Не получая ответа, генерал Сен-Сир замолчал и, прикрыв глаза рукой от солнца, стал смотреть вдаль: бывший художник, страстно привязанный к Италии, он залюбовался пейзажем.

Другие офицеры — в большинстве люди очень молодые — думали о том, какую эффектную историческую картину представляет собою их блестящая конная группа, остановившаяся на чудесном холме над вековым итальянским городком. Так должен был бы увековечить их художник.

— Tiens, mais c'est Souwarow! [1] — вдруг сказал чей-то удивленный голос.

— Comment Souwarow? Où? [2] — спросил, вздрогнув от неожиданности, Жубер. Несколько человек задало одновременно тот же вопрос — и десяток зрительных труб тотчас устремился в одну сторону: в поле, почти посредине между французскими и союзными передовыми линиями, лишь немногим ближе к союзникам, далеко впереди передовой цепи русских егерей, которые залегли в хлебах у Поццоло-Формигаро, стояло два всадника. Первый из них действительно был Суворов. В зрительную трубу легко было признать его своеобразную фигуру. В рубахе и холщовом

---

[1] Смотри-ка, это Суваров! *(франц.)*
[2] Как Суваров? Где? *(франц.)*

исподнем платье, как почти всегда летом, без мундира, он сидел на дрянной клячонке, скрючившись на казацком седле, бросив поводья и опершись на его передний горб локтем левой руки, в которой держал записную книжку. Правой рукою он то поспешными движениями приставлял к глазам подвешенную на длинном шнурке к шее зрительную трубу, то, бросая ее, записывал что-то в книжку. Второй всадник был простой казак.

— Souwarow? Lequel?.. Celui en chemise?.. Quelle idée!.. Pourtant c'est bien lui!.. Il est toujours en chemise... Mais non, ce n'est pas Souwarow!.. Mais si, vous n'avez qu'à regarder son portrait!.. Bien sûr que c'est Souwarow! [1] — раздались взволнованные голоса.

Одновременно одна и та же мысль вспыхнула у всей группы людей французского штаба. Генерал Сен-Сир, не дожидаясь распоряжения Жубера, во всю прыть, рискуя свалиться вместе с конем, понесся вниз с крутой горы к передовым французским постам. Все молчали, затаив дыхание, глядя то на эту безумную скачку, то на старика в рубахе, который продолжал что-то писать, скрючившись на своей кляче.

Сен-Сир благополучно домчался до равнины и скрылся за откосом соседнего холма. Через несколько минут раздался выстрел, послышался быстрый, страшный нарастанием, свист летящего снаряда, потом разрыв; за первой пушкой передовой батареи грохнула вторая; к пушечным выстрелам примешалась частая беспорядочная ружейная стрельба, шедшая неизвестно откуда (это французские ведеты, лежавшие в хлебах далеко впереди позиций, по своей инициативе, тоже узнав Суворова, открыли по нем огонь).

Жубер и его генералы, не отрывая глаз от труб, смотрели на старика в рубахе, который не обращал никакого внимания на стрельбу, точно он ее и не слышал. Но в союзных войсках вдруг началось быстрое движение. Там, очевидно, заметили опасность, грозившую главнокомандующему.

Из-за высокой каменной стены с бойницами и башнями, окружавшей городок Нови, быстро выехал генерал Сен-Сир с небольшим отрядом кавалерии. Одновременно, минута в минуту, два взвода австрийских драгун вынеслись из союзных передовых линий. Оба отряда остановились как бы по соглашению: французы, очевидно, не могли доскакать рань-

---

[1] Суваров? Который? . Вон тот в рубашке?.. Что за выдумка!.. Однако это точно он!.. Он всегда в рубашке . Да нет же, это не Суваров! . Он и есть, вы не видели его портрета!.. Это наверняка Суваров! *(франц.)*

ше австрийцев до того места, где находился Суворов, а драгунам Карачая незачем было без пользы идти под огонь, становившийся все более жарким.

Вдруг Суворов бросил трубу, спрятал книжку, подозвал казака, взял у него флягу и долго пил, откинувшись на задний горб седла, запрокинув назад голову. Снаряд разорвался шагах в двадцати от него. Лошадь казака рванулась в сторону и даже клячонка Суворова зашевелилась. Он, очевидно, стукнулся зубами о фляжку, с досадой вытер губы рукой, схватился за поводья, отдал фляжку казаку, тотчас справившемуся с лошадью, и медленно поехал назад к своим линиям, где впереди драгун поспешно собиралась кучка русских офицеров. Ружейная стрельба вдогонку еще усилилась, потом понемногу стала затихать.

Французский главнокомандующий тронул поводья и медленно поехал с высоты по направлению к городу Нови. За ним молча следовали другие генералы.

Военный совет кончился вечером. Командиры обоих флангов и центра, Периньон, Моро и Сен-Сир, простились с Жубером, молча крепко пожав ему руку. Было почти решено отступить в горы, но все генералы понимали, что решение это только полупринято, а может быть, и неисполнимо. Начальник штаба Сюше и два адъютанта, оставшиеся для ночлега в том же домике, где остановился Жубер, пошли спать, не получив окончательных распоряжений. Главнокомандующий сел за стол и стал писать приказ об отступлении в горы.

В десять часов ему показалось, будто в неприятельском лагере начался шум. Его вдруг осенила надежда, что, быть может, Суворов сам решился отступить. Жубер быстро поднялся и на цыпочках, чтобы не разбудить офицеров, вышел на балкон.

Ночь была очень теплая. При свете луны с балкона его домика, расположенного на холме, он видел все поле предстоящего боя. В неприятельском лагере огни уже погасли, как и во французском. Только в двух-трех местах в деревне Поццоло-Формигаро, где, по предположениям Жубера, должна была находиться ставка союзного командования, мерцали горящие точки. Там, очевидно, люди размышляли, как его погубить. Шума не было слышно. «Уж не болен ли я?» — спросил себя Жубер. Нервы его расстроились совершенно, особенно оттого, что ото всех нужно было скрывать тревогу. Жубер мысленно проверил свои распоря-

жения. Кроме понятной нерешительности, проявленной им в военном совете по вопросу об отступлении, он ни в чем не мог себя обвинить. Бонапарт поступил бы точно так же. «Где теперь Бонапарт? Что делает сейчас?» — устало подумал он, стараясь представить себе Египет, Палестину — и ничего не мог представить,— разве пирамиды, да и то плохо. Воображение работало вяло. Это был дурной признак: он считал воображение одним из самых важных свойств полководца. «Неужели завтра я буду не на высоте — в самый решительный день моей жизни, быть может, в ее последний день?» — подумал он. Жубер не верил в предчувствия, хоть часто слышал рассказы о них, столь обычные у военных, как у всех часто рискующих жизнью людей. Он не верил, собственно, не в то, что предчувствия сбываются; он не верил, что они могут быть: у него у самого никогда не было ни дурных, ни хороших предчувствий.

Две недели тому назад в Pont-de-Vaux, во время обеда, устроенного по случаю свадьбы Жубера, вдруг раздалась пальба: городские власти велели стрелять из пушек в честь молодого полководца, славы и гордости их города. Гости принялись считать выстрелы — и, когда счет закончился вместе с салютом, Жубер шутливо заметил, что как раз то же число выстрелов дают войска в память генералов, павших на поле битвы. Он сам не увидел здесь никакой дурной приметы, но гости вдруг замолчали, и отец его поспешно сказал, что, кажется, произошла ошибка в счете выстрелов.

Жубер подумал о жене. За весь день не было времени о ней подумать. Он вынул из-под мундира медальон с ее портретом, хотел поцеловать, но не поцеловал. Он заставил себя думать о жене и вдруг через несколько минут, бледнея, заметил, что думает не о ней, а о том, как и кто ей скажет об его кончине. «Верно, Сюше напишет прямо отцу... Или министр пошлет нарочного в Pont-de-Vaux». О том, как его жена примет известие, о том, что она почувствует, Жубер не думал, не мог думать, хоть и сюда пытался направить ход своих мыслей. «Вероятно, она снова выйдет замуж через некоторое время»,— подумал он почти равнодушно, вспоминая, что жены известных ему офицеров неизменно выходили замуж через два-три года, а то и раньше, после смерти любимых мужей. Эта мысль, которая накануне показалась бы ему чудовищной, теперь оставляла его холодным. «Директория мне устроит пышные поминки. Но в глубине души все они будут рады моей смерти.

С тех пор как Бонапарт отрезан английским флотом в пустынях Африки, они больше всего боятся меня, моей популярности в войсках... Кто знает, уж не нарочно ли Директория поставила меня в такое положение? Почему Массена со своей семидесятитысячной армией не делает диверсии в Швейцарии, чтобы на себя отвлечь часть неприятельских сил? Почему восьмая дивизия была в таком безобразном состоянии?.. Почему сто двадцать тысяч солдат разбросаны по разным местам?.. Почему еще не прибыли резервы Серрюрье?..»

Мысли эти и прежде приходили ему в голову, но он тотчас их в себе подавлял. Теперь вдруг они его ужаснули своим беспредельным значением. Прежде он никогда не сомневался в правоте дела, которому служил. Французскую республику, свободу французского народа хотели задушить иностранцы, наемники Питта и их сообщники, изменники-эмигранты... «Пусть это избитая мысль, банальное ходячее выражение, но ведь это правда!» Однако наряду с этой привычной правдой теперь была и другая, непривычная. Теперь он ясно видел, что во главе Французской республики стоят люди, которым нет до свободы никакого дела, которые за власть и деньги готовы служить кому и чему угодно, которые не предают родины (если они ее не предают) лишь из боязни гильотины. Теперь он допускал, что и эмигранты — многих из них он знал лично,— быть может, не все отъявленные подлецы и предатели. «Они живут в нищете, тогда как Баррас нажил на революции миллионы. А наемники Питта?.. Суваров, как я, прирожденный воин,— разве Суваровым движет жажда английских денег? Или те казаки, которых он привел с собой, те венгры, кроаты, тирольцы, из которых завтра в муках умрет много тысяч, разве им Питт платит деньги, разве они слышали имя Питта?»

«Да, конечно, им не платят, но их погнали сюда насилие и произвол их деспотов,— ответил он себе.— Хорошо, а у нас? — тут же задал он вопрос, припоминая сцены вербовки рекрутов, расстрелы бесчисленных дезертиров.— Лучше моей армии нет в целом мире, но если завтра предоставить ей полную свободу, если ей объявить, что отныне воевать будут только добровольцы, а остальные могут вернуться в свои семьи и деревни,— может быть, оставшиеся составят одну дивизию... Нет, дивизии не составят... А я сам? Я начал войну простым солдатом, но что бы я сказал, если бы мне предложили воевать за родину всю жизнь рядовым, если б война не была для меня вместе с тем и

самой ослепительной карьерой, о которой я не смел и мечтать до революции? Без наемников Питта, без их нападения на Францию, кто я был бы теперь? Я им обязан карьерой, я на крови, на несчастьях родины создал свою славу».

Справа от него, внизу, у самой подошвы горы, в Нови еще горело несколько огней на старой башне замка, по бастионам стены, которой был обнесен город, да еще в окнах некоторых домов: то ли это французские офицеры не легли спать или несбежавшие жители города. Впервые Жуберу пришло в голову, какой ужас, какие бедствия принесла армия жителям этого ни в чем не повинного края. Скаты горы и местами поля были покрыты виноградниками. Там, где растет виноград, народ всегда добр и радушен. Эта старая башня, эта чудесная городская стена свидетельствовали о древней, вековой, таинственной культуре. За предместьями внизу и на холмах были разбросаны домики, окруженные садами, обнесенные стенами. Еще утром и накануне оттуда уходили люди, унося и увозя добро на тележках (он знал, что их грабили в тылу, несмотря на все его грозные меры). Что останется от всего этого завтра?

Душевная усталость все больше тяготила Жубера. Ему стало холодно; хотелось сесть в горячую ванну. Он вернулся с балкона в комнату и засветил две свечи, вставленные вместо подсвечников в бутылки. Для него была приготовлена постель на диване. Он снял шпагу, расстегнул мундир, по привычке завел часы и, не раздеваясь, прилег на диван, поставив бутылки со свечами на мягкий стул рядом с диваном. Свечи шатались на выпуклой поверхности стула. Жубер осмотрелся в комнате, которая ему была отведена: за долгие годы он привык ежедневно менять ночлег и больше не обращал внимания на бесчисленные, всегда чужие, квартиры, где приходилось ему останавливаться. Какая-то коллекция на книжном шкафу, минералы, банки и инструменты показывали, что владелец дома был натуралист или врач, вероятно скопивший средства и построивший себе за городом дом.

На стуле рядом со свечами лежал недоконченный приказ об отступлении. Жубер порвал его на клочки, взял книгу, которую всегда с собой возил в походе,— «Vitae illustres» [1], латинский перевод Плутарха,— перелистал ее и открыл жизнь Брута.

«...Recipienque ad ostium, terribilem conspexit et monstruosam inusitatae staturae corporis atque metuendae imaginem, ta-

[1] Жизнеописания великих людей *(лат.)*

cite sibi astantis. Ausus tamen percontari: Quisnam ait, hominum deorumve, aut cuius rei causa ad nos venis. Respondit ei imago: Tuus sum, o Brute, malus genius, apud Phillippos me videbis»... [1]

Он знал теперь, что его душевная усталость и была тем предчувствием смерти, в которое прежде он не верил. Именно об этом говорили стальные латинские слова.

«Respondit ei imago: Tuus sum, o Brute, malus genius, apud Phillippos me videbis»,— повторил он вдруг громко — и остановился, прислушиваясь к своему голосу, который звучал так странно.

— Vous dites, mon général? [2] — спросил спросонья кто-то из соседней комнаты.

— Mais non, je ne dis rien [3],— ответил Жубер и уже про себя прочел последние слова, которые всегда особенно его волновали: «Tum ille nihil territus, videbo, inquit...» [4]

II

Поручик Александер, близкий товарищ Штааля, снисходительно говорил о нем, что он, в общем, славный малый. Но когда это отрицали, Александер не спорил и признавал, что его приятель в последнее время вправду стал портиться. Другие сверстники Штааля считали его пустым человеком, а некоторые говорили, что он очень себе на уме да еще вдобавок фанфарон и хвастунишка. Штааль действительно чаще, чем нужно, упоминал в разговоре имена тех известных людей, которых ему приходилось видеть в жизни. Но он, по особенностям своей судьбы, в самом деле встречал много известных людей и не лгал, упоминая об этих встречах: разве только чуть преувеличивал степень своего знакомства с высокопоставленными людьми — ему случалось, например, говорить: «Питт сказал мне» — вместо «Питт сказал в моем присутствии», или: «Я слышал от графа Палена», хоть граф Пален произносил приводимые им слова, вовсе к нему не обращаясь. Но так как сверстники

---

[1] «...Он увидел, что молча подходит к нему страшный, чудовищный призрак исполинского роста. И Брут осмелился его спросить «Кто ты? человек или бог? и зачем ты пришел?» Ответил ему призрак· «Я твой злой гений, Брут, ты увидишь меня при Филиппах...» *(лат.)*.

[2] Что вы сказали, генерал? . *(франц.)*

[3] Да, нет, ничего *(франц.)*

[4] Брут же бесстрашно ответил: «Увижу» *(лат.)*.

Штааля не знали ни Палена, ни Питта, то их такие замечания раздражали. Штааль был бы поражен, если б ему стало известно, что он представляется своим товарищам приблизительно таким, каким ему представлялся Иванчук. Он сам часто с насмешкой говорил об окружающих именно то, что в его отсутствии говорили о нем. Это в разговорах происходило как бы незамеченным, но после ухода Штааля оставшиеся со смехом вспоминали, как он других ругал карьеристами или хвастунами. Некоторые из молодых людей, составлявших общество Штааля,— более умные и нервные,— при этом изредка тревожно себя спрашивали, не могли ли и они сами как-нибудь себя поставить в такое же смешное положение. Но почти всегда отвечали себе отрицательно: о них, конечно, за спиной говорили что *угодно, только не это.* Оптический обман, делающий возможной жизнь в обществе, в кругу молодых людей сказывался особенно сильно, так как они все были похожи друг на друга. Несмотря на большие различия в характере, то общее, что давала им молодость и одинаковые условия жизни, преобладало над остальным.

Кроме частого упоминания о высокопоставленных людях, сверстники Штааля ставили ему в вину еще то, что он в последнее время стал очень хорошо устраиваться. Штааль действительно за неаполитанский поход был представлен к награде: и Белле, и Мишеру, и Руффо благосклонно к нему относились Он ничего особенного не делал для того, чтобы заслужить их расположение, но старался ничем себе не повредить в их глазах. Благодаря своей красивой наружности Штааль всегда выигрывал при первом знакомстве. Впрочем, в награде, к которой он был представлен, не было ничего необыкновенного. После окончания неаполитанского похода он получил назначение в армию Суворова, действовавшую в Северной Италии, и занял хорошую должность в штабе генерала Розенберга Должность эту он получил главным образом благодаря своему знанию иностранных языков. Он не только превосходно говорил по-французски, но владел и немецким, и английским языками, а в последнее время, за несколько месяцев, научился изъясняться по-итальянски Штааль любил иностранные языки и обладал присущей детям, женщинам и неграм способностью легкого звукового их усвоения, беглой иностранной речи. Быстрые успехи в итальянском языке его радовали. Он купил в Неаполе «Божественную комедию» и заставлял себя читать ее с наслаждением. Некоторые места ему в самом деле нравились, именно те, которые известны и нравятся всем: он знал

наизусть «Nel mezzo del cammin' di nostra vita» и «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate» [1].

Должность, которую Штааль получил в штабе генерала Розенберга, была сама по себе не такая уж приятная. Штааль не был ни адъютантом, ни ординарцем; он выполнял преимущественно поручения по приему и перевозке пленных и раненых, а также по провиантской части. Награды шли по этой должности как по строевой, так что потом, в России, никто ничего не мог сказать. Штааль не считал себя и не был трусом. Но после первого же посещения лазаретов, которое ему пришлось сделать по обязанностям службы, он не слишком рвался в бой; стал дорожить своей не блестящей должностью, тем более что она была связана с разъездами, которые он любил. Ему нравилось всякий день ночевать на новом месте и видеть новых людей, хотя бы и не высокопоставленных и не знаменитых.

Он сожалел, однако, что состоял при Розенберге, а не при самом фельдмаршале. В ставке Суворова и должностей таких не было. Штааль пробовал перевестись в штаб главнокомандующего и даже являлся для этого к Фуксу, к которому получил рекомендательное письмо. Фукс занимал в армии странную должность. Официально он ведал реляциями и историей войны. Но втихомолку офицеры говорили, что Фукс приставлен секретной полицией для негласного наблюдения за Суворовым, по особому на то распоряжению императора Павла. Штааль явился к Фуксу отчасти и по любопытству. Он иногда, особенно выпивши, уверял товарищей, что видит людей насквозь, и ему хотелось разгадать, действительно ли Фукс полицейский шпион или это досужая сплетня. Но как он ни смотрел, и искоса, и внезапно *в упор*, на благообразную, важную фигуру Фукса, на которого эти взгляды не произвели никакого впечатления, Штааль ничего не разгадал: может быть, Фукс был шпион, а может быть, и не шпион. Штааль, впрочем, как и большинство молодых офицеров, склонялся к мысли, что Фукс — шпион: секретное полицейское наблюдение над полководцем, перед которым с каждым днем все более благоговела армия, очень отвечало и чувству таинственного, и потребности негодования, сильной в молодых людях. Никакой пользы от посещения Штааль не получил. Фукс отпустил его после непродолжительного разговора, посоветовав служить хорошо и вести себя достойно. Не сказал даже, что

---

[1] «Земную жизнь пройдя до половины» и «Оставь надежду всяк сюда входящий» *(итал.)*.

будет иметь его в виду, хоть эта обычная формула не могла ничего ему стоить.

В союзной армии, вскоре после зачисления Штааля в штаб генерала Розенберга, начались приготовления к решительному сражению с французами. Штааль рассчитывал принять участие в этом сражении. Но накануне того дня, в какой Суворов предполагал дать битву, Штааль получил от генерала Розенберга предписание отправиться в тыл по делу, касавшемуся доставки раненых и пленных: сражение должно было быть очень кровопролитным. Хотя он и не рвался больше в бой, предписание это его огорчило: нельзя было не участвовать в самом важном из сражений, в которых Суворов покрывал славой себя и союзную армию. Одного неаполитанского похода для приобретения опыта и воинской славы казалось Штаалю недостаточным. А он все еще хотел приобрести и опыт, и славу: именно поэтому он и берег свою жизнь. «Глупо было бы рисковать жизнью в чине поручика. Убьют, никто и не заметит. Потом, на командном посту, разумеется, будет другое дело. Там и погибнуть нежалко. Или нет, жалко — да все другое дело»,— думал он. Товарищи Штааля иронически говорили, что он и на этот раз устроил себе безопасное поручение как раз накануне боя, где, по всем вероятиям, должна была погибнуть четверть или даже треть армии. «Молодец мальчик, ловко карьер делает»,— говорили недоброжелатели Штааля — и этим свидетельствовали, что не имеют житейского опыта: настоящие карьеристы устраивали свои дела гораздо лучше и притом так, что их никто не ругал карьеристами.

Одно из иронических замечаний товарищей дошло до Штааля и крайне его возмутило. Он утешал себя тем, что у всякого настоящего человека, не слякоти и не мелкоты, есть и должны быть враги. Но существование врагов не доставляло ему удовольствия, а, напротив, было очень неприятно — это свидетельствовало о том, что он был не настоящий человек. Штааль думал, как посрамить своих недоброжелателей, и остановился на первом побуждении: отправился к генералу Розенбергу с тем, чтобы просить его поручить поездку в тыл кому-либо другому. Об этом своем намерении он с видом мрачным и решительным объявил товарищам. Но они отнеслись к его словам равнодушно: гораздо меньше интересовались и судьбой, и характером Штааля, чем он предполагал. По дороге Штааль угрюмо думал, что надо раз навсегда плюнуть на то, что скажут люди.

Когда он подъехал к помещению штаба корпуса, генерал,

Розенберг как раз собирался уезжать в Фрессонару на совещание с австрийским генералом Краем. Штааль не успел высказать свою просьбу — генерал сам приказал ему отложить дело о раненых и ехать вместе с ним. По словам Розенберга, вопрос о сражении еще не был окончательно решен. Розенберг рассчитывал все узнать от Края и потому взял с собой Штааля: в случае, если сражение должно было состояться, дело перевозки раненых и пленных становилось особенно спешным. Генерал был настроен хмуро, и Штааль не счел возможным высказать свою просьбу. Ему было, однако, досадно, что он до отмены данного ему поручения не успел сказать Розенбергу о своем непременном желании участвовать в решительном сражении.

Восьмитысячный корпус генерала Розенберга стоял у Вигиццоло в глубоком тылу союзной армии. Весь день 14 августа Розенберг ждал распоряжений к ожидавшемуся решительному бою. Часов около четырех дня он получил приказ, по которому его корпус должен был оставаться на прежнем месте для прикрытия крепости Тортоны. Приказ этот расстроил и оскорбил генерала Розенберга. Тортонский замок был обложен осадным австрийским корпусом, никакая опасность оттуда не грозила и прорыва неприятеля к Тортоне ждать было неоткуда. Приписав это распоряжение, в сущности устранявшее его от всякого участия в бою, интригам русской партии, Розенберг хотел было съездить в Поццоло-Формигаро к самому Суворову. Но затем, подумав о личном нерасположении к нему фельдмаршала, он решил повидать австрийцев, и в первую очередь генерала Края, на долю которого завтра должна была выпасть самая значительная роль. В сопровождении Штааля и казака он в самый разгар жары отправился верхом в Фрессонару, где, по его сведениям, находилась квартира генерала Края.

Ехать было далеко, и только под вечер, перебравшись вброд через Скривию, Розенберг прибыл в Фрессонару. Войска генерала Края, закончив приготовление к ночному переходу и к предстоящей наутро атаке, после обеда легли спать, расположившись вповалку на нескошенных полях. Казак, сопровождавший Розенберга, с жалостью смотрел на погибающий хлеб. Такое же чувство испытывал и помещик-генерал. Только безземельный городской житель Штааль почти не обратил на это внимание.

Розенберг разбудил одного из солдат, спавшего у самой дороги, и спросил по-немецки, где остановился штаб. Но солдат, по-видимому венгерец или чех, спросонья не понял

вопроса и изумленно-растерянно смотрел на подъехавшее чужое начальство. Генерал сердито его выругал, оглядываясь на Штааля, который почему-то принял виноватый вид. Штааль, всегда чувствовавший себя неловко в обществе неразговорчивого Розенберга, тотчас воспользовался случаем: пришпорив коня, он выехал вперед узнать дорогу. Минуты через две ему попался пожилой, мрачного вида австрийский лейтенант, сидевший без дела на пне у края дороги. Штааль небрежно отдал честь и спросил, где находится Край.

— Его превосходительство генерал-фельдцейхмейстер барон Край фон Крайова находится у себя в палатке,— ответил мрачно австриец, с достоинством подчеркивая полный титул своего начальника: его, по-видимому, раздражила молодость Штааля. Однако, увидев подъезжавшего старого русского генерала, австриец стал любезнее, сам вызвался проводить гостей и пошел рядом с лошадью Розенберга, невольно стараясь идти с ней в ногу, и шагал ускоренно-неловко, как ходят пешие рядом со всадником. Все молчали, видимо тяготясь молчанием. Австрийский лейтенант не счел возможным навязывать разговор генералу, а угрюмый Розенберг не знал, о чем заговорить. Стало совсем темно.

— Почему же барон Край остановился в палатке, когда здесь столько домов? — выдумал наконец Штааль совершенно не интересовавший его вопрос.

Он сказал «барон Край», чтобы загладить свою начальную неучтивость, но не сказал, «его превосходительство барон Край фон Крайова», чтобы не дать полного удовлетворения австрийцу.

— Его превосходительство не доверяет итальянской чистоте, предпочитает палатку и свою походную постель,— ответил лейтенант, угрюмо улыбаясь не Штаалю, а генералу.

За поворотом дороги он указал вдали квартиру генерала-фельдцейхмейстера, отдал честь Розенбергу и скрылся в темноте, не посмотрев на Штааля.

Огромная палатка Края, удлиненная tente-marquise [1], была расположена на опушке маленькой рощи. Из палатки лился уютный свет, слышались громкие оживленные голоса. Сойдя с коня и отдав поводья казаку, Розенберг подошел к палатке, по привычке постучал в деревянную раму отдернутого полога, кашлянул (хотя ни стука, ни кашля, очевидно, никто не мог услышать) и, рассердившись на себя

---

[1] Навес *(франц.)*.

за нерешительность, шагнул в полосу света. Гул голосов почти мгновенно замолк, и навстречу гостям стали подниматься австрийские офицеры.

Убранство невысокой узкой палатки было странное. Во всю ее длину стояли плотно прижатые друг к другу табуреты, ящики, бочонки не совсем одинаковой вышины, накрытые дорогими, залитыми вином скатертями. Вдоль этого обеденного стола были расставлены скамейки, тоже самого разного вида, длины и формы. Середину стола составлял бочонок повыше других; перед ним стояла самая лучшая скамейка, зеленая, из параллельных брусьев с изогнутой спинкой, вроде тех, какие бывают в городских парках. Эту скамейку занимал хозяин, генерал Край, и наиболее почетные гости. На других скамейках, со спинками и без спинок, сидели офицеры всех чинов и возрастов. Ужин уже кончался. Штааль невольно повеселел, окидывая взором стол, и еще раз подивился тому, как умеют жить австрийцы (это во все времена похода было предметом удивления русских офицеров, хоть и из них многие устраивались удобно: некоторые офицеры привезли с собою — из России в Италию — своры борзых собак). Бочонки, табуреты и ящики были уставлены всем тем, что можно было бы найти в лучших ресторанах Вены или Петербурга.

Генерал-фельдцейхмейстер Край, раскрасневшийся, благодушного вида старик с командорским крестом Марии-Терезии на груди, поспешно подошел, вытирая усы, к Розенбергу и долго, с особым чувством, пожимал ему руку. Розенберга не очень любили и в австрийской армии, но ценили и уважали преимущественно как главу немецкой партии в русском штабе. Он сам, однако, ссорился с австрийцами (особенно с Меласом) и в разговоре с ними часто подчеркивал, что он не немец, а русский, и притом столбовой дворянин шестой книги (австрийцы этого, впрочем, не понимали и предполагали, что шестая книга, вероятно, много хуже первых пяти). Тем не менее учтивость и приветливость генерала Края были приятны Розенбергу после тех обид, которым он подвергался со стороны своих.

Австрийцы тотчас обступили гостей, поздравляя с предстоящим решительным сражением. В первую минуту Штааль почувствовал, что они как будто помешали и что без них было бы веселее. Но это ощущение тотчас у него исчезло,— так любезны были австрийцы.

Генерал Край подвел Розенберга к зеленой скамейке и усадил его между собой и очень изящным генералом в драгунском мундире. Это был известный граф Бельгард, вос-

ходящее или даже взошедшее светило австрийской армии. Одну минуту Край колебался, сразу ли предложить гостю поужинать или сначала заняться делами. Голодный Розенберг, невольно бросая быстрые взгляды на стол, принялся излагать вполголоса свои соображения относительно завтрашнего дня и суворовского плана. Край с озабоченным видом сочувственно кивал головой, но по его красному от вина лицу и весело блестевшим глазам было видно, что следил он за соображениями русского генерала плохо. Зато Бельгард, хоть и выпил очень много, слушал внимательно, не спуская с гостя умных проницательных глаз. По немногим кратким вопросам, которые он вежливо задал, Розенберг сразу почувствовал, что Бельгард угадал скрытую цель его визита и что он ей рад. Остальные офицеры, замечая, что на зеленой скамейке происходит как бы подобие военного совета, сделали вид, будто отодвигаются и не слушают. На самом деле при тесноте в палатке это было невозможно, даже если б они действительно хотели не слушать того, от чего зависела судьба каждого из них. Генералы говорили так вполголоса минут пять, все больше чувствуя, что это только предварительный разговор и что вопросы, поднятые Розенбергом, надо обсудить подробнее и решительнее. Беседу их прервал австрийский офицер огромного роста, появившийся за их спинами. Он ничего не говорил и, улыбаясь, спокойно стоял у них за плечами Розенберг оглянулся. Офицер, от которого пахло не винным перегаром, а душистым вином с усов, протянул гостю бокал; в правой руке он держал запыленную бутылку.

— Полковник князь Бретценштейн,— представил Край, укоризненно глядя на офицера.

Бретценштейн опустил подбородок к самой груди, звякнул шпорами и, еще ближе пододвинув бокал к Розенбергу, сказал совершенно тем же тоном, что Край:

— «Mezés-Malé-1768».

Он назвал знаменитую марку токайского вина так, как в обществе называют при представлении всем известного человека, знакомство с которым составляет очевидную честь и удовольствие. Это было его собственное вино. Розенберг, знавший в вине толк, озабоченно глотнул, допил до дна и, ничего не говоря, протянул снова бокал под горло бутылки. Князь Бретценштейн оценил *ответ* и, улыбнувшись еще радостнее, налил вина гостю.

— Вы, может быть, сначала поужинаете, дорогой генерал? — любезно спросил Край Розенберга, легко накрывая

рукой рукав его мундира (этот жест означал, что он только на мгновение отвлекает внимание генерала от его важного дела).

— Благодарю... Я, собственно, еще почти ничего сегодня не ел,— сказал, как бы оправдываясь, Розенберг.

Послышались возгласы изумления и протеста. Все австрийцы почувствовали себя хозяевами — и с разных сторон к Розенбергу стали двигаться всевозможные блюда, то соскакивая с бочонка на табурет, то поднимаясь с табурета на патронный ящик. Розенберг жадно ел закуски, холодный суп, пирог, рыбу под соусом mayonnaise (который тогда еще не назывался mayonnaise), индейку, запивал токайским и шампанским и думал, что с венских обедов у императора не видал такого стола. Гостеприимство и благодушное веселье подействовали и на него. Рядом с ним ужинал посаженный без чинов Штааль. Почти одновременно несколько офицеров вспомнили о голодном казаке, который за пологом палатки водил ржавших лошадей. Князь Бретценштейн положил на тарелку огромный кусок пирога, чуть не половину индейки, взял со стола бутылку и, сгибая свою огромную фигуру, вышел из палатки. Он подозвал казака по-немецки, добавляя наудачу для ясности все известные ему польские и русинские слова. Для князя Бретценштейна немецкий язык был свой, семейный, французский — язык порядочных людей вообще, а польская, русинская, чешская речь, безразлично,— язык черни. Казак, впрочем, понял немца и жадно опорожнил бутылку. Бретценштейн смотрел на него с жалостью, смешанной с уважением к человеку, который не знает, правда, как нужно пить вино, но может одним духом, не пошатнувшись, выпить бутылку «Mezés-Malé-1768».

Вдали показался факел, и послышался топот лошадей. Из палатки выглянули еще офицеры. Через минуту подъехал экипаж и несколько верховых. Это прибыл для совещания с Краем генерал Мелас, старший из австрийских генералов, второе лицо в армии после Суворова. С ним был русский генерал Дерфельден и несколько офицеров связи. Край, оценивший любезность Меласа, который прибыл к нему на совещание, несмотря на старшинство в чине и должности, быстро вышел из палатки и рапортовал приехавшему гостю. Мелас, дряхлый старик, устало улыбаясь, прервал жестом ненужный рапорт и старческой походкой вошел в палатку. Все офицеры стояли навытяжку. Их официальная поза так явно шла вразрез с общей картиной палатки, что Мелас, чуть усмехнувшись, поспешил в самой

благодушной форме пригласить их продолжать ужин. Это было немедленно с готовностью исполнено. Хотя палатка была полна, для всех вошедших нашлось место у стола. Дерфельден холодно поздоровался с Розенбергом. Бретценштейн, очевидно выполнявший при Крае обязанности хозяина, на мгновение вышел из палатки и кого-то окликнул, после чего вина и закуски появились на столе в новых количествах: запас их был здесь, очевидно, неистощим. Вновь прибывшие гости не заставляли себя просить. Только Мелас, улыбаясь, отстранил мягким жестом Бретценштейна, вновь подошедшего с бутылкой к зеленой скамье. Бретценштейн с сожалением поглядел на старика и совершенно так же радушно стал потчевать прибывших с ним молодых офицеров.

У Штааля с первой минуты разбежались глаза. При входе в палатку он невольно отнес к себе часть почета, оказанного Розенбергу. Этот почет и общее расположение, блестящая своеобразная картина палатки с ее странным столом, заставленным бутылками, настроение пира перед боем, присутствие важнейших (после фельдмаршала) лиц командного состава (некоторых он знал в лицо, кое-кого угадал, других ему назвали) — все это вместе составило одно из самых сильных впечатлений его жизни. Он залпом осушил бокал, который ему, сейчас вслед за Розенбергом и совершенно так же, как Розенбергу, подал блестящий австрийский офицер, при этом представившийся и назвавший столь звучное имя, что даже неловко было ответить, пожимая руку, просто von Stahl (о том, чтобы сказать Stahl, разумеется, не могло быть и речи). От необыкновенного вина и ужина ему стало чрезвычайно весело. Он сразу отверг и признал несправедливыми жалобы и нарекания на австрийцев, начавшиеся с начала похода. Австрийцы были очень милые люди и прекрасные солдаты. Штааль не думал, что воевать так весело. Мрачный неаполитанский поход не был настоящей войною — и там ничего такого не было. Поэзия войны захватила Штааля Для полноты его счастья не хватало только присутствия Суворова. Да еще он боялся, что, если начнется настоящий военный совет, его попросят уйти: надобности в нем как в переводчике, очевидно, быть не могло — все генералы говорили по-французски. «Отчего же все-таки меня гнать? — спрашивал он себя. — Что ж, я французам пойду выдавать их планы? Или я не могу, как другой, держать язык за зубами? Во всяком случае, если попросят уйти, то не одного же меня. Вот и этого попросят, блондина, он чином меня не старше, и тех, что в углу.

Стыдного никак ничего не будет, не генерал же я, в самом деле, и не могу требовать,— утешал он себя заранее.— Хорошо уж — и еще как хорошо! — что до заседания здесь побывал».

Но удалять его никто не собирался. Настоящего военного совета в отсутствие Суворова, естественно, быть не могло. Тем не менее Мелас предполагал иметь серьезный разговор. Не желая тревожить молодежь (в это понятие у него входили люди сорока и даже пятидесяти лет), он некоторое время добродушно участвовал в общей застольной беседе. Затем, обменявшись несколькими словами с Краем, вышел вместе с ним, Розенбергом, Бельгардом и Дерфельденом, стараясь, чтобы уход их остался незамеченным. Это, разумеется, не удалось. Все переглянулись. Настала тишина: люди, державшие в руках общую судьбу, уходили. Только через несколько минут оживление в палатке стало такое же, как прежде.

Выйдя из палатки, генералы медленно стали ходить взад и вперед по роще, приноравливаясь к старческой усталой походке Меласа, который неторопливо и негромко излагал свои соображения. Он был так же, как Розенберг, недоволен планом завтрашнего сражения. Вернее, он находил, что настоящего плана вовсе не было. Фельдмаршал дал только несколько распоряжений общего характера. Многое оставалось неясным. Почти все должны были сделать Суворов и Край. Пятнадцатитысячный корпус, которым командовал Мелас, оставлен без причины в резерве, верстах в семи от Поццоло-Формигаро. Непонятна была и роль, отведенная испытанным дарованиям генерала (Мелас учтиво наклонил голову в сторону Розенберга). Вообще вызывает сомнения основная идея сражения: разновременная атака сводит почти к нулю преимущества численного превосходства союзников.

Розенберг, скрывая торжество, слушал критические замечания Меласа. Он был с ними совершенно согласен, но перед австрийцами, да еще в присутствии Дерфельдена, одного из главарей русской партии, не хотел осуждать распоряжения фельдмаршала. Бельгард с легкой усмешкой переводил глаза от одного генерала к другому и быстро определял тайные мысли и пожелания каждого: Розенберг метит на должность Суворова, Дерфельден стремится занять место Розенберга, Край хотел бы, чтоб его оставили в покое и дали ему возможность вернуться в палатку и там в обществе молодежи пить токайское вино и разговаривать о женщинах. Мелас больше ничего в жизни не желает, но умень-

шает свою личную ответственность на случай потери сражения.

Дерфельден, рассердившись, остановился, как бы показывая, что он не обязан гулять по роще только потому, что это угодно австрийцам, и принялся горячо возражать Меласу. Фельдмаршал не любит посвящать других в свои планы, однако он, конечно, знает, что делает. На первый взгляд, правда, как будто трудно понять назначение сил Меласа и Розенберга, но, вероятно, фельдмаршал намерен ввести их в дело несколько позже, в разгар сражения. Дерфельден, собственно, не приводил никаких доводов. Сущность его возражений сводилась к тому, что, если Суворов что-либо делает, значит, так и нужно. Розенберг и Край молчали. Бельгард старательно раздирал по швам сорванный с дерева лист. Мелас слушал с учтивой улыбкой на своем бескровном лице. При виде этой улыбки горячность Дерфельдена слабела.

— Во всяком случае, перед Жубером открываются значительные шансы,— сказал, пожав плечами, Мелас, когда Дерфельден замолчал.

Дерфельден изумленно посмотрел на австрийского генерала: он не понимал, какие могли быть сомнения в победе, если войсками командует Суворов. Эту давно ему знакомую уверенность громадного большинства русских в непобедимости Суворова Мелас тотчас прочел на лице Дерфельдена и с насмешкой развел руками. В сущности, цель его была достигнута, по крайней мере, отчасти: в присутствии четырех свидетелей он высказал сомнения и сложил с себя ответственность за исход битвы. Честолюбие более не мучило барона Меласа. Он уже давно относился почти равнодушно к спорам, интригам, волнениям молодых генералов и даже к самой войне. По существу, он хотел лишь одного — закончить карьеру, не осрамив своего имени. Но, как честный солдат, Мелас все-таки не удовлетворился уменьшением своей личной ответственности и потребовал, чтобы кто-либо из генералов съездил немедленно к Суворову и передал ему доводы против плана сражения.

Дерфельден развел руками.

— Лучше всего вам же и съездить, барон,— горячо сказал Розенберг. Не выступая открыто против Суворова, он хотел искупить свое молчание и косвенно подчеркивал согласие с доводами Меласа, решительно отстаивая необходимость его поездки к главнокомандующему.

Мелас отказался: его войска стояли в семи верстах отсюда — он должен вернуться к ним немедленно.

— Тогда, может быть, съездите вы? — холодно спросил Розенберга Дерфельден, подчеркивая, что считает его, несмотря на его молчание, сторонником австрийских взглядов и не прощает ему этого.

— Покорнейше благодарю, Вилим Христофорович,— иронически ответил Розенберг по-русски, для того чтобы назвать нерусское имя-отчество Дерфельдена.

Поездка Розенберга не улыбалась не только ему самому, но и Меласу, который хотел, чтобы критика плана сражения исходила всецело от австрийского командования. На мгновение его взгляд встретился с беспокойным взглядом Края. Барон Мелас чуть улыбнулся, сжимая бескровные губы.

— Вам, генерал,— сказал он, обращаясь к Краю,— очевидно, будет неудобно высказывать доводы против диспозиции, которая отводит вам столь же почетную, сколь ответственную и опасную роль. По-моему, лучше всего было бы поехать графу...

Все облегченно вздохнули.

— Ну что ж, я не отказываюсь, если таково общее желание,— произнес с усмешкой граф Бельгард.

— Общее желание,— произнес Мелас, подтверждая ответной усмешкой скрытые мысли Бельгарда.

На этом совещание генералов кончилось. Любезно разговаривая друг с другом о здоровье, о том, как каждый намерен провести остающиеся часы ночи, они пошли обратно в палатку.

Розенберг разыскал Штааля и велел ему ехать с графом Бельгардом в ставку фельдмаршала. Там, после своего разговора с Суворовым, австрийский генерал должен был сказать Штаалю, остается ли в силе данное ему поручение.

III

Суворов почти не спал в эту ночь.

Весь день он, как и Жубер, не сходил с коня, объезжая полки. Но, в отличие от французского главнокомандующего, старый фельдмаршал нигде не произносил речей, хотя тоже останавливался перед каждым полком, созывал солдат и разговаривал с ними. Говорил он большей частью о предметах, не имевших отношения к войне, и почти всякий раз выкидывал какую-нибудь странную штуку или бормотал непонятные слова. Суворов знал, что войска считают его колдуном, и поддерживал эту свою репутацию. Солдаты были убеждены, что его не берет пуля,— едва ли не для

укрепления в них этой веры он, без крайней необходимости подвергая опасности свою жизнь, выехал на виду у обеих армий далеко за передовые посты в поле. По тому, как льнул к нему под огнем сопровождавший его казак, по тому, как на него смотрели потом молодые новобранцы, Суворов видел, что его цель достигнута.

Десять часов, проведенные на седле, утомили старика. Лицо его стало еще бледнее обычного, вьющаяся прядь волос прилипла к середине высокого лба, жилы на висках слились со складками кожи, и тяжело обозначились морщины у носа, на губах и у подбородка. Последняя остановка фельдмаршала была уже почти у самой деревни Поццоло-Формигаро, где он собирался провести ночь. Здесь стоял один из его любимых полков. Он знал в нем в лицо многих старых солдат и, щеголяя своей памятью, вызывал их по именам, дружелюбно разговаривал со стариками, вспоминая прошлое каждого,— почти у всех у них было, впрочем, одинаковое прошлое. Спрашивал, из какой кто деревни,— некоторые после двадцати пяти лет с трудом вспоминали. У более молодых осведомлялся, есть ли баба,— он знал, что стариков лучше об этом не спрашивать. Кое-кому давал по кронталеру, других потчевал водкой из своей фляжки. Сопровождавший Суворова подполковник Кушников тоже иногда вступал в беседу, но с ним солдаты говорили без интереса и неохотно. У одного из стариков Кушников, подражая фельдмаршалу, отрывисто спросил: «Вот что, братец, скажи-ка ты нам, старина, за что мы воюем?» Суворов сделал гримасу: этот вопрос, по его мнению, совершенно не касался ни солдат, ни даже самого Кушникова. Услышав ответ, что воюем за веру, царя и отечество, фельдмаршал одобрительно кивнул головой солдату и еще раз сердито посмотрел на подполковника, который больше не вмешивался в разговор.

Около пяти часов, объехав все полки, Суворов соскочил с коня (это движение, к которому он готовился, подъезжая, стоило ему едва ли не большего усилия, чем часы, проведенные на седле) и затем еще часа три принимал донесения из разных частей, отдавал устные приказания и диктовал письменные. У него в избе перебывало человек двадцать высших офицеров. Никто не оставался больше десяти минут — в быстрой перемене лиц и предметов разговора старый фельдмаршал видел единственное спасение от усталости, которую он тщательно ото всех скрывал. Он был доволен собою — чувствовал, что удалось главное: в армии создалось напряжение кипучей деятельности и готовность к

величайшему усилию. В самом деле, русские офицеры, выходя из его избы, искренне восторгались *дивным* (так называли Суворова), а австрийцы, пожимая плечами, говорили друг другу:

— Der Mann ist doch merkwürdig...[1]

Без почтения относился к фельдмаршалу только его престарелый денщик. Швыряя сердито тарелками (он не одобрял всю эту войну и желал ее скорейшего конца), Прохор Дубасов быстро подал ужин, тут же, стоя, сам поужинал с барином, ругая последними словами кривого повара Мишку, дал фельдмаршалу стакан водки, сам выпил два, опуская в них куски хлеба, потом гневно заметил, что пора спать, хотя еще было довольно светло. В углу избы лежала куча свежего сена. Суворов утомленно разделся (перед Прохором он не скрывал усталости, как вообще не имел от него секретов) и лег, накрывшись одеялом с головою. Денщик вышел погулять немного навеселе. Какой-то австрийский генерал хотел было войти к главнокомандующему, но Прохор загородил ему дорогу и сердито его спровадил, повторяя: «Чего лезете? Сказано, спит...» Генерал не настаивал. Засыпая, фельдмаршал еще слышал этот разговор за дверьми избы, но австриец, очевидно, не имел важного дела, и физическая усталость старика была так велика, что он не вмешался в распоряжения Прохора. Денщик скоро вернулся в избу, лег и тотчас захрапел на лавке около входа.

Суворов спал всего часа два. Около одиннадцати он внезапно проснулся с лицом, перекосившимся от ужаса. Дрожащими руками засветил свечу и взглянул на часы. Он видел ясно циферблат и стрелки, но не мог понять, который час. Только минуты через две он успокоился, сердце перестало стучать. Еще оставалось много времени до начала сражения.

Он знал, что больше не заснет, но и не чувствовал потребности во сне: запаса его душевной бодрости должно было хватить на те ужасные двадцать с лишним часов, которые ему предстояли. Против своего обыкновения он еще полежал, давая отдых разбитому, израненному телу. Соображал, не упущено ли что-либо важное. Общие распоряжения все были отданы, а другие можно было отдавать только в процессе боя.

Пролежав с полчаса при свече, он забыл, который час, снова взглянул на часы и поднялся с сена. Требовалось за-

---

[1] Странный все-таки человек... (*нем.*)

полнить еще часа четыре до рассвета, не растеряв скопленного страшного волевого заряда, и заполнить их Суворову было не так легко, несмотря на его почти шестидесятилетнюю привычку к войне.

Фельдмаршал знал, что ничего не делать больше нельзя: на него нашла бы та нестерпимая тоска, которую он нередко испытывал и которой больше всего боялся в день сражения. В одной рубашке, босой, он выбежал из избы. Часовой вытянулся смирно, с ужасом глядя на старика. Вдали горели редкие огни Нови. Со стороны неприятельского лагеря ничего не было слышно. Убедившись, что французы оставались на своих позициях, Суворов вернулся в избу и повеселел, садясь за узкий, шатающийся на левой ножке стол. Жубер принимал решительное сражение. Смелость молодого противника нравилась старику, и он думал, что из Жубера выйдет со временем хороший генерал. Думал он это с симпатией, как если б дело шло об одном из его любимцев, например о князе Багратионе (он очень любил Багратиона, с легкой долей той благодушной насмешки, с какой русские люди неизменно относятся к кавказцам; его вдобавок забавляло, что грузин Багратион, немец Дерфельден и серб Милорадович были главарями русской партии штаба). Теперь же Жубер, как и Бонапарт, как они все, был, разумеется, мальчишка, который тоже, очевидно, полагал, что имеет дело с Меласом или еще с кем-нибудь из Bestimmtsager'ов (Суворов называл немцев то Bestimmtsager'ами, то Nichtbestimmtsager'ами[1] — и никто, кроме него самого, не мог точно понять, что именно он имел при этом в виду).

В своей победе фельдмаршал почти не сомневался. Однако при мысли о возможном все-таки поражении он невольно вздрагивал и тотчас гнал от себя эту мысль. Жубер в свои тридцать лет или австрийцы, издавна привыкшие к неудачам, могли позволить себе поражение. Но для семидесятилетнего Суворова его непобедимость составляла не только основу военного престижа: она составляла смысл, единственное оправдание всей его жизни. У Суворова ничего не было, кроме сознания своей непобедимости и как-то странно сливавшейся с этим сознанием веры в Бога (он терял бы одно, если бы потерял другое).

Перебрав в последний раз все то, что нужно было сделать, и опять убедившись, что ничто важное упущено не было, фельдмаршал стал придумывать себе занятие на оста-

---

[1] Примерно немогузнайки и ничегонезнайки (*нем.*)

ющиеся несколько часов. Взял лист бумаги, старательно очинил гусиное перо (в походе Прохор не успевал чинить ему перья) и принялся писать. Стол покачнулся на левую ножку. Обрадовавшись, что нашлось еще дело, Суворов сложил в комок лист бумаги, быстро нагнулся, скрывая от самого себя боль в спине, подложил комок под ножку стола и снова сел, тяжело дыша.

Он писал письмо дочери. К своему единственному сыну, который находился при армии, Суворов был почти равнодушен; плохо верил, что этот красивый недалекий мальчик, бездельник и шалун, игравший в карты со страстью, действительно его сын. Но дочь свою фельдмаршал очень любил, особенно до того, как она вышла замуж за графа Николая Зубова. С зятем отношения были холодные.

Не зная, о чем писать дочери, Суворов решил составить письмо в стихах, как он часто делал, когда сказать было нечего: для стихов не требовалось ни содержания, ни смысла. У него давно выработалась и механическая привычка стихосложения, и память на рифмы — спасение плохих поэтов и несчастье хороших. Фельдмаршал быстро набросал несколько строк, кое-что поправил, перечел и закончил двустишием, которое уже было известно дочери по старым письмам.

Но, впрочем, никаких не слушай, друг мой, вздоров
Отец твой Александр граф Рымникский Суворов

Стихи, красиво отчерченные его твердым четким почерком с далеко закинутыми влево хвостиками буквы «р», не очень понравились фельдмаршалу. Он, однако, подумал, что Зубов, несмотря на дурные с ним отношения, будет всем в Петербурге показывать письмо. Подумал и о том, что пора бы переменить когда-то доставивший долгое наслаждение, но уже успевший надоесть титул графа Рымникского на что-либо получше (после падения Мантуи ему было пожаловано княжеское достоинство с титулом Италийского, но известие это еще до него не дошло). Подумал, что о княжеском титуле надо было бы как-нибудь поудивительнее намекнуть обоим императорам: обычно он делал такие намеки, искусно пользуясь своей репутацией чудака, к которой привыкли и с которой примирились (так, в Асти в разговоре с лордом Бентингом он все время подтягивал свои будто бы падавшие с ног чулки, и англичанин долго не мог понять, в чем дело, пока ему не объяснили, что это означает желание Суворова получить британский орден Подвязки). Но соображения о наградах, ожидающих его за

победу, не вполне развлекли фельдмаршала. Зашевелились было давно знакомые тоскливые, убивающие энергию мысли о том, что в семьдесят лет не нужны ни орден Подвязки, ни княжеский титул, ни все то, что ему могли пожаловать европейские монархи, делу которых он оказывал неоценимые услуги. Эти мысли часто его посещали в мирное время. Он знал, что от них отделаться можно только работой, и сейчас же ухватился за работу: вынул из бумажки новенькую палочку сургуча, растопил конец на свече и с удовольствием стал лить пахучие капли на углы конверта с письмом дочери, торопливо накрывая печатью еще горевшие на бумаге красные пятна. На одном из углов его инициалы с графской короной отпечатались неясно. Он разогрел на свече кончик медного разрезного ножа, расплавил сургуч и снова наложил печать, которая на этот раз удалась хорошо. Затем быстро размял сморщенными пальцами изуродованный побуревший конец красивой палочки, пока он не затвердел и не исчез запах, оборвал красные волоски, аккуратно уложил сургуч в бумажку и оправил ее концы — дело помогло: тоскливые мысли были выключены твердо. Удовлетворенный результатом, он взял другой лист бумаги и стал писать новые стихи, уже по-немецки, в честь подчиненных ему австрийских генералов. Он и сам в первую минуту не мог бы сказать, для чего это было нужно. Выдумка пришла ему в голову инстинктивно — ее полусознательной целью было развеселить генералов и вселить в них уверенность в том, что ему, Суворову, весело и что он не сомневается в победе (у русских офицеров такой уверенности, по его наблюдениям, было достаточно). Писать стихи по-немецки было гораздо труднее, чем по-русски. Суворов писал довольно долго, правил написанное, заглянул даже раз в словарь. Стихи все-таки выходили неважные:

Es lebe Sabel und Bajonnett,
Keine garstige Retraite,
Erste Linie durchgestochen,
Andere umgeworfen,
Reserve nicht halt,
Weil da Bellegarde und Kray der Held.
Der letzte hat Suworow
Den Weg zu denen Siegen
Gebannet [1]

---

[1] Штыки и сабли прославить я рад,
Да не будет мерзостных ретирад,
Не устоит шеренга врага,
И пустятся в бега
Все резервы их арьергарда,

Рифмы Bajonnett и Retraite, hält и Held ему понравились, но третий и четвертый стихи не вышли и к слову Suworow он вовсе не мог придумать немецкой рифмы. Кроме того, в пузырьке было мало чернил, приходилось часто опускать в него перо, и это раздражало фельдмаршала.

Он еще писал, когда в тишине ночи послышался приближавшийся конский топот. Суворов поднял голову: кто-то ехал, очевидно, к нему. Через несколько минут всадник остановился у палатки Розена, кто-то громко задал по-немецки вопрос, послышалась возня, и у открытой двери избы появился граф Бельгард. За ним виднелся заспанный, сконфуженный Розен, свидетельствовавший своим видом, что он тут ни при чем. Оба они остановились в нерешительности Суворов сидел не поворачиваясь, спиной к входу. Бельгард громко кашлянул.

— Durchlaucht gestatten? [1] — не то спросил, не то просто сказал он, покрывая храп Прохора.

Тон австрийского генерала показывал, что он прибыл по важному делу. Накануне решительного сражения, в самом деле, было позволительно поздней ночью явиться к главнокомандующему и даже разбудить его. Придраться было не к чему, но Суворов сразу пришел в дурное настроение. Он не любил Бельгарда.

Фельдмаршал повернулся к гостю, выразив на лице неприятное изумление. Розен сразу понял, что разговор будет не из легких. Но смутить графа Бельгарда было не так просто. Он подошел к столу, за которым сидел главнокомандующий, почтительно его приветствовал в официальных выражениях, подождал с минуту, затем сел по другую сторону стола, еще почтительнее поблагодарив Суворова за предложение сесть, которого тот не делал. Бельгард, несмотря на разницу в чине и должности, ревниво оберегал свое достоинство природного, а не пожалованного графа и приближенного Римского императора — единственного настоящего императора в мире и главы старейшей из всех династий.

— Прошу покорно садиться,— изумленно сказал по-русски Суворов уже сидевшему австрийскому генералу.— Прошу покорно садиться,— еще раз повторил он.

Завидя в бою Бельгарда,
Героя Края. А там и Суворов
Для них проложит дорогу
К победе...

Перевод с немецкого Е. Витковского

[1] Разрешите, Ваша светлость? *(нем.)*

Бельгард, не понимавший ни слова по-русски, вопросительно посмотрел на Розена. Розен только тяжело вздохнул, узнав, что Суворов сегодня по-немецки не понимает.

— Его сиятельство просит вас сесть,— сердито сказал он Бельгарду.

— Vielen Dank, Durchlaucht [1],— учтиво произнес австрийский генерал. Как ни в чем не бывало, не обращая внимания на выражение лица Суворова, становившееся все более изумленным, он взял со стола медный нож и принялся излагать свои соображения, чуть слышно отбивая их ход по сукну стола. Говорил он очень гладко, деловито и ясно, с твердыми простыми интонациями, как говорят умные офицеры генерального штаба (дающие нередко превосходных ораторов). Под легкие, нечастые удары о сукно ножа плашмя он в самых лестных выражениях отдал должное необыкновенным достоинствам составленного главнокомандующим плана сражения, затем стукнул ребром ножика по деревянному краю стола, так что застывшая пуговка сургуча отскочила, помолчал секунду и, переведя глаза с лица фельдмаршала на его шею и грудь, от имени командующих отдельными частями союзной армии стал отмечать не совсем понятные пункты плана. Лицо его, сохраняя крайнюю почтительность, стало чрезвычайно печальным.

Суворов с изумленным видом слушал речь Бельгарда и только изредка что-то про себя бормотал. Розену слышались отдельные слова, большей частью малопонятные или неупотребительные: «Пространный элоквент...», «Гениум...», «Унтеркунфтер...», «Вот так юдициум...». Лишь в одном месте речи австрийца фельдмаршал сокрушенно сказал· «Чего глупее!» Да еще когда граф Бельгард произнес имя генерал-квартирмейстера Цаха, Суворов не упустил случая и радостно воскликнул: «Не Цагхафт, а только Цах!» [2] Бельгард, уже много раз слышавший эту шутку Zaghaft-Zach, приостановился и выдавил на лице печальную улыбку, которую затем сохранял до самого конца доклада. Суворов больше его не перебивал. Низко наклонившись к столу и пододвинув к себе свечу, он старательно стал чертить на листе бумаги разные части тела. Изредка он быстро отрывался от этого занятия и злыми глазками исподлобья вглядывался в графа Бельгарда. Он мысленно расценивал его военные способности и расценил их очень низко, хотя некоторые из доводов австрийского генерала

[1] Большое спасибо, Ваша светлость (*нем.*)

[2] Каламбур по-немецки «цагхафт» — «робкий, нерешительный», но «цах» — «тягучий, цепкий и жесткий»

были признаны им вполне основательными. Суворов не любил вмешательства в его дела; особенно же его раздражала печальная улыбка Бельгарда.

Прохор Дубасов проснулся и сел на лавке, злобно глядя на посетителей.

Закончив изложение своих мыслей, граф Бельгард опустил медный нож на то самое место, откуда его взял, приложил к концу отбившуюся пуговку сургуча и, сведя пальцы обеих рук, чуть склонив голову к левому плечу, почтительно уставился на шею главнокомандующего. Молчание продолжалось не менее минуты.

— Что он *говорит?* — вдруг с изумлением спросил Розена Суворов, поднимая голову.

Барон Розен, укоризненно взглянув на главнокомандующего, стал переводить ему содержание речи Бельгарда, который сначала поднял брови, а затем изобразил на лице совершенное равнодушие перед новым фокусом старика. Розен переводил, временами из вежливости оглядываясь на австрийского генерала (хотя тот, очевидно, не мог его поправить), но очень мало заботясь о полноте и точности перевода: он знал, что главнокомандующий прекрасно понял немецкую речь Бельгарда, внимательно ее слушал и, наверно, ничего в ней не упустил. Это была очевидная комедия, и Розен, хорошо знавший Суворова, спрашивал себя, какая могла быть ее цель, так как, по его наблюдениям, в большинстве случаев старик знал, что делал, когда играл комедию. Но перед посторонним человеком надо было соблюдать приличие, и Розен позаботился о том, чтобы его перевод продолжался не менее пяти минут,— речь Бельгарда длилась минут десять. Суворов совершенно не слушал Розена и даже не делал вида, будто слушает. Он попрежнему старательно рисовал на бумаге части тела.

— Ваше сиятельство, что прикажете ему сказать? — с некоторым беспокойством спросил Розен, кончив и подождав немного.

— Скажи ему...— радостно, ласковым тоном ответил фельдмаршал.

Прохор Дубасов фыркнул от удовольствия. Барон Розен вздохнул и, повернувшись к Бельгарду, сказал, что главнокомандующий, отдавая должное ценности его соображений, намерен сохранить за собою инициативу и все дальнейшие распоряжения будет отдавать во время боя. Суворов одобрительно кивнул головой, как бы свидетельствуя, что Розен совершенно верно перевел его ответ. Граф Бельгард вспыхнул и заговорил было по-французски, несколько

повысив голос. Но, увидев по изумленному лицу Суворова и по безнадежному выражению Розена, что фельдмаршал не понимает и французского языка, он тотчас себя сдержал, вежливо-презрительно улыбнулся и поднялся с места, звякнув шпорами.

— Вот, вот, я написал... Прочтете...— радостно заговорил Суворов, всовывая в руки Розена листок с немецкими стихами.

Розен с недоумением посмотрел на бумажку и передал ее Бельгарду. Австрийский генерал, наклонившись к свече, прочел стихи. Увидев свое имя, он, внутренне польщенный (хотя и считал, что фельдмаршал давно выжил из ума), изобразил на лице самую придворную улыбку. В эту минуту свеча опалила ему волосы, которые затрещали. Бельгард с досадой провел рукой по обожженной шершавой пряди, поправил пробор и, не дочитав, сложил и спрятал листок, соображая, что потом, в Вене, не худо будет показать эти стихи, хотя и жаль, что «Held»[1] написано о Крае, а не о нем.

— Glänzend![2] — сказал он и еще раз звякнул шпорами. Пожелав фельдмаршалу в самых любезных выражениях успеха (Суворов больше не делал изумленного лица), Бельгард вышел в сопровождении Розена.

Штааль, который все время со скукой и тревогой гулял недалеко от избы главнокомандующего, поспешно подошел к Бельгарду. Услышав, что сражение не отменяется и что его поручение остается в силе, он отдал честь и, как человек, не имеющий возможности терять время, быстро направился к своей лошади. Уже в седле он зачем-то посмотрел на часы, хотя было темно, оглянулся на Бельгарда, приложил руку к фуражке и сразу перевел лошадь в галоп.

Бельгард еще постоял с Розеном, затем простился, крепко пожав ему руку с несколько обидевшим майора грустным выражением сочувствия на лице.

Розен посмотрел вслед австрийскому генералу, позевал (ему очень хотелось спать), подумал, надо ли еще являться к Суворову, решил, что надо, и вернулся в избу. Но, увидев с порога, что Суворов молится в углу на коленях (несколько поодаль от него на коленях стоял Прохор Дубасов), майор не вошел в избу и рассеянно стал бродить взад и вперед, с наслаждением вдыхая пьянящий аромат ско-

---

[1] Герой *(нем.)*.

[2] Блестяще! *(нем.)*

шенного сена. Он думал о самых разных предметах: о том, какой странный человек *дивный;* о том, можно ли купить за три тысячи такую лошадь как у Бельгарда,— и где их взять; о том, убьют ли его завтра или нет. Затем перестал думать и решил, что надо бы еще поспать часа два. Но идти в душную, пахнущую парусиной и едой палатку ему не хотелось. Он прилег у одного из стогов рядом с избой главнокомандующего и тотчас задремал.

Розен проснулся от первых лучей солнца и поспешно поднялся с земли. Рядом с ним слышалось ржанье лошадей. Ему бросились в глаза бледные сосредоточенные лица офицеров, вытянувшихся у входа в избу. Часовые стояли смирно. Дверь избы вдруг распахнулась настежь, и из нее выбежал, волоча раненую ногу, Суворов с лицом сияющим и преображенным, какое раза три или четыре в жизни видел у него барон Розен. Фельдмаршал подбежал к своей лошаденке и легко вскочил на казацкое седло. Прохор Дубасов, знавший, чего стоила старику эта легкость, незаметно ему помог, целуя барина в руку и в колено и с трудом удерживаясь от рыданья.

IV

В деревне Таверне главной темой разговоров служили мулы. По словам сведущих офицеров, из-за мулов могла пойти к черту вся кампания: задержка в несколько дней давала французам возможность подготовиться к защите Альпов. С фельдмаршалом, по рассказам, случился припадок бешенства, когда он узнал, что, несмотря на все обещания австрийцев, мулы для перехода через Альпы ими не были в Таверне заготовлены.

Штааль уже почти целую неделю находился в этой скучной деревушке, служившей станцией на большой почтовой дороге. Из Таверне русская армия должна была начать свой поход, который в последний месяц был предметом дипломатической переписки, газетных статей и оживленных споров.

После победы Суворова при Нови многим, не только в союзных странах, но и в самой Франции, казалось, что революции пришел конец. Французы были вытеснены из Италии, лучшие их армии потерпели решительное поражение, неприступные крепости находились в руках союзников, и впервые после семи лет война приближалась к французской территории. Все предполагали, что в самом близком будущем Суворов вторгнется во Францию. Богатые англи-

чане заключали даже между собой пари о том, через какое время русский фельдмаршал возьмет Париж и восстановит династию Бурбонов.

Сам Суворов считал, однако, вторжение во Францию очень трудным делом. Он высоко ставил революционную армию и думал, что против ее воли восстановить старый строй невозможно (воля французского народа заботила его очень мало — он интересовался только армией). Союзные правительства не разделяли этого мнения, однако побаивались старика.

Суворов после сражения при Нови достиг высшего предела славы, при котором именем человека начинают называть шляпы, пироги, прически, улицы. Все это и делалось в ту пору в Европе, особенно в Англии, где на обедах тост в честь Суворова провозглашался немедленно вслед за здоровьем короля. Говорили о непобедимом русском фельдмаршале больше, чем о каком бы то ни было другом человеке на земле. Союзные правительства осыпали его наградами. Одновременно с ростом славы достигли предела бесчисленные причуды и странности фельдмаршала.

Австрийское правительство после завоевания итальянских земель, которые оно намерено было присоединить к своей империи, чрезвычайно хотело сплавить оттуда Суворова. Не очень нравилось пребывание русской армии в Италии и Питту: в связи с мальтийской историей он побаивался закрепления России на Средиземном море. Поэтому с первых же дней после победы при Нови из Вены и Лондона стали горячо просить Суворова заняться завоеванием Швейцарии. Князь Италийский не торопился исполнить это желание и в ответ на просьбы австрийцев бормотал по своему обычаю странные слова, вроде того, что не желает зреть развалины храма Темиры; или говорил, что, боясь дождя, хочет тоже посидеть в унтер-кунфте; или обещал уйти в Швейцарию через два месяца — между тем как через два месяца, с наступлением поздней осени, ни о какой кампании в Альпах не могло быть и речи.

Напротив, в Петербурге план завоевания Швейцарии силами русской армии встретил большое сочувствие. Император Павел тоже изъявил желание, чтобы Суворов изгнал из Швейцарии французов и после соединения со свежими войсками Римского-Корсакова вторгся во Францию через Франш-Конте. План был бессмысленный. Но общее желание союзников, подкрепленное предписанием царя, нужно было исполнить. Впрочем, в трудности этого предприятия было что-то нравившееся и самому фельдмаршалу. Ганни-

бал перешел через Альпы, не имея перед собой врага. Суворов хотел перейти их с боем.

Поджидая мулов, которых обещали доставить и не доставили вовремя австрийские власти, русская армия расположилась в палатках у деревни Таверне. Офицеры очень скучали. Делать было нечего. Женщин в Таверне не было, в соседний город Лугано отпускали неохотно. Занимались главным образом тем, что проклинали австрийцев. Но и это надоело. О походе говорили мало. В успехе его никто не сомневался. Старые люди говорили, что поход будет трудный. Представляли себе, однако, трудности похода очень неясно.

Штааль так и не участвовал в сражении при Нови. О победе союзных армий, о чудесах, показанных в этот день Суворовым, о гибели генерала Жубера, убитого в самом начале боя, Штааль узнал в глубоком тылу. Это очень его огорчило. Но тому его товарищу, который иронически говорил об устроенной Штаалем для себя поездке в тыл, в сражении ядро оторвало ногу. И так как это прошло совершенно незамеченным (несколько человек упомянуло с сожалением в разговоре, а на следующий день забыли и они), то Штааль еще более укрепился в мысли, что надо раз навсегда плюнуть на то, что скажут люди. «У меня хоть ноги будут целы,— размышлял он.— Вот я и не думал беречь шкуру, а милые друзья взвели на меня эту гадость. Так стоило бы, уж коли на то пошло, вправду ее беречь... Ведь хуже не скажут...».

После сражения он вместе со всей армией находился некоторое время на стоянке в Асти и тут увидел наконец вблизи князя Италийского в расцвете славы, в ореоле всеобщего перед ним преклонения. Штааль, как все, восторгался Суворовым, но более не ставил его себе в образец. Как ни обольстительна была слава победоносного полководца, Штааль думал, что достиг он ее ценой шестидесятилетних беспримерных трудов Сам он не хотел ждать так долго и все более приходил к мысли, что его собственное возвышение создастся не на войне. В походе, не имея особенных связей, он в самом лучшем, почти невозможном, случае мог получить два чина и «Анну», как капитан-лейтенант Белле. Конечно, ему очень хотелось получить эти награды (учрежденный Екатериной Георгиевский крест, о котором он долго мечтал, не жаловался в царствование императора Павла), и Штааль был твердо намерен сделать для

этого все возможное и показать при случае чудеса храбрости. Но вместе с тем он видел, что получение наград, после окончания войны, почти ничего не изменит в его жизни. «Ну, разумеется, приятно будет рассказывать, и Иванчук лопнет от злости... И то нет, Иванчук не лопнет. Вот как бы я разбогател, он точно лопнул бы... Ну, еще отношение будет ко мне другое по службе... Ну, в комтуры выйду, не то мне нужно... Нет, карьер надо делать не здесь, а там»,— думал он. Мысли его все чаще возвращались к Петербургу и особенно к Лопухиной. Выход (он говорил даже: спасение) был для него в тех мыслях, которые и раньше приходили ему в голову, но с полной ясностью впервые представились в ложе на балу у князя Безбородко.

Чрезвычайно огорчило Штааля полученное в Италии известие о кончине Александра Андреевича. Он искренне любил князя и теперь с тоскою вспоминал и свои разговоры с ним, и особенно то, о чем он не успел поговорить с канцлером,— старик так много знал и видел. Все это он навеки унес с собой. Кроме того, смерть князя Безбородко рвала связь, которая соединяла Штааля с высшим обществом и с влиятельными людьми Петербурга. Теперь у него в столице больше никого не было. Он был всецело предоставлен себе и жалостно, чуть не со слезами, думал, что если он скоропостижно умрет, то не на что будет похоронить его. «А как прогонят со службы и Семен Гаврилович не пошлет подачки, то через месяц с голоду помру»,— думал он, нарочно в самых унизительных для себя выражениях, как будто кто-то с ним спорил и он вынужден был в ответ употреблять самые настоящие слова, полные неприкрытой жизненной правды. «И ведь не то что каким-нибудь фигуральным манером, а так, по-настоящему, помру с голоду». Штааль перебирал друзей и знакомых, которые могли бы его поддержать, если б он впал в крайнюю нужду. Ближайший друг был Иванчук. «Этот гроша медного не даст и даже не сконфузится, подлец, просто скажет: «Ну, нет, брат», или даже: «Ну, брат, ты меня видно за дурака считаешь!» — думал он, совершенно ясно представляя себе, как это скажет, со своим легким неполным смехом, Иванчук и как он, заторопившись, посмотрит на левую пару часов (правой ведь нет) и немедленно простится с обиженным, недовольным видом. А другие? Рибопьер даст, мальчишка, если будут лишние, да и то больше для того, чтобы меня унизить. Еще кое-кто даст в первый раз какую-нибудь мелочь, а потом пойдут чистые отказы — от тех, кто поблагороднее, с видом сожаления: «Как жаль, я сам как раз сижу без гро-

ша» («ложь, конечно»), а кто погрубее — без всякого сожаления. Все будут избегать как огня, звать стрелком. «Stahl vient de m'extraire dix roubles».— «Comment, encore?» — «C'est pour ne pas en perdre l'habitude...» [1] — так и слышал он разговоры своих друзей. «И вовсе не говорят extraire dix roubles»,— со злобой поправлял он ошибки в воображаемых словах которые произносили воображаемые недоброжелатели. Мысли эти причиняли ему мучительную боль, точно он вправду потерял службу, впал в крайнюю нужду и получал от товарищей отказы в деньгах. Из унизительных мыслей он сделал привычку и незаметно полюбил ее. В такие минуты он ненавидел всех и жизнь представлялась ему борьбой мира с ним, Штаалем, находившимся в полном одиночестве. Потом, в обществе товарищей, настроения эти слабели или даже вовсе рассеивались, особенно за бутылкой вина. Он в походе, как почти все, много пил, гораздо больше, чем прежде. Вкус вина не был ему приятен, но он любил и чувствовал потребность в том настроении благодушия и бодрости, которое давалось вином и которое он (впрочем, не от одного вина) с такой силой испытал в палатке генерала Края. Воспоминание об этом вечере уже стало одним из лучших в его жизни, хоть оно было совсем недавнее. Обычно приятными воспоминания Штааля были либо на следующий день (тогда они очень скоро изглаживались из памяти или переставали быть приятными), либо становились приятны через несколько лет: так, например, почти все связанное со шкловским училищем было чрезвычайно ему дорого. Но вечер в палатке Края, хоть был он всего месяц тому назад, уже стал дорогим воспоминанием и мирил Штааля со всей той скучной прозой войны, в которой проходила его жизнь. День, проведенный в кают-компании «Foudroyant'a», был тоже приятным воспоминанием, но его портило зрелище казни Караччиоло, и особенно слышанный Штаалем вскоре после того в Неаполе рассказ о появлении у борта адмиральского судна тела казненного герцога.

Оттого ли, что были так приятны воспоминания, связанные с обществом иностранцев, или оттого, что он стал подозрительно относиться к своим товарищам, сильно преувеличивая их враждебное отношение, или еще потому, что знание иностранных языков составляло его бесспорное преимущество, которое он рад был выдвигать при всяком

[1] «Штааль хотел вытянуть у меня десять рублей».— «Как, опять?» — «Это чтобы не утратить навыка...» *(франц.)*

случае, Штааль не только не проклинал австрийцев, как другие, но старался держаться их общества. В Таверне, где вся армия расположилась в палатках (немногочисленные избы деревни были отведены высшим лицам командного состава), он поселился с двумя молодыми австрийскими офицерами отряда генерала Ауффенберга (отряд этот, после разделения союзной армии, был присоединен к русским войскам для связи и для того, чтобы засвидетельствовать миру полную солидарность союзников). Австрийские офицеры были милые молодые люди, и с ними, как с чужими людьми, ему казалось легче поддерживать добрые отношения. Общий тон у австрийцев был такой, что, хотя Суворов очень хороший и, главное, очень счастливый полководец, но с его армией дело иметь трудно — уж очень невежественны русские офицеры. Как люди вежливые, австрийцы не говорили этого в обществе Штааля. Но он угадывал это по их разговорам между собой. Впрочем, когда речь заходила о мулах, у австрийцев появлялось несколько виноватое выражение. Но предположение, что из-за этого запоздания может пропасть вся кампания, они называли Unsinn [1]. По их словам, французы не ожидали нападения в Швейцарии. В самом деле, по приказу Суворова из Таверне были отправлены эмиссары для распространения слуха о том, что русский фельдмаршал твердо решил не начинать до весны похода. Слух этот через шпионов должен был дойти до Массена. Австрийцы, так же как и русские, не сомневались в удаче похода. Массена, конечно, отступит при первом появлении русской армии в Альпах.

Штааль с улыбкой вспоминал, что в детстве, встречая в школьных книжках слово «отступление», он представлял себе людей, пятящихся назад лицом к наступающему врагу. В Италии, не видав никогда гор, думая о предстоящем походе, он представлял себе довольно широкую, поднимавшуюся вверх дорогу, вроде тех, по которым он в деревне ездил верхом: по ним особенно приятно было пускать лошадь вскачь, хотя это ее утомляло. Только в Альпах подъем должен был быть круче, этак градусов в тридцать пять. О высоте Альпов Штааль спрашивал товарищей, но получал разные ответы: одни определяли ее в версту, другие в десять верст. Во всяком случае, и десять верст можно было проскакать в полчаса, ну, в крайности, в час. В конце подъема должна была, очевидно, находиться маленькая полукруглая площадка, а за ней начнется спуск: тут уж галопом не поскачешь, можно слететь через голову коня.

[1] Вздор, чепуха (*нем.*).

Впервые Штааль увидел горы в Таверне, но так и не мог разобрать, Альпы ли это или еще не Альпы. Жители в ответ на его расспросы с изумлением называли горы просто Monti, а по карте ничего нельзя было понять. В этих горах, доверху покрытых каштановыми деревьями, ровно ничего не было страшного. Никакого снега на них не было, в снег на горах Штааль плохо верил (в Таверне первые дни было очень жарко). Штааль мысленно вращал горы, как треугольники в геометрии, с тем, чтобы по ровной земле измерить на глаз их высоту,— выходило очень немного. Между тем когда он старался представить себе версту вверх по отвесу, ему становилось страшно. За этими Monti издали (тем, кто отъезжал назад от деревни) рисовались как будто еще какие-то горы, но они были неясные и *неплотные*, точно облака или декорации в театре.

Дивизии в Таверне были перегруппированы. Вместо прежней своей, упраздненной теперь, должности в штабе Розенберга Штааль занял строевую должность в одной из воинских частей, которые в швейцарском походе должны были следовать с самим фельдмаршалом.

Через несколько дней австрийцы наконец доставили мулов, однако в недостаточном числе. Было решено везти провиант и патроны на казачьих лошадях. Говорили, что мысль эту подал фельдмаршалу великий князь Константин Павлович, с которым будто бы во всем советуется *дивный*. Но рассказывавшие это офицеры, при всей почтительности к царскому сыну, усмехались: так было трудно предположить, что князь Италийский не для смеха и не для своей обычной комедии, а всерьез спрашивает совета у двадцатилетнего великого князя. Константин Павлович был, впрочем, популярен в армии. Все сообщали с одобрением, что он отправил в Милан экипажи и для своего багажа велел отвести только несколько лошадей и мулов. Но князь Суворов, добавляли тут же, ничего себе не оставил: фельдмаршал говорил, что у него никакого багажа нет — и слава Богу, а он сам уж как-нибудь перевалится.

V

«О фельдмаршале одно лишь тебе скажу: он один из людей, кои в долгих веках счетны. Чуды, им в сием бессмертном для нашего оружия походе показанные, тебе из ведомостей и реляций довольно известны. Но как ты оных не читаешь, то пишу, что Бог на душу положит. В протчем, кто не видел глазами отверзтых гробов смерти, тому по-

стичь сие трудно. Еще многое ужасное есть впереди на всяком шаге, а всего, сказывают, ужаснее протянутый над безднами в землях швейцарских Чертов мост или по-ихнему Тейфельс-брике. Передо мною в поднебесном воздухе высятся над плавающими тучами неодолимые высоты Альпов, но как я сказал, что мы, под водительством сего непобедимого вождя, взлетим на оные превысокие хребты, как бы орлы. Верь моему слову, и все в один голос в армии так же полагают, что в недалеком времени, преодолев стихии, возьмем мы французские цитадели, армии их изничтожим, простреем действие на Париж, и скоро Лудовик Осьмнадцатый, опровергнутый безумными одноземцами с древнего французского престола, на сей престол, к вящему удивлению света, будет вновь возведен бессмертным мечом Италийского...»

Штааль перечел конец своего письма к Иванчуку и остался доволен. Пожалел, правда, что написал «древнего французского престола»,— лучше было бы сказать «древнего престола французского». Кроме того, Людовик XVIII, собственно, не был королем. Штааль старательно замазал слово «вновь»,— переделав его в толстую черточку. «Опровергнутый» нельзя было исправить, да и не нужно. В начале письма Штааль сообщал о своих успехах по службе и описывал ужасы войны. В разговоре он никак не мог бы выражаться таким слогом, но писать иначе ему показалось бы странно. Такие письма были для него, собственно, главной наградой за все трудности, опасности и лишения, которым он подвергался в походе. Здесь этим он никого не мог удивить. Но на штатских людей в Петербурге описание ужасов войны, очевидно, должно было произвести сильное впечатление. Штааль догадывался, что Иванчук признает его картину приукрашенной. Но так как он признал бы ее приукрашенной все равно, даже если бы в письме была одна чистая правда, то Штааль добавил от себя ужасов, с расчетом на скидку, которую сделают петербургские друзья. Он приписал еще несколько строк и запечатал письмо, соображая, через сколько времени оно прибудет в Петербург. Путешественник, остановившийся проездом в Таверне и согласившийся, как сказали австрийцы, взять с собою письма, ехал, вероятно, в Вену. Оттуда сообщение с Россией было правильное и частое. Письма могли дойти почти так же скоро, как при отправке с курьером. Штааль заботливо и любовно запер письменные принадлежности в походную шкатулку, где для них было предназначено особое углубление, надел фуражку и вышел из палатки. Шел

пятый час. Следовало бы прямо пойти в лежащую верстах в двух деревушку Сиджирино — там было велено всем собраться для ознакомления с изданными фельдмаршалом правилами горной войны. Но путешественник, по словам австрийцев, остановился в розовой избе, сейчас за рекой. Еще можно было поспеть, если идти быстро. Штааль спустился с холма, на котором, недалеко от стоянки мулов, была расположена его палатка, и, минуя единственную улицу Таверне, узенькую, крутую и пыльную Strada Regina [1], направился кратчайшей дорогой, пробираясь по фруктовым садам, к речке Ведежио. День был светлый, нежаркий. Утром накрапывал дождь, но земля уже высохла, и пыль вилась даже в садах. Штааль остановился у мостика, отыскивая розовую избу, — ему нетрудно было узнать ее: за рекой домов было очень немного. Несколько мальчишек обступило иностранца со шпагой. Увидев, что в нем нет ничего опасного, они немедленно направились за ним. Как только Штааль ступил на мостик, мальчишки, точно ждали повода для своего любимого развлечения, сбежали в воду, с отчаянным видом размахивая руками, и по камням с криками перешли на другой берег; река была довольно широкая, но глубиной не более фута. Офицер не делал ничего необыкновенного и быстро шел дальше, не оглядываясь и не вступая в разговор. Мальчишки разочарованно перебежали назад. Штааль свернул к избе. Она в самом деле была странного розового цвета. Из трех ее окон одно было глухо закрыто доской, другие два, с отодвинутыми зелеными ставнями, задернуты белыми занавесками. Наверху над ними в стене было еще одно крошечное оконце, закрытое какой-то сеткой. Перед ним на полочке стоял горшочек с цветами. На каменной скамейке, под веревкой с сушившимся бельем, сидела старуха хозяйка. Штааль заговорил с ней по-итальянски. Но она, по-видимому, знала, что ему нужно (с утра в избу беспрестанно приходили с письмами офицеры), и, перебив его, ворчливо сказала, что русского синьора нет дома, а письмо можно отдать синьоре: надо постучать в окно.

«Так это русский?» — подумал Штааль. Без причины сердце его вдруг застучало. Заторопившись, он вынул из кармана письмо и отдал старухе с просьбой передать синьору, когда тот вернется. Старуха ворча встала, вытерла руки о фартук, недоверчиво взяла письмо за угол двумя пальцами и постучала в ставень самого большого из окон, при-

[1] [illegible]ца Коро[illegible] ([illegible]).

держивая ставень рукою с письмом. При этом лицо ее стало ласковым и заискивающим: очевидно, она была довольна постояльцами. В избе послышался шорох. Штааль уставился в окно с волнением, которое потом очень его удивляло. Что-то мелькнуло, занавеску отдернули. Он чуть не вскрикнул: перед ним была Настенька.

Штааль тотчас узнал ее, хотя изменилась она чрезвычайно. Она протянула руку за письмом, жмурясь, бегло взглянула на Штааля, сказала ласково: «Будьте покойны, ежели доедем, отдадим непременно...» — и вдруг стала белее занавески. Старуха глядела на них с недоумением. Штааль сорвался с места, быстро открыл дверь и вошел в избу. Рыжая кошка бросилась в сторону. На него пахнуло сырой прохладой. Настенька окаменело стояла у стены, с письмом в руке. Он с порога смотрел на нее и видел с ужасом, как она изменилась... «Эти отяжелевшие губы!..» Штааль не находил в себе следов прежней любви. Перед ним был чужой человек, с которым нужно было вести тяжелый разговор. Но он чувствовал, что было что-то красивое и поэтическое в этой его остановке на пороге комнаты. «Эх, сапоги запылены...»

Он подошел к ней, взял ее за руку... «Поцеловать? Нет, еще не надо...»

— Как вы сюда попали? — деревянным голосом спросил он.

Настенька долго не могла ответить.

— Мы из Неаполя,— прошептала она наконец, удерживая рыдания.

— И он здесь?

Она кивнула головой. Штааль не знал ни что делать, ни что говорить.

— Я тоже из Неаполя. Где же вы там были?

— Не знаю... В кре... Вы на войну едете?

— С войны и на войну. Завтра утром уходим в горы.

Они молчали.

— Так что же вы? Как вам...— начал он и остановился. Настенька отвернулась и зарыдала, выронив письмо и закрыв лицо руками. Штааль поднял письмо, подул на него («жалко, запачкалось»...) и положил в кучку писем, лежавшую на столе. На верхнем конверте было написано: «Гедвиге Альбертовне, баронессе Каульбарс».— «Какая это баронесса Каульбарс?.. Смешное имя Гедвига Альбертовна,— подумал он.— Надо, однако, подойти к ней». Он приблизился к Настеньке и легко потянул ее руки от лица.

— Не надо плакать,— сказал он шепотом.

Настенька, вздрагивая, закусив распухшие губы, вытерла глаза платком.

— Вы... не переменились. Такой же, как был... А я?

— И вы мало переменились.

— Неправда... Я знаю...

Она опять заплакала. Он думал, как ужасно она изменилась,— «что же теперь будет»? Думал, что старуха за окном все слышит, что могут прийти другие офицеры с письмами, что он теперь, наверное, опоздает на службу. Настенька рыдала все сильнее. Он оглянулся, нет ли воды. С интересом все рассмотрел: закопченный потолок на черных тяжелых бревнах, огромный очаг, над ним раму с развешенной медной посудой («верно, это у них считается главным украшением»), две косы в углу, какую-то рухлядь на стене, сундуки, перевязанные толстыми веревками. «Этих сундуков у него прежде не было». На столе стояли зеленый графин и кружка. Штааль вспомнил, что именно это и было ему нужно. Он взял графин — в кружку полилось молоко. Штаалю стало смешно. Он вышел на порог и спросил воды у хозяйки. Старуха зачерпнула кружкой в бочке и подала ему, неодобрительно и вместе радостно на него глядя. Штааль вернулся и нежно подал Настеньке кружку. «Что ж теперь? Эх, досадно, опоздаю... Достанется...»

Он оторвал ее руки от лица и поцеловал ее, сначала в руку, затем в щеку. Вдруг запах «Вздохов Амура» ударил его. Он увидел Петергофскую дорогу, Большой канал... Штааль точно теперь лишь узнал Настеньку. Рыданье внезапно подступило у него к горлу. Он сел, посадил ее к себе на колени, чувствуя прилив любви и нежности. Настенька схватила его за голову и стала покрывать поцелуями.

— Смотри, чтоб тебя не убили...

— Буду стараться,— ответил он без улыбки.

— Когда вы уходите?

— Завтра в шесть. Война скоро кончится... Мы увидимся в Питере...

Штааль никогда не говорил «Питер» вместо «Петербург» и не мог понять, каким образом у него сорвалось в такую минуту развязное слово. Об этом Питере он потом долго вспоминал, болезненно морщась.

Настенька высвободилась и встала.

— Как вы могли тогда меня бросить?

Она всплеснула руками:

— Да разве я... Ну, да что об этом говорить!..

— А он где же? — спросил с вспыхнувшей вновь злобой Штааль.

— Скоро придет... Не знаю

В стекло постучали. Настенька вздрогнула. Старуха закивала головою, радостно бегая глазками по комнате мимо них. К ее неодобрительному выражению примешивалась теперь готовность участвовать в заговоре против старого синьора. Понизив таинственно голос, она сообщила, что пришли еще офицеры. Настенька снова вытерла слезы и, подойдя к окну, сказала ласково, чуть отвернувшись:

— У вас тоже письма? Будьте покойны, ежели доедем, отдадим...

— Ах, премного обяжете, сударыня,— галантно сказал за окном голос. Один из офицеров шагнул вперед, другой, помоложе, остался поодаль. Штааль был знаком с обоими. Ему было приятно, что они его застали с Настенькой. По лицу офицера проскользнуло удивление. Он весело подмигнул Штаалю и сказал тихо:

— А вчера, кто опоздал, тем попало на орехи...

Настенька услышала его слова.

— Да ведь у вас, верно, служба? Так вы с ними пойдите. Да и мне недосужно,— произнесла она неестественным голосом.

Офицер подмигнул еще веселее. Штааль покраснел и нахмурился. Ему было досадно, что она сказала «с ними».

— Я подожду... Я сейчас,— сказал он офицерам, точно они настаивали на его немедленном уходе. Офицер улыбнулся весело, отдал честь и отступил от окна.

— Нет, нет, идите и вы, сударь,— сказала громко Настенька, тем тоном, которым она когда-то говорила на сцене.— В походе опаздывать не годится.

Подчиняясь ее тону, Штааль поцеловал ее руку и быстро взглянул в окно: офицеры со смехом шли к реке. Штааль быстро отошел от окна, крепко обнял Настеньку и *выбежал* из избы. Несмотря на то что он был тронут и взволнован, он следил за собой: не вышел, а выбежал и на пороге оглянулся в *последний раз* на Настеньку. Но старухе он не догадался дать на чай и услышал вдогонку ее злобное бормотанье. «Вернуться, дать ей?.. Бог с ней, не надо возвращаться»,— подумал он, нагоняя у речки офицеров. Они что-то весело говорили, о чем-то его спрашивали. Но он плохо понимал и улыбался неопределенно, чувствуя, что случилось событие очень важное и неясное, о котором еще говорить не надо.

— Шагу, дети, шагу,— сказал бойкий офицер, сворачивая вправо на Strada Regina. Им навстречу в сопровождении свиты мальчишек, испуганно следовавшей поодаль, шел

высокий штатский человек в плаще. Он оживленно жестикулировал и говорил сам с собою вслух. Офицеры смотрели на него с недоумением. Штааль узнал Баратаева — на ходу переменил ногу и не успел сообразить, что нужно делать, как тот уже оказался далеко. Мальчишки разбились: часть пошла за странным стариком, часть — за молодыми в мундирах.

— Полоумный какой-то,— сказал один из офицеров, не понижая голоса.

— Ну, ты потише,— весело прошептал другой.— Смотри, письма не передаст папаше, вот ты и денег не получишь.

— У тебя возьму взаймы.

— И не отдашь.

— Отдам на том свете угольками.

VI

К вечеру погода испортилась. Небо густо заволокло тучами, стало холодно, и пошел осенний дождь, который, видимо, зарядил надолго. Офицеры разошлись по палаткам раньше обыкновенного. Встать надо было в четыре утра, и еще требовалось уложить вещи. Велено было весь багаж, в изобилии привезенный из России богатыми людьми, отправить на склады в Лугано, а с собой взять только самые необходимые вещи, продовольствие и теплое платье. Между офицерами шел долгий спор, какие вещи считать самыми необходимыми и какое взять продовольствие. Один из австрийцев, живших с Штаалем, в этот день съездил в Лугано и привез оттуда то, что ему представлялось необходимым: здесь были и окорок, и колбаса, и бисквиты, и шоколад, и банки с разными консервами, и немалое число бутылок. Была даже какая-то громадная птица в желе. Австриец объяснял, что в горах, все говорят, холодно, птица, наверное, не испортится в несколько дней и очень может пригодиться. Напитки тоже имели каждый свое назначение; одни согревали, другие освежали: если в горах было холодно, то за горами в долинах могло быть и жарко, а в Швейцарии вино отвратительное. Когда запасы были сложены и завязаны, оказалось, что везти их с собой невозможно. Пришлось снова все развязать, а так как бросать не хотели, то с семи часов началось уничтожение запасов, в котором приняли участие офицеры из соседних палаток. К концу вечера из того, что было решено взять с собой, оставалось не более половины, и гостеприимный хозяин,

бывший немного навеселе, объяснял, что на верховой лошади все равно ничего не увезешь, а докупить можно будет и в дороге.

Штааль, опоздавший к сбору и получивший выговор, вернулся домой поздно. В палатке уже горел фонарь, было грязно и мокро. Хозяева и несколько человек гостей играли в тарок перед бочонком, на котором стоял фонарь. Играли весело, с прибаутками и с остротами. Веселье и беспорядок в палатке, брошенные пустые бутылки и банки, запах еды и гари неприятно подействовали на Штааля. Гостеприимный австриец, на минуту оторвавшись от карт, любезно спросил его, отчего он в плохом настроении. Как всегда бывает, вопрос этот немедленно твердо установил и усилил дурное настроение вошедшего, которое без того, быть может, скоро рассеялось бы. Штааль кратко ответил, что, напротив, он, как всегда перед походом, в самом лучшем настроении, в изысканных выражениях отказался от вина (хотя ему хотелось выпить) и, отойдя к своей койке, стал демонстративно хмуро укладывать в одеяло вещи. Укладывал он их плохо, и криво завязанный ремнями узел имел некрасивый раздражающий вид. Один из ремней сползал на узкий край одеяла: было ясно, что все тотчас развяжется. Но Штааль удовлетворился понесенным трудом, положил узел на койку и лег наискось, так что ноги висели над краем койки. Ему хотелось снять мокрые сапоги, но это было слишком утомительно, да и неловко при гостях. Он собирался подумать о том, что с ним случилось, но отложил это до наступления ночи. Штааль все больше сердился на гостей и на своих сожителей. Слушал, как они переговаривались, играя, и думал, что прибаутки их не остроумны: вероятно, так же шутили за тароком их деды и прадеды. Гости почувствовали недоброжелательство одного из хозяев, да и час был поздний: игра скоро кончилась, офицеры стали расходиться. Перед пологом палатки они плотно закутывались в плащи и как по команде говорили: «Allewetter!..» [1] Это восклицание казалось Штаалю очень глупым.

Австрийцы-хозяева, переговариваясь вполголоса из уважения к дурному настроению Штааля, разделись и легли. Затем один приподнялся и, что-то пробормотав, задул фонарь. Штааль разозлился, что австриец это сделал, не спросив его,— хоть и было ясно, что свет не нужен человеку, лежащему на койке с закрытыми глазами и с измученным видом. Штааль хотел было вновь зажечь фонарь, но разду-

---

[1] «Черт побери!» *(нем.)*

мал, сел на постель, снял мундир и, приготовившись к большому усилию, стащил с себя узкие мокрые сапоги, не прикасаясь к ним руками. Морщась от боли над пятками, он снова лег. Ногам было холодно. Штааль подсунул их под край узла. Так ему показалось лучше. Он устало вытянулся назад головою и облегченно подумал, что перед ним еще несколько часов отдыха. Теперь можно было обсудить то, что случилось. Он собрал мысли, колеблясь, с чего начать обсуждение. Но внимание его тотчас отвлек узел, давивший на левую ногу. «Надо бы поправить... А то развязать и вытащить одеяло? — спросил он себя.— Нет не стоит... Да, да, надо теперь же все обдумать как следует. Потом будет некогда... Завтра ночуем в Мурильо... Нет, черт, в Айроло. Мурильо — это живописец... Еще я какую-то божественную картину видел у Александра Андреевича — жаль старика... Что же Иванчук теперь будет делать? Ну, он не пропадет — и деньжонок, верно, перебрал у покойного немало. Крал он или не крал? Верно, крал... Ну и пусть, мне-то что? Зато он теперь вольный человек, не то что я... А я вот и не крал, а быть может, и обо мне так говорят... Ну нет, этого не говорят... Так как же Настенька? Надо обдумать...»

Его разбудил грохот барабанов. Один из австрийцев встал, разразился проклятьями, приоткрыл полог палатки и принялся поспешно одеваться. Едва рассветало. Было очень холодно. За пологом слышалось падение редких капель дождя. Слева от палатки шум был другой — там, очевидно, стояла большая лужа. Когда австрийцы вышли, Штааль оделся, стуча зубами от холода. Умыться было невозможно. Он провел по сухим волосам сухим гребнем, вырвал несколько волос, подошел к бочонку, на котором стояли остатки ужина. Ни есть, ни пить ему не хотелось. Голова была тяжелая. Барабан все мучительно гремел. Штааль зевнул, сунул зачем-то в карман лежавшую на бочонке колоду карт в футляре и взял с постели свой узел. Ремень тотчас сполз. Штааль ожесточенно его поправил, как умел, надел плащ и вышел из палатки. Земля совершенно размокла: дождь шел всю ночь. По холму вниз пробегали офицеры, на ходу оправляя под плащами мундиры и шпаги.

Барабан замолк. Становилось светлее. С холма были видны на дороге небольшие отряды казаков, уже выезжавшие вперед по направлению к горам. Какой-то офицер кричал что-то страшным горловым голосом, как во всем мире умеют кричать одни немцы: оказалось, что один из

казаков, будто бы больной, не явился к сбору — его пришлось оставить в Таверне до выздоровления [1].

Штааль занял место у своей роты. Перед ней незнакомый полковник штаба, видно в десятый раз, пропускал одну за другой колонны, читал приказ с сильным кавказским акцентом, вызывавшим улыбки офицеров. Большинство солдат смотрело на читавшего, не понимая ни слова или понимая все по-своему. Раздалась команда. Колонна двинулась. Порядок соблюдался не строго. Офицеры ехали где кто хотел. У поворота дороги стояла кучка тавернских жителей. Они радостно прощались с войсками и выкрикивали непонятные слова приветствия. Штааль проехал дальше и оглянулся назад, прощаясь с деревней. Ему стало жалко, что он никогда больше ее не увидит. Приподнявшись в стременах, он смотрел в направлении розовой избы и вдруг увидел Настеньку шагах в двадцати от себя, в кучке людей, стоявших у поворота дороги Она смотрела ему вслед. В ту же минуту ее заслонили мулы, выезжавшие вперед с легкими горными орудиями. Штааль успел только увидеть, как она отшатнулась со всей кучкой, чтобы не быть забрызганной грязью. Мулы скакали смешным галопом, переступая обеими задними ногами сразу за следы передних. Солдаты удивленно смеялись. Впереди заиграла веселая музыка. Суворовская армия начинала поход.

VII

Пастух, приносивший из Айроло разные продукты в странноприимный дом, расположенный на вершине Сен-Готардского перевала, с риском для жизни гнал вверх своего мула. Он хотел первым сообщить настоятелю, что в горы, по направлению к убежищу, поднимается огромная московитская армия, под начальством царского сына и престарелого князя Сульвара. Но пастух напрасно так торопился Капуцины, содержавшие странноприимный дом, уже знали новость и растерянно о ней говорили

Они очень смутно понимали то, что делалось *внизу*. Известия не скоро и не часто доходили в убежище, расположенное на высоте семи тысяч футов над землею Монахи,

---

[1] Казак этот навсегда остался в деревне, женился на местной уроженке и положил начало доброй швейцарской семье, принявшей фамилию Лерюсс. В бытность свою в Таверне пишущий это, заинтересованный редким случаем «эмиграции», тщетно пытался, расспрашивая стариков, деды которых помнили Суворова, разыскать потомство тавернского казака.— *Автор.*

жившие десятилетия на вершине страшного перевала, почти никого не видали, кроме путников, которых ночь заставала в горах. О войне, причинившей им много бед, они узнали без всякого интереса: французы были безбожники, а русские — еретики.

В этот день все утро в монастырь доносился снизу отдаленный гул выстрелов, повторяемый горным эхом. К полудню в странноприимном доме появился небольшой французский отряд. Офицер предупредил монахов, что русская армия собирается перейти через Сен-Готард, и приказал немедленно уничтожить все запасы. Старик настоятель беспомощно улыбался, слушая этот приказ: какие запасы могли быть для армии в странноприимном доме? Начальник отряда сам это понял. Военный долг, собственно, предписывал ему сжечь дотла монастырь. Офицер был свободомыслящий и не любил монахов. Но на него подействовала мрачная поэзия убежища. Он представил себе людей, застигнутых зимней ночью в горах, и приказал своим солдатам не трогать странноприимного дома.

Сам он занялся непонятным делом. На гору втащили какой-то треножник с высокими шестами, офицер поднялся на лесенку и долго передвигал на шестах деревянную ручку. Солдаты объяснили капуцину, который принес лесенку, что это новое французское изобретение — телеграф, что офицер передает сигналы главнокомандующему и что к вечеру его донесение будет известно в Париже. Но рассказывали они это без большой уверенности в тоне. Капуцин не поверил ни одному слову. Кончив свое дело, офицер строго приказал монахам не давать русскому генералу никаких сведений и поспешно удалился со своим отрядом по направлению к Госпенталю. Гул выстрелов стих к середине дня. В это время и прибыл пастух. По его словам, московитскую армию можно было ждать к вечеру. Монахи поспешно загнали в хлев коров и посадили на цепь собак.

Уже наступала темнота, когда вдали послышался глухой гул. Настоятель приказал звонить в колокол и, надев на голову капюшон, вышел с братией из убежища. Гул все усиливался. Лаяли собаки. С радостным карканьем пронеслась огромная стая ворон. Через несколько минут слева на тропинке показались люди с ружьями в руках, ехавшие гуськом на маленьких лошадях. Они постояли с минуту, всматриваясь в убежище, затем повернули назад и скрылись. А еще через минут пять из-за огромных каменных скал, лежавших у поворота спускавшейся в Айроло дороги, медленно стала вытягиваться длинная бесконечная лен-

та конных и пеших людей. Измученно они шли один за другим: по Сен Готардской тропинке трудно было идти рядом двум человекам. День как раз кончился. Видный днем на этих высотах бледно-серый ватный полукруг луны быстро наливался золотом.

Монахи зажгли фонари и, опираясь на высокие палки, пошли вниз по дороге навстречу наступающей армии. Пройдя шагов двести, они остановились. К ним шагом подъезжал седой старик в плаще поверх белой рубахи. Несмотря на его странный костюм, настоятель тотчас увидел, что это главный начальник армии. По возрасту он не мог быть царским сыном. Монах понял, что это и есть князь Сульвара. Приблизившись и рассмотрев с видимым любопытством процессию, русский князь слез с лошади, отдал поводья угрюмому старику, который по этой дороге умудрялся идти пешком рядом с ним, и почтительно подошел под благословение к настоятелю. Лента людей на мгновенье стала неподвижной.

Войска стягивались более часа. Человек десять генералов могли найти приют в убежище. Армия расположилась в котловине, на берегах крошечных озер, окружавших странноприимный дом, и дальше по склону гор. Некоторые из офицеров не решались подойти ближе к убежищу — их напугал вид этих шедших с фонарями, под колокольный звон, мрачных бородатых людей с высокими палками, в коричневых рясах, подпоясанных веревками, в остроконечных капюшонах, в сандалиях на босую ногу. Развести огни было трудно, деревья не растут на Сен-Готардском перевале. Казаки снесли деревянный хлев и зажгли костры на камнях на берегу озер. Кто мог, устроился у огня.

Штааль, пришедший в котловину одним из последних, не нашел места у костров. Еле передвигая ноги, он бродил, отыскивая уголок, где можно было бы лечь. Штааль дошел до того последнего предела усталости, когда уже не хочется ни есть, ни пить, ни спать. Он весь промок, ноги мучительно болели, в сапоги проникла вода: между камнями Сен-Готардской дороги была покрытая мхом болотистая земля, в которой нога увязала по щиколотку. Побродив с четверть часа и не найдя места для ночлега, он измученно опустился на первый камень, бросил на мокрую землю то, что еще оставалось от узла, и долго сидел неподвижно, болезненно вспоминая ужасы перехода.

Ровно как ножом срезанный полукруг луны горел ослепительным синеватым светом. В бездонном сером прорезе между двух каменных волн бледно сияли звезды. Горы, сливаясь с тенями, возвышались по сторонам над перевалом — казалось, что огромные чудовища прилегли, выпятив горбатую спину, прижавшись к земле хвостом и головою. Вокруг одного из чудовищ, как змея, вилось кольцами черное облако. На склоне, внизу, сверкнула и исчезла блестящая золотая нитка: мимо узкой горной струи кто-то прошел с фонарем. Камни, тысячелетиями неподвижно лежавшие в котловине, придавали ей вид огромного магометанского кладбища. Вода озера быстро дрожала в черной каменной чашке. Становилось все холоднее. Гул затих, костры догорели. Все уже спали. Пепельные пятна снега посинели и растворились. Змея оторвалась от горы и поползла отвесно вверх. Крутой горб чудовища обнажился, точно очерченный черным карандашом. Штааль представил себе человека на вершине горба — и ему стало страшно. Зубчатое темное облако вдруг повернуло, валом надвинулось на луну, концы его на мгновенье вспыхнули Затем все потухло. Фиолетовая ночь стала черной.

«Скорей бы вниз! Ничего вправду нет красивого в этом кладбище»,— тоскливо подумал Штааль, вспоминая, что солдаты с отвращением и ужасом говорили о горных видах, которыми еще восхищались (хоть все меньше) офицеры. Он с усилием поднялся с камня Слева, рядом с пятиугольной стеной убежища, мерцал странный, непонятный, повисший в воздухе огонек. «Не пойти ли туда, к капуцинам? — спросил себя Штааль, стуча зубами от холода.— Может, пустят?..» Идти было неловко и просить неприятно. Вдруг где-то закаркала ворона, и сразу мысль о ночи на камне разрешила сомнения Штааля. Он поднял узел и пошел, пошатываясь, к убежищу. В нескольких шагах от него тихо-вкрадчиво зазвонил колокольчик. Штааль попятился назад: на него медленно двигалось что-то странное, рогатое. «Совсем измоталась душа»,— подумал он: корова — единственная оставленная в живых провиантмейстером армии — растерянно моталась по котловине, бренча подвешенным к ней на кожаном хомуте колокольчиком. Штааль из последних сил ускорил шаги и приблизился к странноприимному дому. Повисший в воздухе огонек оказался фонарем на длинных стержнях. В окнах было темно. Штааль остановился перед тяжелой дубовой дверью и нерешительно потянул висевший сбоку на веревке деревянный крест. Раздался слабый звонок, затем послышались

торопливые шаги. Монах со свечой в руке открыл дверь, испуганно вгляделся в позднего гостя и, придерживая дверь рукой, выслушал его сбивчивую просьбу.

— Где же вас поместить? — сказал он на швейцарском наречии.— Мы были бы рады, но, вы сами понимаете, все занято.

В ермолке, с зеленым передником, со спущенным на спину капюшоном, с уютной восковой свечою монах нисколько не был страшен. Вид у него был добродушный и испуганный. Ветер вдруг ворвался в убежище и задул свечу. Капуцин, тяжело вздохнув, отступил на шаг и выпустил дверь из рук. Штааль счел это приглашением. Он переступил порог, сбросил узел на каменный пол и в изнеможении прислонился спиною к стене. Монах, поднявшись по небольшой лестнице, засветил свечу о ночник. За лестницей шел узкий каменный коридор с рядом невысоких тяжелых дощатых дверей. Над каждой висела еловая ветка. Внизу в дверях были проделаны узкие отверстия. Пахло сыростью погреба и — едва слышно — ладаном.

— Нет места, все занято,— сказал решительно капуцин.

— Может быть, здесь в коридоре?..— спросил дрогнувшим голосом Штааль.

— Нет, здесь нельзя,— испуганно ответил монах.

— Тогда простите, что вас потревожил,— проговорил отрывисто Штааль, стуча зубами.

Капуцин вгляделся в его измученное, посиневшее лицо.

— Как же быть, если вы больны? — сказал он, хоть Штааль ни слова не сказал о болезни. Монах, очевидно, искал законной причины для того, чтобы исполнить его желание.— В самом деле, очень холодная ночь.

Он подумал и подошел к полке под второй лестницей. На ней стояли лампы, подсвечники, что-то еще. Отыскав ключ, капуцин отпер маленькую дверь против лестницы, протянул в чулан руку со свечой и повернулся к Штаалю.

— Разве здесь поместить вас? — сказал он неуверенно.

Чулан был крошечный, с покатым потолком, с которого спускалась толстая веревка. Воск полился со свечи, пламя потянулось к двери, вниз: ветер сильно дул сверху. Штааль увидел, что веревка проходила через сделанное в потолке отверстие. В чулане было крошечное окно. Это Штааль заметил позже — теперь он видел лишь одно: в каморке можно было лечь. Он горячо поблагодарил монаха.

— Что ж, я думаю, вы можете здесь провести ночь? — сказал капуцин. — Мы отсюда звоним. Веревка идет к колоколу, что над крышей дома.

Он вернулся к полке, зажег другой фонарь и поставил его на пол чулана.

— В самом деле, очень холодно, — повторил он, все еще убеждая себя в том, что иначе поступить было невозможно.

Штааль продолжал благодарить. Капуцин, очевидно тронутый, куда-то поспешно вышел. Через минуту он принес толстое коричневое одеяло, благодушно взглянул на гостя, видимо ожидая новых изъявлений восторга, затем пожелал доброй ночи и удалился. Штааль внес в чулан свой узел, запер дверь и с наслаждением принялся устраиваться на ночь. Повернуться в каморке было очень трудно. Но крошечные размеры и делали ее уютной. Он разостлал на полу одеяло, осторожно поставил фонарь так, чтобы не наделать пожара, затем снял сапоги, из которых полилась вода, вытер ноги, лег и закрылся плащом, подоткнув под себя края. Было все-таки очень холодно: видно было дыханье. Штааль встал, развязал узел и попробовал заткнуть платком отверстие в потолке, осторожно придерживая рукой веревку у края дыры. Как только он лег, платок вывалился, пламя свечи метнулось вниз. Штааль с проклятием закутался снова в плащ.

VIII

Он лежал с полчаса, не закрывая глаз, подложив под голову руки, чтобы согреть их. Вдруг он растерянно приподнялся на локте, — вспомнил, что не завел часов. Почему-то это чрезвычайно его испугало. Штааль поспешно наклонился к фонарю, так что на лбу почувствовал приятный жар свечи, разыскал ключ и завел часы, убедившись, что они не промокли в кармане. Грея руки над свечой, он стал соображать, какие еще вещи остались целы, — и внезапно, с невыносимым ужасом, увидел перед собой ту часть Сен-Готардской тропинки, где впервые на его глазах, шагах в двадцати расстояния, лошадь оборвалась в бездну. Он не слышал падения ее тела, слышал только глухой стон, пронесшийся по цепи солдат. Тропинка в этом месте имела не более шага в ширину. Штааль сам не понимал, как он мог здесь пройти, — у него в Петербурге кружилась голова на высоких балконах. Помнил, что впереди него перед этим местом казак сполз с коня назад

через хвост, так как набок слезть было невозможно: слева была отвесная стена, а справа — бездна. Помнил, что он сам прополз по этому страшному месту, прижавшись к скале и судорожно вцепившись в руку шедшего впереди солдата. Свою лошадь, с привязанной к седлу шкатулкой, он отдал знакомому артиллеристу еще в самом начале перехода, как только увидел, что такое Альпы. Потом на глазах Штааля падали в бездонные пропасти не только лошади, но и люди. На это в конце перехода уже почти не обращали внимания.

Суворов всю дорогу ехал верхом впереди, в старом плаще, который в армии именовался родительским. В самых ужасных местах фельдмаршал проезжал над пропастями так же хладнокровно, как проходили над ними таверяские мулы. Он и теперь не остался на ночь в убежище, а, пообедав с монахами, в сопровождении проводника Гаммы и конвоя зачем-то вернулся в Айроло,— говорили, по делу, но скорее всего для того, чтобы ободрить своим примером солдат, которых сильно напугали Альпы, или чтоб крепче закалить самого себя (ему еще казалось мало). Об этом возвращении семидесятилетнего старика по такой дороге темной ночью Штааль не мог подумать без смешанного чувства ужаса, удивления и гордости. «Нет предела человеческой храбрости... Да, все беспредельно в людях»,— думал Штааль, с содроганием вспоминая, как на его глазах казаки перестреляли пленных французов: делать с ними было нечего — припасов не хватало и для своих. «Чудеса храбрости, чудеса стойкости, зверства, самоотвержения, жестокости, безумия — это и есть война... Такова и жизнь, только в ней все мельче. Война — ускоренная, удесятеренная жизнь... Поэтому мы и любим ее так. Да, и я люблю ее. Люблю войну со всеми ее ужасами — лишь бы только пройти через это и остаться в живых и потом знать это за собою...»

В развязанном узелке еще были съестные припасы. Ему не хотелось есть, но одинокий ужин в холодной каморке имел в себе печальный уют, которым он утешался. Оставались в свертке бисквиты, ослиная колбаса, немного рома в фляжке и несколько огарков. Штааль приложил фляжку к губам и отпил большой глоток — пить так без стакана было тоже приятно. Затем он откусил кусок колбасы и — вдруг почувствовал волчий голод. Штаалю стали приходить на ум необыкновенные блюда с необыкновенными названиями — горб бизона, посыпанный порохом вместо соли, еще что-то такое. В узелке очень скоро ос-

тались одни огарки. Тепло медленно лилось от обожженного горла к ногам, которые теперь только отошли. Штааль был все еще измучен, но уже другой усталостью. «В шкатулке есть еще фляжка... Жаль, что нет шкатулки. Ну, да тот завтра отдаст,— подумал он.— После Чертова моста отдаст, если не убьют ни меня, ни его».

Чертов мост считался самым опасным местом похода. Здесь французы должны были оказать отчаянное сопротивление. За мостом, по сообщению австрийского штаба, противник уже нигде не мог закрепиться. А у Альтдорфа, на Люцернском озере, союзники заготовили флотилию, которая в полной безопасности должна была перевезти куда-то армию на соединение со свежими войсками Римского-Корсакова. Главное было уцелеть на Чертовом мосту. До него теперь было совсем близко. Офицеры знали от проводников общее устройство этого места. Сначала шла длинная узкая дыра, пробитая в горе: Urnerloch. Она вела в Чертову долину. Там над водопадом был переброшен мост. «Да, скорее всего, завтра в этой дыре и убьют»,— думал Штааль. Мысль эта теперь не была ему неприятна. «Ну и убьют, одним будет меньше»,— презрительно сказал он вслух. В душе он не верил, что будет убит, и думал о предстоявшем дне не как о конце жизни, а, напротив, как о начале чего-то нового. Самое название Чертов мост ему нравилось и волновало его, будто мост этот был какой-то аллегорический, вроде тех, что бывают в старых умных книгах. «Да, мост в новую жизнь... Разве я знал прежде, что такое жизнь? Разве они в Петербурге знают?..»

Он внезапно почувствовал беспокойство — в его сознании проскочил вчерашний *Питер*. Штааль вспомнил, что еще не подумал как следует о своей встрече с Настенькой. Но здесь, в чулане убежища капуцинов, после перехода по Сен-Готардской тропинке, он ясно чувствовал, что все это: и неожиданная встреча, и сама Настенька имеют очень мало значения — это было уже далекое прошлое.

«Старик Ламор говорил мне когда-то: не бойтесь вы женщин, которые ревнуют, делают сцены, угрожают, мстят. Бойтесь женщин, которые тихо и кротко любят... Эти — чума... Вот и Настенька такая, она не виновата, конечно. Но и я тоже не виноват... Как, однако, я мог тогда так огорчаться в Милане?» — спрашивал он себя и, к удивлению своему, не чувствовал прежней ненависти к Баратаеву. Это было и приятно, и немного обидно. «Да ведь, если говорить откровенно, старик был прав или почти прав. Как же ему было поступить с мальчишкой, отбившим у

него содержанку?..» Штааль нечаянно употребил в мыслях слово «содержанка» и — тотчас почувствовал, что теперь, с этим словом, все было кончено. Никакой любви к Настеньке больше не могло быть. «Как она изменилась! Что он с ней сделал! Она и говорит теперь по-иному... «Мне недосужно» — это ведь его слово, я помню. Сколько ей теперь лет? — думал он.— Тридцать? Не боле». С цифрами женского возраста у Штааля почему-то связывались странные, довольно определенные представления: шестнадцать лет означали задорную шаловливость, семнадцать — мечтательную ласковую грусть, девятнадцать — порывистую задумчивость; восемнадцать лет почти ничего не означали или что-то очень тонкое, стройное, уходящее вверх. В двадцати пяти годах была неприятная развязность (гораздо лучше было иметь двадцать шесть лет). С цифрой тридцать лет ничего не связывалось. «Да, ей тридцать, не боле. Ведь всего два года прошло... Случай нас с ней столкнул, случай и развел. Всегда так... Где Коля Петров, где Дюкро, где Зорич, где Воронцов? Ведь и они, тогда казалось, были тесно связаны с моей жизнью. Были и нет их... Все, все случай. Так и завтра в Чертовой дыре убьет меня случайная пуля. Настенька поплачет, потом полюбит другого... Ну и пусть...» Штааль ясно себе представил, как придет в Петербург известие об его смерти. Никто не мог особенно огорчаться. Но приятную печаль Штааля усиливало сочетание слов, которые должны были появиться в ведомостях против его имени и чина: «...пал в сентябрьском на Чертовом мосту сражении».

«Ну а как не убьют? Да, это будет началом моей новой жизни... Мост в новую жизнь. Чертов мост в новую жизнь... Теперь я знаю, что все можно»,— думал он, еще раз вспоминая, уже без всякого содрогания, как казаки приканчивали отбивавшегося на земле, кричавшего страшным голосом француза. Снова, непонятно связанный с этим воспоминанием, перед ним появился проезжавший над бездной Суворов. «Да, я устроюсь по-иному, теперь я буду знать, что надо делать,— тревожно и радостно говорил себе Штааль.— Теперь мне все равно, что *они* будут говорить... Никому до меня нет дела, и мне не будет дела до других. Главное, жить так, чтобы ни в ком не нуждаться, чтобы во мне нуждались другие, чтоб меня боялись, чтобы мне завидовали. Теперь пойдет по-иному. И война только для того была нужна, чтобы мне понять все это... Не бой интересен, интересен человек в бою...»

Огарок в фонаре затрещал, тень пробежала по чулану.

Штааль повернулся на бок, высвободил руку из-под шинели, зажег другую свечу, задул выходивший из подсвечника, купавшийся в растопленном сале фитилек, морщась, вытащил его за остывший кончик и укрепил новую свечу в фонаре. Усилие это его утомило, а еще надо было вытереть пальцы: «О шинель или об его одеяло? Об одеяло, конечно, монаху все равно...» Повернуться опять на спину требовало слишком большого труда. Но что-то в кармане мешало лежать на боку. Опустить руку в карман было почти немыслимо. «Что бы это могло быть?» — соображал озабоченно Штааль. Он сделал отчаянное усилие и — разочарованно вытащил из кармана картонный футляр с колодой карт; и смотреть при свече не требовалось, уже в кармане на ощупь он понял, что это тарок, захваченный в Таверне. «Вот взял необходимую вещь...» Штааль лениво стал строить домик левой рукой, которая все равно была выпростана из-под шинели. Две сведенные башенки удержались на одеяле; он положил на них перекладиной еще карту, домик тотчас обвалился. «Ну, так теперь конец, следует выспаться перед боем,— сделал Штааль вывод, чувствуя, что сейчас заснет.— Надо бы потушить свечу, еще сгоришь живьем со всем этим убежищем...»

В странном сне он сознавал, что спит. Но иногда Штаалю казалось, будто он проснулся и уж теперь все пошло наяву. Наяву происходили вещи очень мучительные, но вполне понятные и естественные. Он часто обрывался с тропинки и летел вниз, но небыстро,— под звук странного, чудесного музыкального инструмента. Лететь было очень холодно, особенно рукам. Штааль не долетал до дна пропасти. На десятой версте его подхватывали люди и медленно поднимали назад. Этого не мог понять казачий офицер и спорил, и странно было, отчего он так упрямо спорит. По тропинке, над бездной, через тело бьющегося француза, проезжал старик фельдмаршал. Штааль пытался пройти за ним по тропинке и снова падал. Музыка играла Моцарта или, скорее, Палестрину, но то, что очень нравилось когда-то Настеньке, в Венеции. Настенька тоже тут была. Она давно оборвалась в бездну, еще в Таверне, там, где были Monti, а не Альпы. И теперь с ней все было прекрасно. Штааль говорил с коричневыми людьми, но они пели — и это было очень страшно. Вдруг сильный толчок поразил его, сердце рванулось вниз, Штааль опять бессильно упал — дно пропасти было шершавое, суконное.

Он проснулся весь в поту, растерянно поднялся на локте и, замирая от страха, прислушался. Кто-то играл

на виржинале мрачную мелодию. «Что такое? Верно, я схожу с ума»,— готовой фразой подумал Штааль, прекрасно сознавая, что он не сходит с ума и что, в самом деле, близко, совсем близко от него, звучит торжественная музыка. К виржиналю присоединился негромкий хор мужских голосов. «Да это капуцины!.. Значит, рядом их капелла. Идет ночная служба...— подумал Штааль, с ужасом прислушиваясь к пению, тщетно стараясь разобрать слова...— Что это? Точно сказка... Хор в монастыре над облаками... Никто не поверит в Петербурге... Какая страшная мелодия, надо ее запомнить...» Вдруг пение оборвалось, через секунду замолчал и инструмент. Штааль жадно ждал несколько минут. Служба кончилась, мелодия ускользнула. Он отчаянно пытался ее восстановить. «Ах какая досада! Так и упустил навеки...»

Усталость его прошла, он чувствовал необычное нервное возбуждение. Уже рассветало. Вздрагивая от холода, Штааль поднялся и задул огарок. Окно просветлело. Штааль прислонился к нему лицом. На высоте убежища, над блеснувшим вдали озером, проходило белое облако. Чертов мост был в том направлении. Штааль отодвинулся от окна. «Разве полежать еще под шинелью? Нет, надо понемногу собираться». Он рассеянно стал складывать карты. «Не оставлять же в монастыре колоду, это было бы неприлично». Карты были итальянские, замысловатые, по старофранцузским образцам, с изображениями рыцарей, муз, планет, чудовищ, химер, чертенят. Штааль разглядывал их, поднося близко к глазам и к окну. «Загадать, что ли? Убьют меня нынче на Чертовом мосту или нет?..» Но он не знал правил гран-пасианса. «Если одиннадцатой сверху выпадет фигура, значит, убьют»,— решил Штааль, оставляя себе лишний шанс: фигур в игре было меньше половины. Волнуясь немного и усмехаясь своему волнению и отмечая в сознании, что он внутренне усмехается, Штааль перетасовал колоду, хрустнул и провел бортом по одеялу, как по сукну ломберного стола. Карты зацепились о складку и рассыпались. Он сложил их с досадой и стал отсчитывать. Но в середине, вглядываясь в незнакомую фигуру, сбился в счете — не мог вспомнить, семь ли уже вышло карт или восемь. Однако довел дело до конца — одиннадцатым выпал разноцветный валет Ланцелот, с отвернутой назад головой, с надписью «J'aime l'amour» [1]. «Значит, убьют. Ну, мы еще посмотрим, да и в счете я;

[1] «Люблю любовь» *(франц.)*.

кажется, ошибся. Но разве тогда так писали aimer[1]?..» Штааль опять стасовал колоду и стал отсчитывать наново. Вышла фигура с девизом на ободке «Vive le roy»[2]. Что-то в изображении было знакомо Штаалю — где-то давно он видел эту фигуру с высунутым языком и с рогами. Она ему показалась немного похожей на астролога, который в Венеции составил его гороскоп. «Нет, не то, кажется... Надо будет потом вспомнить на досуге. Хотя какой же досуг, если нынче убьют?» Штааль отложил карту и спрятал ее в бумажник.

IX

Колонна, к которой принадлежал Штааль, шла одной из последних и не участвовала ни в боях при подъеме на Сен-Готард, ни в стычках при спуске у Госпенталя и Андерматта. Когда она спустилась на луга между Андерматтом и Гешененом, французов уже не было видно. Чертова долина, по слухам, находилась совсем близко отсюда. Но в местности не было решительно ничего страшного. Повеселевшие войска в ожидании фельдмаршала вольно остановились за Андрематтом слева от дороги, на скошенном лугу. Все шло хорошо, французы поспешно отступали. Особенно приятно было то, что Сен-Готардский перевал остался позади. Спускаться было и легче, и веселее, чем подниматься. Стало тепло, хоть небо не совсем прояснилось. Вокруг луга тянулись горы, но и они отсюда казались веселыми. На склонах, выстланных темно-зеленым ковром, росли деревья, снизу казавшиеся приземистыми, как снопы. Далеко наверху виднелся кое-где снег: точно кто-то нарочно наложил в углублении и плотно утоптал эти блестящие ярко-белые грядки; непонятно было, отчего они не тают.

Радостный гул пронесся по армии: слева на небе паутина разорвалась, брызнуло без тепла светом осеннее солнце. Все мгновенно преобразилось. Зеленый ковер сверкнул, скалы окрасились в золотой цвет, грядки снега зажглись, на краях порозовели. «Нет, все-таки это очень красиво,— подумал Штааль, как бы оправдываясь, и сам улыбнулся: горы нравились ему из долины.— Ну да, так всегда бывает, c'est très humain»[3],— сказал он себе наставительно.

Знакомый пехотный офицер подошел к Штаалю и радостно поздоровался. У офицера этого на лице было не-

---

[1] «Любить...» *(франц.)*
[2] «Да здравствует король» *(франц.)*.
[3] «Это очень по-человечески» *(франц.)*.

обыкновенно энергичное выражение, показывавшее, что ему все нипочем. он нытья терпеть не может и сейчас сделает все, что нужно, и даже гораздо больше. Офицеров с таким выражением было довольно много в армии Суворова. все знали, что фельдмаршал не любит немогузнаек. Этих, однако, опытный старик тоже недолюбливал и считал опасными людьми. Офицер поделился своими впечатлениями. Конечно, подъем был труден, зато теперь скоро конец. Французы бьются не худо, но штыкового удара не выдерживают. Офицер был в той передовой части, которая утром очистила Госпенталь и Андерматт, и говорил об этом бое с пренебрежительной улыбкой. Штааль тревожно спросил о Чертовом мосте.

— Сейчас, сейчас будет. Вот приедет дивный, велит двинуться вперед, мигом возьмем и Чертов мост.

— Да где же он? — спросил Штааль, подчиняясь уверенному тону офицера.

— Сказывают, отсюда не более версты.

— Не может быть! Да ведь здесь ничего нет страшного: ни пропастей, ни водопадов, и дыры никакой нет. Просто веселенький луг на солнышке,— с недоумением сказал Штааль.

— Разумеется, ничего страшного... Мастера, я вам доложу, наши нытики расписывать враки.

— Ну, я прямо скажу, на Сен-Готарде мне было жутко,— произнес Штааль, показывая, что уж он, никак не нытик, имеет право в этом сознаваться: таким тоном Суворов советовал новичкам держаться в бою поближе к нему и пояснял: «я ведь сам трус».

— Помилуйте, ничего жуткого! — сказал, слегка улыбаясь, офицер.— Приятное воспоминание, больше ничего Мне один капуцин и сувенир подарил.— Он вынул из кармана дощечку с латинской надписью.— Я его спросил, есть ли у них монашенки. Он так и обмер. Потом ничего, разговорились, славный старичок...

— Mulier pulchra est janua diaboli, via iniquitatis, scorpionis percussio [1],— бойко прочел Штааль.

— А что бы это значило? Вы по-латински смыслите? — недоверчиво спросил офицер.— Я ничего не смыслю... Слышали, фельдмаршал имел за обедом с настоятелем божественную дискуссию, разбил его в прах. Так и жарил из отцов церкви, и все на иностранных языках... Ученая

---

[1] Красивая женщина — это дверь дьявола, дорога бед, удар бича (*лат.*).

голова старик, где он только время берет? Что ж, или вправду разбираете?

— Как же, это очень просто: «хорошенькая женщина — жало скорпиона и чертово отродье»,— вольно, но уверенно перевел Штааль изречение святого Иеронима.

Офицер покатился со смеху:

— Ну и забавники же!.. Надо будет в Альтдорфе выпить за его здоровье. Хотите, вместе там поужинаем? В Альтдорфе, верно, есть шампанское... Идет?

— Идет, если не убьют сейчас на Чертовом мосту,— равнодушным тоном ответил Штааль.

— Да полноте...

Команда прервала слова офицера. Все бросились по местам, еще не разбирая, в чем дело. После минутного смятения колонны выровнялись и замерли. По дороге из Андерматта, в сопровождении свиты, медленно ехал, не здороваясь с войсками, в родительском плаще и в круглой широкополой шляпе князь Суворов. Серьезное, озабоченное выражение лица фельдмаршала отразилось усиленной заботой на других лицах. Суворов остановился на дороге и заговорил с сопровождавшим его, верхом на муле, старым проводником и с казацким сотником, ездившим вперед на разведку. Затем фельдмаршал свернул налево и перескочил через небольшую канаву с дороги на луг. Мул странно прыгнул за лошадью. Проводник показывал рукой в направлении дороги, шедшей вниз с небольшим уклоном, между лугом и откосами зеленых гор. Вся армия невольно следила за этим жестом руки проводника. Но впереди ничего не было видно. Суворов кивнул головой, еще подумал и сказал что-то ординарцу, который тотчас поскакал по лугу. Через минуту колонны тронулись. Было велено соблюдать совершенную тишину. Часть войск вытянулась по дороге, другая следовала лугом. Впереди шли орловские мушкетеры Мансурова, считавшиеся одной из самых лучших частей суворовской армии. Солнце снова скрылось. В местности по-прежнему ничего страшного не было. Жутко действовала лишь та необычайная тишина, с которой двигались полки. Вдруг послышался легкий гул, как будто где-то, очень далеко впереди, ехала по мостовой тяжело нагруженная телега. Что-то пробежало по цепи войск.

«Неужели это Чертов водопад? — подумал Штааль и оглянулся. Лица у всех были внимательные и бледные.— Ну да, конечно, водопад...» Он увидел, что их часть шла по дороге второю, и со стыдом подавил в себе неприятное чувство. Но по лугу кавалерийские отряды, казаки и пионе-

ры несколько опередили пехоту. Штааль шел вдоль откоса, с края дороги, которая стала ровной. Не замедляя шага, он повернул голову назад и не мог найти Суворова. Весь луг был залит войсками.

— Ну, всех нас не перебьют,— беззаботно сказал Штааль вслух.

Грохот впереди нарастал. «Интересно, в ногу ли идут солдаты или нет? — спросил себя Штааль и тотчас подумал, что в этом нет ничего интересного.— Да разве в атаку идут в ногу? Но кого же мы атакуем? Может, сейчас они появятся? А очень неприятен этот гул...» Он наклонился на ходу и сорвал с откоса два цветка — фиолетовый и желтый. Немедленно еще несколько человек сделали то же самое — это почему-то доставило удовольствие Штаалю. Желтый цветок не пахнул; у фиолетового был приятный терпкий запах. «Какие это цветы? Стыдно не знать цветов... Надо будет подучиться, если не убьют...» Оговорка «если не убьют» все больше ему нравилась. «Да кто же убьет? Где, наконец, французы? — спрашивал он себя с недоумением.— Но решительно ничего нет страшного, вот только гул...» Теперь уж было ясно, что не телега это ехала по мостовой: все неприятнее нарастал грохот падающей воды. Впереди ничего не было видно. Батальон прошел мимо бежавшей по откосу узенькой, вершка в два, горной струи. Вблизи она совсем не была похожа на серебряные ленты, которыми издали казались изборожденными горы. Штааль бросил цветок и, быстро наклонившись, подставил руку под струю — вода была очень холодная, так что пальцы потом ломило несколько секунд. «Какими я, однако, пустяками занимаюсь, а что, ежели сейчас смерть?» — думал он, приподнимаясь на цыпочки и внимательно глядя вперед. Ему показалось, что немного впереди мансуровских мушкетеров дорога некруто загибается вдоль холмов направо. «Да, конечно, сейчас будет поворот»,— подумал он. Сердце у него застучало сильнее. Опять что-то пробежало по цепи. Войска остановились так внезапно, что шедшие сзади наткнулись на передних. Штааль отделился от своей роты, нарочно медленно, с ленивым видом, подошел к повороту и — замер. Перед ним было Урнское подземелье.

Покатые зеленые горы, вдоль которых шла Андерматтская дорога, сменились страшной цепью голых отвесных непроходимых скал. Шагах в трехстах от Штааля высилась гигантская стена. «Так вот что!» — чуть не вскрикнул он. Внизу стены, в том самом месте, где в нее упира-

лась дорога, чернело отверстие. «Дыра смерти!» — бледнея, сказал офицер рядом со Штаалем. Впереди ревел водопад. Но его не было видно. Как раз в этом месте, у поворота дороги, слева, пересекая луг, неожиданно, непонятно откуда, появлялась за минуту до того незаметная, неглубокая река. Она круто поворачивала вдоль дороги и, сверкая пеной, торопливо пробиралась по камням по направлению к отвесной стене. «Вот она, Русса»,— сказал кто-то. Но Штааль и не заметил сначала реки. Он не отрывал глаз от подземелья, открывавшего доступ в Чертову долину. По тому крошечному месту, которое дыра занимала в стене, можно было судить об огромной высоте отвесных скал. Уже с поворота дороги было видно, что Урнское подземелье уходит влево, под углом к Андерматтской дороге. «Значит, здесь пока нет опасности»,— облегченно подумал Штааль: было ясно, что по ту сторону дыры должны находиться французы.

— Что ж, какой она может быть длины, эта дыра? — спокойным тоном спросил он, ни к кому в отдельности не обращаясь. Никто не ответил. «Если больше минуты бежать, конечно, верная смерть, не могут не убить,— подумал он.— Разве только их сомнут мушкетеры...» Офицер рядом сказал, что фельдмаршал велел сделать попытку обойти дыру, да едва ли можно вскарабкаться на эти скалы: придется бить в лоб.

В эту минуту по лугу сзади, недалеко от того места, где находился Штааль, медленно выехал мелкой рысью казачий отряд. Сигнала не было, но все сразу почувствовали, что это атака. Обогнув мушкетеров Мансурова, отряд съехал с луга на дорогу. Штааль, никогда не видавший, как идут в атаку казаки, жадно переводил взор с отряда на черную дыру подземелья.

— Да ведь это безумие! Нельзя туда ворваться верхом, они головы разобьют о скалы! — сказал он, быстро переводя глаза с дыры на растягивающийся отряд и обратно. Рысь все ускорялась и перешла в галоп. Средневековые люди, стоя в стременах, согнувшись, слились с конями. Вдруг у первых трех казаков пики точно сами вырвались из бушметов, за ними шашки сверкнули в воздухе, галоп перешел в дикий карьер, и в ту же секунду раздался ужасный нечеловеческий визг. «Печенеги!» — промелькнуло в голове у Штааля. Центавры с воем неслись к Урнскому подземелью. Штааль еще видел, как перед черной дырой первый казак наклонился ниже и, выронив пику, исчез. И тотчас, покрывая рев водопада, вой казаков, несшееся

сзади «ура!», что-то со страшным треском прокатилось по ущелью. Эхо подхватило и понесло между гор звук картечи и быструю стрекотню ружейной пальбы.

Штааль позже с трудом мог связать и объяснить свои воспоминания. Он плохо представлял себе, как была отбита первая пехотная атака, в которой погибла половина батальона мушкетеров. Потом офицеры говорили, что борьба за Урнское подземелье была лютая и что без обхода по горам оно не было бы взято. Ясно всю жизнь Штааль помнил, как недалеко от него рожок заиграл сигнал и генерал Мансуров, с выражением отчаянья на лице, обернувшись к солдатам, вытащил из ножен шпагу. Затем все рванулось вперед. Люди бежали изо всех сил, точно бодря себя быстротой бега. Рев водопада, грохот выстрелов, надрывающееся «ура!» смешались. Штааль успел подумать, что его, быть может, не убьют, а только ранят. «Ну, да все равно, тогда растопчут свои...» Черная дыра неслась на него с необыкновенной быстротой. «Да ведь мушкетеры не бегут назад, значит, смяли, слава Богу!» — еще подумал Штааль, подбегая к стене с поднятой шпагой. Он в последний раз оглянулся на небо («зачем на небо?»), на землю, что-то заорал и исчез в темноте. Его охватила сырость, холод, запах пороховой гари. Первое мгновенье еще мерцал свет сзади. Затем впереди блеснуло несколько красных огоньков, и все потонуло в темноте и в диком реве. Штааля окатило ледяной водой. Он вскрикнул, метнулся в сторону, ударился о стену и, отскочив, наткнулся на что-то огромное. При мелькнувшем снова свете красных огоньков он увидел струю воды, как из-под крана лившуюся сверху со скалистого потолка подземелья, а под собой — бившуюся в судорогах лошадь. Штааль сделал усилие, чтобы ступить между ее ногами и брюхом, перескочил и бросился дальше. Спереди и сзади от него по вязкой земле, по трупам бежали люди. Кто-то сильно его толкнул, рядом с ним сверкнул огонек. Обезумевший солдат бежал, приложив ружье к плечу. «Да ведь он по своим бьет»,— подумал Штааль, закричал диким голосом и из последних сил бросился дальше вдоль стены. Под его ногой рванулось что-то живое, на мгновенье он повис на нем всей тяжестью, затем оттолкнулся от живого тела, почти как от трамплина когда-то на гимнастике. Впереди бледно блеснул дневной свет. Подземелье кончилось.

«Надо будет тотчас броситься в сторону, чтобы не быть на линии выстрелов»,— подумал Штааль, подбегая к выходу. Это спасло ему жизнь. За Урнским подземельем бы-

ла пропасть. С разбега он не удержался бы на небольшой площадке, от которой, круто вправо и вниз, отходила карнизом тропинка. Штааль бросился направо, прижался к скале и, задыхаясь, обвел взором страшную картину. Слева под вьющимся столбом водяной пыли с оглушительным ревом рвался Чертов водопад. На дне пропасти клокотала по камням белая река. Рейсса, сдавленная со всех сторон отвесными горами, бешено неслась вниз по крутому наклону ущелья. По горной стене, как кривая узкая поломанная палка, тропинка вилась над пропастью и, изгибаясь, спускалась к каменному мосту. Над ним, по другую сторону пенящегося потока, отвесно возвышался Чертов камень. По голой громадной черной скале туман полз вверх в узкий просвет неба. В ущелье было полутемно и холодно, как на рассвете осеннего дня. Бой подходил к концу. Французы, оставшиеся на правом берегу, между мостом и Урнским подземельем, были переколоты. Только в самом конце тропинки, на площадке недалеко от моста, немолодой офицер в синем мундире, упершись ногами в огромный камень, почти растянувшись на земле, изо всех сил грудью и руками толкал в пропасть пушку, которая наполовину повисла над водопадом. Взбесившаяся лошадь без седока пронеслась мимо. К офицеру бежали по полке с ружьями наперевес русские солдаты. В них, на тропинку, в черную дыру подземелья не переставая с моста, с левого берега и с высоты Чертова камня стреляли люди в синих мундирах. Штааль вдруг вспомнил, что у него есть пистолет. Он шагнул вперед и, перебросив шпагу в левую руку, выстрелил в офицера, хоть было ясно, что пуля никак не может долететь до площадки. Пушка тяжело пошатнулась, сорвалась с края площадки и рухнула вниз. За ней полетел в пропасть французский офицер. Штааль ахнул. С того места, где он находился, он не видел падения тела, но за ревом водопада, за трескотней выстрелов услышал грохот пушки, падающей на камни. У моста отчаянно быстро работали французские саперы. Они успели уничтожить второй пролет. Но первая, главная арка осталась целой. К мосту уже подбегали русские солдаты. Лошади на тропинке больше не было.

Страшное ущелье вдруг осветилось. Отвесные скалы вспыхнули золотом. Лучи скрытого за горами солнца прорезались сквозь столб водяной пыли. Штааль смотрел то в пропасть вниз, то налево на водопад, то вверх на Чертов

камень. Бой был кончен. Неприятель отступил к Альтдорфу. Ущелье между мостом и Урнской дырою все больше наполнялось людьми. Русские войска теперь свободно проходили по подземелью.

Вторая, разрушенная, арка Чертова моста шла от высокой скалы к левому берегу. Солдаты перебросили через зияющий провал два откуда-то раздобытых длинных бревна. Их конец связали офицерскими шарфами. Под мостом, перекинувшись с одного берега на другой, радуга бледно засветилась по камням и под пеной. С отвесной высоты Чертова камня оставленные там немногочисленные французские солдаты еще стреляли изредка по мосту. Штааль, невольно искривив плечи и шею, смотрел на них с тропинки правого берега. Кто-то вдруг его окликнул. К нему подходил австрийский офицер, его сожитель по палатке в Таверне. Оба, здороваясь, одновременно подумали, что об этой встрече на Чертовом мосту, с обнаженными шпагами, приятно будет вспоминать всю жизнь.

— Ist schön? [1] — прокричал австриец, показывая шпагой на ущелье.

— Теперь конец,— сказал хрипло Штааль.

С высоты против них раздалось один за другим несколько выстрелов. Австриец покачал головой, что-то сказал, но не докончил, показывая жестом, что трудно тут разговаривать, и вдруг нервно отшатнулся к скале, уставившись глазами на Чертов мост. На самом конце уцелевшей арки, перед двумя связанными узенькими бревнами, стоял, поставив на них левую ногу, наклонив вперед голову и плечи, странно раздвинув руки, мертвенно бледный русский офицер. Штааль узнал майора князя Мещерского. Сзади другой высокий человек что-то кричал, протянув руку к майору. Мещерский вдруг шагнул вперед. Высокий офицер замер с разинутым ртом и протянутой вперед рукою. На высоте, на краю обрыва, французы прекратили стрельбу. Солдат в синем мундире, быстро опустив ружье, наклонил голову набок. Бревна дрогнули и, приподнявшись, чуть разошлись концами на левом берегу. Князь Мещерский пошатнулся, быстро нагнулся налево и, как акробат на веревке, взмахнул расставленными руками, стараясь удержать равновесие над пропастью. Австриец рядом со Штаалем закричал что-то непонятное и, уткнув шпагу в землю, искривился так же, как Мещерский, но в правую сторону. Майор устоял, медленно вы-

[1] Красиво? (*нем.*)

прямился, сделал шаг, другой, затем быстрым движением, точно угадав секрет, как это нужно сделать, перебежал по бревнам на правый берег и там после нескольких шатающихся шагов упал на четвереньки. Казак по уцелевшей арке моста, крестясь на ходу, подбежал к бревнам, бросился вперед и с коротким отчаянным криком повалился в пропасть. Гул пронесся по тысячной толпе людей. Штааль, белый, шагнул вперед и заглянул вниз. На мгновенье пена над радугой окрасилась кровью. Рейсса подхватила тело и понесла вниз, бешено бросая с камня на камень. Князь Мещерский, стоял на коленях в двух шагах от обрыва, схватил разошедшиеся концы бревен и свел их, прижимая к земле, приглашая движеньем головы оставшихся на первой арке перейти на левый берег. Французские стрелки на вершине Чертова камня одновременно приложили ружья к плечу. Раздался залп. Мещерский рванулся с колен на ноги, взмахнул руками, зашатался и упал.

Прислонившись спиной к скале, тяжело опустив руки, Штааль бессмысленным взглядом смотрел перед собой, плохо понимая то, что ему говорил австрийский офицер.

— Да, это ущелье — одно из самых страшных мест на свете,— сказал австриец.— По швейцарскому поверью, его выстроил сатана...

— Сатана,— бессмысленно, как эхо, повторил Штааль.

Австрийский офицер поглядел на него и продолжал, немного понизив голос, насколько позволял гул водопада:

— А знаете, я очень боюсь, что мы попали в ловушку...

Штааль поднял голову.

— Говорят, Сен-Готардская дорога кончается у Альтдорфа?

— Как?.. Так что же? На озере нас ждет флотилия.

— Почем вы знаете? Я сильно сомневаюсь... Дай Бог, конечно. Но если флотилии нет, мы окажемся в мешке...

— Этого только не хватало! — глухо сказал Штааль.

— Все равно, останется слава,— сказал офицер.

— Останется слава,— повторил Штааль, поднимая голову.

Сверху, слева «ура!» понеслось по ущелью. На тропинке показался фельдмаршал. Он оглядел все медленным сумрачным взглядом и хмуро пошел по направлению к мосту. Офицеры и солдаты, прижавшись спинами к скалам, надрывались от восторженного крика. Рядом с Суворовым, со стороны пропасти, видимо не совсем трезвый,

шел Прохор Дубасов и ругался самыми ужасными словами.

Фельдмаршал не бежал вприпрыжку, как обычно, и ничего не бормотал про себя. Молча, не отвечая на приветствия, не глядя по сторонам, не обращая внимания на выстрелы, Суворов шел нервной походкой, с лицом измученным и искаженным. Он походил на человека, который только что, после долгих часов, сбросил тяжелую давящую маску... Штааль не сводил с него воспаленных глаз. За фельдмаршалом следовало несколько генералов. Розенберг, нагибаясь вперед, что-то говорил старику. Суворов вдруг остановился и вскрикнул:

— Где проходит олень, там пройдем и мы!..

Он ускорил шаги, наклонив голову и схватившись рукой за круглую шляпу. Ледяной ветер выл в Чертовой долине.

СОДЕРЖАНИЕ

Марк Александрович
АЛДАНОВ

Собрание сочинений
в шести томах

Том I

Редактор тома
Н. А. Крылова

Оформление художника
Ю. К. Бажанова

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 2466

Сдано в набор 12 06 89
Подписано к печати 30 11 90
Формат 84×108 1/32 Бумага типографская № 1
Гарнитура «Академическая» Печать высокая.
Усл печ л 30,77. Усл кр -отт 31,72 Уч -изд л 36,32
Тираж 760 000 экз. (1-й завод 1—200 000)
Заказ № 961 Цена 4 р 00 к

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16

Индекс 71201